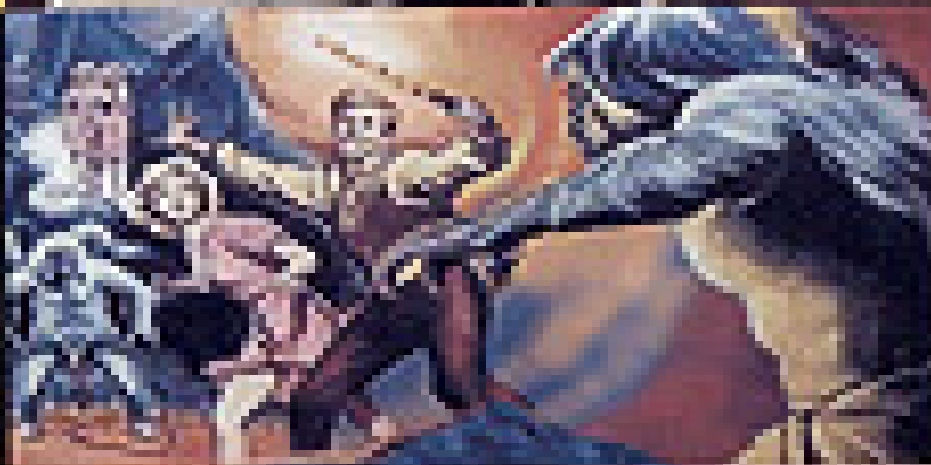


# ГЕРБЕРТ УЭЛИС



Максим  
Чертманов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Герберт Уэллс (1866–1946) широко известен как один из создателей жанра научной фантастики, автор популярных, многократно экранизированных романов — «Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка», «Остров доктора Моро». Однако российские читатели почти ничего не знают о других сторонах жизни Уэллса — о его политической деятельности и пропаганде социализма, о поездках в СССР, где он встречался с Лениным и Сталиным, об отношениях с женщинами, последней и самой любимой из которых была знаменитая авантюристка Мария Будберг. Обо всем этом рассказывает писатель Максим Чертанов в первой русской биографии Уэллса, основанной на широком круге источников и дополненной большим количеством иллюстраций. Книга адресована не только любителям фантастики, но и всем, кто интересуется историей XX века, в которой Уэллс сыграл заметную роль.

---

- [Чертанов М. Герберт Уэллс](#)
  - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА](#)
    - [Глава первая В ЛЮДЯХ](#)
    - [Глава вторая ПРЕПАРАТ ПОД МИКРОСКОПОМ](#)
    - [Глава третья ДАВАЙТЕ ВЫМИРАТЬ](#)
    - [Глава четвертая НОМО SCRIBENS](#)
    - [Глава пятая ВОЙНЫ И МИРЫ](#)
  - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОЛДЕНЬ, XXII ВЕК](#)
    - [Глава первая ДРУГАЯ СТРАНА, ДРУГИЕ СНЫ](#)
    - [Глава вторая КОРОЛЕВА ФЕЙ](#)
    - [Глава третья САМУРАИ И САМУРАЙКИ](#)
    - [Глава четвертая ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА](#)

- [Глава пятая ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОИСК ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ](#)
  - [Глава первая ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ УЭЛЛСОВ](#)
  - [Глава вторая ДОМИК В ДЕРЕВНЕ](#)
  - [Глава третья ДНЕВНИК БОЛЬШОЙ КОШКИ](#)
  - [Глава четвертая ПАТРИОТ](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ](#)
  - [Глава первая ТРИ ТАНКИСТА](#)
  - [Глава вторая ЕРЕТИК](#)
  - [Глава третья УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ](#)
  - [Глава четвертая ОКТЯБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ, ИЛИ РОССИЯ НА ДНЕ](#)
- [ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ](#)
  - [Глава первая ЛЮДИ И ЛЮДЕНЫ](#)
  - [Глава вторая ВЕЧНЫЙ СОН](#)
  - [Глава третья ЗАГОВОРЩИКИ](#)
  - [Глава четвертая ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ](#)
- [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ХРОМАЯ СУДЬБА](#)
  - [Глава первая МУЛЬТИВАК](#)
  - [Глава вторая БИТВА ЗА АНГЛИЮ](#)
  - [Глава третья ДВЕРЬ В СТЕНЕ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)

- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)

- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)

- [118](#)
  - [119](#)
  - [120](#)
  - [121](#)
  - [122](#)
  - [123](#)
  - [124](#)
  - [125](#)
-

**Чертанов М. Герберт Уэллс**



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА

## Глава первая В ЛЮДЯХ



*A. J. Wells*

Есть Замечательные Люди, чью жизнь описать сложно из-за нехватки источников, но в случае с Гербертом Уэллсом все наоборот. Источников столько, что в них тонешь, пытаюсь отделить факты от интерпретаций. Зачем нужно читать (а главное — писать) много биографий одного человека, при том что он сам написал о себе претолстую книгу?<sup>[1]</sup>

Причина первая: с годами раскрываются архивы. Это касается и Уэллса: например, как только Норман и Джин Маккензи в 1960-х годах получили доступ к его переписке, появилась биографическая книга, содержащая гигантское количество новой информации<sup>[2]</sup>. В 1984-м была опубликована заключительная часть автобиографии, так называемый «Постскриптум»<sup>[3]</sup>, которую Уэллс запретил издавать, пока живы упоминаемые в ней женщины — исследователи стали ее комментировать, и т. д.

Причина вторая: все биографы пристрастны (абсолютно беспристрастную биографию может написать разве что компьютер). Книга Маккензи очень добросовестно сделана, но чрезвычайно недоброжелательна, представляя героя психически неуравновешенным и морально сомнительным типом — в 1986 году на нее ответил Дэвид Смит, чья работа<sup>[4]</sup> являет собой самое фундаментальное и полное исследование из ныне существующих. Младший сын Уэллса, Энтони Уэст, утверждал, что его отец был разочарованным, потерпевшим жизненный крах пессимистом<sup>[5]</sup>, — старший сын, Джордж Филипп Уэллс, в предисловии к «Постскриптуму» заметил, что у отца всего лишь раз была депрессия и что человек он был скорее светлый. Майкл Корен в 1993 году разъяснил всем, что Уэллс проповедовал аморализм и был отъявленным антисемитом<sup>[6]</sup>, — Майкл Фут в 1995-м постарался оправдать своего подзащитного<sup>[7]</sup>. Таких

«стычек» среди биографов Уэллса очень много. На каждый довод находится контрдовод.

Причина третья: разных биографов интересуют разные аспекты жизни и творчества «объекта»: например, Гордон Рэй<sup>[8]</sup> сосредоточился на личных дружбах и связях Уэллса, а Уоррен Вегер<sup>[9]</sup> — на его политической деятельности. Наконец, четвертая причина: мнения о некоторых Замечательных Людях, прежде всего проповедниках и теоретиках, сильно зависят от политического строя: так, единственная серьезная русская книга об Уэллсе была опубликована Ю. И. Кагарлицким в 1963 году<sup>[10]</sup> и оказалась, конечно, весьма советской. Но разница между «советским» и «несоветским» подходами выглядит пустяком по сравнению с тем фундаментальным различием, которое диктуют разные времена.

Пик доброжелательного интереса к жизни и идеям Уэллса и, соответственно, основной вал его биографий пришлись на 1960—1980-е годы — эпоху, когда человечество начало летать в космос, когда «физики» в дискуссиях били «лириков», когда большая часть цивилизованного мира безоговорочно верила в науку, свободу, интернационализм и прогресс. Потом, когда маятник пошел в другую сторону, к традиционным ценностям (Армия, Церковь, Отечество и Семья — все одинаково свято), интерес к Уэллсу начал пропадать и писать о нем стали мало, а если писали, то недоброжелательно, как о бездушном человеконенавистнике и чуть ли не Антихристе. Эти разные времена обычно называют «либеральными» и «консервативными», но по отношению к Уэллсу такие определения не работают, ибо либералом он был не в большей степени, чем консерватором. Правильнее было бы охарактеризовать их как «прогрессивные» и «реакционные», но слово «реакция» у нас имеет

обидный оттенок, а «прогресс» каждый понимает по-своему. Чтобы избежать оценок, можно определить их как «динамичные» и «статичные», то есть времена, когда мы, люди, хотим измениться, стать чем-то новым, и времена, когда мы меняться не намерены — разве что вернуться к старому. Сейчас мы вновь оказались примерно в том времени, что стояло на дворе, когда молодой Уэллс начал проповедовать интернационализм, социализм, научный прогресс и свободную любовь, и все это воспринималось как плохие или по крайней мере странные вещи. Вот и прекрасно: так нам легче будет разобраться, что бесило нашего героя, против чего он протестовал и к чему стремился.

Да, и о пристрастности: автор данной книги не надеялся избежать ее, но вот в чем штука: за время работы над ней он так и не смог понять, как относится к своему герою, и, бывало, в течение одного дня испытывал к нему: а) ненависть; б) жалость; в) восхищение; г) раздражение; д) полное и абсолютное непонимание. Уж очень странный и противоречивый человек был этот Уэллс.

\* \* \*

«Приступая к исследованию жизни и творчества Герберта Уэллса, следует ясно отдавать себе отчет в том, что этот господин, несмотря на непонятным образом завоеванную репутацию — человек весьма низкого происхождения и не имеет систематического образования. Его родословная слишком хорошо известна, чтобы он мог скрыть свои корни, поэтому он со свойственной ему наглостью пытается извлечь из своего происхождения какие-то преимущества» — так написал об Уэллсе один весьма ядовитый человек, чье имя мы узнаем лишь на последних страницах этой

книги. Родословная и вправду была не ахти: «Я родился в том странном неопределенном сословии, которое у нас в Англии называется средним классом. Я ни чуточки не аристократ; дальше деда и бабки не помню никаких своих предков, да и о тех я знаю весьма немного, так как они умерли до моего рождения».

Мать Герберта Уэллса Сара родилась 10 октября 1822 года в Мидхерсте (тогда это был маленький городок, теперь — пригород Лондона) в семье небогатого трактирщика Джорджа Нила и его жены Сары. Всего у Нилов было пятеро детей, двое умерли во младенчестве; из выживших Сара была старшей. С 1833 по 1836 год она училась в общеобразовательной школе в соседнем городе Чичестере (писала всю жизнь с ужасными ошибками, но превосходным почерком), потом обучалась шитью и парикмахерскому делу, а в результате стала прислугой. Сменив с 1838 года несколько мест работы, в сентябре 1850-го Сара поступила на службу в семью Буллок, жившую в усадьбе «Ап-парк» недалеко от Мидхерста. Миссис Буллок сама в молодости была горничной, а теперь Сара Нил стала горничной ее дочери. Может, Сара и мечтала, подобно старшей хозяйке, стать женой богатого джентльмена, но вышла она за слугу.

Летом 1851-го у Буллоков начал работать садовник Джозеф Уэллс, пятью годами младше Сары. Уэллсы были родом из Кента. Большинство представителей этой семьи были крестьянами-арендаторами, мелкими лавочниками или квалифицированными слугами. Отец Джозефа, которого тоже звали Джозефом, считался первоклассным садовником, жена его не работала. У них было шестеро детей. Джозеф-младший унаследовал профессию отца. Человек был обаятельный и ненадежный — не самая подходящая пара для робкой Сары. Во многих биографиях Уэллса можно прочесть, что он, с одной стороны, кичился своим низким

происхождением, а с другой — презирал родителей, особенно мать, ограниченную и религиозную. В «Опыте автобиографии» не видно ни того ни другого. Происхождение его угнетало, а о родителях он говорил с нежностью и жалостью. Сару он описал как поэтическую, мечтательную женщину, плохо приспособленную к жизни. Джозеф тоже был мечтателем, только более авантюристического толка: места менял по два-три раза в год, подолгу сидел без работы, быть слугой, несмотря на свое происхождение, не умел и не хотел. Раздражался, дерзил, всегда тосковал о какой-то лучшей жизни. Любил читать, был превосходным крикетистом, выигрывал призы на соревнованиях. «Вообще-то, — вспоминал его сын, — он был человеком непутевым и неудачливым, но при этом веселым, с легким характером и значительную часть своей энергии тратил на то, чтобы отгородиться от всего неприятного».

В 1853 году Саре пришлось уйти от Буллоков и вернуться в Мидхерст, чтобы ухаживать за больной матерью; месяц спустя Джозеф тоже оставил службу. Осенью того же года родители Сары умерли, и 22 ноября она в лондонской церкви Святого Стефана обвенчалась с Джозефом — оба в тот момент были безработными. Джозеф нашел временное место в Стаффордшире, но служба продлилась недолго. Лишь в апреле 1854-го ему удалось получить должность старшего садовника в поместье Шакбург-парк близ Уорвика. Место было превосходное, садовнику и его семье отводился коттедж. Почти сразу после вселения в новый дом был зачат ребенок, девочка родилась 20 февраля 1855 года. Но Джозеф и на этом месте не смог удержаться: начались конфликты с хозяином, и в августе семья оказалась на улице.

Оставив Сару и дочь Фрэнсис у родственников, Джозеф попытался найти работу в Лондоне. Но служить

он не хотел и, когда его двоюродный брат предложил ему купить дом и посудную лавку в Бромли, крошечном городке близ Лондона, согласился с энтузиазмом. Условия казались выгодными — кузен соглашался отсрочить оплату на три года; другой родственник снабдил молодоженов товарами и утварью для обзаведения. 9 октября Уэллсы въехали в новый дом, расположенный по адресу Хай-стрит, 47, и носивший название «Атлас-хаус». Саре предлагали неплохие места, но Джозеф не хотел, чтоб она служила. В 1857 году у них родился сын Фрэнк, а в 1862-м — Альфред. Дела в лавке шли прескверно, однако Джозеф стал зарабатывать как профессиональный спортсмен: организовал в Бромли крикетный клуб, играл и был тренером. Один из его кузенов торговал принадлежностями для крикета и предоставил Джозефу кредит; в лавке, кроме чайных сервизов и ночных горшков, стали продаваться биты и крикетные воротца.

В 1864 году умерла от аппендицита восьмилетняя Фрэнсис, любимица Сары. С этого момента, как считает Уэллс, в душе его матери что-то сломалось. Раньше она смотрела на жизнь хоть и боязливо, но с детским оптимизмом, а теперь совсем помрачнела. Дети болели, торговля не шла. Отношения между супругами разладились, тем не менее 21 сентября 1866 года появился на свет их последний ребенок — Герберт Джордж Уэллс.

Дом, где прошло детство Уэллса, он вспоминал без малейшей теплоты. Здание трехэтажное, каменное: на первом этаже — лавка и гостиная, наверху — спальни, в подвале — кухня и кладовка. Возможно, другая хозяйка сумела бы создать в доме уют, но у Сары все не ладилось: предназначенная быть горничной у леди, она не умела вести домашнее хозяйство. Из экономии сама шила одежду, но выходило плохо. Стряпала того хуже:

«капуста, капуста и капуста с капустой». В доме было не слишком чисто. Угля не хватало, спальни не отапливались. Джозеф старался бывать дома как можно реже, чтобы поменьше видеть жену — усталую, всего пугавшуюся, всегда в дурном настроении. Когда он не был занят крикетом, то проводил время в обществе других лавочников или читал. С Сарой ему было не о чем разговаривать; она, у которой в 40 лет уже выпадали зубы и поседели волосы, сидела в темной комнате и пришивала кривые заплатки на одежду. Джозеф порывался эмигрировать в Австралию или Америку, но жена была против, а ехать один он не решался. Оба уходили в бесплодные грезы о лучшей доле и чудесном избавлении.

Биографы Уэллса любят одну деталь: как свидетельствует дневник Сары, младенец при крещении отчаянно брыкался и вопил (в отличие от братьев и сестры, которые отнеслись к обряду с должным почтением) — неудивительно, что вырос бунтарем и безбожником. Характер у маленького Берти был не из приятных — по его собственному выражению, «бешеный». Был вспыльчив, капризен, завистлив, матери дерзил, к братьям постоянно лез задирать. Сара научила его читать, писать и считать до ста. В 1873-м его отдали в начальную школу — он ходил туда вместе с братом Фредом. В следующем году, когда ему было семь лет, он сломал ногу. Произошло это на крикетной площадке: игрок Саттон, приятель Джозефа, подхватил малыша на руки и неудачно его уронил. Семья Саттонов присылала в дом пострадавшего сладости, отец приносил книги из библиотеки. От безделья и неподвижности Берти пристрастился к чтению и, подобно его родителям, ушел с головой в мир грез — некоторые исследователи полагают, что он оттуда так и не вернулся. «Я общался с индейцами и голыми неграми, осваивал ремесло китобоя, дрейфовал



на льдинах вместе с эскимосами». Через два месяца, когда он снова стал ходить, мать сказала ему, что чтение вредно для здоровья — но было уже поздно.

После выздоровления Берти родители решили отдать его в школу поприличнее. Остановились на частной школе Джеймса Морли, в которой обещали учить «математической логике и истории Древнего Египта». На самом деле Морли, единственный педагог школы, обучал детей английскому языку и математике, а также давал им начатки знаний по бухгалтерии, истории и географии. Нередко Морли на собственных уроках засыпал, предоставляя детям возможность носиться по классу, плюясь и стреляя друг в дружку из рогаток; все это Уэллс много лет спустя опишет в романе «Киппс»: «Киппс на всю жизнь запомнил удушливую, спертую атмосферу академии, постоянную путаницу в мыслях, бесконечные часы, которые он отсиживал на скрипучих скамьях, умирая от скуки и безделья; кляксы, которые он слизывал языком, и вкус чернил; книжки, изодранные до того, что в руки взять противно, скользкую поверхность старых-престарых грифельных досок; запомнил, как они тайно играли в камешки и шепотом рассказывали друг другу разные истории; запомнил и щипки, и побои, и тысячи подобных мелких неприятностей, без которых тут дня не проходило».

Единственный метод воспитания — колотушки, как во времена Диккенса; если в «Киппсе» Уэллс вспоминал о наказаниях с тоской беспомощного ребенка, то в мемуарах писал об этом со спокойным равнодушием человека, принадлежащего к классу, для которого побои — естественная вещь. Джеффри Уэст, первый биограф Уэллса<sup>[11]</sup>, в своей книге не простил Морли того, как он обращался с Берти, но сам Уэллс не только простил, но и вступил на страницах автобиографии в

полемику со своим биографом, защищая «старину Морли»; по его мнению, для того времени этот преподаватель был вполне хорош: «Он никогда не давал мне обидных прозвищ и не оскорблял меня». В другой частной школе все было бы так же, а в государственной, предназначавшейся для бедняков, еще хуже: во-первых, преподавали там совсем неквалифицированные люди, а во-вторых, это было унижительно, поскольку ребенку раз и навсегда указывали его место в общественной иерархии. Морли по крайней мере сам был человеком образованным, а обучение в частной школе давало Берти гордое сознание того, что он — не «низший».

Когда начался третий год обучения Герберта в школе Морли, дома случилось несчастье. Опять сломанная нога — на сей раз у отца. Перелом был тяжелый, карьера профессионального крикетиста закончилась. Исчез основной источник дохода, а из домашнего меню пропало мясо. Морли не платили по полгода. Обувь у детей не было. Фрэнк Уэллс, которому было тогда уже двадцать лет, служил продавцом: на свой заработок — 26 фунтов<sup>[12]</sup> в год — он купил брату башмаки. Фреда тоже определили учиться на продавца. Три последующих года старшие Уэллсы провели в унынии. Опять грезили и мечтали — вот если бы откуда-нибудь свалились деньги...

Но Берти не был несчастлив. Среди других мальчишек он, несмотря на свое пристрастие к книгам, не был изгоем: его ценили за истории, которые он умел рассказывать, а еще больше — за то, что он снабжал друзей подержанными битами и мячами. Он был мал ростом, тощ и слаб здоровьем (астигматизм, больные почки, малокровие), но в крикет и футбол играл неплохо и умел драться. У него был друг Сидни Боукет, сын трактирщика; при первом знакомстве в 1874-м они

долго колотили, душили и кусали друг друга, после чего заключили союз на много лет. «Мальчики мы были самоуверенные, поскольку среди сверстников выделялись развитием, что рождало в нас неоправданное убеждение, будто способности у нас выдающиеся». Сидни легче давались практические вещи, он быстрее соображал, имел острый глаз — зато тугодум Берти обладал широким кругозором. Играли в индейцев и ковбоев, дрались с другими детьми, причем старались первыми напасть на тех, кто поздоровее, благодаря чему приобрели статус заводил.

В «Опыте автобиографии» Уэллс написал, что в детстве был фашистом вроде Гитлера, — ну, раз уж человек сам так говорит о себе, то и биографы не умалчивают. Автор «Опыта» из кожи вон лез, чтобы припомнить о себе гадости, большие и малые, а также всякие вещи, о которых просто не принято говорить, и поведать о них миру. Он считал, что только так и нужно писать мемуары — не упуская ни единой тайной мыслишки, ни единого прегрешения, — и, надо полагать, рассчитывал, что все Замечательные Люди будут поступать так же. Но другие оказались разумнее. Если Уэллс описал в автобиографии и нескольких романах свои детские злобные выходки — например, как в приступе ненависти к брату швырнул ему в лицо вилку и сильно поранил, — то большинство Замечательных Людей, вспоминая детство, ограничиваются милыми шалостями и таким хулиганством, в котором нет ничего по-настоящему подлого. Изыскателям, которые хотят свести какую-нибудь знаменитость с пьедестала или оживить чересчур парадный образ, приходится преодолевать высоченные барьеры недомолвок и умолчаний, тогда как в случае с Уэллсом ничего преодолевать не надо, он сам услужливо подсовывает биографам материал — смотрите все, какой я скверный!

Итак, разбираемся с маленьким фашистом: он прочел в книге Дж. Р. Грина «Краткая история английского народа», что англичане принадлежат к великой нордической расе, которая лучше, чем латинская, славянская или еврейская, и был горд тем, что ему посчастливилось принадлежать к великому народу, а не просто к какому-нибудь так себе народишку. В мечтах он видел себя полководцем, диктатором или президентом: выигрывал сражения, брал города, и великие сего мира подобострастно приветствовали его. Он воображал себя всемогущим властелином, судил и миловал, казнил врагов и разъяснял всем, как велик английский народ. Ему было тринадцать лет. Трудно найти какого-нибудь выдающегося человека мужского пола, который не припомнил бы, что в тринадцать лет у него были подобные игры и мечты. Но никто, кроме Уэллса, не додумался охарактеризовать это как фашистскую идеологию. Со своим принципом честности он (как мы увидим, не в последний раз) остался в дураках. Сказанное не означает, что Уэллс не занимался самооправданиями и не пытался казаться лучше, чем был. Пытался — всякий раз, когда речь заходила о вещах по-настоящему дурных, — и ему не верили; зато когда он вытаскивал на свет какую-нибудь противную чепуху, верили безоговорочно.

Дети, которые много читают, обычно пытаются писать; в 1879-м, на последнем году обучения у Морли, Герберт сочинил роман-памфлет «Desert Dairy» (игра слов — «молочный десерт» или «молочная пустыня»), полный насмешек над королями, епископами и военными (текст был обнаружен уже после смерти автора и издан в 1957 году). Пародия на войну, описанная в романе, очень напоминала войны, которые Берти разыгрывал в своем воображении, а статьи в газетах «Нейли ньюс» (вместо «Дейли ньюс») и

«Телефон» (вместо «Телеграф») представляли собой неплохие пародии на журналистику тех лет. Текст сопровождался иллюстрациями, причем выполнены они были в двух различных стилях: часть из них, сделанная менее искусно, якобы принадлежала перу автора по имени Басс (одно из домашних прозвищ Берти); другие картинки, нарисованные тщательнее, будто бы нарисовал Уэллс, редактор рукописи, попавшей к нему в руки после того, как «Басс» был помещен в сумасшедший дом и разучился писать. Сложная и оригинальная выдумка для тринадцатилетнего ребенка.

На будущий год Берти завершил курс образования в школе Морли, а его мать получила письмо от мисс Буллок. Старая дева, ставшая после смерти матери мисс Фезерстоноу, предлагала бывшей служанке занять в «Ап-парке» должность экономки. Работа прилично оплачивалась и была престижной для людей уровня Уэллсов. Сара приняла предложение: «Скорбный и затравленный атлас-хаусский взгляд ее приобрел другое выражение, она пополнила, порозовела, стала держаться со спокойным достоинством». Джозеф остался продавать посуду и крикетные биты. Фрэнк и Фред закончили профессиональное обучение и нашли работу продавцов в лавках, торгующих тканями. Тот же путь теперь должен был проделать Герберт. «Не знаю, принадлежал ли к числу суконщиков человек, который в юные годы разбил ее (Сары. — М. Ч.) сердце, но она была убеждена, что носить черный сюртук и черный галстук и стоять за прилавком — это наивысшее достижение для мужчины, во всяком случае, для мужчины нашего круга».

Сара нашла для сына место ученика в магазине Роджерса и Денайера в Виндзоре, неподалеку от дома, где жил ее кузен Томас Пенникот, владелец гостиницы «Серли-Холл» на берегу Темзы, человек зажиточный и

хорошо относившийся к своим бедным родственникам: Берти, как и его старшие братья, гостил у дяди Тома и двух его взрослых дочерей каждое лето. У Пенникотов он читал запоем — Диккенса, Эжена Сю; кузины охотно с ним болтали, брали с собой кататься в лодке. То была абсолютная идиллия — дома, в Бромли, он иногда воображал себе, что сейчас окажется в «Серли-Холле», и ему хотелось кричать от восторга. Теперь он мог проводить в доме дяди каждое воскресенье.

Продавцы и ученики продавцов в те времена обычно жили при магазинах (это касается как маленьких лавок, так и появлявшихся уже универмагов): в комнате с Берти размещались еще восемь человек. Кормили всех в общей столовой три раза в день. Берти должен был стать кассиром: получать деньги, давать сдачу и заносить приход в бухгалтерскую книгу. Ему также поручалось делать уборку в магазине. Называлось это все ученичеством; мальчику или юноше, числившемуся в учениках, за его труд не платили, а, напротив, его родители платили за то, что он в будущем сможет работать продавцом. Берти Уэллс на это оказался не способен. Математику он любил, но деньги считать не умел: в его кассе постоянно обнаруживались мелкие недостатки. Он был рассеян, невнимателен, нерасторопен, от работы старался увильнуть, прячась на складе среди тюков с тканями: там можно было почитать учебник алгебры или приключенческий роман. По воскресеньям он пешком отправлялся в «Серли-Холл». Осенью его обвинили в растрате — доказать обвинение не удалось, но все же его выгнали. По мнению хозяев, даже если он не был вором, из него все равно не могло получиться хорошего продавца. Он и сам так считал. Впоследствии он отзывался о магазинах с ненавистью, а о работе продавца — с презрением.

Берти радовался, что его прогнали, а его мать была в отчаянии. Отец обратился к бывшим партнерам по

крикету, среди которых были богатые люди, с просьбой устроить сына банковским клерком, но ответа не получил. На помощь пришел очередной «дядя» — Уильямс, деверь дяди Тома, человек, известный миру как изобретатель, запатентовавший школьную парту со встроенной чернильницей: «Он учительствовал в Вест-Индии и был человеком скорее блестящим и авантюристическим, чем надежным и добродетельным». Зимой 1880-го Уильямс открыл в Сомерсете школу под названием «Вуки»; он предложил Герберту стать помощником учителя. Возраст мальчика никого не смущал: после издания закона 1871 года о всеобщем обязательном обучении такого рода помощники были в школах не редкостью (квалифицированных учителей не хватало); после четырех лет стажа ассистент-подросток уже мог сдавать экзамены на звание учителя младших классов. Дядя Уильямс, вольнодумец и насмешник, Берти очень понравился; этот персонаж оживет в текстах Уэллса не однажды. Они были довольны друг другом. Но с работой все вышло не так хорошо. Новый помощник учителя оказался весьма строгим педагогом: чтобы поддержать дисциплину, он постоянно дрался со своими учениками. Случалось, что потасовка между учителем и учащимся (последний мог быть на голову выше и сильнее) выходила из пределов класса и продолжалась посреди деревни, к неопишуемому удовольствию остальных школьников. Недовольны были только взрослые: по их мнению, учитель должен бить ученика в стенах школы, а не гоняться за ним по улице. Дядя Уильямс сказал, что Герберту «не хватает такта».

Исправиться Берти не успел: оказалось, что Уильямс открыл школу, не имея лицензии, и через два с половиной месяца был вынужден ее закрыть. Расстроенная Сара договорилась с мисс Фезерстоноу, что мальчик до весны проживет с ней. В «Ап-парк» он

ехал через Виндзор — предполагалось, что погостит у дяди Тома. Но «Серли-Холл» умер — хозяин его обанкротился, дочери уехали. «Музыка и песни, лунный свет на лужайке, незабудки среди осок и белые лилии в коричневых заводах — все ушло в прошлое».

Он обосновался в «Ап-парке»: царил среди многочисленных слуг, развлекал их байками, выпускал для них юмористическую газету с рисунками и устраивал представления театра теней. Это были роскошные каникулы. У Берти не было хозяйственных обязанностей, никто его не ругал, он перестал чувствовать себя ничтожеством; подобно своей матери, он расцвел. Покойный отец хозяйки собрал великолепную библиотеку; мисс Фезерстоноу позволяла Берти брать любые книги. Он прочел всего Свифта и начал знакомство с Платоном и Вольтером. На чердаке отыскал альбомы гравюр по ватиканским фрескам Рафаэля и Микеланджело и просиживал над ними часы. Все места, где он бывал до сих пор — кроме «Серли-Холла», — были воплощением уродства; «Ап-парк» олицетворял красоту, счастье и уют. Жизнь английского поместья Уэллс всегда считал идеалом человеческого существования: «Именно деревенское поместье открыло путь к человеческому равенству, осуществимому не путем демократии, устанавливаемой рабочим классом, а через подтягивание всего населения до уровня джентри. <...> Помещичий дом явился экспериментальной ячейкой будущего современного государства». Утверждение спорное, но самому Берти жизнь в «Ап-парке» позволила подтянуться вверх. Эта зима, когда он мог спокойно читать, дала ему в интеллектуальном плане не меньше, чем школа Морли.

В феврале 1881 года Берти пристроили помощником аптекаря Кауэпа в Мидхерсте, где родилась его мать. В его обязанности входили уборка аптеки, обслуживание



покупателей; следовало бы ожидать, что он будет так же несчастен, как в магазине Роджерса и Денайера. Но получилось иначе. Он привязался к Кауэпу, авантюристу и мечтателю, и его жизнерадостной жене. На выходные он мог пешком ходить в «Ап-парк». Фармакология его заинтересовала, ведь это была наука: он хотел поступить в учение к Кауэпу, чтобы стать квалифицированным аптекарем, но это оказалось слишком дорого. Об этом он тоже напишет роман — «Тоно-Бенге» (Тono-Bangay), — там аптекарь Пондерво изобретет чудо-микстуру и разбогатеет. В жизни так не вышло. Микстуру Кауэп изобрел, но не разбогател, а от Берти избавился, едва тот сказал, что платить за обучение не сможет.

Пока Берти работал в аптеке, ему сильно мешало незнание латыни: Кауэп, тогда еще рассчитывавший, что юный Уэллс станет его учеником, договорился с директором местной государственной школы Байетом о том, что мальчик будет брать у него уроки. Байет был человек умный, мальчишка ему понравился: в отличие от его обычных учеников, тот явно хотел учиться. Так что когда Берти ушел от Кауэпа, Байет временно приютил его. Два месяца он прожил при школе, прослушав курс математики и латыни и самостоятельно по учебнику изучив курс физиологии. Байету способный ученик был не только приятен, но и отчасти выгоден. В те годы британское министерство образования начало внедрять систему вечерних классов: «вечерники», прослушав краткий курс обучения, сдавали экзамены, и за успешную сдачу государство платило преподавателям. В мае 1881 года учащийся Уэллс проэкзаменовался блестяще, порадовав и душу Байета, и его кошелек.

Теперь Берти точно знал, что хочет учиться дальше. Но Сара по-прежнему видела его продавцом. Управляющий «Ап-парка», прослышав о ее

затруднениях с сыном, рекомендовал Уэллса своему знакомому Хайду, владельцу большого мануфактурного магазина в пригороде Портсмута Саутси, крохотном курортном городке. Так далеко от дома — сто пятьдесят километров — Берти никогда еще не уезжал. Он пытался взбунтоваться, но слезы Сары вынудили его капитулировать. Взрослый Уэллс пишет, что бунтовал не против матери, а против «порядка вещей», согласно которому дети из богатых семей, бывшие ничуть не умнее его, могли поступать в университеты, тогда как он в четырнадцать лет был обречен на «безотрадное и не сулящее лучшего будущего существование». Его определили в ученики на четыре года — он чувствовал себя приговоренным к пожизненному заключению. Хайд, в отличие от Роджерса и Денайера, оказался прогрессивным и заботливым хозяином, бытовые условия для служащих у него были по тем временам просто сказочные: отдельные комнатки, хорошая столовая, даже библиотека. Но Берти страдал сильнее, чем в прошлый раз. Во-первых, из-за удаленности Саутси от Лондона он не мог по выходным навещать родню; во-вторых, его уже успела поманить иная, лучшая жизнь; в-третьих, он стал старше и понял, что чудес не бывает и спасения ждать неоткуда.

Кассу ему на сей раз, к счастью, не доверили. Он занимался уборкой, приносил со склада товары, бегал в другие магазины с поручениями, иногда относил в банк деньги — два последних занятия его радовали и он старался шлаться по городу как можно дольше. Рабочий день длился 13 часов с двумя короткими перерывами на еду. Так прошел год; потом наняли нового юного ученика, и Берти уже не был самым младшим: с поручениями на свободе бегал другой ребенок, а он был вынужден безвылазно торчать в магазине. Он не умел красиво разложить ткань, то и дело удирали на склад, чтобы почитать (не беллетристику, которой была полна

библиотека Хайда, а научно-популярную литературу — так он сам себе приказал). Он прятался, его находили; он не мог и не пытался скрыть отвращения к работе. Каждый день он получал выволочку. Чувствовал, что долго не выдержит, ночами думал о самоубийстве, плакал. На праздники — Пасху и Троицу — он ездил к брату Фрэнку, который служил продавцом в Годалминге. Детские ссоры давно забылись, братья были очень привязаны друг к другу. Герберт жаловался, говорил, что не хочет быть продавцом, Фрэнк жалел его, но не представлял, как можно этого избежать.

Возможно, Герберт в конце концов решил бы, что он сумасшедший — никто не понимал, как можно не хотеть служить в магазине, но среди персонала обнаружился юноша, который мечтал стать священником и тоже читал книги. Дружба с ним подтолкнула Уэллса к решительным действиям: он отправил письмо Байету в Мидхерст и просил вновь принять его помощником учителя. Тот согласился. Мать, узнав об этом, пришла в ужас — ведь она уже заплатила Хайду 40 фунтов. Она умоляла потерпеть. Но Берти видел, что если не вырвется из капкана теперь, в дальнейшем сделать это будет труднее, потому что он отупеет и забудет все, что знал. Отец сперва поддержал его; мать объяснила отцу, что он неправ, и тот с легкостью переменял свое мнение. Тогда Берти счел Джозефа предателем. «Этот человек стоит на моем пути», — написал он Фрэнку; некоторые биографы делают из этого вывод о том, что Герберт Уэллс своего отца ненавидел, забывая, сколько ему было тогда лет. Берти впал в отчаяние: «Если жизнь не хороша, зачем жить?» Он принял «твердое» решение покончить с собой и, надеясь, как любой ребенок, что его остановят, сообщил о своем намерении матери. Разумеется, Сара уступила шантажу. В июле 1883 года Берти уехал в Мидхерст. Занятия в школе

начинались в сентябре — ему как раз должно было исполниться семнадцать.

Его должность в школе Байета называлась «ассистент-практикант». Байет назначил ему жалованье — 20 фунтов в первый год с последующим увеличением. Он снимал у владелицы кондитерской комнату пополам с другим ассистентом, Харрисом. Хозяйка была добродушна и кормила постояльцев как на убой. Герберт ежедневно присутствовал на уроках Байета, учился у него методике преподавания и параллельно вел уроки: в дневных классах математику, в вечерних — биологию, физику и химию. Педагог из него по-прежнему был не ахти какой: он быстро раздражался и, требуя тишины, начинал отвешивать тумачи направо и налево. Но излагать предмет доступно и внятно Байет его научил, и в этом он даже превзошел своего педагога, поскольку любил и умел все «раскладывать по полочкам» — как раз то, что нужно школьному учителю.

Свою жизнь в Мидхерсте он тоже разложил по полочкам: составил программу самообразования и распорядок дня и повесил на стену. Этот документ будет фигурировать в романе «Любовь и мистер Люишем» (Love and Mr. Lewisham): «Мистеру Люишему надлежало вставать в пять утра, а свидетелем тому, что это не пустое хвастовство, был американский будильник, стоявший на ящике возле книг. Подтверждали это и кусочки шоколада на бумажной тарелочке у изголовья постели. „До восьми — французский“ — кратко извещало расписание. На завтрак полагалось двадцать минут; затем двадцать пять минут — не больше и не меньше — посвящалось литературе, то есть заучиванию отрывков (в основном риторического характера) из пьес Шекспира, после чего следовало отправляться в школу и приступать к выполнению своих непосредственных обязанностей. На

перерыв и час обеда расписание назначало сочинение из латыни (на время еды, однако, предписывалась опять литература), а в остальные часы суток занятия менялись в зависимости от дня недели. Ни одной минуты дьяволу с его искушениями. Только семидесятилетний старец имеет право и время на праздность». Программа была всеобъемлющей: в котором часу надлежит чистить зубы и в каком году поступать в университет, к какому сроку выучить тот или иной иностранный язык или «ознакомиться с либеральными брошюрами».

Уэллс говорит, что свои бесчисленные схемы и программы он составлял не потому, что был организованным человеком, а, напротив, чтобы бороться с собственной безалаберностью. «Не могу сосредоточиться, — сказал мистер Люишем. Он снял свои бесполезные очки, протер стекла и сощурился. Проклятый Гораций с его эпитетами! Пойти разве погулять? Не поддамся, — заупрямился он, нацепил на нос очки и с воинственной решительностью, положив локти на ящик, вцепился руками в волосы... Через пять минут он поймал себя на том, что следит за ласточками, скользящими в синеве над садом священника».

Программа предписывала читать только полезные книжки; благодаря этому интеллектуальный багаж Герберта Уэллса был к восемнадцати годам уложен совсем неплохо. Он упоминает в автобиографии книги, которые оказали на него влияние. Прежде всего это работы Александра фон Гумбольдта, немецкого ученого-энциклопедиста: его труд «Космос», публикация которого началась в 1845 году, представлял собой свод знаний по всем отраслям тогдашней науки. «Космос» сильно устарел уже в ту пору, когда Берти Уэллс читал его, но такие книги — где написано «про все» — он всегда очень любил. Другой источник — «Республика» Платона. Крепче всего

запали в душу молодому Уэллсу три платоновские идеи: 1) частная собственность — это нехорошо; 2) главнейшая отрасль деятельности государства — педагогика; 3) управлять обществом должен специальный класс интеллектуалов. Е. Н. Орлова, автор книги о Платоне, пишет, что «увлеченный своими высокими идеями о государстве, Платон создал не только воображаемое общество, но и воображаемых человеческих существ. Он лишил их плоти и крови и сделал какими-то ходячими единицами, имеющими значение лишь постольку, поскольку они идут на составление общей суммы — государства»; в этом часто обвиняют и Уэллса.

Дальше он называет Перси Биши Шелли, проповедовавшего политические свободы, Роберта Оуэна, Томаса Мора, Дарвина, разумеется, и, наконец, любимца Льва Толстого, американского экономиста Генри Джорджа, в книге «Прогресс и бедность» доказывавшего, что земля должна находиться не в частной, а в государственной собственности. Все эти идеи Герберт пылко обсуждал со своим соседом Харрисом — оба верили, что справедливое общество появится уже через несколько лет. Он писал, что в Мидхерсте всегда был счастлив: «Думаю, там тоже иногда шел дождь, но мне запомнились только солнечные дни». Но был и черный день — когда ему впервые пришлось сознательно поступиться убеждениями.

Сара Уэллс была очень религиозна (она принадлежала к англиканской церкви — гибрид католичества и протестантизма, более близкий к католичеству), но если до смерти малышки Фрэнсис ее религиозность была доверчиво-жизнерадостной («она верила, что Отец Небесный и Спаситель лично и порой с помощью подвернувшегося под руку ангела заботятся о ней...»), то потом она приобрела мрачный характер, и

все попытки привить младшему сыну благочестие приводили к обратному результату: «Мое сердце она не сумела затронуть потому, что и сама лишилась прежней благодати». (Что касается Джозефа, то он был обычным христианином, то есть принимал свою религию как данность и ни в малейшей степени ею не интересовался.)

Берти с детства усвоил одно: Бог — это наказания, ужасы, адские муки. Этого Бога он боялся и ненавидел, «как злобного старого шпиона». Он пишет, что, когда ему было двенадцать лет (в этом возрасте дети обычно перестают бояться темноты), он перестал бояться Бога, хотя все еще верил в его существование. Сложную понятийную систему христианства Сара не сумела ему объяснить — и он никогда не мог поверить в Троицу. «Порой я обнаруживал, что молюсь — некоему Богу вообще. Он оставался для меня Богом, рассеянным в пространстве и времени, но все же мог откликнуться или волшебным образом изменить порядок вещей». Берти учился хорошо и без божьей помощи — но однажды на экзамене по бухгалтерии ему пришлось молить Бога вступить за него. Тот не откликнулся — и Берти понял, что от молитв проку нет. Но безбожником не стал. Он просто перестал об этом думать.

Потом на него оказал влияние дядя Уильямс, который «был большим насмешником и презирал церковь и церковников». Потом он прочел Дарвина и антиклерикальные памфлеты Свифта. Религия — обман, церковники — дурные люди; но к Богу это все не имело отношения. В Саутси Герберт чувствовал себя одиноким, а двое служащих, которые проявили к нему интерес, оказались религиозны и пытались наставить его на путь истинный. Но сделать это было трудно, поскольку в Саутси проповедовали представители разных церквей и Берти слушал их всех подряд, а все они ругали друг друга. Католический проповедник, с

упоеанием рассказывавший об адских муках, Берти особенно разозлил: ему казалось, что католики перепутали Бога с дьяволом. Но сам он оставался в сомнениях. Бога нет — или просто люди, вещающие от его имени, являются шарлатанами? В газетном киоске Берти покупал журнал «Свободомыслящий», где печатались карикатуры на священников; от карикатур он был в восторге, но они ничего не проясняли. «Если Бога нет, то на чем держится Вселенная и кто ею управляет? Когда она возникла и куда движется?» В Саутси ему полагалось пройти конфирмацию и стать прихожанином англиканской церкви; его отправили к викарию. Он сказал, что верит в эволюцию и поэтому не может верить в грехопадение и другие мифы. Викарий не смог его переубедить. Конфирмация не состоялась.

Теперь, в Мидхерсте, ему пришлось снова пройти через это: устав школы Байета требовал, чтобы каждый учитель принадлежал к англиканской церкви. Байет сказал, что конфирмоваться «надо»: вопросы веры при этом разговоре не затрагивались. Опять споры с викарием: оба понимали, что «надо», викарий старался решить вопрос как можно формальнее, Берти пытался втянуть его в дискуссию. Никто не победил: Берти встал на колени, принял причастие, но англиканская церковь не приобрела нового члена. Эту сделку с совестью он воспринял как страшнейшее унижение; стыд терзал его всю жизнь. Да, его загнали в ловушку — а все-таки он не насилью уступил, а солгал из выгоды.

Он преуспел: малыши в конце концов стали его слушаться, а «вечерники», которых он вел, сдали майские экзамены превосходно. Байет был весьма доволен ассистентом, но ассистент уже не был доволен своим местом. Должность школьного учителя, о которой он мечтал, будучи продавцом, теперь не представлялась ему верхом счастья. А не замахнуться ли на университетское образование? Возможность



представилась: неугомонное министерство образования затеяло новый эксперимент. (Уэллс впоследствии много ругал британское образование, но оно старалось для него как умело.) В целях повышения квалификации учителей государственных школ для них учредили бесплатные вакансии в высших учебных заведениях. Несколько таких вакансий открылись в Нормальной научной школе (Normal School of Science). Это учебное заведение было основано в Сауз-Кенсингтоне (район Лондона) в 1881 году и по существу представляло собой педагогический факультет Лондонского университета. В Нормальной школе, или, как ее чаще называли, «Сауз-Кенсингтоне», было три курса: биологический, геологический и физико-астрономический. Обучение на каждом длилось год, студент, поступивший на один курс, в случае успешной сдачи экзаменов, переходил на другой, а окончив все три, получал университетский диплом. Народу там училось немного: 20–30 человек на каждом курсе; среди них примерно половина происходила из той же социальной среды, что и Уэллс.

Герберт, как и его ученики в школе Байета, проэкзаменовался с блеском и был зачислен в Нормальную школу. Ему повезло: вакансия со стипендией нашлась на курсе биологии, куда он и хотел попасть. На каникулы он поехал сперва к матери в «Аппарк», затем к отцу в Бромли. Он не жил вместе с отцом больше трех лет и за это время почти не виделся с ним. Он всегда терпеть не мог мрачный Бромли и тоскливый «Атлас-хаус» — но тем летом ему там неожиданно понравилось. Без жены Джозефу Уэллсу жилось лучше. Он сам стряпал (гораздо искуснее, чем Сара), жил на те крохи, что выручал от продажи крикетных принадлежностей, имел кучу приятелей и был счастлив. С сыном они читали книги и обсуждали их, играли в шахматы и шашки — младший всегда проигрывал. Брали с собой еду и уходили на целый день гулять по

окрестным полям; Лондон уже почти поглотил Бромли, но приметливый Джозеф показывал сыну то гнездо синицы, то росянку, то белый гриб. Взрослый Уэллс признает, что никогда не был наблюдателем, не замечал этих любопытных и прелестных мелочей. Кто-то другой — отец, друг, подруга — всегда должен был говорить ему «смотри-ка!»; сам он был этой способности лишен, все его знания шли «из головы»: «Мой ум стал организованным, потому что я не отличался живостью реакций». Страшноватое признание для писателя. Взрослый Уэллс вспоминает о своем разговоре с Джозефом Конрадом: они были на пляже, на волнах покачивалась лодка, и Конрад предложил коллеге описать ее. Уэллс отказался: «Пока она мне не важна, я и не подумаю удостоить ее особых слов».

Он провел с отцом вторую половину лета. Байет надеялся на то, что его ассистент повысит квалификацию и снова будет работать в Мидхерсте: ведь жалованье на второй год увеличивалось вдвое. Но ассистент не собирался возвращаться. Ему полагалась стипендия — один фунт в неделю и бесплатный проезд до Лондона. Он приехал; о том, что будет с ним дальше, он, при всей своей любви к планам и программам, даже не задумывался. «Когда я, худущий, лохматый мальчишка, просунулся со своей черной сумкой в ее (Нормальной школы. — М. Ч.) двери, у меня возникла мысль, что наконец-то я буду защищен и руководим... Я думал, что Нормальная школа знает, что со мной делать».

## **Глава вторая ПРЕПАРАТ ПОД МИКРОСКОПОМ**

Если какой-нибудь Замечательный Человек учился в высшем учебном заведении — будьте уверены, там он

неприменно встретил столь же замечательного учителя. Герберт Уэллс не исключение, а имя учителя — Томас Генри Хаксли<sup>[13]</sup>. Блистательный самоучка, оставивший школу в 10 лет, в 20 Хаксли за работу по анатомии получи,! золотую медаль Лондонского университета, а в 25 был избран членом Лондонского королевского общества; он состоял членом правления Итона, Лондонского университета и Оуэнз-колледжа, был ректором Абердинского университета, профессором Королевского хирургического колледжа. Его считают лучшим специалистом по сравнительной анатомии второй половины XIX века. В 1859-м, когда Дарвин опубликовал «Происхождение видов», Хаксли стал главным защитником эволюционной теории и пошел дальше Дарвина в своих выводах: именно ему человечество обязано знанием (для многих неприятным) о своем происхождении. В 1863-м он издал работу «О положении человека в ряду органических существ» и вступил в полемику с деятелями церкви, не прекращавшуюся до самой его смерти. Он положил начало династии ученых и литераторов: среди его потомков, кроме писателя Олдоса Хаксли — Эндрю Хаксли, физиолог, нобелевский лауреат, и Джулиан Хаксли, первый генеральный директор ЮНЕСКО.

В Нормальной школе Хаксли был деканом биологического факультета. Ему было уже 60, когда Герберт Уэллс начинал учиться; Герберт прослушал 19 лекций Хаксли, после чего тот заболел и его заменил другой преподаватель<sup>[14]</sup>. Впоследствии Уэллс отзывался о Хаксли как о «тонком наблюдателе, способном к широчайшим обобщениям», блестящем полемисте и великом педагоге. «Год, который я провел в ученичестве у Хаксли... выработал во мне стремление к последовательности и к поискам взаимных связей между вещами, а также неприятие тех случайных

предположений и необоснованных утверждений, которые и составляют главный признак мышления человека необразованного, в отличие от образованного».

Годичный курс обучения включал в себя лекции и лабораторные занятия по ботанике, зоологии, анатомии, гистологии и смежным дисциплинам. Герберт впервые попал в настоящую исследовательскую лабораторию, где резали не только лягушек, и воочию увидел доказательства правоты Дарвина и Хаксли. Его рассказ об уроке анатомии приводит в своей книге Джефффри Уэст: «Я осознал, что человек является существом, занимающим строго отведенное ему место в грандиозной схеме мироздания. Я дотошно изучил его, конечного и неоконченного, плод компромисса и приспособления. Я рассматривал развитие его легких из плавательного пузыря шаг за шагом, со скальпелем и пробами, и примерно у одного из дюжины я видел червеобразный отросток слепой кишки, этот атавизм, и замечал, как жабры постепенно превращаются в ушные раковины, а челюсти рептилии, покинувшей водную среду, преобразуются в другие органы».

Свой быт в Сауз-Кенсингтоне, круг занятий и новых знакомых Уэллс описал в романе «Любовь и мистер Люишем» и рассказе «Препарат под микроскопом»: себя он не приукрасил, изобразив юного карьериста, острого на язык, угрюмого, отчаянно комплексующего и неприятного в общении. «Эта скотина Люишем — ужасный зубрила. В прошлом году он был вторым. Долбит изо всех сил. Но все эти зубрилы — страшно ограниченные люди. Экзамены, Дискуссионный клуб, снова экзамены. Они, наверное, и слыхом не слыхали, как живут люди. За целый год и близко-то к мюзик-холлу не подойдут». «В каждом, кто плохо одет или плохо выбрит — начиная с сапожника и кончая кучером

— Хилл<sup>[15]</sup> видел брата и товарища по несчастью. Он стал, так сказать, защитником всех отверженных и угнетенных, хотя со стороны казался просто самоуверенным, дурно воспитанным молодым человеком».

Однако же близким другом этот молодой человек обзавелся очень быстро. Студент Дженнингс был из хорошей семьи, получил, в отличие от Герберта, добротное классическое образование — и тем не менее выбрал в друзья дурно воспитанного Уэллса. «Ему нравились мои богохульства и мое несоблюдение приличий в разговоре, и он принимался в таких случаях одобрительно хихикать, а когда мы преодолели мою застенчивость, то начали обсуждать религию, политику и науку». Тут мы наталкиваемся на противоречие. Каким он был, этот Уэллс? Вроде бы он был застенчив (и от этого — резок и груб), нескладен, страдал из-за своей бедности, стремился всех эпатировать и тем отталкивал людей от себя. Тогда почему у него везде, куда б он ни попадал, моментально появлялся друг, а то и несколько, причем друзья эти, как правило, были хорошо воспитанные, добрые, рассудительные? Понять это так же трудно, как и то, что очаровательные женщины будут толпами бегать за ним. Один из друзей Уэллса по Нормальной школе вспоминал, что Герберт с первого взгляда поражал дружелюбием, юмором и способностью вести увлекательный разговор; впоследствии многие охарактеризуют его как блестящего собеседника, остроумца, обладавшего громадным обаянием. По-видимому, это обаяние было того неуловимого, летучего свойства, которое невозможно передать; со смертью своего носителя оно растворилось в воздухе — нам остается только верить, что оно было, и пытаться поймать хотя бы малый его отблеск.

У Дженнингса водились деньги, и он подкармливал тощего и скверно одетого друга. У самого Уэллса лишних денег не бывало. Воротничок у него был всего один, ботинки худые, питался он преимущественно полупенсовыми булочками. Фунт в неделю — это вроде бы немало, иные из знаменитых современников в юности неделю жили на семь шиллингов<sup>[16]</sup>; но львиная доля стипендии Герберта уходила на квартплату, так что на все прочее оставались те же семь шиллингов. Общежитий студентам не полагалось, каждый устраивался как мог. Сара попросила дочь своей подруги, жившую на улице Уэст-борн-парк, от которой можно было пешком дойти до Нормальной школы, взять сына квартирантом: ей казалось, что так он будет под присмотром. Она просчиталась: и сама хозяйка, и ее приятельница, совместно с которой та владела домом, и их мужья высокой нравственностью не отличались. Все много пили; пока мужчины были на работе, дамы выходили искать развлечений, в выходные все вместе отправлялись в мюзик-холл. Скандалы вспыхивали чуть не каждый день.

Разумеется, возвышенный Герберт должен был бежать от такой жизни. После лекций он занимался в библиотеке; когда она закрывалась, возвращался домой и садился со своими конспектами на лестничной площадке, где также делали уроки дети хозяйки. Потом Дженнингс заходил за ним и они гуляли по Лондону; утром хозяйка кормила его завтраком, и он убегал на занятия. Поскольку он называл обстановку на Уэст-борн-парк мерзкой, то выходные дни, надо полагать, проводил в музеях, стоя перед прекрасными полотнами или изучая какой-нибудь древний череп. Но, оказывается, все не так: в субботу хозяева приглашали его прошвырнуться по магазинам и зайти в пивную — он охотно составлял им компанию. Может быть, он

поступал так, потому что ему было некуда деваться? Но он сам пишет, что «находил какое-то удовольствие в том, чтобы шлаться с этой разряженной компанией, бешено торговаться в лавках, задирать прохожих, хохотать над грубыми уличными сценками». Что ж, это нетрудно понять: вырос среди лавочников, подобный образ жизни для него был естествен... А на следующей странице он называет этих людей «превосходившими своей низостью, грубостью и животной сущностью все, что когда-либо видел», и говорит, что задыхался от омерзения. Вот и пойми его...

В Нормальной школе был Дискуссионный клуб: Герберт стал его членом. Собиралось это студенческое общество в одной из подвальных аудиторий: кто-нибудь читал доклад, затем начинались прения: «Нам не разрешалось затрагивать религию и политику, остальная вселенная была в нашем распоряжении». Уэллсу вселенной было мало, он хотел критиковать церковь; однажды, когда он попытался это сделать, его вытолкали из аудитории пинками. Несмотря на этот инцидент, его признавали одним из лучших ораторов. «Ум у него был острый и быстрый, — вспоминал один из сокурсников. — Его сарказм никогда не ранил тех, против кого был направлен, потому что он все смягчал своим юмором и говорил правду. Он нападал на условности, фальшь и притворство... и разрушал устоявшиеся мнения».

В Дискуссионном клубе Герберт нашел новых друзей, отношения с которыми сохранит на всю жизнь: Уильям Бертон (впоследствии ученый-химик), Морли Дэвис (будущий выдающийся палеонтолог), Ричард Грегори (в дальнейшем астроном, председатель Британской ассоциации развития науки), и еще девушка — ее зовут мисс Хейдингер в «Мистере Люишеме» и мисс Хейсмен в «Препарате под микроскопом», а настоящее ее имя Элизабет Хили. У героя и героини

общие идеи (прогресс, справедливость и т. д.), они симпатизируют другу — но в обоих текстах героиня влюблена, а для героя она просто товарищ. Несмотря на то, что жизнь Уэллса изучена до мелочей, неизвестно, любила ли его Элизабет или он выдавал желаемое за действительное. В автобиографии он с теплотой, но очень мало упоминает о мисс Хили, а между тем он до самой смерти будет вести с этой женщиной интенсивную переписку и делиться с нею абсолютно всем.

Весной 1885-го в жизнь Герберта вмешалась другая молодая женщина — его двоюродная сестра со стороны отца Дженни Галл. Она служила продавщицей в магазине готового платья; Герберт бывал у нее в гостях, водил ее в мюзик-холл или на прогулки. В доме, где он жил, заниматься было невозможно, и Дженни, выслушав его жалобы, заявила, что необходимо сменить квартиру. Еще одна лондонская родственница Джозефа, «тетя Мэри», вдова, проживавшая с дочерью и незамужней сестрой, сдавала комнаты: Берти переехал к ним, на Юстон-роуд. Дом был еще беднее — и там и там не было прислуги, хозяйки всю работу делали сами, но на Уэстборн-парк все-таки пытались неплохо и посещали мюзик-холлы, а на Юстон-роуд царила почти что нищета. Герберту отвели спальню на втором этаже, а зубрил он вечерами в кухне. (Почему все эти викторианские студенты занимались в кухнях, передних и на лестничных клетках, если у них были свои комнаты? Ответ прост: они занимались там, где топили и где было газовое освещение.) Иногда Герберт уходил читать в свою спальню, но он при этом зажигал свечку, заворачивался в одеяло и у него зуб на зуб не попадал. Но в этом доме он прижился. Атмосфера была домашняя, жильцы спокойные. А главное, там он встретил любовь — другую свою кузину Изабеллу Уэллс, дочь тетушки Мэри.



Девушка работала ретушером в фотографическом ателье и посещала студию рисования; он встречал ее после работы или занятий, и они гуляли по городу. «У нас с самого начала возникло ощущение родства, которое, несмотря на все наши ссоры, женитьбу и развод, делало нас добрыми друзьями, сохранившими доверительность отношений до самого конца ее жизни, правда, я думаю, что нам с первой встречи лучше было бы оставаться братом и сестрой, тогда как ближайшее соседство, уединенная жизнь и необходимость навязали нам роль любовников». Уэллс написал о своих отношениях с первой женой много и вроде бы откровенно; тем не менее понять суть этих отношений затруднительно (его «самопрепарирование» многие вещи не проясняет, а затемняет): то он утверждает, что привязанность их была братской, то говорит, что это была безумная страсть без малейшего духовного родства; на одной странице Изабелла предстает ангелом, на другой — мещанкой, стремящейся низвести любимого до собственного уровня; герой пытается разложить свою любовь по полочкам, запутывается сам и запутывает биографов. Если же не усложнять, а, напротив, упростить ситуацию до уровня любимых Уэллсом схем, получается следующее: он любил, она позволяла любить себя. Изабелла была равнодушна к книгам. Ее представления о счастье были обычны: замужество и «приличная жизнь». Она не хотела связи вне брака, и в этом они с Гербертом расходились: ему импонировала идея «свободной любви». Характер у Изабеллы был твердый — и все получилось так, как она хотела.

Годичный курс обучения подошел к концу; Герберт сдал экзамены «по первому классу», то есть получил более 80 процентов оценок «отлично». Конечно, он хотел бы продолжить обучение биологии в Лондонском университете, но это было невозможно;

экзаменационная комиссия отправила его на второй курс — физики, где деканом и основным лектором был Фредерик Гатри. В отличие от Хаксли это был ничем не примечательный профессор. Герберту лекции Гатри казались скучны и он ими пренебрегал; с лабораторными занятиями он не справлялся, опыты находил дурацкими. Руки у молодого Уэллса были «как крюки», все практическое вызывало у него неприязнь (так что хорошим анатомом или зоологом он бы все равно не стал); он хотел заниматься только теоретической наукой, областью чистых идей. Он мечтал, чтобы ему показали всеобъемлющую картину мира, научили одним взором постичь «все» — а ему преподавали разрозненные сведения и приказывали выполнять бесполезные задания. Велят, например, изготовить барометр — зачем это нужно ученому, ведь он не стеклодув! Он требовал, чтобы физика ответила ему на вопрос о соотношении между детерминизмом и свободой воли, а его вместо этого заставляли учить электрические или оптические формулы. Он стал прогуливать занятия, пререкался с преподавателями, на лекциях Гатри демонстративно читал книги по другим предметам, играл в карты с сокурсниками — только что кнопок на сиденье профессору не подкладывал (если бы подкладывал — не преминул бы написать об этом). Обыкновенный студент? Обыкновенный, да не совсем: зимой 1886 года он «от нечего делать» сдал экзамен по немецкому языку, выученному им самостоятельно, в Лондонском университете (там экзаменоваться могли все желающие). Но заплатить за обучение в университете он не мог.

Уже к концу второго года учебы Нормальная школа его разочаровала. Он ожидал, что наставники будут все как на подбор гениальные ученые, а они оказались обыкновенными людьми. Он надеялся, что Нормальная

школа «знает, что с ним делать», а его предоставили самому себе. «Здесь нет разумной цели, объединяющей идеи, философской базы, социальной направленности, способных сделать колледж чем-то единым. А я не вижу иной надежды организовать и подчинить себе мировой порядок, кроме как через объединение педагогического и философского процессов». Конечно, для человека, намеревающегося подчинить себе мировой порядок, всякое техническое или естественное образование будет недостаточным. Его интересовали философия, социология, педагогика (но не политика и не экономика — в этих дисциплинах он до конца своих дней разбирался слабо).

Отдушиной оставался Дискуссионный клуб — там он в 1885-м прочитал доклад «Прошлое и будущее человеческой расы». Сперва он констатировал, что с развитием цивилизации человек уже изменился физически, но это пустяк по сравнению с тем, как еще ему предстоит измениться, приспособляясь к окружающей среде. Руки станут сильнее и гибче, прочие мускулы ослабнут, мозг увеличится, а с ним и голова; рот будет маленький, потому что с его помощью будут только разговаривать, но не есть — пищеварительного аппарата не станет вовсе и питательные вещества будут усваиваться через кожу; эмоции угаснут, способность к логическому мышлению возрастет. Ничего особенно оригинального он не выдумал — в конце XIX века многие видели будущего человека примерно таким. Основные положения этого доклада двумя годами позднее повторятся в ироническом эссе «Человек миллионного года» (The Man of the Year Million). Но об эволюции человека Уэллс уже тогда задумывался всерьез и уже тогда выразил сомнение в том, что этого человека будет правомерно назвать человеком, а не новым видом.

Он был обижен обществом, считал себя гадким утенком — естественно, его привлекал социализм. Неравенство людей — это нехорошо; нужно построить новое, справедливое общество. В Мидхерсте, изучив Платона и Генри Джорджа, он понял, что неравенство порождено частной собственностью, которая есть зло. Дальше можно было пойти в сторону Маркса. Но Маркса он терпеть не мог: называл его «напыщенным, самонадеянным и коварным» и неоднократно говорил, что, не будь Маркса на свете, жизнь была бы значительно лучше. Между прочим, нет никаких свидетельств тому, что он Маркса читал — разве что краткие выдержки из «Капитала», с которыми ознакомился на первом году учебы в Сауз-Кенсингтоне: он «был к тому времени достаточно умственно вооружен, чтобы по достоинству оценить его (Маркса. — М. Ч.) заманчивую, туманную и опасную идею переделки мира на основе одной лишь злобы и разрушения». «Обвинять других и злиться, что все не так, — естественное побуждение всякого человека, попавшего в беду», а Маркс, по мнению Уэллса, коварно играл на подобных чувствах, возникающих у людей из низших классов. На первый взгляд это неприятие марксизма юным Уэллсом кажется странным. Ведь он так остро ощущал себя и свою семью обездоленными, его так злили богатые молодые люди, которым все подносилось на тарелочке; он так мечтал о полной переделке мира и, учитывая его возраст, ему вроде должно было хотеться, чтобы эта переделка совершилась как можно скорей. «Отнять и поделить» — эта идея просто обязана была казаться ему заманчивой. Но дело в том, что бедных он не любил еще больше, чем богатых. «Маркс был за освобождение пролетариата, а я стою за его уничтожение».

Проще всего объяснить неприязнь Уэллса к пролетариату тем, что он по формальным признакам

принадлежал к мелкой буржуазии, а значит, смотрел на рабочих сверху вниз. Но это объяснение верно лишь отчасти — да, происхождение накладывает отпечаток, но Уэллс ведь и мелкую буржуазию не любил тоже (как, впрочем, и крупную: он не жаловал никого, кроме интеллигенции и, как ни странно, помещичьей аристократии). Причина скорее была в том, что он не хотел признавать себя «низшим» и отказывался этим гордиться. «Я никогда не верил в превосходство низших. <...> Пылкая моя душа требовала равенства, но равенства социального статуса и возможностей, а не одинакового уважения ко всем или одинаковой платы; у меня не было ни малейшего желания отказаться от представлений о своем превосходстве и сравняться с людьми, добровольно признавшими свое униженное положение. Я считал, что быть первым в классе лучше, чем быть последним, и что мальчик, выдержавший экзамен, лучше того, который провалился».

Он выбирал не «хижины», населенные необразованными пьяницами и пошлыми женщинами, подобно дому на Уэст-борн-парк, а «дворцы», полные книг и картин, как «Ап-парк». Вольно было Марксу, родившемуся в интеллигентной семье, возлюбить пролетария и его лачугу; а поживи-ка он среди пролетариев сам — так, может, увидел бы, что не дворцам следует объявлять войну? Да, но как же «видел брата в сапожнике, кучере и всяком, кто плохо одет»? Да так, как если бы человек, чей родственник — опустившийся пьяница, злился бы, когда чужаки над этим родственником смеются и показывают на него пальцами.

В Лондоне Герберт надеялся встретить людей, с которыми можно было говорить о переустройстве общества без ограничений, налагаемых Дискуссионным клубом. Вместе с двумя товарищами по клубу, Бертоном и Смитом, они «объявили себя самыми отчаянными

социалистами, в знак чего повязали красные галстуки». Галстуки радовали их несколько дней; потом они поняли, что этого недостаточно. Нужно было искать место, где регулярно собираются единомышленники. Они его нашли — как и большинство мест, где зарождаются социалистические идеи, оно представляло собой не хижину, а богатый особняк в фешенебельном районе Хаммерсмит, и жил там Уильям Моррис — поэт, переводчик, издатель, знаменитый мебельный дизайнер. Одну из оранжерей своего сада Моррис предоставлял для дискуссий, в которых участвовали вольнодумцы всех мастей — атеисты, анархисты, социалисты, политэмигранты, уцелевшие активисты Парижской коммуны, литераторы и художники без определенной партийной принадлежности, но главенствующую роль там играли члены лондонского Фабианского общества.

Это общество было основано в 1884 году литератором Фрэнком Подмором, биржевым брокером Эдвардом Пизом, экономистами Сиднеем Уэббом и Хьюбертом Бландом, женой Бланда Эдит Несбит и Бернардом Шоу; оно существует доныне и в нем состоял, к примеру, Тони Блэр. Свое название фабианство получило от имени римского военачальника Фабия Медлительного; как нетрудно догадаться, отличительная черта этого учения заключается в том, что общественные преобразования должны происходить медленно. «Общество фабианцев имеет целью воздействовать на английский народ, чтобы он пересмотрел свою политическую конституцию в демократическом направлении и организовал своё производство социалистическим способом так, чтобы материальная жизнь стала совершенно независимой от частного капитала», — говорится в программе общества. Фабианство, по мнению Уэллса, — явление очень английское: «Мы, англичане, парадоксальный

народ — одновременно и прогрессивный и страшно консервативный, охраняющий старые традиции; мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма; никогда мы не знали внезапных переворотов. Со времен норманнского завоевания, 850 лет тому назад, у нас менялись династии и церковные иерархии, но чтобы мы что-нибудь „свергли“, „опрокинули“, „уничтожили“, чтобы мы „начали все сызнова“ — как это бывало почти с каждой европейской нацией, — никогда».

Фабианцы были категорическими противниками революций и отрицали классовую борьбу. Классы должны не враждовать, а подтягиваться друг к другу, рабочие будут становиться образованнее и богаче, буржуазия осознает свои обязанности перед обществом, государство станет заботиться обо всех гражданах, — а достичь этой гармонии фабианцы хотели путем просвещения. «Первой ласточкой» социализма они считали муниципальное самоуправление — любопытно, что у нас в 1990-х годах то же явление позиционировалось как «первая ласточка» капитализма, — и активно принимали участие в местных выборах. Одним из своих принципов общество в 1886 году провозгласило отказ от «политического сектантства», вследствие чего его состав был чрезвычайно разношерстным. Среди его членов в конце XIX века были художник и архитектор Уолтер Крейн, теософ Анни Безант (соратница Елены Блаватской), социолог и экономист Грэм Уоллес, теолог Стюарт Хедлем, философ Бертран Рассел, будущий лидер лейбористов Рамсей Макдональд, губернатор Ямайки Сидней Оливье — неудивительно, что выработать общую платформу для всей этой компании было затруднительно, и члены общества сходились друг с другом лишь в самых общих вопросах. Но на первых порах это было именно то, что нужно Герберту. Ему не хватало кругозора: он с восторгом слушал всех

подряд, впитывая разные идеи, как губка, а переваривать их он начнет потом.

Летом 1886 года он сдал экзамены с грехом пополам: по астрономии и лабораторной практике провалился, по геометрии получил «отлично». Комиссия не сразу объявляла результаты; он был уверен, что его отчислят, и с тоской готовился вернуться к Байету, но обошлось: его перевели на последний курс. Каникулы он провел на ферме у одного из своих бесчисленных дядюшек в Минстеруорте, потратив это время на написание своего первого доклада, который предполагал прочесть у Морриса. В письме Симмонсу он послал карикатуру на себя: Герберт дремлет над заголовками статей: «Как бы я обустроил Англию», «Все о Боге», «Секрет космоса», «Долг человека» и, наконец, «Уэллсовский план новой организации общества». На самом деле тема доклада, который он готовил, была достаточно узкой: на примере мелких лавочников, подобных своему отцу, Уэллс доказывал, что конкуренция губительна для людей. Незачем иметь на одной улице десять магазинчиков, лучше один универмаг — такие универмаги он считал предтечей системы государственного распределения и с них должен был начинаться социализм.

В свой третий год в Сауз-Кенсингтоне Герберт обучался на курсе геологии. Этот предмет он возненавидел еще пуще физики: «Это скорее собрание преданий и легенд, чем наука». Ему рассказали, какие горные породы встречаются на Британских островах, и велели это вызубрить. Ему было неинтересно: он-то надеялся, что геология объяснит, как и почему возникла Земля (спустя несколько лет он сам напишет об этом статьи «Воспоминания о планете» и «Центр земной жизни»). Он опять прогуливал. Вместо геологической лаборатории шел в городскую библиотеку: «Мне нужно было во что бы то ни стало



узнать, что думали о мире такие большие люди, как Гёте, Карлейль, Шелли, Теннисон, Шекспир, Драйден, Поуп, а также Будда, Мухаммед и Конфуций». Скопив немного денег, ходил на концерты в Альберт-холл, слушал классическую музыку. Надо было учить лекции по кристаллографии — а он отправлялся в Библиотеку искусств или на художественные выставки. «Представить себе невозможно, до чего мне безразлично мне было, как влияет то или иное содержание кислот калия на фельзитную основу кристалла. Ведь здесь, прямо у меня под рукой, лежал...» Здесь стоит прервать цитату и попробовать догадаться, что же такое важное лежало у него под рукой. Какой-нибудь социалистический трактат, разумеется, что же еще?

«...Лежал альбом Блейка с его странными рисунками, на которых передо мной представляли косматые божества с резкими чертами лица, устремленные к небу взвихренные духи, искаженные фигуры в контрастах света и тьмы. <...> Казалось, в рисунках его заключалось все на свете...» Не наука, не схема, а Искусство и есть та единственная вещь, которая может сказать человеку «всё» обо «всём». Молодой Уэллс это тогда почувствовал — но потом забыл.

«План новой организации общества» был прочитан в октябре, но большого впечатления не произвел. К тому времени фабианцы уже начали Уэллса раздражать. «Общество фабианцев преследует свои демократические и социалистические цели, не примешивая к ним других тенденций; сообразно с этим оно не имеет собственного мнения относительно вопросов о браке, о религии, об искусстве, об экономическом учении in abstracto, об историческом процессе, о валюте и т. д.» — таков был принцип фабианцев. Уэллс был с подобным подходом не

согласен: что это за учение, если у него нет единого и окончательного мнения по любой проблеме? Среди фабианцев одни были за участие в выборах, другие против; космополиты и националисты, атеисты и верующие без конца спорили, объединенные лишь неприязнью к капиталистической конкуренции (хотя мебель Морриса была весьма конкурентоспособна) и жажде наживы (хотя большинство из них неплохо зарабатывали). Тот же Моррис, к примеру, ненавидел науку и противопоставлял ее искусству («из мира исчезает все радующее глаз, а место Гомера занимает Хаксли»); в его утопических текстах патриархальные ремесленники живут на лоне природы, счастливые тем, что их избавили от мерзкого научно-технического прогресса. Что могло привлечь Уэллса в человеке, который объявлял его учителя главным врагом всего прекрасного?

Другая вещь, раздражавшая Уэллса в фабианцах, — то, что он называл прекраснодушием. Учение Герберта Спенсера с его верой в то, что научно-технический прогресс автоматически повлечет за собой прогресс нравственный, уже выходило из моды, но в теплой оранжерее продолжали утверждать: человек по природе хорош и его лишь нужно соответствующим образом направлять. Уэллс уже в юности был гораздо злее — ведь он, в отличие от подавляющего большинства фабианцев, живших в хорошо отапливаемых особняках, на этого человека насмотрелся. Наконец, его, не любившего демократии, безмерно возмутило отсутствие демократизма, проявленное фабианцами по отношению к нему лично: когда в компании с Бертоном и Смитом он отправился в официальную штаб-квартиру Фабианского общества с намерением стать его членом (он все еще надеялся, что фабианцы нарисуют всеобъемлющую схему мироустройства и немедленно приступят к ее

реализации, а если они сами не в состоянии сделать это, так он им объяснит, как надо), студентам дали от ворот поворот. Следующую попытку вступить в Фабианское общество Уэллс предпримет много лет спустя — когда будет кое-что из себя представлять.

Осенью 1886 года та же тройка — Уэллс, Бертон и Смит — решила издавать студенческий журнал «Сайенс скул джорнэл». Большую помощь в этом предприятии оказал Таттен, преподаватель химии, обманутый названием и полагавший, что журнал будет научным. Но он был разочарован: в «Сайенс скул джорнэл» печатались материалы о социализме, об искусстве и очень мало — о химии. Уэллс стал редактором журнала и написал для него ряд текстов под псевдонимами: статья «Маммона» была подписана именем «Уолтер Глокенхаммер», «Разговор с гриллotalьпой»<sup>[17]</sup> — «Септимус Браун», а «Взгляд в прошлое» — «Састенес Смит». Характер материалов, опубликованных Уэллсом в «Сайенс скул джорнэл» в 1887-м, определить трудно. Это и не научно-популярные тексты, не философские и не беллетристика; пожалуй, они представляют собой эссе с элементами фантастического рассказа. В «Маммоне» автор рассуждает о месте еврейской нации в мире (Уэллс считал, что евреям не нужно заниматься национальной самоидентификацией; многие за это называют его антисемитом — мы обратимся к этому вопросу позднее). Во «Взгляде в прошлое» впервые появился Путешественник во времени: он попал в эпоху, когда на Земле господствуют динозавры, убежденные в том, что именно они являются вершиной эволюции и мир создан для них; когда Путешественник пытается объяснить рептилиям, что они — всего лишь одно из звеньев цепи и время их уничтожит, они прибегают к самому убедительному аргументу: начинают его есть, и лишь звонок будильника спасает несчастного. Той же

теме посвящен «Разговор с гриллotalьпой», где ученый называет звеном в эволюционной цепи уже не динозавра, а человека, который «меньше пылинки в бесконечной Вселенной», а его собеседник пытается понять, можно ли примирить подобный взгляд с христианством.

Два последних текста примечательны тем, что в них Уэллс в первый раз (и сразу очень ясно) в художественной форме сформулировал проблему, которая будет занимать его всю жизнь: правомерность антропоцентрического подхода к эволюции. Этим интересом он обязан своему учителю. Хаксли был убежден, что эволюция есть бесконечный процесс, не управляемый извне, и наивно думать, что она на ком-то остановится, а, следовательно, человечество обязано предусмотреть ее грядущие повороты. Он не был склонен верить в дальнейший моральный или социальный прогресс человечества, ибо это не заложено в эволюционном процессе; единственный шанс человека заключается в том, чтобы этот процесс корректировать, противопоставляя холодному и безразличному «космическому» свою сознательную деятельность на благо человечества — «этическое». Хаксли, полагавший, что наука и искусство суть одно и то же, великолепно умел выражать свои мысли в блестящей поэтической форме; Уэллс постарался сделать то же самое. Динозавры, мнившие себя «пупом Вселенной», ушли; по всей видимости, и тем, кто сейчас убежден в том, что представляет собой венец творения, тоже придется уйти когда-нибудь, освободив дорогу другим существам, как бы ни было трудно примириться с этой мыслью и как бы ни хотелось съесть того, кто подобную мысль высказывает.

Герберт был редактором журнала до апреля 1887-го, когда по жалобе профессора Джада его как неуспевающего отстранили от руководства изданием.

Он попытался сосредоточиться на экзаменах, но было уже поздно. Его отчислили — совершенно заслуженно, как он сам признал. «Я сделал все возможное, чтобы провалиться и быть выброшенным на улицу, но, когда это случилось, был поражен и обнаружил, что у меня нет планов на будущее». Он покидал Кенсингтон с посредственными отметками и плохой характеристикой. Это был страшный удар. Не только рухнули мечты стать большим ученым — даже работу найти было теперь проблематично.

Вернуться в Мидхерст, как побитая собака, он не хотел. Обращался в агентства по найму и нашел должность учителя в Рексхеме, в частном учебном заведении «Академия Холта», — оно состояло из мужской и женской средних школ и колледжа для подготовки священников. Уэллс представлял себе прелестную деревню, где он сможет отъесться и набраться сил на свежем воздухе, но Рексхем оказался угрюмым рабочим поселком, где не было ни клочка зелени. Школьные помещения были запущенные, жалкие, и учебный процесс такой же. Кроме самого хозяина, Джонса, учителей было двое: Уэллс и молодой француз Ро, атеист и социалист; сразу после знакомства с ним Уэллс писал Симмонсу, что нашел в коллеге родственную душу, но дружба не сложилась. Комнату новому педагогу пришлось делить с тремя учащимися — будущими священниками. Кормили скверно. Ученики оказались на редкость тупыми. Не было ни учебных программ, ни даже расписания занятий: учителя делали что им вздумается. Помимо общеобразовательных дисциплин, Герберту пришлось на воскресных уроках преподавать... Священное Писание; вопреки тому, что можно было ожидать, он отнесся к этому спокойно. Опять, как в Саутси, у него был «церковный» период: он посещал службы в кальвинистской методистской церкви, и они казались ему привлекательными,

поскольку были «ярче и больше обращены к отдельному человеку, чем англиканский ритуал».

Чтобы не застрять в роли неудачника, он убедил себя в том, что все к лучшему. Пусть дорога в науку закрыта — подумаешь, он этого и хотел. Он может стать писателем, прославиться и разбогатеть. Он взялся сочинять беллетристику — любовные истории. «У домашней собачки есть потребность гавкать, а у меня была потребность писать. И я гавкал, изрыгая страницу за страницей, а мир пропускал мой лай мимо ушей. Хотелось бы быть к себе снисходительным, но должен признаться, что каждая строчка, вышедшая тогда из-под моего пера, свидетельствовала о том, что я подражал худшим образцам, какие только мог найти в дешевых журналах». Рассказы, которые он всюду рассылал, отвергались; он начал писать роман «Компаньонка леди Френкленд»: то была сентиментальная история, действие которой происходило в усадьбе наподобие «Ап-пар-ка». Гораздо живей, чем беллетристика, у него выходили письма (он вел переписку с родными и друзьями: Элизабет Хили, Дэвисом, Симмонсом, Бертоном). Изабелле, разумеется, тоже писал, но ее ответные письма были сухи и скучны, и переписка зачахла.

Несмотря на физическую слабость, болезненность и худобу — типичный «ботаник», — Герберт обожал спорт. Играл в крикет и футбол в местных любительских командах; крикетисты были благосклонны к нему, но футболисты, здоровенные деревенские парни, его недолюбливали. В августе 1887-го он во время матча получил серьезную травму. Бок сильно болел, он не смог продолжить игру и ушел — ему свистели вслед. Ночью стало еще хуже: как выяснилось, ему отбили почку. Совершеннолетие он отметил, лежа в постели. Уехать было некуда и не к кому. Отец еще в мае разорился и был вынужден

продать «Атлас-хаус»: отныне он палец о палец не ударит и будет жить на содержании жены и детей. (Да ведь и лет ему уже было немало: сейчас в таком возрасте уходят на пенсию.) Фрэнк в очередной раз потерял работу. Сара Уэллс в «Ап-парке» впала в немилость (она не была приспособлена ни к какой должности, кроме горничной, и с ролью экономки не справлялась), и хозяйка предупредила ее, что не желает больше сажать себе на шею ее безработных родственников. Опять, как в семь лет, Герберт лежал, читал романы и хотел писать их сам. Он ненавидел болезни, а ведь получается, что именно они, сопровождаемые вынужденным досугом, всякий раз шли ему в духовном отношении на пользу...

Джонс дал понять, что не прочь избавиться от хвораго учителя. Пришлось вставать, не долечившись, и приниматься за работу. В классах не топили; вдобавок к больной почке у Герберта обнаружили туберкулез. Местный врач сказал, что это смертельно. А он ведь и не жил еще — все только планировал да собирался. «Всем своим существом я восставал против мысли о смерти; я не способен был ее принять. Не могу сказать, что я приходил в отчаяние от сознания, что мне не дано прославиться и я не успею увидеть мир. Куда больше, до глубины души, меня огорчало, что я умру девственником».

Друзьям он по-прежнему писал развеселые письма, полные острот и богохульств, а сам погибал от ужаса и тоски. Навестить его приехал Бертон, получивший место на фарфоровом заводе Веджвуда и только что женившийся: когда друг уехал, Герберту стало еще хуже. Но в ноябре мисс Фезерстоноу сжалилась над Сарой и позволила ее больному сыну пожить в усадьбе. Обитателей «Ап-парка» пользовал доктор Уильям Коллинз: тогда это был начинающий врач, впоследствии ставший знаменитым диагностом. Он выразил сомнение

в правильности диагноза: кровотечения могли объясняться не туберкулезом, а хронической бронхопневмонией. Постельный режим, небольшие прогулки, хорошее питание, досуг: Герберт опять лежал и читал, и опять не книжки про социализм, а поэзию и романы. Перечтя от корки до корки Стивенсона, Готорна, Уитмена и Гейне, он наконец понял, что сам пишет скверно. Уничтожил все свои тексты. Учился. Подражал. Несколько раз переделывал «Компаньонку», сжег ее. Опять пытался писать «про любовь», видел, как плохо выходит, но бросить это занятие не хотел.

В оптимистический диагноз Коллинза он не решался верить. Часы облегчения сменялись приступами страха: как-то раз он отослал Дэвису письмо, целиком состоявшее из слов «О черт о черт о черт о черт!», а Симмонсу писал: «Господи, как мне плохо! О Господи, как плохо...» Однако Коллинз оказался прав: уже на второй месяц пребывания в усадьбе больному стало лучше. На Рождество к Саре приехали муж и оба старших сына: Джозеф на остатки денег, вырученных за «Атлас-хаус», купил маленький домик в деревушке Найвудс, всего в трех милях от «Ап-парка», Фрэнк, бросив ремесло приказчика, переквалифицировался в часовщики и поселился с отцом, Фреда на праздники отпустили со службы. В начале февраля 1888-го Герберт был более-менее здоров, изрядно прибавил в весе, и хозяева стали намекать Саре, что пора и честь знать. Коллинз, сын профессора, преподавал в Лондонском университете, имел связи в обществе; Уэллс обратился к нему с просьбой подыскать ему место. Но Коллинзу показалось, что его подопечный ищет не работу, а синекуру, которая позволит ему заниматься литературными опытами.

В феврале Бертоны пригласили Уэллса погостить у них: близость фарфорового завода считалась для чахоточного опасной, но он поехал. Прогулки, книги,



интеллектуальные разговоры его взбодрили. Он снова пытался писать. Сочинял стихи, отсылал Элизабет Хили, она говорила, что стихи дрянные, он отвечал вычурными фразами, казавшимся ему остроумными: «По Вашим словам, мои стихи некрепко стоят на ногах. Но птица, чтобы петь, не нуждается в ногах, у херувимов, окружающих Богоматерь скорбящую, нет ног. Античный Пегас не быстроног, а быстрокрыл». У Бертонов ему было хорошо, но безделье не могло продолжаться бесконечно. Он написал высокопарное и бестолковое письмо Коллинзу, пытаюсь объяснить, что ищет не синекуры, а такого места, где можно самосовершенствоваться и приносить пользу обществу: «Я рассматриваю Вас как личность, способную дать мне возможность не только достичь должной меры успеха и подняться к вершинам знания, но и приблизиться к людям либерального образа мысли». Коллинз вновь не увидел в этом письме желания работать: отвечал любезно, но никаких шагов не предпринял. (Заметим, что повзрослевший и прочно вставший на ноги Уэллс возобновит знакомство с Коллинзом и никогда не будет обижаться на него.)

Бертоны уверяли, что гость их ни чуточки не стесняет; гость в этом сомневался, но лелеял надежду, что Коллинз вот-вот его куда-нибудь пристроит; чтобы скоротать месяцы ожидания, он начал сочинять свой второй роман — подражание «Парижским тайнам» Эжена Сю, увидел, что получается ерунда, бросил. Он наконец понял, что роман о современности написать трудно, и решил попробовать свои силы в фантастике — начинающим этот жанр кажется легче, потому что можно дать волю фантазии и ни с чем не сообразовываться. Итогом стал первый опубликованный (правда, всего лишь в «Сайенс скул джорнэл») роман Уэллса — «Аргонавты хроноса» (The Chronic Argonauts). То был как бы черновой набросок «Машины времени» —

сам автор охарактеризовал эту вещь как «нелепую и полную фальшивой значительности». Написана повесть неважно, напыщенным языком, но называть ее нелепой несправедливо: все высказанные в ней идеи Уэллс потом использует не только в «Машине», но и в других работах, и с точки зрения композиции вещь совсем не плоха. В деревне появляется ученый немец Небогипфель, который построил машину времени. Соседи-обыватели, возненавидевшие ученого за его непохожесть на них, врываются к нему в дом для расправы и застают его вместе со священником Куком, единственным, кто ему сочувствует; оба вынуждены спасаться бегством на упомянутой машине.

Самое любопытное в «Аргонавтах» то, как герой характеризует себя: он — гадкий утенок из андерсеновской сказки, которого «тысячи обид и несправедливостей отдалили от всего человечества», утенок, «доказавший, что он может быть прекрасным лебедем», «прошедший через презрение и горечь к вершине величия»; короче говоря, он — один из тех, кого зовут гениями. «Это люди, родившиеся раньше своего времени, их мысли — мысли более мудрого века. Людям их века не дано понять ни их поступков, ни их мыслей. Я понял, что судьба гениев — это и моя судьба и что для меня предназначена в моем веке худшая из человеческих мук — одиночество. Десятки лет молчания и душевных страданий — иного не мог дать мне мой мир. И я понял — я из тех, чье время не пришло, но придет... Теперь я соединюсь со своим поколением... Я проплыву на своем корабле через века, пока не найду свое время!..» Уэллс не хотел и не умел придумывать персонажей, он всегда писал либо о некоем абстрактном «человеке вообще», либо о себе — разумеется, это он сам заблудился в чужом времени. Его временем был век Просвещения; его временем, возможно, была эра Великих географических открытий

или эпоха Аристотеля; его время вернулось во второй половине XX века. Нынче оно ушло. Оно вернется — и снова уйдет. Но спираль — не круг: что-то меняется навсегда.

Наступило лето, а от Коллинза ничего не было слышно. Герберт окреп, чувствовал себя почти здоровым; в июне он решил, что пора жить самостоятельно. Он вновь разослал резюме в агентства по найму и уехал в Лондон с пятью фунтами в кармане. Снял комнатку на Теобальд-роуд за четыре шиллинга в неделю. Питался дома, всухомятку. Через месяц нашел временную работу репетитора. Потом встретился со своим старым другом Дженнингсом, и тот предложил ему небольшой заработок: Дженнингс преподавал биологию в Лондонском университете, ему требовались наглядные пособия, а рисовать он не умел, зато Уэллс рисовал хорошо. Денег хватало на еду и на то, чтобы не чувствовать себя бездельником. Будние дни он проводил в библиотеках, воскресенья — в церквях («больше негде было присесть и спокойно подумать»); он вновь стал тосковать по своей кухне. Изабелла и ее мать к тому времени переехали с Юстон-роуд на Фицрой-роуд, где снимали бельэтаж небольшого дома. Герберт пришел их навестить, затем поселился у них. Отношения с Изабеллой возобновились так естественно, будто и не прекращались.

До зимы постоянную работу найти не удалось. Уэллс рисовал пособия, занимался репетиторством. Написал для «Сайенс скул джорнэл» два юмористических рассказика — «Энтузиаст искусства» и «Уолкот». Прочел в Дискуссионном клубе, куда его пускали по старой памяти, доклад «Обитаемость планет», где обосновывал возможность разумной жизни на Марсе. Нашел оригинальный способ заработка: придумывал вопросы для викторин в научно-популярных журналах и сам же отвечал на них — за то и другое платили по

несколько шиллингов. Человек иного происхождения и воспитания, возможно, побрезговал бы столь мелким жульничеством, но Уэллс не видел в этом ничего дурного. Лишь после рождественской поездки в «Аппарк» он смог наконец устроиться помощником учителя в частную школу «Хенли-хаус» в Килберне.

Новый наниматель, Джон Милн, оказался очень приятным человеком: материальные условия в его школе были так себе, но он обладал педагогическим даром и любил своих учеников (и, кстати, не признавал побоев). Ученики были в основном приходящие и не пролетарского происхождения — дети чиновников, театральных актеров; одним из них был сын директора школы, будущий автор «Винни-Пуха» Алан Милн, с которым новый учитель сдружился. Уэллс преподавал точные науки, английский язык и рисование; от уроков Закона Божьего он на сей раз отказался — и лицемерить устал, и воскресенья хотелось проводить с Изабеллой. Жить он остался на Фицрой-роуд, при школе только обедал. Отношения с Милном-старшим были очень хорошие: тот не только предоставлял Герберту полную свободу действий, но и проявил настоящую заинтересованность его методами — например, преподавание начал алгебры семи-восьмилетним детям и отказ от физических и химических опытов, которые он так возненавидел в Сауз-Кенсингтоне и теперь заменил рисунками и схемами («я избавил своих учеников от шума и вони»). Дети, вероятно, ничего не имели бы против шума и вони на уроках, но Уэллс считал, что все предметы можно и должно преподавать исключительно теоретически.

Он работал в «Хенли-хаус» с 1889 по 1891 год. В этот период честолюбие его затихло. С писательством ничего не получалось. Он хотел жениться на Изабелле, поскольку понял, что «свободная любовь» с этой девушкой невозможна. Но она соглашалась выйти

только за человека с постоянным доходом. Милн подогрел интерес Герберта к педагогике; он решил, что пора становиться дипломированным учителем. В июле 1889-го он записался на экзамены в Колледже наставников (государственное учреждение, специализировавшееся на выдаче дипломов учителям, не имеющим университетского образования) и сдал их очень хорошо: по педагогике получил награду в 10 фунтов, по математике и естествознанию — в пять. Он получил степень лицензиата, и Милн дал ему прибавку к жалованью — 10 фунтов в год.

Зимой у него снова началось кровохарканье; Милн отпустил его провести месяц в «Ап-парке» под присмотром Коллинза. В усадьбе ему, как обычно, стало лучше, и досуг он провел с пользой: написал статью под названием «Новое открытие единичного» (The Rediscovery of the Unique). Это была блистательная по мысли работа — быть может, лучшее из того, что Уэллс когда-либо написал на сугубо научные темы.

Основная мысль статьи — если очень упрощенно «перевести» научную терминологию на обычный язык, — заключалась в следующем: в мире нет одинаковых элементов, тождественность двух атомов, как и двух деревьев, лишь кажущаяся, и из того, что частицы (как и люди) обычно ведут себя так-то и так-то, нельзя делать вывод, что каждая частица (как и человек) всегда будет вести себя соответствующим образом. Эту идею несколькими годами позднее попытается осмеять Честертон, друг-противник Уэллса: «Когда г-н Уэллс говорит: „Все стулья совершенно разные“, он не просто искажает истину, но впадает в терминологическое противоречие. Если бы все стулья были совершенно разные, вы не могли бы называть их все одним словом „стулья“». Но в 1927 году Вернер Гейзенберг сформулирует принцип неопределенности, доказав, что физические законы носят статистический

характер, то есть работают *как правило*, но теоретически могут и не сработать в каком-то отдельно взятом случае (если еще дальше огрублять и упрощать — солнце может один раз отказаться взойти на востоке, а какой-нибудь человек — взять да и не умереть). Уэллс, по мнению профессора Ричи Колдера, предвосхитил это величайшее открытие на несколько десятков лет. Нередко можно прочесть, что Уэллс был недоучкой и ум его не отличался глубиной. Не похоже, что это так — разве что он тихонько слетал в будущее и все там разузнал.

Почему же столь серьезная теория, высказанная в статье, не получила признания? Пускай в 1889-м ее автор был никому не известным студентом, но он повторял свою мысль и позднее, будучи знаменит, и к ней относились все так же — как к изящному парадоксу, игрушке... Любопытная фраза по этому поводу обнаружилась в «Машине времени»: «Открытия и выводы, которые доставили бы славу человеку менее умному, чем он, казались пустяками, когда их делал он. Достигать своих целей слишком легко — это большая ошибка». От лишней скромности Уэллс никогда не страдал; а все ж в этой фразе что-то справедливое есть...

Статью Герберт отослал в научно-популярный журнал «Фортнайтли ревью», редактором которого был молодой литератор Фрэнк Харрис, уже тогда влиятельный и знаменитый (он редактировал также газету «Ивнинг ньюс»), Харрис любил отыскивать таланты: он принял статью неизвестного юнца. Уэллс получил письменное уведомление об этом в феврале, уже вернувшись в Лондон. Он был потрясен. «Неужели это голубь принес в клюве лавровую веточку? — писал он Симмонсу в своем обычном витиеватом стиле. — Неужели перед бедным странником возник образ сияющего белого города? Или это мираж?»

«Новое открытие единичного» было опубликовано в «Фортнайтли ревью» в июле 1891 года. На материал никто не обратил внимания, кроме Оскара Уайльда, пришедшего в восхищение. Но автор был окрылен: он написал вторую статью, «Жесткая Вселенная», где высказывалась столь же необычная идея о времени как о четвертом измерении. Харрис счел, что это уже слишком, но статью с ходу не отверг, а пригласил автора на собеседование. Герберту пришлось полчаса просидеть в ожидании приема, что он счел унижительным, а потом Харрис на него «наорал», после чего он возненавидел этого человека на всю жизнь. Он утверждает, что после разноса, учиненного ему Харрисом, год ничего не писал, но это неверно: он написал еще статью «Зоологическая ретрогрессия» (Zoological Retrogression), где вновь размышлял об эволюции, доказывая на примере силурийской панцирной рыбы, что этот процесс является не прямой линией, а цепью скачков и отступлений назад; статью в сентябре опубликовал еженедельник «Джентльмене мэгэзин».

Уэллс продолжал работать в школе Милна, но задерживаться там не входило в его планы. Ему нужен был полноценный педагогический диплом, чтобы получить высокооплачиваемую работу. В Кембридже в ту пору появилось новое учебное заведение — Университетский заочный колледж, специализировавшийся на подготовке ко всевозможным экзаменам: преподаватели колледжа проверяли письменные задания и занимались очным репетиторством. Заведовал колледжем Уильям Бриггс, предприимчивый молодой человек, специалист в составлении тестов и вопросников. В штате у Бриггса подрабатывали даже профессора: оплата была высокая. Уэллс прислал резюме, и, поскольку биология, в которой он отличился, считалась очень трудным предметом,

Бриггс согласился взять его на должность заочного репетитора по биологии и платить два фунта в неделю, а потом, когда тот сам сдаст экзамены на степень бакалавра, принять в штат. Уэллс получил степень летом 1891-го, завоевал в дополнение к ней очередной приз в 20 фунтов, распрощался с Милном и поступил на работу к Бриггсу.

Разумеется, метод Бриггса — не учить, а натаскивать — ему не нравился. Он старался усовершенствовать этот метод и организовал лабораторные занятия — биология была единственной наукой, за которой он признавал право на демонстрацию опытов. Бриггс не возражал, напротив, был доволен новым сотрудником. Он платил Уэллсу 2 шиллинга в час, а часов набиралось 50 в неделю: вместе с проверкой работ заочников уже в первый год был неплохой заработок. Теперь он мог содержать жену — и без промедления женился. Венчание прошло очень тихо в маленькой приходской церкви 31 октября 1891 года.

Молодой семье был нужен собственный дом — не только ради престижа, но и потому, что найти приличную квартиру внаем было почти невозможно. Обрели искомое на улице Холден-роуд в районе Патни: пять комнат, кухня, ванная и кладовая, все за 30 фунтов в год. Это было чересчур помпезно и дорого, зато жена была счастлива: «Не было больше расставаний на углу, где горел газовый фонарь, и маленькая фигурка теперь не уходила от него, исчезая в туманной дали и унося с собой его любовь. Никогда больше этого не будет. Долгие часы, проводимые Люишемом в лаборатории, теперь в основном посвящены были мечтательным размышлениям и — честно говоря — придумыванию нелепых ласкательных словечек: „Милая жена“, „Милая женушка“, „Родненькая, миленькая моя женушка“, „Лапушка моя“». Вся эта идиллия не продлится и года.



## Глава третья ДАВАЙТЕ ВЫМИРАТЬ

В 1880—1890-х годах Англия переживала журналистский бум. Причин было немало: грамотность, вследствие введенного в 1871 году закона о всеобщем начальном обучении, стала обычным явлением даже для низших классов, развитие общественного транспорта потребовало «чтива в дорогу», да и отношение к печатному слову изменилось. Раньше преобладали специализированные издания «для джентльменов», «для любителей искусств», «для деловых людей»; теперь понадобились журналы «для всех» — недорогие, броские, с большим количеством иллюстраций. Появлялись новые издания: «Сатердей ревью», «Найнтинз сенчури», «Блэк энд уайт», «Глоб»; в зависимости от степени таланта и предприимчивости издателей одни бесславно исчезали, другие вырастали в монстров. Среди них были и таблоиды, и солидные издания — места на новом рынке пока хватало всем. Появились издатели новой волны, обладающие прекрасной деловой хваткой, — Хармсуорт, Пирсон, Ньюнес. Вмиг сделались востребованы беллетристы и журналисты, умеющие писать увлекательно, регулярно, бойко, быстро и «про все».

Один из представителей новой издательской волны, американский миллионер Уильям Астор, в 1892-м приобрел лондонский ежедневник «Пэлл-Мэлл газетт»<sup>[18]</sup>, основанный в 1865-м. Это было консервативное издание «для джентльменов», но затем, когда редактором его стал журналист Уильям Сид (с 1892 по 1896 год), в нем начали публиковаться серьезные материалы о проблемах общества и оно разорилось — но тут явился Астор. Опыта в издательском деле у него не было, редактора он выбрал тоже без опыта — светского молодого англичанина

Гарри Каста. Решили, что в новой газете должно уделяться большое внимание литературе, театру, науке, путешествиям — это будет отличать ее от прочих ежевечерних изданий, сосредоточенных на политике и новостях. Требовались авторы, умеющие сочинять коротенькие, в меру интеллектуальные, бойкие тексты на любые темы, но при этом высшего качества (в «Пэлл-Мэлл» при Асторе печатались Шоу, Стивенсон, Уайльд) [\[19\]](#). Гонорары установили высокие — пять гиней за статью.

Уэллс не подозревал, что скоро станет одним из этих авторов. Он писал статьи по биологии, физике, педагогике для скромных изданий — принадлежащей Бриггсу газеты «Юниверсити корреспондент» и издаваемого Колледжем наставников журнала «Эдьюкейшнл таймс», редактором которого был другой протеже Бриггса Уолтер Лоу. Уэллс и Лоу моментально подружились [\[20\]](#); последний получал 50 фунтов в год на гонорары, а поскольку иметь дело с одним автором проще, чем с несколькими, решили, что Уэллс и станет этим одним. Постепенно слог его стал легок, словарь расширился, он научился стряпать заданный объем к сроку, который истекает «вчера»; можно выносить свое перо на рынок. Он также написал учебник по биологии — то была его первая изданная (частями в 1892-1893 годах) книга, за которую Бриггс хорошо заплатил и которая выдержала еще пять изданий; правда, ее сильно перерабатывали, так что к 1898-му от уэллсовского текста практически ничего не осталось. Более удачным окажется его второй учебник, «Физиография» [\[21\]](#), написанный в 1893-м в соавторстве с Ричардом Грегори — студенты будут учиться по этой книге, пока из программ не исчезнет физиография. Он также пытался писать роман о Бриггсе — «Мистер

Миггс и мировой разум», — но не пошел дальше набросков.

Он не был доволен жизнью. Внешне все устроилось — преподавательская работа, постоянный доход, счет в банке, дом, семья. Но эта жизнь «не казалась воплощением романтической мечты, звучащей волшебной музыкой». Хотелось признания и славы, хотелось не просто работать, а «управлять мировым порядком». Хотелось счастливой любви, а семейная жизнь складывалась плохо. По мнению Уэллса, главной причиной супружеских неладов была особенность Изабеллы, которую мы бы сейчас назвали фригидностью; он объяснял это викторианским воспитанием. Сейчас от викторианства остались одни воспоминания, а нам все так же удобнее объяснять холодность жены фригидностью, нежели допустить, что она нас просто не любит. Изабелла вышла за него, потому что была к нему по-родственному привязана, потому что он настаивал, потому что никто другой ей этого не предложил, потому что мечтала жить своим домом, а это было для нее важнее, чем любовь. Некоторых в такой ситуации сближают дети, но Уэллсы решили детей не заводить, пока не улучшится их материальное положение.

Были и другие разногласия: Изабелла не понимала беспокойства мужа, ей казалось, что он должен быть доволен своей работой и образом жизни. Взгляды на общественное устройство, на людей, на книги у супругов были совершенно разными; Уэллс знал это, когда женился, но теперь почему-то не мог этого стерпеть. Изабелла вила уютное гнездышко — он в этом гнезде чувствовал себя как в клетке. Раздражался, был груб, изменил со случайной знакомой, тут же доложил жене об этом, потом удивлялся, почему она рассердилась; через несколько месяцев брака он уже был уверен, что совершил ошибку, но при этом не

переставал любить Изабеллу — в таких ситуациях обычно находится что-то или кто-то, чтобы разрезать узел.

В августе 1892-го в Университетском заочном колледже начался очередной учебный год. Женщины среди абитуриентов университета уже не были редкостью; в новой группе, куда пришел преподавать Уэллс, их было несколько. Ему понравилась одна девушка — Эми Кэтрин Роббинс: она намеревалась получить в Лондонском университете степень бакалавра и работать учителем. Начались вопросы после лекций, индивидуальные занятия, разговоры. Все походило на отношения с Элизабет Хили: «Мы одалживали друг другу книги, обменивались впечатлениями, раз или два договорились пойти и выпить чайку». Считали эти отношения дружбой, но постепенно как-то... Уэллс пишет, что Кэтрин Роббинс символизировала для него интеллектуальную, прогрессивную, свежую жизнь, в отличие от той затхлой мещанской жизни, куда его тянула Изабелла, но при этом влюблен он был в жену.

Кэтрин была на шесть лет моложе будущего мужа, но в ее отношении к нему было много материнского. Это была милая, сдержанная, задумчивая девушка; образец здравомыслия — и мечтательница. Когда они станут близки, Уэллс, обожавший псевдонимы и прозвища, придумает для нее другое имя — Джейн. Лишь после ее смерти он вернет ей настоящее имя и признается, что выдуманная им «Джейн» — практичная хозяйка и преданный друг — не без жестокости подавляла подлинную Кэтрин, поэтичную, замкнутую и упорную, безуспешно пытавшуюся ускользнуть от него в свой внутренний мир.

Отношения с Кэтрин (не будем называть ее Джейн, ладно?) медленно развивались в течение осени и зимы 1892 года. Уэллс познакомил ее с женой; отношения

между двумя женщинами были внешне приятельские, что они на самом деле думали друг о друге — неизвестно. А в семье Уэллсов случилось несчастье: в январе 1893-го Сару уволили. Ее предупредили за несколько месяцев, открыв на ее имя банковский счет в 100 фунтов. С прислужкой обычно поступали хуже. Но Саре было уже под семьдесят, она содержала безработного мужа; она назвала мисс Фезерстоноу жестокой и погрузилась в депрессию. Февраль она прожила у Герберта и Изабеллы в Лондоне, затем поселилась в Найвудсе вместе с Джозефом. Ее дневниковые записи полны отчаяния. «Никакой хорошей весточки. Как мы будем жить? Пожалуйста, Господи, пошли мне какую-нибудь работу». С мужем у нее давным-давно не было ничего общего; в первый раз она упомянула о его существовании в записи, датированной маем, и запись эта была такова: «Дж. ушел на матч по крикету».

Нет, Уэллсы-старшие не голодали. Фрэнк присылал немного денег; Герберт в 1893 году передал родителям в общей сложности около 100 фунтов (при том, что его доход в том году составил 50 фунтов и все его с женой состояние насчитывало 380 фунтов); он также нашел для родителей надомную канцелярскую работу у Бриггса (надписывать конверты). Но неустроенная жизнь без будущего вызывала у Сары безумный страх. А неприятности в семье продолжались: весной 1893-го Фред, служивший в магазине тканей в Уокингэме, также был предупрежден об увольнении. Он приехал к Герберту — как-то неожиданно получилось, что самый непоседливый и неустроенный член семьи стал единственным, у кого было прочное положение, — и они начали совещаться. Когда говорят об эгоизме Уэллса, то забывают о том, как серьезно он всегда относился к проблемам своих близких и сколько денег за всю жизнь выплатил родственникам, друзьям, родственникам

друзей и друзьям родственников; при этом он ругал себя последними словами за то, что его помощь была «бестактной и грубой» и он «не считался с чувствами моих домашних, их достоинством, их печальным разочарованием»! Он специально поехал в Уокингем, чтобы поговорить с работодателем Фреда и выяснить, может ли его старший брат найти другую работу; когда стало ясно, что перспектив нет, братья обсудили другие варианты — Фред мог поступить учиться в Сауз-Кенсингтон и получить диплом, Фред и Герберт могли попытаться открыть совместный бизнес, Фред мог присоединиться к бизнесу Фрэнка.

17 мая когда Фред, уже уволенный, во второй раз приехал в Лондон у Герберта случилось очередное горловое кровотечение Осмотревший его врач подтвердил туберкулез и предупредил об опасности для жизни. Спустя пять дней после приступа Уэллс в обычном шутливо-цветистом стиле писал Кэтрин: «Когда мы шутили в среду вечером относительно того на какие ухищрения готов пойти застенчивый человек, дабы избежать грозящей ему перспективы общения, мы и не предполагали, что на такие же ухищрения порой способна и судьба — этот Великий Шутник, занявшийся моим делом. Что до меня, то мне совсем не понравилось, когда в четверг я проснулся в предраассветный час и обнаружил, что я — объект его шуточек и он меня здорово стукнул — так здорово, что я едва не покинул в одночасье эту забавную вселенную. <...> Думаю преподавание Для меня навсегда в прошлом, и, хочется мне этого или нет, я буду теперь жить литературным трудом» В очередной раз болезнь пошла ему на пользу, подвигнув на судьбоносное решение — «я от всего избавился. Я был волен писать или умирать».

Неделей спустя Кэтрин навестила больного; бывал у него и другой нежный друг, Элизабет Хили. Изабелла

все это выдержала стоически. Тем временем Фред, гостивший у брата, прочел сообщение о вакансии торгового агента в Южной Африке. Он ехать боялся, Герберт настаивал, что это единственный выход Фред так и поступил — и там он преуспеет в бизнесе и будет жить благополучно в течение тридцати лет (а под старость приедет к брату и поселится неподалеку от него). Уже летом 1893-го Фред стал присылать матери неплохие деньги и частично разгрузил младшего брата. Герберт же, несмотря на свои решительные планы, бросить преподавание не смог — Бриггс его удерживал, — но количество часов ему сократили. Он начал писать учебник географии; подумывал о том, что нужно остаться преподавателем, но уехать из Лондона в местность с более здоровым климатом. В июне Бриггс дал ему отпуск; он с женой и тещей поехал на две недели к морю, в Истборн — и там вдруг открыл способ разбогатеть.

На отдыхе он читал беллетристику; ему попало прелестное эссе Джеймса Барри (тогда еще не написавшего «Питера Пэна» но уже известного пьесами), где объяснялось, что для привлечения интереса публики нужно писать не заумные статьи о серьезных вещах, а, напротив, пустячки о предметах заурядных о зонтике, о шашках... Что видишь перед собой — о том и пиши; завтракаешь с другом в кафе — напиши об этом; ел сыр — напиши о сыре... Он тотчас решил попробовать — и в один присест набросал (на старом конверте) свой первый «пустячок» — рассказ «Как отдохнуть на пляже» (On the Art of Staying at the Seaside).

«Тысячи и тысячи людей думают, что они отдыхали на пляже, так же как тысячи людей воображают, что они играли в вист, тогда как в действительности они лишь путались под ногами у настоящих игроков. На самом деле отдых на пляже — это искусство,

требующее не только оплаты железнодорожного билета, но и специальных навыков, подобно всем подлинным искусствам. <...> Отдыхая на пляже, вы не должны думать; вы не должны двигаться; вы не должны спать. Вам следует лечь головой в сторону горизонта и погрузиться в созерцание; и, когда вы овладеете этим искусством, то сделаетесь подобны Будде, восседающему среди цветов лотоса». В таком роде Уэллс накропал текст в 9500 знаков; он упомянул о табачных киосках, о мухах, о лодочниках — то есть выполнил инструкцию Барри. Он сам удивился, как легко это у него вышло. Но удивляться было нечему: такой стиль — изящно, цветисто и «ни о чем» — он уже несколько лет использовал в переписке.

По возвращении в Лондон он отослал работу в «Пэлл-Мэлл газетт» — текст был принят незамедлительно. И поехало: за неполных полгода Уэллс заработал около 200 фунтов. До конца 1893 года он опубликовал в «Пэлл-Мэлл газетт» и еженедельнике «Пэлл-Мэлл бюджет» более 30 эссе и крошечных рассказиков, большая часть которых потом вошла в состав сборников «Избранные разговоры с дядюшкой» (Select Conversations with an Uncle, 1895) и «Кое-какие личные делишки» (Certain Personal Matters, 1897); за период с 1893 по 1897-й он опубликует их сотни. Он будет сочинять безделушки о каминах, о велосипедах, о фотографировании, о крикете, напишет эссе о том, как писать эссе — «Искусство эссеиста настолько просто, настолько свободно от канонов и, кроме того, столь восхитительно, что нужно задаться вопросом, почему все люди — не эссеисты. Возможно, люди не знают, как это легко. Или, возможно, новички введены в заблуждение. Если это искусство хорошо преподавать, его можно изучить за десять минут». Сам автор в письме к Фреду называл эти статьи «chatty», что переводится как «болтливый» или «неряшливый».



Одна из безделок понравилась самому Барри; когда Каст передал молодому автору этот отзыв и рекомендовал продолжать, Уэллс попросил дать ему и другую работу: рецензирование книг. Каст охотно согласился — так появился еще один источник заработка. За два месяца Уэллс заработал столько же, сколько за годы преподавательского труда. Многими годами позже он писал: «Зарабатывание на жизнь сочинительством — странная игра. Успех в ней не зависит ни от знаний, ни от литературной квалификации, а определяется малозначительными чертами времени, интеллектуальной модой; он непредсказуем и неуправляем».

Не все его тексты, опубликованные в «Пэлл-Мэлл» в 1893-м, были безделушками. Среди них были футурологические тексты «Приключения летающего человека» и упоминавшийся «Человек миллионного года», отчасти ставшие прообразами будущих романов. Он продолжал писать научно-популярные статьи для «Юниверсити корреспондент» и «Эдьюкейшнл таймс»; в «Джентльмене мэгэзин» была напечатана его статья «Исторические опыты сотрудничества», в «Чэмберс джорнэл» — эссе «Умирание», где была поэтично изображена картина умирающей Земли, которую мир скоро узнает по «Машине времени».

Чета Уэллсов меж тем сменила адрес: с сентября 1893-го они снимали дом в Суррее, близ городка Саттон: предполагалось, что чистый сельский воздух пойдет больному на пользу.

Но он прожил там всего несколько месяцев. В декабре они с Изабеллой по приглашению Кэтрин провели неделю в доме ее матери. Это был довольно странный визит — и неудивительно, что Изабелла предъявила мужу ультиматум, который был им отклонен. 27 декабря Уэллс написал Дэвису о том, что его брак был ошибкой. «Я нежно люблю мою жену, но

не так, как мужу следует любить свою жену, и мы — как можно тише и спокойней, — разойдемся в Новом году». Изабелла согласия на развод не дала, и тогда Уэллс просто ушел из дому, поселившись вместе с Кэтрин в Лондоне в наемной двухкомнатной квартире по адресу Морнингтон-плейс, 7. «Я ожесточил свое сердце, потому что иначе не смог бы уйти, — напишет он в романе „Тоно-Бенге“. — Наконец-то Марион поняла, что она расстанется со мной навсегда. Это заслонило все пережитые страдания и превратило наши последние часы в сплошную муку... Впервые она проявила ко мне настоящее сильное чувство и, вероятно, впервые испытывала его».

Действительно ли Изабелла вдруг испытала настоящее чувство или просто испугалась остаться в одиночестве — сказать трудно. Ее родственники, его родственники — все укоряли ее: не сумела сохранить семью (что, как известно, является обязанностью отнюдь не мужа, но жены), не старалась смириться, приноровиться. К чести Уэллса надо заметить, что его подобные разговоры бесили. Он всегда яростно отвергал любые обвинения в адрес своей первой жены, никому не позволяя сказать о ней дурного слова. Он любил ее еще много лет после разрыва; эта любовь не раз проявится самым удивительным образом. В феврале 1894-го он в письме матери коротко упомянул о том, что оставил жену и что в разводе виноват он один; отца известил лишь в августе в следующих выражениях: «Все очень просто. В январе я сбежал в Лондон с одной молодой девушкой, своей студенткой. Особенно распространяться об этом не стоит, что было, то было, и остается только уладить дела».

Дела предстояло улаживать вот какие: во-первых, развод в тогдашней Англии был весьма хлопотной процедурой, требующей не только судебного обвинения со стороны одного из супругов, но и значительных

денежных трат; кроме того, Уэллсу предстояло выплачивать жене около 100 фунтов ежегодно. Во-вторых, нужно было налаживать отношения с будущей родней: миссис Роббинс, естественно, относилась к побегу дочери и ее сожителю с женатым человеком не слишком приветливо: требовала соблюдения хотя бы внешних приличий и присылала родственников мужского пола побеседовать с Уэллсом (беседы действия не возымели). Вначале Уэллс и Кэтрин жениться не собирались вообще, а хотели воплощать идеалы свободной любви, но к августу поняли, что обойтись без брака невозможно, если они не хотят всю жизнь врать квартирным хозяйкам и выслушивать оскорбления соседей. А ведь Уэллс уже видел, что опять совершил ошибку: Кэтрин оказалась, по его мнению, еще более фригидной, чем Изабелла. Катастрофически не везло человеку — или он просто не умел тогда обращаться с молодыми девицами?

Нельзя сказать, однако, что его новый союз был несчастлив. Кэтрин была другом; с ней ему всегда находилось о чем разговаривать. Вместо большой любви получилась большая привычка. «Оказавшись вместе и осознав, как быстро испаряются наши героические настроения, как улетучиваются грезы о сокровенных дарах любви, мы все-таки были связаны и внутренним, и внешним обязательством приноровиться друг к другу, чтобы внести хоть какой-то смысл в нашу совместную авантюру. <...> Во многих смыслах мы были странными, но в отношениях с обществом и друг с другом мы, возможно, больше приблизились к идеальному союзу, чем обычно бывает у молодых пар».

С Морнингтон-плейс переехали на другую квартиру — по соседству, на Морнингтон-роуд. Работу у Бриггса Уэллс оставил и занимался только писательством. Работать садился сразу после завтрака. Джейн заканчивала обучение в Заочном колледже: по утрам

она перепечатывала набело (и отчасти редактировала) тексты мужа или готовилась к своим экзаменам. Днем гуляли в Риджентс-парке. Обедали, затем выходили снова и бродили по Лондону, придумывая, о чем еще можно написать: витрины магазинов, кладбища — все давало материал. Затем Эйч Джи (как его все называли по инициалам) опять писал дома, а после ужина играли с Кэтрин в шахматы, слушали музыку, рисовали. Изредка бывали в театре. В гости к ним приходили Морли Дэвис, Уолтер Лоу да еще родственники Уэллса — больше никто. Тихая жизнь оказалась благотворна для работы: за 1894 год Уэллс написал и опубликовал 21 рассказ, около 40 эссе и 38 научно-популярных очерков плюс роман — то есть выдавал новый текст чуть ли не ежедневно.

Большая часть его очерков на научные темы, написанных в 1894 году, была размещена в «Пэлл-Мэлл газетт», но их публиковали и другие издания: «Сайнс энд арт», «Нэйчур» (редактором этого солидного научного журнала потом станет Ричард Грегори) и «Сатердей ревью». Исследователи Д. Хьюз и Р. Филмас<sup>[22]</sup> разделяют их на три группы: 1) очерки о чудесах и загадках природы; 2) статьи о естественно-научном образовании и популяризации науки; 3) тексты, где высказываются новые и парадоксальные идеи. В работах, относящихся к первой группе, Уэллс «просто рассказал» о тех или иных явлениях природы или достижениях науки: «Через микроскоп», «Экскурсия на Солнце», «Искусство приготовления гистологических срезов», «Жизнь в бездне» (о глубоководной фауне), «Светящиеся растения», «Болезни деревьев». Эти тексты — даже статья о гистологических срезах не исключение! — представляют собой превосходные образцы того, как можно о науке написать доступно, ясно и занимательно.

В статьях, относимых ко второй группе, Уэллс именно к этому призывает других популяризаторов: не злоупотребляйте терминологией, но и не впадайте в упрощенчество; высказывайте свои мысли грамотным общеупотребительным языком. Но этого мало: когда вы пишете о каком-либо открытии или изобретении, включайте его в систему знаний более общего характера, чтобы было понятно значение этого достижения для науки в целом; и непременно излагайте все, что вы хотите сказать, «в причинно упорядоченной и логичной последовательности, с тем чтобы дать читателю идею научного метода» — и только тогда ваш читатель получит удовольствие «индуктивного чтения» (среди образцов такого чтения Уэллс называл... детективные рассказы По и Дойла, видимо, полагая, что люди читают их ради наслаждения процессом познания).

«Грехи учителя», «Последовательность обучения», «Королевский научный колледж», «Земля снова плоская», «Наука в школе и после школы», «Сауз-Кенсингтонская научная библиотека», «Популяризация науки» — в этих статьях Уэллс, ссылаясь на пример собственной учебы, доказывает, что существующее образование является схоластическим. Предметы — что в школе, что в институтах — преподаются оторванно друг от друга, последовательность их преподавания нарушена; учащимся преподносят набор готовых сведений, тогда как главное — познавательный процесс — остается за скобками. Уэллс придерживается мысли, высказанной Бэконом: процесс обучения наукам должен в точности повторять процесс развития самих наук. Чтобы дети или студенты не зазубривали предмет, а *понимали* его, преподаватель должен не сообщать им, что «Земля вращается вокруг Солнца», а провести их через всю последовательность представлений человечества об этом предмете, размышляя, ошибаясь и

ступень за ступенью поднимаясь выше вместе с учеными; и если каждый педагог будет каждый предмет излагать так, то ученик овладеет не только знаниями, но и «тем прогрессивным процессом рассуждения, который является самой сущностью подлинного научного изучения, процессом установления очевидности каждого научного факта». Навряд ли найдется много разумных людей, которые станут оспаривать верность такого подхода — но какого же уровня должны быть преподаватели!

Третья группа статей — «с парадоксальными идеями» — самая пестрая. В «Области боли» Уэллс высказывает предположение, что физическая боль является преходящим явлением, через которое человек должен пройти на пути эволюции «от автоматического к духовному». В «Благих намерениях объяснения природы» критикует детские книги за то, что в них говорится о «кротких паучках» и «милых улитках», а нужно честно объяснять детям, что природа не так уж добра и в ней много жестокости. В «Новом оптимизме», анализируя книгу Бенджамина Кидда о социальной эволюции (англосаксонская нация выживет, если станет соблюдать принципы добродетели, альтруизма и самопожертвования) Уэллс мимоходом замечает, что не очень верит в будущее англосаксов — «они так глупы, так благочестивы, так сентиментальны»! Британский читатель так шокирован, что статьи «Вероятные живые существа» и «Другое основание жизни», рассказывающие о возможности возникновения инопланетной жизни на основе кремния и алюминия, уже не могут его поразить. Но ему придется прочесть о себе кое-что и похуже.

«Вымирание человека» — какво! Да, сегодня человек хозяйничает на планете — но кто поручится за его будущее? «Человек может быть смещен со своего трона ракообразными, цефалоподами, муравьями или

бациллами чумы — это лишь четыре возможности из множества прочих». Об этом же — «Норма видовых изменений»: «пластичность» живых существ, то есть их способность развиваться, находится в прямой зависимости от интенсивности их размножения и скорости воспроизводства; следовательно, на смену человеку придут более мелкие и быстро плодящиеся создания. И, наконец, чтобы уж совсем огорчить читателя, статья «Пределы индивидуальной изменчивости» (она же — конспект к «Острову доктора Моро»): «Зачастую молчаливо предполагается, будто живое существо рождается уже максимально предназначенным для наиболее полной реализации своих возможностей. Но мы не учитываем, что живое, возможно, является не готовым продуктом, а пластичным сырьем, которое можно формировать и развивать далеко за пределы очевидных возможностей. <...> Некоторые научные достижения позволяют предположить, что живое существо можно изменять до неузнаваемости; при этом нить жизни сохранялась бы, но форма и умственные структуры развились бы настолько сильно, что это бы оправдало подобное вмешательство».

В том же 1894 году Уэллс начал регулярно писать рассказы. В мае Каст познакомил его с Льюисом Хиндом, редактировавшим «Пэлл-Мэлл баджет» — этот еженедельник, возникший как приложение к газете, собирался отпочковаться, и ему нужны были авторы. Хинд предложил Уэллсу сделать серию сюжетных новелл, в каждой из них говорилось бы что-нибудь о науке. Гонорар — пять гиней за рассказ — был по тем временам очень приличным. Эйч Джи согласился и в один присест написал «Похищенную бациллу» (The Stolen Bacillus), которая была опубликована 21 июня. Этот текст, прикидывающийся триллером и остроумно оборачивающийся анекдотом, принято считать первым

опубликованным рассказом Уэллса, хотя это неверно: зимой и весной уже были напечатаны в «Пэлл-Мэлл газетт» юмористические рассказы «Человек с носом» (The Man With a Nose) и «Триумф таксидермиста» (The Triumphs of a Taxidermist), в «Сент-Джеймс газетт» — новелла «Семейный побег» (A Family Elopement), а в журнале «Труз» — «Рассказ с печальным концом» (In the Modern Vein: An Unsympathetic Love Story).

Дальше Уэллс написал еще полтора десятка рассказов, которые вместе с вышеупомянутыми вошли в изданный на следующий год сборник «Похищенная бацилла и другие истории» — приводим их в порядке опубликования Хиндом с 28 июня по 20 декабря 1894 года: «След пальца» (The Thumbmark), «Ограбление в Хэммерпонд-парке» (The Hammerpond Park Burglary), «Кокетство Джейн» (The Jilting of Jane), «Странная орхидея» (The Flowering of the Strange Orchid), «В обсерватории Аву» (In the Avu Observatory), «Человек, который делал алмазы» (The Diamond Maker), «Сокровище в лесу» (The Treasure in the Forest), «Бог Динамо» (The Lord of the Dynamos), «Предмет в № 7» (The Thing in No. 7), «Непонятый художник» (A Misunderstood Artist), «Остров эпиорниса» (Aepyomis Island) и «Страусы с молотка» (A Deal with Ostriches). Еще два рассказа — «У окна» (Through a Window) и «Как Габриэль стал Томсоном» (How Gabriel Became Thompson) — Хинду не подошли и были напечатаны в журналах «Блэк энд уайт» и «Труз». Короткие сюжетные истории удавались Уэллсу еще лучше, чем бесформенные эссе. Тут и чистая фантастика, и квазидетективы, и анекдоты; Ю. Кагарлицкий назвал их «рассказами о необычном» — и экзотичность фабулы в самом деле единственное, что их объединяет. Нет — еще, пожалуй, качество. Они совершенны по форме и остроумны по содержанию; исчезла старомодная цветистость, которой отличались



прежние тексты, и на смену ей пришла элегантная, щегольская простота, которой позавидовал бы Мериме.

Евгений Замятин назвал Уэллса «городским сказочником» — это особенно верно в отношении ранних рассказов. Про лодки и так пишут красиво все кому не лень — а вы попробуйте про динамо-машину! «Я хотел бы, если бы было возможно, чтобы грохот машинного зала непрерывно звучал в ушах читателя, чтобы наш рассказ шел под аккомпанемент гула машин. Это был ровный поток оглушительных шумов, из которых ухо выхватывало то один звук, то другой; прерывистый храп, сопение, вздохи паровых двигателей, чмоканье и хлопки снующих поршней, глухое содрогание воздуха под ударами спиц гигантских маховиков, щелканье то натягивающихся, то ослабевающих ремней, визгливый клекот малых машин, и над всем этим — порой неразличимый для усталого уха, но потом исподволь снова овладевавший сознанием — тромбонный вой большого динамо. Это было странное, беспокойное место; не удивительно, что и мысли не текли здесь плавно и привычно, но судорожно дергались какими-то нелепыми зигзагами». Не умел видеть, не умел описывать? Как бы не так! Недаром рецензент из журнала «Критик» назвал «Бога Динамо» «достойным пера Кипплинга» (что Уэллсу не понравилось — он Кипплинга не любил).

Тот же Каст в конце 1893-го познакомил Уэллса с Уильямом Хенли, редактором «Нэшнл обсервер». Уэллс показал Хенли тексты своих старых статей о времени, Хенли идея понравилась, и он попросил написать серию очерков на эту тему. Уэллс взял «Аргонавтов хроноса» и начал их переделывать: выбросил всю романтику, разбил текст на семь эссе, и Хенли публиковал их в своем журнале с марта по июнь 1894 года; они не были подписаны именем автора, печатались под разными названиями, и многие читатели даже не поняли, что

перед ними одна большая работа. Но уже летом осколки вновь начнут собираться в единое целое.

Мирная, заполненная работой лондонская жизнь первой половины года омрачалась проблемами со здоровьем: у Кэтрин было малокровие, у Эйч Джи в придачу к старым болезням обнаружилось воспаление лимфоузлов. Обоим требовался здоровый климат. Они поехали в Севен-Оукс, графство Кент, где поселились на «вилле Тускулум», как пышно именовался ветхий коттедж; к ним присоединилась миссис Роббинс. Тут прислали судебную повестку по бракоразводному процессу — и квартирная хозяйка узнала, что парочка не состоит в браке. Пришлось выдержать много тяжелых сцен. А тут еще оказалось, что рассказы и статьи Уэллса, которыми были завалены редакции, никому не нужны. У «Нэшнл обсервер» сменился владелец, Хенли пришлось уйти. Литературный редактор «Пэлл-Мэлл газетт» Уотсон ушел в отпуск, а его помощник работами Уэллса не заинтересовался. Астор объявил, что закрывает «Пэлл-Мэлл баджет», и Хинд не мог больше платить авторам.

Эйч Джи с изумлением обнаружил, что деньги прожиты, а накоплений нет. Он еще не понимал, что профессионал такого уровня, уже имеющий репутацию, не может остаться невостребованным; ему нужно было содержать двух жен, родителей, брата; он испугался. Правда, Хенли сказал ему, что намеревается открыть новый журнал и будет брать его работы; все это было вилами по воде писано, но Эйч Джи предпочел поверить — иначе его жизнь теряла смысл. Никаких статей он писать не стал — их уже было навалом, — а вновь взялся за «Аргонавтов»: в результате получилась «Машина времени» (The Time Machine).

Уэллса занимала мысль о времени как одном из измерений, имеющем свою протяженность и предполагающем возможность каким-то образом по

нему перемещаться, но занимала как философская проблема, а не техническая. Он писал не о путешествиях во времени — недаром Путешественник, быстренько изложив свою теорию в самом начале романа, о ней больше не вспоминает. Уэллс всегда говорил, что его фантастика не имеет ничего общего с научной фантастикой Жюль Верна, и называл себя последователем Свифта: его интересовала не наука, а человечество, которое он в аллегорическом виде изобразил в своем первом романе. Нас учили так: эloi представляют собой деградировавшую буржуазию, а морлоки — выродившийся пролетариат, и как-то ухитрялись обходить вопрос, почему эloi вызывают у Уэллса жалость, а морлоки — ужас и омерзение, как и то обстоятельство, что эloi не господствуют над морлоками, а напротив, употребляются ими в пищу. Нам, уже знающим, что пролетариата он терпеть не мог, это неудивительно. Стало быть, пред нами памфлет о буржуазии (бесполезной, но милой) и трудящихся (полезных, но мерзопакостных)? Но почему, интересно, он столь ужасно заканчивается?

В каноническом тексте «Машины» отсутствует фрагмент, который имелся в первой публикации: когда Путешественник, бежав от морлоков, попадает в совсем уж далекое будущее, то обнаруживает там травоядных животных, физическое строение которых обнаруживает, что они являются потомками элоев; а гигантские крабы, что пытались напасть на Путешественника, предположительно происходят от морлоков и по-прежнему едят этих несчастных зверьков, только уже не под покровом ночи, а круглосуточно. Сцена была сочтена слишком мрачной, и автор от нее отказался. Но и так финал «Машины» ужасен. Впоследствии Уэллс придумает кучу утопий, где будущее предстает в самых светлых красках — мог бы, кажется, и здесь дать человечеству надежду.

Почему он не сделал этого? Советских литературоведов это просто с ума сводило и они отделялись простым отрицанием очевидного: «Писатель, нарисовавший столь яркие картины коммунистического общества, не мог, конечно, так пессимистически представлять себе будущее. Острие этого памфлета направлено в современность...»<sup>[23]</sup> Но ведь, согласитесь, и вправду странно... Сам Уэллс в поздние годы писал, будто оправдываясь, что пессимизм «Машины» и других ранних романов обусловлен исключительно желанием подражать Свифту, к тому же «страшные рассказы писать проще, чем веселые и возвышающие». Мы бы, может, и поверили, если бы не прочли множества статей, о которых говорилось выше, и если бы не существовало письма Уэллса, в котором он рассказал, о чем на самом деле его роман:

«Дорогой сэр!

Посылаю вам маленькую книжку, которая, хочу надеяться, будет вам интересна. Основная идея — дегенерация грядущего общества — явилась результатом некоторых биологических изысканий. Наверняка вам уже случалось встречать полным-полно подобных рассуждений, но, быть может, меня извинит то обстоятельство, что я был одним из ваших учеников в Королевском научном колледже. Книга совсем маленькая.

С уважением, глубоко преданный Вам Эйч Джи Уэллс».

Это робкое письмо было адресовано профессору Хаксли. Уэллс в своем романе писал о проблеме, которая интересовала его уже много лет — об эволюции человечества, причем не в аллегорическом смысле, а в прямом — эволюции человека как биологического вида. Это намного шире социальной проблематики. Люди, точь-в-точь как безмозглые ящеры из «Взгляда в

прошлое», убеждены, что их господство на планете будет вечным, но рано или поздно их вытеснят другие, пока неведомые существа. При этом неважно, как будут люди вести себя. Когда Путешественник еще не подозревал о существовании морлоков и считал общество элов золотым веком, он решил, что высокоразвитой цивилизации не нужны сила и агрессивность. Потом он изменил свою точку зрения (внимательный читатель заметит, что он менял ее четырежды — в соответствии с высказанными ранее принципами Уэллс проводит нас вместе с героем последовательно по пути, которым шло его, героя, познание) и понял, что человек, лишенный навыков борьбы за существование, деградирует. Именно на этой мысли сосредоточился Лем в романе «Возвращение со звезд», который повторяет «Машину» во всех деталях: у него люди будущего, над которыми проведена операция, ликвидирующая агрессивные инстинкты, перестают к чему-либо стремиться и коснеют в своем безопасном мире точь-в-точь как элои.

Лем Уэллсову идею обыграл и развил — у него получилось, что человек, не способный убить, и к звездам полететь не способен: вот и выбирайте... Лем любил ставить сложнейшие этические дилеммы, Уэллс — не особенно. Ему казалось, что проблемы этики нужно упрощать, а не усложнять. Если бы он хотел предложить читателю дилемму, то последовал бы той же логике, что и Лем: морлоки — ведь они-то агрессии не утратили — должны были полететь к звездам. А морлоки вместо этого тоже тихо деградировали — в крабов. Получается, что и деятельная агрессия, и добродушное безделье равно ведут к вырождению и гибели.

По Спенсеру, эволюция характеризуется переходом от хаоса к порядку. Но, в соответствии со Вторым законом термодинамики, эволюция — одно из

проявлений энтропии (хаоса, возрастающего с ростом потребления энергии, который приведет в конце концов к тепловой смерти Вселенной). Вряд ли когда-либо закончатся споры о том, является ли сознательная деятельность человека фактором, увеличивающим энтропию или противостоящим ей; Хаксли считал, что именно благодаря деятельности человека энтропии можно сопротивляться. Неизвестно, насколько Уэллс изучил труды Клаузиуса и Больцмана об энтропии, но о теории тепловой смерти, разумеется, знал — потому и написал ужасную картину гаснущего Солнца и умирающей Земли; и на вопрос о роли человечества в этом процессе ответил своему учителю: «Растущая цивилизация представлялась ему (Путешественнику во Времени. — М.Ч.) в виде беспорядочно сооружающегося здания, которое в конце концов должно обрушиться и задавить собою строителей». Уэллс имел в виду капиталистическую цивилизацию? Да ничего подобного: «Такова неизбежная судьба всякой энергии. Достигнув своей последней цели, она еще ищет выхода в искусстве, в любви, а затем наступает бессилие и упадок». А между тем в современной науке вновь высказываются взгляды, аналогичные идеям даже не Хаксли, а Спенсера: в эволюции заложено стремление отнюдь не к хаосу, но к порядку, ибо в ходе ее остаются жить те виды, которые достигли максимальной неизменности, в частности — человек...

Так что же Хаксли — понравилась ему книга? Учитель на письмо не ответил. Любя литературу, он не терпел фантастики и считал ее глубоко враждебной науке. А между тем Уэллс говорит, что желание писать фантастику у него возникло именно тогда, когда он слушал лекции Хаксли и занимался биологией...

Когда текст был закончен, Хенли уже открывал журнал «Нью ревью», куда и принял «Машину». Эйч Джи и Кэтрин вернулись в Лондон осенью 1894-го.

Поселились на старой квартире. Миссис Роббинс жила отдельно. Неприятности закончились: Хенли вот-вот начнет публиковать роман, «Пэлл-Мэлл газетт» снова принимает эссе, так и не закрытый «Пэлл-Мэлл бюджет» — рассказы. И сразу появилась новая работа. Злодей Харрис купил еженедельник «Сатердей ревью»: ему понадобились авторы, обладавшие свежим взглядом и высокой производительностью. Он пригласил и Уэллса, и Уолтера Лоу; в «Сатердей ревью» стали писать Бернард Шоу, Макс Бирбом, Грэм Каннингем и другие молодые литераторы. Журнал быстро сделался интересным, популярным, платили авторам хорошо; Уэллс все это признавал, но не смягчил отношения к Харрису и потратил двадцать страниц автобиографии на описание его гадкой личности. Сам он писал в «Сатердей ревью» очерки, заметки, эссе и рецензии на новые книги, благодаря чему завел множество знакомств с писателями. Он уже пол-Лондона наводнил своими текстами, но еще не был знаменит.

Той осенью он начал делать наброски к «Острову доктора Моро» (The Island of Dr. Moreau), а также написал роман «Чудесное посещение» (The Wonderful Visit). Сельский викарий подстрелил существо, которое принял за большую птицу, — а оно оказалось ангелом. Викарий считал, что ангелы существуют только в мире грез, в Стране Прекрасных Сновидений, а ангел, как выясняется, думал так же: в мире, где он живет, ангелы-художники придумывают «людей, и коров, и орлов, и тысячи невозможных существ». Викарий и ангел приходят к выводу о множественности обитаемых миров — «они существуют бок о бок, и каждый для другого — только смутный сон», — и о том, что ангел каким-то образом провалился из своего мира в соседний. Встречается утверждение, что Уэллс предвосхитил специальную интерпретацию квантовой механики, получившую название множественности

миров. Но этот роман Уэллса уж никак не о физике и не множественных мирах (хотя проблема его интересовала и он к ней будет возвращаться).

Крыло ранено, улететь ангел не может, и викарий приводит его в деревню. Но никто не верит в существование ангелов. Несчастливого одевают в человеческую одежду и пытаются принудить вести себя по-человечески, то есть быть таким же эгоистичным, злобным и нетерпимым, как люди, а местный врач, чтобы сделать из ангела человека, предлагает отпилить ему крылья. Супруги Маккензи полагают, что в лице этого врача, являющегося наброском к Моро, автор «критикует позитивистскую науку и дарвинистский подход», но, на наш взгляд, это притянута за уши. Метафора — художник, которому пошлые обыватели хотят отрезать крылья, — достаточно проста: «Все необычное безнравственно, равно как необычный образ мысли есть безумие».

В сердце старого викария появление ангела пробудило веру в красоту и в чудо, и все же он идет на поводу у человеческих правил и обещает возмущенным прихожанам поскорей отослать ангела прочь, чтобы он не будоражил народ своей необычностью. Тем временем ангел поневоле усваивает людские черты и среди них главную: агрессивность — когда он сталкивается с грубым злодеем-эксплуататором, то в гневе избивает его. «Поистине этот мир не для ангела! — сказал Ангел. — Это мир Войны, мир Боли, мир Смерти. Здесь на тебя находит гнев. Я, не знавший ни боли, ни гнева, стою здесь с кровью на руках. Я пал. Прийти в этот мир — значит пасть. Здесь ты должен испытывать голод и жажду, должен терзаться тысячью желаний. Здесь ты должен бороться за землю под ногами, и поддаваться злобе, и бить...»

Финал предсказуем: ангел, которому среди нас не место, то ли погибает в пожаре (так думают



обыватели), то ли улетает в свой ангельский мир. Все пишут о сходстве «Аргонавтов» и «Машины времени», но почему-то никто не упоминает об их родстве с «Чудесным посещением» — а ведь оно так и бросается в глаза. Абсолютно все из «Аргонавтов», что не вошло в «Машину», попало во второй роман: «гадкий утенок», внезапно появляющийся в деревне и ненавидимый обывателями, добрый священник, даже исчезновение героя из-под носа у толпы и его вылет в «свое», хорошее время (или место, что для Уэллса одно и то же) — только с собой он на сей раз прихватывает не викария, а девушку, которая его полюбила. «Чудесное посещение» — текст наивный, полный «красивостей», но в нем есть важная вещь — то, как Уэллс попытался выразить чувство мучительной тоски старого викария по Стране Прекрасных Сновидений, не имеющей ничего общего с социалистическими утопиями. Сам о себе он твердил: я твердо стою на ногах, смотрю в глаза правде жизни, «хочу овладеть реальностью и, если она воспротивится, скрутить ее» — зачем такому человеку Страна Прекрасных Сновидений? Да он бы там со скуки помер в первый же день... Что такое эта страна — мир художников и писателей, противостоящий миру мещан, или какое-то иное место?<sup>[24]</sup> Посмотрим, проявится ли эта удивительная тоска где-нибудь еще...

Вроде бы все складывалось превосходно: работа кипит, за нее платят, будущее ясно; но Эйч Джи по-прежнему чувствовал неуверенность и раздражение. Работать для Харриса ему не нравилось, жизнь с Кэтрин была счастливой лишь отчасти, он тосковал по Изабелле и писал Элизабет Хили, которая поддерживала отношения с его женой: «Могу ли я что-нибудь сделать для Изабеллы? Я надеюсь, что у вас будет возможность навестить ее, и я буду счастлив узнать о ней хоть что-нибудь. Она мне писала, но было

бы глупо ждать, что она много расскажет о себе. Это трагедия, в которой виноват я один. <...> Все, что я могу сделать — это зарабатывать столько, чтобы можно было навсегда избавить ее от материальных трудностей и забот о зарплате. Ей нужны друзья, новые интересы. Но тут я бессилен ей помочь...»

Развод был оформлен в январе 1895-го. Уэллс регулярно переводил деньги на счет Изабеллы (и будет делать это после ее нового замужества), а денег все прибавлялось. Каст предложил работу в штате «Пэлл-Мэлл газетт» — должность театрального критика. Затея была неудачной. Уэллс не любил театра, считал этот вид искусства устаревшим; в юмористическом рассказе «Печальная история театрального критика» он рассказал о том, как неискушенный герой, пристрастившийся к театру, начинает в реальной жизни вести себя словно на сцене — и сходит с ума. «Я обдумывал новое человеческое общество, а уж найдется ли в нем место для театральных постановок, казалось мне не столь существенным». Однако работал он добросовестно — купил фрак, ходил по премьерам, писал заурядные рецензии, заводил знакомства.

Наконец-то он как следует познакомился с Шоу — жизнь уже их сталкивала, но теперь они стали коллегами (в «Сатердей ревью» Уэллс рецензировал новые книги, а Шоу вел театральный отдел). Отношения будут сложными. Уэллс признавался, что с его стороны к Шоу было чувство соперничества и ревности, а тот относился к нему «как к младшему брату». «Ему, надо думать, я всегда казался ужасно приземленным, мне же его суждения, при всей их яркости, представлялись слишком легковесными». Шоу был склонен к эстетству — это Уэллсу категорически не нравилось. Но он прощал куда большее эстетство другому человеку, с которым дружил много лет, — Генри Джеймсу. Одним из первых спектаклей, которые Уэллсу пришлось

рецензировать, был «Гай Домвилл» по пьесе Джеймса; премьера провалилась, автор был в прострации, начинающего рецензента при взгляде на него трясло от жалости. В рецензии Уэллса говорилось, что в провале виновен не драматург, а театр: творчество Джеймса чересчур тонко для сцены. Джеймс был мягким, деликатнейшим человеком, а Уэллс, сохранивший в себе немало от перепуганного мальчишки-приказчика, недолюбливал резких и жестких людей; его тянуло к мягким, тактичным.

\* \* \*

Серийная публикация «Машины времени» началась в конце 1894 года<sup>[25]</sup>. Хенли заплатил за нее 100 фунтов. Ожидалось книжное издание. Источники расходятся во мнениях, кто «протолкнул» роман в издательство Хайнемана — Хенли или Уотт, известный литературный агент, сотрудничавший со всеми перспективными авторами того времени. Гонорар был назначен в 50 фунтов плюс 20 процентов роялти от тиража свыше пяти тысяч экземпляров. Так весной 1895 года Уэллс из журналиста-поденщика стал писателем. Его роман встретили горячо: подавляющее большинство читателей справедливо увидели в нем не социальный памфлет и не научное открытие, а прекрасную беллетристику — остросюжетную, хорошо написанную и, главное, оригинальную.

Почему текст, посвященный научным и социальным проблемам, стал превосходным остросюжетным романом? Почему лучшие фантастические истории Уэллса так убедительны и увлекательны, когда в них напрочь отсутствует главное: живые люди, характеры? (Попробуйте припомнить хоть одного уэллсовского героя — кто он, какой он, — ни за что не сумеете,

потому что их нет.) Замятин утверждал, что «фантастика Жюль Верна может зачаровать, дать иллюзии реальности — только неискушенному детскому уму; логическая фантастика Уэллса, в большинстве случаев, с острой приправой иронии и социальной сатиры, увлечет любого читателя»; не согласимся. Логичность логичностью, но ранняя фантастика Уэллса именно что зачаровывает и дает иллюзию реальности — перечтите (в одиночестве и тишине, на ночь глядя) и убедитесь. Так в чем, по выражению Стругацких, «секрет непреходящей власти этих странных книг с их архаическими ужасами и наивными прогнозами»?

Уэллс, привыкший раскладывать себя по полочкам, сам все объяснил. «Фантастический элемент — о необычных ли частностях идет речь или о необычном мире — используется только для того, чтобы оттенить и усилить обычное наше чувство удивления, страха или смущения. Сама по себе фантастическая находка — ничто, и когда за этот род литературы берутся неумелые писатели, не понимающие этого главного принципа, у них получается нечто невообразимо глупое и экстравагантное. Всякий может придумать людей наизнанку, антигравитацию или миры вроде гантелей. Интерес возникает, когда все это переводится на язык повседневности и все прочие чудеса начисто отменяются. Тогда рассказ становится человеческим. Что бы вы почувствовали и что бы могло с вами случиться — таков обычный вопрос, — если бы, к примеру, свиньи могли летать и одна полетела на вас ракетой через изгородь? Что бы вы почувствовали и что бы могло с вами случиться, если бы вы стали ослом и не в состоянии были никому сказать об этом?» Конечно, Уэллс был несправедлив в своем пренебрежении к писателям, «придумывающим миры вроде гантелей» — Роберт Шекли преимущественно этим и занимался, и за это мы любим его. Но когда мы читаем Шекли, у нас ни

на секунду не возникает ощущения подлинности, чувство, будто описываемое происходит с нами. По «рецепту» Уэллса написано «Превращение» Кафки; по этому же принципу сделаны лучшие романы Стивена Кинга. Ничем не примечательный человек живет своей обычной жизнью — и вдруг в нее тихонечко, как туман, вползает одна, всего лишь одна странная, ужасная, невообразимая вещь...

Все лучшие фантастические тексты Уэллса написаны от первого лица; автору этой книги уже приходилось анализировать данный прием применительно к Конан Дойлу, но у Уэллса он направлен на достижение другого эффекта: если у Дойла милый Уотсон суть волшебные очки, сквозь которые читатель должен увидеть героев так, чтобы они для него ожили, то у Уэллса, никаких героев писать не умевшего и не желавшего, повествователь — безликий человек-невидимка, абстрактный силуэт, никто, и благодаря этому на место персонажа каждый проецирует себя. «Ужасны были в темноте прикосновения этих мягкотелых созданий, облепивших меня. Мне показалось, что я попал в какую-то чудовищную паутину. Чьи-то маленькие зубы впились в мою шею... Я слышал, как под моими ударами обмякали их тела, как хрустели их кости...»

«Машину» сразу же оценили не только «простые» читатели. Литературный критик Грант Ричардс, сотрудничавший в «Ревью оф ревьюс», влиятельном издании, которое редактировал Уильям Стид, после первого же выпуска «Сатердей ревью» с отрывком из «Машины» обратил внимание Стида на нового автора, а в марте написал на роман восторженную рецензию, где, в частности, говорилось: «Эйч Джи Уэллс гениален».

В завершение разговора о «Машине» стоит упомянуть, что это была не первая машина времени, придуманная Уэллсом. В 1894 году он совместно с

лондонским оптиком и механиком Робертом Уильямом Полом взял патент на аттракцион, который они называли «машиной времени». Эта конструкция должна была представлять вагончик, в котором под тряску и стук колес возникали «движущиеся картины». Люмьеры продемонстрировали публике свое изобретение 8 декабря 1895-го. Эйч Джи опять оказался «слишком умным».

## **Глава четвертая HOMO SCRIBENS**

Весной 1895 года Уэллс писал родителям, чтобы не беспокоились относительно денег — он может присылать больше, чем они договаривались ранее, а также будет откладывать средства на покупку для них хорошего дома. «Как бы я ни преуспевал, ничего бы не было, если бы не вы. В детстве вы, невзирая на обстоятельства, всегда снабжали меня карандашами, бумагой и книгами из библиотеки, и если бы не моя мать с ее воображением и отец с его многообразными умениями, откуда бы взялись у меня эти качества?» Здоровье его меж тем снова начало ухудшаться — жизнь в Лондоне никогда не шла ему на пользу. В марте он съездил с Кэтрин отдохнуть в Девон, а вернувшись на Морнингтон-стрит, начал подыскивать постоянное жилье за городом. Теперь он мог себе это позволить: если в 1893 году он заработал в общей сложности 380 фунтов, то в 1894-м — 580, а в 1895-м — почти 800. После успеха «Машины» его работы были востребованы всюду.

Рассказов у него в этом году вышло лишь чуть поменьше, чем в прошлом: приводим их названия в порядке публикации (в «Пэлл-Мэлл баджет», в пришедшем на смену этому изданию «Нью баджет», а также в «Сент-Джеймс газетт», «Юникорн», «Уикли сан

литэрани сапплемент», «Нью ревью» и «Йеллоу бук») с января 1895-го по январь 1896-го: «Летающий человек» (The Flying Man), «Искушение Херрингея» (The Temptation of Harringay), «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» (The Remarkable Case of Davidson's Eyes), «Бабочка» (A Moth — Genus Novo), «Катастрофа» (A Catastrophe), «Наш маленький сосед» (Our Little Neighbor), «Эссенция Уэйда» (Wayde's Essence), «Колдун из племени Порро» (Pollock and the Porroh Man), «Как был покорен Пингвилл» (How Pingwill Was Routed), «Над жерлом домны» (The Cone), «Примирение» (The Reconciliation), «Воздухоплаватели» (The Argonauts and the Air), «Под ножом» (Under the Knife) и «Препарат под микроскопом» (A Slip Under the Microscope). Все эти тексты, большая часть которых включена в сборник 1897 года «История Платтнера и другие истории», по форме и выбору сюжетов похожи на рассказы предыдущего года; они также хороши, особенно «Замечательный случай с глазами Дэвидсона», где в характерной для одного лишь Уэллса форме «научной поэзии» развивается идея о параллельных мирах, хотя такого шедевра, как «Бог Динамо», среди них, пожалуй, не найдется. Беллетрист — не машина и не может постоянно выдавать идеальную продукцию.

В мае издательство «Дент» приняло рукопись «Чудесного посещения», а сентябре роман был издан (с посвящением памяти безвременно умершего Уолтера Лоу); он, как и «Машина», получил превосходную прессу. В июне у издателя Лейна вышел сборник «Избранные разговоры с дядюшкой»; туда были включены в основном уже публиковавшиеся тексты, в которых Уэллс проявил себя как юморист. В сборнике 14 рассказов; большинство из них представляют собой беседы повествователя с его дядей, который произносит монологи о моде, музыке, цивилизации, рассказывает, как посещал портного, ходил в оперу,

женился... Дядюшка склонен к авантюрам, хитер и простодушен одновременно; одни литературоведы видят в нем Джозефа Уэллса, другие — дядю Уильямса из школы «Буки»; есть в нем и черты Фрэнка Уэллса. Чуть позднее Уэллс создал еще двух постоянных персонажей — страдальцу тетушку Шарлотту (это, конечно, Сара Уэллс, хотя некоторые считают, что и Изабелла тоже) и романтическую молодую женщину Юфимию — это Кэтрин и отчасти опять же Изабелла.

«Разговоры с дядей» издали — крошечным, правда, тиражом — одновременно в Англии и Америке. В Штатах сборник встретили с восторгом, отзывы английской печати были разноречивы: кто-то хвалил рассказы за тонкий юмор, но критик журнала «Атенеум» нашел их банальными и напыщенными. Все, что касается юмора, оценивать трудно — уж очень субъективно его восприятие, да еще в переводе. «Профессор Гнилсток, к вашему сведению, объездил полсвета в поисках цветов красноречия. Точно ангел господень — только без единой слезинки, — ведет он запись людских прегрешений. Проще сказать, он изучает сквернословие. Его коллекция, впрочем, притязает на полноту лишь по части западноевропейских языков. Обратившись к странам Востока, он обнаружил там столь потрясающее тропическое изобилие сих красот, что в конце концов вовсе отчаялся дать о них хоть какое-нибудь представление. „Там не станут, — рассказывает он, — осыпать проклятиями дверные ручки, запонки и другие мелочи, на которых отводит душу европеец. Там уж начали, так держись...“»<sup>[26]</sup> Смешно это или нет? Кому как...

Одновременно с «Разговорами» тиражом в 10 тысяч экземпляров была издана «Машина времени» — тоже в Англии и Штатах. А в ноябре издательство «Метьюэн»



опубликовало сборник рассказов «Похищенная бацилла и другие истории». Критики писали об Уэллсе, издатели готовы были драться из-за него, деньги сыпались. Он мечтал заниматься беллетристикой, теперь беллетристика его кормила; он, кажется, мог бы не писать больше статей о науке. И он написал их значительно меньше, чем в прошлом году, — чуть более 20 (публиковались в «Пэлл-Мэлл газетт», «Нэйчур» и «Ноуледж»). Но все ж он писал их — не только ради заработка, а потому что ему было это интересно не меньше, чем беллетристика.

Он писал о телеграфе, о солнечной энергии, о системе мер и весов, об опылении, о пигмеях, о геологии, о Луне — вряд ли был предмет, который не мог его заинтересовать и о котором он не мог бы сказать что-нибудь интересное (разве что театр). Однако в этом году он реже высказывал оригинальные идеи — только по самым для него важным проблемам биолого-философского характера. В статьях «Продолжительность жизни» и «Смерть» он писал о том, что основное предназначение и занятие животного — не жить самому, а воспроизводить свой вид, и это отчасти свойственно человеку, обретающему, как и животное, видовое бессмертие в своих потомках. При этом он продолжил делать мрачные предсказания о будущем людского рода, считая, что в «Машине времени» еще недостаточно высказался на эту тему: в статье «Био-оптимизм» он рассматривает примеры физического и умственного «вырождения» в некоторых семьях и на этом основании оспаривает позитивистский тезис о поступательной направленности эволюции. «Естественный отбор держит нас крепче, чем когда-либо, поскольку наследование приобретенных признаков не лишает нас веры в образование как средство спасения детей из вырождающихся семей. Этот феномен дегенерации отнимает веру в то, что

новые формы жизни естественным образом будут выше старых».

Все плохо, а будет еще хуже. И вдруг на этом черном фоне, как заблудившийся солнечный зайчик, появляется статья «Спящая эволюция», где Уэллс пишет о том, что некоторые органы или свойства животных кажутся абсолютно бесполезными для их адаптации на нынешнем этапе существования — но, возможно, эти «спящие», «законсервированные» атрибуты для чего-нибудь понадобятся на дальнейших этапах; не может ли быть так, что выдающиеся умственные способности некоторых людей представляют собой именно такой «спящий атрибут», который впоследствии пригодится человеку как виду? Это, пожалуй, первый робкий намек на то, что человек может эволюционировать не только в краба или колонию микробов.

\* \* \*

Читатель, возможно, обратил внимание на то, что Уэллс, в отличие от большинства литераторов, постоянно сотрудничавших с одним-двумя изданиями, всегда публиковался во множестве разных журналов и его книги выходили во многих издательствах. Это не случайность, а характерная особенность нашего героя: с первых лет успеха он затеял беспрецедентную битву с издателями, которая не прекращалась до самой его смерти. Он считал, что издатели эксплуатируют писательский труд, а литераторы, соглашаясь на постоянное сотрудничество, этой эксплуатации потакают. Он манил издателей обещаниями, но не связывал себя обязательствами, и в итоге ни один издатель не мог знать, когда он получит очередной текст Уэллса и получит ли его вообще. Кроме того, он заламывал несусветный гонорар, полагая, что

оказывает услугу не только себе, но и издателю, который будет вынужден крутиться, выпуская большие тиражи, и тем самым станет сильнее в борьбе за существование. А когда сумма была утрясена и договор подписан, издатель по-прежнему дрожал, ожидая беспрестанных поправок и обвинений в нечестности и неумении вести дела: хотя Уэллс, по собственному признанию, в экономике мало что смыслил, он полагал, что может и должен учить издателей, как им работать. Хенли велел ему внести ряд поправок в текст «Машины времени», и он сделал это со словами благодарности за совет, но очень скоро он перестал прислушиваться к подобным советам и на требования исправлений отвечал оскорбительными письмами. Впоследствии его приятель Форд Мэдокс Форд, оценивая отношения Уэллса с издателями, говорил, что некогда видел для Уэллса две возможности: с годами он должен был либо стать помещиком и баллотироваться в парламент от консерваторов, либо попасть в сумасшедший дом; однако, присмотревшись получше, он думает, что перед Уэллсом открыта лишь вторая дорога — в Бедлам.

А теперь — фрагмент из «Опыта», где Уэллс пишет о своем отце и его сыновьях: «Страсть к приобретательству и накоплению, расчетливость, стремление во что бы то ни стало выбиться в люди чужды нам четверым. Это не в наших традициях, не в нашей природе, не в нашей крови. Мы способны хорошо работать, действовать в команде, но не умеем продавать, торговаться... <...> В мире частной собственности мы ничего не заимели. Нас оттерли более предприимчивые. <...> В мире конкуренции и приобретательства люди моего склада оказываются вытесненными на обочину людьми пробивными и ловкими. Я, естественно, предпочитаю людей своего склада и верю, что в конце концов мы восторжествуем, ведь людям дано одолеть крыс. Мы строители, и

построенное нами будет стоять века. Но на протяжении тысяч поколений, да и поныне, востроглазые, быстроногие, лезущие изо всех нор крысы, куда ни глянешь, берут над нами верх, заселяют наши дома, пожирают нашу пищу, паразитируют на нас...»

Между тем он отлично умел торговаться и продавать свой труд и, похоже, делал это не без удовольствия. Лукавил человек или вправду не замечал за собой этих способностей? И кем нам его называть — предприимчивым хапугой или тружеником, последовательно отстаивающим свои права? Чехов не умел и не хотел собачиться с издателями — и как его друг Суворин с ним поступал? Конечно, Уэллс смертельно боялся бедности и оттого был жаден (но не скуп: он давал деньги многим, его дом и стол были открыты для целых толп народу); в то же время он был убежден, что интеллектуальный труд есть высшая разновидность труда и должен приносить больший доход по сравнению, например, с мануфактурной торговлей. «Наука, искусство, литература — это оранжерейные растения, требующие тепла, внимания, ухода. Как это ни парадоксально, наука, изменяющая весь мир, создается гениальными людьми, которые больше, чем кто бы то ни было другой, нуждаются в защите и помощи».

Битву с издателями Уэллс вел не в одиночку: с начала 1896 года на стражу его кошелька встал литературный агент Джеймс Пинкер. (Литагентства в Англии были тогда в новинку — Пинкер стал вторым после своего более известного коллеги Уотта.) Выходец из социальных низов, Пинкер, отстаивая интересы своих клиентов, торговался умело и жестко и приобрел репутацию грозы издателей. Вдвоем с Уэллсом они доказали, что в борьбе за существование литератор как биологический вид имеет кое-какие шансы. Да, лучше других выживает тот литератор, что клыкаст и когтист,

что умеет торговаться и ставить рекламу себе на службу, или тот, что, подобно колонии микробов, пишет бульварные вещи, похожие на жевательную резинку; да, слабые гибнут. Все это лишь подтверждает слепоту и внеморальность естественного отбора. Но — кто знает? — быть может, талант и есть тот «спящий атрибут» эволюции, который когда-нибудь наконец станет главным критерием адаптации вида Homo Sribens?..

\* \* \*

Хотя Уэллс и стремился побольше заработать, должность театрального рецензента была ему до того противна, что несколько месяцев спустя он от нее отказался. Они с Кэтрин уехали из Лондона и поселились в Уокинге, маленьком городке в полчасе езды от столицы — чистый воздух, сосны, вересковые пустоши, речка, заросшая кувшинками; впечатление несколько портил только что открывшийся там первый в Англии крематорий. Сняли за 100 фунтов полдома на улице Мейбери-роуд, возле железнодорожной станции — там, совсем рядом, вот-вот упадет первый марсианский цилиндр.

На обстановку не тратились: памятуя о прошлом лете, Уэллс боялся тратить свой едва нажитый капитал. 100 фунтов в год он отдавал Изабелле, 60 — родителям. Сами супруги жили довольно скромно. Наняли служанку, брали напрокат лодку и катались по реке, потом купили велосипеды, входившие тогда в моду. «Я исколесил всю округу, подмечая дома и людей, которым было суждено пасть жертвой моих марсиан». (Благодарные жертвы впоследствии установили в центре Уокинга монумент в виде марсианского треножника — он и сейчас там стоит.) Эйч Джи стал

настоящим фанатом велосипедной езды — это был один из немногих видов спорта, доступных при его состоянии здоровья. Кэтрин тоже полюбила велосипед — муж заказал специальный велосипед-тандем. Ездили аж до Девоншира. Ему казалось, что в его жизни уже никогда не будет радости физических упражнений — а тут такое удовольствие! На велосипедах он просто помешался: не менее половины его писем этого периода к любому адресату занимают красочные описания увлекательных поездок и маленьких аварий; он написал целую серию эссе о велосипедном спорте.

Венцом его велосипедистских наблюдений стал роман «Колеса фортуны» (The Wheels of Chance). Герой романа — приказчик в отпуску, путешествующий по Англии на велосипеде. Велосипедиста Уэллс описал дотошно, как биологический вид: «Давайте представим себе, что ноги молодого человека — это чертеж, и отметим интересующие нас детали с беспристрастностью и точностью лекторской указки. Итак, приступим к разоблачению. На правой лодыжке молодого человека с внутренней стороны вы обнаружили бы, леди и джентльмены, ссадину и синяк, а с внешней — большой желтоватый кровоподтек». Приказчик встречает девушку, сбежавшую из дома с мужчиной в поисках идеалов; от него она убегает уже с Хупдрайвером, но им удастся провести вместе всего один день — в конце концов девушка вынуждена вернуться в светское общество, а приказчик — в свой магазин. В «Колесах фортуны» так много велосипедов, что для людей там просто не осталось места. Трудно поверить, что в то же самое время идет работа над ужасной и прекрасной «Войной миров»...

В Уокинге Эйч Джи возобновил знакомство с другом детства Сидни Боукетом — он побывал в Америке, стал драматургом; Уэллс наткнулся на его фамилию в газете, пригласил, тот приехал, поначалу все дни проводили

вместе, но прежней дружбы не получилось. В октябре Кэтрин и Эйч Джи на три недели вернулись в Лондон (они оставили за собой квартиру на Морнингтон-стрит), чтобы пожениться. Вторая и последняя свадьба нашего героя состоялась 27 октября 1895 года. Месяц назад издали «Чудесное посещение» — Уэллс написал матери письмо (где мимоходом упомянул о женитьбе), захлебывающееся простодушным восторгом — родителям он всегда писал без красивостей, очень просто: «Моя последняя книга принесла мне большой успех — все о ней слышали, — и самые разные люди хотят со мной познакомиться. Я почти никому не сказал, что мы поднялись в общественном мнении и меня уже приглашают к себе и сегодня, и завтра, и каждый вечер целую неделю, кроме понедельника и пятницы. Получил письмо от четырех издательств с предложением предоставить им мою следующую книгу, но, думается, я останусь верен моей прежней фирме...»

Не остался: следующая книга — «Остров доктора Моро» — вышла в апреле 1896-го в издательстве Хайнемана. Вещь получилась безмерно сложной — не в композиционном плане, конечно, а в содержательном. В ней еще больше смыслов, чем в «Машине времени», и при этом она читается захватывающе-простодушно даже сейчас: как только читатель доходит до светящихся в темноте глаз слуги и, как в «Машине», невольно проецирует на безликий силуэт героя себя — он пропал. По динамике и психологическому напряжению это, наверное, лучшая работа Уэллса.

Тема была злободневная: общественность в те годы горячо дискутировала о том, допустимо ли ставить на животных медицинские опыты. Моро уехал из Англии, потому что его выжили оттуда противники вивисекции: всё правда, могли и выжить. Первый в мире закон в защиту экспериментальных животных был принят именно в Великобритании еще в 1876 году: он, в

частности, требовал обязательного обезболивания при проведении экспериментов; принятие этого закона стало возможным благодаря работе старейшего в мире Британского союза за отмену вивисекции. Во Франции первое общество противников вивисекции возглавлял не кто-нибудь, а Гюго; против жестоких экспериментов (проводимых без обезболивания) выступали Шоу, Голсуорси, Толстой и, между прочим, Дарвин. Уэллс считал, что для развития медицины необходимы опыты на животных — значит, они должны проводиться, а те, кто изгнал Моро, просто невежды. Однако уже в наше время роман получил смысл, которого автор и не думал вкладывать: многие считают, что отношение человека к животному — одно из мерил человечности, и садист Моро, измываясь над беспомощными зверями, сам превратился в зверя...

Если оставить в покое советские толкования, согласно которым «Остров» есть трагедия ученого, которому не нашлось места в буржуазном обществе, а если б он жил в СССР, ему бы моментально нашли полезное дело — например, увеличивать яйценоскость кур, — то самая очевидная, лежащая на поверхности тема романа — возможности биологической науки и ее моральность. До какой степени допустимо «строительство человека», хирургическое вмешательство в эволюционный процесс? Пластическая хирургия, выпрямление и удлинение конечностей по Илизарову, операционное восстановление зрения по Федорову, пересадка кожи при ожогах, переливание крови, имплантация зубов, наконец — против этих вещей сейчас возражают лишь крайние фундаменталисты. Но каждый следующий шаг — клонирование, перемена пола, искусственное оплодотворение — уже пугает нас. Основной аргумент «против» — если не считать чисто религиозных —



заключается в том, что эдак можно перейти грань, за которой люди превратятся в другой биологический вид.

Можно трактовать роман как классическую моральную проблему: оправдывает ли цель средства? Ведь Моро, считавший, что это допустимо, нужного ему результата не добился, а значит, доказал, что не оправдывает. Можно видеть в нем насмешку над британским миссионерством в колониях или пародию на «Книгу джунглей» Киплинга, которого Уэллс на дух не переносил. Можно истолковать «Остров» как осуждение религиозной веры, основанной на страхе наказания (такой, какую Сара пыталась привить маленькому Берти): едва страх исчез — забыты и все моральные устои. При желании можно даже счесть его типичной уэллсовской насмешкой над системой образования, при которой знания, как религия, вдалбливаются в головы: может, если бы воспитанием звероловцев занялся не Моро, а какой-нибудь умный и продвинутый (вроде Уэллса) педагог, они у него и стали бы людьми не хуже прочих. Можно видеть в Моро злобную карикатуру на Творца, а в звериной литании — на христианское богослужение; можно, напротив, понять роман как предостережение человеку не заноситься чересчур высоко и не брать на себя функции Бога. Можно считать, что этот роман — о трагедии науки, когда ее открытия, чистые сами по себе, люди используют во зло, а потом еще и ополчаются против нее. Можно припомнить, что иезуитские рассуждения Моро о боли частично совпадают с положениями одной из недавних статей Уэллса — боль не есть необходимость и она отомрет с развитием человека, а можно понять их как жестокий упрек Богу или Природе, подвергающим свои создания болезням и другим бессмысленным страданиям. Честно говоря, трудно найти такую тему, под которую нельзя было бы этот роман «подогнать» —

разве что велосипедизм... Однако, по нашему мнению, основная мысль изложена довольно прозрачно.

«У них есть то, что они называют Законом. Они поют гимны о том, будто все принадлежит мне. Они сами строят себе пещеры, собирают плоды, рвут травы и даже заключают браки. Но я вижу их насквозь, вижу самую глубину их душ и нахожу там только зверя». Это — слова Моро. «Когда я видел одного из этих неуклюжих быко-людей, работавших над разгрузкой баркаса, как он, тяжело ступая, шагал среди кустарников, я невольно спрашивал себя, с трудом стараясь вспомнить: чем же отличается он от настоящего крестьянина, плетущегося домой после своего механического труда? Когда я встречал полулисицу-полумедведицу с ее подвижным лукавым лицом, удивительно похожим на человеческое своим выражением хитрости, мне казалось, что я уже раньше встречал ее где-то на улице в одном из городов». А это говорит герой, когда после гибели Моро остается жить на острове со зверо-людьми. «Я выходил на улицу... и в моем воображении охотящиеся женщины, как кошки, мяукали сзади меня; голодные мужчины бросали на меня завистливые взгляды... и длинной ломаной цепью, не замечая ничего, шли болтающие, как обезьянки, дети. Если я заходил в часовню, мне казалось, что и тут священник бормотал „большие мысли“ точно так же, как это делал раньше обезьяно-человек; если это была библиотека, сосредоточенные над книгами лица людей казались мне выжидающими добычу». А вот так он воспринимает людей, вернувшись после скитаний в Лондон...

Нам кажется, что мы стоим несоизмеримо выше животных, а в действительности мы мало чем отличаемся от них. Высокие слова мы твердим бездумно, как попугаи, и тот из нас, кто силен, никогда не упускает случая пожрать более слабого. Для Уэллса

это был вопрос не этики, а биологии, он об этом писал постоянно: период, отделяющий нас от наших предков, чрезвычайно мал, и мы напрасно воображаем, что убежали от них — на самом деле в нас еще так много зверского, что лучше бы нам не гордиться тем, какие мы есть, а ужаснуться — и думать, как стать иными.

Первые читатели поняли книгу кто во что горазд. Зоолог Митчел написал в «Сатердей ревью», что Уэллс испортил роман о серьезных проблемах биологии дешевыми ужасами; эту точку зрения разделяли большинство ученых, прочитавших «Остров». Другой рецензент расхвалил роман, только сказал, что автор не силен в фантастике. Известный противник науки Хаттон понял роман как произведение, направленное против медицины и материализма. Сид, почитатель Уэллса, сказал, что роман так мрачен и ужасен, что лучше бы Уэллсу никогда не писать его. В газете «Спикер» вышла анонимная рецензия с ругательствами, где роман объявлялся омерзительным, безответственным и недопустимым. И как прорвало: пошел шквал негодующих писем от читателей, которых привели в ужас грязь, жестокость и безнравственность романа — зачем нам эта «чернуха», чему она учит? Уэллс был сильно подавлен: ведь до сих пор его еще никто (кроме злодея Харриса) за написанное не ругал... Так что когда на этом фоне появилась рецензия в клерикальном издании «Гардиан», автор которой назвал «Остров доктора Моро» неприятной и вредной книгой, но при этом великолепно написанной, и сам ее умно проанализировал, Уэллс был почти счастлив и опубликовал в «Сатердей ревью» статью, где выделил эту рецензию как единственную стоящую, а остальных критиков обозвал тупицами.

...А самое любопытное-то вот что: ни рецензентам, ни автору и во сне не могло присниться, что «Остров доктора Моро», который считался тяжелым, сложным,

мрачным произведением, станет детским чтением, обаятельной приключенческой книжкой в ряду других викторианских книг... И ведь не в том дело, что мы перестали бояться страшного, задумываться над сложным и воспринимать фантастическое. Представьте себе самую сложную, самую «черную» книгу нынешнего года — и невинно улыбающиеся рожицы тех, кто будет читать ее лет через сто. Не свидетельствует ли это о том, что наша психика эволюционирует в какую-то непонятную сторону, о которой никто даже не догадывается?

\* \* \*

Уэллс в очередной раз собрался переезжать. Решение было принято еще до выхода «Острова». Дэвид Смит пишет, что одной из основных движущих сил в жизни Эйч Джи было его постоянное желание побега, освобождения, выражавшееся, в частности, в переездах. Это справедливо, хотя переезды можно объяснить и прозаическими причинами. В Уокинге было хорошо, но домик оказался слишком мал и беден для преуспевающей семьи; к тому же мать Кэтрин болела и нуждалась в уходе. Было решено жить всем вместе. Уэллс не питал к миссис Роббинс теплых чувств, но не сделал ни малейшей попытки избавиться от ее присутствия: если ей будет лучше рядом с дочерью — значит, так нужно. Стали подыскивать новый дом.

Но прежде нужно было сделать то, о чем Эйч Джи мечтал еще до того, как прочно встал на ноги, — устроить родителей и Фрэнка, который жил вместе с ними и зарабатывал гроши, будучи странствующим часовщиком. В январе 1896-го Уэллс снял (а впоследствии и выкупил) для Джозефа, Сары и Фрэнка большой дом с фруктовым садом в Лиссе, маленьком

полу-курортном городке в графстве Хэмпшир на южном побережье Англии. Сбылась идиллия. Джозеф читал книги, гулял, удил рыбу, ходил вечерами в местный клуб — играть в карты или бильярд; Сара «сидела, мечтала, поглядывала из верхнего окошка на прохожих, писала чопорные письмаца нам с Фредди, одевалась все больше и больше как королева Виктория, посещала церковные службы и причащалась...». Только непутевый Фрэнк продолжал бродить по окрестным деревням. Это очень беспокоило Уэллса — ему все казалось, что он мало делает для семьи.

В декабре 1896-го он писал Фреду в Кейптаун: «Как ты знаешь, старики хорошо устроены в Лиссе, дела Фрэнка сдвинулись с мертвой точки. Когда я в последний раз был у них, то заметил в прихожей два ящика с часами и еще две коробки с разными деталями. А на следующий год (но он пока знать об этом не должен, чтобы не сглазить) я надеюсь помочь ему твердо встать на ноги. Думаю, удастся открыть для него в Лиссе хороший магазин, а стариков перевезти в лучший дом, чем сейчас. Я хочу, чтобы поскорее все наладилось и утвердилось. А когда Фрэнк сделается опять почтенным горожанином, мы дождемся тебя — загорелого, крепкого и с набитым кошельком. И мы присмотрим в Уокингеме, Питерсфилде или каком-нибудь другом подходящем месте подобающее пристанище для тебя, чтобы ты начал все сызнава и с наилучшими надеждами. Договорились? Наша маленькая старушка цветет и хлопочет, так что и лет через двадцать, а то и раньше она, не сомневаюсь, будет рада увидеть всех нас людьми процветающими, живущими в собственных домах и невероятно довольными жизнью». Двадцати лет Сара не проживет. Но она увидит всех своих детей процветающими и не будет знать нужды.

Сам Уэллс с женой и тещей летом 1896-го перебрался из одного пригорода Лондона в другой — Уорчестер-парк, в 16 километрах к югу от вокзала Чаринг-Кросс. Пинкер нашел ему этот дом, называвшийся «Хетерли» — особняк в ранне-викторианском стиле, грязный и нуждавшийся в ремонте, но просторный, живописного вида и с садом площадью в пол-акра; в лучших условиях Уэллсу случалось жить только в детстве, когда он приезжал к матери в «Ап-парк». Теперь уже родители приезжали к нему в «Хетерли».

Благодаря усилиям Кэтрин это был очень уютный дом. «Она придала моей жизни устойчивость, одарила ее достоинством и домашним очагом. Оберегала ее целостность. У меня сохранились сотни воспоминаний о неутомимой машинистке, которая продолжает работать, несмотря на боли в спине; о серьезной зоркой читательнице гранок, которая сидит под навесом в саду, вознамерившись не пропустить ни одной неточности; о решительной маленькой особе, трезво мыслящей, но не подготовленной к ведению дел, которая стойко сражается с нашими счетами, хотя они приводят ее в замешательство, и все держит в своих руках». Денежные дела приводили Кэтрин в замешательство лишь в самое первое время. Еще до женитьбы Уэллс открыл банковский счет, которым супруги всю жизнь пользовались совместно, не спрашивая друг у друга позволения: он вносил деньги, а расходами ведала она. Кэтрин оказалась прекрасной хозяйкой — быстро научилась распоряжаться деньгами и вести дом. Была чрезвычайно внимательна к прислуге, но поставила себя так, что прислуга этим не злоупотребляла. Она не просто перепечатывала все рукописи мужа, а была корректором и отчасти редактором — критиковала, замечала повторы и длинноты. О какой еще жене может мечтать писатель,

который характеризует себя как «торопливого и неумелого в житейских делах»?

Несмотря на застенчивость, Кэтрин умела развлечь гостей, а гостей было полно. Эйч Джи был неортодоксален и резок в суждениях, обидчив, любил позлословить, не жаловал человечество — вроде бы не должно у такого человека быть много друзей, а должны быть полчища врагов. Врагов действительно хватало, но при знакомстве Уэллс чаще всего нравился, причем не только литераторам и ученым, но и людям светским. К тридцати годам он пополнил, у него была располагающая внешность: округлое лицо, мягкие манеры, типично британские усы, красивые голубые глаза. Голос у него был высокий и резкий, но, когда он говорил — он очаровывал, как сирена или Сирано. Сомерсет Моэм впоследствии охарактеризовал его как одного из тех людей, что «испытывают наслаждение, общаясь с вами, стараются быть приятными, что им без труда удастся, развлекают вас изумительными своими разговорами; их присутствие увеличивает ваш жизненный тонус, подбадривает вас — одним словом, они дают вам куда больше, чем вы при самом большом желании способны дать им, и их визиты всегда кажутся слишком короткими».

Был он действительно дружелюбен — или, как герой лемовского «Гласа Неба», «сконструировал для себя протез дружелюбия»? Если верить его собственным словам, то — второе: «Я мало-помалу научился ладить с людьми — это не то, что Арнольд Беннет называет „умением дружить“, но что-то очень близкое». Он подходил к людям с опаской, усилием воли принуждая себя казаться открытым и дружелюбным, а когда его не обижали в ответ, мгновенно расслаблялся и делался дружелюбным уже по-настоящему. При резкости мыслей он был довольно мягок в разговоре. Охотно смеялся над собой. Не любил

грубости и сам (в молодости) не был груб. Он был обязательным и ответственным; он мог за глаза сказать о человеке тысячу гадостей, но неизменно приходил на помощь, когда тому было плохо.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» — к Уэллсу это неприменимо. С ним дружили очень разные люди. Например, Грант Аллен — дарвинист, социалист, популяризатор науки; ко времени знакомства с Уэллсом Аллен переключился на беллетристику и прекрасно зарабатывал фантастикой и детективами (задолго до Леблана он придумал полковника Клэя, сыщика, чьей почти точной копией является Арсен Люпен). Как многим авторам «легкого» жанра, ему хотелось написать вещь «с идеями», и в 1895-м появился нашумевший роман «Женщина, которая это сделала», героиня которого решается родить внебрачного ребенка... Уэллс заранее готов был увидеть шедевр, ибо сочувствовал идее романа, но, прочтя текст, рассвирепел — настолько бездарным он оказался — и опубликовал разгромную рецензию. Аллен, по его словам, не сумел создать живую героиню, «не утруждал себя тем, чтобы ее понять, раскрыть ее внутренний мир», написал вместо человека «гипсовый слепок с какой-то идеей вместо души...».

Аллен написал злобному рецензенту милое, вежливое письмо с предложением встретиться; Уэллс приехал к нему в деревню Хайндхед. Как обычно, столкнувшись с чужой мягкостью и воспитанностью, он тотчас растаял, стал извиняться; началась задушевная беседа, завязалась дружба, которой не мешала разница в возрасте — Аллену было уже под 50. (Она не продлилась долго — осенью 1899-го Грант Аллен умер.) Самое интересное в этой дружбе даже не то, что она началась с конфликта — для Уэллса тут не было ничего необычного, он и с Сидни Боукетом подружился в результате драки, — а то, что Уэллс ругал Аллена за то



же самое, за что другие ругают его. «Для чисто популярных работ они слишком оригинальны, для того, чтобы их всерьез принимали специалисты, слишком легковесны», — говорил Уэллс о научных статьях Аллена; в точности то же самое справедливо говорят о его статьях. Аллен попытался порвать с развлекательностью и написать книгу «с идеями», а получилась убогая схема — подобное в результате подобных же намерений, как мы скоро увидим, вышло у Уэллса. В сущности они были литературными близнецами.

Но Уэллса притягивали не только те, кто на него похож, пример тому — Генри Джеймс. Были и другие. В день, когда Уэллс приехал в Хайндхед, в гости к Аллену пришел Ричард Ле Гальен, куртуазный поэт, друг Оскара Уайльда; что между ними общего? Тем не менее они тотчас подружились — на сей раз Уэллса привлекла именно несхожесть. Через рецензию, как и с Алленом, произошло знакомство с Джозефом Конрадом: в 1895 году тот опубликовал «Каприз Олмейера», а весной следующего года «Изгнанника». Уэллс рецензировал обе книги в «Сатердей ревью». Отзывы его были довольно лестными — «вероятно, лучший прозаический текст из опубликованных в этом году», но в них содержались и упреки автору, чересчур озабоченному словесным искусством и «прячущему то лучшее, что есть в нем». Рецензии печатались анонимно, но если рецензируемый хотел узнать, кто его «приложил», ему могли сообщить эту информацию. Конрад, сам еще не очень популярный, узнав, что его книги взялся судить Уэллс, писал своему другу Эдварду Гарнетту: «Пусть меня сожгут живьем, если я заслужил это. Но своей „Машиной времени“ он заслуживает всяческой похвалы». Личная встреча произошла в мае 1896-го. Потом началось тесное общение — впрочем, назвать его дружбой можно с натяжкой. «В сущности, мы так и не

сошлись. Наверное, я был непримиримее и беспощаднее к Конраду, чем он ко мне». Под беспощадностью понимается литературная критика: Уэллс называл прозу Конрада сентиментальной, мелодраматичной и бессодержательной.

У Конрада был друг Форд Герман Хьюфер, позже известный как Форд Мэддокс Форд (он переименовал свое немецкое имя во время Первой мировой войны), прозаик, критик, музыкант, поэт-прерафаэлит. Уэллс сошелся и с ним. Он считал Форда прекрасным поэтом и неплохим прозаиком, при этом разногласия меж ними были примерно того же характера, что и с Конрадом. Форд, кстати, об умении Уэллса говорить отзывался так же восторженно, как Моэм, но с долей яда: «Было наслаждением слушать, как Уэллс строит разговор. Он произносил монолог, замаскированный под беседу, до тех пор, пока тихонько не выводил дискуссию на нужную ему позицию и тогда отстаивал ее. Он позволял своим оппонентам вставить одно-два слова, а потом либо уничтожал их своей эрудицией, либо, если это не удавалось, ловко сворачивал на другую тему».

Самым близким другом Уэллса стал Джордж Гиссинг, прозаик «натуралистической школы». Их отношения тоже начались с рецензии. В апреле 1895-го Уэллс опубликовал критический отзыв на роман Гиссинга «Искушение Евы» — натуралистов он тоже не любил: «Неужели вся эта неприятная глазу серость действительно отражает жизнь, пусть даже речь идет о жизни мелкой буржуазии? Не этот ли дальтонизм мистера Гиссинга придает его роману все достоинства и недостатки фотографии? Я, со своей стороны, не верю, что жизнь какой-либо социальной прослойки исполнена такой же скуки, как его унылый роман». Правда, другой роман Гиссинга «Греб-стрит» (о журналистском мире Лондона) Уэллсу понравился. Встретились они в ноябре 1896-го на литературном

обеде, познакомились через Гранта Аллена — и все получилось как с самим Алленом: мягкий, беззащитный Гиссинг мгновенно Эйч Джи обезоружил. Маккензи считают, что Уэллс дружил с Гиссингом потому, что тот был беспросветным «аутсайдером»: бедный, низкого происхождения, все время влипавший в истории, несколько раз неудачно женившийся, — с таким человеком Уэллс мог дать волю своему стремлению покровительствовать. По их теории, Уэллса вообще привлекали только изгои, аутсайдеры: во-первых, потому что он сам был аутсайдером, во-вторых, потому что с ними он мог чувствовать себя на высоте.

Еще один «аутсайдер», который, едва появившись в Лондоне (это было на пару лет позднее, в 1898-м), присоединился к компании Конрада, Уэллса и Форда — писатель Стивен Крейн. Он жил с женщиной, которую не принимали в обществе, и был вынужден из-за этого уехать из Америки, более пуританской, чем Англия, много рассуждал о свободной любви, чем импонировал Уэллсу. Крейн, разумеется, высоко оценивал работы Уэллса (критику Эйч Джи прощал только Шоу да Честертону), но и Уэллс был о книгах Крейна самого лучшего мнения и считал его роман «Алый знак доблести» шедевром. Эту четверку — Уэллс, Конрад, Форд и Крейн (одни биографы включают в нее еще Гиссинга, другие — Генри Джеймса) — обычно определяют как своего рода союз отщепенцев, группу, противопоставлявшую себя остальному литературному миру<sup>[27]</sup>. Трактовка спорная, но в другие группировки, во всяком случае, Уэллс войти не смог.

В Лондоне с 1891 по 1898 год издавался литературный журнал «Айдлер» («Лентяй»): в манифесте его организаторов — Джерома К. Джерома и Роберта Барра — воспевалась лень, но сотрудничали в нем не бездельники, а самые лучшие тогдашние

писатели — Марк Твен, Джеймс Барри, Киплинг, Шоу. В начале 1896-го издатели пригласили Уэллса и опубликовали три его рассказа: «Красный гриб» (The Purple Pileus), «История покойного мистера Элвешема» (The Story of the Late Mr. Elvesham) и «Яблоко» (The Apple). Журнал славился непринужденной атмосферой, «лентяи» постоянно устраивали посиделки; Уэллс принимал в них участие, однако у других членов веселого сообщества были к нему претензии: не хочет лениться. «Он пишет новую книгу, когда люди еще не дочитали его предыдущую; изучает историю мира быстрее, чем школьник заучивает даты; изобретает новую религию, когда его Бог даже не успел обучить его молитве. У него стол стоит подле кровати, и он может приказать себе подняться в полночь, выпить чашку кофе, написать главу-другую и снова заснуть. А в перерывах между серьезными делами он мимоходом поучаствует в парламентских выборах или организует конференцию по вопросам образования, — позднее скажет о нем Джером. — Как он ухитряется производить столько энергии и не получить короткого замыкания в мозгу — это великая загадка науки».

Из этой компании Уэллс ближе всех сошелся с Барри (которому был в значительной мере обязан своим жизненным успехом); автор «Питера Пэна» часто бывал в «Хетерли», его очень любила Кэтрин. Глубокой эту дружбу нельзя назвать, все «лентяи» казались Уэллсу легковесными (в отношении большинства из них он ошибался) — не любили разговоров о социализме, религии и прочем. А может, дело в другом: хотя «лентяи» не были, в отличие от Конрада и Форда, идейно-эстетическими противниками Уэллса, они не называли его, как Форд, «нашим наставником в литературе»...

Кроме «Айдлера», Уэллс в 1896-м публиковал рассказы в других изданиях: в «Пирсонс мэгэзин» —

«Сокровище раджи» (The Rajah's Treasure) и «В бездне» (In the Abyss), в «Нью ревью» — «История Платтнера» (The Plattner Story), в «Уикли сан литэри сапплемент» — «Морские пираты» (The Sea Raiders). Продолжал писать научные очерки в «Сатердей ревью» и «Фортнайтли ревью». В «Жизни растений» он писал о том, что различие между растениями и животными не так велико, как принято думать, а поскольку люди от животных тоже недалеко ушли, можно сделать соответствующий вывод. В «Разумной жизни на Марсе» он выступал против нелепости антропоцентрического подхода к вопросу об инопланетных цивилизациях. В эссе «О скелетах» предполагал, что если бы единственным предназначением скелета была поддержка тела, то он состоял бы из кварца, который прочнее, чем фосфаты и карбонаты, и пророчески утверждал, что главной линией прогресса в биологии должна стать биохимия.

Задержимся на двух статьях: «Эволюция человека как искусственный процесс» и «Приобретенный фактор». Обе посвящены любимой теме Уэллса. В процессе естественного отбора человек изменился мало, поскольку цивилизация естественному отбору противостоит (все-таки противостоит, как и у Хаксли, но не в этическом отношении, а в материальном, то есть защищает человека от необходимости бороться за жизнь); не меняется и вряд ли будет меняться тело человека, а также его эмоции и инстинкты, если бы не «слой внушенных привычек поведения», современный человек ничем не отличался бы от дикаря времен палеолита, который так же дрался за самку и давил того, кто послабее. Так что единственный возможный путь эволюции пролегает в области интеллекта, и только образование в области науки и искусства может когда-нибудь сделать из «цивилизованного дикаря» существо, которое действительно будет стоять на

значительно более высокой ступени, чем животные. Мысль выглядит банально, если ее воспринимать в обыденном ключе — «учиться, учиться и учиться», — но для Уэллса ее смысл был гораздо глубже. Он имел в виду совсем не то, что десять классов образования лучше, чем пять, а пять лучше, чем три. Он считал, что развитие интеллектуальных возможностей позволит эволюции человека сделать качественный скачок.

## **Глава пятая ВОЙНЫ И МИРЫ**

«Игра началась. Смерть надвигается на него. Не помогай ему, народ мой, дабы не постигла смерть и тебя. Сегодня Кемп должен умереть».

Кемп дважды прочел письмо.

— Это не шутки, — сказал он. — Это он! И он будет действовать.

Он перевернул листок и увидел штемпель «Хинтондин» и прозаическую приписку: «Доплатить два пенса».

Так сделан весь «Человек-невидимка» — каждую фантастичную, невероятную деталь в нем оттеняют какие-нибудь «два пенса». Недаром его полное название — «Человек-невидимка, романс-гротеск» (The Invisible Man, A Grotesque Romance). Советское толкование романа — трагедия ученого, чьи таланты негодились обществу, современное европейское — трагедия науки, которая, на первый взгляд являясь благом, может обернуться злом. Возникающая у читателя жалость к Гриффину объясняется тем, что он талантлив и у него были прекрасные задатки (советский вариант), или тем, что он живо и человечно написан (вариант европейский). Не согласимся. Талантливость персонажа — отнюдь не основание его полюбить или пожалеть, а написан этот герой так же

схематично, как все уэллсовские персонажи. Дело в том, что «Невидимка» — в своем роде самый совершенный текст Уэллса: в нем сформулированный автором принцип «что бы вы почувствовали и что бы могло с вами случиться, если...» доведен до абсолютного совершенства. «Невероятное событие приобретает настолько удивительные и конкретные черты, что фантастический роман становится как бы документом», — писал Юрий Олеша, любивший ранние романы Уэллса и утверждавший, что именно «Невидимка» вдохновлял его в работе над «Завистью».

Мы воспринимаем Гриффина как злодея лишь до тех пор, пока он не начинает сам повествовать о себе. С этого момента он — это «я», а всякое «я» у Уэллса — это его читатель. Невидимый человек должен ходить голым и босым, а значит, подвергаться простуде, оставлять следы ног на снегу — все это мог придумать только тот автор, который полностью влез в кожу своего героя и вынудил читателя сделать то же. У этого «я» нет не только лица и фигуры — у него уже нет ни преступного прошлого, ни характера, ни свойств: «я» — это любой и каждый, и читатель — невидимый, раздетый, голодный, простуженный, травимый собаками, перепуганный, несчастный — всякое действие Невидимки оправдывает, потому что «я», поставленный в такие условия, поступил бы так же. «Конечно, я был в безвыходном положении, в ужасном положении! Да и горбун довел меня до бешенства: гонялся за мной по всему дому, угрожал своим дурацким револьвером, отпирал и запирал двери... Это было невыносимо!» Кемп в ответ на эти жалобы лишь делает вид, что понимает своего старого товарища, но читатель-то по-настоящему понимает его. Конечно, я был в безвыходном положении! Зима, я раздет, мне холодно — о, как мне холодно, как мне нужна одежда! Боже милостивый, я босиком вынужден ступать по камням, по

снегу, по стеклам, а вы мне толкуете о морали! Конечно, я ударил хозяина лавки стулом, а что еще мне оставалось делать?! Я просто замерзший человек, которому некуда деваться — не возмущайтесь, а пожалейте меня...

Потом автор отбирает слово у Невидимки — читатель, ошалело встряхнувшись, уже не может понять, как он только что отождествлял себя с грабителем и убийцей. Но жалость остается. Если бы Уэллс дальше передал повествование Кемпу, мы бы поняли и одобрили и его предательство по отношению к Гриффину. В моем доме опасный бандит — как я мог не донести? Мне страшно; не осуждайте, а пожалейте меня... Но Уэллс этого не сделал. Он мастерски рассказал о страхе Кемпа, но только рассказал; читатель чувствует страх Кемпа, ежится, а все-таки не может стать Кемпом и поэтому воспринимает его поступок как низкий по отношению к тому, другому.

Роман печатался в 1897-м в «Пирсонс мэгэзин», а в сентябре того же года Пирсон издал его книгой. «Невидимку» очень хвалили — в основном за интересную научную идею и верность в изображении деталей. Конрад назвал Уэллса «реалистом фантастики». Очень высоко роман оценил Арнольд Беннет — драматург, журналист, критик, — он прислал Уэллсу письмо, в которое была вложена его рецензия на «Невидимку» из журнала «Вумен», и дал понять, что внимательно следит за творчеством коллеги. Переписка, знакомство — у Уэллса появился еще один друг. Беннет — бонвиван, изобретатель омлетов, владелец яхт, всю жизнь слегка заигрывавший с «левыми» идеями (его называли «социалистом, пьющим шампанское»), человек щедрый, добродушный, джентльмен до мозга костей, ни тени «аутсайдерства». «Я все больше стремился к переустройству мира, полному его обновлению; Беннет... принимал вещи как



есть, с простодушной и бодрой живостью. Он видел их ярче, чем они были, но не вглядывался в них и в то, что за ними. В сущности он был как мальчишка на ярмарке». И этот «мальчишка» стал одним из немногих друзей Эйч Джи, с которым тот никогда не ссорился — удивительное дело! Все, что должно было Уэллса отталкивать в Беннете — его внимание к фасонам галстуков, свободное владение французским, — напротив, привлекало.

Вслед за «Невидимкой» в «Пирсонс мэгэзин» начала выходить «Война миров»: публикация длилась с апреля по ноябрь 1897 года, а в 1898-м издательство Хайнемана выпустило книгу. В 1894-м Марс максимально приблизился к Земле; тема Марса широко обсуждалась уже более десяти лет — с тех пор как астроном Скиапарелли открыл то, что получило название «марсианских каналов». В 1885-м астроном Лоуэлл опубликовал книгу «Марс», где высказывал убеждение, что каналы созданы разумными существами. Мировая общественность с восторгом ухватилась за эту точку зрения, и пока ученые дискутировали о возможности разумной жизни на красной планете, беллетристы сочиняли фантастику. Произведения о марсианах опубликовали Густавус Поп и Гаррет Сервис в США, Мэри Корелли, Тремлета Картер и Джордж Дюморье в Великобритании, Курт Ласвиц в Германии, Мопассан, Жорж Ле Фор и Анри де Графиньи во Франции — всех не перечислить. Уэллс заткнул всех за пояс — если даже не говорить о художественных достоинствах его романа — тем, что заявил (и научно обосновал свое утверждение), что марсиане долетят до Земли именно к тому моменту, когда первые читатели увидят его книгу.

Но это только одна сторона дела — «космическая»; была и земная. Было похоже, что Европу ждет широкомасштабная война за колонии. В конце 1895-го,

когда писалась «Война миров», в южноафриканской республике Трансвааль произошла попытка восстания европейцев неголландского происхождения против бурских властей, в ответ президент Трансвааля объявил о союзе с Германией — тогда англичане начали стягивать войска в свои южноафриканские колонии; в 1897-м, когда Лондон праздновал бриллиантовый юбилей королевы Виктории и читал свежие номера «Пирсонс мэгэзин», страна готовилась воевать. Отношения были скверные не только с бурами и немцами: Англия столкнулась с Францией в Африке, с Россией — в Китае, Афганистане и Иране. Эти конфликты тянулись уже давно и были с точки зрения Уэллса абсолютно бессмысленны: «Все мое отрочество прошло под звуки этой бесплодной, пустой музыки: аплодисменты, волнения, пение и махание флагами». «Война миров» — предчувствие войны настоящей.

С кем, собственно, воевали в «Войне»? Каждый понимал по-своему. «Простые читатели» в Британии полагали, что с инородцами, которые со всех сторон угрожают старой доброй Англии. Современный исследователь Леон Стоувер пишет, что Уэллс «предвидел приход тоталитаризма XX века» и что «марсиане представляют собой прогрессивное будущее человечества в культурной войне с нашим миром традиции и реакции», а Персиваль Лоуэлл считает, что «красная планета Марс» есть аллегория, обозначающая красные, то есть коммунистические режимы, приход которых предчувствовал автор. Для советских толкователей, разумеется, марсиане были «буржуазией». Стругацкие написали так: «если в тридцатые годы в этой повести видели аллегорическое изображение грядущих истребительных войн...то перед сегодняшним читателем „Борьба миров“ выдвигает куда более важную и общую мысль: мировоззрение массового человека сильно отстаёт от его космического

положения, оно слишком косно, оно обусловлено самодовольством и эгоизмом, и, если оно не изменится, это может обернуться огромной трагедией, огромным психологическим шоком. Марсианское нашествие превращается для читателя наших дней в некий символ всего неизвестного, выходящего за пределы земного опыта, с чем может столкнуться завтра космическое человечество без космической психологии».

Уэллс занимали не идеологические проблемы, а общечеловеческие — как живет вид *Homo sapiens* и что его ждет, если он не переменит свой образ поведения. Марсиане — не наша противоположность, а отражение в зеркале: «Прежде чем судить их слишком строго, мы должны припомнить, как беспощадно уничтожали сами люди не только животных... но и себе подобных представителей низших рас. <...> Разве мы сами уж такие апостолы милосердия, что можем возмущаться марсианами?» Как, увидав свое отражение с криво повязанным галстуком, человек начинает прихорашиваться, так и человечество, получив жестокий урок, сумеет сделать выводы: «Быть может, вторжение марсиан не останется без пользы для людей; оно отняло у нас безмятежную веру в будущее, которая так легко ведет к упадку, оно подарило нашей науке громадные знания, оно способствовало пропаганде идеи о единой организации человечества». Это один из парадоксов, очень характерных для Уэллса: ненавидя войну в принципе, он от каждой конкретной войны ожидал полезного — «усвоения урока».

А вот несколько заключительных фраз романа, которые, кажется, никто не пытался анализировать: вторжение марсиан навело Уэллса на мысль о том, что не худо бы и нам последовать их примеру. «Если марсиане смогли переселиться на Венеру, то почему бы не попытаться сделать это и людям? Когда постепенное охлаждение сделает нашу Землю необитаемой — а это

в конце концов неизбежно, — может быть, нить жизни, начавшейся здесь, перелетит и охватит своей сетью другую планету. Сумеет ли мы бороться и победить?» Эйч Джи не стал распространяться о том, что будет, если планета, которую мы себе облюбим, окажется уже кем-либо заселена, и как мы поступим с этими существами, но слова «бороться и победить» дают об этом некоторое представление. Аморально разным группам Homo sapiens воевать между собою, но, если встанет вопрос о выживании вида, горе тому, кто окажется у этого вида на пути...

С художественной точки зрения «Война миров» — вершина романного творчества Уэллса. В «Невидимке» многовато юмористических зарисовок, сбивающих темп, в «Острове доктора Моро» зверолюди слишком гротескны, чтобы быть по-настоящему ужасными; в «Войне» все соразмерно, все прекрасно и нет ничего лишнего. «Мои» ощущения и картины, увиденные «моими» глазами, описаны с такой выразительной силой, что, когда знаменитый однофамилец автора, кинорежиссер Орсон Уэллс, сделал по роману радиопостановку, слушатели были от страха и в панике кидались бежать из штата Нью-Джерси, где якобы десантировались чудовища, а большинство из нас, читая «Войну» в детстве, по несколько ночей не могли уснуть. Детское чтиво? А давайте перечтем небольшой отрывок и последуем за тем, как мы дышим.

«Вдруг легкое металлическое побрякивание возобновилось. Щупальце медленно двигалось по кухне. Все ближе и ближе — оно уже в судомойне. Я надеялся, что оно не достанет до меня. Я начал горячо молиться. Щупальце царапнуло по двери погреба. Наступила целая вечность почти невыносимого ожидания; я услышал, как стукнула щеколда. Он отыскал дверь! Марсиане понимают, что такое двери!

Щупальце провозилось со щеколдой не более одной минуты; потом дверь отворилась. В темноте я лишь смутно видел этот гибкий отросток, больше всего напоминавший хобот слона; щупальце приближалось ко мне, трогало и ощупывало стену, куски угля, дрова и потолок. Это был словно темный червь, поворачивавший свою слепую голову. Щупальце коснулось каблука моего ботинка. Я чуть не закричал, но сдержался, вцепившись зубами в руку. С минуту все было тихо. Я уже начал думать, что оно исчезло. Вдруг, неожиданно щелкнув, оно схватило что-то — мне показалось, что меня! — и как будто стало удаляться из погреба. Но я не был в этом уверен. Очевидно, оно захватило кусок угля». Заметили, что выдохнуть удалось, лишь дочитав фрагмент до конца? Когда гигантский слепой червь тянется к моему каблуку и хватает меня — избитое выражение «читается на одном дыхании» обретает буквальный смысл.

«Война миров» была встречена в Англии с восторгом и мгновенно облетела весь мир. В Штатах роман по мере появления журнальных выпусков тут же перепечатывали с полным пренебрежением к авторскому праву и даже место действия из Уокинга переносили в Америку, чем приводили Уэллса в неопишемую ярость. В том же году произведения Уэллса начали переводить во Франции и России. Посыпались подражания и пародии: англичане Грейвз и Лукас выпустили роман «Война Венер», русский литератор Н. Холодный — «Война миров». Бернард Шоу, который никогда никого не хвалил, назвал «Войну» превосходнейшей вещью, от которой невозможно оторваться. Роман любил даже сам автор, который к остальным своим фантастическим текстам относился довольно пренебрежительно. В ноябре 1906-го Уэллс послал «Войну миров» с почтительнейшим письмом Льву Толстому — пожалуй, второму после Хаксли

человеку, перед которым благоговел; Толстой, по-детски обожавший Жюль Верна и собственноручно иллюстрировавший его романы, на письмо ответил тотчас же, сдержанно похвалил, но переписка не продолжилась, как надеялся Эйч Джи.

Кроме двух романов в 1897 году были опубликованы несколько рассказов Уэллса — «Потерянное наследство» (The Lost Inheritance), «Хрустальное яйцо» (The Crystal Egg), «Звезда» (The Star). «Айдлер» также печатал с продолжениями его повесть «Это было в каменном веке» (A Story of the Stone Age) — большинство этих текстов войдут в сборник 1899 года «Истории о пространстве и времени». В издательстве Эдварда Арнольда был выпущен сборник рассказов «Тридцать странных историй», в издательстве «Метьюэн» — сборник «История Платтнера и другие рассказы», в «Лоуренс энд Буллен» — сборник «Кое-какие личные делишки». Из научных очерков отметим два: «Мораль и цивилизация» и «Эволюция человека», в которых Уэллс, рассматривая развитие общественной морали на примере морали сексуальной (отношение к женщине), делает вывод о возможности и необходимости создания «рационального кодекса этики, который соответствовал бы требованиям современной жизни», а для внедрения этого кодекса — «аппарата образования и морального воздействия для сознательного и направленного формирования умов, действий и судеб людей». В момент публикации «Мораль и цивилизация» осталась незамеченной, потом ее затмили другие тексты Уэллса на ту же тему, зато об этой статье много пишут сейчас. Леон Стоувер, Джон Керри, Майкл Корен, Питер Кемп — все эти исследователи обвиняют Уэллса в пропаганде «промывания мозгов». (Другие исследователи — Джон Хьюз и Джон Партингтон, например, — потратили немало усилий, чтобы опровергнуть это мнение, но оно

в настоящее время все равно преобладает.) «Сознательное формирование морали человека» — и вправду, какая ужасная вещь! Зачем промывать мозги человеку, который пьет, не работает, избивает детей? Пусть себе живет естественно, как Бог его создал...

Два опубликованных романа, куча сборников, знаменитый «Стрэнд» предложил договор на серию рассказов — удачный получился год. Но только не по мнению Уэллса. 1897-й стал одним из пиков его войны с издателями. Из-за «Платтнера» у него была тяжба с Арнольдом; он вел скандальную переписку с Хайнеманом, Буллером, литературным агентом Коллинзом; ругался даже с Пинкером. Ему казалось, что весь мир сговорился обворовывать его. «По-вашему, вы переплатили мне за „Остров доктора Моро“ и „Войну миров“? — писал он Хайнеману. — Что ж, я верну назад все до пенни, что получил от вас за авторские права... и наши отношения на сем прекратятся». За «Остров» он получил от Хайнемана аванс в 60 фунтов (просил 100) и роялти, как и за «Машину времени» — 15 процентов с первых пяти тысяч экземпляров и 20 — с последующих тиражей. Это было совсем не мало, но Киплинг и Конан Дойлу платили больше. Деньги Хайнеману, конечно, Уэллс не вернул, но больше у него не издавался. Между тем новая работа — он писал одновременно две вещи: «Когда спящий проснется» (When the Sleeper Wakes: A Story of Years to Come)<sup>[28]</sup> и «Любовь и мистер Люишем», начатая еще в августе 1896-го, продвигалась очень тяжело, на что он жаловался в письмах Гиссингу.

Гиссинг, весной 1897-го по совету своего друга доктора Хика переехавший в Италию, звал его в гости. 7 марта 1898-го, когда работа над «Спящим» была почти завершена, Эйч Джи и Кэтрин, кое-как выучив итальянский по самоучителю, отправились в Рим. Поселились в дешевом пансионе и под руководством

Гиссинга и путеводителя облазили все достопримечательности. На Уэллса Рим произвел впечатление чего-то помпезного и упадочного; то, что Гиссинг предпочитал Рим Лондону, Уэллс назвал «изъяном вкуса» и объяснял это «пороками классического образования». Встретили Конан Дойла и его деверя Уильяма Хорнунга, вместе ходили на экскурсии, обедали. Любопытно, что Уэллс не смог сойтись с Дойлом, а ведь тот, как и сам Уэллс, приятельствовал со всеми. Между ними было отторжение, которое невозможно полностью объяснить ни идейными разногласиями, ни снобизмом Дойла, ни завистью Эйч Джи ко всякому, кто популярнее его. Уэллс-то делал попытки к сближению, но Дойл на них не реагировал и в своих мемуарах назвал Уэллса человеком, «которому не хватало души». Нельзя исключить, что в Италии Уэллс делал или говорил нечто такое, что Дойлу не понравилось, а Уэллс этого просто не заметил; и, зная простодушно-рыцарские взгляды Дойла, нельзя исключить, что это «нечто» было связано с отношением Уэллса к Кэтрин.

Из Рима Гиссинг уехал в Калабрию, а Уэллсы двинулись на юг: побывали на Капри, в Неаполе, Помпеях, а оттуда через Флоренцию, Болонью и Милан вернулись обратно. 11 мая они были дома. Поездка не пошла Уэллсу на пользу: начинался худший период его отношений с Кэтрин. Осознав окончательно, что связал себя с нелюбимой, пусть даже очень хорошей, женщиной и что разойтись с нею нельзя, поскольку она всецело от него зависит, Эйч Джи стал угрюм, зол, раздражителен. Той весной в «Хетерли» приехала Дороти Ричардсон, школьная подруга Кэтрин: атмосферу в доме Уэллсов она описала в романе «Туннель». Хипо Уилсон — так в романе зовут Эйч Джи, явно от слова hypocrite, «лицемер», — был «безумно обаятелен»; «он умел говорить так, что даже когда вам



было ненавистно то, что он говорил, и ненавистна его манера говорить так, словно его мнение по каждому вопросу — это истина в последней инстанции и ни один человек в мире ничего в этом вопросе не смыслит, — вам все равно хотелось слушать его бесконечно». Альма — то есть Кэтрин — «выглядела крайне неуверенной в том, что она может соответствовать Хипо и нужна ему. <...> Она либо молчала, либо пыталась говорить вещи, которые должны были вызвать его восхищение. Но звучание ее тонкого голоса напоминало звук штопора, ввинчивающегося в пробку без бутылки, и каждым словом она провоцировала такой его ответ, который только ухудшал создавшееся положение».

Ричардсон провела в Уорчестере всего два дня — возможно, кроткая Кэтрин сумела дать понять, что присутствие подруги усугубляет разлад в семье, а вскоре после этого Уэллс, чья тоска достигла апогея, поехал к своей первой жене на ферму Твиффорд близ Ридинга. Повод был деловой: Изабелла разводила уток и кур — деньги дал он, он же пытался в письмах руководить ею, а теперь хотел предложить ей намного большую сумму, чтобы поддержать ее бизнес. Он взмолился о близости, она отказала. Он был оставлен ночевать в комнате для гостей, не спал, плакал, на рассвете решил тихонько сбежать, но прозаическая Изабелла поймала его и заставила позавтракать. Он снова расплакался, сел на велосипед и поехал, выписывая восьмерки, как слепой: «Я ощущал себя какой-то машиной, каким-то автоматом, словно все цели исчезли; все потеряло смысл и назначение. Мир умер, умер и я и только сейчас понял это».

После возвращения домой ему стало по-настоящему худо — уже физически. Кроме несчастной любви и постылой жены была тому еще одна причина: он попросту надорвался. Писать ежегодно по полсотни статей, двадцать рассказов и два романа — такой темп

выдержит не всякий здоровый человек. Воспалилась поврежденная почка. Продолжались страшные, изнуряющие приступы бессонницы — эти приступы пережил герой романа «Когда спящий проснется»: «Вы себе представить не можете, до чего я жажду покоя — алчу и жажду... Все эти шесть долгих суток, с той минуты, как я кончил работу, в моей несчастной голове кипит водоворот. <...> О, какая сумятица мыслей, какой ужасный хаос! Кругом, кругом, все в одну сторону... все вертится, вертится и жужжит...» У него в работе, как обычно, были две крупные вещи: «Люишем», который никак не хотел продвигаться, и повесть «История грядущих дней» (A Story of the Days to Come), в «Стрэнде» ждали обещанных рассказов — он ничего не мог писать: болезненное, непослушное, ненавистное тело отнимало все силы у души.

Как многие серьезно больные люди, обращаться к врачу Уэллс не хотел: опять скажут, что вот-вот нужно помирать. Он поступил наоборот: 29 июля отправился с женой в путешествие на велосипедах по южному побережью Англии. «Я стыдился, что мне плохо — лет до сорока я вообще стеснялся физического несовершенства, и мук моих не могла унять никакая философия — и потому изо всех сил жал на педали, хотя в голове была какая-то вата, а кожа просто мешала мне». В дороге он вдобавок простудился. Остановились в Сифорде, сняли номер в гостинице, надеясь, что отдых поможет, но стало еще хуже. Случился острейший приступ почечной болезни, поднялась температура, его лихорадило, от боли он едва мог дышать. Телеграфировали доктору Хику, который жил неподалеку, в Нью-Ромни: тот попросил приехать. О велосипеде уже не было речи, больного везли поездом, с пересадками: «Нежно, терпеливо, как будто и не уставая, Джейн сопровождала брюзжащий комок боли,

бывший некогда ее Сундуком» (одно из домашних прозвищ Уэллса).

Когда добрались до Ромни, состояние больного было так плохо, что близкие опасались летального исхода. В начале августа Гиссинг прислал Кэтрин отчаянное письмо: «Эйч Джи — друг всей моей жизни; не представляю, как смогу существовать без него; он обязан выздороветь. Я в бесконечном долгу у его доброты, его юмора, его ума...» Конрад, Джеймс, Элизабет Хили — все слали испуганные письма; навещать Уэллса приезжали Барри, Генри Джеймс со своим другом Эдмундом Госсе; Ричард Грегори ходил консультироваться в лондонскую больницу, где только что появилось чудо техники — рентгеновский аппарат: нельзя ли его лучами вылечить больного?

Хик, однако, и без рентгена знал свое дело. Он сказал, что необходима срочная операция по удалению почки, и вызвал из Лондона хорошего хирурга, но когда тот прибыл, оказалось, что почка уже отмерла и в операции нет надобности. Хик стал лечить пациента консервативными способами, и к концу августа Эйч Джи был поставлен на ноги. За это время он написал для маленькой дочери Хика книгу с картинками — «Томми и слон». (Девочка, став взрослой, продала книжку с разрешения автора и выручила много денег.) Болезнь опять в каком-то смысле пошла на пользу — отношения с женой наладились. Хик рекомендовал смену климата, и было решено начать новую жизнь у моря.

В сентябре Уэллсы прибыли в Сандгейт, курортный поселок на берегу Ла-Манша; две недели прожили в гостинице (больного все это время возили в инвалидном кресле), потом сняли меблированный дом под названием «Бич-коттедж», расположенный между Сандгейтом и соседним курортом Фолкстоун. Дом стоял на самом берегу — задняя дверь выходила на море, в шторм волны перехлестывали через крышу. Эйч Джи

успокоился, выспался, поднялся с кресла, смог гулять, снова стал нормально работать. Много рисовал. Закончил «Спящего» и продал права Хайнеману, почти завершил «Люишема» (результатом, правда, остался недоволен), написал несколько рассказов: «Чудотворец» (The Man Who Could Work Miracles), «Джимми — пучеглазый бог» (Jimmy Goggles the God), «Каникулы мистера Ледбеттера» (Mr. Ledbetter's Vacation), «Похищенное тело» (The Stolen Body), «Сердце мисс Уинчелси» (Miss Winchelsea's Heart). Три последних были опубликованы в «Стрэнде», о сотрудничестве с которым Уэллс отзывался так: «Чуть что новое — они сразу начинают уверять, что читатели этого не поймут. Написал два рассказа — совершенный бред, а они приняли с восторгом». Все эти рассказы войдут в сборник 1903 года «Двенадцать историй и сон». Он также начал делать наброски к роману «Киппс», но отложил эту работу на неопределенное время. Он писал Элизабет Хили, что Сандгейт — самое чудесное место из всех, где ему доводилось жить; решили обосноваться там и обзавестись собственным домом.

Уэллс проконсультировался с Пинкером о состоянии своих финансов. У него было 100 фунтов наличными, 180 ему должен был выплатить «Стрэнд» за серию рассказов, 1150 — Хайнеман за «Войну миров» и «Спящего», еще гонорары по мелочи — всего набралось 2160 фунтов. На дом предполагалось потратить 1000. Идею о покупке готового дома Уэллс почти сразу отверг: ни одно из предлагаемых на продажу строений традиционного викторианского стиля ему не нравилось, он хотел современный дом — с огромными окнами, большим количеством света, просторными помещениями для прислуги, электричеством, комфортабельными ванными. Тут он сразу столкнулся с трудностями — во-первых, были юридические проблемы с владельцем земли, во-вторых, архитекторы и

подрядчики не хотели браться за нестандартный проект, — и в ноябре, вновь впад в депрессию, писал Пинкеру письма, которые сам определил как «вопли отчаяния» и в которых, как обычно, свалил все свои проблемы в одну кучу: архитекторы и юристы — болваны и негодяи, которые его убивают, романы не пишутся, никто не ценит его работу и вообще жизнь не удалась. Пинкер, человек уравновешенный и деловитый, взял на себя переговоры с юристами и архитекторами; еще некоторое время Эйч Джи по инерции продолжал стенать, но в декабре уже полностью успокоился и докладывал Хили, что дела идут превосходно.

28 марта 1899 года Уэллсы переехали из «Бичкоттеджа» в более просторный дом с большим ухоженным садом, выходящим к песчаному пляжу — новое жилище называлось «Арнольд-хаус». Сняли половину дома, заключили договор аренды на три года — за это время собственный дом должен был быть построен. Перевезли мебель из «Хетерли», Кэтрин тотчас свила гнездо, и потянулись гости. Приезжал Гиссинг, который к тому времени разошелся с очередной женой и собирался переехать во Францию; Форд, чей дом находился в получасе езды на велосипеде от «Арнольд-хауса», посещал Уэллсов регулярно, а поскольку у него в то время жил оказавшийся в силу ряда причин бездомным Конрад — естественно, у Уэллсов бывали оба. Приезжали Джеймс и Барри. Появились новые знакомства: с соседями, семьей Пофемов, завязались теплые отношения, вместе совершали велосипедные прогулки, Пофем учил соседа плавать. Жена Пофема приходилась свояченицей фабианцу Грэму Уоллесу — известному экономисту, профессору Лондонского университета, и познакомила его с четой Уэллсов. У Эйч Джи нашлось с ученым немало общих тем для разговора; именно под влиянием

Уоллеса он начал интересоваться вопросами политики, экономики, партийного строительства, в чем раньше был абсолютно несведущ; можно сказать, что Уоллес был его вторым учителем после Хаксли. «Прогулки с Уоллесом были для моей души тем, чем бывает горный воздух для чахоточных». Сошелся Уэллс также с профессором Йорком Пауэллом, литературоведом, проповедовавшим принцип «искусства ради искусства», несмотря на идейную конфронтацию, друг друга они не раздражали. В тот же период состоялось знакомство с Крейном, о котором шла речь в предыдущей главе, и с фабианцем Сиднеем Оливье.

В «Арнольд-хаусе» царила веселая круговерть, особенно в курортный сезон: разыгрывали пантомимы, костюмированные шарады, ставили любительские спектакли; с легкой руки Кэтрин Уэллс все так увлеклись театром теней, что в строящемся доме даже запроектировали для него специальную комнату. Кэтрин ожила, почувствовала себя нужной, ее любили. Скоро наступит новая стадия знакомств и дружб Герберта Уэллса, где ей вновь не будет места, но пока она была счастлива: «Она никогда никому не навязывала свою волю, но от нее исходило такое доброжелательство, такой безусловно радостный жар, что самые холодные воодушевлялись и самые чопорные оттаивали». В «Опыте автобиографии», написанном после смерти Кэтрин, Уэллс все с нею связанное вспоминает с нежностью и печалью и сандгейтский период их жизни описывает как идиллию. Это было не так: в письмах к Элизабет Хили, Гиссингу, Беннету он говорил о том, что в Сандгейте почувствовал себя вынужденно остепенившимся, осевшим на месте, и это его угнетало. Жизнь дошла до середины, молодость ушла, Изабеллу не вернуть, в работе вновь какой-то ступор. Рассказы 1899 года — «Сокровище мистера Бришера» (Mr. Brisher's Treasure), «Видение Страшного

суда» (A Vision of Judgment) — не писались, а вымучивались. Возобновлялись попытки писать «Киппса» — и опять не шло. Наконец летом 1899-го нашлась идея, которая захватила Уэллса: консультируясь с Ричардом Грегори, он начал писать «Первых людей на Луне» (The First Men in the Moon) — то был, как считают многие, последний его роман, который чего-то стоил.

В мае 1899-го в журнале «График» завершилась начавшаяся в январе серийная публикация «Спящего» (книга вышла в том же году в издательстве Харпера, так как с Хайнеманом Уэллс к тому времени разругался). Герой заснул — и проснулся в начале XXII века; за это время его состояние так возросло, что он стал владельцем «половины мира». Миром (то есть Лондоном — для Уэллса это одно и то же) правит Совет, состоящий из бессердечных капиталистов; другая группа таких же капиталистов, возглавляемая Острогом, руководителем Управления Ветряных Двигателей (аналог почившего РАО ЕЭС), использует наивного Спящего (которого по непонятным причинам обожествляют народные массы) для совершения переворота в свою пользу; осознав, что новые правители не собираются улучшать положение трудящихся, герой самолично возглавляет народное восстание — и погибает. Сей пересказ выглядит ужасно, но он не ужаснее самого текста. Сам Уэллс назвал «Спящего» одной из самых претенциозных и неудачных своих книг. Унылый, смертельно скучный роман, который не спасают некоторые довольно точные предсказания — например, социалистическая революция, последовавшая за буржуазной, или годами лежащее в подобию мавзолея тело Спящего, которому приходят поклоняться организованные экскурсии.

Возможно, «Спящий» не был бы так ужасен, если бы его герой оказался тем же безликим, на любого

проецируемым и оттого парадоксальным образом становящимся живым «я», как и в предыдущих романах. Но Уэллс взялся писать в третьем лице, причем о себе: «Он был фанатик-радикал, вернее социалист — энергичный, необузданный, дикий. Он вел жестокую полемику со своими противниками. Работал как лошадь и надорвался. Я помню его памфлеты. Какой-то бред сумасшедшего, но с огоньком. Там было много пророчеств...» Рискнем предположить, что автор в часы тоскливых бессонниц по-детски вообразил, как он, заснув на столетия, вдруг оказывается в вождественном будущем, где «толпа ревела тысячами глоток: „Спящий! Это он! Он с нами наконец! С нами наш повелитель и властелин!“». И от него одного зависит спасение мира; и он спасет его... Писать о себе как о ком-то другом — прием коварный. «И, как откровение, блеснула у него новая мысль, что этот мир, теперешний мир, близок ему, а не тот, который он оставил так далеко за собой...» Не может человек, обладающий чувством слова, писать так ходульно от первого лица. «И, как откровение, блеснула у меня новая мысль» — нет, герой-невидимка так никогда бы не выразился, а сказал что-нибудь человеческое, нормальное. В журнальном варианте роман вдобавок имел ужасающе мелодраматическую концовку — герой умирал на руках доброго пастыря.

Роман тем не менее имел успех у читателей, которых заинтересовала картина жизни в XXII веке — тогдашние читатели не были так избалованы футурологией, как мы. Первооткрывателем Уэллс, правда, не оказался и тут: в 1888 году был бестселлером роман Эдварда Беллами «Взгляд назад», герой которого впал в кому и очнулся в 2000 году, когда в Америке установился социализм; в 1891-м Уильям Моррис издал книгу «Новости из ниоткуда» с похожим сюжетом.



В «Спящем» продолжилась оптимистическая нотка, появившаяся в «Войне миров»: человечество не безнадежно, если оно сознательно будет работать над собой, то может добиться чего-нибудь хорошего, во всяком случае, пытаться нужно. Многие, правда, поняли эту мысль в точности до наоборот. В русских дореволюционных переводах роман выходил под названием «После дождичка в четверг»; консервативная газета «Новое время» писала, что так как «картины самодельного рая», начиная еще с «алюминиевых дворцов» Чернышевского, перестали вызывать энтузиазм, должна была появиться утопия, идущая против течения, которая «показала бы размечтавшемуся человечеству, к чему могут привести мечты».

Как только завершилась публикация «Спящего» в «Графике», в «Пэлл-Мэлл мэгэзин» начали печатать состоящую из пяти новелл «Историю грядущих дней»<sup>[29]</sup>. Эта малоизвестная антиутопия похожа на «Спящего»: тот же Лондон будущего, ставший гигантским и уничтоживший сельское хозяйство, те же корпорации, правящие миром. Богатая девушка против воли отца соединяет свою судьбу с высококвалифицированным рабочим, они скрываются в заброшенной деревне, потом у них заканчиваются деньги, они вынуждены вернуться в город и стать чернорабочими, но в финале не без помощи добрых людей им удается вновь сделаться «средним классом». Несмотря на сентиментальный сюжет, вещь получилась более читабельная, нежели «Спящий»; она была включена в сборник «Истории о пространстве и времени», вышедший в издательстве «Харпер».

И «Спящий», и «История грядущих дней» позволяют опровергнуть распространенное обвинение в адрес Уэллса: речь о том самом «промыывании мозгов». В обоих

текстах говорится, что обучение в будущем заменено гипнозом: детям и взрослым вкладывают в головы готовые знания и мнения (как у Айзека Азимова в рассказе «Профессия»); по Уэллсу, именно это является одной из основных причин стагнации общества. Сам он в «Морали и цивилизации» говорил о необходимости программ этического обучения и воспитания, а не внушения, и всегда категорически противопоставлял одно другому.

\* \* \*

11 октября 1899 года после череды переговоров Англия в ответ на ультиматум Трансвааля объявила бурам войну. Друзья Уэллса отнеслись к ней по-разному. Честертон, видевший в бурах что-то близкое своему идеалу — патриархальность, религиозность, «деревенскость», противостоящие «испорченной городами и наукой» Англии, — писал страстные антивоенные памфлеты. Шоу, видевший в этой патриархальности самую черную реакционность, необразованность и тупость, неожиданно для себя самого встал на сторону правительства. Для обоих то был конфликт двух цивилизаций, двух мировоззрений. Уэллс увидел в нем «столкновение глупости с глупостью». Ничего серьезного об Англо-бурской войне, пока она длилась, он не написал, но возвращался к ней в ряде своих текстов, например в романе «Дни кометы»: «В одном из последних припадков этой международной эпилепсии англичане, в условиях сильнейшей дизентерии, при помощи массы скверных стихов<sup>[30]</sup> и нескольких сотен убитых в сражениях, покорили южноафриканских буров, из которых каждый обошелся им около трех тысяч фунтов стерлингов — за сумму вдесятеро меньшую они могли бы купить эту нелепую

пародию на народ всю целиком, и если не считать нескольких частных перемен — вместо одной группы разложившихся чиновников другая, и так далее, — существенных изменений не было. <...> Побывавшие на месте военных действий после того, как война окончилась, не нашли там других изменений, кроме всеобщего обнищания и гор пустых консервных банок, колючей проволоки и расстрелянных патронов; все осталось по-прежнему, и люди, хотя и несколько озадаченные, возвратились и к прежним привычкам, и к прежнему непониманию друг друга...»

Война тянулась два года и завершилась формальной победой Великобритании. Уэллс в этом увидел то же, что и в победе над марсианами, — урок. В романе «Джоанна и Питер» он писал, что в результате Англо-бурской войны «образованные британцы впервые задались вопросом, все ли в порядке с нашей страной, если столь ничтожная победа оказалась столь труднодостижимой». Следующая большая война покажет, что в порядке далеко не всё, но Эйч Джи Уэллс вновь будет ждать от нее урока.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОЛДЕНЬ, XXII ВЕК**

### **Глава первая ДРУГАЯ СТРАНА, ДРУГИЕ СНЫ**

12 февраля 1900 года Уэллс купил земельный участок — на холме, в четверти мили от «Арнольд-хауса», — и заключил договор на строительство дома с подрядчиком Данком. По рекомендации доктора Хика нашелся архитектор — известный новатор Чарльз Войси. Взгляды Войси и Уэллса на то, каким должен быть дом, совпадали: он должен быть антивикторианским, то есть просторным, легким, светлым, рационально спланированным, без архитектурных излишеств, с широкими коридорами и прямыми углами. Функциональности хозяин будущего дома придавал особенное значение: дверные ручки должны располагаться на такой высоте, чтобы до них легко доставали дети, кухня и комнаты для прислуги по качеству не должны отличаться от остальных помещений; наконец, по дому должно быть легко и удобно передвигаться в инвалидном кресле, ибо он предполагал, что скоро опять в нем окажется; все это было очень разумно, и Войси не возражал.

Тем не менее ругались часто: Войси, человек авторитарного склада, не терпел вмешательства со стороны клиентов, а Уэллс был не из тех, кто может положиться на мнение специалиста, и влезал в каждую мелочь, поучая не только архитектора, но и подрядчика и даже рабочих. Его письма к друзьям того периода полны жалоб и раздражения: то стройматериалы не подвезли, то прораб напился, а если за рабочими недоглядишь, так они крышу положат вверх ногами (не стоит думать, что викторианская эпоха в этом отношении сильно отличалась от нашей). Один из

самых серьезных конфликтов с Войси разгорелся из-за мелочи: архитектор во всех проектируемых им домах ставил авторское клеймо — кованые сердечки на окнах и дверях; Уэллс сердечек не хотел. Достигли компромисса — сердца будут перевернутые, как пиковые тузы, что и даст дому имя — «Спейд-хаус», то есть «Дом Пик». Первоначально смета была составлена на сумму в 1760 фунтов; по утверждению Уэллса, фактически строительство обошлось ему в 3000<sup>[31]</sup>. Но разорить его это не могло. К тем средствам, что они с Пинкером насчитали год тому назад, прибавились новые: за «Спящего» он получил в общей сложности (включая американское издание) 1500 фунтов, роман «Любовь и мистер Люишем» был запродан за 1200, только что оконченный роман «Первые люди на Луне» должен был принести еще 1300.

В мае Уэллсы вместе с братом Фрэнком провели две недели во Франции. Фрэнк по-прежнему был для Герберта головной болью: здоровый молодой мужчина, он не желал работать, зато осыпал брата попреками за то, что тот мало помогает семье. (Уэллс предлагал купить родителям и Фрэнку новый большой дом, те отказывались, не желая сдвигаться с места.) Но терпение Уэллса по отношению к родным было безгранично — удивительное дело для такого вспыльчивого и нервного человека. Поездка оказалась не совсем удачной — Эйч Джи подхватил грипп. Настроение у него тоже было не радужное. «Мои дни состоят из бессобытийных событий, — писал он Элизабет Хили. — Я становлюсь человеком средних лет...»

Тем временем в издательстве «Харпер» вышел «Люишем». Уэллс писал Элизабет Хили, Гиссингу и Беннету, что это самая серьезная его вещь и что отныне он будет писать только реалистические романы; в

письме отцу охарактеризовал роман как «сентиментальную историю в относительно новой манере». «Люишем» — книга автобиографическая: в ней описаны учительская молодость Уэллса, его отношения с Изабеллой и Элизабет Хили и первые месяцы после женитьбы. Роман написан довольно милым, чуть старомодным (даже для того времени, ибо уже существовал динамичный, насыщенный жаргонизмами и заимствованиями язык Кипплинга), банальным языком («И не только земля, воздух и деревья внимали зову матери-природы, он волновал и юношескую кровь мистера Люишема, побуждая его к жизни...»), в нем есть и психологизм, и юмор, но прочтешь эту книгу, едучи в электричке, — и тут же забудешь, о чем читал.

Энтони Уэст заявил, что есть два Уэллса — «до и после 1900 года»: первый был «художником», второй стал «социологом». Эту мысль развил литературовед Бернارد Бергонци, написавший, что если бы Уэллс, подобно Стивену Крейну, умер в 1900 году, никакого ущерба мировой литературе это бы не нанесло. Оба, говоря о границе, приходящейся на 1900 год, имели в виду не «Люишема», а другую книгу, о которой речь пойдет дальше. Но Уэллс, сам признававший наличие такой границы, именно о «Люишеме» впервые сказал, что это — новая манера. Дискуссию с Генри Джеймсом о том, как писать романы, Уэллс инициирует лишь в 1911 году, но суть ее надо частично изложить сейчас, поскольку именно «Люишем» представляет собой первый шаг к цели, которую Уэллс себе поставил.

Джеймс был стилистом, полагавшим, что писатель должен заботиться о красоте и оригинальности слога, а Уэллс хотел обходиться «самыми простыми и общеупотребительными словами» — это самый поверхностный аспект их спора. Можно и примитивными словами написать прекрасную вещь — например «Полет над гнездом кукушки», — а можно

накручивать роскошные словесные обороты на совершенную пустышку. Дело не в языке, каким пишется художественный текст, а в его предназначении. Джеймс, по словам Уэллса, развивал свои идеи относительно романа «с прелестным сочетанием правдивости и уклончивости, с забавно-путаной доверительностью» — бестолковый человек, зато сам Уэллс — образец логики. Например, Джеймс «рассматривал роман как вид искусства» — Уэллс решил, что романы к искусству никакого отношения иметь не должны: «В романе столько же искусства, как на ярмарке или на бульваре. Он не должен вас „вести“; вы идете куда хотите». На той же странице Уэллс заявил, что Джеймс не желал видеть в романе «руководства к действию», тогда как его нужно видеть. Попробуйте представить себе роман, который одновременно должен быть руководством к действию и никуда не вести — голову сломаешь... Далее Уэллс, все столь же логичный, рассуждает о том, что роман должен «вместить в себя всю жизнь как она есть» — и при этом «реалистическое описание жизни отнюдь не является его задачей». Если у читателя хватает терпения продраться сквозь эту несокрушимую логику, он наконец понимает, чем все-таки, по мнению Уэллса, должен быть роман, — пропагандой идей. Вовсе не реалистический роман отстаивал он, а идеологический.

Но ведь и такой роман можно написать так, что получится шедевр, как «Бесы» или та же «Война миров»... Джеймс считал, что в романе должны действовать живые люди, которые испытывают живые чувства, — Уэллс возражал. «Мы не можем выписывать характеры, пока у нас связаны руки и нет свободного пространства». Когда Джеймс упрекает Уэллса в том, что его герои — плоские куклы и что в его текстах вообще не видно героев, а видно лишь автора (чрезвычайно, впрочем, Джеймсу интересного), — Уэллс

соглашается: он такого результата и хотел: «Да, я довольно грубо пишу сцены и персонажей, прибегаю к условным типам, к символам, чтобы в очередной раз поговорить о человеческих взаимоотношениях».

Невозможно говорить об отношениях без носителей таковых, и потому роман, как правило, держится на персонажах. Да, если роман «идеологический», то персонажи не обязаны походить на живых людей: их предназначение чисто функциональное — своими действиями иллюстрировать авторские идеи и раскрывать рот, когда нужно эти идеи четко сформулировать. Но любой автор («идеологический» в первую очередь!) хочет, чтобы его роман читали, а его идеи — разделили. Поэтому он постарается написать таких героев, чтобы они выразили его идеи убедительно и читатель ими проникся. Если он умеет это делать, у него получатся «Бесы» или хотя бы «В круге первом», если не умеет — «Что делать». В первом случае текст будет жить, пока человека не сменит иной биологический вид. Во втором — умрет, как только пропагандируемая в нем идея утратит новизну. Уэллс, правда, заявил, что ему ничуть не жаль: «Изображать из себя „художника“ я не желаю. Если я иногда бываю им, это прихоть богов. А журналист я всегда, и то, что я пишу, идет сейчас, а потом умрет».

Конечно, «умственный» роман может обойтись и без выразительных героев, как лемовский «Эдем» или «Чума» Камю — тут роль проводника идей берет на себя сюжет. Но от этого пути Уэллс после «Первых людей на Луне» тоже отказался. А если в романе нет ни живых героев, ни сюжета, то возникает резонный вопрос: зачем его писать? Ведь идеи можно высказать напрямую, в публицистическом монологе. Зачем заставлять людей читать о плоских куклах, если, как выясняется, они совсем не нужны? Собственно, к этому выводу — о ненужности романа как такового — Уэллс и



придет в конце концов. По его мнению, документальная проза полностью вытеснит беллетристику. Правда, Уэллс снисходительно допустил, что, «быть может, „Война и мир“ сумеет оправдать приукрашивание и оживление истории вымышленными событиями и чувствами».

А все-таки «творить людей» ему хотелось... Признавая справедливость джеймсовской критики в адрес его героев, он робко замечает, что ему самому некоторые из них кажутся «довольно живыми»... Он вспоминает, как яростно набросился на Аллена за то, что его герои «неживые», и с печалью констатирует, что его собственные герои «почему-то» вызывают такое же неприятие у молодого поколения... Он оправдывается, насколько может оправдываться столь самоуверенный человек — писал, мол, наспех, небрежно, торопился, потому так как-то все выходило схематично... Может, и торопился, но скорее ему просто было это не дано. Никаких людей, кроме безликого и оживающего в каждом читателе невидимки, он писать не умел.

«Люишем» понравился старым друзьям Уэллса, Симмонсу и Грегори, которые нашли, что чувства героя переданы необычайно убедительно — правда, все друзья Уэллса отлично знали, что его книги ругать — себе дороже. Генри Джеймс рассыпался в похвалах — правда, при этом написал, что «не совсем уверен, что понял Вашу идею и предмет Вашего романа». Многие отреагировали куда прохладнее. Беннет выразил сожаление о том, что Уэллс взялся писать подобные вещи вместо фантастики, и получил отпор: «Какого черта Вы ограничиваете меня одним жанром? Я хочу писать такие романы и буду». Конрад спрашивал, недоумевая: «Дорогой мой, а что такое эта ваша „Любовь и мистер Люишем“?» Рецензия в журнале «Спикер» обвиняла автора в чрезмерном увлечении

реализмом, доходящим до вульгарности — с нашей точки зрения, это, конечно, смехотворный упрек. Критик Эдвард Гарнетт писал, что автор увлекся разъяснениями в ущерб художественности — а вот это справедливо.

Уэллс великолепно умел передавать ощущения героя — не показывать, а буквально вкладывать их в мозг читателя. «Лондон глядел на меня как привидение. Окна в пустых домах походили на глазные впадины черепа. Мне чудились тысячи бесшумно подкрадывающихся врагов. Меня охватил ужас, я испугался своей дерзости. Улица впереди стала черной, как будто ее вымазали дегтем, и я различил какую-то судорожно искривленную тень поперек дороги. Я не мог заставить себя идти дальше». Он умел делать это, потому что представлял очень живо, будто это происходит с ним самим, благодаря чему нам кажется, что это происходит с нами. Даже в «Спящем» есть подобные великолепные фрагменты — например описание бегства Грэхема по заснеженной, скользкой крыше над Лондоном. В «Люишеме» Уэллс, напротив, постарался дистанцироваться от своего героя, и вследствие этого от него дистанцировался читатель. Он не передавал ощущения, а рассуждал о них; не показывал, а растолковывал. «Так гуляла эта молодая пара, счастливая обретенной любовью, но исполненная такой юношеской стыдливости, что слово „любовь“ в тот день ни разу не сорвалось с их уст. И, однако, по мере продолжения разговора, во время которого ласковые сумерки все больше и больше сгущались вокруг, их речь и сердца совсем сблизились. Тем не менее речи их, записанные хладнокровной рукой, выглядели бы столь убого, что я не берусь привести их здесь. Им же они вовсе не казались убогими». На самом деле все наоборот: дай он себе труд с той убедительностью, что характерна для его фантастики,

привести эти «убогие рассуждения», читатель мог был проникнуться чувствами героев, а так он словно глядит на них в очень мутную подозрную трубу.

Дэвид Смит, в целом невысоко оценивая «Люишема», заметил, что он, как и другие «бытовые» романы Уэллса, интересен как документ, обрисовывающий эпоху. Да, конечно, но можно повторить слова самого Уэллса: зачем читать посредственный роман, когда существуют документальные книги? Тем не менее «Люишем» — один из наиболее непосредственных романов Уэллса на так называемую бытовую тему. Другие получатся намного схематичнее и мертвее, и критиковать их будут гораздо жестче. А параллельно с ними из-под «журналистского», торопливого пера будут вдруг появляться абсолютно совершенные маленькие вещицы, сверкающие множеством граней, как хрустальное яйцо, поэтичные, музыкальные, нежные — откуда? Сам Уэллс этого объяснить не мог: «Я чувствую, что удачное слово — это дар, прихоть богов. Ему нельзя научиться; как бы вы ни старались писать ярко и убедительно, иногда вы все равно будете писать вяло и скучно. Писательское дарование так же неотчуждаемо, как божество».

Весной 1900 года Уэллс работал над двумя новыми вещами: «Предвидения» (*Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon Human Life and Thought*) — серией очерков, которая положит начало признанию его как социального мыслителя, и повестью «Морская дева» («*The Sea Lady: A Tissue of Moonshine*»), который он назвал «шутовской исповедью». Образ героини, как признавался сам автор, навеяла Мэй Низбет, внебрачная дочь театрального критика из «Таймс», с которым Уэллс был хорошо знаком; когда Мэй было 15 лет, ее отец умер, оставив девочку без средств, и Эйч Джи полностью взял на себя расходы по

ее содержанию и образованию. Девушка часто гостила в «Спейд-хаусе»; она не казалась Уэллсу интересной, но однажды «подошла ко мне в облегающем купальном костюме и показалась олицетворением озаренной солнцем юности», после чего опекун, по его собственному признанию, «стал делать попытки завладеть ею». Не стоит видеть тут историю Лолиты — Мэй было уже 17, когда все это началось, и из обольщения ничего не вышло: «она не была одарена романтическим воображением, которое помогло бы ей ответить на мои подходы и дать им развернуться». Зато получилась «Морская дева».

Эта вещь — перепев «Чудесного посещения», только написана она лучше и авторская мысль в ней выражена сильнее. Там в деревушке с неба сваливается ангел — тут в дачном поселке из воды вытаскивают русалку; там ангелу хотят ампутировать крылья — тут русалкин хвост пытаются прикрыть специальной одеждой; русалка, как и ангел, удивляется миру людей: «Все, из чего слагается ваша жизнь, та жизнь, которой, как вам кажется, вы живете, все эти ничтожные дела, которые представляются вам такими важными, все эти крохотные заботы, все эти мелкие повседневные обязанности, все эти запреты, которые вы сами себе внушили, — все это фантазии, овладевшие вами так прочно, что вы уже не можете их стряхнуть... Вы так плохо используете тот короткий миг, который вам дан! У вашей жизни есть начало и есть конец, но все время, что лежит между ними, вы живете, словно околдованные. Вы боитесь делать то, что доставило бы вам наслаждение, и считаете необходимым делать то, что, как вы прекрасно знаете, бессмысленно и неприятно». Разумеется, морская дева начинает людей раздражать: «Она все выворачивает наизнанку. Она умеет привлекать к себе всеобщее внимание. Она разрушает жизненные ценности». Она заявляет нам

всем, что мы живем «во сне, в фантастическом, нездоровом сне, в таком жалком, таком бесконечно жалком сне» — и что бывают «другие сны», гораздо лучше...

Русалка знакомится со светским молодым человеком и завладевает его душой; он готов наплевать на карьеру и уйти с морской девой в те, другие сны. Родственники пытаются его образумить — он поддается. «Пусть пылает призывный огонь — я отрекаюсь от него. Отрекаться и снова отрекаться — вот что такое жизнь для каждого из нас. Если нас и посещают мечты, то лишь для того, чтобы мы могли от них отречься, если в нас есть живое чувство, то лишь для того, чтобы не давать ему пищи...» Но, произнеся этот монолог, уже на следующее утро герой рука об руку с русалкой исчезает в морской пучине... Другая страна, другие сны! Совсем недавно Уэллс опубликовал рассказ «Видение Страшного суда», где Бог отправил людей на Сириус, чтобы они там наладили свою жизнь лучше, чем на Земле: «Вокруг меня простиралась прекрасная страна, какая мне и во сне не снилась: пустынная, суровая и чудесная. И меня окружали просветленные души людей в новых, преображенных телах». Все та же мечта попасть в иное время, в «иную страну». Но ведь это не та страна, о которой говорится в «Чудесном посещении» и «Морской деве»... Одна — суровая, где прогрессивные граждане ведут великую битву за будущее; другая — нежная, зыбкая, как сон. Так в которую из этих двух стран Эйч Джи хотел попасть на самом деле?

\* \* \*

Критический отзыв Беннета на «Люишема» не повредил дружеским отношениям: в августе Беннет

несколько дней гостил в «Арнольд-хаусе». Купались, загорали; у обоих появилось новое увлечение — фотография, и как несколько лет тому назад вся переписка Эйч Джи была заполнена велосипедами, так теперь — фотоаппаратами. Он съездил к родным в Лисс и фотографировал их там: отец был бодр и весел, мать прихварывала, брат пребывал в унынии и брюзжал, и все наотрез отказались перебираться в новый дом. Родители еще успеют побывать у сына в отстроенном «Спейд-хаусе», и Кэтрин сфотографирует Эйч Джи с его матерью: они сидят на лавочке, рядом — кадка с цветами, Сара, в черной шляпке с вуалью, улыбается в объектив, а сын, склонившись к ее плечу, что-то ей рассказывает. Осень и зима прошли спокойно — в октябре Кэтрин зачала первого ребенка, и муж старался ее не огорчать.

Уэллс плохо отзывался о редакторах «Стрэнда», но они его работу ценили: с декабря в «Стрэнде» началась публикация «Первых людей на Луне» (она завершилась в августе 1900-го и в том же году «Ньюнес» издал книгу). Люди Уэллса, конечно, на Луне были далеко не первыми, ни в одном из своих романов он не оказывался первооткрывателем темы. «Путешествие на Луну» французов Ле Фора и Графиньи появилось за десять лет до книги Уэллса, англичанин Годвин в романе «Человек на Луне» еще в 1638 году предвосхитил открытие, сделанное героем Уэллса, — вещество, экранирующее земное притяжение. Уэллса это не волновало, к технической стороне космонавтики он был довольно равнодушен (хотя с интересом читал статью, где рассказывалось об экспериментах по получению вещества, напоминающего придуманный им кейворит) и в обитаемость Луны вряд ли верил, хоть и обосновал ее достаточно научно. На сей раз он писал чистую свифтовскую сатиру.

«Первых людей» читают куда меньше, чем «Человека-невидимку» или «Войну миров» — с тех пор, как американцы слетали на Луну и убедили всех, что там никто не живет, фантастические описания лунных путешествий воспринимаются как безнадежно устаревшие. А жаль: из всех фантастических романов Уэллса этот — самый остроумный. Характеры Уэллсу почти никогда не давались, но изобретатель Кейвор, который расхаживает по деревне и жужжит, потому что это помогает ему думать, и рассказчик Бедфорд, практичный, жадный и мечтательный, вышли превосходно. После ряда лунных приключений, среди которых неудачные попытки установить контакт с селенитами, Бедфорду удастся сбежать на Землю, а Кейвор, плененный селенитами, начинает изучать их социальную организацию и шлет землянам сообщения о ней.

«На Луне, — сообщает Кейвор, — каждый гражданин знает свое место. Он рожден для этого места и благодаря искусной тренировке, воспитанию и соответствующим операциям в конце концов так хорошо приспособляется к нему, что у него нет ни мыслей, ни органов для чего-либо другого». Рабочие селениты — почти животные, а правит Луной прослойка интеллектуалов: «Большеголовые существа, занятые умственной работой, образуют как бы аристократию в этом странном обществе, и выше всех, на самом верху лунной иерархии, словно гигантский мозг планеты, стоит Великий Лунарий, которому я в конце концов должен представиться. Неограниченное развитие ума у селенитов интеллигентного класса достигается отсутствием в их строении костного черепа, черепной коробки, которая ограничивает человеческий мозг, не позволяя ему развиваться больше определенного размера». Пародия, насмешка? Да, вроде бы... «Ученые погружены в ка-кое-то непроницаемое, неподвижное

состояние самосозерцания, от которого их способно пробудить лишь отрицание их учености. Обыкновенно ученых водят провожатые, часто в их свите встречаются маленькие деятельные создания, очевидно, самки, — я склонен думать, что это их жены. Но некоторые ученые слишком величественны, чтобы ходить пешком, и их переносят на носилках, похожих на кадки — эти колыхающиеся, студенистые сокровищницы знания вызывают во мне чувство почтительного удивления». Насмешка, но... разве Уэллс не говорил совершенно серьезно о том, что именно интеллектуальная аристократия должна управлять миром?

На Луне нет наций и государственных границ — а разве Уэллс не считал, что именно так должно быть? Кейвор рассказывает селенитам, что государства Земли воюют друг с другом и земляне не видят в этом дурного; правителей Луны его рассказ приводит в такой ужас, что они пресекают все его попытки связаться с Землей. А ведь Кейвор — в отличие от героя «Войны миров», считавшего, что люди вправе завоевать какую-нибудь планету, — и сам отлично знал, что появление его агрессивных и жадных соплеменников на чужой планете не принесет последней ничего хорошего: «Если только я разглашу мой секрет, вся эта планета, вплоть до глубочайших галерей, очень скоро будет усеяна трупами... И дело совсем не в том, что Луна нужна людям. Для чего им новая планета? Что сделали они со своей собственной планетой? Поле вечной битвы, арену вечных глупостей». А селениты не воюют, они мирно копошатся в своем маленьком объединенном мирке...

Так что это — идеал или карикатура? Или — престранный гибрид, характерный для скептических британцев (Хаксли, Оруэлл, Берджес), — карикатура на собственный идеал?



В марте 1901-го Уэллсы поехали на отдых в Швейцарию и Италию, на обратном пути навестив в Париже Гиссинга. Тот был угнетен, тосковал по Англии; в начале лета он приехал в «Арнольд-хаус» и прожил там почти до самых родов Кэтрин. Мальчик родился 17 июля. «Теперь они извлекли наружу странное, сморщенное маленькое животное, отчаянно вопящее, со старческим личиком, красноватой кожей, чья голова была покрыта влажными, необыкновенно мягкими черными волосами, — напишет Уэллс в романе „Брак“. — Оно сучило кривыми ножками. Он взял его; его сердце потянулось к нему. Он почувствовал к существу безмерную жалость, оно было такое слабое и безобразное. Это обаятельное уродство удивляло и смущало. Он ждал чего-то другого, намного более привлекательного. Оно сжало кулачок, и он почувствовал, что попал в плен этих пальчиков и особенно смешного, какого-то претенциозного ногтя на мизинце. В своем кулачке оно сжимало его сердце... Он не хотел отдавать им это существо. Он хотел защищать его от всех. Он чувствовал, что его неоправданная слабость им чужда и непонятна...»

Существо называли Джордж Филипп, сокращенно — Джип. Ему посвящен один из самых чудесных, трогательных и обаятельных рассказов Уэллса — «Волшебная лавка» (The Magic Shop). Отец и ребенок (крепко держащий папу за палец) случайно заходят в магазинчик, где очень странный продавец торгует очень странными вещами. Странное потихоньку начинает превращаться в страшное — этот постепенный переход Уэллсу всегда давался великолепно.

«— Папа! — шепнул Джип виновато.

— Что?

— Мне здесь нравится, папа.

„И мне тоже нравилось бы, — подумал я, — если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораясь нам проход“».

Атмосфера сгущается — и вот уже малыш, увязавшийся за продавцом, пропадает бесследно. «Волшебная лавка» сделана по тому же принципу, что и все лучшие фантастические тексты Уэллса — «представьте себе, что вы вдруг...». Представьте себе самое простое и ужасное — что ваш ребенок потерялся...

«Вам, может быть, знакомо зловещее чувство, которое охватывает вас, словно рука неведомого, и больно сжимает вам сердце! Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное „я“, вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы, вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх исчезают». Понятное дело, все закончилось благополучно, Джип нашелся.

«— Гм! — сказал я. — Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки!

Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать, и не могу тут же, на извозчике, при всем народе расцеловать его». Кто считает Уэллса холодным и злым человеком, пусть перечтет «Волшебную лавку». Она написана с такой любовью, которую невозможно подделать.

Но биографы предпочитают поступки, а не чувства. Роды у Кэтрин были тяжелые, ей требовался уход двух докторов и сиделки, она была угнетена, несчастна, а муж, как апдайковский Кролик, взял да и сбежал от нее и от маленького слабого существа, которое вроде бы так полюбил. Он объявил, что ему (а не ей!) нужен отдых и он отправляется в Лисс к родителям, а потом

проедется по южному побережью. Она попыталась протестовать — он молча уехал. Она писала ему отчаянные письма. Только через три недели он позвонил ей по телефону, потом написал; они помирились и условились о встрече в Лондоне, чтобы пообедать вдвоем. Встреча состоялась в середине сентября. Что делал счастливый отец после того, как уехал из Лисса, не выяснено: в изученной вдоль и поперек жизни Уэллса это — белое пятно. В мемуарах, кажущихся на первый взгляд предельно откровенными, Эйч Джи не счел нужным упомянуть о своем побеге.

\* \* \*

Будущее Уэллс начал предсказывать давно; признание как серьезный футуролог он получил лишь после того, как были опубликованы «Предвидения» — именно эту вещь Энтони Уэст и Бергонци считают водоразделом в его творчестве. Очерки были написаны по предложению Уильяма Кортни, нового редактора «Фортнайтли ревью», сменившего на этом посту Харриса; публикация началась в апреле 1901 года. Впоследствии «Предвидения» неоднократно переиздавались — уже не как цикл статей, а как единый трактат; впервые они вышли отдельной книгой в конце 1901 года в издательстве «Чепмен энд Холл».

Статей было девять: «Передвижение в двадцатом столетии», «Вероятное расселение городов», «Развивающиеся социальные элементы», «Некоторые социальные взаимодействия», «История демократии», «Война в двадцатом веке», «Конфликт языков», «Расширяющийся синтез» и «Вера, мораль и внутренняя политика Новой Республики». Их восприняли с живейшим интересом: то была, как говорил сам автор, «первая попытка предсказать будущее в целом»,

коренным образом отличавшаяся от частных прогнозов. Вполне естественно, что сделать это решился именно Уэллс, всегда мечтавший объяснить человечеству «всё про всё».

«Предвидения» рассказывают нам «всё» не только о нашем будущем, но и о прошлом. Уэллс давно вынашивал мысль о необходимости аналитического подхода к изучению истории, при котором нужно не заучивать даты великих битв и знать, был ли какой-нибудь древний император хромым или косым, а проследивать глобальные тенденции и на основе их анализа заниматься планированием будущего; такой подход он назвал «экологией человеческого рода». Фундаментальный труд об истории человечества он напишет позднее, но уже в «Предвидениях» придерживался этого принципа: кратко описал, как то или иное явление возникло, как оно развилось к началу XX века и во что логически должно вылиться к началу XXI.

Он начал с транспорта, который считал основным двигателем развития: растущая паутина железных дорог изменила и будет изменять экономические и социальные отношения. Трудно найти литератора или общественного деятеля позапрошлого века, который не видел бы в железных дорогах отличительную черту времени. Толстой писал: «Прекрасно электрическое освещение, телефоны... и подтяжки и моторы; но пропади они пропадом... если для их производства нужно, чтобы 99/100 людей были в рабстве...» Уэллс обожал Толстого и не любил эксплуататоров, но моральной оценки железным дорогам не дал. Хорошо это или плохо, духовно или бездуховно — они неизбежно будут расти и так же неизбежно повлекут перемены в общественном укладе. Помимо железнодорожного транспорта разовьется автомобильный, построят широкие шоссе, появятся

автобусы, города разрастутся, центры их превратятся в галереи магазинов, соединенных лифтами и тротуарами, улицы расширятся, громадные рекламные объявления станут частью пейзажа — все так и вышло, по части технологических и социальных прогнозов Уэллс был достаточно точен. Он умудрялся предвидеть даже такие явления, о технической стороне которых не догадывался: в статье, посвященной росту городов, он писал, что в XXI веке мы сможем вести бизнес, общаться и совершать покупки, не выходя из квартиры — и это без малейшей догадки не только об Интернете, но и о компьютерах!

В третьей статье говорится о появлении «новых классов», как «плохих» — акционеров или «безответственных собственников» и люмпен-пролетариата, — так и «хороших»: «инженеры», квалифицированные рабочие-механики, сближающиеся с «инженерами», и сельскохозяйственные производители, объединенные в холдинги. Жизни одного из этих новых классов, который станет основой нового общества — «инженеров», — он посвятил четвертую статью. Инженеры — люди образованные, интеллектуальные, веротерпимые; они трудятся на благо общества. У инженера, как правило, есть жена и два-три ребенка. Семья живет в удобном, функциональном доме, где тяжелую бытовую работу выполняют механизмы, так что нет надобности держать слуг, а жена может управлять домашним хозяйством, не превращаясь в рабыню. Инженер и его семья немного (не чрезмерно) интересуются искусствами. Жена инженера — это его друг, помощник, единомышленник. Правда, брак сильно изменится: будет облегчена процедура развода, люди смогут жить вместе, не вступая в официальный союз, незамужняя женщина сможет иметь детей и быть нормальным членом общества.

Уэллс писал о прошлом и будущем, но хотел ударить по настоящему: его работа, как он писал Элизабет Хили, «предназначена под покровом рассуждений об автомобилях и электрическом отоплении подорвать и разрушить монархию и респектабельность»; начиная с пятой статьи этой подрывной критики становится все больше. Как будет управляться новое общество? Уж точно не так, как сейчас (то есть в 1901 году). Монархия — бессмысленный пережиток, но и парламентская демократия — та самая, которую Черчилль называл «наихудшим способом управления обществом, за исключением остальных, которые пробовались время от времени», — никуда не годится: это «серый хаос», власть некомпетентной, невежественной, инертной толпы; это лишь псевдонародовластие, ибо толпа управляема любым проходимцем, который, потакая ее инстинктам, внушает ей «воинственный, глупый и разрушительный национализм».

Обществом должны управлять интеллектуалы; «бесформенная, гипертрофированная общественная масса должна наконец породить образованный класс, организованный естественно и неформально, беспрецедентный тип людей, Новую Республику, главенствующую во всем мире» (наряду с термином «Новая Республика» используется другой, который в более поздних работах его вытеснит — «Всемирное Государство»), и это новообразование «в колыбели задушит драконов войны и национальной розни». Но как образованным людям получить бразды правления? На этот вопрос Уэллс в «Предвидениях» ответа искать не стал, ограничившись наивным предположением, что «просто некая группа, двигаясь в определенном направлении, обнаружит, что у всех ее членов есть общая цель», и тотчас перешел к описанию войн, которые будут вестись в XX веке (до возникновения Новой Республики, разумеется).

Анализируя военные предсказания Уэллса, обычно сосредоточиваются на технических — возрастающая роль артиллерии, использование авиации, субмарин, танков. Но современная война изменит и людей — убьет в них романтику. Старый генерал на белом коне, издающий патетические возгласы и проливающий скупую слезу над «нашими бедными отважными парнями», — над этим образом Уэллс поиздевался вволю. В войнах будущего окажутся востребованы не «бедные отважные парни», а взрослые люди — специалисты, инженеры и механики, и сражаться они станут «трезво, организовано и хладнокровно». Белые кони никому не нужны: военные действия будут планироваться на кафедрах и управляться по телефонам. Во время военных действий тыл будет иметь большее значение, нежели фронт: производство, транспорт — все будет переориентировано на военные нужды, и в конце концов войну выиграет та сторона, которая лучше организовала свою экономику.

Уэллс войны осуждал, издевался над теми, кто считает войну средством решения проблем, не терпел патриотического пыла, парадов, пушек, призывал прекратить межнациональную рознь; единственную пользу от войны видел в «уроке». Но когда читаешь фрагмент «Предвидений», посвященный войнам будущего, складывается впечатление, что ему в радость порассуждать о вопросах стратегии, тактики, вооружений, перестроений, соединений и т. п. Ведь война, как бы цинично это ни звучало — интереснейшая игра, и большинству мужчин интересно играть в нее даже тогда, когда они вырастают из коротких штанишек. Уэллс часто называл других людей инфантильными, а себя — зрелым. Но, похоже, он как любил военные игрушки в детстве, так и не разлюбил. Он будет призывать к тому, чтобы детей с малолетства

учили «война — это недопустимо», но напишет целую книгу о том, как нужно учить детей играть в войну...

Все шокирующее Уэллс приберег к концу «Предвидений» — он раскрывал секрет в письме к Хили: «Первые статьи должны читаться спокойно, но последняя будет бомбой». В этой последней статье он пишет о необходимости нового подхода к таким явлениям, как жизнь и смерть. Прежде всего обществу придется взять под контроль процесс деторождения. Уэллса, в отличие от Мальтуса, проповедовавшего ограничение рождаемости из-за того, что человечество размножается в геометрической профессии, а количество предметов потребления — в арифметической, и скоро землянам станет нечего есть, беспокоила совсем иная проблема. Он видел, как быстр технический прогресс, и не сомневался, что прокормить можно какую угодно прорву людей. Но нужна ли эта прорва?

В платоновском «Государстве» Уэллс читал о том, что планирование семьи должно быть построено на тщательной селекции родительских пар; в начале XX века идеи евгеники<sup>[32]</sup> приобрели повсеместную популярность. Статистические выкладки и результаты IQ-тестов, дававшие картину деградации населения, убедили в верности евгенических концепций несколько поколений: евгеникой увлеклись социалисты и консерваторы, врачи, педагоги и социальные работники. Они ожидали, что евгеника уменьшит преступность и повысит общий уровень благосостояния.

Воспроизводство рода не может быть для человечества самоцелью, убеждал Уэллс: лучше родить одного здорового ребенка и хорошо его воспитать, чем произвести на свет десять больных, бросив их на произвол судьбы. Человек имеет право заводить детей лишь при соблюдении таких условий, как физическое



здоровье и финансовая независимость; бедняки (пока таковые еще останутся) обязаны хорошенько подумать, могут ли они дать детям пристойную жизнь и нормальное воспитание, а алкоголики и психически неполноценные люди должны быть вовсе лишены права размножаться. Взгляды Уэллса на евгенику имели мало общего со взглядами Гальтона (которые позаимствовали идеологи Третьего рейха, навеки скомпрометировав евгеническую теорию): если Гальтон и его последователи ставили во главу угла расовый вопрос и предлагали стерилизовать «неполноценные расы», то Уэллс полагал это абсолютным вздором. Новая Республика принимает всех — лишь бы они были здоровы, разумны и трудолюбивы или по крайней мере стремились к этому. Но глупцам, лодырям, пьяницам, преступникам, стяжателям и прочим паразитам в будущем делать нечего, и Новая Республика должна уметь от них защищаться.

Идея о контроле над рождаемостью — не самая шокирующая. Куда страннее то, что Уэллс написал о смерти. Она перестанет быть средством устрашения, исчезнет смертная казнь, зато эвтаназия станет нормальным способом для страдающего прекратить свои муки. Это все куда ни шло, но, оказывается, люди Новой Республики вообще перестанут страшиться смерти, а будут воспринимать ее с абсолютным спокойствием и хладнокровием, ибо их вера в Бога станет спокойной и рассудительной и вопрос о смерти и бессмертии они будут попросту игнорировать как «пустой и неинтересный». Это уже ни в какие ворота не лезет — можно, поднатужившись, вообразить мир, сплошь населенный трезвыми, здоровыми и трудолюбивыми людьми, но как Уэллс представлял себе человека, пусть верующего «спокойно» или неверующего вовсе, который относится к смерти даже без любопытства? Откуда такие люди возьмутся? И что

им будет интересно, если не жизнь и смерть? Или те, о ком он писал, уже не люди? Все-таки другой биологический вид?

Начиная работать над «Предвидениями», Уэллс в письмах Пинкеру называл свой замысел грандиозным и амбициозным; то же он писал Хили в июле 1901-го, когда текст был закончен. Позднее он оценивал свою работу по-разному — называл ее «краеугольным камнем в фундаменте всего моего труда» и в то же время характеризовал как слабую, наивную. Но как бы несовершенна эта работа ни была, она открыла ему смысл жизни. К чертям литературу; отныне Эйч Джи Уэллс не беллетрист, не журналист, а просветитель и педагог, и его задача — не развлекать и не информировать человечество, а учить его, неразумное, всему.

## **Глава вторая КОРОЛЕВА ФЕЙ**

Эйч Джи волновался, что «Предвидения» будут плохо продаваться, и с несвойственной ему кротостью молил издателей позаботиться насчет рекламы. Беспокойство оказалось излишним: книга, публиковавшаяся в отрывках в конце 1900 года и вышедшая целиком в издательстве «Чэпмен энд Холл», расходилась как бестселлер. Но друзья-коллеги «Предвидения» раскритиковали. Конрад укорил автора за то, что он обращается к узкой группе элиты, оставляя за бортом все человечество, и сравнил его с рыбаком, который вылавливает отдельных форелей вместо того чтобы закинуть широкую сеть, в ячейках которой найдется место каждому пескарику. Уэллс обращался именно к «форелям», так что не обиделся, напротив, зная, что Конрад бедствует, написал несколько восторженных заметок о его творчестве. Форду не

понравился стиль книги Уэллса: его раздражало то, как возвышенные идеи соседствуют с рассуждениями о цвете стен в квартирах жителей Новой Республики. (То же раздражало критиков в утопии Чернышевского, да и во всех утопиях вообще.) Эдмунд Госсэ считал главной ошибкой Уэллса непонимание того, что человек стремится не к общественной пользе, а к индивидуальному счастью. (Правда, в 1940-е американский психолог Абрахам Маслоу доказывал, что потребность в самоактуализации и развитии у многих людей стоит не ниже, чем стремление к личному процветанию, а у кого-то и выше.) Всю эту критику Эйч Джи — редкий случай — воспринял спокойно и не бранился.

После «Предвидений» Уэллс впал в безудержный оптимизм, над которым потом посмеивался. «Не позднее чем через двадцать лет у нас будет республика, — писал он Ричарду Грегори в декабре 1901-го, — или, во всяком случае, она может быть, если империя рухнет. <...> Я буду писать, говорить, буду проповедовать революцию в течение следующих пяти лет». Тут необходимо заметить, что, постоянно произнося слово «революция», Уэллс вкладывал в него смысл почти противоположный общепринятому, так что слово это следовало бы все время брать в кавычки. «Революция» для него — это изменение менталитета, а революционность такого изменения заключается единственно в том, что оно должно произойти «быстренько». Обещание проповедовать свою «революцию» он сдержит и в ближайшие годы напишет еще несколько футурологических трактатов: «Человечество в процессе созидания» (Mankind in the Making, 1903), «Современная утопия» (A Modern Utopia, 1905), «Новые миры вместо старых» (New Worlds for Old, 1908). А первым его шагом на этом пути стала лекция,

прочитанная 24 января 1902-го в Королевском институте Великобритании<sup>[33]</sup>.

Лекция называлась «Открытие будущего». В основном она повторяла тезисы «Предвидений», только тон был более ликующим; напугав слушателей картинами гибнущего мира, автор объявлял, что сам в такой исход не верит, ибо «верит в другие вещи: согласованность и целесообразность мира и величие человеческого предназначения. Миры могут замерзнуть и Солнце — остывать, но я верю, что в нас живет нечто, что никогда не умрет». Уэллс не умел выступать публично, говорил слишком быстро, сбивчиво и неразборчиво, но его речь все равно привела аудиторию в восторг. В феврале ее опубликовали в «Нэйчур», а издатель Ануин выпустил ее отдельной книгой, которая, как и «Предвидения», стала бестселлером. Она понравилась всем — даже Конраду. Это самый оптимистический из футурологических текстов Уэллса: в нем он выдвинул тезис о том, что *Homo sapiens*, если осознает необходимость перестройки своей жизни, может стать первым видом, который возьмет эволюцию под контроль и не погибнет.

«Предвидения» и «Открытие будущего» сделали Эйч Джи человеком, к мнению которого прислушивается общество. Сын лавочника превращался в джентльмена, а джентльмен обязан бывать в престижных клубах. По рекомендации Генри Джеймса он стал членом Национального либерального клуба, учрежденного Гладстоном; его постоянно приглашали обедать в «Другой клуб» (Other Club), основанный Черчиллем. Парадные двери домов, куда раньше он пытался проникнуть с черного хода, широко отворились перед ним. Одна из этих дверей вела в Фабианское общество, а в роли привратников выступила знаменитая

супружеская пара: начиная с этого момента она прочно войдет в жизнь нашего героя.

«Ведь мы молодые были, только что поженились, крепко любили друг друга. А он — „все Веббов переводили“!» — так отреагировала представительница другой знаменитой пары на биографию ее мужа, в которой рассказывалось, как в 1898 году в Шушенском молодожены переводили с английского на русский книгу Сиднея и Беатрисы Уэбб «Теория и практика английского тред-юнионизма». Переводчик уже в собственных работах называл Уэббов «основательными учеными» и «основательными оппортунистами», а также «тупыми хвалителями английского мещанства», а в 1914 году причислил их к числу лиц, «подло предавших социализм».

Сидней Уэбб родился в 1859-м, образование получил, как и Ленин, юридическое; его жена Беатриса, дочь богатого промышленника Поттера, была, как и Крупская, годом старше мужа. Поженились они в 1892-м и с тех пор рука об руку занимались социализмом, изучали рабочее движение, написали вместе и по отдельности много трудов по истории профсоюзов. Впоследствии были видными деятелями лейбористской партии; Сидней занимал пост министра торговли в первом лейбористском правительстве (1924) и пост министра колоний и доминионов во втором (1929–1931). Он также основал и возглавил Лондонскую экономическую школу; в 1929-м он был удостоен титула барона, но Беатриса принять титул отказалась.

Ругал Ленин Уэббов зря, ибо не было в Европе более рьяных и доверчивых апологетов советского строя. «В течение полувека умственная лаборатория Веббов была источником той идеологической пищи, которая затем по бесчисленным каналам шла в рабочие, мелкобуржуазные и даже буржуазные головы, — замечал в своих мемуарах советский дипломат Иван

Майский. — И вот теперь этот замечательный интеллектуальный инструмент обратился против антисоветских предрассудков и предубеждений, которыми в 30-е годы были заражены широчайшие круги британского и мирового общественного мнения!» Майский, бывший советским послом в Лондоне, описал Уэббов: «Меня приветствовала высокая, стройная женщина с умным и одухотворенным лицом. В молодости эта женщина, должно быть, была очень красива. Но и сейчас, в старости, она отличалась необычайной обаятельностью, особенно хороши были глаза — большие, лучистые, в глубине которых пряталась чуткая, пытливая мысль. Это была Беатриса Вебб. Из-за спины ее выглядывала другая фигура — фигура мужчины с седой шевелюрой и седой бородой клинышком. Он был плотного сложения и почти на голову ниже женщины. На широком красноватом лице его лежала печать ума и упорства. Это был Сидней Вебб. По внешности супруги представляли полную противоположность друг другу. <...> Но что здесь доминировала женщина — это бросилось мне в глаза при первом же свидании и подтвердилось при последующем знакомстве».

Беатриса была хозяйкой одного из модных лондонских салонов, который посещали отнюдь не пролетарии. Уэббы разделяли посетителей своего салона на категории «А» и «Б»: в «А» заносились аристократы, анархистские и артистические натуры, в «Б» — бюрократы и буржуа; они имели широкие знакомства среди вторых, но предпочитали первых — таких, как Герберт Уэллс. Мальчика, приходившего слушать речи в оранжерее Уильяма Морриса, Беатриса не вспомнила, но в декабре 1901-го, прочтя «Предвидения», назвала их «самой выдающейся книгой года» и немедленно возжелала привести новую добычу в салон. Сидней также написал Уэллсу восторженное

письмо, представившись «другом Грэма Уоллеса и Бернарда Шоу, которых Вы знаете». Он, однако, нашел в «Предвидениях» недостатки, о которых также сообщил в письме: по его мнению, автор преувеличивал роль техников, механиков и инженеров и недооценивал возможности профессиональных администраторов. Уэллс на критику не обиделся и ответил учтивым письмом.

Даже если бы Уэббы не прочли «Предвидения», их знакомство с Уэллсом состоялось бы — уж очень солидное связующее звено обнаружилось меж ними. Одним из сандгейтских соседей Уэллса оказался секретарь Фабианского общества Эдвард Пиз, личность очень колоритная — трудно вообразить себе кого-то более «английского», более похожего на диккенсовских персонажей. До того, как стать одним из основателей Фабианского общества, Пиз служил биржевым брокером, интересовался спиритизмом и проводил ночи в «домах с привидениями», а потом получил наследство и полностью посвятил себя социализму. Охарактеризованный Уэллсом как «добропорядочнейший человек квакерской закалки», Пиз представлял собой один из тех «винтиков», на которых держатся все организации; без него — дотошного, корректного, пунктуального — Фабианское общество, возможно, распалось бы давным-давно. Пиз, также очень хваливший «Предвидения», стал говорить Уэллсу о необходимости как можно скорее познакомиться с Уэббами: «Они — пионеры Вашей Новой Республики».

В конце января 1902-го, после обмена письмами, Уэббы приехали в Сандгейт и пробыли там два дня, после чего Эйч Джи рассказал Пизу о своих впечатлениях: «Уэббы — чудесные люди, они заставили меня устыдиться моей лени и умственной разбросанности, и я ужасно робею перед миссис Уэбб».

Беатриса, в свою очередь, сделала запись в дневнике: «Уэллс интересен, хотя в его личности есть что-то отталкивающее. <...> Он — прекрасный инструмент популяризации идей, и он дает столько же новых мыслей, сколько и получает. Есть что-то освежающее в беседе с человеком, который сам заставил себя отказаться от стольких возможностей, дабы посвятить свою жизнь служению новому миру». Разумеется, добрая Беатриса высказалась и о Кэтрин: «Его жена — милая маленькая особа с сильной волей, средним интеллектом, и в ее натуре есть что-то мелкое. В одежде и манерах она очень старается соответствовать тому обществу, в котором благодаря своим талантам может вращаться ее муж, но все это очень искусственно, от ее слащавой улыбки до показного интереса к общественным проблемам». Не зря Эйч Джи так испугался своей новой знакомой. Впоследствии он писал о Беатрисе: «Она обладает очаровательной и редкой способностью смело и обобщенно судить обо всем в самом воинственном тоне» и отмечал также, что она «смотрит на людей как на ходячие числа». Однако Беатриса смотрела на людей отнюдь не как на числа, а пристально лорнировала каждого и характеризовала его с пристрастностью, ядовитостью и мелочностью. Уэббы пригласили Уэллсов нанести ответный визит; совместные обеды и ужины стали регулярными. Но Кэтрин скоро перестала бывать у Уэббов, а Эйч Джи, чтобы не ездить постоянно туда-сюда и не утомляться (во всяком случае, так он объяснил жене), снял в Лондоне холостяцкую квартиру по адресу Клемент-Инн, 6. Теперь он сделался постоянным посетителем салона.

Многие из его новых знакомых были политиками на заре карьеры: Герберт Асквит, восходящая звезда либеральной партии (впоследствии премьер-министр); Эдвард Грей (впоследствии министр иностранных дел),



профсоюзный лидер Джон Бернс, Уинстон Черчилль (со всеми Уэллс потом разругается). Прочтя «Предвидения», Черчилль отправил Уэллсу письмо, в котором сообщал: «Я читаю все, что Вы пишете», и добавил, что разделяет многие идеи, высказанные в книге: политическое объединение англоязычных государств, идеи евгеники и т. д. Историк Ричард Той написал работу, посвященную заимствованиям, которые Черчилль в своих выступлениях делал из текстов Уэллса: так, определение «надвигающаяся буря», которое Черчилль использовал в отношении фашистской Германии, было приведено в «Войне миров»; речь Черчилля в Глазго 9 октября 1906 года, сыгравшая большую роль в его политической карьере, повторяла тезисы книги Уэллса «Современная утопия». «Это как если бы Тони Блэр использовал цитаты из „Звездного пути“», — заметил Той и пояснил далее, что великие политики вдохновлялись идеями не только великих мыслителей, но и обыкновенных беллетристов, которых читали, «приходя домой после трудного дня в палате общин». Черчилль в 1931 году говорил, что знает работы Уэллса так хорошо, что мог бы выдержать по ним экзамен.

Другая категория людей, с которыми Уэббы свели нового друга, — влиятельные светские дамы. Первой стала леди Элшо, жена графа Уимисса и мать Синтии Асквит, известного детского писателя. Ее дом в Стенвее, Глостершир, был центром кружка, который назывался «Души» (Souls) и объединял людей «с артистическими наклонностями». Леди Элшо взяла на себя роль наставницы по отношению к новичку: учила его одеваться, советовала, какие приглашения принять, от каких отказаться и о чем беседовать с дамами. Эйч Джи был с нею всегда кроток как дитя и советам следовал. Леди Элшо ввела его в свой салон; там он познакомился с Артуром Бальфуrom, звездой уже не

восходящей, а сверкающей: Бальфур к тому времени неоднократно занимал министерские посты, а в 1902-м сменил лорда Солсбери на постах премьер-министра и лидера Консервативной партии.

Очень скоро Уэллс оказался знаком с соцветием других светских дам. Леди Десборо, внучка графа Уэстморленда и жена барона Десборо — либерального политического деятеля и спортсмена; леди Риббсдейл, жена сэра Чарльза Теннанта, члена палаты лордов; ее сводная сестра Марго Теннант, вторая жена Герберта Асквита; леди Кроу, дочь графа Розбери и жена маркиза Роберта Кроу-Миллиса; леди Сэссун, урожденная Ротшильд... Они приглашали модного новичка в себе, брали над ним шефство и знакомили его с другими знаменитостями: виконт Эдгар Сесил, будущий замминистра иностранных дел; сэр Уолтер Рейли, профессор английской литературы; Морис Баринг, сын лорда Равелстока, друг Сары Бернар; сэр Джеймс Крайтон-Браун, медицинское светило; сэр Альфред Монд, будущий лорд Метчет, теоретик сионизма; Джон Мактаггарт, известный философ; сэр Генри Льюси, издатель «Панча»; литераторы, музыканты, художники...

У Эйч Джи на первых порах голова пошла кругом. Он был в восторге, хотя и пытался это скрыть. «Я никогда не разделял веры в то, что „где-то там“ есть истинные леди, тонкие, чуткие, изысканные, куда умнее обычных женщин». И тут же: «Чаще всего прием или визит в усадьбу в конце недели был так же отдохновенен и приятен, как цветочная выставка, где видишь, что могут сотворить из хорошей, отборной рассады любовный уход и благодатная среда». Так рассада все-таки была отборная, не такая, как там, внизу? «Милые посиделки с сильными мира сего изгнали из нас всякое ощущение, что мы „где-то внизу“, и утвердили мою

естественную склонность вести себя так, словно я ничуть не хуже других...»

Старые друзья — Конрад, Форд, Джеймс — новых связей Уэллса не одобряли (Джеймс, по воспоминаниям Форда, высказывал подозрение, что их общий друг намерен сделаться профессиональным политиком); тем не менее ни одна дружба не прервалась, Конрад одновременно с Шоу гостил в «Спейд-хаусе» весной 1902-го. В июне Уэллсы ездили на отдых в Швейцарию; в августе Эйч Джи провел три недели в Париже с братом Фрэнком, в котором по-прежнему старался пробудить интерес к жизни; в сентябре он снова был в Швейцарии. Тем временем в Лондоне вышла «Морская дева», встреченная читателями без энтузиазма. Уэллс был недоволен работой издателей, как обычно считая, что они не умеют и не хотят продвигать его книги. Еще в 1896-м американский филиал издательства «Макмиллан» опубликовал «Колеса фортуны»; теперь Уэллс предложил главе издательства Фредерику Макмиллану выкупить права у всех его предыдущих издателей и приобрести на будущее исключительное право публикации его книг. Условия Макмиллану были поставлены жесткие — после того как издательство окупит выплаченный аванс, оно должно было, взяв на себя все расходы, выплачивать Уэллсу четверть продажной стоимости каждого экземпляра. Макмиллан на все согласился — и, возможно, не единожды об этом пожалел: Эйч Джи постоянно учил его вести дела, требуя как можно более агрессивной рекламы и яростно препираясь из-за каждой редакторской правки. Макмиллан, однако, оказался крепким орешком и все выдержал.

К тому же году относится первая экранизация Уэллса: Жорж Мельес, один из пионеров кинематографии, снял пятнадцатиминутный фильм «Путешествие на Луну». В Англии этот фильм шел в

мюзик-холлах, во Франции — в ярмарочных павильонах, но наибольший успех он имел в США, где с него сняли сотни пиратских копий. Некоторые историки полагают, что именно успех «Путешествия на Луну» в провинциальном Лос-Анджелесе, одно из предместий которого носило название Голливуд, навел дельцов на мысль открыть в городе кинотеатр, чем нечаянно был предreshен вопрос о будущем центре мировой кинематографии...

Уэллсу хотелось завоевать американский книжный рынок. Ведение боевых действий он поручил Пинкеру, но результат его не удовлетворял. Пинкер еженедельно получал письма с ругательствами: «Вместо того чтобы убеждать тупых американцев, что я пишу „что-то умное и модное“, вы должны разъяснять им мою литературную позицию». Пинкер протолкнул в американский журнал «Космополитен» статью, написанную — по мнению некоторых биографов, по прямой просьбе Эйч Джи — Арнольдом Беннетом, в которой тот подробно анализировал творчество Уэллса и характеризовал его как серьезного писателя. Статья, опубликованная в августе 1902-го, возымела действие — «тупые» американцы начали понимать, что перед ними не просто автор развлекательных книжонок. Уэллс отправил Беннету письмо, полное благодарностей столь же горячих, как и ожесточенные пререкания, которые они вели друг с другом на протяжении всего 1901 года. Вообще письма Уэллса к друзьям — это вещь, с которой следует обращаться осторожно. Из них легко нарезать миллион цитат, которые представят автора как злобное существо, стоящее на грани психического заболевания. Так поступили супруги Маккензи, которые из всех возможных эпитетов наиболее часто по отношению к своему герою употребляют слово «истерический» и в чьей трактовке Уэллс выглядит истинным маньяком. Можно выбрать другие цитаты, и мы увидим

доброжелательного, нежного и веселого друга — или насмешника, чьи слова лишь очень наивный человек может принимать всерьез. В письмах Уэллс посылал своих друзей ко всем чертям, бранился, обрушивал на них свое дурное настроение, однако же ни один человек не рассорился с ним из-за писем (ссорились совсем по другим причинам), ни один даже не обиделся.

Совсем иначе он держался с новыми аристократическими друзьями и был удивительно покладист, кроток и тих. Беатриса записывала в дневнике: «Он был довольно молчалив, а когда говорил, то изо всех сил старался показать свой ум, при этом не позволяя себе ничего лишнего». Можно объяснить это расчетливостью, но, на наш взгляд, он этих людей просто побаивался.

Салоны леди Элшо и Беатрисы Уэбб частично пересекались, но интересы в этих кружках были разные. Фабианское общество постепенно превращалось в дискуссионный клуб; Уэббов это перестало удовлетворять, и в ноябре 1902-го на одном из обедов Беатриса предложила гостям организовать интеллектуальный клуб, члены которого не просто болтали бы, а устраивали нечто вроде мозговых штурмов, пытаясь решить задачу реального обретения власти. Предложение было встречено с энтузиазмом, и вновь образованная группа, получившая название «Сподвижники», стала ежемесячно собираться в отеле «Сент-Эрмин» в Вестминстере. В отличие от салонов то был клуб с постоянным количеством членов. В первый год в нем состояли политики-«администраторы» — Ричард Холдейн (либерал, юрист, философ, впоследствии военный министр в либеральном правительстве), Эдвард Грей, Леопольд Эймери (консерватор), Альфред Милнер (консерватор, колониальный чиновник), Уильям Пембер Ривз (новозеландский государственный чиновник), Клинтон

Даукинс (бизнесмен и чиновник); ученые — Холфорд Макиндер (географ, геополитик) и Бертран Рассел; издатели — Генри Ньюболт, Леопольд Макс, Джеймс Гарвин; был и военный — адмирал Кэрлайон Бельерс. Уэллсу также было предложено стать членом клуба. Это было то, о чем он мечтал, — организация влиятельных интеллектуалов, намеревающихся преобразовать мир.

«Сподвижники», однако, представляли собой объединение столь же пестрое, как Фабианское общество — консерваторы вперемешку с социалистами, милитаристы с пацифистами; их объединяло желание «что-то делать», но представления о том, что именно нужно делать, у них были разные. Рассел писал: «Его (Уэллса. — М. Ч.) позиция была мне ближе всех в этом собрании. По правде говоря, остальные шокировали меня до глубины души. Помню сверкающие, налитые кровью глаза Эймери во время обсуждения войны с Америкой, на которую „мы пошлем все взрослое мужское население страны“». Моментально начались те же раздоры, что и среди фабианцев; Рассел уже на следующий год из клуба вышел, будучи несогласным с идеей образования Антанты, которую отстаивал Грей. После этого «Сподвижники» превратились в обычный дискуссионный клуб, просуществовав до 1909 года.

В феврале 1903-го Уэллс был наконец-то принят в Фабианское общество. Правила приема были строги: требовались две рекомендации (их дали Шоу и Грэм Уоллес), затем кандидатура утверждалась исполкомом, чтобы отклонить ее, требовался лишь один голос против. Но в первые годы XX столетия Фабианское общество переживало не лучшие времена: слишком маленькое для политической партии (на что указывал Уоллес), слишком большое для активной группы влияния (на что сетовал Уэбб), оно превратилось в аморфное объединение. Оно не росло, в начале века в нем состояло всего 700 человек, из которых не более

ста могли считаться активными членами. Кроме того, фабианцы ссорились со всеми «попутчиками». Еще в 1890-х они разошлись с Либеральной партией; в начале века, когда был сформирован Комитет рабочего представительства, с 1905 года превратившийся в Лейбористскую партию, фабианцы принимали участие в его работе, но влияния не достигли. С одной стороны, они были чересчур разборчивы — либералы для них «слишком правые», лейбористы — «слишком левые»; с другой — в их собственных рядах имелись люди, бывшие по своим убеждениям левее коммунистов и правее консерваторов. Внутри самого общества царил разброд (особенно усилившийся после Англо-бурской войны), поговаривали о его ликвидации. Новые влиятельные сторонники были нужны как воздух.

Уэллс, уже зарекомендовавший себя как первоклассный публицист, был принят единогласно. Новичку полагалось прочесть доклад на ближайшем заседании общества; Уэллс почему-то выбрал узкую и не близкую ему тему «Проблемы научного администрирования округов в отношении к муниципальным предприятиям»<sup>[34]</sup>. Увы, он опять оказался очень слабым оратором. «Говорил невнятно, адресовался сквозь усы к собственному галстуку, запинаясь, поправляя себя, словно держал корректуру, делал неуместные отступления» — так охарактеризовал Уэллса-оратора... сам Уэллс. «Если бы г-н Уэллс говорил так же хорошо, как писал, возможно, судьба Фабианского общества была бы иной, — вспоминал Пиз. — Он не мог на равных соревноваться с умелыми ораторами из „старой банды“<sup>[35]</sup> и, хотя спустя некоторое время обучился правилам устных выступлений, всегда предпочитал обращаться к членам общества в письменной форме». На заседаниях общества он поначалу вел себя очень тихо и покладисто

— читатель наверняка догадывается, что долго это не продлится.

В том же году Уэллс стал постоянным гостем салона фабианца Хьюберта Бланда. Бланд, с которым Уэллса свели Уэббы, был довольно видным социалистом и в то же время светским повесой; брак с Эдит Несбит (детским писателем) он заключил, когда та была на седьмом месяце беременности, а три года спустя жена узнала, что у него есть дочь от другой женщины, связь с которой тот и не думал прерывать; Бланд не постеснялся ввести в дом жены, которая была много богаче его, мать своего ребенка в качестве гувернантки (Эдит девочку удочерила) — и при этом публично выступал за патриархальность семьи, что безмерно удивляло Уэллса. У Бландов собирался кружок, состоящий из молодых актеров, журналистов и литераторов: именно там Уэллс близко сошелся с братьями Честертонами — Гилбертом и Сесилом. Спектакли, танцы, флирт, болтовня об искусстве и сексе — Эйч Джи и этим кружком был очарован, но недолго. «Поначалу казалось, что все это многолюдье существует для того, чтобы в нем, под присмотром высокой, неугомонной, блестящей, ветреной и занятой дамы (Эдит Несбит. — М. Ч.), распускались литературные почки и бутоны. Но потом посетитель замечал неприметные с первого взгляда русла и ручейки отношений и вдыхал идущие откуда-то снизу, словно из рва, не очень приятные запахи. Происходили недоразумения». Бланд постоянно вел интриги внутри Фабианского общества, смертельно враждуя с Пизом — это было одним из «недоразумений»; но куда более неприятное «недоразумение» впоследствии внесет в кружок сам Уэллс, когда начнет оказывать знаки внимания Розамунде, внебрачной дочери Бланда.

В начале 1903 года Кэтрин вновь забеременела, и летом муж повез ее в Италию. В августе его здоровье



резко ухудшилось, врачи рекомендовали Альпы; в сентябре он отправился туда вместе с Грэмом Уоллесом. Они провели в Швейцарии две недели: бродили по горным тропам и говорили о судьбах человечества. Уоллес ратовал за создание политических партий и постепенную, вдумчивую работу в парламенте; Уэллсу хотелось решить все проблемы одним махом: вот соберутся десять умных людей, например «Сподвижники», и мир перевернут. В письмах жене Эйч Джи жаловался, что не находит с Уоллесом общего языка. Но в мемуарах вспоминал о нем с глубочайшим уважением.

Когда Уэллс вернулся домой, из печати вышел его новый футурологический трактат, написанный в 1902-м, — «Человечество в процессе созидания» (текст начиная с лета публиковался отрывками в «Фортнайтли ревью» и нью-йоркском «Космополитене»). Позднее он назвал эту вещь самой забытой из своих книг и говорил только о ее недостатках: сбивчивая, легковесная. На наш взгляд, «Человечество в процессе созидания» не заслуживает пренебрежительного отношения. Да, эта книга затянута, слабо скомпонована, вступает в противоречие с другими, но она более, чем любая другая футурологическая работа Уэллса, позволяет увидеть за ее строками живого человека; она — самая добрая.

Уэллс возвращается к вопросу о евгенике и на сей раз выступает как ее противник. Было бы хорошо, если б достойные люди размножались, а недостойные — нет; но как решить, кто достоин? Красота, здоровье, разумность — все эти критерии абстрактны и субъективны, но даже если бы можно было эти характеристики сформулировать, наука пока не знает, передаются ли они по наследству. Та же ситуация с «отрицательными» критериями. Даже об алкоголизме нельзя сказать с уверенностью, что это свойство

наследуется; то же касается психических заболеваний и преступных наклонностей. Не контроль за рождаемостью, а правильное воспитание — вот единственный способ вырастить достойных граждан Новой Республики.

Большая часть трактата посвящена вопросам воспитания детей; она написана с нежной любовью и пониманием — так может написать лишь счастливый отец. Уэллс объясняет, как должна быть устроена детская комната: яркие цветные обои, тепло, чистота, свежий воздух; как купать младенца, как вытирать (неприменно махровыми полотенцами, коих должно быть много!); он придумывает игрушки, каких не продают в магазинах: «Например, небольшие коробки из разных материалов, с крышками, которые легко снимаются; резиновые игрушки, которые можно крутить, сгибать, кусать и жевать; пушистые, как кроличий хвост, игрушки с гибким стержнем внутри; шары разных размеров, обтянутые мягкой тканью. Игрушки должны постоянно лежать на коврикe, где ползает малыш; они должны быть ярко окрашены (нерастворимыми красками, без запаха) и быть слишком большими, чтоб ребенок мог их проглотить. Беречь их не нужно: они предназначены, чтоб их грызть, гнуть и разбирать на части; возможно, некоторые из них и выживут — самые любимые, драгоценные сокровища, доверенные лица и верные друзья». Детские коляски, режим кормления, проветривание комнаты — отец крохи Джипа не упустил ни единой мелочи. Уэллса вечно обвиняют в том, что он предлагал передавать детей на воспитание государству — в «Человечестве» он пишет совершенно обратное: «Лишь благородная, нежно любящая и старательная женщина может правильно воспитать детей (от одного до трех-четырех, в крайнем случае — при помощи няни — до семи, но это уже будет редкостью и подвигом)». Далее Уэллс пишет

о том, как учить ребенка говорить, как обучать четырех-пятилеток чтению при помощи кубиков; на каких наглядных пособиях преподать дошкольнику основы математических понятий, а ведь Джипу еще нет и двух, стало быть, отец заранее думал о том, как будет заниматься с ним...

Но как же быть тем детям, у которых нет красивых комнат, махровых полотенец и нежных матерей или нянь? Уэллс приводит ужасающие данные о младенческой и детской смертности среди бедноты, об антисанитарных условиях, в которых дети растут, и, против обыкновения, не может удержаться от патетики. «Эти бедные крохотные души рождены среди слез и страдания, они получают лишь столько любви, сколько им могут дать, они учатся чувствовать, они борются за жизнь, умоляя дать им чистый воздух, еду и право нормально развиваться; а наша цивилизация не имеет ни смелости, чтобы убить их быстро и безболезненно, ни сострадания, чтобы дать им то, в чем они нуждаются». Что делать? Можно, например, помещать детей, рожденных в городских трущобах, в деревенские семьи — там у них будет больше воздуха и еды. Но это полумера. Решать проблему следует глобально. (Уэллс вообще ни в чем никаких решений, кроме глобальных, не признавал.) Государство обязано устраивать дома для сирот, строить комфортабельные жилища, укорачивать рабочий день, чтобы родители могли больше времени проводить с детьми, давать всем бесплатное образование. Но и у родителей должны быть обязанности — как перед ребенком, так и перед обществом. Государство могло бы при рождении ребенка у бедняков давать родителям ссуду — в таком размере, чтобы хватило содержать и воспитывать его хотя бы до 12 лет, при этом контролируя, куда идут деньги, — и горе тому, кто их пропьет, а ребенка будет морить голодом и одевать в обноски.

Ребенок пойдет в школу — там нужно многое менять: преподавать не «мертвые», а актуальные предметы, отделить религиозное обучение от светского, предложить детям увлекательные книги о путешествиях и научных открытиях, учить музыке, этике, обществоведению... «И еще дадим ему книги и картины, которые развивают чувство прекрасного; тончайшие японские гравюры заставят его полюбить тончайшую прелесть птицы, ветки, опадающих лепестков, а живописцы Запада научат ценить красоту мужчин и женщин, прелесть натюрморта и ширь пейзажа» — это из романа «Пища богов», который Уэллс писал параллельно с «Человечеством». В университетах тоже необходима реформа: доступные библиотеки, специальные учебники (в то время их почти не существовало — учились по лекциям). Ребенок стал взрослым — дальше его учит само общество, Новая Республика, что начнется с конфедерации англоязычных народов и придет затем к объединению всего мира. (Почему именно англоязычных? По мнению Уэллса, Германия или Россия стараются объединять вокруг себя географических соседей, стягивая их в единую территорию и сжимая в кулак, а кулак — нечто враждебное по отношению к другим кулакам. Англоязычные же народы раскиданы по миру и соединяет их только «единство идей, воплощенных в языке и литературе», вследствие чего они кулака образовать не могут, а раскрыты для общения, как ладонь.)

Создание здоровой общественной атмосферы — главное средство развития личности; долой низкопробную беллетристику и таблоиды, нужны умные книги, серьезная периодика — и тут отец Джиба говорит о своих коллегах. Чтобы заработать на жизнь, литератор вынужден писать много и халтурно; разве это хорошо? Нет, если писатель однажды доказал, что

он может создать хорошую книгу, нам следовало бы поддержать его, назначив ему пособие, которое позволило бы ему писать вдумчиво и спокойно, и благодарный писатель ответит созданием книг, которые будут развивать наших детей. О нет, мы, писатели, не страдаем манией величия: «Мы — лишь ящерицы в пустом дворце, лягушки, скачущие по трону. Но это — дворец, это — трон, и, может быть, наши жалкие голоса будут постепенно пробуждать мир».

В «Человечестве» Уэллс сделал попытку, правда, очень невнятную, ответить на вопрос о том, как же все-таки управляется Новая Республика. Он предполагает, что управлять могли бы некие группы людей, наподобие жюри присяжных, избираемые на непродолжительный срок и публично отчитывающиеся перед обществом, и что неплохо бы ввести образовательный ценз для участия в органах управления, что-то вроде низшей ступени рыцарства, в которую посвящались бы образованные люди.

Новую работу Уэллса высоко оценили большинство его друзей-политиков, хотя все сочли ее чересчур благодушной; друзьям-писателям она не понравилась. (Она понравилась бы вдумчивым молодым матерям, но они редко читают философские трактаты.) Беннет заявил, что книга написана дурно и автор даже не в ладах с грамматикой. Конрад опять сказал, что Уэллс призывает к созданию элиты (этот упрек можно отнести к «Предвидениям», но не к «Человечеству») и что их идейные разногласия весьма принципиальны: «холодная, жестокая насмешка, с какой Вы взираете на человечество, порой бросает меня в дрожь». Трудно найти «холодную и жестокую насмешку» в «Человечестве». Ее не увидел Генри Джеймс, назвавший книгу «человечной, яркой, искренней и смелой»; Джеймс, придававший столь огромное значение стилистике, но не сделавший в адрес

небрежно написанного «Человечества» ни единого упрека. Он сам умел писать о детях.

31 октября 1903 года у Джипа появился брат — Фрэнк Ричард. (Роды опять проходили тяжело, и доктора сказали, что у Кэтрин больше не может быть детей.) Разумеется, у него было все — предметы для разбирания и кусания, множество махровых полотенец, нежная мать и заботливый отец, который ползал по ковру вместе с сыновьями и демонстрировал им, как надо правильно ломать игрушки. У Джипа и Фрэнка была, кроме спальни, специальная комната для игр — «дневная детская». Няня у них тоже была общая, она занималась ими до 1908 года, когда ей на смену пришла гувернантка Матильда Мейер, впоследствии рассказывавшая, как постоянно обнаруживала хозяина дома в «дневной детской» — на четвереньках, с игрушечными солдатиками в руках и в зубах. Мальчиков воспитывали в точности по «Человечеству»: учили чтению, музыке, иностранным языкам (включая русский), приучали к долгим прогулкам и физическим упражнениям на свежем воздухе; Эйч Джи придумывал для них не только игрушки, но и игры, которые позднее опишет в книгах «Игры на полу» (1910) и «Маленькие войны» (1913); последняя имеет подзаголовок: «Игра для мальчиков в возрасте от двенадцати до ста пятидесяти лет, а также для умных девочек, которые любят играть в те же игры, что мальчики».

Одно из условий приема гувернантки на работу гласило: «не бояться мышей»: у Джипа была ручная мышь, чье право приходить поиграть в «дневную детскую» никто не оспаривал. Он станет потом ученым-зоологом, достаточно известным в своей области. Фрэнк займется кинематографом, будет работать как продюсер и сценарист<sup>[36]</sup>. В «Опыте автобиографии» старик Уэллс писал о своих взаимоотношениях с

взрослыми сыновьями, подчеркивая, что относится к ним не как к «родным кровинушкам», а как «к просто хорошим людям». «Они много значат для меня, для ощущения дружелюбия, для интереса к жизни, для счастья, но они не играют существенной роли во внутренней жизни моего „я“. Иной раз они заговорят, не без смущенья, о моей работе или о том, чем заняты сами, и я, в свою очередь, с еще большим смущеньем что-нибудь посоветую или о чем-то отзовусь неодобрительно. <...> Мы не хотим, чтобы в наших отношениях главенствовали чувства, не хотим быть ничем связанными». Понятно, что он не испытывал по отношению к этим солидным мужчинам, которые уже сами были отцами, той нежности, как к ясноглазым малышам, что, держась за его палец, входили в игрушечные лавки; но он будто никогда и не слыхивал, что его глубокое, теплое и уважительное чувство к ним, как и их к нему, люди тоже называют любовью.

Под Рождество во Франции умер Джордж Гиссинг. Он был болен воспалением легких; на сочельник Уэллсы получили от его жены телеграмму, в которой сообщалось, что он при смерти. Эйч Джи сам был сильно простужен, но решил немедленно ехать. Гиссинга он застал уже в бреду; его жена вела себя с умирающим бестолково, как в «Анне Карениной» сожительница Николая Левина. С Левиным была Кити, которая все взяла на себя, Уэллс приехал один — и ему пришлось превратиться в сиделку. Два дня он обтирал и переворачивал больного; Генри Джеймс, узнав об этом, заметил, что вряд ли существовал другой человек, по отношению к которому Уэллс проявил бы столь трогательную заботу. Гиссинг в сознание не приходил. Мужская особь нашего биологического вида, как правило, не способна ходить за умирающим долго, даже если взялась за это с энтузиазмом — через двое суток Уэллс пал духом и уехал. Гиссинг умер на

следующий день. После его смерти литератор Эдмунд Госсэ обратился к тогдашнему премьер-министру Бальфуру с просьбой назначить пособие детям Гиссинга; поскольку умерший был фигурой весьма аморальной по тогдашним меркам, Госсэ попросил Уэллса заранее сообщить ему о Гиссинге все самое ужасное, чтобы в разговоре с Бальфуром избежать неприятных сюрпризов. Уэллс счел просьбу оправданной обстоятельствами и поведал Госсэ о своем покойном друге все, что знал. Потом ругал себя за это. Но сам в автобиографии выложил о жизни бедного Гиссинга массу подробностей, без которых можно было обойтись. Он всегда был не прочь посплетничать.

\* \* \*

В 1901-м в «Стрэнде» и других журналах вышли рассказы «Новейший ускоритель» (The New Accelerator), «Армагеддон» (A Dream of Armageddon), «Филмер» (Filmer), в 1902-м — «Неопытное привидение» (The Inexperienced Ghost), в 1903-м были опубликованы «Волшебная лавка», «Правда о Пайкрафте» (The Truth about Pyecraft), «Земноходные броненосцы» (The Land Ironclads), «Долина пауков» (The Valley of Spiders) и «Мистер Скелмерсдейл в стране фей» (Mr. Skelmersdale in Fairyland)<sup>[37]</sup>, начала публиковаться «Пища богов». Для литератора столь гигантской трудоспособности это очень мало — в количественном отношении, но не в качественном, если среди этих текстов, наряду с неудобоваримой «Пищей», оказались изделия такой сказочной прелести, как «Волшебная лавка» и «Мистер Скелмерсдейл». Первый из этих рассказов общепризнан как шедевр, но второй не выделяют из массы уэллсовского творчества. А зря: в нем, как и в



знаменитой «Двери в стене», спрятан ключик ко всей жизни автора.

Приказчик Скелмерсдейл заснул на лесной лужайке и очнулся в гостях у британского «малого народца», а потом вернулся и рассказал о своих приключениях автору — это сам Эйч Джи: «Человек я по натуре приветливый, работы никакой вроде бы не делаю, ношу твидовые куртки и брюки гольф». «В середине лета я как раз заканчивал трактат о Патологии Духа — мне думается, писать его было еще труднее, чем читать». Скелмерсдейла полюбила крошечная Королева фей и надеялась, что он ее полюбит, но он оставил в деревне невесту и мечтал купить лавку: «Воображаю, как он сидел в странном оцепенении среди этой невиданной красоты и все твердил про Милли и про лавку, которую он заведет, и что нужна лошадь и тележка... Я так и вижу — крошечная волшебница не отходит от него ни на шаг, все старается его развлечь, она слишком беспечна, чтобы понять, как тяжело ему приходится, и слишком полна нежности, чтобы его отпустить». Но он не решился быть с нею и сбежал к своей Милли. «И вот что казалось мне самым поразительным во всей этой истории: сидит маленький франтоватый приказчик из бакалейной лавки, рассказ его окончен, на столе перед ним рюмка виски, в руке сигара — и от него ли я слышу горестные признания, пусть теперь уже и притупилась эта боль, о безысходной тоске, о сердечной муке, которая терзала его в те дни?..

— Не ел, — рассказывал он. — Не спал. В заказах ошибался, сдачу путал. Все о ней думал. И так по ней тосковал! Так тосковал! Все там пропадал, чуть не каждую ночь пропадал на Олдингтонском холме, часто и в дождь. Брожу, бывало, по холму, снизу доверху облазал, кличу их, прошу, чтобы пустили. Зову. Чуть не плачу. Ополоумел от горя. Все повторял, что, мол, виноват. А по воскресеньям и днем туда лазал и в

дождь и в ведро, хоть и знал не хуже вашего, что днем не выйдет. И еще старался там уснуть.

Он неожиданно замолчал и отхлебнул виски. — Все старался там уснуть, — продолжал он, и, готов поклясться, у него дрожали губы. — Сколько раз хотел там уснуть. И, знаете, сэр, не мог — ни разу. Я думал: если там усну, может, что и выйдет... Но сижу ли там, бывало, лягу ли — не заснуть, думы одолевают и тоска. Тоска... А я все хотел...»

Уж не первый раз Эйч Джи об этом проговорился: ах, какие, должно быть, самому ему снились сны, не социалистические, а те, другие, какие снятся русалкам, феям и ангелам — сны, в которых нет благоустроенных квартир, набитых бытовой техникой, а есть трава, и светлячки, и хороводы на лужайке под луной... А он... Лавка, лошадь, тележка, светские рауты, брюки гольф, трактаты, которые «писать еще труднее, чем читать»... И не пожалуешься — сам выбрал. «Тоска... А я все хотел...»

## **Глава третья САМУРАИ И САМУРАЙКИ**

В первых числах января 1904-го Уэллс получил письмо от Изабеллы: та сообщала, что уже год как замужем. Неизвестно, почему она так тянула с известием — возможно, боялась, что потеряет алименты. Кажется, боялась не напрасно: сразу по получении письма ее первый муж был очень плох, кричал, плакал, метался по дому, бил посуду, порвал все фотографии Изабеллы, уничтожил вещи, которые о ней напоминали, разыскал и сжег письма, где о ней хоть что-нибудь говорилось. «Если бы мы жили десять тысяч лет назад, я бы взял каменный топор, нашел ее — и убил». Однако последующие события покажут, что опасения Изабеллы оказались беспочвенны. Уэллс

продолжит содержать не только ее, но и ее нового супруга Фаулер-Смита. Супругам захочется приобрести прачечную — Уэллс подарит им ее. Когда Изабелла заболеет и за ней будет некому ухаживать, ее примут в доме бывшего мужа. Она выздоровеет, захочет построить новый дом — Уэллс поможет и в этом. Он говорил, что после кризиса, вызванного известием о замужестве Изабеллы, его любовь к ней постепенно начала ослабевать и через пять лет прошла, уступив место братской симпатии. Бывает. Но и после ее смерти он будет регулярно помогать деньгами Фаулер-Смиту, а это обстоятельство уже с трудом укладывается в голове у нормального человека. Но, может, для нового вида, что придет нам на смену, такое поведение будет в порядке вещей?

С первых месяцев 1904 года Эйч Джи перестал быть тихим фабианцем и начал затевать конфликты. Первым поводом послужил прочитанный в марте доклад Шоу «Фабианство и налоги»: Грэм Уоллес, вышедший из Фабианского общества из-за несогласия со взглядами своих товарищей на налоги (они были за свободную торговлю, он — за протекционистскую налоговую политику), назвал доклад вредным и, как считают большинство биографов, склонил к своей позиции Уэллса, в налогах ничего не смыслившего. Уэллс выступил с критикой доклада, ее не восприняли; он заявил Пизу, что хочет прекратить членство в обществе. Пиз ответил, что человек не должен выходить из состава демократической организации лишь потому, что оказался в меньшинстве по частному вопросу. Письмо Шоу было не столь деликатным: «...сейчас, когда каждый идиот старается сделать для общего дела то малое, на что он способен, Вы хотите все бросить только потому, что работа не в точности удовлетворяет Вашему вкусу. <...> Я не верю, что у Вас вообще есть хоть какие-то взгляды на свободную

торговлю и тому подобное. По-моему, Вы просто так привыкли жить в мире своих персонажей, которыми можете распоряжаться как марионетками, что не способны с терпимостью воспринимать слова других людей, отличные от Ваших». Казалось бы, за такое письмо (хотя и переполненное ласковыми приветами в адрес Кэтрин) вспыльчивый Эйч Джи должен убить, но они даже не поругались.

Тем не менее ни Пизу, ни Шоу повлиять на решение Уэллса не удалось. Общество не желало терять ценное приобретение, и в бой была брошена тяжелая артиллерия — Беатриса Уэбб. В начале апреля чета Уэббов на два дня приехала в Сандгейт, и Уэллс взял свое заявление обратно. Тотчас же он вместе с Кэтрин был приглашен Уэббами на торжественный обед, где присутствовали супруги Шоу, Артур Бальфур и епископ Степни. Вроде бы обошлось, Эйч Джи казался вновь прирученным, и Беатриса благодушно записала: «Мы ужасно любим его; он так искренен, так полон всяческих идей. <...> В определенном смысле он просто фантазер, избалованный своими выдумками, но на нынешнем этапе он полезен». Но Уэллс не был ручной собачкой, которую достаточно погладить, чтобы она перестала лаять. Своего мнения о Фабианском обществе он не переменил и в письме Пизу — одновременно с отзывом своего заявления об уходе — заявил, что фабианцы ему неприятны. Форду же он сообщил, что намерен «взорвать Фабианское общество изнутри и выбросить его в мусорную корзину». Он считал, что обществу пора перестать быть говорильней, а нужно прийти к согласию по основным вопросам современности (национализация земли и крупной промышленности, уравнивание в правах мужчин и женщин и обеспечение одиноких матерей) и безотлагательно начать работать для их разрешения.

Дописывая тяжело дававшегося «Киппса», он уже обдумывал план военной кампании.

Тем временем в издательстве Макмиллана вышла «Пища богов» (The Food of the Gods, and How It Came to Earth) — название предложил Макмиллан, это был тот редкий случай, когда Эйч Джи послушал издательского совета), отрывки из которой раньше печатались в «Космополитене». Роман очень слабый, хотя Булгаков и позаимствовал его завязку для «Роковых яиц». Ученые изобрели порошок «геракпеофорбия», ускорявший рост живых существ; на ферме, где проводились опыты, случилась утечка, в результате чего в окрестностях начали плодиться гигантские животные. Сатирические зарисовки смешны, а схватка людей с громадными крысами написана с динамизмом, которому могли бы позавидовать создатели современных «ужастика», но с того момента, как начинается идеология, роман скучнеет — уж очень все наивно «разжевывается».

На свет появились дети-великаны: дурного они нам не делают, но мы их ненавидим и боимся, потому что они другие. Великаны не понимают, за что мы их не любим, хотят помочь: «Давайте построим возле Лондона такой дом, чтобы их поместилось много-много, и жить им будет удобно и уютно, и проведем дорожку, чтобы им ездить на работу — хорошенькую, прямую дорожку, и пускай все это будет красивое-красивое. Все для них сделаем чистенькое, хорошенькое, и тогда они не захотят больше жить по-старому, в грязи, ведь сейчас у них очень многие живут по-свински. И воды им наготовим, чтобы мылись: они ведь такие грязнули, эти маленькие вонючки; в девяти домах из десяти даже нет ванны. И знаете, у кого есть ванна, презирают тех, у кого ванны нет! Зовут их „грязная голытьба“! Нет того, чтобы помочь им завести в домах ванны, — только насмеются! Мы это все переделаем. Проведем для

них электричество — пускай им светит, и кормит их, и убирает за ними».

Но мы помощи не принимаем, ибо нам наша жизнь нравится; напротив, мы намерены запретить чудо-пищу, чтобы великаны не рождались больше, а тех, которые уже существуют, мы хотим сослать в резервацию. «Надо заткнуть им рот, заковать в цепи. Остановить их любой ценой. Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Иначе дебри скроют от нас дневной свет и похоронят наши дома, задушат наши церкви, ворвутся в города, и сами мы, как жалкие козьявки, погибнем под пятой новой расы». У великанов, в свою очередь, накопилось немало претензий к нам: «Эти людишки нас ненавидят...

Они жестоки к нам потому, что сами слишком малы... Так или иначе, они нас ненавидят и не желают, чтобы мы были рядом, — разве что мы сумеем опять съежиться и стать такими же пигмеями — тогда, пожалуй, они нас простят». Великаны начинают понимать, что дружить с ними мы не собираемся, а наиболее радикальные из них приходят к выводу, что без сражения не обойтись. «Для нас, бесспорно, столкновение неизбежно... То, что они называют войной. Мы это знаем. И по-своему готовимся. Но, понимаете... они такие крохотные! Мы не умеем убивать, да и не хотим...»

Великаны не умеют убивать, зато мы умеем — и начинаем стрелять; они вынуждены принять бой: «Нет, мы бьемся не ради себя, но ради роста, ради движения вперед, а оно — вечно». Впрочем, великаны не намерены нас уничтожить, они лишь добиваются, чтобы чудо-пищу не запрещали производить и есть, а она сделает свое — все станут великанами и все мы будем «расти, подняться наконец до всеобщего братства и постичь Бога... Расте, пока самая земля наша не станет всего лишь ступенькой... Пока человеческий дух не

станет бесстрашен до конца и не овладеет всей Вселенной!».

Уэллс придумал нескольких великанов — интеллигента, деревенского простачка, девушку-аристократку; быть может, если бы он писал свой роман от лица одного из них — безликого «я», — то читатель, поддавшись этому колдовству, мгновенно почувствовал бы себя великаном, как прежде невидимкой; как раньше я, гонимый и босой, оставляя кровавые следы, бежал по тротуару, так и теперь бы я мучился из-за низких дверей, маленьких тарелок, из-за того, что все надо мной смеются, что я не могу полюбить нормальную девушку или погладить нормальную собаку, не раздавив ее. Став очередным уэллсовским «я», читатель бы понял великанов, и пожалел бы их, и сердился бы на тех, кто их мучает. Но Уэллс по этому пути не пошел. Он «со стороны» описал своих великанов, и они не ожили для нас. Это просто большие манекены, набитые красивыми словами.

Параллель междулюденами Стругацких и новыми людьми Уэллса не проводил только ленивый; у Стругацких, когда людены только начали радоваться своей новой жизни, мы уже предположили (не без злорадства), что они — не венец развития и неизбежно появится очередной новый вид, а скромные великаны Уэллса сами сразу сказали, что им на смену придут еще более продвинутые расы: «Мы даже еще не первое поколение, мы — всего лишь первый опыт». Логика романа говорит, что каждое последующее поколение будет крупнее предыдущего, так что возникает опасение, что бедняги вымрут, как динозавры. Отсюда наивный вопрос: почему великаны? Почему не синие или зеленые люди, не шестипалые? Уэллса привлекли простые аллегории: великий, большой, рост — и это обстоятельство позволило Честертону в книге «Еретики» вдоволь поиздеваться над другом: «В Уэллсе

прежде всего поражает то, что он единственный среди блестящей плеяды своих современников не перестал расти. В ночной тишине можно даже услышать, как он растет... Уэллс мог бы расти все выше и выше на протяжении бесконечных времен, так что однажды он бы вознесся над самой далекой звездой. Я легко могу представить, что он напишет об этом прекрасный роман. При этом он поначалу будет видеть деревья высокими, а потом низкими; он увидит облака — сначала высоко над собой, а потом далеко внизу. Но на протяжении времен в его звездном одиночестве с ним пребудет идея высоты; в чудовищных космических далях его будет сопровождать и утешать ясное представление о том, что ой рос все выше, а не становился (к примеру) все толще».

«Пища богов», по Честертону, — это английская сказка «Джек-победитель великанов», рассказанная с точки зрения великана. «Я не сомневаюсь, что великан, которого одолел Джек, считал себя Сверхчеловеком. Вероятно, он видел в Джеке ограниченного ретрограда, возжелавшего воспрепятствовать великому поступательному движению жизненной силы. Если бы у великана было, скажем, две головы (что не такой уж и редкий случай), то он мог бы привести общеизвестное изречение, согласно которому два ума лучше одного. <...> Но Джек был защитником извечных человеческих представлений и принципов: один человек — одна голова, один человек — один ум, одно сердце и одна точка зрения». Все это Уэллс прекрасно понимал. Он бился именно против «извечных человеческих представлений и принципов», считая их не более заслуживающими почтения, чем, скажем, «извечные динозавровы представления и принципы». Более ненавистного слова, чем «извечный», для него не было. «Извечно» считалось, что человек должен охотиться с копьем, что Земля плоская. Каждая эпоха формулирует



свои «извечные» ценности, каждая последующая их меняет.

«Трудно вообразить что-либо более благотворное для человечества, чем появление расы Сверхлюдей, с которыми простым смертным придется сражаться, как с драконами», — пишет Честертон и тут же, поскольку Уэллсовы великаны не агрессивны и на драконов не тянут, смягчает свою позицию: «Если Сверхчеловек лучше нас, то нам, разумеется, нет нужды сражаться с ним». По Уэллсу, великан именно лучше нас, так что сражаться вроде бы нет нужды, и Честертон вносит предложение: «Но тогда почему бы не назвать его святым?» Действительно, почему? Назови Уэллс святыми своих «новых людей», может, избежал бы тучи ядовитых стрел, которые был горазд выпускать его друг, а Уэллс считал Честертона своим другом и очень его любил, хотя соглашались они редко. В апрельском номере «Стрэнда» появился рассказ «Страна слепых» (The Country of the Blind); человек попадает в долину, где все слепы и считают слепоту «извечной ценностью», а зрение — пороком. «Страна слепых» Честертону очень понравилась. А ведь она о том же самом, что и «Пицца», — каково быть «другим» среди «наших», только написана поэтично, вот и вся разница.

В мае Уэллс наконец завершил роман, над которым корпел около семи лет (для него это был поистине великанский срок) — «Киппс: история простой души» (Kipps: the Story of Simple Soul). Он начал его в 1899-м — тогда текст назывался «Богатство мистера Уэдди» — и отослал Пинкеру первоначальный вариант, но сам забраковал его и с весны 1900-го переименовал в «Киппса». Работа так его вымотала, что по ее окончании он слег на два месяца.

В письме Пинкеру он определял свой роман как «полное изображение жизни в социальных условиях Англии». «Полное», «всеобъемлющее» — на меньшее он

теперь соглашался редко. Права купил Макмиллан. Уэллс потребовал рекламировать книгу: а) с помощью «людей-сэндвичей»; б) чтобы по городу разбрасывались листовки; в) чтобы реклама печаталась на театральных программках и г) чтобы места в Лондоне, которые посещал герой романа, были оклеены соответствующими плакатами. Макмиллан ни одного из этих требований выполнять не хотел, и Уэллс жаловался на него Пинкеру (на которого, в свою очередь, жаловался редакторам «Космополитена» за то, что тот ничего не делает для успеха его книг в Америке). В «Пэлл-Мэлл мэгэзин» отказались печатать «Киппса» отрывками — Уэллс и их разнес на все корки. Битва с Макмилланом длилась почти год и победил в ней Макмиллан, отклонивший все идеи Уэллса по «промоушену» как нелепые, неслыханные и неприличные.

Приказчик Киппс (все герои Уэллса либо приказчики, либо писатели) получил наследство и начал возвращаться в «приличном обществе»; денег он скоро лишился, потом часть их спас, но поскольку за это время успел разочароваться в светской жизни, то вернуться к ней не пытался, а купил книжную лавку и стал жить в любви с молодой женой. Прелестно описанное детство Киппса — это и детство Берти Уэллса, появление Киппса «в обществе» — самопародия, но Киппс — не Уэллс: он никогда не читал книг. Поэтому его жизнь уныла, интеллект и чувства неразвиты; поэтому он долго не умел находить общий язык с женой. Если б он и она имели доступ к образованию, то «живые ростки, которые столько обещают в детстве и юности, могли бы принести более счастливые плоды; в них могла бы пробудиться мысль и влиться в реку человеческого разума, бодрящий солнечный луч печатного слова проник бы в их души; жизнь их не была бы, как ныне, лишена понимания красоты, которую

познали мы, счастливы: нам дано видение чаши святого Грааля, что навечно делает жизнь прекрасной». К концу своих мытарств Киппс понял, что книги полезны, стал читать их и торговать ими. И, надо полагать, пробормочет заскучавший читатель, вступил в социалистический кружок и начал строить Новую Республику... А вот и нет: как только Киппс стал поумнее, в голову ему пришла «мысль о чуде красоты, бесцельной, непоследовательной красоты, которая вдруг непостижимо выпадает на нашу долю среди событий и воспоминаний повседневной жизни» — этим заканчивается книга. Бесцельной, непоследовательной красоты! Бесцельной — какое удивительное для Уэллса слово! Бесцельной, как крылья ангела, хвост русалки, танец фей! Как же далеко в сторону от «магистрального пути развития человечества» опять занесло автора...

Критики и друзья приняли «Киппса» тепло. Джеймс писал, что он «обмирал от восхищения». Беннет отметил, что книга получилась «громадной обличающей силы». С точки зрения современного читателя, это довольно заурядный, старомодный роман — «что-то вроде Диккенса». В нем, как и в «Люишеме», много разъяснений и мало чувства. «Полное изображение» страны и эпохи? Да, полное... но книги, которые называют «энциклопедиями эпохи», подобно «Евгению Онегину», рождаются обычно не тогда, когда автор ставит себе цель написать энциклопедию. Их энциклопедизм — побочный продукт красоты, «бесцельной и непоследовательной».

\* \* \*

Летом 1904-го, когда вышла «Пища», а сражение с Макмилланом из-за «Киппса» было в разгаре,

раздраженный, больной Уэллс стал подумывать о драматургии. Его привлекала финансовая сторона дела — пьесами можно заработать больше и быстрее. Арнольд Беннет, сам бывший успешным драматургом, верил в способности товарища. Они начали совместную работу над пьесой, которая никогда не будет поставлена или опубликована и о которой сохранятся лишь отрывочные воспоминания современников — например, директора театра «Хеймаркет», отклонившего ее потому, что на сцене, по замыслу авторов, должен был лежать настоящий труп. Уэллс делился своим намерением и с Шоу, показывал ему свои драматургические попытки — инсценировки романов «Колеса судьбы» и «Чудесное посещение», набросок пьесы «Хвост кометы». Шоу счел опыты неудачными, но отговорил Уэллса писать пьесы по иной причине — пробиваться в этой отрасли трудно и рискованно. Уэллс внял совету. «Хвост кометы» был уничтожен, но замысел не пропал: позднее из него вырастет роман. Пока же он принялся за новый футурологический трактат — «Современная утопия».

Два лондонца чудесным образом перескочили на планету, которая как две капли воды похожа на нашу — вот только на ней установлен утопический строй. Кто эти двое? Один — голубоглазый мужчина «среднего роста и возраста»; «ему случается иной раз падать духом, как всем нам, но по большей части он отважен, как маленький воробей»; говорит он довольно неприятным тенорком, порой срывающимся на крик, и «вы всегда обнаружите его за письменным столом, погруженным в изучение рукописи об Утопии». Мы конечно же узнали этого человечка, хоть автор и предупредил, что их не стоит отождествлять. Что касается второго путешественника, по профессии он естествоиспытатель; худощав, бледен, молчалив, и по его лицу можно предположить, что у него больной

желудок. Характер у него странный: его романтизм нередко маскирует собой обыкновенную распущенность, и у него вечно какие-то проблемы с женщинами... Кто это — Бланд, Гиссинг, Грэм Уоллес, швейцарские прогулки с которым и навели Уэллса на мысль о двух беседующих путешественниках? Да нет, это второе «я» автора. Даже в Утопии этот тип то и дело хнычет о несчастной любви к своей Изабелле.

Уэллс говорил, что у всех утопий есть изъян: в них живут какие-то идеальные фигуры. В его Утопии все будет иначе: два путешественника повстречаются с разными обитателями прекрасной планеты, и у всех у них будет полно недостатков. Им встретится красноречивый блондин, что ратует за возврат к природе и которому Утопия несимпатична — точь-в-точь Уильям Моррис; с жизнью Утопии их будут знакомить то простоватый хозяин гостиницы, то чиновник-сухарь, то веселый управитель игрушечной фабрики; рассказчику даже представится возможность побеседовать с самим собой, живущим в ином мире параллельно с его собственной жизнью. На полноценных литературных персонажей все эти фигурки, конечно, не тянут, но эта новая Утопия, о которой рассказывается разными голосами (которые могут ошибаться, противоречить друг другу и даже недолюбливать дивный мир, в котором живут), и в самом деле выгодно отличается от классических утопических текстов: «Утопия, в отличие от того, как ее представляли ранние утописты, не должна и не может быть единообразным, единодушным миром; в ней не меньше, если не больше противоречий, чем в нашей реальной жизни. Она не до конца понятна нам; она — лишь отражение безбрежного хаоса наших представлений».

Необходимо предупредить читателя, который захочет ознакомиться с полным текстом этой книги, — ни в коем случае нельзя делать этого по русскому

переводу. Полного перевода «Современной утопии» нет, а есть сделанный еще в 1906 году краткий пересказ, чудовищно искажающий смысл текста и ничего общего не имеющий с подлинником как целостным произведением. В нем нет ни уэллсовского сюжета, ни его персонажей, а содержание принадлежащих разным лицам реплик пересказывается как прямая авторская речь, отчего у читателя создается впечатление, что книгу писал безапелляционный, ограниченный тип, причем писал для слабоумных: «Люди *все* сделаются вегетарианцами»; «Люди, несомненно, будут спать на открытом воздухе *всюду и все время*». На самом деле это не слова Уэллса и даже не слова рассказчика. Это пересказ того, что толковал путешественникам житель Утопии, похожий на Морриса — персонаж, чьи высказывания рассказчик назвал ахинеей. Но это искажение смысла безобидно по сравнению с другими: «Если человек стар или болен — о нем заботятся здоровые. Если же человек не хочет работать, то его заставят силой. В случае упорства его изгонят из общества». Неправда; в подлинном тексте Уэллса говорится, что принудительный труд — это этика рабов, и что здоровые люди обязаны трудиться в том объеме, чтобы обеспечить себе пенсию и вернуть государству то, что оно потратило на них, после чего могут бездельничать; если же они унаследовали прожиточный минимум от своих предков, то имеют право не работать, а предаваться созерцанию и размышлениям, и никто их за это не осудит, более того — созерцатели и мечтатели тоже нужны обществу. Такие же искажения — по каждому пункту. «Современная утопия предусматривает случаи, когда безнадежно хилые люди как в детском, так и в зрелом возрасте будут уничтожаться» — таких фраз в подлиннике Уэллса нет.

Вышесказанное не означает, что он вообще не говорил в «Современной утопии» ничего чудовищного (с точки зрения нашего биологического вида) — говорил, разумеется. Общий тон этой книги — суровый и нетерпимый, особенно по контрасту с «Человечеством в процессе созидания», и догадаться о причине этого нетрудно: первую вещь писал Уэллс счастливый — отец нежно любимого малыша, баловень судьбы, вмиг ставший властителем дум и завсегдатаем салонов; вторую — Уэллс раздраженный, разочарованный, ненавидящий бестолковое человечество и желающий гнать его в будущее пинками.

С точки зрения среднего землянина-европейца, живущего в начале XXI века, чудовищным выглядит, например, то, что материально ущемляются интересы ребенка, рожденного женщиной не от законного мужа. Но тут дело в том, что о женщинах у Уэллса тогда были вполне викторианские — на свой лад — представления (он, к примеру, писал, что только сумасшедшая женщина может расхаживать по улицам во время менструации — она должна лежать в постели как тяжелобольная). Измену жены он считал более серьезным проступком, чем неверность мужа, и называл ее преступлением против общества. Он провозгласил право женщин на образование и равный с мужчинами труд, но сделал это как-то механически; ему даже в голову не пришло рассмотреть случай, когда женщина способна зарабатывать и обеспечивать своих детей.

Кое-что в «Современной утопии» чудовищно не столько по жестокости, сколько по глупости (непростительной для биолога): оказывается, в Утопии нет животных (кроме немногочисленных представителей рогатого скота), ибо от них — грязь и болезни. «Мне не нужна ваша Утопия, если в ней не будет животных!» — кричит герою-рассказчику его сентиментальный спутник; в последующих своих

утопиях Уэллс этот вопрос пересмотрит и позволит всем животным, кроме комаров, существовать, но только при условии, что они, как и люди, изменятся и перестанут питаться друг другом. Рассказчик в ответ поясняет, что он и сам любит зверушек, но в тысячу раз сильнее печется о благе человека, и, чувствуя, что это прозвучало малоубедительно, добавляет: «Я начинаю приходить к выводу, что жителям Утопии придется пожертвовать кое-какими мелкими радостями. Нельзя иметь все блага одновременно». Однако Уэллсу так и не удалось продемонстрировать нам большие радости, ради которых нужно жертвовать маленькими.

Представления о чудовищности у всех разные: кому-то покажется омерзительным то обстоятельство, что у всех обитателей Утопии снимают отпечатки пальцев, кому-то — что исчезло разнообразие языков. Но есть один пункт, который до сих вызывает наиболее интенсивное осуждение, — ограничение рождаемости. Смягчив свою позицию по этому вопросу в «Открытии будущего» и «Человечестве», Уэллс вновь ужесточил ее. Чтобы получить у общества санкцию на брак, нужно достичь определенного возраста (21–25 лет для женщины, 26–30 для мужчины), «достаточного уровня физического и психического развития», не быть алкоголиками, не иметь заболеваний, передающихся по наследству; ни один из врачующихся не должен быть осужденным и не отбывшим наказание преступником, и у них должны иметься средства в размере, достаточном для прокорма и воспитания одного-двух детей. (Многодетность в Утопии — привилегия, которой достоин не всякий.)

Уэллс был убежден, что никто не имеет права заводить детей только потому, что нам нравятся «милые детишки», или мы хотим «продолжить фамилию», или укрепить брак; ребенок — существо самоценное, и мы не можем принимать решение о его



рождении, если существует риск, что он будет неизлечимо болен, или умрет малышом, или ему будет нечего есть. (Ограничение минимального возраста родителей, вроде бы не связанное со здоровьем и благосостоянием, вызвано тем, что людям следует созреть самим, прежде чем брать ответственность за другое существо.) К людям, которые пренебрегут этими условиями и вступят в союз, государство не будет иметь претензий, если у них не будет потомства. Гораздо худшая участь ждет тех, которые, не удовлетворяя перечисленным условиям, произведут на свет дитя. В этом случае «мы, исходя из принципов гуманности, примем невинную жертву вашей страсти, но вы и ваш партнер будете в долгу перед государством и заплатите этот долг (Уэллс говорит о денежном долге, а не о моральном. — М. Ч.), даже если для этого придется ограничить вашу свободу; более того, если вы вторично совершите тот же проступок или окажется, что ваше потомство неизлечимо больно или безумно, мы предпримем действия, которые дадут абсолютную гарантию того, что ни вы, ни ваш партнер больше никогда ничего подобного не сделаете». Уэллс не пожелал разъяснить, каковы будут эти действия, и нам остается догадываться, что речь, по-видимому, идет либо о стерилизации, либо о высылке, но все-таки не об «уничтожении», ибо казней в Утопии не существует. «Какой ужас! — восклицает, выслушав все это, alter ego героя, — несчастное человечество!» — на что герой мрачно советует ему изучить условия жизни детей, рожденных в трущобах, и ужасающие цифры детской смертности.

В «Современной утопии» Уэллс впервые подробно рассказал, какой ему видится правящая элита. (К ней принадлежит утопический двойник героя, который и сообщил эти сведения.) В результате политических потрясений, разрушивших старый строй, власть

перешла в руки прогрессивных и деятельных интеллектуалов, которые приняли имя «самураев». Самураи — не прекраснодушные интеллигенты; это суровые, рациональные люди, подчинившие свои желания требованиям общественного блага. Они занимают все административные посты; они также единственные избиратели Утопии, формирующие немногочисленное подобие правительства. Население Утопии подразделяют на четыре группы: поэтическая, деятельная, глупая и низменная. К первой принадлежат творческие личности, ко второй — люди, способные к администрированию, но не обладающие фантазией; человек, доказавший в процессе обучения, что он принадлежит к одной из этих групп, может стать самураем. Третья группа — «глупые» люди, которые не могут ясно мыслить; сами они не допускаются к управлению обществом, но их дети могут оказаться умнее, и им эта дорога закрыта не будет. Наконец, «низменные» — они могут быть умны или глупы, но их объединяет склонность к асоциальному поведению. (Написав все это, автор почувствовал, как наивно выглядит подобное разделение, и разъяснил, что оно условно и к каждому жителю планеты государство применяет индивидуальный подход.)

Творческих и деятельных людей в Утопии пруд пруди — и, конечно, не все они становятся самураями. Многие просто не хотят. Некоторые недостаточно уравновешенны — таким отказывают. Оставшиеся — по достижении 25 лет — могут стать управленцами, если выдержат экзамены и будут блюсти самурайский устав: самурай не может пить, курить, есть мясо, играть в азартные игры, участвовать в спортивных состязаниях, иметь слуг и прислуживать, выступать на сцене, торговать, обогащаться (кроме исключительных случаев, когда самурай, к примеру, придумал совершенно новую отрасль промышленности). Он

обязан мыться холодной водой, заниматься гимнастикой и альпинизмом, каждое утро бриться, каждую пятую ночь воздерживаться от секса, десять минут ежедневно посвящать чтению устава, повсюду носить униформу и не реже раза в месяц прочитывать книжную новинку. До 30 лет самураи практикуют свободный секс, лишенный разрушительных страстей и ревности. Нагулявшись, самурай по взаимному уважению женится, причем обязательно на самурайке. Зато самурайка имеет право выйти и за обыкновенного человека, ибо ее дети станут самураями. Уэллс писал в «Опыте», что еще подростком придумал образ идеальной женщины — «свободной, целеустремленной, самоотверженной, которая во всем бы мне подходила и шла бы своим путем, в то время как я шел своим», — и что самурайка наиболее близка к этому образу. Самурайка и вправду напоминает фантазию подростка. Но идет ли она своим путем и что это за путь — неясно: самурайка в Утопии теоретически может быть чиновником, но на деле она занята оказанием моральной поддержки своему самураю и воспитанием самурайчиков.

Самураи верят в единого Бога, слишком сложного, чтобы представления о нем могли воплощаться в религиозные обряды; они много путешествуют и умирают где-нибудь высоко в горах или на реке, счастливые и довольные. Наверняка это было большим утешением — придумывать этих безмятежных существ и собственного двойника, не страдающего ни от больных почек, ни от мук ревности. Так воплощают свои грезы обиженные дети — и писатели.

«Современная утопия» отличается от других утопий не только тем, что в ней живут противоречивые люди, но еще и наличием острого сюжета. Путешественники свалились неизвестно откуда, документов у них нет; их рассказам о том, что они прибыли из другого мира,

никто не верит; чиновники в Утопии — безжалостные бюрократы, как и везде! — гоняют бедняг от стола к столу, подозревая, что они беглые преступники. Бюрократ выдает им немного денег на пропитание и жилье и направляет работать на фабрику игрушек — не в наказание, а чтобы обеспечивали себя «до выяснения обстоятельств». Потом находится чиновник более внимательный — и гостей за государственный счет отправляют в столицу, дабы с ними разобрались на кафедре антропологии Лондонского университета. Но до разбирательства не доходит: несчастный спутник героя видит на улице двойников своей возлюбленной и того мужчины, к которому она ушла, и намеревается учинить вполне земную драку — и в этот момент путешественники проваливаются в родной мир.

Уэллс эту свою книгу любил; он назвал ее «настолько же живой, насколько „Человечество“ мертво». На его современников она произвела значительно более сильное впечатление, чем может произвести на нас: тогда, например, мысль о том, что взрослые мужчины и женщины могут свободно сходиться и расходиться, если у них нет детей, была нова, а сейчас ею вряд ли кого-то удивишь. Общественная мораль (по крайней мере в Европе) ушла так далеко, что нам трудно понять тех людей; показательно, что Маккензи сравнивают самураев с пуританами — суровыми аскетами, во всем ограничивающими себя, тогда как во времена Уэллса эти существа воспринимались как антипуританский вызов. Оруэлл писал: «На заре столетия подросток впадал в экстаз, открывая для себя Уэллса. Этот подросток жил среди педантов, святош, игроков в гольф, будущие его работодатели помыкали им: „Не смей! Нельзя!“ — родители изо всех сил старались уродовать его половое развитие, безмозглые учителя издевались, вдавливая в него мертвую латынь, — и

вдруг являлся этот чудесный человек, который мог рассказать о жизни на других планетах или на дне морей и твердо знал, что будущее предстанет вовсе не таким, как полагали респектабельные господа».

Самураев, кажущихся нам персонажами комиксов, современники восприняли всерьез, ведь это было свежо и ново. Вайолет Пейджет (литератор и переводчик) опубликовала в «Фортнайтли ревью» статью, полную похвал; в 1906-м она приедет в «Спейд-хаус» и будет обсуждать с Уэллсом возможность создания организации, подобной ордену самураев. Грегори назвал книгу великолепной, прибавив, правда, что нынешнее поколение, «размахивающее знаменами и бряцающее имперскими идеалами», не способно ее понять; он сказал также, что книга получилась в точности такой, какой мог бы желать Томас Хаксли (умерший в 1895 году), и что сам он мечтал бы жить в придуманном Уэллсом мире. «Утопия» понравилась и Черчиллю — он тогда еще не читал «Предвидений», и Уэллс с благодарностью за теплый отзыв послал ему и первую книгу. Уильям Джеймс, философ, брат Генри Джеймса, писал: «Ваша вещь — настоящее сокровище. В понимании людей Вы превзошли Киплинга, а в умении точно и сжато выразить свою мысль Вам просто нет равных. Сейчас Вас воспринимают как личность эксцентричную; но годы спустя, возможно, Вы станете классиком». В восторге от «Утопии» были видные фабианцы: Сидней Оливье в письме предлагал Уэллсу свою дружбу, замечая, что описание самураев отвечает его собственным идеям о создании лиги «морально здоровых людей». От похвал Уэллс ожил, депрессия стала проходить; к тому же, передав муки брошенного любовника персонажу, автор наполовину сбросил эту тяжесть с себя. Беатриса записывала в своем дневнике, что Уэллс во время очередного визита Уэббов в «Спейд-

хаус» был в приподнятом настроении: «Он полон куража и желания действовать».

Ложек дегтя в бочке меда нашлось немного, но это были большие ложки. Конрад вновь укорял друга за его преклонение перед элитой. Честертон в «Еретиках» дал самурайству открытый бой, сравнивая самураев, великанов из «Пищи» и всех остальных «новых людей» Уэллса (а также героя пьесы Шоу «Человек и сверхчеловек») с безжалостным «юберменшем» Ницше. «Великий человек — не тот, кто настолько силен, что чувствует меньше других людей; это человек, который настолько силен, что чувствует больше, — писал Честертон. — Коль скоро Сверхчеловек — нечто большее, чем человек, мы должны быть чем-то меньшим». На самом деле общее у сверхчеловека Ницше с новым человеком Уэллса лишь то, что тот и другой жестко критикуют традиционные формы религии и общественный уклад, а разница между ними не меньше, чем между каким-нибудь управдомом и Антихристом; если ницшеанский сверхчеловек — асоциальный бунтарь, находящийся «по ту сторону добра и зла», то уэллсовские великаны и самураи, напротив, подчиняют свои устремления благу социума; если сверхчеловек Ницше господствует, утверждая себя, то новые люди Уэллса — служат, от своих желаний отрекаясь, и в этом смысле они как раз соответствуют пожеланию Честертонна «быть чем-то меньшим, чем человек».

Честертон также высмеял Уэллса за его непонимание человеческой природы: «Если бы мистер Уэллс начал с человеческой души — то есть, по сути, с самого себя, — он понял бы, что первородный грех — это чуть ли не первое, во что надо верить. Он понял бы, что постоянная возможность проявления эгоизма проистекает из самого факта наличия „эго“, а не из каких-либо провалов в воспитании или дурного

обращения. <...> Еще более яркий пример невнимания мистера Уэллса к человеческой психологии обнаруживается в его космополитизме, когда он в своей Утопии отменяет все межнациональные границы. Со свойственным ему простодушием он утверждает, что Утопия должна быть одним всемирным государством, ибо в противном случае люди могут вести войны. Похоже, ему не приходит в голову то, что вполне очевидно для многих из нас: если бы существовало всемирное государство, то мы все равно вели бы с ним войну до скончания времен». Вообще-то Уэллс не утверждал, что в его Утопии не будет противоречий и разногласий, он лишь говорил, что мы перестанем из-за них убивать друг друга. Но в принципе Честертон прав: человеческую психологию Уэллс понимал неважно и ему, в частности, не приходило в голову, что такой прирожденный диссидент, как он сам, вечно всем недовольный, тоскующий об иных цивилизациях, не прижился бы ни в одной утопии, а, со всеми перессорившись, был сослан на самые дальние острова либо сошел с ума от скуки.

В 1914 году Уэллс опубликовал очерк «О Честертоне и Беллоке»<sup>[38]</sup>, где обижался на своего друга за то, что тот не придумывает собственной Утопии, а только ругает чужие: «От человека его масштабов можно требовать большего, чем просто критика без полезных выводов». А позднее Оруэлл написал статью «Почему социалисты не верят в счастье», где на примере Свифта, Уэллса и католического рая объяснил, что сочинение утопий — занятие гиблое по определению. «Все „положительные“ утопии друг на друга похожи в том, что они постулируют совершенство, но не в состоянии достичь счастья. <...> Свифт показывает, куда приводят людская глупость и гадость; но если у людей отнять глупость и гадость, получается, что

остается тепловато-безразличное существование, которое не стоит влачить. <...> Мы все хотим избавить мир от того, от чего его хочет избавить Уэллс. Но найдется ли кто-нибудь, желающий жить в утопии, описанной Уэллсом? Наоборот, желание не жить в таком мире, не проснуться однажды утром в гигиеническом пригородном саду, населенном нагими учительницами, стало сознательным политическим мотивом».

Быть может, «новые люди» сочинять утопий не будут, а будут радостно и смиренно принимать все сущее, как хотел бы Честертон. Но в нашем биологическом виде эта потребность заложена. Ведь сам Честертон неоднократно писал о своем идеале — католической сельской жизни, — идеале столь же расплывчатом и недостижимом, как рационалистические придумки Уэллса; ведь Оруэлл завершил свою статью словами: «Люди отдают свою жизнь политической борьбе, добровольцами идут на смерть в гражданских войнах, переносят пытки в тайных застенках гестапо не ради построения синтетического рая с центральным отоплением, кондиционерами и электрическим освещением, а потому, что хотят создать мир, где люди друг друга любят, а не обжуливают и не убивают», — словами столь же абстрактными, как те, которые он только что разругал в пух и прах.

\* \* \*

12 июня 1905 года в Лиссе умерла Сара Уэллс — поскользнулась на лестнице, у нее случилось кровоизлияние в мозг, и последние недели она не приходила в сознание. После похорон Уэллс провел несколько дней за чтением дневника, который Сара



вела почти всю жизнь. Незадолго до смерти она приезжала в «Спейд-хаус»; Джозеф переехать к сыну отказался. Он не потерял интереса к жизни, но этот интерес для него сосредоточился в малом: бильярд, хорошая кухня, утренние газеты. Эйч Джи нанял для отца домоправительницу, миссис Смит: в ее обществе Джозеф проведет еще пять лет.

«Дорогая мамочка!

Жду Рождества и посылаю тебе маленький подарок (жаль, что такой скромный). У меня все хорошо и на том же уровне. <...> Я хочу все знать о тебе. А от Фреда были какие-нибудь вести?

Любящий тебя Берти.

Крошка Берти рад писать все, что в голову взбредет, и шлет горячий привет милому часовщику (Фрэнку. — М. Ч.), папочке и мамочке».

Он так писал родителям в 1895 году; он всегда писал им так — без «умничанья», без витиеватости, без блеска. Писал так, словно был ребенком — или словно детьми, маленькими и напуганными, были они.

В то же лето он решил, что пора воплощать самурайский идеал на практике, и начал вести подкоп под Фабианское общество — точнее, под ту его часть, которой заправляли Уэббы и Шоу и которая называлась «старой бандой». Еще до смерти матери, 5 июня, он известил Пиза, что на очередном заседании намерен открыть дискуссию о методах работы общества. Он знал, что у него немало сторонников — почти вся фабианская молодежь, жаждущая быстренько построить новый мир, а не проводить годы за болтовней. Один из наиболее деятельных его сподвижников, Лесли Хейден-Гест (врач, журналист, впоследствии депутат парламента от лейбористов), писал ему в те дни, что «младореформаторов» удовлетворит лишь такое решение, которое будет

направлено на осуществление конкретных действий по построению «Города солнца».

Поначалу «старая банда» опасности не увидела. Шоу, узнав о намерениях Уэллса, писал Пизу: «Будут два доклада — за и против. Если Вы и Уэбб сделаете все возможное, чтобы отстоять позицию старой банды, а Уэллс, Гест и Честертон (Сесил. — М. Ч.), в свою очередь, аргументируют свои взгляды, это в итоге приведет нас к оптимальной реформе. <...> Встряска пойдет только на пользу интересам фабианства». Уэббы встряски не хотели, но считали Уэллса чересчур легковесным для того, чтобы он мог поколебать их позицию. В дискуссиях прошла вся вторая половина года и ничего не менялось. Но потом вмешались объективные обстоятельства.

На январь 1906-го были назначены парламентские выборы. У власти находились консерваторы во главе с Бальфуrom; еще до выборов среди них произошел раскол, преимущественно из-за разного отношения к протекционистским идеям министра по делам колоний Чемберлена; состоялся ряд отставок, и в декабре кабинет министров возглавил либерал Кэмпбелл-Баннерман. Консерваторы своей несогласованностью себя скомпрометировали, и предвыборная обстановка складывалась очень благоприятно для либеральной партии и всех левых. Либералы выдвинули программу реформ во имя создания «классового мира», в которой провозглашалось сохранение принципа свободной торговли (это означало, что цены на товары не поднимутся) и высказывались обещания улучшить условия труда рабочих. Идейным вдохновителем либералов был представитель их левого крыла Ллойд Джордж; в среде фабианцев его считали зловреднейшим человеком, но избирателям он нравился из-за своей репутации «сильного» политика, способного на решительные действия. Фабианское общество

объявило о поддержке кандидатов от лейбористов; либералов поддерживать не рекомендовалось (хотя трое фабианцев баллотировались от Либеральной партии). В конечном итоге консерваторы потерпели сокрушительное поражение, либералы восторжествовали на ближайшие десять лет, Ллойд Джордж стал министром торговли, Черчилль — заместителем министра колоний, и, что самое важное, лейбористы (среди них четверо фабианцев) получили 29 мест в парламенте и заявили о себе как о новой политической силе. Англия начинала меняться. А Фабианское общество осталось в стороне.

Уэллса не удовлетворяли ни эти робкие перемены, ни то, что фабианцы не желали принимать в них активного участия. 12 января 1906 года он читал на заседании общества (а потом опубликовал в «Индепендент ревью») фельетон «Беда с башмаками», где осыпал издевками «тех, кто, именуя себя социалистами, старается уверить вас, будто разговоры о понижении муниципалитетами цен на воду и газ это и есть социализм, и считает, что мельтешить где-то между консерваторами и либералами значит пролагать путь к Золотому веку». А 9 февраля он представил на заседание доклад «Ошибки фабианства», в котором нападал на кастовый дух, принятый среди фабианцев, и сравнивал общество с крошечной гостиницей, где люди обмениваются непонятными для посторонних домашними шутками: «Впустую тратятся добрые намерения, время, энергия... словно мы ставим перед собою цель развлечься политико-социологической болтовней». Первая ошибка общества заключается в том, что оно слишком мало для приобретения политического влияния — вместо 700 членов в нем должно быть не менее 10 тысяч. Второй ошибкой является бедность: «Фабианцы ставят перед собой задачу изменить экономические основы общества. Но

взгляните на этот крошечный зал, на этот узкий кружок... А теперь выйдите на Стрэнд и посмотрите, какие там огромные здания, как ярк свет реклам... Это — мир, который вы собираетесь изменить».

Чтобы соответствовать миру Стрэнда, фабианцам следует собирать деньги (бюджет общества должен быть не менее тысячи фунтов в год), создавать ячейки на местах, открывать новые шикарные офисы, нанять секретарей и администраторов, учредить солидный печатный орган и развернуть широкую пропагандистскую кампанию в массах, то есть сделаться политической партией. (Эти идеи Уэллс перенял не у Маркса-Ленина, а у Грэма Уоллеса и нашего соотечественника М. Я. Острогорского, автора книги «Демократия и организация политических партий», о влиянии которой на формирование своих взглядов писал неоднократно.) Все это было справедливо и разумно, но почему Уэллс не захотел учесть того обстоятельства, что такая партия уже существовала (Пиз еще тогда предрек, что лейбористы вытеснят либералов из политической жизни; в конечном итоге большинство фабианцев влились в Лейбористскую партию) и нуждалась не в дублире-конкуренте, а в помощи? Неужели потому, что, как утверждал тот же Пиз, Уэллса не интересовали реформы и социализм, а только единоличная власть?

Доклад имел грандиозный успех, и не только у молодежи. Фабианцы с Уэллсом согласились: общество нуждается в реформировании. Кто не хочет стать грозной политической силой, а также сидеть в шикарных офисах с секретарями? Уэллс был не единственным членом общества, который намеревался превратить его в партию. В том же 1906-м Сэмюел Джордж Хобсон, один из основателей Независимой лейбористской партии, уже успевший разочароваться в лейбористах, так как они «младшие союзники

либералов», призывал к созданию партии, которая была бы радикальнее Лейбористской. В соответствии с предложениями Уэллса исполком общества постановил учредить комитет по реформированию; в его состав предлагалось включить равное количество членов исполкома (чью деятельность и надлежало реформировать) и рядовых членов общества. Уэллс назвал это «увертками», и после прений в состав комитета вошли лишь те, чьи кандидатуры он лично одобрил, то есть трое от исполкома — преподобный Стюарт Хедлем, основоположник «христианского социализма», Шарлотта Шоу и Джордж Тейлор, известный политик-социалист, плюс Сидней Оливье, на тот момент не являвшийся членом исполкома, но относившийся к «старой банде», — и шестеро извне: Стэнтон Койт (лейборист, лидер Общества этической культуры), Уильям Колгейт (тогда студент, а впоследствии политик-консерватор), Лесли Хейден-Гест, Мод Ривз (жена Пембера Ривза, соратника Уэллса по клубу «Сподвижники»), сам Уэллс и его жена — в качестве секретаря.

Через месяц с небольшим Уэллс должен был ехать с лекциями в Штаты — следовало торопиться. Пиз сообщил ему, что первое заседание комитета запланировано на 28 февраля: «Хотя Ваши планы произвели большое замешательство, я надеюсь, что все прояснится и результатом будет расширение влияния Общества, к которому мы все стремимся». (Заседание состоялось, но к разработке документов приступили лишь осенью.) А Шоу писал Уэллсу, что «старая банда» готова к открытому диалогу: «Мы вовсе не пытаемся ссориться с Вами, ибо мы желаем того же, что и Вы... Ваш доклад полон неясностей, которые, впрочем, легко можно разрешить в дебатах и которые не имеют существенного значения, поскольку в целом Ваши предложения совершенно справедливы». Не приходится

сомневаться в том, что Шоу желал диалога, и не только для прояснения темных мест в «Ошибках фабианства», а для того, чтобы лучше понять личные устремления Уэллса. Всерьез ли тот желал превращения Фабианского общества в политическую силу или просто играл в игрушки? В пользу второго предположения Маккензи приводят цитату из письма к литератору Лукасу, где Уэллс говорит, что «затеял грандиозную интригу в Фабианском обществе», «будоража старушек», и что это «очень забавно». Того же мнения придерживался Пиз, который писал, что, когда инициированные Уэллсом реформы в обществе были осуществлены, сам реформатор к ним охладел. Так же считала Беатриса Уэбб: «Я сомневаюсь, что у него достаточно умения, настойчивости, последовательности и желания всерьез выполнять свои новые обязанности». Сам Эйч Джи, однако, утверждал, что в 1906-м искренне надеялся реформировать общество и лишь двумя годами позднее понял, что это была «вздорная затея». Наверное, есть правота и в том и в другом утверждении: реформировать общество Уэллс действительно хотел, а не просто развлекался, но, во-первых, хотел превратить его не в «нормальную» партию, а в самурайский орден, а во-вторых, хотел этого лишь на условиях своей личной диктатуры.

Оставшиеся до отъезда недели прошли в перебранках с членами исполкома; Беатриса Уэбб и Шоу отмечали, что в этот период их товарищ был нетерпелив, груб, требовал от всех подписаться под каждым словом в «Ошибках фабианства». За три дня до отъезда Уэллс получил резкое письмо от Шоу: «Вы можете сказать, что сделали все, что в Ваших силах, дабы сохранить дружелюбие. Без сомнения Вы пытались; но Ваши усилия недостаточны. Вы не в состоянии соблюдать правила хорошего тона... Даже если бы Ваш доклад был пределом совершенства — все

равно у членов любой группы, состоящей из людей, возникли бы собственные мнения на его счет... Вы не понимаете сложностей работы в демократическом обществе...» 27 марта на пароходе «Кармания» Уэллс отплыл в Америку. Накануне он ответил Шоу, что «не желает ощущать себя одним из „нас“, если „мы“ — это ваш чертов исполком». Думается, он как раз понимал «сложности работы в демократическом обществе»; он ненавидел демократию, ибо знал, что на беспощадном демократическом ринге он — нетерпеливый, раздражительный, неспособный к компромиссам — неизбежно будет бит.

## **Глава четвертая ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА**

Американское турне продолжалось два месяца. Формальная цель — серия очерков для лондонской газеты «Трибюн»; помимо этого, Уэллс прочел несколько лекций в университетах и дал множество интервью. Его антрепренер Перрин организовал встречи с влиятельными лицами в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Вашингтоне. Английские друзья снабдили Уэллса рекомендательными письмами к своим американским знакомым, и тот обзавелся новыми друзьями: Ф. Майлз, друг Грэма Уоллеса, встречал Уэллса в Нью-Йорке и помог составить план турне; журналист Рэй Стэннард Бейкер помогал приезжему разобраться в проблемах американской экономики; в Чикаго Джейн Аддамс, президент Международной женской лиги за мир и свободу, показала гостю не только знаменитый Холл-хаус, первое в мире учреждение по социальной защите бедняков, но и колоритную «изнанку» чикагской жизни — трущобы, бродяг, гангстеров; журналист Линкольн Стеффенс помог встретиться с Теодором Рузвельтом.

Президент США, которым Уэллс искренне восхищался, говорил с сыном лавочника, как с равным (тогда «ручкаться» с президентами для Эйч Джи еще было в новинку, а король Великобритании, такой-сякой, вообще с ним не разговаривал), и хвалил «Машину времени», хотя и не был согласен с ее пессимистическим финалом. «Хорошо, — медленно сказал он, — предположим, что все это подтвердится, что все кончится вашими бабочками и морлоками. Сейчас это не важно. Реальны наши усилия. Они стоят того, чтобы продолжать». Человек с огромной властью, «хозяин» огромной страны, сказал, что «наши» усилия не бесплодны и все будет хорошо — такие слова не могли не наполнить Эйч Джи оптимизмом.

В Америке случилось знакомство, которое будет иметь множество последствий: в апреле туда приехал Алексей Максимович Горький, чтобы собирать пожертвования для большевиков. В Нью-Йорке он был восторженно встречен журналистами — все осуждали царизм, возмущались жестокостью, с какой были подавлены революционные выступления 1905 года, всех волновала романтическая личность революционера, вынужденного бежать из своей страны под страхом — так, во всяком случае, считалось — смертной казни. Всякое его слово подхватывалось; составилась комитет американских писателей с Марком Твенем во главе, чтобы дать ему торжественный банкет. «Моя первая неделя в Нью-Йорке, — писал Уэллс в книге „Будущее Америки“ (The Future in America: A Search After Realities; вышла в 1906-м в издательстве „Чэпмен энд Холл“), — пришлось на период ожидания приезда Горького. Можно было предсказать, что это будет историческое событие. Казалось, что вся американская нация сосредоточилась на одной великой и благородной идее — свободе России, — и на личности Горького как воплотителя этой идеи». Горький прибыл



— «известность его была неподражаема». Состоялось знакомство; Уэллс и Горький вместе завтракали, обедали, фотографировались. Горький выступал на митингах, ругая Америку на чем свет, писал в американские газеты статьи о том, как в Америке все скверно — все это лишь подогревало ажиотаж.

Однако вскоре отношение американцев к «буревестнику революции» изменилось. В поездке его сопровождала Мария Андреева — «его правая рука, смелая и благородная леди, бывшая в течение многих лет его женой во всех смыслах, кроме формально-юридического»; когда распространилась информация, что пара не обвенчана, двери отелей пред ней захлопнулись. (Тогда Горький с Андреевой поселился на вилле супругов Мартин, где прожил до октября и начал писать «Мать».) «Журналисты придумывали брошенную жену и детей, они заявляли, что мадам Андреева была „актрисой“, придавая этому слову самое предосудительное значение; они требовали, чтобы чиновники из отдела иммиграции выслали ее; они опубликовали название отеля, где она жила, и организовали этому отелю бойкот». Любопытная деталь — почему Уэллс решил, что журналисты «придумали» жену и детей Горького, тогда как жена, Е. П. Волжина, и двое детей реально существовали? Неужели Андреева, переводившая беседы, сказала Уэллсу, что у Горького нет жены и детей, или Эйч Джи сам что-то напутал?

Истории с осуждением Горького Уэллс посвятил одну из глав «Будущего Америки»: то был редкий случай, когда он, с легкостью объяснявший «всё про всё», не мог ничего объяснить. Американцы поставили его в тупик как своей пуританской нетерпимостью, так и той быстротой, с которой они переходили от восторгов к ненависти. «Сперва я думал, что это было обычное недоразумение, какое может случиться в

любом городе. Но травля продолжалась все время. Авторы статей лезли из кожи вон, придумывая новые оскорбления в адрес мадам Андреевой. <...> И среди этого воя забыли о России. Резня, жестокость, замученные дети — все было забыто». В 1949 году Константин Симонов писал Маленкову, что считает нужным сочинить пьесу «Горький в Америке» и разъяснить «ханжеские мотивы той травли, которой подвергался Горький якобы за нарушение американских представлений о нравственности, а на самом деле за посылку им телеграммы протеста против предполагавшейся казни двух американских социалистов». Горький послал телеграмму профсоюзным деятелям Хейвуду и Мойеру, обвиненным в убийстве бывшего губернатора штата Айдахо (они без всякого участия мирового пролетариата были оправданы судом). Уэллсу не пришло в голову объяснять травлю Горького этой причиной, и он, похоже, был прав, ибо американцы продолжают удивлять мир внезапными вспышками ханжества по разным поводам. Сам Горький предложил остроумное объяснение такому поведению, когда собирался написать статью «Страна подростков» и доказать, что «американцы, даже когда они лысы, седы и жуют вставными зубами, даже когда они профессора, сенаторы и миллионеры — имеют не более 13-15 лет от роду». Уэллс до такой блистательной формулировки недодумался; он невнятно заявил, что нетерпимость американцев является «недостатком нынешней стадии экономического развития».

Уэллс и Горький видели в Америке одно и то же, описали по-разному, хотя местами похоже. «Под ногами Свободы — мало земли, она кажется поднявшейся из океана, пьедестал ее — как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордое величие и красоту... А кругом ничтожного

куска земли, на котором она стоит, скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера... Все стонет, воет, скрежещет, повинуюсь воле ка-кой-то тайной силы, враждебной человеку». Это — «Город желтого дьявола». А вот Уэллс: «В развитии Нью-Йорка есть что-то угрожающее; он растет под все возрастающим давлением, рвется вверх, рыча от голода. Каждому бросается в глаза механический, бесчеловечный характер этого роста, как бросается в глаза гигантская статуя Свободы, которая приближается к нам по левому борту: она предназначена доминировать над всем, но терпит поражение. В ней триста футов и она стоит на пьедестале в сто пятьдесят футов; факел, что вздымает она в своей руке, знаменует безнадежную попытку соревноваться со взмывающим до небес богатством».

Нью-Йорк Горького подавляет, он ужасен; Нью-Йорк Уэллса на первый взгляд такой же, но Уэллс за этими мрачными картинками видел то, что любил, — развитие, рост. Горький описал Нью-Йорк так, словно он населен одними нищими, умирающими от голода; Уэллс, узнав размер средней заработной платы в США, отметил, что она значительно выше, чем в любой стране Европы, и написал, что даже бедняки там одеты лучше и дома их чище. Горький безапелляционен — Уэллс несвойственно для себя мягок и некатегоричен: на первой странице «Будущего Америки» он сравнивает себя с «муравьем, что, ползая по телу слона, пытается составить представление о нем», и выдерживает этот тон на протяжении всей книги. Горького мало заботило, что станет с Америкой через тридцать лет — Уэллс думал именно об этом: он не просто описывал увиденное, а пытался каждую тенденцию спроецировать на грядущие времена. «От других визитеров Уэллса отличало то, — пишет Дэвид Смит, — что он был открыт

для впечатлений и настроен видеть в хозяевах хорошее». Обычно европейцы предпочитали хулить Штаты — их уклад жизни и даже их гостеприимство. Уэллс тоже бранил Америку — богачи безответственны, положение женщин плачевно, а вся страна «на положение дел в мире смотрит с узким, сентиментальным, эгоистичным патриотизмом», но он ругал ее с любовью, как ругают детей.

Он встречался с представителями движения за права афроамериканцев — Букером Вашингтоном и Уильямом Дюбуа; общение с людьми, что родились рабами, но сумели добиться высокого социального статуса, произвело на него настолько сильное впечатление, что он, никогда прежде положением негров не интересовавшийся, посвятил им одну из самых эмоциональных глав своей книги. «Нет, я не могу удержаться от того, чтобы не идеализировать темную, покорную фигуру негра. Мне так и видится, как он сидит и ждет — ждет с изумительным, простодушным терпением, — когда же наступит время понимания и благородства по отношению к нему». Очень трогательно; но тут стоит упомянуть об одном эпизоде, который сам герой счел нужным включить в мемуары. Он сел в такси и велел везти себя в публичный дом. «В белый или в негритянский?» — спросил шофер. Мне казалось, я должен сполна вкусить местный колорит. «„В негритянский“, — ответил я». Интересно, что бы на это сказали Вашингтон и Дюбуа...

Эпизод с проституткой нам важен — не для того, чтобы добавить «клубнички» в биографию героя, а чтобы чуть лучше понять его характер. По словам Эйч Джи, у него с этой женщиной, чьего имени он не удосужился спросить, сразу сложились дружеские, прямо-таки высокодуховные отношения, и она горевала о том, что они никогда больше не увидятся; добросовестный рассказчик сам отметил, что это горе

было высказано тотчас после того, как он заплатил ей больше, чем полагалось, но не усомнился в его искренности. С той же наивностью Эйч Джи признался, что проститутки всегда были к нему душевно расположены, ибо он вел себя с ними цивилизованно. Цивилизованно вести себя с проститутками означало для него совсем не то, что для Куприна — выслушивать их истории, писать о них, быть их заступником и другом, — а всего лишь хорошо заплатить. Если бы кто-то сказал ему, что поступить совсем благородно означало бы дать деньги, но, раз уж он так хорошо относится к этим девушкам, отказаться от их услуг, он бы этого не понял. И вовсе не потому, что был буржуа, полагавшим, что каждый подарок нужно отрабатывать, просто он был уверен, что девушки были счастливы его близостью, потому что он им очень понравился. Они же сами так говорили!

Чикаго, Бостон, Вашингтон Уэллса разочаровали. Они показались ему недостаточно «американскими». (Сельской, «одноэтажной» Америки он не видел вовсе.) По-настоящему американским был только Нью-Йорк. Он отвечал идее великанства, вокруг него должен был строиться новый объединенный мир. Уэллс выразил эту веру в заключительных главах «Будущего Америки». Все недостатки — это недостатки роста, вроде рахита, они будут преодолены; Америка «с ее традициями свободы, с духом инициативы в людях, будет лидером прогресса». Так что приняли его книгу в Штатах очень хорошо, несмотря на всю высказанную критику. Английской публике «Будущее Америки» также понравилось, рецензии были восторженные. Уильям Джеймс, тоже посетивший США и написавший об этом книгу, сравнивая работу Уэллса со своей, признал, что ему и в голову не приходило задуматься о перспективах развития этой страны и что Уэллс открыл ему глаза на множество вещей. Черчилль, Уэббы, Элизабет Хили —

все эти очень разные люди называли «Будущее Америки» прекрасной вещью. Да и трудно было бы принять книгу плохо. Она полна внимания к мелочам и пристального детского любопытства; на такие книги не обижаются те, о ком они писаны, а стороннего наблюдателя они захватывают как увлекательный роман. Вот только коварные и некомпетентные издатели, как всегда, дурно рекламировали ее и скверно продавали.

Домой Уэллс вернулся 27 мая, привез множество игрушек сыновьям. Был в превосходном настроении, редактировал «Будущее Америки», с нетерпением ожидал выхода британского издания своего нового романа «В дни кометы» (In the Days of the Comet; в США роман публиковался в журнале «Космополитен»). Были с Кэтрин на обеде у Уэббов, потом Уэббы приезжали к ним. В июне Уэллс получил письмо от лейбориста Кейра Харди: «Понимая всю серьезность и искренность Ваших намерений реформировать Фабианское общество, я все же считаю, что это приведет лишь к Вашему разочарованию и трениям внутри общества. Почему бы Вам не предоставить Фабианскому обществу идти своим путем и не принять участие в той части политического движения, которую представляет Независимая лейбористская партия?» Харди предлагал Уэллсу баллотироваться от лейбористов в парламент; Уэллс вежливо отказался. Почему? Наверняка причин было много. Он терпеть не мог пролетариата (а тогдашняя Лейбористская партия была партией рабочих); он не потерял надежды возглавить Фабианское общество; его, знавшего свою слабость в публичных выступлениях, могла испугать сама процедура участия в выборах.

14 июля в «Дейли кроникл» был опубликован один из самых знаменитых рассказов Уэллса — «Дверь в стене» (The Door in the Wall)<sup>[39]</sup>. Некто Уоллес (Уэллс

любил давать героям фамилии, похожие на свою) в детстве увидел зеленую дверь в белой стене, прошел сквозь нее и оказался в волшебном саду: «Там были две большие пантеры... Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. <...> И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка».

Волшебный сад для Уоллеса — то же, что Олдингтонский холм для Скелмерсдейла: приснившаяся страна, где царит красота, «бесцельная и непоследовательная», страна, в которой он должен был жить, если бы по ошибке не оказался в нашем мире, страна, не имеющая ничего общего с тем идейно выдержанным идеалом, который Эйч Джи описывал в состоянии бодрствования. (Пантеры здесь неспроста: любовь Эйч Джи к кошачьим доходила почти до мании, большая кошка символизировала для него все самое прекрасное.) Но он побоялся остаться в саду, убежал, как и Скелмерсдейл. Потом тосковал, но всякий раз, когда ему случайно попадалась Дверь (ее невозможно отыскать сознательно), был занят делами и проходил мимо. Стал взрослым, сделал карьеру политика, еще

несколько раз видел Дверь: «Я давал клятву, что, если когда-ни-будь эта дверь окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил». И наконец тоска по волшебному саду завладела им так сильно, что он рассказал свою историю другу: «Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло... <...> Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура!»

На следующий день его мертвое тело обнаружили в канаве. Он искал свою Дверь и, быть может, нашел ее. Его друг сказал: «Я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело — как бы это сказать? — какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир». Уэллсом это чувство действительно владело, он многократно опишет его. Но поступать он будет как Уоллес: всякий раз, когда Дверь будет ему попадаться, предпочтет повседневную суету, успех, карьеру, дела. Иногда он даже не заметит, что перед ним промелькнула Дверь.

Тем же летом у Макмиллана вышел роман «В дни кометы». Завязка основана на реальных космических событиях: в 1907-м ожидалось появление близ Земли кометы Энке, а в 1910-м — кометы Галлея; интерес



публики к кометам был огромен, одни готовились к катастрофе, другие выпускали конфеты и духи с изображением хвостатой гостыи. Но в данном случае астрономия не интересовала Уэллса. Он начал писать роман сразу после похорон матери; в значительной степени то был роман о ней. Воспитывавшая сына (героя романа Лид-форда) в религиозном духе, она «наделяла Бога своей трепетной, лучистой добротой и очищала его от всех качеств, какие приписывали ему богословы; она сама была — если бы только я мог тогда понять это — лучшим примером всего того, чему хотела научить меня. <...> Тогдашний общественный строй сделал ее рабой самых жалких условностей. Он согнул ее, состарил, чуть ли не лишил зрения в пятьдесят пять лет; глядя на меня сквозь свои дешевые очки, она видела меня лишь в тумане; он приучил ее вечно тревожиться, и что он сделал с ее руками — бедными, милыми руками!».

Мир в романе нехорош: богачи эгоистичны, священники лживы, бедняки тупы и жестоки, написано об этом умно, едко, горячо, убедительно, но мы это уже слышали. Отметить стоит разве что разговоры Лидфорда с Богом, из них позднее вырастет религиозная философия Уэллса: «Почему ты дал мне гордость, которую я не могу насытить, и желания, которые оборачиваются против меня и разрывают мне душу? Уж не шутишь ли ты со своими гостями здесь, на земле? Я — даже я! — неспособен на такие злые шутки. Почему бы тебе не поучиться у меня хоть какой-либо порядочности и милосердию? Почему бы тебе не исправить то, что ты натворил? Ведь я никогда не мучил изо дня в день какого-нибудь несчастного червяка, не заставлял его копошиться в грязи, которая ему отвратительна, не заставлял умирать от голода, не терзал его и не издевался над ним. Зачем же тебе так поступать с людьми?»

В ожидании кометы человечество словно с ума посходило: стачки, волнения, Германия начинает с Англией войну, да и сам Лидфорд не лучше других: выслеживает с револьвером свою возлюбленную Нетти, сбежавшую с другим. Но комета принесла не зло, а добро: под воздействием газа, который она распространяет, люди проснулись добрыми, умными, порядочными и счастливыми. Автор устал размышлять над тем, как изменить мир — долго это, нудно; пусть изменится сам собою, как в сказке. Новую жизнь ему тоже было лень описывать. Солдаты побросали оружие и побратались, правительства стали заботиться о людях, а люди — друг о друге. Как именно? Ну, например, один бесплатно починил другому крышу... А еще эти прекрасные люди каждый день занимаются... публичным сожжением произведений искусства. О, разумеется, плохих — таких, которые не нравятся Уэллсу. «В костры побросали также много книг и связок газет... дешевых, плохо отпечатанных изданий второсортных английских классиков, по большей части очень скучных, никем не читаемых, и целую фуру растрепанных бульварных романов с загнутыми, захватанными углами, скверных и бессодержательных — свидетельство истинно британской умственной водянки...» Не один Уэллс в начале прошлого века призывал сбрасывать старый художественный хлам с корабля современности, и публичное сожжение книг тогда ассоциировалось не с гитлеровцами (которые будут жечь книги Уэллса), а с безобидной сценой из «Дон Кихота» — а все же неприятно это читать...

Герой вернулся к матери; он делает то, чего не сделал автор. «Я старался быть всегда вместе с ней, так как замечал, что она без меня тоскует. Не то чтобы были у нас общие мысли или развлечения, но ей нравилось видеть меня за столом, смотреть, как я работаю или как расхаживаю по комнате...» Одна из

самых страшных человеческих мук — сознать, что не уделит достаточно любви умершему и это невозможно исправить; только у писателей есть машина времени, что позволяет вернуться в прошлое и изменить его.

Но читатели — кроме друзей и родных — не поняли, что «В дни кометы» — горестный плач по Саре Уэллс; они также не заметили тоски по Изабелле, не оценили социальной критики и не вдохновились картинками светлого будущего. Всех интересовала лишь одна тема романа — «свободная любовь». Лидфорд любит Нетти, а та любит и его, и своего соблазнителя Веррола; она спрашивает Лидфорда: «Почему мне нельзя иметь обоих? Разве я не разумное существо, что вы всегда должны думать обо мне только как о женщине? Всегда видеть во мне только предмет борьбы? <...> Останемся вместе, все трое. Не будем расставаться. Разлука — это ненависть, Вилли. Почему бы нам не остаться друзьями? Почему бы не встречаться, не разговаривать?» Нечто подобное говорила Уэллсу Изабелла после своего брака с Фаулер-Смитом. Лидфорду недостаточно «просто разговаривать», и он не желает мирно сосуществовать с Верролом; он отвергает дружбу Нетти и женится на другой, но потом приходит к выводу, что Нетти права, ревновать не нужно, более того, вполне возможно не «просто разговаривать» — и в конце концов вся четверка начинает спокойно, не таясь от людей, сожительствовать друг с другом.

Наверное, здесь Эйч Джи, как и в случае со смертью матери, выразил мечту о том, как могло бы все сложиться, если бы все вернуть — если бы Кэтрин и Изабелла согласились делить его. Он пошел дальше: когда он — сразу после известия о браке Изабеллы, ненавидя ее, — писал «Современную утопию», то утверждал, что женщина-изменница совершает проступок против общества и должна быть наказана; теперь, остыв, смирившись и любя, он готов был

признать, что женщине можно иметь двух мужей и что он сам готов делиться. (Слова его не расходились с делом: он изо всех сил старался не ревновать и воспринимать Фаулер-Смита как родственника, с которым следует быть в добрых отношениях, при этом не получая от Изабеллы ничего, кроме «просто поговорить».)

«Свободная любовь» не понравилась никому — даже люди с либеральными убеждениями находили, что «это уж слишком». Конрад, смягчивший свою позицию по отношению к Уэллсу по прочтении «Будущего Америки», был «Днями кометы» возмущен: «Не знаю, придет или не придет день такой свободы. Надеюсь не дожить до него. Но если доживу — я буду по мере своих скромных сил сражаться против того, о чем написано в Вашей книге». (Тем не менее два писателя опять не поссорились; в том же году Конрад посвятил Уэллсу свою книгу «Секретный агент».) Читательская реакция была естественной — даже сейчас, напиши какой-нибудь серьезный литератор, являющийся одновременно общественным деятелем, что можно открыто иметь по две жены и по два мужа, мы его заключаем и заплеем. Удивительно, что Уэллс этого никак не ожидал; удивительно и то, что его, «нового» человека, так больно ранили нападки «старых».

Атака развивалась по двум направлениям: «идеологическое» и «личное». 14 сентября в газете «Таймс литэри сапплемент» была опубликована статья, проводившая параллель между выступлениями социалистов против частной собственности и призывом Уэллса к «общности жен». Уэллс не собирался отступать. Он написал брошюру «Социализм и семья» и потребовал, чтобы она была издана за счет Фабианского общества, а на ближайшем собрании общества представил доклад «Социализм и средний класс»; в обоих текстах он развивал свои взгляды на

буржуазный брак. Экономическая и сексуальная эксплуатация, утверждал он, суть две стороны одного явления; женщина в браке становится собственностью мужа. Она должна обрести независимость сексуальную: пока нет детей, ей должна быть предоставлена такая же свобода, как и мужчине; рождение и воспитание детей приравнивается к общественно полезному труду, оплачиваемому государством — вот и ее материальная независимость. Других путей обретения женщинами независимости он по-прежнему не видел и ему даже во сне не снилось, что женщины станут директорами заводов и председателями банковских правлений. Представители суфражистского движения требовали предоставить женщинам избирательное право<sup>[40]</sup> — он над этими требованиями смеялся, утверждая, что право голоса, которого добиваются образованные суфражистки, не поможет миллионам бедных женщин улучшить свое материальное положение. Радикальные суфражистки призывали женщин освободиться от «сексуального гнета» и не иметь с мужчинами дела — эти идеи ему казались бредом, так как рабство он видел лишь в законном браке. Неудивительно, что нынче одни относят Уэллса к феминистам, другие — к антифеминистам: его воззрения на свободу женщин были очень противоречивы.

Пиз отказался печатать «Социализм и семью» за счет общества (брошюра была опубликована в «Индепендент ревью» и затем вышла в издательстве «Филд»), а доклад фабианцы проигнорировали: их движение вообще не должно заниматься подобными вопросами. Но Уэллса угнетало не только это. Его, уже не как теоретика, а как частное лицо, публично обвиняли в безнравственности. Обвинения имели под собой основательную почву, хотя — по отношению к 1906 году — ни одно из них не доказано. В некоторых

биографиях Айви Лоу-Литвиновой, дочери старого друга Уэллса, утверждается, что Уэллс имел связь с матерью Айви и с ее теткой, женой Лесли Хейден-Геста (а позднее — с самой Айви). Говорили также, что он состоял в связи с женой Хьюберта Бланда. Было ли это? Сказать трудно. В «Постскриптуме» он об этих женщинах не писал. Возможно, его репутация в 1906-м обогнала действительность. Он повсюду разглагольствовал о свободной любви, и все решили, что он осуществляет свои идеи на практике — могло быть и так. Обвинения его сильно задели: он боялся, что из-за них роман «В дни кометы» будет плохо продаваться (в ту пору скандалы еще не «раскручивали» книги, а вредили им), и считал, что они помешают читателям правильно воспринимать его книгу. В октябре он опубликовал в «Манчестер диспетч» статью, в которой называл обвинения «наглой ложью» и разъяснял, что писал «о разновидности утопических сексуальных свобод, не имеющей ничего общего с прочным семейным укладом, к которому на самом деле призывают социалисты».

Меж тем в среде фабианцев положение Уэллса не поколебалось. «Старая банда» по-прежнему была готова обсуждать пути реорганизации общества; от Эйч Джи ждали, что он начнет серьезную работу в комитете по реформированию. Ждали напрасно — проницательная Беатриса поняла это еще летом 1906-го: «Он не приемлет постепенных, последовательных действий, в результате которых достигается одна высота за другой, он хочет, чтобы все произошло в один миг». Заседание комитета все же состоялось — в первый раз в сентябре, потом было еще несколько встреч. О их содержании известно мало. Состав комитета был разношерстный, дебаты шли жаркие, так что итоговый документ удалось создать лишь в ноябре. «Сидней Оливье, хотя и входил в „старую банду“, был

энергичнейшим сторонником всяческих реформ, — писал Пиз, — Хедлем принадлежал к правому крылу движения и не скрывал симпатий к либералам, Тейлор и Гест были лейбористами, Койт также к ним присоединился, миссис Ривз и миссис Шоу по привычке скорее были на стороне существующего руководства, нежели оппозиции, и Колгейт, молодой, но весьма рассудительный человек, склонялся к их позиции. Но одного лишь присутствия г-на Уэллса, с легкостью меняющего свою точку зрения, самодовольного, неспособного смириться с тем, что кто-то может быть с ним не согласен, было достаточно, чтобы дезорганизовать деятельность любого комитета».

Комитет создавался, чтобы выработать программу реформирования общества, но уже после первых встреч стало ясно, что ничего «вырабатывать» Уэллс не хочет — программа готова, она называется «Ошибки фабианства», и единственная задача комитета — поддержать ее. Другую свою цель — осуждение «старой банды», отставка исполкома и выборы, которые должны были принести ему победу и власть, — Уэллс не пожелал скрыть. Когда комитет создавали, об отставке исполкома и речи не было; члены комитета были растеряны, а миро-любивейшая Шарлотта Шоу написала Уэллсу резкое письмо, в котором назвала его «вероломным». «Дорогая, вы клеветеете на меня, — отвечал Эйч Джи. — Вы хотите, чтобы все было хорошо и все оставалось по-старому, а это невозможно».

По мнению «старой банды», невозможно было как раз то, чего хотел Уэллс, — найти деньги, нанять большой штат сотрудников, издавать еженедельник; об этом ему вежливо написал Сидней Уэбб, заметив, однако, что все эти предложения сами по себе неплохи. Невозможно? Любая политическая партия делает это. Лейбористы это сделать сумели. Так ли уж неправ был Уэллс? Ведь Шоу хотел того же самого — превращения

Фабианского общества в парламентскую партию. Уэллс увлекся схемами управления, но позабыл о такой мелочи, как социальная основа партии, в которую должно трансформироваться общество; Шоу, лучше разбиравшийся в политике, предложил, что такой основой должны стать «средние слои общества» и прежде всего — тред-юнионы, у которых с лейбористами имелись разногласия. Это казалось очевидным: если существуют социальные группы, не охваченные ни консерваторами, ни либералами, ни лейбористами — значит, нужно «брать» именно их. Но фабианцы не смогли или не старались, а лейбористы оказались куда более гибкими, чем о них думали, и в конце концов вобрали в себя все, что было доселе бесхозного, и фабианцев в том числе.

В идеях Уэллса по реформированию общества не содержалось ничего крамольного. Проблема заключалась в другом. Развернутая им кампания против исполкома, проходившая с осени 1906-го по весну 1908-го, даже в изложении самых доброжелательных биографов выглядит некрасиво: Уэллс «огрызался», Уэллс «интриговал» — и забывается то, что именно он первым предложил Фабианскому обществу измениться и оно в конечном итоге приняло почти все его предложения. Десятки увещающих писем, полученных им осенью 1906-го от Шоу и Уэббов, не содержат возражений по существу дела. Его упрекали за неумение работать в коллективе, отсутствие хороших манер, торопливость, обидчивость. Его ошибка заключалась не в том, чего он хотел, а в том, какими методами он пытался добиться желаемого, и в его абсолютном неумении ждать. Пиз отказался печатать за счет общества «Беду с башмаками» — Уэллс потребовал его немедленной отставки. Исполком и так должны были перевыбирать весной 1907-го, но Уэллс хотел, чтобы перевыборы состоялись сейчас же. Его пытались



утихомирить — он нарывался на ссоры. В сентябре Шоу написал ему несколько писем, упрекая за нетерпимость: Эйч Джи, писал он, сам не заметил, как забыл о социализме ради организационных интриг. 1 октября Уэббы приехали в Сандгейт, дабы «образумить» Уэллса. Он был грустен, вял, угнетен и сказал о скандале вокруг «Дней кометы»: «Еще одна такая неудача, и мне снова придется зарабатывать на хлеб журналистикой».

Октябрь прошел в тягостных переговорах; решающее сражение было назначено на декабрь. В первой декаде ноября Уэллс поехал на несколько дней в Венецию — собраться с силами. Два месяца тому назад он начал работу над романом «Тоно-Бенге», но прервал ее ради новой серии публицистических статей, которые будут печататься в американском «Гранд мэгэзин», а в 1908-м, будучи отредактированы и дополнены, составят книгу «Новые миры вместо старых» (New Worlds for old). Текст получился не только компактным и легким для чтения, но и — по сравнению с «Современной утопией», например, — очень умеренным и мягким. Уэллс объяснял «на пальцах», как объясняют детям, что социализм — не страшный, что социалисты (настоящие, не марксисты) вовсе не собираются устраивать кровавых революций или обобществлять жен. Но в «Новых мирах» как никогда ясно звучит мысль о том, что с нынешними взрослыми новой жизни не построишь. Молодые же должны стать ясно мыслящими, миролюбивыми, лишенными эгоизма, жажды наживы и других вредных страстей, а достичь этого можно лишь посредством «образования и самодисциплины». Уэллс писал «Новые миры», как он сам пояснил, «для 17—18-летних», а Горький назвал американцев «подростками»; неудивительно, что Америка приняла книгу восторженно. Англичанам «Новые миры» тоже понравились — автор этого не ожидал.

Воодушевленный, он отправил книгу в Ясную Поляну — она по сей день хранится в библиотеке с пометками (предположительно) самого адресата, но ответа автор не получил и оставил Льва Николаевича в покое.

Когда Уэллс вернулся домой, состоялись несколько заседаний комитета по реформированию, и вскоре был опубликован итоговый доклад: он был сух, перегружен административными деталями, и Пиз, которому, казалось бы, это должно было понравиться, назвал его «гораздо менее вдохновляющим», чем «Ошибки фабианства». В докладе говорилось, что фабианцам необходимо написать новые книги о социализме, такие, как «Новые миры»; «Фабиан ньюс», периодическое издание общества, должно выходить не ежемесячно, а еженедельно; нужно издавать книги, такие, как «Современная утопия» (по сути Уэллс хотел основать при обществе собственное издательство); стремиться к привлечению новых членов, для чего упростить процедуру вступления в общество; создать первичные ячейки на местах; переписать программу, сформулировав в ней цели общества: а) передача земель и промышленности в государственную собственность; б) равенство мужчин и женщин; в) поддержка молодежи; переменить название на «Британское социалистическое общество». Все это фабианцы могли пережить. Но в докладе также предлагалось ликвидировать исполком и создать вместо него Генеральный совет, состоящий из 25 человек (в исполкоме на тот момент было 15 членов), который назначит три комитета по три человека — издательский, комитет пропаганды и комитет по общим вопросам. Лишь последняя тройка будет обладать реальной административной властью. Демократия в обществе таким образом сводилась к минимуму.

«Старая банда» еще два месяца тому назад была ознакомлена с докладом. Уэббов он пугал, но Шоу

воспринял его спокойно и писал Сидней Уэббу, что Уэллса нужно не отталкивать, а, напротив, вовлекать в административную деятельность. Надо принять некоторые из его предложений, но отвергнуть все, что касается «спецтроек», издательского бизнеса и перемены названия. К ноябрю было решено, что именно Шоу будет противостоять Уэллсу в прениях, и был подготовлен ответ исполкома на доклад комитета. Исполком признает, что общество нуждается в реформировании, поддерживает создание организаций на местах и не возражает против принятия новой программы. Исполком согласен, что было бы замечательно иметь кучу денег, новые шикарные офисы и тридцать тысяч курьеров, но, поскольку взять их покамест негде, этот вопрос представляется чисто спекулятивным. Исполком будет способствовать публикации хороших и умных трактатов, когда кто-нибудь даст себе труд их написать, но не считает возможным заниматься издательским бизнесом, а также пытаться сделать «Фабиан ньюс» доходным еженедельником, ибо периодических изданий в Англии и так полно и все пишущие члены общества, в том числе Уэллс, свободно в них публикуются. Исполком готов называться Генеральным советом и расширить свой состав, но не до 25, а до 21 человека, и назначить три управляющих комитета, но в них должны состоять все члены исполкома. Что же касается стратегических целей общества, то исполком предлагает ему трансформироваться в социалистическую партию среднего класса (Сидней Уэбб был против этого, но уступил большинству), а пока — выставлять кандидатов совместно с лейбористами.

Собрание состоялось 7 декабря. Шоу представил доклад исполкома, Сидней Оливье — доклад комитета. Уэбб предложил принять позицию комитета, но без отставки исполкома; Уэллс настаивал на отставке.

Около трети присутствовавших поддержали Уэллса, на его стороне были такие тяжеловесы, как Оливье и Хейден-Гест, и вся молодежь. «Старая банда» была встревожена: Уэллс расстроен, что ему не удалось завоевать большинство, но он просто ничего не смыслит (и слава богу!), на самом деле в эпоху кризиса треть — это очень много. В самом исполкоме сидят открытые враги — Тейлор, член комитета, и Хобсон, во всем соглашающийся с Уэллсом; если уступить и назначить перевыборы сейчас, неизвестно, как все может повернуться, тем более что рядовые члены общества так и не поняли, чем доклад исполкома отличается от доклада комитета — недаром преподобный Хедлем и Шарлотта Шоу подписались под обоими документами. Нужно время для перегруппировки сил и подготовки контрнаступления; отказом от компромисса противник сам себя загоняет в ловушку. Решено было продолжить прения 14 декабря.

Пока Уэллс мучился сомнениями, «старая банда» совещалась. С одной стороны, Уэллс мог перетянуть на свою сторону кого-то еще, с другой — сторонники исполкома, видя, что их большинство, могли просто не явиться на продолжение прений. Необходимо было представить дело так, будто требования Уэллса сводятся к одному вопросу: распускать исполком сию же минуту или нет. Итогом этих совещаний стал разосланный членам общества меморандум, в котором говорилось, что предложения Уэллса означают вотум доверия исполкому, в связи с чем исполком предупреждает, что подаст в отставку, если доклад комитета будет принят в неизмененном виде.

Эта артиллерийская подготовка достигла своей цели: одни сторонники Уэллса, с уважением относившиеся к исполкому, сочли, что сроки перевыборов значения не имеют и нужно идти на взаимные уступки, другие испугались, что общество,

предводительствуемое Уэллсом, без опытных администраторов, моментально развалится. Так что к моменту решающей битвы войско Уэллса совсем ослабело. Да и сам он 10 декабря, по словам Шоу, выглядел жалко, при личной встрече извинился (верится с трудом) и был готов пойти на попятную. Но на войне нет места жалости. Хьюберту Бланду, у которого были личные причины (о них позднее) ненавидеть Уэллса, Шоу приказал помалкивать и всех предупредил, чтобы воздерживались от нападок личного характера. Манера противника хорошо изучена: он ринется в открытое наступление, начнет оскорблять членов исполкома, браниться, произведет дурное впечатление и сам себя погубит. И настал вечер решающей битвы.

После вступительной речи Мод Ривз, призвавшей к единству, открылись прения. Уэллсу дали выступать первым. Он сбивался, повторялся, срывался на крик. Бланд нарушил приказ Шоу и сказал несколько слов о дурном влиянии Уэллса на молодежь, но это сыграло на руку «старой банде»: Уэллс завелся с пол-оборота и пошел ругать «стариков» на чем свет стоит. Тут уже все увидели, что он думать забыл про социализм и что для него главное — прогнать в отставку исполком. Его неприязнь к членам исполкома казалась необъяснимой (они-то его кусали исподтишка, а он их — публично), его торопливость — неоправданной. Потом выступал Шоу. Он сказал, что исполком поддерживает политику реформ. Однако поскольку Уэллс призвал провести вотум доверия, то к нему возникает встречный вопрос: готов ли он уйти в отставку, если собрание проголосует за доверие к исполкому? Уэллс попался в ловушку — ответил, что уходить не собирается. Этим он скомпрометировал себя раз и навсегда — даже Тейлор, самый ревностный из его влиятельных сторонников, признал, что при вотировании доверия-недоверия

правила едины для противоборствующих сторон. Вопрос о роспуске исполкома отпал без голосования — все были согласны дождаться выборов. В начале 1907 года состоялось еще шесть собраний, на которых продолжалось обсуждение предлагаемых Уэллсом реформ. Много рядовых членов общества были на стороне Уэллса, но серьезные союзники отпадали от него один за другим.

Шоу написал Уэллсу ободряющее письмо: пусть не думает, что его карьера в обществе окончена, нужно дождаться выборов. «Во-первых, Вам следует понять, что попытка утвердить Ваше моральное превосходство безнадежно провалится, когда Вы имеете дело с такими старыми и опытными игроками, как мы; во-вторых, Вы должны обучиться этикету публичных дискуссий». Со стороны Шоу это может показаться предательством по отношению к исполкому, но его побуждения были иными. Он всегда относился к Уэллсу очень тепло (как к забавному маленькому мальчику); кроме того, уход Уэллса был не в интересах общества — уж очень велика его популярность у широкой публики. Уэллс кротко снес эти поучения, но не сделал попытки им последовать, так что позднее выведенный из терпения Шоу сказал о нем: «Все пороки, которые он справедливо обнаруживал у своих коллег — обидчивость, догматизм, безответственность, — присутствовали у него самого, только умноженные в миллион раз. <...> Чем хуже он себя вел, тем больше ему спускали, и чем больше ему спускали, тем хуже он себя вел». Перессорившись с фабианцами, Эйч Джи попытался искать поддержки на стороне. Он обратился за помощью к бывшему фабианцу, лейбористу Рамсею Макдональду — тот очень холодно отказал. Уэллс воззвал к Джону Голсуорси, которого начал считать своим другом после того, как в разгар травли за «Дни кометы» получил от

него очень сочувственное письмо. Но Голсуорси не имел намерения ввязываться в чужие интриги.

Тем временем предложения Уэллса принимались: исполком утвердил свою новую структуру и новые правила вступления в общество; начали обсуждать новую программу; отделения на местах открывались; «Фабиан ньюс» начала выходить еженедельно. В апреле прошли выборы. Их результаты удовлетворили «старую банду». Они на короткое время удовлетворили и Уэллса, который при голосовании занял четвертое место — после Сиднея Уэбба, Пиза и Шоу — и был избран в исполком. Но все продолжилось по-старому. Главная проблема, которая теперь занимала общество, — становиться ли партией миддл-класса или сосредоточиться на помощи лейбористам? Пиз и Уэбб считали, что сделаться самостоятельной партией нереально и бесполезно, Шоу им возражал. Уэллс попеременно критиковал обе позиции, так что никто не мог понять, какого мнения он придерживается.

А его вообще не интересовал парламентаризм. Единственное, что могло его удовлетворить, — создание «настоящей» партии, которая бы а) занималась не какими-то там выборами, а воспитанием молодежи и б) провозгласила своей целью не какие-то там реформы, а построение новой цивилизации на Земле. В статье «Так называемая социологическая наука» он писал, что мечтает о создании грандиозного труда об идеальном обществе: «Эта картина идеального общественного состояния должна стать стеновым хребтом социологии. Большие разделы будут посвящены таким проблемам, как определение Идеального Общества, его отношение к расовым различиям, взаимоотношения полов внутри него, его экономика, система образования... быт и нравы и т. п.». Зачем идти в парламент, когда мы так и не договорились о том, каким образом люди будущего

должны жениться и какую одежду им носить?! Если «нормальный политик» потихоньку шагает в более-менее заданном направлении, корректируя путь в зависимости от ситуации, то Уэллс считал, что без прорисованного до деталей и не подлежащего пересмотру плана и с дивана-то вставать не имеет смысла. Общественную деятельность он уподоблял строительству: сперва архитектор начертит на бумаге план: тут кафель, здесь окошко, толщина дверных ручек три дюйма, — а затем уж строители приступят к работе, и горе тому, кто положит красный кирпич вместо желтого. Придумать сразу «всё про всё» — вот чем должно было заниматься Фабианское общество, а не чепухой вроде политики.

Естественно, никто из членов исполкома этих утопических идей даже обсуждать не желал. Эйч Джи выступал редко, стал безучастным. В мае он предпринял последнюю попытку чего-то добиться: разослал членам общества меморандум, в котором говорилось, что общество должно сосредоточить свою деятельность на «развитии социалистической теории», а также вновь призывалось к отставке исполкома. Разговоры об отставке всем наскучили, под меморандумом подписались только 27 человек, большинство из них потом свои подписи отозвали. Исполком назначил комитет по переделке программы, куда включили Уэбба, Шоу, Уэллса и Сиднея Болла: заседания комитета Уэллс игнорировал. Он устал. Он видел, что над ним смеются. «Общество не хотело ни отдаться на мою волю, ни изгнать меня. Его вполне устраивало такое развлечение».

Почему Уэллс не ушел из общества летом 1907-го, а ждал еще год с лишним? Его удерживали юные фабианцы, единственные, кто не смеялся над ним и чей юношеский максимализм соответствовал его утопическим стремлениям. В апреле 1906-го в



фабианской среде образовалась группа под названием «Фабианская детская» (многие ее участники действительно были детьми взрослых фабианцев): она имела собственный исполком, проводила дискуссии и лекции, организовывала студенческие кружки и даже издавала газету, раздаваемую из рук в руки. В декабре 1905-го при Кембриджском университете была основана другая молодежная организация — «Кембриджское университетское фабианское общество»: ее члены устраивали публичные собрания, приглашая на них девушек наравне с юношами, что было по тем временам довольно смело, обсуждать широкий круг вопросов — от религии до секса. В обеих группах (частично пересекавшихся по членству) Уэллса очень высоко ценили. А ему было в них интересно; когда его затаив дыхание слушали подростки, все его ораторские недостатки исчезали. Построить новую цивилизацию и породить новую расу — такие задачи 17—18-летним как раз по плечу.

В тот же период внутри Фабианского общества были созданы и другие группы по интересам, кроме молодежных — в них Уэллса тоже привечали очень тепло. Была «женская группа», радикальное крыло которой вплотную примыкало к суфражистскому движению, возглавляемому знаменитой Эвелиной Панкхерст; Мод Ривз, один из наиболее активных членов этой группы, при обсуждении программы общества горячо выступала на стороне Уэллса. Была «группа искусств», которую основали Холбрук Джексон и Альфред Оредж, издатели литературно-философского журнала «Нью эйдж»: члены этой группы мало говорили о социализме, но много — об искусстве, ницшеанстве, мистике; аудитории собирались огромные, но, сверкнув очень ярко, группа развалилась спустя полтора года. Существовали также группы биологии, образования и местного самоуправления; их деятельность была Уэллсу

интересна, он принимал участие в разработке их программных документов и, выступая на собраниях, говорил так же блестяще, как перед гостями у себя за столом или в гостиной леди Элшо. Увы, он не ограничился лекциями. Он слишком сильно заинтересовался хорошенькими слушательницами.

## **Глава пятая ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ**

Человек, пишущий мемуары, имеет прекрасную возможность объяснить человечеству, что его супружеские измены — дело естественное, и убедить всех, что они должны сочувствовать ему, а не его супругу, который сам во всем виноват. Уэллс в этих объяснениях старался больше других и преуспел меньше всех, потому что объяснял слишком много и настойчиво. Мужчина может бравировать своими похождениями, но, чтобы нравиться публике, он должен делать это элегантно и легко, как Казанова, а не со злобой и раздражением, как Стриндберг. Героиня уэллсовского романа «Жена сэра Айзека Хармана» говорит: «Конечно же не надо было мешать Виктору Гюго жениться столько раз, сколько ему хотелось. Он делал это так красиво. Он умел все делать с блеском». Сам Эйч Джи не умел с блеском ни жениться, ни разводиться, ни рассказывать об этом.

Уэллс-волокита, Уэллс-бабник — в советские времена мы такого Уэллса не знали. Но в последние годы модно писать именно об этом Уэллсе. «Сатир из Бромли»! «Гарем Уэллса»! Женщин в его жизни было и вправду много, но бывает и больше. Однако все его романы были какие-то вызывающие, со скандальным привкусом — так что, когда читаешь журнальные статьи, может сложиться впечатление, будто этих женщин были сотни. Виноват, разумеется, сам Уэллс: не

только тем, что заводил все эти романы, но и тем, что много о них распространялся. «Постскриптум» к «Опыту автобиографии» стал доступен читателям только в 1984 году; тотчас пошел вал книг, в которых частной жизни Уэллса уделялось пристальное внимание, а глянцевого журналы заполнились статьями, где из этих книг выбиралось самое «жареное» — так и возник образ «сатира из Бромли». Но даже если бы третий том никогда не увидел света, Уэллс и в первых двух дал достаточно оснований для того, чтобы о нем писали как о человеке, отличающемся необыкновенной сексуальной озабоченностью. Четырнадцатилетний мальчик с вожделением и опаской глядит на девиц; у семилетнего ребенка — надо же! — картинки в журналах «пробудили подобие сексуального сознания», и каждый такой эпизод тщательно запротоколирован.

В пору юности Уэллса говорить вслух «про это» было не принято; он считал такую практику страшнейшим заблуждением, из-за которого люди вступают во взрослую жизнь, имея искаженные представления о сексе — отсюда несчастливые браки и подпольные аборты. Своей откровенностью он намеревался подать пример — как надо честно писать о «половом вопросе»: прежде всего признать, что секс существует, что подросток и даже ребенок имеет сексуальные переживания и это нормально. Но он опоздал: уже в 1930-е годы общественная мораль сильно отличалась от морали его отрочества, и признанием, что в возрасте шестнадцати лет человека «начали переполнять странные и возбуждающие мысли о сексуальной жизни», трудно было кого-нибудь удивить, а в 1980-е и подавно. Но раз уж он все это вытащил на свет — биографы обязаны повторять. Хуже того, поскольку другие Замечательные Люди примеру Уэллса не последовали, считая, что необязательно упоминать в мемуарах о каждой журнальной картинке, на которую в

детстве поглядел с вожделением, и соответственно их биографы ни о чем подобном не пишут, то получается, что в главах, посвященных детству и отрочеству других знаменитостей, «секса нет», а в главах о детстве нашего героя он есть, и у читателей создается впечатление, будто один только Берти Уэллс был сексуально озабочен.

Начиная с 1903-го Эйч Джи стал надолго пропадать из дому. Кэтрин сидела одна, тоскующая, несчастная; а когда муж возвращался в Сандгейт, следом приезжали толпы гостей, среди которых были и его любовницы, и она должна была обслуживать их и улыбаться им, поддерживать беседу и создавать впечатление (которое никого не обманывало), что супружеский очаг функционирует превосходно. Ну, не стоит, наверное, изображать ее такой уж невинной жертвой, было и в ней что-то плохое? Наверное, было, но об этом ничего не известно. Все мужчины-друзья Уэллса любили ее. Ею восхищался Энтони Уэст, сын Уэллса и женщины, что станет ее соперницей. В том плохом, что писали о ней Ричардсон и Беатриса Уэбб, нет ничего, кроме дамских колкостей: не умеет говорить умно, не так причесана, недостойна великого мужа, выставляет себя на посмеище. Сам Уэллс не сказал о ней ни единого дурного слова, не упрекнул ни в чем, кроме фригидности — да и та у нее была «от природы».

Он убеждал себя и читателей своих мемуаров, что ей было все равно. «Джейн считала, что я вправе распоряжаться собой и что судьба жестоко обошлась со мной, связав меня сперва с невосприимчивой, а потом — с чересчур хрупкой спутницей. <...> Ревность она подавляла, предоставляя мне столько свободы, сколько я хотел». Все это говорится с беспредельным эгоизмом — не мужским, а подростковым. Уэллс писал, что они с Кэтрин «питали отвращение к институту брака» и оба стояли за свободу. Да, но только это была не та

свобода, как у Сартра с Симоной де Бовуар или Сальвадора Дали с Галой, где свободный образ жизни вели оба партнера, а свобода на старый манер — только для одного. «Я вправе распоряжаться собой». Я, я, я... Что было бы, если бы Кэтрин сочла себя вправе распоряжаться собой в том же самом смысле, что и ее муж? Неизвестно. Но она отказалась от такой свободы для себя, а Уэллс принял ее отказ как должное. Он убедил себя, что верность и преданность его жены, как и ее физическая холодность, обусловлены некими природными особенностями: любовь ей не требуется, ибо она «чересчур хрупка» и у нее «мало воображения». «Как и я, она чувствовала, что при всей своей сложности союз наш уже неуязвим; мы росли друг в друга, и она, возможно быстрее меня, поняла, как мало нужна нам монополия на страстную близость». Все слова, какие Эйч Джи счел нужным написать о Кэтрин, исполнены восхищения и благодарности. В них не найти лишь одного — простого признания того факта, что он причинял ей боль. А боль была сильной, смирение с потерей «монополии на близость» — вынужденным, заявление Уэллса, что любовь в ней угасла — лживым, и пресловутое мужество нередко изменяло ей:

«Я чувствую себя такой усталой сегодня вечером, изображая жену и домохозяйку. Если осталось на свете место, которое мне хоть чуточку дорого, это место в твоих объятиях, у твоего сердца. <...> Я люблю тебя и знаю, что я твой единственный друг, если не считать огромного множества людей, которые привлекают тебя больше, чем я. Дорогой, мне не следовало бы посылать тебе это письмо, это просто дурное настроение, ты знаешь, но у меня уже нет сил написать другое и я выставила себя в самом глупом свете. Все хорошо, ты же знаешь, просто я устала находиться в собственном обществе и сама заболела от общения с такой, как я. Как только ты можешь выносить меня!»

Кэтрин написала это письмо в апреле 1906-го, когда Уэллс был в США; неизвестно, было ли оно отправлено. Большая часть их переписки не сохранилась, но все же известно, что она написала ему в разные годы еще несколько подобных писем. «Дорогой, дорогой, дорогой, самый дорогой — не забывай меня — не бросай меня. Верь в меня хоть немножко — я постараюсь, чтобы ты поверил. О, я люблю тебя и тоскую — тоскую — тоскую. Мой самый, самый дорогой. Твоя (бесстыжая) жена». Это было написано в 1901-м, когда муж сбежал из дому после рождения первенца. А вот — годом позднее: «Дорогой, мне очень жаль, что я была такая глупая и плакала, когда ты пришел. Я вовсе не была в плохом настроении, просто как-то так получается, что ты доводишь меня до предела, и любая глупая мелочь заставляет меня плакать». Осмеливаясь иногда на робкий упрек, она всякий раз обвиняла себя и просила прощения... за что? Уэллс объяснил это в романе «Жена сэра Айзека Хармана»: «Наиболее общее различие между полами, вероятно, заключается в том, что, когда мужчина ругает женщину, если только он делает это достаточно громко и долго, у нее возникает чувство вины, а когда роли меняются, то у мужчины это вызывает лишь смертельную злобу».

Он не сказал попросту, что его к Кэтрин не влекло, а тянуло к другим, — нет, он обосновал свой отказ от близости с нею ее «природными особенностями»; он не сказал, что заставлял ее мучиться — нет, он придумал, будто она, в силу тех же загадочных природных особенностей, была от его измен счастлива. Он сочинил целую теорию, объясняющую, почему переходил от одной женщины к другой: теорию о «Призраке Возлюбленной» — «милой, мудрой, великодушной и безоговорочно преданной», а также сексуально привлекательной, — что сформировался у него в раннем детстве и который он неумоимо разыскивал повсюду;

он объяснял свое влечение к той или иной женщине не тем, что ему понравился ее голос, или глаза, или шея, а тем, что ему в ней почудился этот Призрак. Он гонялся за прекрасным призраком и жил с красавицами, но ни одна из его связей, ни в его собственном изложении, ни в чужом, не выглядит красивой. Многие знаменитости вели себя не порядочнее Уэллса, но у них достало ума помалкивать. Он говорил правду там, где другие лгут, и лгал там, где другие говорят правду. Он лез из кожи Вон, чтоб оправдать свое отношение к жене, и не подумал смолчать о попытках соблазнить опекаемую им девушку. Кто его тянул за язык? Он не придавал ни малейшего значения материальной помощи, которую оказывал бывшим возлюбленным, но с гордостью писал, как переплатил проститутке.

Причины некоторых его умолчаний или лжи понять трудно: например, когда речь идет о Дороти Ричардсон, с которой он в 1905 году вступил в любовную связь. В мемуарах он пренебрежительно отозвался о Дороти как о привлекательной «блондинке»; читатель делает вывод, что это была мимолетная интрижка. В действительности связь Уэллса и Ричардсон длилась два с половиной года, после чего их отношения перешли в товарищеские и навсегда остались таковыми; он переписывался с нею до конца своих дней, она приезжала к нему в гости со своим мужем, художником Аланом Одлом, помогала ему в издательских делах, его взрослые дети гостили у нее и считали ее своим другом. Ричардсон не была «пустышкой». Вместе с Эйч Джи она посещала собрания Фабианского общества, они, как видно из их переписки, обсуждали социальные и литературные вопросы. Она писала романы в форме «потока сознания»; Уэллсу это литературное направление было чуждо, но работы Ричардсон ему нравились. Связь не обошлась без последствий — весной 1907-го Дороти забеременела, а

летом сделала аборт. Об этом откровенный Эйч Джи в мемуарах сказать забыл. Он постарался убедить читателей в том, что связь была «без проблем». Книги Ричардсон говорят иное: она надеялась на серьезные отношения, мучилась, происходили ссоры и скандалы. Вряд ли ее нежный друг об этом не знал.

Было и другое: книги Ричардсон продавались очень плохо; она не только не могла заработать, но оказалась должна за издание романа «Паломничество». Уэллс заплатил ее долг. Картины ее мужа не продавались — Эйч Джи покупал их, знакомил художника с влиятельными людьми, а когда Одл с женой приезжал гостить к Уэллсам, ему предоставлялась студия для работы. Много лет спустя Уэллс назначит состарившейся Ричардсон ежемесячный пенсион — это помимо разовых выплат. Он всюду расхваливал ее книги. Он не любил Дороти, у нее был собственный муж, а он помогал ей в течение сорока лет. Его поступками руководила не этика, а «протез этики»? Возможно. Но большинство из нас предпочитают обходиться и без этики, и без протеза...

Поначалу Эйч Джи заводил связи с «богемными» женщинами: Вайолет Хант, которую Грант Ричардс охарактеризовал как «умнейшую, красивейшую и привлекательнейшую женщину своего времени», литератором Эллой д'Арси. Они были самостоятельны, не слишком юны, свободно жили с разными мужчинами. Но в 1906-м он связался с женщиной иного типа. Дочь Хьюберта Бланда была красивой девушкой, вокруг нее вилось много поклонников (в частности, Сесил Честертон); Уэллс видел ее еще ребенком, но общение между ними началось, когда Розамунда стала секретарем «Фабианской детской». От разговоров о социализме они перешли к беседам на личные темы и, как пишет Уэллс, Розамунда пожаловалась ему на сексуальные домогательства со стороны своего отца.



(Неизвестно, было ли это правдой.) Вскоре завязался роман. Мачеха девушки, Эдит Несбит, была возмущена — по словам Уэллса, из вредности, ибо она «неприязненно относилась к сексу», а по мнению некоторых биографов, потому что она сама находилась в связи с Уэллсом. Несбит написала Кэтрин о том, что ее муж ей неверен; Эйч Джи это не остановило. Как далеко зашли отношения с Розамундой — неизвестно: Уэллс, рассказывая об этом эпизоде, изрядно темнит. Биографы полагают, что в 1906-м они с Розамундой провели несколько дней в отеле. Достоверно известно одно: когда они собирались в совместное путешествие, Бланд выследил их на вокзале и учинил публичный скандал (поговаривали, что имело место рукоприкладство), после чего Розамунда вернулась с отцом домой, а Бланд все рассказал фабианцам.

Разгорелся скандал; старшие фабианцы были шокированы, Сесил Честертон и Клиффорд Шарп, казначей «Фабианской детской», тоже влюбленный в Розамунду и в конце концов на ней женившийся, из сторонников Уэллса превратились во врагов. Шоу пытался замять скандал: Бланда уговаривал не трезвонить о случившемся, а Уэллсу писал увещающие письма. Эйч Джи сперва отвечал ему в туманных выражениях: «Вы не знаете ситуацию в целом», «Все это чепуха», жаловался на Бланда и Несбит, которые «нагородили чудовищной лжи вокруг всей этой истории»; потом, обозленный, перешел в нападение — «что за викторианскую мораль вы проповедуете!» — и еще пуще обругал супругов Бланд, чья собственная распущенность, по его логике, была единственной причиной того, что он решил соблазнить их дочь.

К середине 1907-го Уэллс закончил писать новый роман — «Война в воздухе» (The War in the Air, and Particularly How Mr. Bert Smallways Fared While It Lasted). Самолеты уже не в первый раз появлялись в его книгах: он описывал воздушные бои в «Спящем», будущее военной авиации в «Предвидениях». Авиаконструированием занимался его друг, изобретатель Джон Уильям Данн: он разработал модель бесхвостого самолета, потом продал лицензию на его производство фирме «Берджесс» и несколько самолетов этого типа было построено, но широкого применения они не нашли. У Данна была лаборатория в Фармборо, которую Уэллс посещал много раз; беседы с Данном нашли отклик и в «Войне в воздухе». Он также интересовался работами пионеров авиастроения братьев Вуазен, а когда после Первой мировой войны Габриэль Вуазен перешел от производства аэропланов к автомобилям, стал одним из первых покупателей: видимо, был убежден, что лучшая машина та, которую построил авиатор. Замятин называет Уэллса «неугомонным авиатором», а его фантастическим романам приписывает «стремительный, аэропланый лёт сюжета». «Аэроплан, дерзающий на то, что раньше дозволено было только ангелам, — это, конечно, символ творящейся в человечестве революции: и об этой революции все время пишет Уэллс». Авиаторы будут фигурировать во многих книгах Уэллса; для него летчик (наряду с кошкой) — самое прекрасное существо, что обитает на земле и в небе.

Покупатели на новый роман отыскивались немедля — бедные читатели так редко теперь получали от автора «Войны миров» что-нибудь остросюжетное! — и с конца 1907-го сразу несколько журналов в Англии и США начали печатать «Войну в воздухе» в отрывках, а в 1908-м вышла книга в издательстве «Джордж Белл энд санз». Германия нападает на Англию и США, все

охвачено хаосом. Берти Смоллуэйз — «простая душа», как Киппс, — оказывается втянутым в водоворот событий, теряет близких, но в финале, когда цивилизованный мир уже не существует, находит любимую и, как немногие выжившие, начинает жить в примитивной общине «жизнью, скудной и бережливой, неразрывно связанной с коровами, и курами, и маленькими полями, жизнью, которая пропахла коровником, избыток энергии которой поглощался ею же самой порождаемыми микробами и паразитами». Такие общины, возникшие после краха цивилизации, с удовольствием описывали Робер Мерль и Джон Уиндем и с отвращением — Джек Лондон; Уэллсу их описывать было скучно. Его интересовали только выводы: «Более разумный мир понял бы очевидную необходимость слияния государств, спокойно обсудил бы и осуществил его и продолжал бы создавать великую цивилизацию, что было вполне по силам человечеству. Но мир Берти Смоллуэйза не сделал ничего подобного. Правительства разных стран, влиятельные группировки в них не желали видеть очевидности: слишком полны были все взаимного недоверия и не способны благородно мыслить».

В октябре 1907-го возобновилась затихшая было кампания в прессе против «Дней кометы». Представители Джонсона-Хикса, члена парламента от консерваторов, распространили памфлет, в котором говорилось, что, если противник Хикса победит на выборах, это откроет дорогу разврату, к каковому призывает Уэллс. Тогда же газета «Спектейтор» опубликовала статью «Социализм и половые отношения», полную злых нападок на роман Уэллса и его частную жизнь. Неизвестно, имел ли Джонсон-Хикс какое-либо отношение к этой статье, но Уэллс был в этом убежден и потребовал извинений. «Кто-то из ваших людей вбил себе в голову, будто закон о клевете

на социалистов не распространяется и социалист не может защитить свои права. Я развею это глупейшее убеждение». Он также предлагал Джонсону-Хиксу прочесть другие его произведения, дабы убедиться, что в них нет призывов к беспорядочной половой жизни. Он опубликовал в «Нью эйдж» статью, в которой объяснял, что, во-первых, его текст неверно поняли, а во-вторых, роман не имеет к социализму ни малейшего отношения. То и другое было ложью, но такой, в которой трудно уличить, намеки на аморальное поведение не имели доказательств — фабианцы предпочитали не выносить сора из избы, главное обвинение — в призыве к беспорядочным половым сношениям — доказать тоже было сложно. Противники пошли на попятный, «Спектейтор» извинился. Уэллс был доволен и считал себя победителем.

На горькое письмо Бертрانا Рассела, упрекнувшего его в отказе публично защищать свои принципы, он ответил, что будет защищать их, когда заработает достаточно денег, чтобы ни от кого не зависеть. Он не раз жаловался друзьям, что у него мало денег для того, чтобы вести себя независимо; вообще-то денег было предостаточно. «Война в воздухе» принесла ему более трех тысяч фунтов, за «Тоно-Бенге» он получил от Макмиллана аванс в полторы тысячи, переводы его книг издавались в десятках стран. Но он, выросший в бедности, каждый раз, заработав своим трудом очередную кучу денег, предполагал, что эта куча может оказаться последней. И при этом он никогда не был уличен в скопидомстве, жил на широкую ногу, раздавал деньги каждому, кто попросит, радовался, когда Кэтрин снимала деньги с их общего счета для занятий благотворительностью (которой он в принципе не одобрял!), больших накоплений так и не сделал — поди пойми этого человека...

В мае 1908 года он предложил издателю Кэзену поискать покупателя на то, что сейчас называют «проектом», — журнальный сериал, герой которого — «кариатура на преуспевающего журналиста вроде меня» — грезит о мире будущего. Запросил аванс в 2500 фунтов — покупателя не нашлось. Тогда он (все еще не закончив «Тоно-Бенге») сел писать роман «Анна-Вероника» (Ann Veronica).

Героиня — не портрет Розамунды Бланд, Кэтрин Уэллс или очередной юной фабианки, Эмбер Ривз, которая с весны 1908-го начала привлекать автора; Анна-Вероника — идеальный образ. Она умна, красива, «ее охватывало страстное и нетерпеливое желание чего-то, а чего, она и сама хорошенько не знала». Ее поклонник Мэннинг пытается внушить ей, что она должна быть только объектом обожания. В ее жизни появляется другой мужчина, Рэмедж, который разглагольствует о «новой женщине»; под влиянием его речей девушка уходит из дому, ищет работу, отец от нее отрекается. Она связывается с представительницами суфражистского движения, которых Эйч Джи изобразил круглыми идиотками, а те вводят ее в Фабианское общество, но умная Анна-Вероника гораздо быстрее автора понимает, что с фабианцами каши не сваришь: «Все они не умели спорить, страдали самомнением и непоследовательностью суждений, а это вредило делу». Не найдя работы, Анна-Вероника осознает, что ей нужна профессия. Рэмедж оказывает ей денежную поддержку, и она поступает на курс биологии и заводит дружбу с преподавателем Кейпсом (Уэллсом). Автор облагородил ситуацию: Кейпс женат, но с женой давно не живет; он старше Анны-Вероники, но не на двадцать лет, а на десять.

Анна-Вероника принимает участие в акции суфражисток, ее арестовывают, она испугана, а тут еще

Рэмедж объясняет, что никакой профессии ей не нужно, ибо «ее профессия — тепло жизни, пол и любовь», и пытается ее изнасиловать, после чего требует вернуть деньги. Она решает сдаться: дает Мэннингу согласие на брак, примиряется с отцом. Но занятия биологией не бросает, и вскоре они с Кейпсом признаются друг другу в любви. Она отказывает Мэннингу и уезжает с Кейпсом в Швейцарию, где они живут счастливо и так благополучно, что даже ее отец примиряется с этим. То был бы совершенно викторианский happy end, если бы Кейпс взял на себя труд развестись с женой и жениться на Анне-Веронике. Но Эйч Джи такой оборот событий не устраивал. Девушка должна жить непременно с женатым мужчиной, иначе весь смысл ее бунта теряется.

В мае Уэллс ездил на собрание Кембриджского университетского общества; после собрания устроили ужин. Были Сидней Оливье с женой, Уэллс и четверо юных фабианцев: Марджори, дочь Оливеров, поэт Руперт Брук, Бен Килинг и Эмбер Ривз. После этого вечера Брук отметил, что между Уэллсом и Эмбер завязываются какие-то отношения. Встречи продолжались все лето. Отношения не укрылись от вездесущей Беатрисы Уэбб, определившей их как «опасную дружбу»; саму Эмбер, красивую двадцатилетнюю девушку, она охарактеризовала как «очень живую и, полагаю, очень умную, но ужасную маленькую язычницу — тщеславную, эгоистичную, равнодушную к другим людям». Большинство людей, знавших Эмбер в юности, отмечали ее эгоизм, взбалмошность и привычку идти напролом. Но Эмбер также была блестящей студенткой; она с отличием окончила курс философии морали в Кембридже и поступила в аспирантуру к Грэму Уоллесу в Лондонскую школу экономики. Друг Уэллса Гилберт Меррей (филолог, специалист по Древней Греции) писал об

Эмбер, что ему «никогда не приходилось встречать юное существо, которое умело бы так ясно и при этом диалектически мыслить и хорошо писать». Впоследствии Эмбер Ривз напишет ряд серьезных работ по экономическим вопросам. Не Софья Ковалевская, но и не пустышка.

С семейством Ривзов Уэллс познакомился в 1904 году: Пембер Ривз — бывший член парламента, затем министр просвещения и юстиции Новой Зеландии, а в Англии — директор Лондонской школы экономики, член кружка «Сподвижники»; его жена Мод — активистка женского движения; оба очень тепло относились к Уэллсу, дружили домами, семья, несмотря на феминизм жены, вполне традиционная. Так что, в отличие от ситуации с Бландами, винить родителей девушки Эйч Джи вроде бы не мог. И все же сделал это. Пембер Ривз, «как многие мужчины показного целомудрия и незапятнанной репутации (по Уэллсу, если человек живет со своей женой, а не с чужими, это может быть только показным. — М.Ч.), вбил жене в голову, что сексуальная сторона брака мерзопакостна, болезненна и причиняет неудобства». По мнению Уэллса, именно поэтому Мод стала суфражисткой (женщина, удовлетворенная своей сексуальной жизнью, такими глупостями заниматься не станет), а если ее муж этому не противился — так это тоже показное. В общем, распутный Бланд нехорош, целомудренный Ривз — еще хуже, а матери могут протестовать против сожительства их дочерей с женатыми мужчинами лишь по одной причине: мужья «вбили им в голову ненависть к сексу». Но дочери-то понимают, кто им нужен: «Какое-то время я удерживал наши отношения в рамках большой взаимно обогащающей и аскетической дружбы. <...> Я старался подавить свои чувства к ней, но однажды она разбила тонкий лед моей сдержанности, сказав, что влюблена, а когда я спросил,

„в кого“, бросилась в мои, конечно же охотно раскрывшиеся ей навстречу, объятия».

Фабианцы были возмущены, но не пытались изгнать Уэллса за его похождения; он сам охладел к обществу: «Нет, решил я, не здесь строить Новую Республику и уж во всяком случае не мне». Он пропускал собрания, почти не выступал. Уэбб и Шоу пытались обсуждать с ним программу общества — он отказывался. Приятельские отношения с четой Уэббов и четой Шоу сохранялись, но встречи становились реже. Уэллс вновь стал проводить больше времени с литературными друзьями: братьями Джеймс, Гилбертом Честертоном (который не перенял у своего брата вражды к Уэллсу), Конрадом, Фордом. С последним Уэллс весь 1908 год общался по делу: еще в начале года Форд и Эдвард Гарнетт (писатель и литературный критик) предложили ему участвовать в проекте нового литературно-художественного журнала «Инглиш ревью». Журнал должен был представлять собой издание для культурных людей, где будет публиковаться самая лучшая современная проза, в том числе — модернистская, которую в то время печатать было нигде, а также литературные и театральные обзоры и т. д. «Ядро писателей должно собраться вместе, чтобы началось движение, чтобы неизвестные таланты могли расти».

Форд казался идеально подходящим человеком для организации нового журнала. Он был энергичен, известен, влиятелен, был успешным и популярным писателем, знал всех и вся: Тургенева, Томаса Гарди, Йетса; он дружил с издателями, через Уэллса сошелся с фабианцами, был членом литературного клуба «Сквер», основанного Коннелом О’Риорданом и Честертоном, его друг Мастермен открыл ему доступ в парламентские круги; другой друг, Артур Марвуд, богатый человек, предоставлял денежную поддержку; жена Гарнетта



Констанция обеспечивала переводы русских книг. Уэллса, всю жизнь мечтавшего о собственном издательстве или журнале, идея увлекла и он готов был вкладывать в нее значительные средства. Он также рекомендовал Форду свою любовницу Вайолет Хант, искавшую литературной работы, — и тотчас потерял ее, ибо Хант стала не только секретарем «Инглиш ревью», но и подругой Форда. Это обстоятельство Уэллса не слишком огорчило и не повлияло на его отношения с другом.

Гарнетт вскоре от руководства самоустранился, Форд остался единственным хозяином дела. Уэллс, Конрад и Марвуд помогали ему «вербовать художников, которые будут писать, и людей доброй воли, которые будут читать», по выражению Вайолет Хант, определившей собственную роль как «прислуга за все». Договорились, что Уэллс будет одним из соредакторов и понесет половину расходов. Он был полон энтузиазма и занялся лоббированием нового журнала во всех кругах, куда имел доступ. Это занятие могло сгладить горечь неудачи, которую он потерпел в Фабианском обществе. «Я пытался отступить, сохраняя достойный вид, но это было нелегко. Пришлось проглотить горькую пилюлю и примириться с тем, что я пытался что-то сделать, но не смог. Пришлось признать, что у меня нет организаторских способностей, я не умею вести за собой. Чтобы как-то утешиться, я говорил себе, что оно и лучше для писателя». 16 сентября Уэллс отправил Пизу письмо с просьбой об отставке. 26-го собрался исполком и отставка была без возражений принята. (Кэтрин, которая по итогам последних выборов тоже была включена в состав исполкома, в отставку не подала.) Друзья Уэллса восприняли произошедшее с облегчением. Гарнетт заявил, что фабианские идеалы мешали Уэллсу; Рамсей Макдональд прислал пространное письмо, в котором ругал фабианство;

журналист Массингем написал, что отставка Уэллса, может и пойдет во вред прогрессу, зато на пользу литературе. Уэллс опубликовал статью в «Нью эйдж», где объяснял, что расстается с фабианством ради «социализма вообще». В общем, все уладилось, ко всеобщей радости.

\* \* \*

В день, когда Уэллс получил письмо от Пиза, извещавшее, что его отставка принята, он отправил Макмиллану текст «Анны-Вероники». Макмиллан прочел и ответил отказом, обосновав свое решение тем, что столь скандальный роман скомпрометирует издательство. Это означало разрыв отношений — но Макмиллану хватило убытков, понесенных из-за «Дней кометы». Навряд ли книгу удалось бы пристроить, но помог случай: Уэллс получил письмо от Стэнли Ануина из издательства «Ануин», в котором спрашивалось, нет ли у него какой-нибудь непристроенной рукописи. Ануин рассылал такие письма всем беллетристам подряд и был приятно удивлен, когда на одно из них немедленно откликнулся такой литературный «кит», как Уэллс. Был заключен договор на 1500 фунтов. Ровно через год книга окажется на прилавках: впереди новый скандал.

Очередной же публицистический трактат Уэллса, вышедший осенью 1908-го в издательстве Констебла — «Первое и последнее» (First and Last Things: a Confession of Faith and a Rule of Life), — фурора не произвел. Биографы Уэллса, за исключением Смита, не уделяют ему особого внимания. А вещь значимая — автор переиздавал ее, исправленную и дополненную, трижды. В ней он впервые собрал воедино свои, ранее высказываемые отрывочно, философские воззрения; в

ней он разъясняет нам, что такое человечество, жизнь, смерть, бог, любовь, красота, добро и зло. Если «Предвидения», «Человечество в процессе созидания» и «Современная утопия» представляют собой социологию всего, то «Первое и последнее» — его онтология и отчасти гносеология.

Уэллс начинает свою работу с рассуждения о релятивистском характере того, что принято называть истиной: «Мы все склонны игнорировать наше умственное несовершенство и говорить и поступать так, словно наши умы являются точными инструментами, которые у всех, за исключением безумцев, функционируют правильно». Нам следует признаться себе как в несовершенстве наших мозгов, так и в том, что социальные, этнические и иные группы, к которым мы принадлежим, накладывают отпечаток на наше мышление, в результате чего одни и те же понятия мы толкуем по-разному; нам следует помнить: то, что мы считаем верным, может быть неверным для других людей; нам следует обучиться мыслить непредвзято — лишь в этом случае мы усвоим истину, которую нам далее поведает автор и которая, по его собственному предупреждению, также может оказаться ошибочной.

Чем мы отличаемся от животных? На первый взгляд сравнение не в нашу пользу: у них жизнь индивидуума приносится в жертву сохранению вида, у нас личные и групповые интересы преобладают над общественными; у них вид совершенствуется естественным образом, а о нас, потерявших регулятор в виде естественного отбора, заботиться некому. Мы разобщены, мы подчеркиваем наши этнические, религиозные и половые различия, забывая о том, что принадлежим к одному виду, наши поступки чаще диктуются ненавистью, чем любовью, и все это приводит к тому, что мы убиваем друг друга, прекрасно зная, в отличие от животных, что

это нехорошо. Кажется, что наше существование бессмысленно и мы не сможем стать лучше.

Но автор верит в осмысленность всего сущего, он верит, что, отняв у нас естественный отбор, природа взамен наделила нас интеллектом именно для того, чтобы мы могли осознать свою принадлежность к единому виду и управлять его развитием. Отчасти это происходит неосознанно: благодаря росту коммуникаций мы все постепенно смешиваемся друг с другом; но человечество может и должно стремиться к единению вида сознательно: «Существенным фактом человеческой истории, по моему мнению, является медленно развивающееся в наших умах чувство общности, возможности сотрудничества, которое приведет к небывалому подъему коллективных сил, развитию общей генеральной идеи, генеральной цели человечества». Эта цель — совершенствование вида; единственный способ ее достичь — объединение; единственный метод — осознание каждым индивидуумом принадлежности к единому виду.

О Всемирном Государстве (этот термин окончательно сменил «Новую Республику») Уэллс на сей раз не стал много распространяться; он обратил внимание на иные формы объединения людей — различные самоорганизующиеся группы. Почему группы, разве это не противоречит его принципам? Он все время толковал о том, что именно наличие групповых интересов приводит к конфликтам и войнам. Но, оказывается, есть группировки хорошие и дурные, и есть критерий, чтобы отличать одни от других — направлена их деятельность на развитие нашего вида или нет. «Любое коллективное человеческое предприятие, союз, общность, движение, партию или государство следует оценивать по тому, способствует ли оно своей деятельностью рождению более здоровых и совершенных детей, а также качественному и

количественному улучшению условий жизни граждан, рожденных под его эгидой». Вторая часть этого утверждения понятна, но первая вызывает недоумение: что это за группы или партии, которые способствуют рождению более здоровых детей? Оказывается, интеллектуалы могли бы объединяться, создавая общий фонд для содержания и воспитания детей, куда богатые бездетные члены группы также вкладывали бы средства; незамужние матери могли бы создавать ассоциации, которые облегчали бы им жизнь в обществе и позволяли их детям нормально развиваться.

По тому же критерию оценивается жизнь отдельного человека: помогает ли он рожать и воспитывать хороших детей.

(Например, бездетные женщины могли бы входить в семьи в качестве нянек.) В понятие добра входит помощь не только маленьким детям, но и большим: «Младшая часть общества более важна, чем старшая, и каждый старший человек должен опекать младшего. Мы упускаем самое главное в жизни, если прямо или косвенно не занимаемся помощью молодежи». Все это звучит очень абстрактно, хотя бы потому, что неясно, кто возьмет на себя труд оценивать самих детей — становятся ли они лучше или хуже? — но, по крайней мере, сам автор тут своему принципу следовал. Он произвел на свет четверых детей, матери которых были умны, и всем им помог вырасти в достатке и получить хорошее образование.

У индивидуума и коллектива есть и другая задача, кроме помощи детям — они обязаны заниматься самообразованием, необходимым, чтобы накапливать знания и «честно и услужливо» делиться ими с современниками и потомками. Все, что отвечает этим двум требованиям, то есть способствует усовершенствованию человека как вида, есть Добро. Социализм (только не марксистский!) — соответствует

обоим критериям: он помогает детям, отнимая у богачей излишки и перераспределяя их в пользу школ и матерей, и способствует нашему духовному развитию, «преодолевая темноту, тщеславие и трусость».

А демократия — Добро или Зло? Она, как и аристократия, бывает истинная и ложная. Ложные аристократы кичатся своим положением; истинные — аристократы духа — ставят свою жизнь на службу менее умным и инициативным людям, помогая им жить и развиваться. (Являются ли эти истинные аристократы самураями? Нет; Уэллс написал, что под влиянием критики, высказанной Вайолет Пейджет и Гилбертом Честертоном, вынужден признать, что самурайская организация — «абстрактная фантазия».) Ложные демократы — «вульгарная масса, не признающая ни старших, ни лидеров»; ложный демократический принцип — утверждение, что все люди равны, и возвеличение так называемого «простого человека», тогда как простой человек неспособен управлять чем бы то ни было и должен уступить эту роль аристократам. Что такое истинная демократия, Эйч Джи почему-то объяснять не стал...

Наконец, религия — развивает она наш вид или тормозит? Если в предыдущих трактатах Уэллс касался теологических вопросов вскользь, ограничиваясь замечанием, что в будущем все веруют, но не придают значения обрядам, то в «Первом и последнем» посвятил им почти половину текста. Его собственное кредо таково: «Я воспринимаю себя как часть огромного физического существа, которое, верю, развивается по пути к прекрасному, и часть огромного духовного существа, которое, верю, развивается по пути к знанию и мощи. <...> Я верю в Схему, в План всего сущего, в то, что моя жизнь, мои ошибки и пороки, как и мои достоинства и успехи, являются необходимыми и важными звеньями этой схемы, которая превышает мое

понимание, и в то, что ни ошибки в моей концепции, ни жестокие проявления природы, как бы они ни озадачивали мой разум, не разрушают и не смогут разрушить моей веры».

Эйч Джи признался, что иногда — ночами или в минуты одиночества — он «ощущает свою общность с чем-то огромным и неясным», но не решился бы ни назвать это нечто Богом, ни приписать ему авторство Плана или Схемы. Догматы христианства он воспринимает как нечто надуманное. Он противник запугивания (особенно детей), он не верит в кару и искупление: хорошему человеку, чтобы делать добро, нужны не поощрения и наказания, а понимание; если же он сделал зло, то ему следует не каяться, а исправить свою ошибку. Он не верит в личное бессмертие, но верит в свое предназначение: «я чувствую, что должен совершить деяния, которых никто, кроме меня, не может выполнить, и тогда мое существование будет исчерпано»; более того, идея бессмертия его пугает и он не хотел бы думать о своих умерших друзьях как о бесплотных духах. Он верит в Спасение — оно в единстве человечества, но не может верить в непорочное зачатие и воскресение, ибо это напоминает ему театральный спектакль. Он не нуждается в посредничестве Христа и даже не может ему симпатизировать, ибо «для меня он чересчур совершенен, он недостаточно реальный, земной. Он никогда не горячился, не делал глупостей, не совершал ошибок, ничего не забывал и не путал. Я думаю, что скорее полюбил бы его, если бы он с миром покоился в своей могиле, вместо того, чтобы возвращаться в качестве постскриптума к собственной трагедии». (Позднее Эйч Джи изменит свое мнение о Христе на противоположное.)

В начале осени Уэллсы решили, что детям пора найти гувернантку. Кэтрин дала объявление в «Морнинг пост»: от претенденток требовалось знание английского, немецкого и французского. Отвергнув шесть кандидатур, Кэтрин приняла на работу девушку, о которой мы упоминали в связи с мышами маленького Джипа. Матильде Марии Мейер было 23 года, она любила спорт, пешие и велосипедные прогулки. Она проведет у Уэллсов около пяти лет и позже опубликует воспоминания о своей жизни в их доме<sup>[41]</sup>. Джесси, няня мальчиков, сообщила ей, что миссис Уэллс «очень милая и понимающая. Она знает, чего хочет, и объясняет это прямо и ясно. Она женщина деловитая и всеми распоряжается очень уважительно». Относительно хозяина Джесси тоже просветила новенькую: «Я стараюсь лишний раз ему на глаза не попадаться. Порой он бывает довольно колюч, и еще он очень раздражительный и нетерпеливый. Все зависит от того, с какой ноги он встанет. Иногда он скачет по дому и саду, как жаворонок, как школьник на каникулах, а назавтра рычит на каждого, кто попадется ему под руку». Джесси предупредила также, что гости в доме бывают «странные» и что хозяин имеет привычку ходить босиком. Матильду познакомили с мальчишками — те на следующее утро сообщили Джесси, что гувернантка «дура, но не вредная». Джесси передала Матильде вердикт и объяснила, что на языке маленьких Уэллсов он означает похвалу. За завтраком состоялось знакомство с хозяином; Матильда его побаивалась, но он был очень учтив, только указал ей, что ее английский далек от совершенства, и предложил ее «подтянуть».



В своей книге Мейер подробно описала семейный уклад и распорядок дня Уэллсов. Усилиями хозяйки в доме поддерживался идеальный порядок, сад был в прекрасном состоянии, за стол садились в строго определенное время. Когда хозяин бывал дома, то любил спать на балконе; иногда вставал среди ночи, шел в кабинет и работал. Утром прочитывал написанное жене и было видно, что ее мнение очень много для него значит. Потом снова работал. Работала и Кэтрин: не только занималась домом и садом, но также перепечатывала рукописи, делала выписки и конспекты. В перерывах оба слушали пианолу, иногда Кэтрин играла на фортепиано или спинете. Под вечер часто уходили вдвоем на пешую прогулку и гуляли, как правило, быстрым шагом, не меньше трех-четырех часов. Матильда, гуляя с детьми, должна была проходить такие же расстояния.

Хозяин, как предупреждала няня, оказался очень раздражительным, и Матильде изредка приходилось на себе испытывать его вспышки ярости по пустякам; после он чувствовал себя страшно виноватым, просил жену о посредничестве — сам, как школьник, не умел извиняться. Рассудительная Матильда не придавала большого значения подобным инцидентам, поскольку все недостатки хозяина искупались в ее глазах обожанием, которое он питал к детям: глубокой и страстной любовью, с которой он писал «Волшебную лавку» и от которой впоследствии стыдливо отрекся. Мальчиков воспитывали спартанцами, в часы уроков или за столом они должны были соблюдать строгую дисциплину, но на время, отведенное им для игр, никто не смел посягнуть. Отец часами ползал с ними по полу, играя в солдатиков — такой же азартный, как они, запыхавшийся, грязный, рычащий, кричащий «бах-бабах!»; когда приходило время ложиться спать,

он снова шел к ним в комнату и рассказывал им фантастические истории.

Все, кто бывал в доме Уэллсов, подтверждают, что отец обожал мальчишек и они обожали его; что, разговаривая с ними или говоря о них, он становился от них неотличим. Это была чудесная взаимная любовь; полная, абсолютная идиллия, о какой можно только мечтать. Правда, есть одно обстоятельство, которое тактичная Мейер не стала подчеркивать: все эти восхитительные сцены имели место отнюдь не каждый день, потому что отец мальчиков редко бывал дома. Еще в 1903-м Кэтрин писала ему: «Джип говорит о тебе только три вещи: „Папа приезжает“, „Папа уехал“ и „Папа спит“». В 1908-м папа проводил в «Спейд-хаусе» не больше времени, чем тогда. Это был великолепный, чудесный папа, но папа праздничный, а не повседневный.

Эйч Джи не особенно скрывал свои отношения с Эмбер Ривз. Она гостила в «Спейд-хаусе». В Лондоне их часто видели вместе. Они отдыхали на пляже, посещали тихие рестораны. Для встреч с нею он снял квартиру, а в «Опыте автобиографии» поведал, в каких еще местах, кроме этой квартиры, они бывали близки. «Нам нравилось ощущать легкий привкус греховности, который нам придавали мерки того времени, и мои воспоминания о тех приключениях по сей день отнюдь не омрачены раскаянием, но освещены приятным возбуждением». Что-то в этой фразе не то, правда? В своих книгах он писал о совсем иной «любви втроем» — честной, ясной, обычной: само понятие «греховности» такой любви будет чуждо. Но, видимо, без сознания греховности любить не так интересно. Майкл Фут в своей книге утверждает, что Эмбер была главной любовью Уэллса: он и в старости сожалел о том, что расстался с нею. Фут в 1938-м лично беседовал с Уэллсом, так что не доверять его словам оснований нет;

с другой стороны, в мемуарах Эйч Джи писал, что «называть эти амурсы „любовными историейми“ — значит злоупотреблять словом „любовь“». «За всю жизнь я, пожалуй, любил по-настоящему только трех женщин...» Эмбер среди этих трех нет. На ее долю досталось другое определение: «единственный в жизни взрыв страсти, острейшего сексуального желания».

Когда Эмбер приезжала в Сандгейт, хозяйка принимала ее с тем же радушием, что и других гостей, из которых многие были в курсе происходящего и шептались за ее спиной. Беатриса Уэбб пыталась найти объяснение ее ненормальной кротости: Кэтрин ощущала вину за то, что увела мужа у Изабеллы, и принимала его измены как заслуженную кару. Нина Берберова, уделившая Уэллсу много места в «Железной женщине», считала так же. Какую-то вину Кэтрин ощущала — ее цитировавшиеся письма указывают на это, но догадку миссис Уэбб о причинах такого чувства ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно. Кэтрин все терпела молча и не желала ни с кем обсуждать поведение своего мужа. Сам Уэллс пишет, что жена о романе с Эмбер не должна была знать, а узнала лишь тогда, когда нехорошие люди раздули скандал. Но и тогда она «не обнаружила ни обиды, ни возмущенного самолюбия», ибо «всегда рассматривала пылкость моего сексуального воображения как некое органическое заболевание; она ни во что не вмешивалась, терпеливо и ненавязчиво пережидая, когда мое лихорадочное возбуждение схлынет. Если бы не ее невосприимчивость к подобным лихорадкам, я, возможно, и не сбился бы с пути». Оказывается, не только родители девиц во всем виноваты. Еще жена. Ах, тяжело жить среди таких людей.

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОИСК ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ**

### **Глава первая ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ УЭЛЛСОВ**

Первый номер «Инглиш ревью» появился на прилавках в конце ноября 1908 года. Выходу журнала предшествовала рекламная кампания в других периодических изданиях (больше всего — в дружественном «Нью эйдж»), А вот далеко не полный перечень писателей, чьи тексты были опубликованы в том номере: Томас Гарди, Генри Джеймс, Конрад, Голсуорси, Анатоль Франс, Лев Толстой. Успех у интеллектуальной публики был шумный, прием у критиков теплый. Кажется, деньги и затраченные усилия даром не пропали. В «Инглиш ревью» начал печататься «Тоно-Бенге»: Уэллс передал Форду права на сериализацию в обмен на одну пятую прибыли.

«По существу, мне хочется написать в своей книге чуть ли не обо всем, — предупреждает автор, он же герой, рассказывающий историю своей жизни. — Я рассматриваю роман как нечто всеобъемлющее... Я полагаю, что в действительности пытаюсь описать не более и не менее, как самое Жизнь, увиденную глазами одного человека». Юный Джордж Пондерво, желающий добиться успеха, начинает работать на своего дядю Эдуарда, симпатичного авантюриста, который изобрел чудодейственное снадобье «Тоно-Бенге». Джордж начинает заниматься рекламой напитка, и эта деятельность сталкивает его с разными людьми и позволяет «увидеть в разрезе британский социальный организм», за исключением высших («герцоги») и

низших («землекопы, батраки, матросы, кочегары и другие завсегдатаи пивных») слоев общества. Пондерво становятся богачами, дядя счастлив: «Замечательно у нас государство устроено, Джордж, наша добрая старая Англия, — снова заговорил он тоном беспристрастного судьи. — Все прочно, устойчиво, и при этом есть место новым людям. Приходишь и занимаешь свое место. От тебя прямо ждут этого. Участвуешь во всем. Вот чем наша демократия отличается от Америки. У них, если человек преуспел, он только и получает, что деньги. У нас другие порядки... по сути дела, всякий может выдвинуться». Младший Пондерво не в таком восторге от «старой доброй Англии», но и новую буржуазию, к которой сам теперь принадлежит, тоже не жалуется: «Никак нельзя сказать, что энергичные интеллигенты пришли на смену косным, невежественным дворянам. Просто-напросто предприимчивая и самоуверенная тупость водворилась там, где царили прежде косность и чванство».

Джордж — натура творческая, ему наскучивает делать деньги и он начинает их тратить на изобретательство. Он конструирует новую модель аэростата и сам летает на нем. «Я лежал в той же позе, как обычно на планере, — растянувшись на животе, лицом вниз; механизмы мне не были видны, и поэтому у меня было необычайное ощущение, будто я невесом и лечу сам по себе. Только повернув шею и поглядев вверх, я мог увидеть плоское жесткое дно своего воздушного шара и быстрое, равномерное мелькание лопастей пропеллера, со свистом рассекающих воздух». В 1910-м Уэллс вновь опишет воздушный полет — уже в комическом тоне — в рассказе «Мой первый аэроплан» (My First Aeroplane). В те годы чуть не каждая европейская знаменитость совершала прогулочные полеты на воздушных шарах или аэропланах и рассказывала о своих ощущениях; предположим, что и

Уэллс так поступил — и ошибемся. Не знал он, когда писал «Тоно-Бенге» и «Мой первый аэроплан», что чувствует человек «как обычно на планере», а вообразил: свой первый полет он совершит лишь в 1912 году с известным авиатором Грэмом Уайтом.

Дяде, запутавшемуся в махинациях, грозит тюрьма; племянник на своем аэростате тайно вывозит его за границу, но дядя умирает. Осиротевший Джордж размышляет о будущем: «Каким оно будет? Каким должно быть? Что из этого желаемого будущего можно увидеть в настоящем?...Иногда я представляю себе, что это — Наука, иногда — Истина. Мы с болью и усилием вырываем это „нечто“ из самого сердца жизни... Люди по-разному служат ему — и в искусстве, и в литературе, и в подвиге социальных преобразований — и усматривают его в бесчисленном множестве проявлений, под тысячью названий. Для меня это прежде всего строгость форм, красота. То, что мы силимся постигнуть, и есть сердце самой жизни. Только оно вечно. Я не знаю, что это, знаю только, что оно превышает всего. Это нечто неуловимое, быть может, это качество, быть может, стихия, его обретаешь то в красках, то в форме, порой в звуках, а иногда в мысли...»

Грандиозное эпическое полотно удалось; рассматривая его, можно и в самом деле узнать о современной автору Англии всё. Кроме того, «Тоно-Бенге» — прекрасно написанный роман, в котором мало теоретизирования и нет назидательности; это вещь с мастерски сконструированным сюжетом, включающим в себя экзотические путешествия, любовные связи, погони и убийство; это смешной роман, персонажи которого представляют собой не карикатуры, а — редкий случай для Уэллса — тщательно проработанные характеры; его финальная сцена, в которой герой прощается со «старой доброй Англией» ради Будущего,

написана с любовью, грустью и такой изобразительной силой, какой Уэллс достигал только в своих лучших фантастических текстах.

Однако когда первые читатели и критики начали знакомиться с текстом «Тоно-Бенге», они не увидели, что перед ними эпос, а восприняли роман как автобиографическое произведение. На первый взгляд они были правы. Автобиографичного в «Тоно-Бенге» чрезвычайно много. Детство Берти, его юность и служба в лавке были описаны уже сто раз; дядя Эдуард — и отец автора, и дядя Уильямс из школы «Вуки», и аптекарь Кауэп; женщина, на которой неудачно женился Джордж Пондерво, — Изабелла, и так далее. И все же первые читатели ошибались. В «Тоно-Бенге» Уэллс не ставил цели разложить себя по полочкам; он поступил так, как поступают большинство писателей (а сам он — почти никогда), используя собственный опыт лишь как топливо, что бросают в печь. Он сидел подле умирающего Гиссинга, как Джордж Пондерво подле умирающего дяди Эдуарда; если бы он писал, как обычно, о себе, то — с его привычкой все растолковывать — эта сцена вышла бы у него такой же рассудительной и бледной, как текст «Люишема»; он с отталкивающим хладнокровием разъяснил бы нам, что смерть есть закономерный итог жизни и печалиться не о чем. Но он не хотел писать о себе; он просто бросил свой опыт в топку, и отдаваемая им энергия сообщилась тексту, и вспыхнувший огонь заставил текст переливаться и дрожать.

«И раньше, и потом я думал и говорил, что жизнь — это фантасмагория, но никогда я не ощущал этого так остро, как той ночью... Мы разлучены; мы двое, которые так долго были вместе, разлучены. Но я знал, что это не конец ни для него, ни для меня. Его смерть — это сон, как сном была его жизнь, и теперь мучительный сон жизни кончился. И мне чудилось, что я тоже умер. Не

все ли равно? Ведь все нереально — боль и желание, начало и конец. Есть только одна реальность: эта пустынная дорога — пустынная дорога, по которой то устало, то недоуменно бредешь совсем один... Из тумана появился огромный мастиф, пес подошел ко мне и остановился, потом с ворчанием обошел вокруг, хрипло, отрывисто пролаял и опять растворился в тумане. Мои мысли обратились к извечным верованиям и страхам рода человеческого. Мое неверие и сомнения соскользнули с меня, как слишком широкая одежда. Я совсем по-детски стал думать о том, что за собаки лают на дороге на того, другого путника в темноте, какие образы, какие огни, быть может, мелькают перед ним теперь, после нашей последней встречи на земле — на путях, которые реальны, на дороге, которой нет конца?»

Если бы Уэллс подошел к написанию этого отрывка только рассудочно, он непременно пояснил бы читателю связь между мастифом и собакой Мефистофеля или не придумывал этого мастифа вовсе. Но когда он писал «Тоно-Бенге», им руководил не только рассудок, но вдохновение, о котором он, казалось, так редко теперь вспоминал. Он не растолковывал, а ощущал, и к нему вернулись все его блистательные умения: когда он описывал, как Джордж убивает человека (успокойтесь, этот эпизод не автобиографичен), он делал это так же, как в «Человеке-невидимке», влезая в кожу убийцы и заставляя читателя стать убийцей и разделить все его эмоции: «Я увидел — и мое сердце забилося от восторга, что пуля ударила его меж лопаток. „Попал“, — сказал я, опуская ружье, а он повалился и умер, не издав даже стога... „Вот те на! — удивленно воскликнул я. — Я убил его!“ Я огляделся вокруг и осторожно, со смешанным чувством не то изумления, не то любопытства пошел взглянуть на человека, чью душу



я так бесцеремонно вытряхнул из нашего презренного мира. У меня не было ощущения, что это дело моих рук, — я приблизился к нему, как к неожиданной находке...»

Когда критик из «Глазго геральд» решил, что «Тоно-Бенге» — очередная автобиография, возмущенный Уэллс написал Форду, что надо бы перерезать этому критику глотку. Но постепенно все встало на свои места. Хвалебные отзывы преобладали, ругательные появлялись редко. («Тоно-Бенге» до сих пор и, на наш взгляд, заслуженно считается лучшим из «бытовых» романов Уэллса.) Критик Робертсон Николл в «Бритиш уикли» обвинил «Тоно-Бенге» в «нападении на нравственность» и «проповеди непристойности», но он ухитрился найти непристойности даже у Конан Дойла. Беннет ответил на рецензию Николла статьей, в которой «Тоно-Бенге» назывался «величайшей попыткой выразить в обобщенном виде всю суть социальной жизни нации». Обозреватель «Дейли телеграф» отзывался о романе как о «четырехмерном» и «сделанном с самым высочайшим мастерством»; «Ти-Пи уикли» назвала образ Сьюзен, жены Эдуарда Пондерво, лучшим женским характером в английской литературе; «Крисчен коммонвелз» защищала Уэллса от обвинений в безнравственности, объясняя, что роман, «столь глубоко проникающий в души всех англичан», не может оскорбить религиозного чувства; Мастермен сказал, что, как бы ни был прекрасен «Киппс», «Тоно-Бенге» прекраснее, и призвал Уэллса продолжать «писать жизнь»; Гилберт Меррей заявил, что Уэллс напоминает Льва Толстого.

Прохладно отреагировали фабианцы — но, поскольку выход романа совпал с разрывом, трудно сказать, не были ли их отзывы отчасти продиктованы личной неприязнью. Бланд в пух и прах разнес «Тоно-Бенге» в «Дейли кроникл», но что хорошего мог Бланд

сказать об Уэллсе? Беатриса Уэбб написала Уэллсу, что роман «неплох, но хуже „Войны в воздухе“»; тот отреагировал бурными письмами, поминая фабианские распри и обвиняя Уэббов в том, что они «пытались подорвать его влияние». «У этого человека мания величия, — записала в дневнике Беатриса, — мы о его существовании и не вспоминали ни разу с той поры, как он ушел в отставку». Письмо с критикой в адрес «Тоно-Бенге», который ни один человек, умеющий читать и писать, не поставит ниже зауряднейшей «Войны в воздухе», и последующие письма зимы 1909-го, содержащие извинения за неверную оценку романа и призывы помириться, Беатриса, видимо, отправляла в приступе беспамятства.

Но что же сказал Форд, издавший роман? Увы: к моменту выхода «Тоно-Бенге» отношения между ним и Уэллсом разладились. Еще до выхода второго номера «Инглиш ревью» стало известно, что Форд не только не получает прибылей, но уже потерял более 1500 фунтов. Затевая свой проект, Форд делал благородное дело — именно «Инглиш ревью» вскоре даст «путевки в жизнь» Дэвиду Лоуренсу и Эзре Паунду, но он оказался плохим дельцом. Он тратил на рекламу суммы, которые не окупались, терял рукописи, забывал о назначенных встречах. Он платил первым авторам столько, сколько они требовали, а другим платить было уже нечем. В «Инглиш ревью» печатались первоклассная проза, остроумнейшие эссе, но в нем не было обещанных театральных обзоров, ничего злободневного, а размещаемые в нем материалы зачастую оказывались выше понимания публики, и журнал переставали покупать. «Поддерживая „Инглиш ревью“, читатель не столько поддержит коммерческое предприятие, сколько исполнит свой долг, помогая миру познакомиться с наилучшими образцами мысли», —

отчаянно призывал «Нью эйдж» в мае 1909-го; но читатели свой долг выполнять ленились.

Форд предложил выплатить Уэллсу не пятую часть прибыли, а твердую сумму — 600 фунтов за каждую из частей романа (он печатался в четырех номерах), но поскольку денег не было, эта сумма существовала лишь в его воображении. Эйч Джи и профессиональных-то издателей учил, как им вести дела; разумеется, он стал учить Форда. На сей раз он был прав — Дуглас Голдинг, соредактор Форда, отзывался о деловых способностях своего шефа так же, как Уэллс, но делал это, по-видимому, не в деликатной форме, так что Форд оскорбился и написал, что Уэллс его «третирует». Дальше — хуже: Уэллс продал Макмиллану права на книжное издание «Тоно-Бенге», по договору книга должна была выйти раньше четвертого номера «Инглиш ревью»; Форд стал требовать, чтоб Уэллс расторг договор и не допустил издания книги, пока ее заключительная часть не будет опубликована у него в журнале. Тут вроде бы он был прав, но Уэллс, не получивший от него ни цента, это требование проигнорировал.

С Эмбер весной 1909 года тоже не все было гладко. Уэллс пишет, что именно она стремилась выставить напоказ их отношения, похвасталась перед однокурсниками, рассказала матери. Скорей всего так и было: связь между студенткой и женатым учителем обычно афиширует студентка. Более того, Эмбер намеревалась родить ребенка. Хотела ли она вынудить Уэллса на ней жениться? Спустя много лет она писала, что категорически была против развода Уэллса с женой, и, кроме ребенка от любимого, ей ничегошеньки не было нужно. Только очень наивный человек может в это поверить. Сам Эйч Джи писал, что она «хотела чаще и подолгу жить со мной под одной крышей», то есть создать с ним семью, зарегистрированную или нет, а

также: «Я вовсе не думаю, будто Эмбер ясно представляла, что своими действиями она вынуждает меня развестись и жениться на ней, но как все-таки могло быть, чтобы эта мысль не пришла ей в голову?»

Эйч Джи не имел намерения оставить Кэтрин и не хотел «подолгу жить под одной крышей» с Эмбер. «При моей одержимости работой, при постоянном стремлении „продвигаться вперед“ и склонности рассматривать любовь как случайный отдых, меня это вовсе не устраивало». Несмотря на свои самурайские идеи, он понимал, как должно поступить. «Раз я не мог оставить Джейн, чтобы жениться на Эмбер, я должен был как старший и потому более ответственный за наше положение помочь Эмбер освободиться от меня. <...> Но я не способен был так поступить, я был одержим страстью к ней и не потерпел бы расставания. Мысль о том, чтобы отказаться от Эмбер в пользу любого другого мужчины, была мне нестерпима». (Другой мужчина был — молодой адвокат Риверс Бланко-Уайт, давний поклонник мисс Ривз.)

В своих книгах Уэллс обычно сводил женскую свободу к тому, чтобы свободно штопать носки своему любовнику, но в жизни он смотрел на вещи иначе. Он признавал, что в разгар их романа Эмбер забросила учебу, «била баклуши» и не оправдала надежд, которые на нее возлагались в Лондонской школе экономики: ему это не нравилось, он старался поощрять ее к научной и литературной работе. В апреле он представил ее издателю Маклюру, назвав ее студенческие доклады «эпохальными»; другого издателя, Кэзенова, он просил опубликовать написанные ею рассказы. Но тут Эмбер сообщила ему — и одновременно матери и Бланко-Уайту — о своей беременности. Скандал тлел уже четвертый месяц, о связи шептались все, за исключением отца девушки (которому Бланд неоднократно порывался «раскрыть глаза», но Шоу удерживал его от этого

поступка). Теперь узнал и он — от жены и Бланко-Уайта, который попросил руки «обесчещенной» дочери, — и пришел в страшное негодование.

К «основному» скандалу, связанному с беременностью Эмбер, прибавился еще побочный, носивший комический характер. Несколькоми годами раньше Ривз рекомендовал Уэллса в «Сэвил-клуб» — это был один из двух солидных лондонских клубов для писателей; созданный в противовес консервативному «Атенеуму», он постепенно стал таким же престижным: его членами состояли Томас Гарди, Стивенсон, Иетс. Уэллс «Сэвил» любил, как любил все престижное, и посещал регулярно, но теперь Ривз — по бытовавшей легенде — публично в клубе поклялся застрелить соблазнителя дочери. Уэллс прекратил членство в клубе: в письме к другу, юристу Сиднею Хейнзу, он годом позднее объяснял причину своего поступка тем, что не хотел своим присутствием раздражать Ривза<sup>[42]</sup>. Вряд ли наш герой, зная Ривза как человека миролюбивого, всерьез боялся быть застреленным — хотя об угрозе упоминал не раз, — скорее всего он просто желал избежать публичной перебранки; но окружающие охотно распространяли слух о том, что он вышел из клуба, боясь за свою жизнь. Все это было еще некрасивее, чем сцена с Бландом на вокзале.

Мод Ривз приняла сторону мужа и ополчилась не только на соблазнителя, но и на дочь. Эмбер потребовала от Уэллса, чтоб он ее «увез»; деваться ему было некуда, и в начале мая они уехали во Францию, в нормандское местечко Ле-Туке, где сняли меблированный домик. Он принял решение жить вместе с Эмбер. Написал Ривзу письмо, в котором сообщал, что его намерения относительно Эмбер и ребенка «серьезные» (за исключением официального брака); Ривза и его жену это письмо взбесило. Он также

предложил своему знакомому, драматургу Генри Артуру Джонсу, срочно купить «Спейд-хаус» — за 3200 фунтов, то есть с убытком для себя, — и, проявив чудеса расторопности, приобрел два новых дома: для Кэтрин и детей (на имя Кэтрин) — в Лондоне, по адресу: Хэмпстед, Чёрч-роу, 17; для Эмбер, ребенка и себя — в Уолдингеме, графство Сассекс. Кэтрин и мальчики, совершенно ошарашенные, были вынуждены торопливо собраться и переехать.

Ни Эйч Джи, ни Эмбер не были счастливы в Ле-Туке. Он мог жить только в Англии, среди друзей, и боялся изгнаничества. Он предложил Эмбер вернуться в Лондон и жить «без оглядки на общество». Но она этого не хотела. До сих пор она жила играя, а теперь игры кончились. Она не была готова к роли попираательницы устоев. Они раздражали друг друга. Она сказала, что ей ничего не остается, как выйти за Бланко-Уайта. Он, надо полагать, почувствовал облегчение. Она вернулась к родителям, он — к жене. «Мы решили распрощаться с Сандгейтом и его чересчур здоровым, в сущности убаюкивающим, образом жизни. Необходимо было покончить с однообразием наших дней и вечеров, лишенных каких бы то ни было событий. Вот продадим дом и купим новый в Лондоне», — пишет Уэллс, представляя дело так, будто решение о продаже «Спейд-хауса» было принято им совместно с женою уже после разрыва с Эмбер. Но это ложь: письмо к Джонсу датировано 24 мая, когда о прекращении связи с Эмбер и речи не было.

Эйч Джи начал писать сразу два романа — оба о том, как мужчина, оставив жену, обретает счастье, — а меж тем его жена все простила и продолжала привечать Эмбер как друга семьи. Ривзы не были так снисходительны. Занятая ими позиция выглядит довольно странной. Будучи людьми небедными, они не согласились оказать дочери и ее будущему мужу

достаточной помощи, однако не возражали против того, чтобы чета Бланко-Уайтов принимала такую помощь от Уэллса. В июне состоялась свадьба Эмбер. Она въехала в коттедж, купленный отцом ее будущего ребенка; ее муж постоянно с нею не жил. Кэтрин навещала ее и утешала. Уэллс также регулярно посещал ее: считалось, что у них «деловые отношения», но прозорливая Беатриса писала, что сюжет «Дней кометы» воплощается в жизнь, и оказалась права, так как сам Уэллс впоследствии признал возобновившуюся связь с Эмбер. «В совершенном отчаянии она кинулась ко мне и опять уехала, а я вел себя как непостижимый, нерешительный осел. Она пожелала, чтобы до рождения ребенка Бланко-Уайт и близко к ней не подходил и чтобы она была вольна видеться со мной». Муж тем не менее подходил к своей жене, а отец ребенка дружески общался с мужем, когда они сталкивались у Эмбер в доме, и писал своим друзьям, что муж хороший человек и очень ему нравится. Все это выглядело странно, и пару осуждали пуще прежнего.

Эйч Джи весь издергался: то, бравируя своим положением, писал Беннету, что совершенно счастлив, то признавался Шоу, что пребывает в отчаянии. Шоу, вечно старавшийся примирить Уэллса с окружающими, и тут предпринимал подобные попытки; его ободряющие письма оказались для Эйч Джи очень ценны, и он отвечал растроганно: «Вы можете не только понять сложную ситуацию, но и возвыситься над ней. Я беру обратно все, что в нашей переписке было дурного, все, что Вы бы хотели, чтобы я взял обратно». В течение лета и осени Шоу также пытался смягчить позицию фабианцев по отношению к Уэллсу и не допускать публичных скандалов; в письмах к Беатрисе он неоднократно просил ее не оказывать давления на Эмбер и не искать в этом деле правых и виноватых. Но Беатриса не была бы Беатрисой, если бы позволила

людям организовывать свою жизнь без ее участия; она регулярно навещала Эмбер, выслушивала ее жалобы (которые пересказывала окружающим), рекомендовала порвать с Уэллсом, потом — развестись с мужем.

В конце августа к Эйч Джи приехал погостить человек, с которым он дружил уже несколько лет, — Вернон Ли, автор изящных готических рассказов, знаток искусства, друг Генри Джеймса, он же — Вайолет Пейджет, красивая и умная жен-шина-феминистка. Заочное знакомство состоялось, когда Пейджет похвалила «Современную утопию». Уэллс посылал ей другие свои книги, просил быть постоянным его критиком. Она посвятила ему свою книгу «Евангелие анархии»; она подробно комментировала присланный ей текст «Первого и последнего», и Уэллс включил в книгу ее комментарии. Она была десятью годами старше Уэллса и не интересовалась мужчинами, так что роман исключался; то была интеллектуальная дружба, которой Эйч Джи очень дорожил.

В письмах к Пейджет он откровенно говорил о своих отношениях с Эмбер Ривз; теперь, когда она приехала, он мог обсудить с ней ситуацию, зная, что встретит сочувствие. Пейджет, чья личная жизнь тоже носила предосудительный характер, сочувствовала Уэллсу, но не оправдывала его; она больше жалела Кэтрин и Эмбер. «С точки зрения обывателя, — писал Уэллс в романе „Новый Макиавелли“ о своих отношениях с Эмбер, — я выглядел коварным соблазнителем, а она — невинным ребенком, поддавшимся моим чарам. На самом деле мы были равны. Ее ум был равен моему, а во многих вопросах она была умнее меня; и она была смелее, чем я». Но Пейджет — уже после отъезда — написала Уэллсу: «Мой опыт как женщины и друга женщин убеждает меня, что девушку, каких бы книг она ни прочитала и каких передовых разговоров ни вела... в соответствии с неписаными правилами



поведения старший и опытный мужчина должен защищать, в том числе и от нее самой».

Для Кэтрин было благотворно присутствие в доме чуткой женщины, которая не сплетничает, как миссис Уэбб, и не может быть соперницей; проявленный Пейджет такт способствовал примирению супругов. Но тотчас на Уэллса обрушился новый удар, который он сам спровоцировал: в сентябре вышла «Анна-Вероника». Повторялась история с «Днями кометы»; на сей раз кампанию по осуждению Уэллса возглавил главный редактор еженедельника «Спектейтор» Джон Лоу Стрэчи, который назвал «Анну-Веронику» непристойнейшей книгой, «отравляющей атмосферу» и «угрожающей духовному здоровью нации». В других периодических изданиях роман ругали не так сильно — «Дейли ньюс» даже назвала его «блестящим», но писали, что автору следовало бы уделять поменьше внимания столь неприличной теме, как внебрачное сожительство.

Уэллс не умел «подняться над ситуацией», не мог не объясняться по каждому поводу: он отправил в редакцию «Спектейтора» письмо. Он не нападает на брак как таковой; он лишь не признает «святости» такого брака, в котором отсутствуют взаимоуважение и общность духовных интересов и женщина является рабой мужа. Стрэчи поместил письмо, сопроводив его издевательским комментарием, содержащим намеки на частную жизнь Уэллса. На сей раз Эйч Джи не решился грозить «Спектейтору» судом — связь с Эмбер сделала его общественное положение шатким. «В условиях, когда друзья один за другим отворачиваются от него, а „Спектейтор“ раскритиковал его книгу, он так испуган, что это вынуждает его вести себя приличнее», — записала Беатриса Уэбб. Уэллс действительно был испуган, но в первой части своего утверждения Беатриса выдавала желаемое за действительное —

отворачивались не друзья, а люди, ранее называвшие себя таковыми. Шоу, Голсуорси, Гарнетт, Сидней Лоу, Уильям Арчер не отвернулись. Журналист Морис Баринг сообщил, что «Анна-Вероника» произвела на него потрясающее впечатление; любитель России, он сравнивал Уэллса с Достоевским. Грегори, в шутку назвав старого друга «полигамистом», написал, что наслаждался книгой. Очень доброжелательные отзывы разместили «Нью эйдж» и «Ти-Пи уикли», хотя рецензент последней и выразил надежду на то, что юные девицы не воспримут роман как руководство к действию.

Девочка — Анна Джейн, получившая фамилию Бланко-Уайт, — родилась 31 декабря утром, а вечером Эйч Джи, сообщая Пейджет о рождении дочки, писал с грустью: «Я не думаю, что существуют какие-то оправдания для Эмбер и меня. Мы были счастливы и полны страсти — этому нет другого извинения, кроме того, что мы были очень влюблены друг в друга и жадны до жизни. Однако теперь нам будет очень трудно — прежде всего потому, что мы расстаемся, и делаем мы это ради моей жены и мальчиков». Двумя месяцами позднее он писал Мэри Барри — жене Джеймса Барри, разошедшейся с мужем, которую воспринимал как «товарища по несчастью», что он и Эмбер «были принуждены никогда больше не встречаться и не писать друг другу». Эмбер привяжется к мужу и родит еще двух детей. Уэллс будет давать деньги на содержание дочери, но много лет — в соответствии с договоренностью, заключенной между ним, Эмбер и ее мужем, — не будет видеться с Эмбер, а Анна Джейн будет считать Бланко-Уайта своим отцом. (Некоторые биографы высказывают предположение, что Уэллс и Эмбер продолжали тайно встречаться, но оно не подкреплено доказательствами.)

Кэтрин подарила Эмбер приданое для малышки. Что бы она ни думала о своем муже, внешне примирение было полным. Дом на Черч-роу стал так же полон гостей, как «Спейд-хаус». Уэллс покупал его не для себя, но он не поскупился: Хэмпстед — дорогой и чрезвычайно престижный район Лондона, где любят селиться знаменитости: в разное время там жили Стивенсон, Оруэлл, Элизабет Тэйлор, Брэд Питт, Анна Павлова. Множество знакомых Уэллса оказались теперь его соседями: адвокат Хейнз, Гарнетты, художник Уильям Ротенстайн. Все эти люди не собирались отворачиваться от Уэллса, как утверждала Беатриса; в доме возродилась сандгейтская атмосфера праздника, спектаклей и костюмированных вечеров. В Хэмпстеде есть прекрасный большой парк: детям с фрейлейн Мейер было где гулять. Но распорядок дня изменился: хозяин дома не мог совершать многокилометровые велосипедные прогулки вдоль морского берега, которые он так любил. Что ж, зато он много работал.

«— Я вижу, мистер Полли, вы и не подумали вскрыть вашего бедного папочку.

Сидящая слева дама обращается к нему:

— Мы с Грейс вспоминаем незабвенные дни далекого прошлого.

Мистер Полли спешит ответить миссис Пант:

— Мне как-то это не пришло в голову. Не хотите ли еще грудинки?

Голос слева:

— Мы с Грейс сидели за одной партой. Нас тогда называли Розочка и Бутончик.

Миссис Пант вдруг взрывается:

— Вилли, ты проглотишь вилку! — И прибавляет, обращаясь к мистеру Полли: — У меня как-то квартировал один студент-медик...»

Это многоголосье, кажущееся заимствованным из знаменитой фуги в «Госпоже Бовари» и позднее

воспроизведенное в «Контрапункте» Хаксли — цитата из романа, написанного летом 1909-го: «История мистера Полли» (The History of Mr Polly). Его принято называть «образцом уэллсовской юмористики», его «предки» — «Колеса фортуны» и «Киппс». Но история эта имеет родство и по другой линии: «Чудесное посещение» — «Морская дева» — «Мистер Скелмерсдейл» — «Дверь в стене»; это история человека, которого манили «иные миры» и «другие сны» и который не прошел мимо Двери, а шагнул в нее, как Уоллес, и навсегда остался в саду своих грез: «В его памяти оживает полузабытый сон: он видит на лесной дороге карету; две дамы и два кавалера, красивые, в нарядных одеждах, танцуют старинный танец с поклонами и приседаниями; им играет на скрипке бродячий музыкант.... Солнечный свет кое-где пробивается сквозь пышные кроны деревьев, трава в лесу, высокая и густая, пестреет бледно-желтыми нарциссами, а на зеленом лугу, где танцуют дамы и кавалеры, рассыпаны белые звездочки маргариток». Мистер Полли, мечтательный человечек, которому все осточертело, решил пройти через Дверь, выбрав для этого простой и страшный способ — сжечь дом, чтобы жена получила страховку, и перерезать себе горло бритвой (смешно, правда?). Поскольку он лопух и неудачник, у него ничего не получается, и, разочарованный, он сбегает из дому. Пять лет спустя он возвращается, потому что его мучит совесть, но, увидев, что жена «в порядке», с легким сердцем уходит обратно и закрывает Дверь за собой.

Так куда же ушел мистер Полли? Автор говорит о его поступке: «Человек приходит в эту жизнь, чтобы искать и найти свой идеал, служить ему, бороться за него, завоевать, сделать его более прекрасным, пойти ради него на все, и все выстоять, с презрением глядя даже в лицо смерти». Какой идеал завоевал маленький

лавочник? Понятное дело, соблазнил молодую девушку, стал социалистом и писателем... Но Уэллс опять нас обманывает: мистер Полли сперва бродяжничал, а потом осел в загородной гостинице, не помышляя ни о социализме, ни о любви, а просто помогая в ремонте; свободное время он проводит на берегу с удочкой, и толстая хозяйка гостиницы иногда сидит, позевывая, рядом с ним. В этом маленьком раю нет больших идей, нет ничего, кроме ощущения безмятежного покоя, счастья и красоты, «бесцельной и непоследовательной». Время в нем остановилось, и мистер Полли, глядя на летний закат, говорит:

«— Порой мне кажется, я живу только для того, чтобы любоваться закатом.

— Думаю, что было бы мало толку, если бы ты только любовался закатом, — сказала дородная хозяйка.

— Согласен, мало. И все-таки я люблю закат. <...>

Они не сказали больше ни слова, а просто сидели, наслаждаясь теплом летних сумерек, пока в наступившей темноте не перестали различать лиц друг друга. Они ни о чем не думали, погруженные в спокойное, легкое созерцание. Над их головами бесшумно пронеслась летучая мышь». Вот и все, никаких передовых девушек, никого, кроме летучих мышей, лягушек и стрекоз. Эйч Джи опять привел нас к Олдингтонскому холму, к волшебной Двери и показал дорогу в нежный, полусонный мир, глубоко чуждый тому, построением которого он занимался. «Тоска... А я все хотел...»

Уэллс почти всегда работал сразу над двумя вещами; так было и летом-осенью 1909 года, когда параллельно с «Мистером Полли» писался роман, содержащий тот же идейный посыл, но абсолютно на него не похожий — «Новый Макиавелли» (The New Machiavelli). Уэллс говорил, что этот роман родствен

«Анне-Веронике», однако по замыслу он больше напоминает «Тоно-Бенге» — очередная автобиография и очередная энциклопедия «всего». Там в сотый раз описаны детство и юность автора; там фигурируют чуть не все известные политики — лейбористы, либералы, консерваторы, фабианцы, «Сподвижники». Герой романа Ремингтон, разумеется, разделяет идеи своего создателя (половина текста отведена пересказу трактатов Уэллса), единственная разница между романом и жизнью заключается в том, что Ремингтон — политик.

Уэллс поясняет, чем его вдохновил образ Макиавелли: в отличие от Платона или Конфуция, которые воспринимаются почти как божества, тот — «более человечный и земной», «падший брат» автора; бывший успешным политиком (гуманным и отличавшимся не какой-то особенной хитростью, как принято считать, а скорее простодушием), он в 1512 году оказался в опале, был арестован, после освобождения вел тихую жизнь и писал книги. Нечто похожее случилось с Уэллсом, который, чтобы, по его словам, «как-то вознаградить себя», стал писать роман, и с Ремингтоном: в расцвете карьеры он был принужден сделать выбор между общественной и частной жизнью. Он выбрал любовницу и свободу, ушел в отставку; он — все тот же Уоллес, который решился пройти через Дверь. Но побег побегу рознь: «Мистер Полли» — сказка, «Новый Макиавелли» — вещь реалистическая. Ремингтон не может вечно сидеть на берегу, любясь закатом, а как могла бы выглядеть идиллия в реальной жизни — этого Эйч Джи не знал и посему завершил книгу сценой отъезда героев из Англии — так же заканчивается «Тоно-Бенге».

От биографов не укрылось, конечно, сходство «Нового Макиавелли» с «Мистером Полли»; но никто не упоминает о том, что побегам, описанным в этих

романах, предшествовал еще один побег из малоизвестного рассказа «Лунная сказка» (A Moonlight Fable, другое название — The Beautiful Suit), опубликованного в апреле 1909 года. Герою сказки мать дарит прекрасный костюм, но не позволяет открыто носить его; он покоряется, но однажды ночью, когда луна призывно светит в окно, он надевает свой костюм и, следуя за лунным лучом, выходит в сад. Там поют соловьи и сверчки, там деревья «как черные кружева», а роса «как жемчуг»; лунный луч ведет его к пруду, затянутому ряской — ему кажется, что это сияющее серебро, и он погружается в воду и, переплыв пруд, идет дальше за лучом навстречу луне. «А утром следующего дня его нашли мертвым, со сломанной шеей, на дне ямы; его красивый костюм был испачкан кровью и весь облеплен ряской. Но на лице его застыло выражение восторга — и если бы видели его, то поняли бы, что он умер счастливым, так и не узнав, что то ледяное, текучее серебро было всего лишь ряскою из пруда». Из трех вариантов побега, придуманных в одном и том же году, этот — наиболее близкий к «Двери в стене» и самый поэтический: так концентрированно и остро свою тоску по «бесцельной и непоследовательной» красоте Уэллс еще никогда не выражал.

«Новый Макиавелли» представлял собой заведомо скандальную книгу. Во-первых, в романе опять много говорилось о «половом вопросе». Во-вторых, читателю предлагались шаржи (совсем не дружеские) на публичных людей и, в частности, на Артура Бальфура — бывшего премьера и будущего министра иностранных дел. В-третьих, только слепой не узнал бы в Оскаре и Алтиоре Бэйлис — чете самодовольных интриганов и сплетников — супругов Уэбб. Наконец, там была детальнейшим образом изложена история любви автора и Эмбер Ривз. Эйч Джи и в голову не пришло нанять

машинистку — Кэтрин сделала ту же работу, что и всегда. О чем, интересно, она думала, перепечатывая главу, в которой Ремингтон приводит выдержки из писем его брошенной жены Маргарет?

С изданием сразу начались сложности. Форд, несмотря на разногласия, согласился опубликовать роман в «Инглиш ре-вью», но без большого гонорара. В сентябре 1909-го, еще до завершения работы, Уэллс предложил текст Макмиллану, обещав «большой и откровенный роман о политике». Он потребовал 10 тысяч фунтов — сумма громадная, но Макмиллан согласился заключить договор. Однако, начав в феврале 1910-го знакомиться с текстом, Макмиллан написал Уэллсу, что тот его обманул: вместо романа о политике представил роман «с социальными проблемами и, в частности, с половой проблемой». Уэллс резонно отвечал, что романов без половых проблем не бывает. Тогда Макмиллан попросил Уэллса вычеркнуть «чрезмерно сексуальные сцены». Предупреждаем читателя, чтобы он не обманывался: чрезмерно сексуальным тогда считалось простое упоминание о сексе (например, фраза «Она пришла ко мне однажды ночью в редакцию, и целовала меня солеными от слез губами, и плакала в моих объятиях»); ни тени эротики в «Макиавелли», как и во всех произведениях Уэллса, нет.

В «Макиавелли» Уэллс предельно четко сформулировал свое видение общественной роли женщины: она должна рожать и воспитывать детей для общества (а не для своего мужа и не для себя), и общество должно ей за это хорошо платить. «Научно организованное государство должно базироваться не на защите отдельных семей, безответственно управляемых мужчинами, а на общественном обеспечении материнства». Из этого и подобных высказываний Уэллса зачастую делают вывод о том, что



он ратовал за общественное воспитание детей в ущерб семейному — нет, он говорил, что детей должны воспитывать только матери, но государство обязано их содержать. Ремингтон объявил государственную поддержку материнства целью своей политической деятельности; добиться этой цели ему не удалось, что неудивительно, если даже попытки Уэллса говорить на эту тему воспринимались как нечто непристойное.

Обеспечением материнства «половой вопрос» в «Макиавелли» не исчерпывался: автор опять отстаивал право (у него это почти обязанность) незамужней девушки жить с женатым мужчиной. По требованию Макмиллана он эту часть романа сократил, но Макмиллан остался недоволен. Уэллс согласился на дальнейшие переделки и даже обещал, что следующий его роман «не создаст сложностей подобного рода». Но Макмиллана также пугали карикатуры на политиков. Эйч Джи и тут пошел на уступки; в начале июля он жалобно писал Макмиллану, что осуществил «полную правку» и ему кажется, что он исполнил все пожелания издателя.

Макмиллан книгу опять не принял, однако, желая сохранить отношения с выгодным автором, пытался пристроить ее в другие издательства. Чэпмен и Холл, ранее издававшие Уэллса, от «Макиавелли» наотрез отказались. Об Ануине и речи не было — он все еще переживал скандал вокруг «Анны-Вероники». Хайнеман выказал некоторую заинтересованность: половой вопрос его не очень смущал, но ему не понравилась политическая часть романа. Не доверяя посредничеству Макмиллана, Уэллс напрямую обратился к Хайнеману; тот ответил вежливым письмом, в котором говорилось, что «Новый Макиавелли» — «определенно одна из самых великолепных книг, какие я читал в последние годы», но он не может издать книгу, «перегруженную столь опасными и, возможно, могущими быть

воспринятыми как клеветнические, высказываниями». Уэллс обещал внести исправления, но все было тщетно. В конце сентября Хайнеман прямо сказал ему, что считает некрасивым публично возлагать вину за неудачи в своей любовной жизни на Уэббов, и предупредил, что семья Ривз может подать в суд за клевету.

Лишь поздней осенью 1910-го Макмиллан подыскал издателя — Джона Лейна, который имел репутацию «богемного». Уэллс был не в восторге — он хотел публиковаться только в лучших издательствах, но согласился. «Новый Макиавелли» вышел в начале 1911 года, когда его серийная публикация в «Инглиш ревью» уже завершилась, а Форд был вынужден передать разорившийся журнал в руки издателя Остина Харрисона<sup>[43]</sup>. В итоге Лейн выиграл, а «приличные» издатели перестраховались: как журнальная публикация, так и книга имели шумный успех — публике нравится читать о реальных лицах, особенно что-нибудь скверное, — и, вопреки ожиданиям, не повлекли за собой не только обвинений в клевете, но и серьезной критики; если роман и поругивали в прессе, то лишь за недостаток художественных достоинств. Люди, описанные в романе, предпочли промолчать.

«Мы прочли карикатуры на себя, на братьев Тревельянов<sup>[44]</sup> и других старых знакомцев Эйч Джи, — писала Алтиора-Беатриса. — Портреты умны и злобны. Но что нас больше всего заинтересовало — это необычайная откровенность, с какой Эйч Джи описал свою жизнь и свой характер — несколько идеализированно, конечно, но написано с большой искренностью. <...> Это лишний раз раскрывает трагедию всей жизни Эйч Джи — его пристрастие к „прекрасным мыслям“ и даже „добрым чувствам“ и при этом его абсолютную неспособность пристойно вести

себя». Воспитанные люди всегда так ведут себя, когда их кто-то оскорбил, вслух говорят: «Ах он бедняга, его следует пожалеть», а про себя думают: «Попадись ты мне, сволочь...» Сидней Уэбб повел себя не так воспитанно — он просто молчал. Он вообще больше молчал, пока его жена говорила.

Беннет рассыпался в похвалах роману, который «своей всеобъемлющей, бесценной искренностью заставит критиков умолкнуть». Шоу назвал книгу шедевром и также отметил ее откровенность, правда, высказался по этому поводу двусмысленно (цитируя Уильяма Блейка), что она «оплачена всем, что человек имеет — домом, женой, детьми». Морли Робертс сказал, что Уэллс «единственный, кто пишет то, что думает», и шутливо посоветовал переделать финал: Ремингтон должен «обеих баб послать к черту». Генри Джеймс о содержании романа говорить не стал, ограничившись критикой формы. Чарльз Мастермен, обрадованный тем, что про него в книге ничего нет, заявил, что критика политической жизни очень остра и умна, и устроил в честь выхода романа парадный завтрак, на котором познакомил Уэллса со звездой либералов Ллойд Джорджем. Газетный магнат, владелец «Таймс» Альфред Хармсуорт, он же барон Нортклифф, старинный знакомый Эйч Джи, расхвалил «Макиавелли» и поклялся, что если какие-то издания вздумают бойкотировать книгу, он предоставит автору все страницы «Таймс». Почему «правым» так понравилась книга, написанная «левым» и о «левом»? Вопрос не так уж сложен. Уэллс при всей его экономической и сексуальной левизне был отчаянно правым в политике: противник «демократической болтовни», он ратовал за «сильную руку», за «порядок», за «аристократов духа», стоящих выше невежественной толпы — подобные взгляды, как правило, импонируют любым государственным деятелям.

Значительно холоднее отреагировали на «Макиавелли» некоторые из старых знакомых. Джозеф Конрад написал, что это «великая во всех отношениях» книга, но сказать о ней что-нибудь он не в состоянии; в другом письме он охарактеризовал тон романа как «восторженный и маловнятный». В то время дружба между двумя писателями уже остыла, но разрыв еще не произошел; дальнейшая переписка между ними не сохранилась, что не дает возможности точно установить, в какой период Конрад и Уэллс рассорились навсегда. В 1918-м Конрад рассказывал писателю Хью Уолполу, как после обсуждения «Макиавелли» он еще встречался с Уэллсом лично и сказал ему, что между ними лежит непреодолимая пропасть: «Вы ненавидите людей и при этом думаете, что они могут стать лучше. Я люблю, но знаю, что этого не будет никогда».

Вайолет Пейджет отозвалась о романе уклончиво, похвалив мечты своего друга о будущем, констатируя, что он, «как обычно, сражается с предрассудками», и заметив, что он мог бы больше считаться с чувствами людей, описанных им. Уэллс отвечал, что не надеялся на ее одобрение, но разность их взглядов не помешает дружбе. Кэтрин вела с Пейджет переписку; после прочтения «Макиавелли» Пейджет надолго замолчала, и на встревоженное письмо Кэтрин ответила, что причина ее немоты заключалась именно в романе — она не знала, как написать о нем. Автор излагает свои идеи чересчур примитивно и агрессивно, однако это, по словам Пейджет, вызвано стрессом, в котором он находится из-за несправедливой критики, обрушивающейся на него: «Я не верю, что в иных обстоятельствах автор „Предвидений“, „Люишема“ и „Тоно-Бенге“ мог бранить несовершенства мира таким тоном, словно лекарство от всех бед лежит у него в кармане».

Пейджет также написала Кэтрин, что ей не нравится, как «беспрестанно и навязчиво» Эйч Джи твердит о половом вопросе — это напоминает ей «пуританизм наоборот». Уэллс чуть не по каждому вопросу умудрялся занимать позицию, которую равно критиковали с противоположных сторон: если защитникам «традиционных ценностей» казалась дикой мысль о женщине как «свободном гражданине», подчиняющемся обществу, а не супругу, то для феминисток в идеях Уэллса также было много оскорбительного — и пренебрежение к избирательным правам, и сведение функций женщины к одной-единственной. Женщины понимали, что для освобождения им мало жить с женатыми мужчинами и получать от государства деньги за воспитание своих детей. Уэллсу это казалось достаточным: провозглашая равенство, он в очередной раз определил женщину как «помощника» мужчины. «Я хочу штопать ваши носки», — с улыбкой говорит Ремингтону его любимая; любящая женщина, наверное, всегда хочет этого, но иногда, быть может, она также хочет защитить диссертацию. Уэллс-идеолог подобных желаний не понимал. Но Уэллс-человек тянулся только к тем женщинам, которые не ограничивали свой круг интересов штопкой его носков или перепечатыванием его рукописей.

В апреле у Эйч Джи гостила Элизабет Хили: она преподавала в колледже, где встретила любовь, и познакомила своего жениха со старым другом. А на горизонте уже возникла новая женщина-друг. Звали ее Элизабет фон Арним (урожденная Мэри Аннет Бошамп): она родилась в Австралии в один год с Уэллсом, вышла замуж за немецкого графа, жила в Померании, родила пятерых детей, увлекалась изящными искусствами и садоводством, любила путешествовать; в 1908 году ее муж разорился, попал под суд, супругам пришлось

переехать в Англию, а в 1910-м фон Арним овдовела. Но ее дети не нуждались — еще при жизни мужа графиня была самостоятельным человеком. В 1898-м она написала полуавтобиографическую книгу «Элизабет и ее немецкий садик», изысканную и сентиментальную, которая ее прославила (в Англии); впоследствии опубликовала еще несколько десятков романов, рассказов и пьес. Серьезным писателем графиня фон Арним, в отличие от ее кузины Кэтрин Мэнсфилд, не считается, но в свое время она была популярна; одна из ее пьес, поставленных в Лондоне, «Побег Присциллы», принесла ей такой доход, что она скоро построила роскошный дом в Швейцарии.

Графиня обожала собирать вокруг себя настоящих и будущих знаменитостей (учителями ее маленького сына были беллетристы Морган Форстер и Хью Уолпол), стремилась создать салон; люди, относившиеся к ней хорошо, называли ее «коллекционером», иные — «пожирательницей». Это была женщина, умеющая добиваться своего. В 1907-м она уже писала Уэллсу о его книгах, пытаясь завязать знакомство, но он тогда не обратил внимания на ее письмо. В ноябре 1910-го, прочтя его новый роман, она решилась написать снова. «Вы должны простить мою назойливость — она вызвана тем наслаждением, которое я получила, читая Вашего дивного „Макиавелли“. Никогда еще не было человека, который бы так все понимал, как Вы, — другие предполагают и рассуждают, а Вы знаете, — и поэзия, и беспощадная, опустошающая истина Ваших произведений заставляют читателя жаждать продолжения».

Как могло человеку, считающему себя Учителем человечества, не польстить, если о нем говорят, что он все знает лучше других? Уэллс ответил на письмо. Месяцем позднее фон Арним посетила его на Черч-роу. Миниатюрная и живая, она была очень привлекательна.

Кэтрин тогда отдыхала в Швейцарии (она увлеклась восхождениями на горы), и Эйч Джи написал ей: «Вчера мои занятия были прерваны внезапным вторжением маленькой графини фон Арним, предложившей позавтракать с нею и совершить прогулку... Она отличный собеседник, знает „Макиавелли“ сердцем, и я думаю, что она чудный маленький друг...» Однако новая дружба не могла скрасить жизнь Эйч Джи в Лондоне.

14 октября в возрасте восьмидесяти двух лет умер его отец — «проснулся очень бодрым, подробно растолковал домоправительнице миссис Смит, как приготовить пудинг, велел нарубить его помельче, а то куски получатся „с мой большой палец“, просмотрел „Дейли кроникл“, которую она ему принесла, и захотел встать. Он спустил ноги с постели и упал с нее замертво». Какой-то неприятный бодряческий тон. Но мы уже видели реакцию Эйч Джи на смерть матери: вроде бы ничего, затем проходит время — и появляются страницы, полные любви и боли. Осень вообще была тяжелая. Уэллс устал от критики, от всеобщего внимания к его делам; он начал планировать кругосветный тур. Предполагалось ехать на Ближний Восток, оттуда в Азию, затем посетить США, Мексику и Карибские острова; путешествие займет около года. Расходы окупятся: за будущие путевые заметки, которые составят книгу, путешественник запросил у издателей гонорар в две тысячи фунтов. План начертан: осталось всего лишь осуществить его.

## **Глава вторая ДОМИК В ДЕРЕВНЕ**

«Мы можем купить собак, кошек, львов, тигров, верблюдов и слонов подходящего размера, у нас есть целая коробка железнодорожных служащих и несколько купленных в Дармштадте солдат, которых мы

выдадим за полицейских. Но нам нужны гражданские лица. В коробках немецкого производства даже бакалейщики носят эполеты. А нам нужны коробки торговцев: синий мясник, белый пекарь с булкой; коробки служащих, коробки регулировщиков уличного движения. Нам не хватает судей, адвокатов, ризничих. Мы могли бы, конечно, закупить девиц из Армии спасения или футболистов, но к ним мы равнодушны». «Оптимальная толщина — дюйм для больших досочек и три четверти дюйма для маленьких. <...> Из больших мы делаем острова и архипелаги, когда на полу у нас море; если пол — равнина, мы кладем маленькие на большие и получаем холмы; а еще они могут становиться мостами или крышами вокзалов, как это показано на схеме».

Это — книга Уэллса «Игры на полу» (Floor Games: A Father's Account of Play and Its Legacy of Healing)-, она адресована родителям и в ней рассказывается о том, какие игрушки потребны ребенку, и где их купить, и как можно, если не найдешь их в магазинах, сделать самому, используя досочки, веревочки, кубики, шарики, клей, краски и пластилин. Книга, снабженная рисунками автора, вышла в 1911 году в издательстве Палмера; она не утратила актуальности и по сей день. Описанные в ней игры используют психотерапевты для развития детей и лечения взрослых. Если у вас есть дети, прочтите эту книгу: в ней столько технической дотошности, что даже самый неспособный к рукоделию отец сообразит, как следует приделывать палочки к веревочкам, дабы получился виадук.

В том же году издательство Нельсона опубликовало сборник «Страна слепых и другие рассказы», куда вошли 33 лучших рассказа разных лет. Ничего скандального за авторством Уэллса в тот год не выходило, новых приключений автор не затевал, жизнь успокаивалась. Но позвольте, он же должен был ехать в



кругосветное путешествие? Увы, плана не всегда достаточно для осуществления мечты. Поездка сорвалась, потому что издатели не согласились платить запрошенную сумму за очерки. Вместо кругосветного плавания Уэллс в январе 1911-го поехал с женой, мальчиками и гувернанткой в швейцарскую курортную деревушку Венген кататься на лыжах. Кэтрин простудилась и была срочно отправлена домой; вскоре и Эйч Джи подхватил грипп, но в Англию не поехал, чтобы не лишать детей развлечения. Сам он был очень угнетен: Матильда Мейер вспоминала, что никогда не видела его «таким капризным», как в тот январь, а своему знакомому, Роберту Россу, он написал из Венгена, что одна мысль о возвращении в Хэмпстед приводит его в отчаяние, и просил сообщать ему, если где-нибудь продается хороший дом. Фешенебельное жилье в престижном районе, купленное впопыхах, оказалось негодным: во-первых, дом на Черч-роу был старый, с маленькими окнами, узкими лестницами, тогда как Уэллсы любили просторные, солнечные помещения с обилием лоджий и террас; во-вторых, семья привыкла жить за городом; в-третьих, в Хэмпстеде Уэллсы были уж очень на виду, а это мешало работать.

Весной Уэллс был в гостях у Ральфа Дэвида Блуменфельда, редактора «Дейли экспресс»: тот жил в деревне Грейт-Истон в графстве Эссекс. Это сельский, тихий, зеленый район всего в сорока милях от Лондона; многие живут там и ежедневно ездят в Лондон по делам. Уэллс попросил Блуменфельда узнать, не продает ли кто-нибудь из соседей дом, а на лето снял коттедж в Нормандии. Но еще до отъезда произошло событие, заслуживающее внимания.

Империя «Таймс» не ограничивалась выпуском газеты; с 1905 года при редакции было учреждено дочернее издательство «Таймс бук клаб», выпускавшее

произведения популярных авторов; это также был клуб, где писатели встречались с читателями. В мае Уэллс прочел там доклад «Современный роман», положивший начало открытой полемике с Генри Джеймсом. Роман, по его мнению, «должен быть посредником между различными слоями общества, проводником идей взаимопонимания, методом самопознания, кодексом морали, он должен служить для обмена мнениями, быть творцом добрых обычаев, критиковать законы и институты, социальные догмы и идеи», «просвещать, ронять зерна, из которых развивается плодотворное стремление познать самого себя»; писатель, который пишет такие романы, «станет самым всемогущим из художников, ведь ему предстоит давать советы, создавать образцы, обсуждать, анализировать, внушать и всесторонне освещать то, что поистине прекрасно».

Уэллс критиковал литераторов, которые только развлекают публику, равно как и тех, кто занимается словесными изысками; создание характеров, считавшееся краеугольным камнем романистики, ему также казалось ненужным. «Мы (романисты) собираемся заняться политическими, религиозными и социальными вопросами. <...> Что толку рассказывать истории о людях, если нельзя откровенно говорить о религиозных догмах и сообществах, которые смогли или не смогли на них повлиять?» Он полагал, что роман обязан включать в себя дискуссии на «животрепещущие темы»; он призывал к «более широкой литературной форме», которая объединяла бы беллетристику с публицистикой. «Мы будем писать о возможностях, которые не используют, о красоте, которую не замечают, писать обо всем этом, пока перед людьми не откроются бесчисленные пути к новой жизни». Под «мы» подразумевалось «мы с Беннетом», пишущие о важном, тогда как другие болтают о пустяках. Любопытно, что Вирджиния Вулф в 1924 году назовет

Уэллса и Беннета писателями, которые «пишут о малозначительных вещах» и «расходуют огромное мастерство и огромные усилия, выдавая банальное и преходящее за истинное и вечное».

Беннет вспоминал, что комната была тесная, слышно плохо из-за распахнутого окна, а большую часть аудитории представляли дамы, которых привлекла возможность продемонстрировать туалеты, — место для обнародования своих идей Эйч Джи выбрал неудачное. Но все же несколько писателей там было, и текст доклада был опубликован; содержание его моментально дошло как до тех, кто был «мы», так и до других, которые пишут неправильно. «Идеологический» роман имеет такое же право на существование, как и любой другой, — и доклад Уэллса был бы воспринят его литературными антагонистами спокойнее, если бы он не нападал на тех, кто желает писать не так, как он велит, и если бы это не выглядело попыткой «огрызнуться» в ответ на критику его последних романов. Джеймс писал по-своему и критиковал Уэллса в частной переписке; Уэллс тоже писал по-своему, но напал на Джеймса публично — это было похоже на месть.

После лекции Беннет подвел к Уэллсу молодого литератора Фрэнка Суиннертона, и все трое поехали обедать. Суиннертон писал рассказы и романы, но больше был известен как критик и эссеист; он прожил почти сто лет и оставил множество воспоминаний о своих современниках и автобиографию, в которой рассказывал не столько о себе, сколько о людях, которых знал; это был человек редкой скромности. Уэллс в мемуарах о нем почти ничего не написал, — а между тем они дружили сорок лет, — лишь назвал его в числе трех писателей, с которыми ни разу не ссорился (другие двое — Беннет и Гилберт Честертон). Через несколько дней новый приятель был приглашен на

Черч-роу; мягкий и доброжелательный, он стал одним из немногих, кого можно отнести к друзьям Кэтрин. До войны Суиннертон будет посещать Уэллсов практически каждый уикенд.

В конце мая Уэллсы отправились в Нормандию. Англичане стремились убежать от своих дождей на континент, где сияло солнце; одни знакомые жили поблизости, другие наезжали в гости. Приезжали Беннет, Морис Баринг, Вайолет Пейджет, часто гостили Ротенстейны, бывал Рей Ланкастер — зоолог, последователь Хаксли, друг Карла Маркса, в то время уже старик, оставивший пост директора Музея естественной истории, автор научно-популярных книг, серьезный ученый и одновременно — фантазер, вдохновлявший писателей: Конан Дойл из бесед с ним почерпнул идею «Затерянного мира». Ланкастера, как и Уэллса, занимал «половой вопрос»: обсуждать эту тему они продолжали еще долго путем переписки. Об уэллсовских идеях «свободной любви» Ланкастер отзывался критически. Сам он делил женщин на два вида: первый — «развратные и пленительные», второй — «ангелоподобные», чистые и порядочные, которые могут быть счастливы только в браке с единственным мужчиной и перед которыми должно преклоняться; если бы представительница «ангелоидов» повела себя неподобающим образом, он в ужасе бежал бы от нее. (Неудивительно, что Ланкастер никогда не был женат.) «Свободных» женщин, которых описывал Уэллс, Ланкастер называл «квази-ангелоидами с абберрациями поведения» и считал, что пропагандировать их опыт не следует, особенно учитывая, что рядом с Уэллсом находится истинный ангелоид — Кэтрин. Уэллсу все это, вероятно, казалось бредом; его ответы не сохранились, но из писем Ланкастера ясно, что он был обижен, — тем не менее переписка продолжалась.

С Барингом тоже были идейные разногласия — тот недавно принял католичество и повсюду его отстаивал, а также выступал против «идейности» в искусстве. Но без хорошего спора с умными людьми и жить было бы неинтересно. Устраивали пикники, танцы и при этом дискутировали о науке, искусстве и человечестве: Эйч Джи впервые за последние два года почувствовал себя отдохнувшим. К тому же Блуменфельд сообщал, что нашлось жилье: землевладелица леди Уорвик хочет сдать в аренду на длительный срок одно из принадлежащих ей строений — ректорий, пасторский дом в деревне Литтл-Истон.

По возвращении домой Уэллс сразу отправился в Эссекс. Дом представлял собой элегантное строение из красного кирпича в георгианском стиле<sup>[45]</sup> — простота и изящество линий, простор, большое количество окон, — с обширными лужайками, с садом, окруженное пшеничными полями; по соседству находилась резиденция леди Уорвик — замок Истон-Лодж, рядом железнодорожная станция. Все это напоминало любимый «Ап-парк». Уэллсу также понравилась хозяйка — некогда знаменитая красавица и возлюбленная Эдуарда VII, а ныне эксцентричная пожилая дама, интересовавшаяся социализмом, учредившая дом престарелых, зоопарк, швейное училище и колледж для девочек и собиравшая в своем доме художников и политиков. Она была рада такому жильцу и соседу, как Уэллс, и арендную плату назначила очень скромную — 100 фунтов в год (потом согласится продать дом). Переезд назначили на январь 1912-го, а дом в Хэмпстеде решено было сохранить.

Еще на Черч-роу Уэллс начал работу над романом «Брак» (Marriage). Эта вещь вряд ли могла вызвать скандал, ибо герой не убегал с девушками, а жил с женой. (Видимо, Уэллс решил исправить впечатление о

себе как о ниспровергателе брачных институтов и подчеркнуть, что он выступает лишь против плохих браков — Бертран Рассел, во всяком случае, именно так подумал.) Марджори, умная, образованная и при этом любящая красивые тряпки, вышла за талантливого химика Трэффорда, у них родилась дочь. Марджори — прекрасная мать, но ей нужно занятие помимо дома и хозяйства; она просит мужа взять ее к себе лаборантом, но он отказывает ей, потому что видит в жене ребенка, которого нужно опекать. Марджори приходится весь свой душевный пыл тратить на покупки. Трэффорд, не сумев обеспечить потребности жены, тоже превратил свою жизнь в погоню за богатством и забросил науку. Он хочет бежать от жены и опротивевшего ему образа жизни на Лабрадор, но его мудрая мать говорит, что он обязан взять жену с собой. Марджори отказывается, Трэффорд ее принуждает, и она, почувствовав в нем властелина, покоряется не без удовольствия.

На Лабрадоре Марджори осознает, что жила неправильно. Трэффорд попадает в лапы к рыси, его жизнь в опасности; Марджори выхаживает его, занимается физическим трудом и понимает, что она чуть не испортила ему жизнь, «...она должна стоять на его стороне, поддерживать его, перестать его раздражать, смотреть, ждать. А теперь она по крайней мере могла починить его носки...» Трэффорд решает вернуться к цивилизации, но заниматься не химией, а более важным делом — изучать человечество. Он читает жене лекции о том, как устроен мир; она наивно предлагает ему принять практические меры, например, внести в парламент закон, улучшающий жизнь бедняков. Муж объясняет, что она неправа. «Мужчины моего вида хотят понимать. Мы хотим понять, а вы требуете от нас действий. <...> Мы хотим понять законы взаимодействия людей, а вы просите, чтобы мы сразу написали законопроект». Итак, отныне Трэффорд

будет думать и понимать, а жена будет его поддерживать, перепечатывая его книги и чиня носки.

«Любовная линия в моих романах важна не сама по себе, а как иллюстрация к тем или иным умозаключениям», — говорил Уэллс. «Брак» написан в точном соответствии с этим высказыванием и постулатами «Современного романа» — мало действия, персонажи набросаны схематично, диалоги... да вот пример. Трэффорды встречают охотника, который предлагает им купить шкурку, и вспоминают, как прежняя Марджори бегала по магазинам и покупала меха:

«Бедные звери! Их шкурки будут сняты и разделаны, потому что женщины, никогда не видевшие этого сурового уголка природы, мечтают носить их...

— Что, если бы я купила одну — как сувенир!

Он посмотрел на нее с легким удивлением.

— О нет! — воскликнула она. — Я не собираюсь...

— Твой старый Адам с тобой, — сказал Трэффорд. — Я подарю ее тебе... Мы не перестали быть людьми лишь оттого, что познали свое предназначение... Которую ты хочешь? Честное слово, я куплю ее тебе. <...>

— Нет, — сказала Марджори с почти жестоким выражением лица. — Мне нужно изменить в моей жизни больше, чем тебе. Только потому, что вся моя прежняя жизнь состояла из этих вещей, я не должна. Не осложняй мою задачу».

Можно было выбрать и более «идейный» фрагмент, но нам показалось, что слова о «бедных зверях» будут выглядеть особенно комично, учитывая, что недавно автор предлагал ликвидировать всех животных на Земле, ибо они разносят заразу. «Бесспорно, роман этот написан небрежно, — впоследствии признал Уэллс. — Легкости и отточенности в нем не хватает. Для этого понадобилось бы время, которое я не мог на него потратить. Речь не о том, что надо бы зарабатывать

меньше, а писать старательнее (хотя и это соображение здоровое), а о том, что у меня было очень много идей, и я стремился прежде всего, не очень заботясь об отделке, донести их до читателя». Ни умирать, ни прекращать литературную деятельность Эйч Джи не собирался — так почему «нельзя» было потратить хотя бы пару лишних недель, если он сам видел, что работа сделана небрежно? И почему же «речь не о том, что надо бы писать старательнее», если это здоровое соображение? Уэллс сказал также, что читателей, к которым он обращался, всякая там «отделка» не интересует. «Я писал с нарочитым равнодушием ко всяческому украшению, не употреблял самобытных выражений, если можно было обойтись расхожими, представал в ту пору более чем когда-либо журналистом». И все же он упорно не хотел отказаться от романной формы.

После Нового года состоялся переезд в новый дом, впоследствии получивший название «Истон-Глиб». («Глиб» на староанглийском — церковный приход, а также «уголок», «пристанище».) Леди Уорвик разрешила жильцам делать ремонт на свой лад; началось строительство, которое заняло около полутора лет. Получилось комфортабельное жилище: на первом этаже — огромный холл, столовые, гостиные, библиотека-студия, на втором — кабинет хозяина, двенадцать спален и шесть ванных — предполагалось, что гости будут жить подолгу. Окна были маловаты — прорезали дополнительные и дом стал полон света; пристроили веранду. Не все находили, что дом получился хорош — Беннет, к примеру, счел его неуютным. Но уют хозяева понимали по-своему: яркий свет и много свободного пространства. В саду с восточной стороны дома был каретный сарай — его переоборудовали под танцзал, а с западной стороны устроили теннисный корт и площадки для игр. Южная сторона выходила на озера и лес. Сад был отдан в



распоряжение Кэтрин — она выращивала розы. Привычный уклад жизни не менялся: длительные прогулки на велосипедах и пешком, множество гостей, спектакли, подвижные игры на свежем воздухе.

«На конец недели к нам собиралась самая разнообразная, казалось бы несовместимая публика. Приезжали обычно днем в субботу, несколько отчужденные, не испытывая особого доверия друг к другу, а в понедельник уезжали, чудесным образом объединенные, успев понаряжаться в маскарадные костюмы, потанцевать, выступить в какой-нибудь роли, погулять, поиграть и помочь приготовить воскресный ужин». Часто гостили соседи: леди Уорвик приводила с собой своих знакомых, Блуменфельд — коллеге Флит-стрит; рядом жил издатель журнала «Кантримен» Робертсон Скотт. Приезжали старые друзья, модные политики, актеры, критики, адвокаты, ученые, светские бездельники — количество гостей доходило до нескольких десятков. Организационные вопросы решала хозяйка, а хозяин играл роль массовика-затейника. Фрэнк Суиннертон, один из постоянных гостей, писал, как над всем весельем царил «мистер Уэллс, полный радушия, которое всегда возбуждало в нем общество молодых, энергичных, веселых людей; мистер Уэллс — оживленный, неисчерпаемый рассказчик, получавший вдохновение из каждого слова, оброненного кем-то другим, каждого, самого крошечного происшествия...».

Если у Эйч Джи и бывало дурное настроение, при гостях он его не обнаруживал. От него шел ток энергии, бодрости, оживления. Сидней Уотерлоу, литератор и известный сплетник, писал: «Я чувствую, что каждый день он с удвоенной энергией радуется тому, что здесь он защищен от бед окружающего мира... Сознание того, что он живет в хорошем доме с удобными постелями и миленькой мебелью и может пить свое любимое

бургундское, заставляет его постоянно трепетать от восторга». Это написал гость, которого радушно принимали хозяева и который пил в их доме упомянутое бургундское; человек, который не родился в бедности и всегда имел удобную постель. Конечно же Уэллс радовался, что он и его семья живут в хорошем доме. Все свои дома он не украл и не получил по наследству, а заработал таким интенсивным трудом, какой Уотерлоу и не снился.

Гости приезжали в «Истон-Глиб» в теплое время года, зимой приемы проходили на Черч-роу. Суиннертон писал, что после ужина хозяин и хозяйка садились за рояль и играли вальсы Брамса, причем толпа гостей «танцевала нечто мало напоминавшее вальс: скорее это было какое-то буйное фанданго». В «Истон-Глиб» было меньше музыки и больше спорта. Тот же Суиннертон описывал распорядок воскресного дня: вставали рано, быстро завтракали и с девяти утра до одиннадцати вечера играли в хоккей на траве и другие игры с мячом, правила которых придумывал сам хозяин, или под руководством Кэтрин и леди Уорвик разыгрывали сценки из пьес. Писатель Синклер Льюис, приезжавший из Америки, вспоминал, как гостей, желавших вздремнуть после сытного обеда, волокли играть в теннис: «Я был лет на двадцать моложе Уэллса, худее, да и дюймов на шесть-семь выше ростом, но неугомонный дьявол в образе моего партнера уже через четверть часа игры доводил меня до полного изнеможения. Он так подпрыгивал, что, несмотря на румянец и белый фланелевый костюм, его трудно было отличить от теннисного мяча, и это путало все карты». Все, кто видел Уэллса с его сыновьями, отмечали, что он вел себя как их сверстник; он и взрослых старался втянуть в развлечения, которые принято считать детскими — прятки, чехарда — и гости, попадавшие в дом впервые, с изумлением наблюдали, как серьезные

люди с хохотом прыгают через стулья или, завернувшись в оконные занавески, изображают римлян на форуме, а вскоре, преодолев смущение, присоединялись ко всей компании.

История с Эмбер постепенно забывалась, Эйч Джи успокоился, Кэтрин вновь расцвела: «От нее исходило такое доброжелательство, такой безусловно радостный жар, что самые холодные воодушевлялись и самые чопорные оттаивали». Суиннертон написал о ней: «Ее пугает все, что может нарушить праздничную атмосферу — чей-то выпад, чье-то резкое слово — и, хотя она наслаждается этими вечерами как никто, при первом признаке конфронтации или натянутости за столом, она выглядит встревоженной, почти испуганной. Но стоит только обществу благополучно выбраться из конфликтной ситуации, она мгновенно отбросит свою тревогу и вновь будет щебетать, как дитя. <...> Она была сердечна и нежна почти как мать». То «ребенок», то «мамочка» — быть может, Кэтрин Уэллс действительно была, как утверждает ее муж, «от природы» лишена женского начала, и измены мужа беспокоили ее лишь с той точки зрения, что, когда он не жил дома, гости приезжали редко и ей было не с кем попрыгать через стулья?

Эйч Джи, возможно, был неприятно удивлен, обнаружив в мартовском номере журнала «Харперс мэгэзин» рассказ «Прекрасный дом», написанный его женою. Это рассказ о женщине, которая живет в комфортабельном доме с мужем, который ее не любит, и ей хочется умереть. Кэтрин напишет еще несколько десятков рассказов и стихотворений, наиболее удачные из которых после ее смерти составят «Книгу Кэтрин Уэллс»<sup>[46]</sup>. Эту книгу издал ее муж, сопроводив предисловием, в котором отзывался о ее творчестве так: «В этом собрании рассказов и горсточке стихов она

выразила настроение, состояние души, ступень развития личности, можно сказать, таинственной, не напористой, однако стойкой, ничем не впечатляющей, но светлой, чистой и по своему складу весьма утонченной. Эта сторона ее натуры пронизана некоей задумчивой печалью... Это жажда красоты и дружества. В истоках этой жажды смутно маячит возлюбленный, так и не увиденный, так и не признанный». «Она искала выражения чему-то, что, как ей представлялось, сама толком не осознала, и, должно быть, решительно не согласилась бы ни с кем, кто стал бы утверждать, что ему все ясно и понятно».

Хорошо, не будем утверждать, что нам все ясно и понятно. Правда, почти все рассказы Кэтрин написаны об одном: одинокая женщина, которую не любит ее знаменитый муж; правда, все эти тексты переполнены мотивами страдания, смерти и самоубийства. Иногда в дом заходит какой-нибудь мужчина — вовсе не «смутно маячащий возлюбленный», а, например, молодой фотограф, который должен снимать мужа героини, и она тянется к нему, испытывая при этом не только возвышенные, но эротические чувства, как самая обычная, а вовсе не чего-то там лишенная «от природы» женщина, но пугается последствий. В рассказе «Сад, окруженный стеной» муж юной героини перед брачной ночью нарекает ее другим именем (Джейн вместо Кэтрин), а когда она шутливо просит окрестить ее и ждет, что они начнут весело брызгать друг в друга водой, торжественно целует ее в лоб; наутро же она, хотя муж и был «деликатен», встает с брачного ложа «с недоумением» и «слабым чувством разочарования». Сам Уэллс, помнится, утверждал, что они с женой «были вынуждены обходиться ограниченными ласками и сдержанной близостью» из-за «недостатка нервного воображения» у Кэтрин. Не будем делать вывод, будто сам Эйч Джи был «от природы» чего-нибудь —

например «нервного воображения» — лишен. Он просто был молод и неопытен, когда женился.

Уэллс придумал изящную теорию о своей жене: в ней жили две разные женщины. Джейн — товарищ, хозяйка, мать, помощник; Кэтрин — фантазерка, чей внутренний мир закрыт для всех. Сказано красиво, но ничего не проясняет. Лирическая героиня Кэтрин вовсе не противопоставлена прозаической Джейн — это одна и та же женщина. Была ли она инфантильной? С одной стороны — да: антураж рассказов составляют феи и эльфы, пейзажи напоминают волшебный сад Уэллса, а героиня зачитывается детскими сказками и мечтает о принце. Но в большинстве рассказов вслед за сказочным сном появляется мужчина из плоти и крови. Вот только оставить своего мужа героиня не способна. «Вся эта жизнь, которую я вела годами, приросла ко мне, словно кожа, — говорит она в рассказе „Майский полдень“, объясняя мужчине, почему вынуждена отклонить его любовь, — если я лишусь ее, то погибну». Имелась ли реальная основа у этих историй? Нет никаких свидетельств того, что у миссис Уэллс когда-либо был роман, даже платонический, и прекрасные принцы из ее рассказов не напоминают тех, кто гостил у ее мужа (разве что Суиннертона — немножко). Героиня Кэтрин боится сделать шаг — этот страх не укрылся ни от Уэллса, ни от биографов, как правило, приходящих к выводу, что Кэтрин панически боялась жизни и была не приспособлена к ней. Наверное так: однако ее героиня объясняет свой страх перемен очень весомой причиной: «У меня дети. Их счастье значит для меня больше, чем Вы».

И что, неужели после всего этого можно утверждать, что нам не все «ясно и понятно»? Да, можно: не ясно и не понятно, зачем Уэллс издал эту книгу — ведь не рассчитывал же он, что его лукавое предисловие может кого-то обмануть? Но он просто

считал себя обязанным сделать хотя бы это для своей жены.

\* \* \*

Спустя несколько дней после того, как Эйч Джи прочел «Прекрасный дом» и призадумался, Джеймс и Эдмунд Госсе предложили ему баллотироваться в Академический комитет Королевского литературного общества — влиятельной организации, которая должна была способствовать открытию новых талантов. Комитет организовывал конкурсы и учреждал премии; его членами состояли Киплинг, Гарди, Йетс, Шоу, Конрад. Беннет называл эту группу «нелепым учреждением»; Уэллс, придерживавшийся того же мнения, ответил отказом. Джеймс по настоянию Госсе отправил Уэллсу учтивое письмо с просьбой пересмотреть свою позицию. «Я люблю всякие ассоциации и академии не больше Вашего, — писал он, — но я рад делать эту простейшую общественную работу, которая к тому же доставляет наслаждение от соприкосновения с человеческой мыслью». Уэллс ответил столь же вежливым письмом — «Как бы мне хотелось плыть в одной лодке с Вами», — но объяснил, что ему противен любой вид контроля над писателями со стороны какой бы то ни было организации: он и его единомышленники — «анархисты». Джеймс вновь написал ему, поясняя, что анархизм также есть своего рода порядок, и делая упор на том, что их связывало, а не разделяло — любовь к литературе и осознание необходимости делать для нее все, что в «наших с Вами» силах. Но при последовавшей за письмами встрече в Реформ-клубе Джеймс, по его словам, понял, что никаких «мы с вами» больше нет: то, что Джеймс

считал литературой, для Уэллса больше не существовало.

«Брак» печатался в 1912-м в журнале «Америкэн мэгэзин». В Англии книгу согласился издавать Макмиллан, который назвал ее «не только интеллектуальной, но и подходящей для самого широкого чтения». Трудно сказать, обрадовала ли автора такая оценка, ведь она означала, что в его романе нет ничего спорного. Консервативные критики уделили «Браку» мало внимания, ибо обругать его было не за что. Муж не помышлял об изменах, расточительную кокетку-жену силком приучали к бережливости — недаром рецензент «Ти-Пи уикли» (женщина) написала, что «Брак» может поставить на свою книжную полку самая пуританская семья. Врагам роман понравился — удары наносили только друзья. Госсэ назвал «Брак» «жестким и металлическим»; Джеймс указывал на искусственность диалога и неубедительность характеров, но завершал письмо словами, которые должны были свести на нет всю критику: «Помните, что оговорки, с которыми я отношусь к Вашему творчеству, признают за ним больше жизни, больше трепета и кипения, чем за какими бы то ни было книгами, которые мне доводится читать». За глаза, однако, Джеймс отозвался о «Браке» по-другому, заметив в письме к миссис Хэмфри Уорд (популярному в то время беллетристу), что новая книга Уэллса его сильно огорчила: «Так много таланта — и так мало искусства, так много разговоров о жизни — и так мало жизни!» Изысканные комплименты, которыми завершались все «разносы» Джеймса, Уэллса всегда трогали; он откликнулся очень дружелюбным письмом, в котором благодарил за критику и признавал, что с точки зрения формы его книга из рук вон плоха. Тем не менее он не собирался отступать от своих принципов.

Спор с «мэтром» он решил перенести в книгу и осенью начал делать наброски к роману «Бун».

«Брак» активно не понравился «новым женщинам», в защиту которых был написан. В 1911 году Дора Марсден и Мэри Готорп основали феминистскую газету «Фривумен»<sup>[47]</sup>, в которой публиковались материалы о женском движении, социализме, искусстве и т. д. Уэллс изъявил желание сотрудничать с «Фривумен» и в декабре 1911-го опубликовал статью, разъяснив свою позицию относительно избирательных прав женщин. «Я хотел бы, чтобы женщины имели избирательные права — как символ того, что они являются гражданами. <...> Я полагаю, что разница между мужчиной и женщиной не так огромна, как внушает наше общество, одурманенное половой манией... Я всегда был склонен придавать половому вопросу не слишком большое значение и считаю, что по этому поводу чересчур много говорится». Кто сказал эти слова — человек, который только о половом вопросе и твердил в своих работах? Да, тот самый: только в данном случае он выступал не против традиционалистов, отвергающих мысль о равенстве женщин с мужчинами, а против суфражисток-милитанток, видевших в мужчинах врагов. Его позиция была близка направлению «Фривумен»; но в сентябре 1912-го, после опубликования «Брака», газета нанесла ему удар.

Воздав дань Уэллсу как писателю, «смело вскрывающему гнойники общества», автор критической статьи обрушивался на «Брак». Он не уделял внимания Трэффорду: его интересовала Марджори, чье душевное «преображение» он назвал фальшивым и неубедительным; Уэллс также не сумел убедительно показать, как общество повлияло на характер героини, в результате чего она кажется просто «ненормальной». Но главная ошибка Уэллса в том, что он не предложил



Марджори выхода: она остается содержанкой мужчины и продолжает вести свое «коровье», по выражению рецензента, существование, не став ни на йоту более самостоятельным человеком, чем ранее. Это было попадание не в бровь, а в глаз: все уэллсовские «свободные» женщины, став «помощницами» своих мужчин, жили на их содержании и, если бы любовники их оставили, им пришлось бы либо вернуться к своим отсталым родителям, либо умереть с голоду. В довершение автор статьи называл Уэллса — самого передового мужчину, рассуждающего о вопросах пола так откровенно и смело, что его обвиняли в порнографии, — «старой девой среди романистов». «И, наконец, м-р Уэллс постоянно талдычит о своих врагах», — заявил рецензент, имея в виду очередную карикатуру на Уэббов. О, как это было верно и как жестоко.

Несмотря на то, что критик отнесся к работе Уэллса гораздо строже, чем Джеймс, Уэллс не обиделся, а заинтересовался. Джеймс называл его путь ложным, а рецензент из «Фривумен» считал, что в романе главным является идеология, то есть понимал правильность избранной им дороги. Он пригласил критика в гости. То была женщина — это не имело значения, мужчину он бы тоже пригласил, — но все ж ему было вдвойне интересно поговорить с представителем того подвида Homo sapiens, о нуждах которого он радел.

Сесили Фэрфилд родилась в Лондоне в 1892 году; ее отец, журналист, оставил семью, когда Сесили было восемь лет, и вскоре умер. Мать с тремя дочерьми переехала в Эдинбург, где Сесили обучалась в престижной школе для девочек. В апреле 1910-го семья вернулась в Лондон. Сесили, мечтавшая стать актрисой, поступила в Академию театрального искусства, но вскоре была отчислена — как считается, из-за того, что уволилась преподаватель Филиппи, оказавшая ей

протекцию. Сесили пыталась устроиться в театр, потом попробовала написать эссе о книгах, отправила его в редакцию «Фривумен», и ей тотчас предложили быть колумнистом газеты. Вторая ее статья в «Фривумен» вышла под псевдонимом Ребекка Уэст — это имя носит героиня пьесы Ибсена «Росмерсхольм». На ее материалы обратил внимание Роберт Блэтчфорд, редактор социалистического еженедельника «Кларион», и также предложил сотрудничество. Дальше как по маслу — менее чем за год Ребекка превратилась в преуспевающего, востребованного журналиста, публиковавшегося в «Стар», «Дейли ньюс» и «Нью стейтсмен».

Уэст была очень незаурядным человеком (о ней написаны десятки книг): не получив университетского образования, не готовясь к литературной карьере, она сразу начала писать бойко, быстро и много, как профессионал. С детства она рассылала своим сестрам и подругам длинные, остроумные письма — как Уэллс. Производительность труда у нее была потрясающая — как у Уэллса. Вскоре она начала писать не только книжные обзоры, но и эссе на любые темы — как Уэллс. Далее последуют романы, рассказы, пьесы, биографические исследования, репортажи, но литература останется ее любимой областью и более всего популярна она будет как критик. К середине 1920-х о ней будут говорить как о самом блестящем литературном критике-женщине и назовут «Бернардом Шоу в юбке», а в 1948-м Гарри Трумэн, вручая ей премию Женского пресс-клуба, скажет, что она «лучший в мире репортер». Шоу сказал о ней: «Ребекка Уэст владеет пером так же блестяще, как я едва ли когда-нибудь мог, и при этом гораздо беспощаднее», а Блэтчфорд сравнил ее искусство с «боевым топором и томагавком для снятия скальпов». Ее идеалом был Марк Твен с его афористичностью и отточенностью

выражений. Она этому идеалу следовала довольно успешно: «Нет никаких оправданий для существования мужчин, за исключением случаев, когда нужно передвинуть фортепиано».

Ее работу принято называть блестящей и также принято отмечать, что это был холодный, безжалостный блеск клинка. Было ли что-то кроме блеска? Да как сказать... Одной-двумя фразами она выносила приговоры, не заботясь об аргументации. Анна Каренина — «чушь». Стриндберг «не умеет писать». Набоков «имеет привычку конструировать свои романы по образу и подобию мандрила — те части, которые имеют отношение к сексу, окрашены в самый яркий цвет». О печальной поэзии Томаса Гарди: «Один из предков мистера Гарди, должно быть, женился на плакучей иве». Едва оперившись как литератор, Уэст начала писать книгу о жизни и творчестве Генри Джеймса, который, по ее мнению, был «величайшим писателем», но «препротивным старикашкой»; характерные для него длинные фразы она определила как «немощные создания, укутывающиеся в придаточные предложения, как больной — в шаль». Уэллса она впоследствии отнесет к не самым сильным авторам — он писал «лихорадочно» и «неряшливо», — но снисходительно признает его «отцом и матерью научной фантастики». «Всю нашу молодость они толклись возле нас, — напишет Уэст в 1928 году. — Большая четверка: Уэллс, Шоу, Голсуорси и Беннет. Их отличали щедрость, шарм и болтливость старых дядюшек, приехавших с визитом. Дядюшка Уэллс всегда являлся малость запыхавшимся, с полными руками свертков...»

В первой половине XX века хлесткие фразы Ребекки Уэст поражали воображение; позднее ими стало трудно кого-либо удивить, и в старости (она умерла в 1983-м, когда ей было уже за девяносто) Уэст жаловалась, что

ее как критика все забыли. А тех, с кого она недрогнувшей рукой снимала скальпы, помнят и перечитывают. Но это не означает, что Ребекка не была высокопрофессиональным журналистом и что ее вклад в общественную жизнь не был огромен. Перед войной она написала фундаментальное исследование о Югославии; после войны вела репортажи с Нюрнбергского процесса. Она объездила весь мир, глаз у нее был острейший, память чудовищная; когда нужно было навести какую-нибудь справку о малоизвестной стране, все обращались к ней. Она переписывалась чуть не со всеми знаменитостями своего времени; ее сын Энтони утверждал, что эти письма, для которых характерны «жестокость карикатур на современников и чрезмерная свобода в обращении с истиной», не проживут долго, но он ошибся: громадная переписка Ребекки Уэст по сей день является кладом для литературоведов и историков.

На юную Ребекку Уэст быстро обратили внимание в литературном мире; наиболее близка она в первые годы карьеры была с кругом писателей, имевших отношение к фордовскому «Инглиш ревью». Она восхищала мужчин, настораживала женщин. «Она была рассудительна и мила, — вспоминала Вайолет Хант, — но ее невозможно было одурачить. Выглядела она как девчонка-школьница. Она заставляла с собой считаться: стоило ей войти в комнату, как уже невозможно было представить эту комнату без нее. Если она захочет уничтожить вас, она это сделает; если она решит быть с вами милой — ваше счастье». А Вирджиния Вулф определила ее как ее «помесь горничной и цыганки, но с цепкостью терьера, с горящими глазами, запущенными, довольно грязными ногтями, весьма энергичную, с дурным вкусом, подозрением на интеллектуальность и громадным интеллектом». На самом деле Ребекка была чрезвычайно привлекательна

— тоненькая темноволосая девушка, одевавшаяся по-детски, с кошачьими повадками и смелыми речами. Для сорокапятилетних мужчин этот типаж — погибель.

Уэллс пригласил Ребекку на ланч в «Истон-Глиб»; она приехала 27 сентября. Они сразу же заспорили о положении женщины в обществе: Уэллс настаивал на том, что женщина — «помощница» мужчины, Уэст доказывала, что она способна справиться с жизнью сама. О мужчинах она высказывалась весьма резко — «паразитический пол», «тираны», — но ей, как и Уэллсу, были смешны суфражистки, и она иронизировала над женщинами, которые идут работать, чтобы что-то доказать мужчинам. Работа в ее понимании была не дорогой к свободе, а самой свободой.

Уэллсу новая знакомая понравилась, но о романе с ней он не помышлял: ему «было хорошо с Элизабет». Фон Арним нарожала и воспитала детей, реализовалась в творчестве, сделала карьеру, добила материальной независимости — чем не «новая» женщина? Увы, она оказалась «неспособна ни к философским раздумьям, ни к размышлениям о политике». Она оставила мемуары, похожие на роман, и множество автобиографических романов; у нее был великолепный комический дар. В одном из этих романов, «Жена пастора», изложены ее отношения с Уэллсом. Он тоже описал свою связь с нею; друг другу они противоречили. Уэллс говорит, что фон Арним три года была его любовницей; графиня это отрицает. В том, что Уэллс пишет о фон Арним, есть противоречие: с одной стороны — «в нашей связи малютка Элизабет ценила только веселье», с другой — графиня донимала его своей любовью, писала ревнивые письма, проявляла враждебность к Кэтрин. А по словам графини, ревнивые письма писал ей Уэллс, три года ее домогавшийся. «Мы упархивали за границу и презанятно проводили время в Амстердаме, Брюгге, Ипре, Аррасе, Париже, Локарно,

Орте, Флоренции, и никто об этом ведать не ведал», — написал Уэллс; по версии же фон Арним, он предложил ей совершить поездку по Ирландии, она отказалась, позднее согласилась вместе провести уик-энд в Италии, но домогательствам не уступила. Доказательств в пользу той или другой версии нет. Вроде бы надо верить Уэллсу, уж очень убедительные детали он приводит, а с другой стороны, известно, что графиня увлекалась только молодыми мужчинами (в период романа с Уэллсом у него был соперник на 20 лет моложе), а презрительный тон, в котором Уэллс написал о их связи, наводит на мысль, что он был на эту женщину за что-то зол. Но в любом случае ему было пока не до Ребекки Уэст.

\* \* \*

С лета 1912-го Уэллс начал делать наброски к трактату «Освобожденный мир» (*The World Set Free: A Story of Mankind*) — основная часть работы будет сделана в начале следующего года, — и одновременно писать роман «Страстные друзья» (*The Passionate Friends*). Эту книгу принято называть слабой, скучной, напыщенной. Да, ее хвалил Форд, ею восторгался Баринг, как обычно сравнивавший автора с Достоевским и Толстым, но мы ведь уже знаем, что «идейные» друзья Уэллса готовы были превозносить любую его строчку. Автор сам только что заявил, что будет отныне писать нудные идеологические романы — чего можно от него ожидать? Был, правда, один человек, заявивший, что «Страстные друзья» — один из самых недооцененных романов столетия, да ведь человек этот был Набоков, который мог любой признанный шедевр объявить дрянью, а любую дрянью — шедевром, к тому

же он признался, что книга эта поразила его в возрасте 14 или 15 лет...

Стрэттон, герой, от лица которого написан роман, рассказывает свою жизнь взрослому сыну — это желание возникло у него, когда умер его отец и он осознал, что лишился друга. (Вот и подросла реакция на смерть Джозефа Уэллса.) Вся первая глава посвящена мальчику — Стрэттон вспоминает, как тот болел: «Какое-то время ты лежал, непривычно тихий, а потом проснулся и тебе было очень больно. И тогда ты вновь ранил меня в самое сердце. У нас было принято не плакать и не кричать, и ты помнил об этом. „Мне, может быть, будет полегче, если я поплачу“, — сказал ты рассудительно. И весь день, получив разрешение, ты плакал...» Может, этим Набокова тронули «Страстные друзья»? Он и сам очень похоже писал о своем сыне.

Стрэттон встретил Мэри, героиню, когда они были детьми, и любовь их началась с детской дружбы равных, где полу нет места, отсюда и выражение «страстные друзья». «Я никогда не любил ее в общепринятом смысле этого слова, подразумевающим, что женщина — младшее, застенчивое, неразбуженное, податливое существо, а мужчина соблазняет, разъясняет, убеждает и принуждает. Мы любили друг друга... как если бы мы были друзьями, охваченными страстью». Но когда Стрэттон просит Мэри стать его женой, она отказывается: «Если я уеду с тобой и мы будем жить вместе, я очень недолго буду твоей любимой и скоро превращусь в твою скво. Мне придется разделять твои заботы и варить тебе кофе — и я буду разочаровывать и губить тебя. Я не хочу быть твоей служанкой и собственностью». Но за богача Джастина она согласна выйти, хоть и без любви: «Это другое дело, Стивен. Нас будут разделять пространство, воздух, бесчисленное множество слуг». Героиню Уэллса беспокоит не то, что нужно варить любимому кофе, а

то, что в брачном союзе она лишится «личного пространства». До сих пор считается, что этот страх обычно мучает только мужчин, а женщине пространства ни к чему; но Мэри — не обычная женщина<sup>[48]</sup>. Стрэттон в бешенстве от ревности: «Я не хотел, чтобы она была счастливой, как я хочу, чтобы ты был счастливым даже ценой моей жизни, — признается он сыну, — я хотел обладать ею. Я хотел ее, как варвары хотят настичь врага — живым или мертвым. <...> Самый глубокий вопрос к человечеству — может ли эта ревнивая жадность уступить место другой, более щедрой страсти?»

Стрэттон уходит на войну с бурами, не видит в ней ничего, кроме бессмысленного ужаса, возвращается домой, планирует парламентскую карьеру, встречается Рэйчел — будущую мать его сына. «С Мэри мы любили друг друга как две реки, сливающиеся воедино на пути к морю; до той минуты, когда мы впервые поцеловались, мы росли бок о бок; но твою мать я искал, я выбирал, я добивался, чтоб она стала моей. <...> Все мое отношение к ней было насквозь искусственным. Я придумывал, чем ее можно заинтересовать, я видел, что она смотрит на меня снизу вверх, и должен был поддерживать в ней иллюзию моего превосходства. И я заполучил ее, и потом понадобились долгие годы, годы тайного одиночества и скрытых чувств, нелепых отговорок и недоразумений, прежде чем мы отказались от этой традиции неравенства, и взглянули друг другу в глаза, как равные, и простили друг друга».

Но без Мэри жить Стрэттон не может. Они встречаются; она хочет тайного романа, он хочет все открыть мужу. Джастин застаёт их. «Он сделал странное, незавершенное движение одной рукой, словно хотел расстегнуть верхнюю пуговицу на жилете,



но передумал. Он очень медленно вошел в комнату. Когда он говорил, в его голосе не было ни гнева, ни обвинительной интонации. Он просто произносил слова. „Я знал, что это продолжалось“, — сказал он. И добавил, обращаясь к жене так, как если бы делал замечание о чем-то не касающемся его: „Однако же мне казалось неправильным так думать о Вас“. В его лице было что-то от раздраженного ребенка, который не может справиться с трудной задачей». Уэллс недаром восторгался Толстым — эта сценка не то чтобы списана с «Анны Карениной», но сделана под сильным ее воздействием. Муж укоряет Мэри, любовник требует, чтобы она ушла с ним, но та отказывается: «Мне не нужен ни один из вас. Мне нужна я сама. Я — человек. — Я — не ваша вещь. Вы ссоритесь из-за меня, словно две собаки из-за куска мяса...» Муж насильно увозит Мэри в Ирландию; Стрэттон получает от нее письмо: он должен уехать из Англии и они не должны видеться три года. Эти фольклорные три года не так уж важны для сюжета. Они необходимы Уэллсу, который не смог совершить кругосветное путешествие и потому отправил в круиз своего персонажа — «искать ключи к тайнам человеческого бытия».

Он объехал Европу, двинулся в Азию. («Попасть из Европы в Азию все равно что из Норвегии в Россию: от чего-то маленького и „передового“ к чему-то огромному и значительному».) Всюду видел одно: человек угнетает другого человека без необходимости, «из потребности рабства», каждая группа людей ненавидит остальные группы. «Вся наша цивилизация — всего лишь неясные предрассветные сумерки». Понял: чтобы рассвет наступил, нужны знания. Вернулся, нашел единомышленников, женился на Рэйчел. И вдруг — письмо от Мэри, в котором та жалуется на участь женщины и предупреждает мужчин: «Все это ваше Всемирное государство, о котором вы мечтаете, может

быть разрушено нами, если вы и впредь будете игнорировать нас. Мы, женщины, станем готами и гуннами, несущими разрушение. <...> Вы, мужчины, обязаны что-то сделать для нас. Мы — сердце жизни, дом, где растет будущее, а ваши схемы и планы нас не замечают. Мы мешаем прогрессу, мы ведем человечество к небытию. <...> Мы возбуждаем вас, мы заставляем вас гоняться за нами и удерживать нас, из-за нас вы предаете идеалы братства...»

Стрэттон встретился с Мэри, вновь предлагал бежать, она отказалась, муж опять «застукал», пригрозил разводом, и Мэри, не вынеся осуждения, покончила с собой, после чего муж сказал любовнику: «Мы оба, Вы и я, убили ее». Перекличка с толстовским сюжетом продолжается: Стрэттон и Джастин погубили несчастную женщину, как Вронский с Карениным, разрывая ее на части. По Уэллсу, их вина заключается в том, что они хотели владеть Мэри, а владеть женщиной нельзя. Более того, нельзя слишком сильно привязываться, ревновать, страдать. Женщина должна быть для своего любовника не объектом страсти, а другом и помощником, «любимой сестрой»; психоаналитик сказал бы, что у Эйч Джи после романа с Изабеллой, которая была его кузиной и о которой он постоянно говорил как о «сестре», сложился «сестринский» сексуальный комплекс. А теперь вспомним «Аду» Набокова — так вот что, похоже, заинтересовало его в романе Уэллса...

Ребекке Уэст «Страстные друзья» не понравились еще больше, чем «Брак». Мэри, по ее мнению, следовало бы не скулить, а работать, как сама Ребекка и ее старшие сестры (одна, незамужняя, стала врачом, вторая вышла замуж, родила двух детей, преподавала в колледже). Уэллс продолжал утверждать, что единственный путь к свободе — уйти от одного мужчины к другому. Речь шла, разумеется, о молодой и

прекрасной женщине — другие писателей не интересуют. А такой, у которой и одного мужчины нет, не говоря уж о двух, — ей куда деваться?

\* \* \*

Уэллс уже несколько лет вынашивал идею создать «всеобъемлющую» книгу о социализме, написанную несколькими авторами. Ему удалось, заразив своим энтузиазмом еще 12 человек, издать нечто подобное. Сборник под названием «Великое государство» (*The Great State: Essays in Construction*) был опубликован в мае 1912-го одновременно в Англии и США: он состоял из 13 глав, каждая из которых была написана отдельным автором: «Труд в великом государстве», «Женщины в великом государстве», «Церковь в великом государстве» и т. д. Термин «великое государство» обозначал будущее идеальное общество и был введен, чтобы не употреблять слово «социализм», которое дискредитировали марксисты и фабианцы. Из людей, нам уже знакомых, в сборнике участвовали Рэй Ланкастер, Сесил Честертон, леди Уорвик, Джордж Тейлор и Хейнс. Уэллс к тому времени уже понял, что не обладает организаторскими способностями, так что роль организаторов взяли на себя Тейлор и леди Уорвик.

Сборник открывался статьей Уэллса «Прошлое великого государства», содержавшей краткий обзор истории человечества. Для обозначения существующего уклада он вводил термин «обычная социальная жизнь» — традиционное общественное устройство, базирующееся на сельском хозяйстве. Этой «обычной жизни» «с ее атмосферой кур, коров и навоза, непрерывного тяжелого труда, рабства женщин и бесконечных повторений старого» противостоит

«великое государство», материальной основой которого является промышленность и для которого характерны терпимость, взаимопонимание, индивидуальная свобода и в то же время — наличие коллективной мысли и общей цели. Людей Уэллс классифицировал по тому, какой выбор они делают между этими двумя формами существования общества. Есть консерваторы — люди, считающие «обычную социальную жизнь» незыблемой и вечной и ненавидящие любые изменения: в качестве примера таких людей Эйч Джи привел Гилберта Честертона и Хилэра Беллока. Это было отражение спора, длившегося — очно и заочно — уже несколько лет.

Честертон и Беллок (последний был более радикален в своих взглядах и более агрессивен в их выражении) считали, что индустрия, наука, атеизм, либеральные идеи и буржуазная демократия уничтожили нравственность, разрушили «устои»; единственное спасение — католицизм, деревенская жизнь и следование обычаям; единственная правильная форма общественного устройства — монархия, поддерживаемая церковью. Уэллс охарактеризовал взгляды Честертона и Беллока как «концепцию винопития, громких песен, копающихся в земле, придерживающихся традиций, здоровых и чумазных людей» и назвал их «язычниками в том смысле, что их сердца отданы крестьянам, а не горожанам, христианами в духе приходского священника». Сам он крестьян не выносил из-за их консерватизма. Он пытался найти способ ликвидации их как класса, но как уничтожить в крестьянине крестьянина, не знал и лишь выразил слабую надежду на то, то человек, который не станет до ночи гнуть спину в навозе и будет читать книги, постепенно сделается образованным и восприимчивым к новому.

Трудно найти идеологов, чье учение входило бы в большее противоречие с взглядами самого Уэллса, однако спустя пару лет в статье «О Честертоне и Беллоке» Уэллс будет подчеркивать не противоречие, а сходство. «Нам всем троим одинаково ненавистен, и в этом мы единодушны, вид людей, раздувшихся от суетного богатства, безответственности и власти... <...> Мы ратуем за счастливую жизнь для всех без исключения, за то, чтобы все люди были здоровыми и обеспеченными, чтобы они были свободны и наслаждались своей деятельностью в обществе, чтобы они шли по жизни, как дети, собирающие в поле цветы. <...> И я согласен с Честертоном, что главное в жизни — отдавать всего себя, отдавать все свои силы ближнему из любви и чувства товарищества. <...> Беллок и Честертон с социалистами по одну и ту же сторону пропасти, которая разверзлась сейчас в области политической и социальной. И мы и они на страже интересов, прямо противоположных интересам нынешнего общества и государства».

Ради этого сомнительного единодушия Эйч Джи даже готов был простить Честертону его любовь к «старой доброй Англии» и «простым людям, которые при случае вправе поколотить жену и детей так просто, любя» — это он-то, которого от упоминания о «старой доброй Англии» трясло? Записывал в союзники всякого, с кем найдется общий враг? Отчасти так: в той же статье он скажет, что рука об руку с Беллоком и Честертоном готов шагать лишь до поры до времени, а потом «наступит такой день, когда наши идеалы вступят в борьбу, и это будет жестокая схватка». Но была и другая причина. Во взглядах Уэллса и Беллока-Честертона есть общее: неприязнь к демократическим формам правления и доверчивая любовь к «сильной руке». «Их организованное христианское государство гораздо ближе к организованному государству, каким я

его себе представляю, чем к нынешней плутократии». Когда на сцене появится Муссолини, и Беллок и Честертон совершат паломничество в Италию; в 1929-м Честертон в книге «Воскресший Рим» напишет, что «в Англии так плохо, так все развалилось, что поневоле потянешься к системе, которая работает»; в 1934-м, уже разочаровавшись в фашизме, все ж назовет его «отчасти здоровой реакцией на безответственное предательство коррумпированной политики». Уэллсу тоже должен понравиться Муссолини — против «плутократии», за сильную власть, порядок, организованность, «коллективные цели». Понравится или нет? Подождем — увидим...

Разделавшись с противниками прогресса, Уэллс переходит к его сторонникам — не стоит думать, что все они хорошие. Среди них есть анархисты и марксисты, которые разжигают кровожадные чувства. Правильно мыслит лишь одна категория людей: их Уэллс назвал «конструкторами». Они понимают, что сперва нужно нарисовать план «великого государства», а потом всего лишь (это очень просто) его выполнять. «Мы не пытались достигнуть единообразия в деталях, — говорилось в предисловии к „Великому государству“, — но у нас есть единодушие в главном». Однако авторы сборника высказывались по принципу «кто в лес, кто по дрова». Сесил Честертон разъяснял, что критикуемая Уэллсом «обычная жизнь» была построена на «практической демократии», от которой нынешнее общество отошло, и надобно вернуться к тому «здоровому и естественному», что было до капитализма; Сесили Гамильтон писала, что женщина может существовать абсолютно независимо от мужчины. Нимало не сообразуясь с намеченной Уэллсом «генеральной линией», гнули свое и остальные авторы; читатель, который надеялся получить вразумительное

представление о том, какое же «великое государство» они собрались строить, оказался бы в затруднении.

Еще в начале года по Англии прокатилась волна забастовок — такая сильная, что отголоски ее дошли и до нас. «Все население Англии готовится к трудным дням забастовки. Жители столицы не только снабжаются невероятно громадными запасами угля, но также закупают необходимую провизию. Полиция и военные власти уже приготовили точный план постоянного снабжения Лондона жизненными припасами», — сообщало «Новое время». (Почему всегда все начинается с шахтеров — только ли потому, что труд их опасен и тяжел, или же подземная жизнь сделала из них существ иного вида, не такого трусливого, как наш?) По весне забастовочное движение расширилось. Нортклифф обратился к Уэллсу с просьбой дать серию статей о забастовках для «Дейли мейл». Уэллс откликнулся неохотно, забастовки не укладывались в его картину мира. Его статьи (шесть в мае, одна в июне) разочаровали как промышленников, так и углекопов. Они были переполнены теоретическими рассуждениями, а в заключение их автор формулировал свою постоянную идею: «Нужны всеобъемлющие изменения — или никакие». Как для активиста горняцкого профсоюза, так и для лорда Нортклиффа это была болтовня, не имеющая к жизни никакого отношения.

### **Глава третья ДНЕВНИК БОЛЬШОЙ КОШКИ**

Эйч Джи и Ребекка Уэст «не выходили за рамки разговоров о книгах и статьях» до тех пор, пока «однажды у меня на Черч-роу лицом к лицу с книжными полками, посреди разговора о стиле или о чем-то в это роде, а в общем ни о чем, мы вдруг не замолчали и не

поцеловались. И тут чувство Ребекки вырвалось наружу, и она призналась в своей влюбленности». Это произошло в первые дни 1913 года. Как и в других случаях, инициатива исходила от девушки. Правда это или герой лукавит? Человеку, не видевшему его «живьем», трудно понять, что в этом мужчине — уже немолодом, не отличавшемся стройностью, с аккуратно подстриженными усами, — могло так магически действовать на женщин. Но ведь женщины любят ушами... «Он говорил и говорил, — писал Суиннертон, — его речь была пересыпана убийственно смешными анекдотами, полна идей, выдумок, насмешек, забавной чепухи. <...> Его голубые глаза метали стрелы и озорно сверкали... было наслаждением и радостью слушать его импровизации. Он кивал, его глаза сияли, он хохотал, а потом импульсивно схватывал суть того, о чем говорил его собеседник, и выворачивал так, как ему было нужно». Сам Уэллс объяснял причины, по которым Ребекка «положила на него глаз», прозаично: «Ею владели честолюбивые мечты о литературном поприще, и в моем сногсшибательном успехе для нее, должно быть, таилась особая привлекательность. Моя репутация неразборчивого ловеласа несколько ее не смущала. Она была исполнена стремления вступить в единоборство с жизнью, что в молодости будоражит кровь, и ее вовсе не прельщали банальные романы со сверстниками».

Признание Ребекки привело Эйч Джи в замешательство: «Меня необыкновенно влекло к ней, однако из-за отношений с Элизабет я не мог дать себе волю». Элизабет фон Арним завершила строительство дома в Швейцарии, в Рандон-сюр-Сьер, и пригласила Уэллса погостить у нее. Он провел в ее доме «Шато Солей» в общей сложности, приезжая и уезжая, более двух месяцев. Он не был единственным гостем: в доме фон Арним беспрестанно толкался разный народ.



Несколько раз приезжал с женой. Жил он там как у себя: заканчивал писать «Освобожденный мир» и по вечерам читал хозяйке написанное за день.

Синклер Льюис сказал: «„Освобожденный мир“ — отнюдь не утопический роман... В основе этой книги лежит подлинная жизнь — такая, какой мы видим ее сейчас, когда в Европе разыгрывается ужасающая трагедия». Так отозваться о книге Уэллса мог только идейный Льюис: никакой жизни в «Освобожденном мире» и в помине нет. Это большое эссе с элементами беллетристики, как «Современная утопия», и в этом качестве «Освобожденный мир» очень хорошо сделан — выразительно, доходчиво, ясно, — так сильно Уэллс, кажется, никогда еще не писал.

«Человек начинал мыслить. Выпадали времена, когда он был сыт, когда его не тревожили ни похоть, ни страх, когда солнце пригревало его стоянку, и тогда в его глазах зажигались смутные проблески мысли. Он царапал на кости и, уловив идею сходства, начинал стремиться к нему и так создавал искусство живописи; мял в кулаке мягкую теплую глину с берегового откоса, испытывал удовольствие от возникновения изменчивых и повторяющихся форм, лепил из нее первый сосуд и обнаруживал, что она не пропускает воду. Он смотрел на струящийся ручей и старался постичь, какая благодетельная грудь источает эту неиссякающую воду; он, щурясь, смотрел на солнце и мечтал поймать его в ловушку, заколоть копьем, когда оно уйдет в свое логово за дальними холмами... Так зародилась фантазия, указывая путь к свершению, кладя начало величественной пророческой веренице сказаний». С изложения истории человеческой мысли начинается роман; мысль является его единственной героиней, а персонажи-марионетки — лишь случайные материальные носители ее.

Ученый Холстен нашел способ овладения атомной энергией. Источником этой идеи Уэллсу, возможно, послужила вышедшая в 1908 году книга «Разгадка радия» Фредерика Содди, соавтора Резерфорда по теории радиоактивности. В романе Уэллса человечество подчинило себе атом во второй трети XX века; ученые считали, что это — вздор. Сам Резерфорд в 1933 году говорил, что получать атомную энергию в больших масштабах невозможно; Нильс Бор в 1939-м утверждал, что процессы деления ядра не найдут практического применения. Уэллс в очередной раз оказался пророком — пророком нечаянным, ибо сам же в статье «О некоторых возможных открытиях», написанной чуть ранее «Освобожденного мира», предрекал, что на овладение ядерной энергией потребуется около двухсот лет.

Разумеется, человечество распоряжается открытием Холстена не так, как надо, и можно, даже не читая роман, догадаться почему — не было Плана. Это приводит к мировой войне — «державы Центральной Европы неожиданно начали военные действия против Союза Славянских Стран, а Франция и Англия готовятся прийти на помощь славянам», а поскольку атомная энергия производит мощности overkill, то планета моментально оказывается в руинах. Правительства не знают, что делать, но тут появляется спаситель человечества Леблан, который «глубоко и убежденно верил в одну простую истину: войне должен быть положен конец, и единственный способ прекратить войну — это создать единое правительство для всех народов, населяющих землю». К Леблану начали прислушиваться, и наконец ему удалось сговориться с Эгбертом, молодым королем некоей державы, о том, что умные люди должны взять власть на Земле. Очень показательный разговор происходит между Эгбертом и его секретарем:

«— Но, — вскричал Фермин, — вы же должны получить полномочия! Будут же у вас, например, хотя бы какие-нибудь выборы?

— А к чему они? — любознательно поинтересовался король.

— Чтобы получить согласие тех, кем вы будете управлять.

— Нет, Фермин, мы просто собираемся покончить с нашими разногласиями и принять на себя руководство. Без всяких выборов. Без всяких полномочий. Руководимые изъявляют свое согласие молчанием. Если же возникнет какая-нибудь деловая оппозиция, мы попросим ее присоединиться к нам и помочь. Истинная санкция королевского сана — это умение крепко держать скипетр. Мы не хотим причинять людям лишние хлопоты. Я убежден, что большинство людей совершенно не хочет, чтобы их беспокоили всякими голосованиями».

Это ирония, подумает читатель, потом окажется, что Эгберт, захватив власть, превратится в тирана и доброму Леблану придется сражаться со своим бывшим союзником. После того как Леблан, Эгберт, некоторые оставшиеся в живых правители и прибившиеся к ним ученые — всего около сотни — объявляют себя верховной властью (Советом), на Земле воцаряется справедливое общество, которому пытается противостоять один злой король, но, когда он нападает на Совет, его уничтожают. Больше врагов нет, и Совет может спокойно строить новый мир; некоторые старомодные его члены заговаривают о демократии, но Эгберт разъясняет, что они неправы.

«— Мы считаем, — сказал президент, — что верховная власть принадлежит народу.

— Нет! — сказал король. — Верховный властитель не так очевиден и не столь арифметически сложен. Ни моя династия, ни ваш эмансипированный народ не

годятся для этой роли. Это нечто такое, что вокруг нас, и над нами, и внутри нас. Это та общественная обезличенная воля и чувство необходимости, которые отчетливее всего и типичнее всего выражены в науке. Это разум человечества».

Читатель ошибся: Эгберт не стал тираном. Он, как впоследствии выясняется, глуповат, и его отсутствия на заседаниях Совета никто не замечает: он был нужен, чтобы сражаться со злым королем, а потом пусть живет как хочет и не мешает ученым. Автор рисует — коротко, ибо ему уже самому надоело, — картину планируемого будущего: «Основная идея современной системы заключается в замене индивидуального земледельца земледельческой гильдией и в полном отказе от деревенского образа жизни. Эти гильдии представляют собой союзы мужчин и женщин, получающих в совместное владение участок пахотной земли или пастбища и обязующихся производить определенное количество зерна, мяса или других продуктов сельскохозяйственного труда. Эти союзы, как правило, не велики, что дает возможность руководить их деятельностью на строго демократических началах, но вместе с тем и достаточно многочисленны, чтобы самим производить всю работу, за исключением времени уборки урожая, когда им оказывают помощь городские жители». (Уэллс осенью «на картошку» не ездил...)

Совет самораспускается за ненужностью, а его место занимают «комитеты, обладающие необходимыми познаниями». Законодательная власть вообще отсутствует: от законов один вред, их заменяют постановления комитетов, а постановить что-нибудь нехорошее, даже случайно, комитеты не могут по определению, так как они «идут в ногу с общим процессом интеллектуального развития общества в целом». Уэллс прав: комитеты всегда идут в ногу с «общим процессом интеллектуального развития

общества в целом», и если общество решит на всех парах мчаться, например, в Средневековье, комитеты развернутся и побегут впереди. Однако с обществом «Освобожденного мира» ничего подобного случиться не может, ибо оно состоит не из таких, как мы: «человек-воин, человек-законник уходят в область небытия вместе со всем тем, что насаждало распри и раздор; на смену этим пережиткам варварских, низких страстей приходит мечтатель, человек-ученый, человек-художник».

Самый важный комитет — по образованию, им руководит русский старец Каренин, беседующий со своими учениками. «Фаулер рассказал об огромном научном материале, собранном и исследованном гениальным Ченом, которому удалось проследить довольно отчетливо законы наследственности и даже найти способы предопределять пол ребенка, некоторые черты его внешнего облика и многие наследственные особенности...

— Он действительно способен?..

— Пока еще это, так сказать, лабораторная победа, — сказал Фаулер. — Но завтра она принесет и практические результаты.

— Вот видите! — воскликнул Каренин, с улыбкой оборачиваясь к Рэйчел и Эдит. — Пока мы здесь развиваем всевозможные теории о мужчинах и женщинах, наука уже открывает силы, которые могут раз и навсегда покончить с этим старым спором! Если женщина станет для нас помехой, мы сведем это зло до минимума, а если какой-нибудь тип мужчины или женщины будет нам не по вкусу, мы не будем больше его воспроизводить. Все эти старые тела, эти старые телесные ограничения и вся эта якобы неизбежная грубая наследственность спадают с души человека, как сморщенный кокон с бабочки. Сам я, например, когда слышу о чем-либо подобном, ощущаю себя именно

такой бабочкой, которая боится расправить еще влажные крылья. Ведь куда все это нас уводит?

— За грань человеческого, — сказал Кан».

Уэллсовский Каренин, добрейшей души человек, конечно, шутит, говоря о том, что при желании можно свести полчеловечества «до минимума». Но читатель уже думал раньше, что шутит король Эгберт; теперь читатель плохо верит шуткам и готов воспринять слова Каренина всерьез.

«— Нет, — ответил Каренин. — Мы по-прежнему можем твердо стоять ногами на этой земле, которая нас породила. Но воздушная сфера уже перестала быть для нас преградой, и земной шар уже не прикован к нашим ногам, как ядро к ступням каторжника... Скоро люди отважатся покинуть пределы Земли. Одной этой планеты будет им уже мало; их дух заставит их устремиться ввысь... Разве вы не видите, как их смелые корабли, сверкая на солнце, устремятся к звездам и будут становиться все меньше и меньше, пока не превратятся в мерцающую светящуюся точку и не растают в синеве?»

\* \* \*

«Дорогой Эйч Джи!

В ближайшие несколько дней я застрелюсь или сделаю с собой что-то еще более разрушительное, чем смерть. В любом случае я уже не буду той, что была. На пороге смерти я отказываюсь быть одураченной. Я не понимаю, почему Вы желали меня три месяца тому назад и не желаете меня теперь... Хотела бы я знать почему. Это что-то, чего я не понимаю, что я презираю. И худшее из этого то, что если я презираю Вас, я схожу с ума, потому что Вы стоите между миром и мной. Конечно, Вы совершенно правы. Я ничего не могу дать

Вам. Вы ищете только приятных волнений и удобства. Вы не хотите больше волноваться, а я не умею доставлять людям удобства. <...>

Я всегда знала, что однажды Вы меня погубите, но надеялась, что сама выберу время и место. Вы всегда были ко мне подсознательно враждебны, и я пыталась смягчить Вас, пыталась задушить мою любовь к Вам, сведя ее к той незначительной вещи, которой Вы добивались. Я всегда теряюсь, сталкиваясь с враждебностью, потому что я умею только любить и больше ничего. Я не тот человек, который Вам нужен. Вам нужны люди, с которыми можно играть, как со щенятами, ссориться и мириться, люди, которые дымят и искрят, но не люди, которые сгорают... Вы не можете понять человека, страдающего от эмоционального оскорбления так сильно, что он дважды пытался убить себя: Вам это кажется глупым. Я не могу понять человека, который играет у костра и при этом боится огня: мне кажется глупым это.

Вы буквально уничтожили меня. Я выжжена дотла. <...> Вы это знаете. Именно поэтому Вы пытаетесь убедить себя в том, что я вульгарное, неуклюжее, бесхарактерное существо и что все это не имеет значения. Когда Вы сказали, „Вы говорили неблагоразумно, Ребекка“, Вы сказали это с удовольствием: Вы чувствовали, что действительно поймали меня на этом. Я не думаю, что Вы правы. Но я знаю, что Вам доставляет удовольствие думать обо мне как о неуравновешенной молодой женщине, которая свалилась в Вашей гостиной от неуместного сердечного приступа. <...> Когда-то Вы находили мою готовность любить Вас красивой и смелой. Я все еще думаю, что это было так. Ваши стародевичьи представления заставляют Вас думать, что женщина, отчаянно и безнадежно любящая мужчину, непристойна...»

Это знаменитое письмо Ребекка Уэст написала предположительно (точная датировка отсутствует) в марте 1913 года<sup>[49]</sup>. Очень соблазнительно перекинуть мостик от темы, затронутой выше, и сказать, что человек, столь жестокий ко всему нашему виду, так же чудовищно жесток и к отдельной его представительнице. Но вряд ли это справедливо. Девушки всех времен написали миллионы таких писем мужчинам, которые однажды не смогли устоять перед искушением, но пожалели об этом. Примем также во внимание, что Ребекка была не «маменькиной дочкой», как Эмбер Ривз, а абсолютно самостоятельным человеком. Если бы у Эйч Джи хватило сил поставить точку, его было бы почти не в чем упрекнуть. Но мы уже понимаем, что он не удержится. Если женщина его хочет, он всегда идет ей навстречу — альтруистический человек! Но пока он еще увлечен графиней фон Арним и на мольбы Ребекки отвечает советом «успокоиться» и «взять себя в руки».

В начале 1913 года Уэббы и Шоу осуществили то, к чему давно призывал Уэллс: начали издавать еженедельный социалистический журнал «Нью стейтсмен». Редактором стал Клиффорд Шарп. Уэллса к сотрудничеству не приглашали. Он был обижен и написал об этом в «Нью фривумен», предрекая новому журналу, «скучному, как изгородь из бирючины», участь всех фабианских начинаний. В тот же период он поссорился со своим агентом Пинкером, в журнале «Автор» обвинив его в грабеже. Пинкер пожаловался Беннету, тот вступился за него и в очередном номере «Автора» описал, как Уэллс сам хвалил ему Пинкера. В письме к знакомому Беннет назвал отношение Уэллса к агентам «идиотским» и прибавил, что Уэллс нес убытки лишь тогда, когда пытался управлять своими делами сам. На отношения двух писателей, впрочем, этот



эпизод не повлиял. Отчего Эйч Джи был в ту весну так раздражителен и была ли тому причиной Ребекка, сказать сложно. Ребекка предпринимала демонстративные попытки самоубийства (а может, не демонстративные, а может, и не предпринимала вовсе — в истории отношений Уэллса и Уэст очень много темных пятен) — это, конечно, не могло его не беспокоить.

Летом 1913-го Макмиллан издал «Страстных друзей». Скандала не было, пресса приняла книгу довольно доброжелательно. Генри Джеймс в своем письме повторил комплименты и мягкие упреки, высказанные относительно «Брака» — Уэллс за отзыв поблагодарил и назвал свою книгу «неуклюжей». В том же году в издательстве Палмера вышла вторая книга об играх и игрушках — «Маленькие войны» (Little Wars). Как и «Игры на полу», она содержала ясные инструкции касательно строительства замков и фортификаций и сопровождалась схемами, картами и рисунками.

Джип и Фрэнк были полноценными соавторами; лепту также вносили взрослые гости — Шоу, Джером, Чарльз Мастермен. Последний вспоминал: «Я помню, как изобреталась военная игра, в которой мне довелось принимать частичное участие. Весь пол был усыпан игрушечными кубиками и разными препятствиями, изображавшими скалистую местность. Материалом служили простые оловянные солдатики и сделанные из меди пушечные ядра. Вся прелесть заключалась в комбинации искусства стрельбы с тщательным планированием стратегии и тактики. Каждой из воюющих сторон отводилось ограниченное время на то, чтобы сделать свой ход. Гостей, приходивших к чаю, встречали инструкцией: „Сидите тихо и не раскрывайте рта“». Игра, по-видимому, произвела на Мастермена сильное впечатление: в письме к Шоу он рассказывал, как они с Эйч Джи бились (в 1912 году) с полудня до

двух, затем продолжили с четырех до шести, далее с восьми до полуночи, и в конце концов Мастермен выиграл. А Синтия Асквит в 1950-х годах вспоминала, как ее братья и сестры в детстве играли в игру, придуманную Эйч Джи. В докомпьютерную эру книгу называли первой настольной военной игрой; современные программисты, прочтя ее, решили, что это неплохой проект компьютерной «стратегии», и в 2008-м по мотивам книги была выпущена игра.

У Уэллса был нереализованный проект: серия очерков, которые он хотел написать во время кругосветного путешествия. Поездка не состоялась, но это не значит, что сборник сделать нельзя: Уэллс начал собирать свои очерки и статьи начиная с 1908 года и составил из них книгу «Англичанин смотрит на мир» (An Englishman Looks at the World) — она выйдет на следующий год в издательстве Кассела. В статье «О некоторых возможных открытиях» он писал: «Я полагаю, что прикладные отрасли знания уже материализовали все свои сегодняшние возможности...», «что касается техники, я склонен думать, что ближайшее будущее не принесет рядовому человеку почти никаких сенсаций...», «наука, без сомнения, еще поразит нас удивительными открытиями, но ничто уже не сможет сравниться с драматизмом новизны, с трепетом первооткрывателей, проникших в мир неизведанного...», «постепенно перестроится и изменится механизм и оснастка человеческой жизни, но это будет чисто количественное изменение, которое не сопровождается переворотами в научном мышлении...» — все это написал человек, которого мы привыкли считать очень смелым футурологом, написал, когда в Массачусетском технологическом институте уже работал Винер и уже родился Алан Тьюринг. Ошибиться, конечно, может всякий. Но удивительно, что так ошибся человек, который в другой статье из

того же сборника говорил о неисчерпаемых возможностях разума человека.

Есть, правда, одна отрасль знания, от которой Уэллс ожидал революционных скачков, — медицина. Тут все наоборот: мы недотягиваем до его предвидений. «Если бы мы только понимали сущность обмена веществ и хорошо изучили функции отдельных органов, можно было бы самым удивительным образом менять и развивать свое тело. <...> У нас есть уже некоторые удивительные предположения, высказанные доктором Мечниковым. С его точки зрения, человеческий желудок и обширный кишечник не только излишние и рудиментарные органы, но, безусловно, опасные для человека, поскольку они служатместищем бактерий, ускоряющих процесс старения. Он предлагает удалять эти внутренние органы. Пожалуй, если ко мне в гости явится таким образом „препарированный“ джентльмен, у которого извлечено почти все содержимое брюшины, увеличены и усилены легкие и сердце, из мозга тоже что-то удалено, чтобы пресечь вредоносные токи и освободить место для развития других участков мозга, то мне с трудом удастся скрыть невыразимый ужас и отвращение, даже если я знаю, что при этом возрастают его мыслительные и эмоциональные способности, обостряются чувства и исчезает уставание и потребность в сне». Если самого Уэллса пугала мысль о встрече с представителем нового вида — что же нам-то остается?

В статье «Развод» Эйч Джи полемизировал с Шоу, который предлагал упростить эту процедуру: если люди не любят друг друга, они должны разойтись да и всё. А дети? Шоу любил чужих детей и они его любили, но своих у него не было — может, поэтому «он утверждает, что худшие враги ребенка — это его мать и отец и что единственный цивилизованный путь воспитания

граждан — это инкубатор. В этих вопросах он не только несведущ, но и бесчувствен, что удивительно при его способности проявлять сострадание в других вопросах». По Уэллсу, «нет никакой причины ограничивать развод только отношениями мужа и жены». Дети — такие же участники брака, как и их родители; человек должен подавать прошение о разводе не только с женою, но и с детьми.

Собственные дети были еще слишком малы, чтобы понять, что происходит между родителями и почему отец так часто не живет дома. После недель, проведенных Уэллсом в «Шато Солей», они с фон Арним сговорились о путешествии осенью по Италии; эта поездка описана графией в романе «Жена пастора». Ее спутник оказался утомительным. Он не скрывал, что его работа важнее, чем отношения с нею. Он безвкусно одевался, громко разговаривал. Она дала ему от ворот поворот. И той же осенью — это уже не роман, а жизнь — вступила в связь с Фрэнсисом Расселом, кузеном Бертрана Рассела. По версии же Уэллса, его любовница начала ревновать к жене и устраивать сцены. Так или иначе их отношения закончились.

Ребекка Уэст совершила в мае поездку в Испанию и Францию; по возвращении она с головой ушла в работу. Уэллс читал то, что она публиковала летом, находил, что она пишет все лучше. В июле отправил ей письмо с похвалами ее таланту и предложением дружить. В августе прочел ее новеллу «В Вальядолиде», где рассказывалось о их отношениях, был тронут. В октябре увидел ее отзыв о «Страстных друзьях», написал дружеское письмо, поздравляя с «первоклассной критикой». В том же месяце произошел разрыв с фон Арним. Дружбе никто не мешал, но Ребекка не желала ограничиваться дружбой. «Ее отец был чудовищный распутник, а мать была отчаянно предубеждена против секса...» Все это мы уже слышали — виноваты родители

девушки. Правда, на сей раз еще сказала «ужасная встреча с неким бродягой, когда она была еще ребенком». Противостоять этим дурным влияниям наш герой, естественно, не мог, и в последних числах октября 1913 года дружба получила развитие, которого добивалась Ребекка. От апартаментов на Черч-роу Уэллсы отказались еще весной, но Эйч Джи снял для поездок в Лондон квартиру на Сент-Джеймс-корт — там и происходили встречи. Уже при втором свидании, в начале ноября, Ребекка забеременела: «Этого не должно было случиться, а поскольку я был человек опытный, вина целиком лежала на мне». А теперь, пока она носит дитя, нужно сделать небольшое отступление.

Об отношениях Ребекки Уэст с Уэллсом написано много книг. «Главными» из них к настоящему моменту считаются три: «Уэллс и Ребекка Уэст» Гордона Рэя<sup>[50]</sup>, «Уэллс: аспекты жизни» Энтони Уэста<sup>[51]</sup> и «Жизнь Ребекки Уэст» Карла Роллисона<sup>[52]</sup>. Первая была опубликована при жизни Уэст, написана с ее слов и отредактирована ею — доверие к таким биографиям очень ограниченное. Вторую написал сын Ребекки, у которого были прескверные отношения с матерью. Что же касается Роллисона, то он считается специалистом по Уэст, а его книги о ней — наиболее объективными, хотя ехидные критики и называют их «каталогизированными описями». Но полностью объективных биографий нет. Переписку принято рассматривать как надежный источник, а между тем трудно найти что-либо более субъективное и неискреннее, чем письма, особенно если их пишут литераторы; Энтони Уэст так и вовсе полагает, что свои письма к Уэллсу его мать фальсифицировала задним числом. Так что все, что нам известно о связи Уэллса с Ребеккой, в той или иной степени является домыслами.

Рэй утверждает, что беременность Ребекки была не случайной: Уэллс пошел на это сознательно, так как желал привязать к себе молодую любовницу. Роллисону эта гипотеза представляется сомнительной: инициатором связи была Ребекка, она желала прочных отношений, а Уэллс их избегал; если кто-то и мог быть заинтересован в рождении ребенка, то не он, а она. Вроде бы логично; однако Уэллс, узнав о том, что станет отцом, выражал по этому поводу радость, заранее придумывал «нашему детенышу» ласковые имена и писал Ребекке, что ждет не дождется, когда они проживут семьей. По Рэю, Ребекка воплощала собой тот самый «Призрак возлюбленной», которого искал Уэллс, и была главной женщиной в его жизни. Сам Уэллс даже не включил Ребекку в число женщин, которых любил, и тем не менее намеревался с нею жить. По Рэю, ребенок, хоть и зачатый по инициативе отца, был желанным для матери. По Роллисону (и по самому Энтони Уэсту), ребенок рассматривался эгоистичной Ребеккой как помеха ее карьере; однако ж она не прервала беременность — может, хотела, как самая обычная, неземансипированная женщина, вынудить любовника жениться. В декабре Уэллс устроил Ребекку в клинику для обследования, навещал ее там и обещал снять дом, где она (и он — когда будет возможность) станет жить до рождения «детеныша». Но пока что ему пришлось ненадолго оставить Ребекку. Его ждало путешествие в страну, о которой он давно мечтал:

«Когда я думаю о России, я представляю себе то, что я читал у Тургенева и у моего друга Мориса Баринга. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками; где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и

терпеливых; где много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам», — написал Уэллс в 1906 году в предисловии к русскому изданию собрания его произведений<sup>[53]</sup>.

Поездка в Россию была запланирована и обсуждалась с Барингом летом прошлого года в Нормандии. Баринг в 1903-м близко сошелся с семьей русского посланника в Англии А. К. Бенкендорфа, гостил в его имении, во время Русско-японской войны служил военным корреспондентом «Морнинг пост», потом надолго застрял в России, занимался переводами, интервьюировал русских политиков, в 1910-м опубликовал книгу «Русский народ», в 1914-м — «Движущие силы России». Визит Уэллса в Россию был организован Барингом при помощи семьи Бенкендорф. Баринг и Уэллс прибыли в Петербург через Берлин 13 января 1914 года. О приезде не сообщалось в газетах, но через два дня инкогнито было раскрыто: при посредничестве Баринга и Зинаиды Венгеровой (литературоведа и переводчика) он дал интервью либеральной газете «Речь».

Беседовал с ним В. Д. Набоков: «Помню, как тогда его несколько прозаическая наружность меня поразила своим несоответствием с тем представлением, которое естественно создается об авторе стольких замечательных книг, то блещущих фантазией, то изумляющих глубиной мысли, яркими мгновенными вспышками страсти, чередованием сарказма и лиризма. Поневоле ждешь чего-то необыкновенного, — думаешь увидеть человека, которого отличишь среди тысячи. А вместо того — как будто самый заурядный английский сквайр, не то делец, не то фермер. Но вот стоит ему заговорить со своим типичным акцентом природного лондонца среднего круга — и начинается очарование.

Этот человек глубоко индивидуален. В нем нет ничего чужого, заимствованного. Иногда он парадоксален, часто хочется с ним спорить, но никогда его мнения не оставляют вас равнодушными, никогда вы не услышите от него банального общего места. По природе своей, по складу своего таланта он представляет редкую и любопытную смесь идеалиста и скептика, оптимиста и сурового, едкого критика».

Заурядным, обыкновенным назвал Уэллса Лев Успенский, тогда еще совсем юный, случайно видевший английского гостя (если не выдумал задним числом: их пути пересекутся спустя много лет): «Плотный, крепкий человек, конечно — иностранец, несколько не аристократ. Несомненный интеллеktуал-плебей, как Пуанкаре, как Резерфорд, как многие. Его умное свежее лицо было довольно румяно: потомственный крикетист еще не успел подвднуть на злом солнце неимоверных фантазий. Аккуратно подстриженные усы лукаво шевелились, быстрые глаза, веселые и зоркие, оглядели все кругом...» «Заурядность» и «плебейство» все русские и советские будут находить в Уэллсе всякий раз, когда он к нам приедет.

Интервью давалось в особняке Набокова на Большой Морской; исходя из этого иногда пишут, что Уэллс жил у Набоковых, но жил он в отеле «Астория». После беседы обедали; за столом присутствовал Набоков-младший, которому было 15 лет. После первого интервью на гостя набросились репортеры. Всероссийское литературное общество преподнесло ему адрес, текст которого был опубликован в газете «День» вместе со статьей Венгеровой о его творчестве. В сопровождении Баринга и Ивана Бенкендорфа он побывал на заседании Государственной думы, которую потом назвал «бестолковой говорильней»; мы вернемся к этому посещению, когда оно попадет на страницы романа.



«От теоретических разговоров он уклонялся, — вспоминала Венгерова, — он хочет видеть и знать, как и чем люди счастливы в России. Когда ему говорят, что вряд ли он это увидит — он прямо не верит». Уэллс хотел видеть, «чем люди счастливы» в русской деревне; деревню ему предоставили. Он был знаком с журналистом Гарольдом Уильямсом, российским корреспондентом «Таймс», женатым на Ариадне Тырковой, осужденной за распространение журнала «Освобождение» и бежавшей за границу; в 1905-м, после амнистии, супруги приехали в Россию и участвовали в создании партии кадетов<sup>[54]</sup>. Брат Ариадны, Аркадий Тырков (народоволец, 20 лет проведенный в Сибири), жил в деревне Вергежа в 50 километрах от Новгорода — туда в санях-розвальнях привезли Уэллса. Показали ему крестьянские избы, школу, которую на свои средства построил Тырков, познакомили с учительницей Н. А. Кокориной.

20 января Уэллс прибыл в Москву, где вновь был взят в плен журналистами. Корреспондент «Русских ведомостей» писал: «Кривые московские улицы, чередование многоэтажных домов с маленькими одноэтажными, разношерстная толпа, где рядом с полушубком попадает изысканное „английское“ пальто, трамваи, автомобили и тут же извозчиьи сани, ломовики — все это очень его занимало». В Москве осмотрел что полагалось туристу: Кремль, Третьяковку, Хитров рынок, извозчиьи чайные, кабаре «Летучая мышь», съездил в Троице-Сергиеву лавру. В Художественном театре смотрел «Гамлета» и «Трех сестер», был в восторге, познакомился со Станиславским и Книппер-Чеховой, звал их в Лондон; в Большом театре — вечер одноактных балетов. Из Москвы вернулся в Петербург и в тот же день отбыл

морем в Англию. Его пребывание в России длилось неполных 12 дней.

Самое удивительное в этой поездке то, что он не написал после нее книги. Было лишь три интервью и статья «Россия и Англия: изучение контрастов», опубликованная в феврале 1914-го в «Дейли ньюс» и «Лидер» и впоследствии воспроизведенная в романе «Джоанна и Питер». Кэтрин он писал: «Я именно так и представлял себе Россию... Все в снегу... Никто не говорит ни по-французски, ни по-немецки...» Складывается впечатление, что он был совершенно растерян и не знал, о чем писать.

По возвращении домой Уэллс снял для Ребекки дом в графстве Норфолк, в местечке Ханстентон, на взморье. Прожил там с нею несколько дней под именем «мистера Уэста» и уехал. Потом наезжал периодически, обычно раз в неделю на два дня. Писал почти ежедневно. Мечтал о том, как они красиво обставят дом к рождению ребенка. Но пока что дом был обставлен лишь частично, и в нем не топили. В Лондон Ребекке не рекомендовалось ездить, чтобы не узнали о ее положении, — это наводит на мысль, что ребенка поначалу предполагалось отдать на воспитание, иначе непонятно, какой смысл скрывать факт беременности. При этом в Лондоне тайну не знал только ленивый. Все знала жена, которой Эйч Джи признался сам: Мэри Остин, знакомая Уэллсов, в своих мемуарах писала, что он сделал это за обедом, в присутствии гостей, а Кэтрин лишь заметила, что «бедная Ребекка» теперь будет нуждаться в помощи. Знали мать и сестры Ребекки, которые были настроены против ее связи с Уэллсом, разумеется, потому, что «ненавидели секс». «Они упорно добивались, чтобы мы полностью порвали друг с другом или чтобы я развелся и „должным образом“ женился на Ребекке». Какие странные, ненормальные женщины! Ребекка в тот период держалась

мужественно, надеясь, что отец ребенка женится на ней. Они писали друг другу нежные письма. Эйч Джи по своему обыкновению придумал имена для нее и для себя: она была «Пантера», он «Ягуар». Он говорил, что был очень влюблен в Ребекку «некоторое время» — наверное, в тот период, когда были придуманы кошачьи имена, он действительно любил ее. Но, когда он играл в теннис с гостями в «Истон-Глиб», она сидела одна в холодном доме и не знала, что с ней будет дальше.

В начале 1914 года Макмиллан издал очередной роман Уэллса, над которым тот работал параллельно с «Освобожденным миром», — «Жена сэра Айзека Хармана» (The Wife of Sir Isaak Harman). Сэр Айзек — хлеботорговец, его молодая жена Эллен — женщина, которой хотелось бы «во всем разобраться» и «иметь в жизни какое-нибудь занятие». Муж — злобный ревнивец, жена — его рабыня, которой не позволено распоряжаться даже собственными детьми. Тут ей очень кстати подворачивается писатель Брамли. В этом персонаже есть кое-что от автора, но в некоторых отношениях они являются противоположностями. Брамли — «профессиональный поборник добродетели, своим пером он поддерживал нерушимость домашнего очага, был враждебен и даже решительно враждебен всем влияниям, которые могут подорвать или изменить что бы то ни было». Он должен бы осуждать бунт Эллен против мужа, но сочувствует ей по простой причине — сам хочет на ней жениться. «Единственный выход для леди Харман он видел в благородстве какого-нибудь мужчины. Он все еще не мог себе представить, что женщина способна восстать против одного мужчины без сочувствия и моральной поддержки со стороны другого».

Под влиянием Брамли Эллен начинает бунтовать против мужа; как Анна-Вероника, она убегает из дому, знакомится с идиотками-суффражистками, участвует в их

акции и попадает под суд. После этого сэр Айзек идет на компромисс и позволяет жене заняться делом — организацией общежитий для служащих. Идут годы, Эллен обнаруживает организаторские способности, она счастлива, но муж начинает ревновать ее к работе; между супругами снова разгорается конфликт, и тут сэр Айзек умирает, оставив завещание: если Эллен выйдет замуж, общежития у нее отнимут. (Конечно, он мог и не оставлять такого подлого завещания, но в этом случае Эллен вышла бы за Брамли и даром пропал весь идейный пафос автора.) Брамли уверен, что для Эллен ее работа — вздор по сравнению с желанием принадлежать ему; он делает ей предложение, но получает отказ. Эллен предлагает ему дружбу: «Со времени своего первого бунта она многое поняла и знала теперь, что в раскрепощении женщины главное — это право иметь друзей-мужчин. <...> Все женские свободы останутся обманом до тех пор, пока женщина не сможет свободно видеться с любым мужчиной, а когда это станет возможным, ее уже больше не от чего будет освобождать». Брамли страдает, но ему удается побороть в себе собственнические чувства. «Он теперь относился к ней, как к сестре». К этой «сестре»-другу он обращается с робкою просьбой — чтобы она его по-сестрински поцеловала. Но Эллен дарит ему отнюдь не родственный поцелуй. Образовалась очередная пара «страстных друзей».

На первый взгляд кажется, что Эйч Джи воспринял критику Ребекки Уэст. Его новая героиня — не «корова»; она реализовалась в бизнесе и способна, как кошка или мужчина, «гулять сама по себе». Наверное, Эллен могла бы в финале романа дружески хлопнуть Брамли по плечу и сказать ему, что решила взять в любовники какого-нибудь другого персонажа. Но это был бы уже не Уэллс. Если мужчина «развивал» женщину, она не имеет права выйти за него, но обязана с ним спать.

В «Жене сэра Айзека Хармана» есть второстепенный персонаж, писатель Уилкинс, то бишь Уэллс, он уже фигурировал в «Анне-Веронике» и будет появляться в других книгах, чтобы высказать кое-какие авторские мысли. Здесь он произносит прелюбопытнейший монолог: «Наш брат, писатель, художник и тому подобное — это порода ненасытных эгоистов, леди Харман. <...> Мы, идеологи, всегда распушенные, ненадежные, отталкивающие люди. В общем, подонки, выражаясь на чистом современном английском языке. <...> Писатель... должен мгновенно на все откликаться, обладать живой, почти неуловимой реакцией. <...> Можете ли вы допустить хоть на миг, что это совместимо с самообладанием, сдержанностью, последовательностью, с любым качеством, которое должно быть свойственно человеку, заслуживающему доверия?.. Конечно, нет. А если так, мы не заслуживаем доверия, мы непоследовательны. Наши добродетели — это наши пороки... <...> Никто на свете больше моего не презирает художников, писателей, поэтов и философов. Ох! Это мерзкий сброд, подлый, завистливый, драчливый, грязный в любви — да, грязный, но он создает нечто великое, сияющее, душу всего мира — литературу. Жалкие, отвратительные мошки — да, но они же и светлячки, несущие свет во мраке». Получается, писатель обязан быть «подонком» и «грязным в любви», не имеет права не быть — в противном случае ему никогда не стать хорошим писателем? Прежде чем возмутиться этой клеветой, придуманной распушенным эгоистом для самооправдания, сделайте эксперимент: отложите эту книжку и за пять минут попытайтесь назвать десять крупных писателей, которые вели чистый и высокоморальный образ жизни... А теперь обратим внимание вот на что: Уэллс считал свою «страстную дружбу» благом, а брак — злом. Сам следовал своим

идеалам; должен назвать себя святым, свое поведение — образцом для подражания. А он назвал себя — «подонком», свой образ жизни — «грязным»... Как это понимать?

\* \* \*

Ребекка Уэст родила сына в плохой день — 4 августа 1914 года. (Так считают все, кроме самого дитяти, — Энтони Уэст утверждает, что появился на свет 5 августа.) Отца при родах не было. Не стоит объяснять это равнодушием — просто все случилось раньше срока. Да еще и война началась — тут уж, знаете, не до детей. Правда, Эйч Джи не приехал и на следующий день, ограничившись звонками и телеграммами. Зато он немедленно сообщил о радостном событии жене, которая также телеграфировала «дорогой Ребекке». Увы, не получается говорить обо всем этом без ехидства, а ведь люди-то страдали, ведь родился живой человек, которому родители постарались исковеркать детство как могли: неудивительно, что он потом написал о них очень злобную и необъективную книгу... После родов с Ребеккой были мать и сестра — так что Уэллс опять не мог появляться в ее доме. С ней также была ее замужняя подруга Кэрри Тауншенд, которая в первые недели выступала в роли посредника между роженицей и ее возлюбленным; Тауншенд написала Уэллсу резкое письмо, в котором говорилось, что Ребекка не создана для «интрижек»: «Она не из тех женщин, что могут отречься от своего пола; она не „холостячка“, а женщина до мозга костей. <...> Я не думаю, что она приспособлена для полигамии, хотя сейчас она, конечно, предпочтет получить одну пятую долю Вашей души, чем не получить вовсе».

По-видимому, эти слова Тауншенд написала по собственной инициативе, а не по просьбе подруги, так как сама Ребекка старалась не жаловаться и держаться в соответствии со своей прежней ролью «разрушительницы устоев». Ее письмо к Вайолет Хант, отправленное на следующий день после родов, написано в обычном для нее мрачновато-шутливом тоне: «Болезнь моя наконец закончилась, и я совершенно определенно могу утверждать, что не умерла». Письмо полно бравады: Ребекка объясняет подруге, что они с возлюбленным не только не могли, но и не имели права сопротивляться вспыхнувшей меж ними страсти, и что она ни о чем не жалеет. «Я уверена, что если бы это широко обсуждалось, я, возможно, стала бы героиней. В фабианских кругах сказали бы, что я хотела быть Свободной Женщиной и матерью Супермена, а те, кто учился в школе в девяностых годах, заявили бы, что я его жена пред Богом или какую-нибудь подобную чушь». На самом деле, однако, никто не считал Ребекку героиней. Возможно, это могло бы быть, если бы она сошлась не с Уэллсом, а, к примеру, с Байроном, и если бы отец ребенка проводил бы все время у ее ног и открыто гордился ее любовью, и если бы до нее не было Эмбер Ривз и прочих. А так она в глазах общественности оказалась очередной девицей, имевшей глупость родить от человека, которому была нужна всего лишь «страстная подружка».

Когда мать Ребекки уехала, для Уэллса началась жизнь на два дома. Примерно треть времени он проводил с Ребеккой. Таиться от Кэтрин не было необходимости, она была посвящена во всё. Знакомые Уэллсов отмечали, что Кэтрин выглядела намного увереннее в себе, чем во время «истории» с Эмбер; большинство биографов на этом основании делают вывод, что жена уже поняла, что муж ее никогда не бросит, и успокоилась. Может и так: душа Кэтрин —

закрытая книга. Правда, сохранившиеся письма Уэллса к жене свидетельствуют о том, что отношения между ним и женой в тот период были плохи. В «Истон-Глиб» продолжались ремонтные работы; этим Эйч Джи объяснял Кэтрин свое частое отсутствие: «Моя раздражительность во время пребывания дома происходит из чувства беспокойства, которое вызвано ремонтом. Не думаю, что ты понимаешь, какое это мучение для нетерпеливого человека, когда дом только „будет“, а на самом деле его нет. Я ненавижу, когда вещи не на своих местах и все не в порядке. Я хочу, чтобы дом был полностью обустроен, чтобы в нем можно было жить и принимать людей — людей, с которыми можно разговаривать. Сейчас дом — это шумный, противный, скучный беспорядок.

Я хочу, чтобы все это закончилось. Я чувствую себя как при переезде. Когда все это устроится, вероятно, снова можно будет жить по-человечески и интересоваться вещами, касающимися нас. Во всяком случае, мы должны попытаться...»

Хорошенько выговорив Кэтрин за то, что она недостаточно быстро ремонтирует дом, предназначенный для приема людей, с которыми можно разговаривать (она и дети к числу таких людей не относились), Эйч Джи изложил другую причину своих постоянных отлучек. «Кроме того, когда я провожу в ректории<sup>[55]</sup> несколько дней, то начинаю раздражаться из-за сексуальной неудовлетворенности. <...> Нынешняя ситуация такова, что наше мирное сосуществование в Истоне невозможно. Думаю, так будет лучше во всех отношениях. Грубая правда такова, что я не являюсь и никогда не был — если это понятие вообще существует — страстным любовником. Мне просто нужна здоровая женщина, которая может успокоить мои нервы и оставить мой ум в покое для



занятий, которые реально важны. Я люблю тебя очень нежно, во многих отношениях ты вошла в мою плоть и кровь. Я должен сохранить тебя. Но есть физическая необходимость...»

У Кэтрин, как известно, никаких необходимостей не было «от природы» — ни физических, ни эмоциональных; что же касается ремонта, он, надо полагать, доставлял ей удовольствие, равно как и чтение писем от мужа. Впрочем, детская жестокость, с какой Уэллс излагает жене свои претензии, уже не удивляет. Внимание стоит обратить на другое: Кэтрин он давал понять, что Ребекка Уэст — «здоровая женщина», роль которой в его жизни сводится к роли проститутки. На самом деле конечно же он относился к Ребекке совсем не так. «Она росла в его воображении, пока не затмила для него целый мир. Она заполнила собою небеса. Она склонялась над ним и дразнила его. Она стала тайной страсти и темной красоты. Она была грехом мира. В морских волнах слышалось ее дыхание. Она придавала величие самым обыкновенным вещам» — это слова из романа, над которым он работал в тот же период и который представляет собой гимн во славу Ребекки и их любви. В цитируемом же письме он всего лишь на свой лад пытался смягчить удар, наносимый жене, полагая, что с ее ущербной «от природы» точки зрения его потребность быть с Ребеккой не отличается от потребности, к примеру, держать больную ногу в ванне, для чего ему необходимо быть не дома, а в таком месте, где эта ванна имеется.

Если Эйч Джи уже имел опыт двойной жизни, то для Ребекки ситуация была внове, и скоро она поняла, что оказалась в ловушке. Она была, во-первых, женщиной, горячо любящей своего мужчину; во-вторых, энергичной девушкой, обожавшей общество; в-третьих, честолюбивым журналистом. Соответственно ее могли устроить два варианта развития событий: либо

поселиться с любимым в качестве его жены, пусть невенчанной (как Форд с Вайолет Хант), либо жить, как она жила раньше — абсолютно свободным человеком. На деле не выходило ни того ни другого. Общего гнезда Уэллс с нею вить не желал, поскольку не был на это способен: он требовал от женщины, чтобы она сперва устроила для него уютный дом, и тогда он согласится проводить в нем некоторое время. Но Ребекка не умела вести хозяйство: домик в Ханстентоне стал адом для обоих.

Напрашивалось простое, хотя и циничное решение: покупается квартира в Лондоне, Ребекка живет в ней и ведет холостяцкий образ жизни, за ребенком смотрит нянька, а Эйч Джи посещает их, когда сочтет нужным. Большие города всегда терпимы к незаконным связям; никто бы Ребекку камнями не побил, тем более в эмансипированных кругах, где она и Уэллс имели знакомства. Однако такое решение принято не было: в ближайшие годы Ребекка с сыном будет кочевать из одного маленького городка в другой, избегая Лондона, единственного места, где ей могло житься комфортно. Почему так? Отчасти потому, что она еще не теряла надежды стать женой Уэллса, отчасти, возможно, потому, что сам Уэллс не хотел, чтобы в Лондоне ему мешали. Посели он Ребекку в Лондоне — и ему придется всякий раз, как он туда приедет, бывать у нее или объяснять, почему не зашел.

Однако воспринимать Ребекку как бессловесную жертву было бы неправомерно. Кэрри Тауншенд или кривила душой, или не совсем понимала свою подругу: Уэст была именно «холостячкой». Вить гнездышко она не только не умела, но и не чувствовала к этому ни малейшего расположения: «Я ненавижу домашнее хозяйство». Она могла не послушаться Эйч Джи, поступить по-своему и жить в Лондоне; зная характер Уэллса, можно утверждать, что он не стал бы силой

препятствовать ей и в любом случае продолжал бы оказывать материальную поддержку, как оказывал ее любому и каждому. Но она на такой шаг не решилась.

Наконец, если Ребекка должна была пожертвовать своими интересами ради удобства возлюбленного, то интересы ребенка — в противоположность тому, что проповедовал Уэллс, — так же безоговорочно были принесены в жертву удобству родителей. Ребекка жила в крошечных городках, где прислуга болтлива, соседи любопытны, а взгляды консервативны: чтобы ей не пришлось подвергаться оскорблениям, решили делать вид, будто Энтони ее племянник, которого она взяла на воспитание; Уэллс же не имеет к ребенку отношения. Сам он утверждал, что это было сделано исключительно по настоянию злобной матери и противных сестер Ребекки. Даже если это было так — ни отец, ни мать ребенка, передовые, свободные люди, почему-то не воспротивились, а, как самые обыкновенные мещане, изворачивались и лгали; они и сына заставят лгать, едва он выучится говорить. Другое дело, что Энтони всю вину за эту ложь и за свое исковерканное детство возложил только на мать, во всем оправдывая отца. Отец-то с ним никогда не жил: пока он был младенцем, попросту не замечал его существования, а когда с ним стало можно общаться как с личностью, наезжал время от времени, устраивал праздник, дарил подарки и исчезал, овеянный романтическим ореолом. А мать, раздраженная, тоскующая, плохо умевшая обращаться с детьми, оставалась рядом — понятно, к кому склонится сердце ребенка.

Как только Уэллс обнаружил, что Ребекка не может дать ему ни покоя, ни свободы, он разочаровался и прибегнул к обычной писательской палочке-выручалочке: перенес тоскливую действительность в книгу. Однако если героиня его нового романа «Великолепное исследование» (The Research

Magnificent) с Ребекки Уэст попросту «сфотографирована», то с героем на сей раз дело обстоит сложнее. Уэллс, что бы он там ни говорил о новаторском подходе к роману, на деле в своих «бытовых» романах придерживался классической манеры изложения, но «Великолепное исследование» можно охарактеризовать как вещь отчасти модернистскую. Герой книги Бентхэм (Уэллс) исследует жизнь, а после его смерти его знакомый Уайт (Уэллс) исследует Бентхэма; кроме того, Бентхэм исследует своего друга Протеро (Уэллса) и свою жену Аманду, а Аманда исследует его; Бентхэм по результатам своих изысканий пишет книгу («книгу обо всем, о том, как надо жить и как не надо жить»), а Уайт пишет книгу о книге Бентхэма: это напоминает скорее Борхеса, нежели того прямолинейного Уэллса, к которому мы привыкли. Все три мужских персонажа являют собой разные ипостаси автора, которые комментируют поступки друг друга и препираются меж собой; центральный из них, Бентхэм, это мечта о том Уэллсе, каким он мог быть, если бы не знал материальных лишений и «имел достаточно сил, чтоб освободиться от половых потребностей, мешающих мужчине жить полноценной жизнью».

Бентхэмом с детства владела мечта — жить не «плебейской» жизнью, а «аристократической», то есть полноценной, свободной, а главное — плановой. «Аристократическая жизнь должна беречь себя для торжества истины, а не романтично приносить себя в жертву ради друга. Она оправдывает вивисекцию, если та послужит общему благу. Она поддерживает Брута, который убил своих сыновей. Она отрицает поклонение женщине, „суды любви“ и всяческие проявления приходящей в упадок галантной идеи». В результате такой жизни на Земле установится «правосудие, порядок, благородный мир, и все это будет сделано без

озлобления, без слащавой нежности или энтузиазма отдельных лиц, спокойно и бесстрастно». Бентхэм дискутирует с Протеро, плебеем, исповедующим демократию: «Что проку в социальном устройстве, при котором наверху находятся обычные люди, еще более заурядные, чем те, кем они управляют, да еще вдобавок испорченные свалившимися на них благами?»

Главная претензия Бентхэма к обычным людям заключается в том, что они живут не по плану, а как придется; отсутствие плана в жизни и есть суть плебейства. Все войны, конфликты, несправедливость — из-за отсутствия планов; тут Бентхэм забыл, надо думать, о том, что войны нередко планировались очень даже организованными людьми, а Уэллс забыл, что отвратительный сэр Айзек из его предыдущего романа планировал добиться монополии в хлеботорговле и свой план последовательно осуществил, погубив целую прорву народу. Люди, умеющие планировать, то есть аристократы, должны отнять у бестолковых демократов власть над миром, и все будет замечательно — нового Уэллс здесь не сказал, только употребил ставший впоследствии знаменитым термин «легальный заговор», то есть комплекс мер (толком не сформулированных), которые должны предпринимать аристократы духа для прихода к власти.

Бентхэм и Аманда полюбили друг друга, Аманда утверждала, что хочет видеть своего любимого свободным, но после свадьбы все переменялось. Бентхэм обнаружил, что она легкомысленна, вульгарна, жадна, «разрушительна», что у них разные взгляды — ее привлекает романтика, которую он ненавидит; кроме того, она после свадьбы уже не хотела ездить по миру, исследуя жизнь, а хотела поселиться в Лондоне. «Она получила его, она не сомневалась, что опутала его тысячью нитей, что этот великолепный леопард у нее в зубах, что он пленник ее сумрачных волос и что весь

мир есть одно непрерывное обещание развлечений». Ребекка Уэст развлекалась не больше Уэллса и работала не меньше, но Аманду он предпочел сделать бездельницей, чтобы ее пороки были более очевидны.

По настоянию Бентхэма молодожены не селятся в Лондоне, а едут путешествовать (мужчина в романах Уэллса никогда и ни в чем не уступит женщине, какое бы уважение к ее правам он ни питал) по Албании; Аманда с жадным любопытством впитывает в себя экзотические впечатления — Бентхэма чуждая культура и чужой образ жизни приводят в бешенство; там, где Аманда находит романтическое, красивое или смешное, он видит одну лишь грязь, невежество и дикость. Уэллсу любые этнографические изыскания казались ненужной чепухой: изучение жизни для него и для Бентхэма заключается в познании общих законов. Вернувшись из поездки, Бентхэм позволяет Аманде жить в Лондоне, но одной: сам он хочет объехать мир. Аманда беременна и просит его остаться. Разумеется, он поступает по-своему.

В Россию Бентхэм приезжает с Протеро. По дороге они обсуждают «женский вопрос», и Протеро говорит, что мужчина, занимающийся настоящими серьезными делами — то есть «исследованием жизни», — должен преодолеть в себе половые инстинкты. Однако первое, что он делает по приезде в Петербург, — влюбляется в проститутку и хочет увезти ее в Англию. Протеро — это тоже Уэллс, только не идеализированный, как Бентхэм, а сосредоточивший в себе черты, которые самому автору были неприятны, то есть такой же импульсивный и непоследовательный, как Аманда. Бентхэм, разочаровавшийся в друге, продолжает кругосветное путешествие и всюду видит отсутствие плановости, приводящее к дурным последствиям; кроме того, он тоскует по Аманде — той идеальной Аманде, какой он хотел бы ее видеть. «Желание иметь mate (это

слово переводится как „товарищ“, или „помощник“, или „супруга“, или даже „самка“. — М. Ч.) так же естественно, как желание хлеба, и тысячу раз в моих странствиях я мечтал о mate. О mate, но не о собственности. Если бы можно было иметь женщину, которая думала бы в унисон со мной!»

Аманда в отсутствие мужа поступила в соответствии с его принципами — свободно выбрала себе любовника. Бентхэм почему-то недоволен и требует развода. Аманда развода не дает: когда муж рядом, она сравнила его с любовником и вновь свободно выбрала его. Но Бентхэм, терзаемый ревностью, ненавидит жену и хочет ее убить. Ему удастся совладать с этим желанием, но простить жену он не может и опять едет исследовать жизнь, только теперь уже пытается принимать в этой жизни деятельное участие. Он вновь попадает в Россию, оказывается в центре еврейского погрома, спасает евреев, после чего проповедует им, что евреи не должны противопоставлять себя другим нациям. За это евреи его бьют. Он путешествует по другим странам, ввязывается в конфликты на национальной почве, всех призывает к братству и плановости, и каждый раз делает это бестактно, и каждый раз его бьют. В одном из таких конфликтов он погибает, а Уайт начинает исследовать его жизнь.

Во время своего последнего путешествия Бентхэм много думал об Аманде; он понял, что мужчина не должен заставлять свою «mate» смотреть на мир его глазами. Но это не означает, что ему следует принять ее такой, какая она есть, напротив: надо от нее отказаться. «Опыт любви для Бентхэма закончился. Он полностью посвятил себя делам мировой важности. Влечение и ревность больше не должны отвлекать его; как и страх, они должны быть преодолены или по крайней мере сведены к минимуму». Неужели Уэллс не

видел, как карикатурно все это звучит? Видел, конечно; потому и написал в параллель к идеальному Бентхэму — живого Протеро, который, дав обет чистоты, совершает падение с каждой встречной юбкой.

Итак, мужчина должен освободиться от любви, ограничиваясь страстной (хотя правильнее было бы называть ее бесстрастной) дружбой; к похожим выводам пришла и Уэст — в то самое время, когда Уэллс работал над «Великолепным исследованием», она продолжала журналистскую деятельность и, в частности, написала знаменитое эссе «Худший в мире провал». Нужна ли женщине любовь? — спрашивала Уэст. Полюбив мужчину, она лишается привычного образа жизни, она занята обслуживанием ребенка, а он остается свободным как ветер; ее помыслы сосредоточены на нем, а она занимает лишь некоторую часть его души, являясь не более чем дополнением к его «настоящей» жизни. Так что, дамы, займитесь настоящими делами, а если уж не можете обойтись без мужчины, по крайней мере не отдавайте ему всего своего сердца. К чести Уэллса нужно сказать, что он не оспаривал права Ребекки на собственное мнение.

С «Великолепного исследования» для Уэллса начался период богостроительства. Бентхэм-подросток взбунтовался против «придуманного людьми Бога, который является всего лишь оправданием существующего порядка вещей»; повзрослев, он понял, что есть и другой Бог — «бессмертный дух авантюризма во мне, Бог, что призывает людей оставить свой дом и страну и идти в большой мир, Бог... что преодолел смерть и прибыл к нам, дабы нести не мир, но меч». Пока это не концепция, а просто красивые слова: любопытно в них лишь то, что Бентхэму, посвятившему жизнь борьбе за мир, в Боге больше всего нравится его воинственность. Но когда Уэллс писал «Великолепное исследование», у него была конкретная причина



призывать к мечу. Наивный в одних вопросах, в иных он мыслил ясно и, в отличие от многих профессиональных политиков, понимал, к чему ведет наращивание военной мощи Германии. «Современный мир пребывает в заблуждении... Ему кажется, что с открытием анестезии наступил конечный триумф цивилизации уюта и невинных развлечений, что достижение этих идеалов детской комнаты и было целью человечества». Заблуждение окончилось: в день, когда Энтони сделал первый вдох, Англия объявила Германии войну.

## **Глава четвертая ПАТРИОТ**

Начиная с 1898 года Уэллс писал о возможности мировой войны; в 1908-м он утверждал, что войны XX века «сотрут линию фронта, а вместе с ней — и различия между гражданскими и военными, а также саму возможность полной победы». В 1913-м он предсказывал, что война начнется с германского вторжения во Францию через Бельгию; в том же году он опубликовал в «Дейли мейл» три статьи, составившие брошюру «Война и здравый смысл». Британии, предупреждал он, не стоит надеяться ни на свой флот — с ним легко справятся немецкие субмарины, — ни тем более на пехоту с артиллерией. Надеяться можно только на технику и науку; войну выиграют не генералы, а инженеры, и не в окопах, а в лабораториях. Соответственно и деньги следует тратить не на содержание устаревшей армии, а на модернизацию. Если же ничего этого сделано не будет, Англии придется воевать не только с немцами: потом на нее могут напасть славяне и азиаты.

3 августа Германия объявила войну Франции и Бельгии. С Францией Британию связывало соглашение 1904 года; тогда же Британия обязалась вступить за

Бельгию в случае вторжения. В тот же день Британия предъявила Германии ультиматум, требуя прекращения военных действий против своих союзников. Срок ультиматума истек на следующий вечер. 4 августа был праздник — летний Bank Holiday<sup>[56]</sup>, леди Уорвик в этот день обычно устраивала выставку цветов с угощением и концертом. Соседи приходили со своими гостями. Никто не подумал отменить праздник — в войну не верили, но говорили, конечно, только о ней. Уэллс был мрачен и предрекал ужасные последствия. Германия молчала; в 23 часа было объявлено о вступлении Англии в войну. Это известие вызвало бурю патриотического восторга у большей части англичан, то же самое несколькими днями раньше произошло и в России. Эйнштейн, наблюдая эти восторги, сказал: «У Европы ампутировали головной мозг».

В «Освобожденном мире» Уэллс уже описал подобный взрыв воинственной радости: «Однако весь этот энтузиазм был мыльным пузырем и не опирался ни на какие твердые убеждения; у большинства, говорит Барнет, как и у него самого, он был лишь бессознательным откликом на воинственные вопли и песни, колыхание знамен, ритм совместного движения, волнующее, смутное предчувствие опасности. К тому же люди были настолько подавлены вечной угрозой войны и приготовления к ней, что, когда она началась, они даже почувствовали облегчение». Однако самому Уэллсу воинственный пыл также оказался не чужд: ночью 4 августа (уже зная о рождении Энтони) он сел писать первую из серии статей, которые составят сборник «Война, что покончит с войнами» (The War That Will End War). Всего несколько часов назад он испытывал ужас; теперь, когда все решили за него, он почувствовал облегчение, о котором писал в романе.

Все кругом говорили, что война закончится очень быстро; он думал так же.

2 сентября Мастермен, глава Бюро оборонной пропаганды, собрал два десятка видных литераторов (кроме Уэллса, там были Честертон, Голсуорси, Киплинг, Беннет, Гарди) на секретное совещание: писатели должны были поработать во славу британского оружия и помочь вербовке в армию. Уэллс охотно взялся за дело и в течение сентября — октября написал одиннадцать текстов патриотической направленности, которые войдут в упомянутый сборник. Он развивал мысль о том, что, хотя войны в принципе являются чудовищным злом, конкретно эта война — в случае, конечно, если она закончится разгромом Германии, — принесет миру не катастрофу, но спасение, ибо с милитаризмом будет покончено навсегда. Он предлагал меры по искоренению милитаризма: созыв международной конференции, на которой будет разработана «новая карта Европы», запрет на производство оружия частными фирмами — оружейная империя Круппа виделась ему главным «источником заразы». Раньше он писал, что милитаристский дух обитает в каждом из нас; теперь почему-то вдруг решил, что после победы над Германией этот злой дух исчезнет.

«Война, что покончит с войнами» была выпущена в октябре громадным тиражом; она распространялась в Англии и США по мизерной цене и переводилась на другие языки. Массы она вдохновляла: за правое дело приятней воевать. У автора, однако, периоды восторга чередовались с приступами уныния: его знакомая Лилиан Маккарти, гостившая в «Истон-Глиб» пару недель спустя после начала войны, вспоминала, что хозяин говорил ей: «Мир разваливается на куски... Я не знаю, что делать». «Когда я перебираю свои работы, поспешные, сбивчивые и многословные, написанные в начале войны, и делаю все возможное, чтобы

воспроизвести подлинное состояние моего ума, мне становится ясно, что, не считаясь с моими предвидениями, мировая катастрофа на какое-то время поглотила мой рассудок, и я поневоле ответил этим ложным толкованием, — писал он в „Опыте“. — Мое воинственное рвение шло вразрез с предвоенными заявлениями и было противно моим глубочайшим убеждениям».

Позиция, занятая Уэллсом, поссорила его со многими людьми, одни из которых отдавали себе отчет в том, что война ведется обеими сторонами не за светлое будущее, другие были пацифистами, а третьи, связанные с немецкой культурой, болезненно воспринимали антигерманскую пропаганду. Уэллс призывал США ввести экономическую блокаду Германии. Вайолет Пейджет, которую он когда-то называл своей «сестрой в Утопии», отозвалась статьями в американских газетах: «Уэллс предлагает уморить Германию голодом ради скорейшего пришествия царства мира и доброй воли на Земле». Пейджет обвинила старого друга в ненависти к мирным немцам. Справедливо ли? Смит, защищающий Уэллса от обвинений в национализме, утверждает, что нет: Уэллс подчеркивал, что выступает не против немецкого народа, а против «милитаризма Круппа». Это не совсем точно. Уэллс не называл немцев, как Куприн, «профессиональными убийцами», говорил, что «мы боремся не с нацией, а с идеей зла», однако писал о немцах как о «нации, которая вся охвачена милитаризмом».

Все, кто сражается против Германии, считал он, являются друзьями Англии, а друзьям нужно прощать их недостатки. Британцы, однако, к «русскому другу» относились прохладно: «правые» были обижены за антибританскую позицию, которую Россия заняла в период войны с бурами, «левые» полагали, что с

самодержавным режимом дружить невозможно. Уэллс пытался это мнение изменить. В августе и сентябре 1914-го он опубликовал статьи — «Либеральный страх России» в «Нейшн» и «Наш русский союзник» в «Дейли кроникл», в которых призывал прекратить критику царизма и говорить о союзнике только хорошее. Он также написал совместно с Гилбертом Мерреем проект открытого письма к русской интеллигенции, где содержался призыв направить совместные усилия на борьбу с Германией, а потом уж решать внутренние проблемы. Он обратился к Ромену Роллану, предложив ему сделать совместное заявление в пользу России. Но Роллан отказался: «Я воюю против одного чудовища (прусского империализма) не для того, чтобы при этом защищать другое».

Шоу высказывания Уэллса возмутили, и он вступил с ним в перепалку на страницах «Кроникл», а в ноябрьском номере «Нью стейтсмен» опубликовал статью «Здравый смысл о войне», где утверждал, что обе воюющие группировки повинны в войне равным образом, и призывал к немедленному миру с Германией. Уэллс ввязался в дискуссию, задавая резонный вопрос: что делать, коли Германия не слушает Шоу и не сядет немедленно за стол переговоров? Поднять руки и сдаться? Равнодушно смотреть, как добивают французов, и надеяться, что нас не тронут? Он припомнил Шоу, как тот в свое время поддерживал Англо-бурскую войну, потому она была «правильной»; припомнил и фабианские обиды — это было совершенно некстати, но удержаться он никогда не мог. Его также публично осудили члены литературно-общественного объединения «Блумсбери», большинство из которых стояло на радикально-пацифистских позициях: художественный критик Клайв Белл и литератор Литтон Стрэчи объявили его «нерукопожатным». Но это были мелкие укусы со стороны горстки людей, которых

в тот период все называли предателями. Впервые в жизни наш герой оказался заодно с большинством, и в частности с ненавистным Кипплингом. Может, поэтому ему очень скоро сделается тошно: «Противники войны особенно раздражали меня тем, что многое в их критике было справедливо».

Обе воюющие стороны предполагали, что война будет скоротечной, но осень первого года принесла разочарование. Стороны понесли большие потери и на время прекратили активные действия, установив позиционный фронт. Великобритания пока что не воевала на суше, направив в помощь французам лишь один экспедиционный корпус; она должна была установить блокаду Германии на Северном море и разгромить германский флот. Тут тоже было кровавое равновесие. До самых ужасных сражений было еще далеко, и Уэллсу казалось, что все идет не так уж скверно. Война войной, а Джипу и Фрэнку, которым исполнилось соответственно 13 и 11 лет и которые получали домашнее образование под руководством отца, Матильды Мейер и молодого немца-гувернера Курта Бютова, нанятого в 1913 году, нужно было найти школу.

После многолетних поисков их отец встретил педагога, чьи взгляды на учебный процесс совпадали с его собственными: ученики должны получать не разрозненные знания, а постигать «все про все». Это был Фредерик Уильям Сандерсон, директор частной мужской школы в местечке Оундл в Норт-хэмптоншире — смелый экспериментатор: «текущие заботы школы, идеи педагогов далеко отставали от его устремлений». Уэллса особенно впечатлила затея Сандерсона: построить при школе здание, которое будет предназначаться для того, чтобы дети в нем «размышляли о жизни».

Сандерсон получил под свое начало школу в 1892 году, когда в ней обучались 100 мальчиков; к 1914-му их было уже около 400. В школе исповедовали индивидуальный подход к каждому ребенку, причем не только к талантливому: Сандерсон полагал, что посредственностей не существует, а если ученик чего-то не понял — значит, его не сумели заинтересовать. Часы, традиционно отводившиеся на классические науки, были сокращены в пользу практических занятий; при школе построили несколько лабораторий и мастерских, причем даже самые маленькие ученики могли в любое время входить в них и по своему желанию заниматься опытами (запирались на ключ только опасные химические препараты). В мастерских не сколачивали табуретки: оснащенные по последнему слову техники, они были предназначены для конструкторских работ и изобретательства. Несколько недель в году мальчишки были освобождены от уроков и ходили только в мастерские, конструируя кому что по душе — велосипед или вечный двигатель. Господи, где бы сейчас найти такую школу?! А она и по сей день существует, школа Оундл, и дети (теперь и девочки тоже) собирают в мастерских автомобили, и на этих автомобилях можно ездить...

В Оундле историю и литературу преподавали лучшие специалисты; дети изучали несколько иностранных языков. Дома Джип и Фрэнк учили французский и немецкий; отец хотел, чтобы они знали русский, и уговорил Сандерсона нанять для них учителя. Что касается младшего сына и его матери, то оставаться в Ханстентоне Ребекка не хотела, и Уэллс попросил Кэрри Тауншенд подыскать для нее другое жилище. Осенью нашли дом в Броинге, недалеко от «Истон-Глиб». Теперь Уэллс навешал Ребекку и сына чаще. Няне и экономке он представился как «мистер Уэст». Няню, привязавшуюся к Энтони, все устраивало,

но экономка пронюхала, что у хозяина имеется законная жена. Взяли другую экономку — история повторилась. Ребекка рвалась в Лондон, но это было не в интересах ее возлюбленного: «Вернуться к ней — вот что было вершиной его страстных и нежных мечтаний, видеть ее — означало пережить счастливейший миг, а потом вновь начались непрерывные раздоры и обиды».

Осенью 1914-го была завершена работа над «Великолепным исследованием» и права проданы Макмиллану, а на подходе были новые книги. О чем? Казалось бы, война, так и пиши о войне, но писатель — существо непредсказуемое: посреди мировой катастрофы Эйч Джи написал свой самый добрый, нежный и смешной роман — «Билби» (Bealby). Это история маленького мальчика. «Когда пришло время ложиться спать („А ну, убирайся, — сказал ему Томас. — Иди и дрыхни, сопливый скандалист. Ты уж нам за день надоел!“), юный Билби еще долго сидел на краю постели, размышляя, что лучше: поджечь дом или же отравить их всех. Вот если бы у него был яд! Какой-нибудь такой, какой употребляли в Средневековье, — чтобы человек не сразу помирал, а сперва бы помучился. Он достал купленную за пенни записную книжечку в блестящем черном переплете, с голубым обрезом. На одной странице он написал: „Мергелсон“, — а ниже поставил три черных креста. Затем он открыл счет для Томаса, который, конечно, будет его главным должником. Билби не склонен был легко прощать обиды. В сельской школе слишком старались воспитать из него доброго прихожанина, чтобы печься о доброте его души. Под именем Томаса крестов было без числа».

В «Билби» есть еще один персонаж, капитан Дуглас — это автошарж; все, о чем в «Великолепном исследовании» говорится напыщенно и серьезно, в «Билби» получает комическое воплощение. «В душе он принял твердое решение свершать подвиги, творить и



созидать» — таков капитан Дуглас; от совершения подвигов его отвлекает конечно же любовь. Это та же самая любовь к той же самой Аманде — только описана она афористично, весело, без злобы. «У идеального короля всегда озабоченный вид: он правит, он занят великим множеством дел. Но идеальная королева всегда лучится радостью: она стройна, прелестна и величественна — она занята только собой». «Билби» выйдет на следующий год в издательстве «Метьюэн» и моментально завоюет сердца читателей и критиков. Это, наверное, единственная книга Уэллса, которую никто никогда не ругал.

Параллельно с милым «Билби» Уэллс продолжал работу над книгой, которую считают самой злой из всего им написанного. В марте — апреле 1914 года Генри Джеймс опубликовал в «Таймс литэрари сапплемент» две статьи под заголовком «Новейшее поколение», где высказывал свои претензии к таким молодым (с точки зрения Джеймса, которому было уже 70) писателям, как Уэллс, Беннет и Комптон Маккензи (шотландский романист). Все они «подавляли читателя материалом». Их метод работы Джеймс называл «выжиманием сока из апельсинов», в результате чего получались книги, полные «бесформенной энергии», написанные «без дисциплины и эмоциональной глубины». Зная характер Уэллса, следовало ожидать немедленного публичного отпора. Но его не было. Вместо этого Эйч Джи «продернул» противника в книге.

На русский язык роман «Бун» не переводился; читатель, пожелавший узнать, в чем его суть, может прочесть в справочниках, что герой романа Джордж Бун есть карикатура на Генри Джеймса и что автор был так жесток, что самолично преподнес экземпляр книги прототипу героя — отсюда вывод, будто главной целью Уэллса было спародировать Джеймса (а поскольку последний очень скоро после этого умер, то можно

предположить, что «Бун»-то его и доконал). Поверить на слово? Или все-таки прочесть книгу, полное название которой не уместится в одной строке<sup>[57]</sup>?

По композиции этот роман похож на «Великолепное исследование», такая же матрешка, только усложненная: умер литератор Джордж Бун, другой литератор, Реджинальд Блисс (Уэллс в молодости публиковался под этим псевдонимом), исследует его творчество, а литератор Уэллс (не путать с автором Уэллсом — это тоже маска) пишет к книге предисловие. Вдобавок Блисс с Буном пишут книгу, одним из персонажей которой является литератор Эллери, двойник Буна, а еще в беседах Буна с Блиссом участвует знакомый нам литератор Уилкинс, одно из воплощений Уэллса, а еще Блисс читает новеллу Буна о некоем безымянном литераторе, в котором присутствуют черты и Буна, и Уэллса — кажется, что в этом постмодернистском лабиринте вовек не разберешься.

Чтение первых страниц укрепляет нас во мнении, что Джордж Бун и есть Генри Джеймс. Бун — знаменитый писатель, чьи книги отличаются «стилем столь же совершенным и бросающимся в глаза, как блеск новехонького цилиндра». Блисс сообщает, что Бун горячо сочувствовал любому новому автору, чье творчество обещало что-то интересное, всегда был готов его похвалить, но успехи, которых добивались протеже Буна, «изрядно охлаждали его великодушие». Да, все вроде сходится: изысканный мэтр, ревнующий коллегу к его вульгарному успеху. Однако Буну, оказывается, мало своих «идеально ровных» книг; он пытался писать публицистические тексты. Одну такую вещь он когда-то начинал сочинять вместе с Блиссом; последний надеялся отыскать ее в бумагах покойного, но увидел, что дальше набросков дело не пошло, и

предался воспоминаниям о беседах, которые, как предполагалось, должны были в книгу войти. Работа называлась «Разум человечества»; по Буну, этот самый разум есть надличностный, объективно существующий духовный процесс. «Вы ощущаете нечто более грандиозное, чем совокупность индивидуальных волей и мыслительных процессов людей — тело мысли, тенденцию идей и целей, нечто возникшее в результате синтеза всех индивидуальных сущностей, нечто большее, чем их алгебраическая сумма, нечто такое, что отбрасывает старое и продвигает новое; коллективный разум вида...» А вот это уже — не Джеймс. Это Герберт Уэллс, что разделил себя на части, одну из частей причудливо перемешал с Джеймсом (тоже не полным) и вылепил Буна из образовавшейся массы.

В обсуждении «Разума человечества» участвовали и другие литераторы: Джордж Мур (ирландский прозаик), Додд (Эдвард Клодд — литератор и антрополог, друг Уэллса) и Уилкинс — на этого героя пошла большая часть глины, оставшейся после лепки Буна. Блисс снисходительно оценивает и Буна, и Уилкинса, это любопытно: как одна часть автора охарактеризует другую? Уилкинс — «человек весьма специфического умственного устройства; он впадает то в задумчивую сентиментальную самовлюбленность, то в грубый реализм; и как слаб и нелеп он в первом состоянии, так силен и бескомпромиссен во втором». Блисс также замечает, что Уилкинс «тратит массу времени, торжественно разглагольствуя о каких-то давнишних историях, за которые его несправедливо осуждали. Я, кажется, когда-то слышал, в чем там было дело, да давно позабыл. Все же, когда ему удастся хоть ненадолго отвлечься от пережевывания своих старых обид, он становится очень проницательным...». Так

жестокосъязвить на свой собственный счет получается далеко не у каждого литератора.

Бун и Уилкинс дискутируют о «разуме человечества»: Бун полагает, что на протяжении веков эта штука неуклонно развивается к лучшему; по мнению Уилкинса, в начале XX века, напротив, происходит процесс духовной деградации. «Разум человечества временами кажется мне намного больше похожим на испуганного ребенка, что, сжавшись от страха, сидит в углу клетки с обезьянами». Это спорят вовсе не Джеймс с Уэллсом, а два Уэллса: один — автор оптимистических утопий, другой — тот, кто написал «Машину времени». Кто прав? Бун, вооруженный лишь «полумистической верой в растущую империю здравомыслия», доказательств своей правоты привести не смог, а Уилкинс побил его фактами. Но верить в этой книге нельзя никому. Ведь о том, что Бун не привел ни единого доказательства духовного прогресса, нам сказал Блисс, который не скрывает, что его позиция ближе к взглядам Уилкинса; на самом-то деле Бун факты приводил, просто Уилкинса с Блиссом они не убедили. «Вы воображаете себя пророком и жестоко критикуете всех, кто с вами не согласен», — говорит Уилкинс Буну, то есть Уэллс — самому себе.

Двойники множатся, зеркала отражают зеркала: писатели собираются в доме Буна и пишут роман о том, как писатели собираются и пишут роман; они придумывают всемирную писательскую конференцию, на которой председательствует писатель Эллери, о котором Бун сказал: «Я придумал Эллери, чтобы избавиться от моего „я“, но в сущности Эллери — не более чем моя тень... и его голос — это в большей степени мой голос, чем когда-либо». Это — объяснение того, как и зачем Уэллс придумал Буна, Блисса, Уилкинса и вообще всех своих героев: в литературе он не признавал ничего, кроме выражения своего «я».

Надвигается война; Бун теряет веру в светлое будущее, о чем свидетельствует вторая его работа, обнаруженная Блиссом. Это притча «Адские дикие ослы». Жил-был процветающий писатель. На прогулке он встретил черта. Черт был слабонервный, несчастный; писатель его накормил и обогрел, а черт поведал ему историю своей жизни. Оказывается, из ада убежали огромные стада его низших жителей, дикие ослы, — злобные, тупые, завистливые существа. Наш черт откомандирован их ловить и возвращать обратно, да вот беда — он никак не может отличить их от людей. Писатель убежден, что черт не различает людей и диких ослов только по собственной глупости, на самом деле это очень просто; он берется помогать черту в его миссии, объезжает весь мир и с ужасом убеждается, что черт прав: люди и дикие ослы неразличимы. Главные же орды ослов сосредоточились в Германии. «Немцы должны быть разбиты, — сказал Бун. — Новый мир уничтожен; мы вернулись на десять тысяч лет назад; не может быть ни света, ни надежды, ни мысли, ни свободы, пока они не разбиты... Они — унылый, завистливый, жадный, хитрый, вульгарный, невыносимо тщеславный народ. Мир под их господством будет невыносим. Я не стану жить в этом мире». Так оскорблял Уэллс немцев или нет? От своего лица он подобных вещей публично не говорил. Но ведь Бун — «в сущности не более чем моя тень... и его голос — это в большей степени мой голос, чем когда-либо».

Вера Буна в светлое будущее не пропала — она передалась Уилкинсу. «Война была одной из тех больших болезней, которые производят очистку организма от множества мелких. <...> Она изменит наши представления о жизни, положит конец погоне за примитивными удовольствиями и бесцельной расточительности, даст людям более четкое понимание своих обязанностей и более яркое предчувствие

всемирного братства». Уэллсу — той части его, что была Уилкинсом, — казалось, что страдание очищает. Так обычно говорят люди, которые никогда не испытывали настоящих страданий. Но другая часть его души отвечает устами Буна (тяжелобольного, умирающего): «Война... на самом деле есть просто уничтожение и больше ничего». Бун и Уилкинс поменялись местами: тот, кто был наивен, начал смотреть правде в глаза, и наоборот. «Всякое созидание является разрушительным», — говорит Уэллс-Уилкинс, а Уэллс-Бун тут же сам себе отвечает на эту благоглупость: война современная, война с использованием средств массового уничтожения — это «монстр, грязная вещь, непристойность»; ничего героического или очищающего в ней нет и быть не может.

Печальный Бун умирает — без него, по словам Блисса, «мир стал холоден и одинок», а Блисс (уже без участия Уилкинса) читает третий текст Буна — «Последний глас трубы»<sup>[58]</sup>. В магазине много лет пылилась медная труба, и когда она случайно протрубила, один священник понял, что это был глас Бога, что все, о чем он проповедовал доселе, есть лицемерие и существует нечто подлинно божественное, чем человечество пренебрегало. Священник всем твердит о гласе трубы, но никто его не слушает; люди продолжают «как кролики поедать салатные листья и размножаться», не думая о Боге. Блисс полагает, что пессимизм Буна обусловлен его болезнью. «Мы будем учиться на наших несчастьях и не останемся равнодушны к трубному гласу Божьему». Доказательств этому тезису Блисс не привел, как мы будем учиться, не объяснил — он просто верит. Круг замкнулся: «полумистическая» вера в светлое будущее передалась Блиссу, до сих пор бывшему самым скептическим из всех уэллсовских «я». Человек, придумавший всех этих

персонажей, обойтись без этой веры никак не мог. Ненавидимые им марксисты, осмеянные фабианцы, отвергнутые лейбористы, либералы, которых он и за людей-то не считал, — все они понимали, что для достижения своих целей нужно что-то делать — долго, постепенно, нудно. Он, считавший себя умнее всех этих людей, верил, что все произойдет «как-то так»: Емеля вытащит щуку из колодца, и она...

Так при чем же здесь Генри Джеймс? Его ошибочно сочли Буном? Нет, Джеймс в романе присутствует, причем под своим собственным именем: о нем рассуждают Бун и Блисс, но к основному идейному спору этот фрагмент не имеет отношения. Персонажи Джеймса — «денатурированные»: они никогда не испытывают чувственной страсти, не воют, не ходят на выборы, ни к чему не стремятся и ничего не делают. Джеймс «исключил кровь, и пыль, и высокую температуру», «обдуманно избегал смерти, уродства, страданий, промышленности, политики, спорта, мыслей о войне, пламени страсти». В этих словах не так уж мало справедливого. О некоторых коллегах Бун с Блиссом отозвались похлеще: «Возьмите хоть эту ворону в павлиньих перьях, Бернарда Шоу: поверхностно ухваченные идеи, бойкие, алогичные переходы, дичайшие утверждения... мнения по каждому вопросу, высказанные слишком несвязно, безапелляционно и самоуверенно, чтобы можно было разумно отвечать на них».

«Бун» был задуман еще в 1905-м, однако строился он без плана: собирались фрагменты, написанные «на случай», смысл романа менялся с изменением обстоятельств — вот так, меняя свои мнения, плывя по течению, живут обычные бестолковые люди, которых осуждал герой «Великолепного исследования»: до войны Уэллс был Уилкинсом-пессимистом, в сентябре — октябре он стал Уилкинсом-бодрячком, сочинявшим

патриотические воззвания, в ноябре — декабре он уже становился печальным Буном.

Когда роман был окончен, начался новый, 1915 год. Начинался он для англичан и их союзников ужасно: в феврале немцы применили отравляющие газы в сражении на Ипре, тогда же объявили «неограниченную подводную войну», то есть стали топить не только военные корабли, но и идущие в Англию суда с продовольствием, а также — в соответствии с «Войной в воздухе» — начали воздушные бомбардировки территории Англии. Уэллс-Уилкинс куда-то сгинул, Уэллс-Бун был подавлен и не знал, что делать, а Уэллс-Блисс продолжал писать публицистику, но характер ее менялся. «Большая часть статей 1915 года <sup>[59]</sup> представляет собой любопытную смесь неуклюжего миролюбия с еще более неуклюжей угрозой — видимо, я понимал, что статьи могут цитировать в Германии. В них много невежества, неопытности и самомнения». Эти статьи будут включены в брошюры «Мир на Земле» и «Война и социализм». В первой из них говорится о том, что всеобщий мир наступит постепенно (не стоит обманываться: для Уэллса «постепенно» означало — не в этом году, а в следующем), по мере того как производство вооружений будет изъято у частных фирм, а конфликты будут решаться в международных арбитражных органах. В «Войне и социализме» Уэллс разъяснял причины войны: «Это война умов. Это конфликт культур и больше ничего. Вся боль и мука мира, страх и тревога, кровь и разрушение, бесконечное убийство людей и лошадей, зловоние разложения, страдания сотен миллионов человеческих существ, неисчислимые потери человечества — есть следствие не объективных причин, а фальшивой философии и фальшивого мышления». На смену фальшивому (патриотическому) мышлению придет истинное



(интернационалистское), но для этого сперва необходимо выиграть войну.

Часть статей носила футурологический характер — они в 1916-м выйдут у Кассела в виде сборника «Что грядет» (What is coming: A Forecast of Things after the War). «Автор этой книги привык заниматься пророчествами», — заявил Эйч Джи в предисловии к сборнику и напомнил о том, как сбылись некоторые из его прежних предсказаний, дабы читатель не забывал, что имеет дело с опытным пророком. Хвастовство? Как сказать: неожиданно наш герой оказался пророком в той сфере, где, как казалось, не смыслил ни гроша — в экономике. Он ссылаясь на книгу «Будущая война в техническом, политическом и экономическом отношениях» русского военного инженера И. С. Блюха, который доказывал, что возросшая мощь оружия сделает войны самоубийственными. Блюх писал, что война необратимо подорвет европейскую экономику: обе стороны истощатся, побежденным окажется тот, у кого крах произойдет быстрее, но и победителю не избежать этого кошмара: разрушены коммуникации, дезорганизована промышленность, люди, вернувшиеся с фронта с привычкой убивать и не нашедшие работы, взбунтуются. Уэллс с этими выводами соглашался — «мое настроение за прошлые несколько месяцев изменилось от сильнейшего оптимизма к глубокой депрессии», но в отличие от Блюха видел возможность преодоления будущего экономического кризиса.

Первая мировая спровоцировала системные изменения в экономике воюющих стран: от принципа свободного предпринимательства правительствам пришлось частично перейти к государственному регулированию. Были необходимы капиталовложения в военную промышленность, а поскольку частные инвесторы вкладывать капиталы не хотели из-за рисков, инвестиционное бремя должно было брать на

себя государство. Из-за роста спроса на золото пришлось отказываться от золотого стандарта (свободного обмена банкнот на золото), что дало возможность эмиссионного финансирования военных расходов; из-за ограничений на объем импорта понадобилось госрегулирование импорта и экспорта, из-за нехватки ресурсов пришлось регулировать их потребление; на инфляцию отвечали введением регулируемых цен. Вот и прекрасно, писал Уэллс, единственный выход из экономического кризиса — государственное регулирование экономики.

Но, позвольте, это ведь, кажется, Кейнс придумал? Да, конечно: Джон Мейнард Кейнс, член Фабианского общества, был другом Уэллса, и тот в очень примитивном виде повторял его мысли. Знаменитая «Общая теория занятости, процента и денег» будет опубликована в 1936 году, но свои идеи Кейнс высказывал задолго до этого. Концепцию ликвидации золотого стандарта он разработал как раз накануне войны, в 1913-м. Кейнс, как считается, «спас» капитализм, превратив его в смешанную систему, в которой действие рыночного механизма увязано с государственным регулированием экономики. Уэллс в своем примитивизированном кейнсианстве видел обратное: прямой путь перехода к социализму. Теория Кейнса сложна, местами противоречива — для Уэллса, как всегда, все «очень просто» и «быстренько».

От внутренних дел — к внешним: поскольку европейские страны после войны станут бедными, им придется объединяться, чтобы выжить, не превратившись в вечных нахлебников и должников США: Уэллс считал, что через 15–20 лет будет создано Европейское экономическое сообщество, а параллельно с ним возникнет международный регулирующий орган. Идея Лиги Наций в 1915-м еще не окончательно сформировалась в голове Эйч Джи, но это был первый

шаг к ней. Что касается Всемирного Государства, на сей раз высказывания Уэллса по этому поводу очень осторожны. С одной стороны, пока существуют отдельные государства, войны на Земле не прекратятся; с другой — «Местные и национальные различия — очень упрямая вещь. Каждая страна имеет тенденцию возвращаться к своему естественному типу. Нации останутся». Культурные различия также неистребимы, и с ними придется считаться: «где есть континентальные пустыни, там есть арабы и есть ислам; эта культура никогда не будет разрушена и заменена европейской». В «Что грядет» Уэллс фактически отказался от своей прежней идеи единого унитарного государства в пользу всемирного конфедеративного образования, путь к которому будет лежать через создание различного рода союзов и локальных конфедераций.

Наиболее интересное предсказание он сделал о Германии: вопреки всем прогнозам предрек в этой стране революцию, которая произойдет немедленно по завершении войны и «навсегда положит конец немецкой династической системе». В «Буне» он всячески обзывал немцев, но теперь призывал быть к ним терпимее. «Они — трудолюбивые, кропотливые люди, они уважают науку и образование. Это не значит, что мы не должны разбить Германию и в случае, если династия Гогенцоллернов сохранится, подавить ее экономическими методами, чтобы она не могла вновь развязать войну». Но если Гогенцоллернов не будет, репрессии к послевоенной Германии не должны применяться, ибо конечная цель — не разрушение страны, а ее интеграция в мировое сообщество. Отчасти это тоже плагиат из Кейнса, который будет призывать к отказу от репараций в работе «Пересмотр Версальского договора».

Отдельные статьи 1915 года посвящены «женскому вопросу»: до сих пор Уэллс не признавал иной роли женщины, кроме любовницы, но теперь мужчины ушли на фронт, а женщины стали работать вместо них — стало быть, они действительно равны мужчинам и имеют право голосовать на выборах. После войны женщин еще долго будет больше, чем мужчин, так что не каждая сумеет свободно выбрать мужчину и штопать его носки, да и не каждая захочет это делать после того, как была хирургом или шофером: «Мир должен будет приспособиться к увеличению числа самодостаточных, само-обеспеченных женщин». Не совсем ясно, нравились ли Уэллсу эти самодостаточные женщины. Скорее всего нет, но он понял, что с их существованием придется смириться.

Летом 1915 года немцы начали бомбардировки Лондона и окрестностей. Использовались пока что не самолеты, а цеппелины и дирижабли, точность попадания невысокая, жертв немного, но паника большая. По настоянию Уэллса Ребекка с сыном переехала в Олдертон, крошечную приморскую деревеньку в графстве Саффолк. Незадолго до этого известный американский журналист Уолтер Липпман предложил ей стать постоянным британским корреспондентом журнала «Нью рипаблик», издававшегося в США. Она рвалась в Лондон, где кипит жизнь, а ее запихали в самую тоскливую глушь, какую только можно было придумать и куда отец ее ребенка мог приезжать лишь изредка. Все это не способствовало улучшению отношений между Пантерой и Ягуаром.

Издательский бизнес от войны пока не пострадал, книги Уэллса продолжали выходить: в 1915-м были изданы «Великолепное исследование» (у Макмиллана) и «Билби» (у Метьюена). В мае появился и «Бун», опубликованный издательством Ануина. Экземпляры

романа Уэллс в Реформ-клубе передал Генри Джеймсу. 6 июля он получил от Джеймса письмо, в котором тот сообщал, что ему трудно комментировать прочитанное. Под обычной вежливостью чувствовалась обида. Уэллс немедленно ответил: «Все мои нападки на Вас вызваны чувством, что Вы „подавляете“ меня... <...> Для Вас литература — это живопись, что является самоцелью и венцом всего, для меня — архитектура, то есть то, что можно практически использовать». Он также выражал сожаление о том, что «не выразил наши глубокие и неискоренимые противоречия в более деликатной форме», и называл свою книгу «бумажным хламом». Навряд ли это было проявлением лицемерия: учтивость противников Уэллса всегда обезоруживала и заставляла раскаяться, тем более что Джеймс в эти дни был тяжело болен.

Джеймс отозвался 10 июля: «Я считаю Ваше противопоставление „архитектуры“ и „живописи“ надуманным и бесполезным. Архитектуру так же невозможно свести к „полезности“, как любое из искусств; это все равно что свести литературу к буквальному описанию жизни, лишенному всякого приукрашивания. <...> Искусство — единственный творец жизни, интереса, смысла... и я не знаю ничего, что могло бы заменить его красоту и силу». Это было его последнее письмо Уэллсу. 2 декабря Джеймса поразит инсульт; он умрет три месяца спустя, оставив два неоконченных рассказа, один из которых называется «Башня из слоновой кости». В своем желании выстроить такую башню он был так же непоколебим, как Уэллс в своих журналистских принципах.

Друзья и знакомые Уэллса «Буна» хвалили, хотя с оговорками. Баринг написал, что роман «содержит лучшие образцы критики современной жизни» и что он «предпочитает роман идей любому другому», но

добавил, что возвеличение «антиискусства» тоже не следует доводить до крайности. Разумеется, роман активно не понравился Конраду; Хью Уолпол, всегда умудрявшийся дружить «с вашими и нашими», выражал недоумение, отчего Конрад так «рассвирепел», но вряд ли это недоумение было искренним: Конрад разделял взгляды Джеймса на искусство, кроме того, высмеивать больного человека казалось ему свинством и он вряд ли принял бы во внимание обстоятельство, что Уэллс начинал писать «Буна», когда Джеймс был еще здоров. Уэллса продолжали втягивать в дискуссии о «Буне» в течение многих лет, спрашивали о причинах проявленной им по отношению к Джеймсу жестокости; в ответ он то огрызался, то каялся. Когда роман переиздавали в 1925 году, он назвал его своим *enfant terrible* и «дерзкой выходкой» и отметил, что написать «Буна» его вынудили, — это была всего лишь реакция на постоянные поучения. Позднее, когда критик Герберт Рид попросил его рассказать об отношениях с Джеймсом и о «Буне», он ответил, что очень сожалеет о своей грубости, но Джеймс, обидев Беннета, «сам напросился» — имелось в виду конечно же «Новейшее поколение», но не только.

После смерти Джеймса Ребекка Уэст начала писать книгу о нем, которая вышла в 1916 году: тон книги был залихватским и непочтительным, но за развязностью скрывалось искреннее восхищение (она писала, что обаяние лучших книг Джеймса «подобно солнечному лучу» — Уэллс никогда не удостоился подобного комплимента из ее уст). Однако друг Джеймса Перси Лаббок, литературный критик, был оскорблен книгой Уэст и в своей колонке в «Таймс литэрари сапплемент» отозвался о ней очень резко. Возмущенный Уэллс писал по этому поводу Уолполу, что та критика, которую он высказал в адрес Джеймса в «Буне», — ничто по сравнению с «ушатами помоев», вылитых «Лаббоком и

его дружками» на Ребекку Уэст: «У меня кровь в жилах закипает, когда я думаю о том, как эти претенциозные академики третируют беззащитную девушку (которая умеет писать так, как любому из них и не снилось), прикрываясь уважением к литературе. От этого мне омерзительно само имя Джеймса». Маккензи, собирающие всякую мелочь, свидетельствующую в пользу того, что Уэллс был злобным истериком, приводят текст этого письма, забыв упомянуть о конфликте между Ребеккой и Лаббоком, и получается, что Уэллс обругал давно мертвого Джеймса просто так, от злобы. В «Опыте» он писал о Джеймсе уважительно — «Мы оба были по-своему правы» — и с сожалением, как о человеке, слишком хрупком для нашего грубого мира.

Разговор о «Буне» лучше всего закончить словами Ланкастера: он сравнил свои ощущения от романа с «мелодией регтайма». Ученый проявил чутье более тонкое, чем критики, в том числе и современные: этот текст, направленный «против искусства», с его утонченной и прихотливой композицией, с причудливыми лабиринтами, со сложной системой зеркал, из которых выглядывают двойники двойников и тени теней, представляет собой замечательное — в своем, особенном роде — произведение искусства. Ведь архитектура противостоит вовсе не живописи. Они обе равно противостоят хаосу, грязи и поломанным заборам с надписями из трех букв.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ

## Глава первая ТРИ ТАНКИСТА

Сидней Дарк, один из первых исследователей творчества Уэллса, сказал: «Если он отказался от своего кредо, он будет разоблачать его тщетность с тем же энтузиазмом, с каким только что защищал его». Воинственный Эйч Джи стал пацифистом: «Через несколько месяцев я понял неприглядную правду: „война за цивилизацию“, „война против войны“ была утешительной выдумкой. А правда заключалась в том, что Франция, Великобритания и союзные державы, следуя своим интересам, договорам и тайным намерениям, воспользовались проверенным историей средством и под водительством военных властей вступили в войну с противником. <...> Мы воевали „за короля и родину“, они — „за кайзера и фатерлянд“; что же до Всемирного Государства, это было всем безразлично».

Уэллс начал осознавать эту истину еще в конце 1914 года: тогда дописывался «Бун» и делались первые наброски к новому роману: «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (Mr Britling Sees It Through)<sup>[60]</sup>. «Мистер Бритлинг», по словам автора, «автобиографичен только в самом общем смысле слова»; герой «представляет не столько меня, сколько мой человеческий тип и социальный слой». Тем не менее автобиографично в «Бритлинге» почти всё. Сам он — преуспевающий литератор, который «говорил обо всем, имел мнение по поводу всего; он не мог удержаться от того, чтобы не высказать свое мнение обо всем на свете, как собака не



может удержаться, чтобы не обнюхать ваши пятки». Его жена похожа на Кэтрин, среди персонажей мы обнаруживаем леди Уорвик и всех соседей Уэллсов, в сюжет включено множество эпизодов, которые случались в семье автора. Есть лишь одно существенное различие между автором и героем: сын Бритлинга старше, чем сыновья Уэллса, и он ушел на фронт, и был убит, и его потрясенный отец осознал, что война — это «убийство и больше ничего», как и говорил Бун, и даже еще хуже: это — «убийство мальчишек».

«Временами меня пугает то, как мало я знаю об этом мальчике. Я не знаю, верит ли он в Бога. Я не знаю, что ему известно о сексе и подобных сторонах жизни. Я не знаю, в чем он видит красоту. Обо всем этом я могу только догадываться — иногда он чем-то выдает себя... Пока у вас нет детей, вы не можете знать, что такое любовь. Можно не любить женщин, правда, можно. Даешь и получаешь — это сделка. Можно испытывать потрясающие волнения и настойчивые желания. Все это годится до поры до времени. Но любовь к ребенку — душераздирающая нежность...» Кажется, этот человек пытался нас уверить, что никакой любви к своим детям не испытывает и «просто уважает» их? С этих размышлений о сыне начинается переворот в душе Бритлинга: до него начинает доходить, что своими патристическими проповедями он, быть может, виновен в смерти чьих-то детей, и «внезапно вся боль мира и раскаяние за все несчастья мира обрушились на него».

Потом пришла похоронка. «Я не знаю, как обычно бывает между отцами и сыновьями, но я — я восхищался им... Я находил в нем столько прелестного... Я не уверен, что другие люди замечали это. Он был тих. Он казался неловким. Но он обладал исключительной утонченностью чувств. Он на все откликался необыкновенно чувствительно и быстро... Это не моя отцовская пристрастность... Это так и

было... Знаете, когда ему было всего несколько дней от роду, он вдруг начал издавать такие чудные звуки... Он всегда был певун, как эолова арфа... И его волосы — у него было много волос на голове, когда он родился — они были точь-в-точь как перышки на грудке у птицы, в самом низу. Я помню — помню как сейчас — как я любил гладить их. Это был шелк, шелковые пряди... Когда ему еще двух не исполнилось, он уже умел говорить — целые фразы... У него было очень чуткое ухо... ему нравились длинные слова... И теперь, — сказал он (Бритлинг. — М. Ч.) плача, — все это чудесное утонченное существо, этот ум, эта чистая жизнь, быстрая как ручей, упругая как стальная пружина, — все это уничтожено...»

Уэллс представил себе, что было бы, если бы Джип или Фрэнк... представил так же живо, как в молодости представлял нашествие марсиан (в этом сравнении нет кощунства — ведь речь идет о писателе) — и «Бритлинг» получился очень хорошо. Он сделан не по-журналистски, а «по-нормальному», как хотел Генри Джеймс: с тонко прописанными персонажами, с живым, а не газетным диалогом, с тысячей мелочей, печальных и милых. В первой части романа много рассказывается о молодом гувернере-немце — в комическом ключе: как его возмущала британская привычка гулять в любую погоду и ужинать не вовремя, как он полюбил белку, купленную для маленьких Бритлингов, но оказавшуюся неуправляемой (самец белки действительно проживал в доме Уэллсов, своим необузданным нравом наводя ужас на прислугу и котов); эти подробности выглядят какой-то «диккенсовщиной», не идущей к делу, но в «Мистере Бритлинге» каждое лыко в строку. Молодой немец уходит на фронт, хотя не чувствует ни малейшей воинственности, уходит потому, что «так надо», — и его убивают тоже. «В его мыслях не было места факту, что Генрих был врагом, что в „войне на истощение“ смерть

Генриха была расплатой и возмездием за смерть Хью. Он видел главное — что оба они были прекрасными, доброжелательными существами, и что одна и та же вещь убила их обоих... Никакими умственными усилиями он не мог заставить себя думать о них как о противниках... Еще один сын мертв — и весь мир терял своих сыновей...»

Семью Уэллсов смерть на самом деле не тронула. Но она взяла свою дань с других. Погиб молодой Бен Килинг, друг и соратник Эмбер Ривз: когда было опубликовано собрание его писем, Уэллс в предисловии к нему почти дословно повторил сказанное о Хью и Генрихе. Сын Кипплинга был убит и тело его не найдено — Кипплинг, сделавший все, чтобы его ребенок, которого не брали на войну из-за слабого зрения, все-таки попал туда, до конца своих дней так и не смог оправиться от этого удара. Сесил Честертон был трижды ранен в боях — в конце войны он умерет во французском госпитале; с войны не вернутся сын и младший брат Конан Дойла. Страдающий человек ищет оправдания своим страданиям, за которым он иногда обращается к Богу. Так поступил и Бритлинг. «Одиночество поразило его как удар. У него была семья, которая от него зависела, у него были заботы. Но у него никогда не было никого, перед кем он бы мог плакать...» Но вот он — и автор — наконец понял, что Бог есть: «Здесь был Бог, он был рядом, и сам он знал, что Бог — здесь, словно все это время двигался на ощупь, впотьмах, думая, что он — один среди скал, волчьих ям и жестокости, и вдруг рука, крепкая и сильная, прикоснулась к его руке».

Осиротевший Бритлинг разговаривает с Летти, молодой женщиной, у которой на фронте погиб возлюбленный: горе озлобило ее против Бога. «В этом мире нет ничего, кроме жестокости. Ничего, кроме болезней, смерти, несчастных случаев. Что до Бога — или никакого Бога нет, или он — идиот, идиот со

слюноотечением изо рта. Он похож на идиота, обрывающего мухам крылышки... Как вы можете верить в Бога после того, что случилось с Хью?» Летти говорит, что Бог ответствен за войну и все зло, раз позволяет таким вещам происходить; Бритлинг отвечает ей: «Это богословы ответственны за все. Они исказили Бога. У них были дурацкие идеи о том, что Бог всемогущ. Но здравый человеческий смысл говорит нам другое. Реальный Бог христиан — Христос, бедный гонимый и раненый Бог, распятый на кресте. Однажды он одержит победу. Несправедливо говорить, что он является причиной того, что сейчас происходит. <...> Бог не абсолютен; Бог не бесконечен. Он — ограниченный, смертный Бог, что борется в меру своих сил против того же, что и мы. Если бы я верил в существование всемогущего Бога, который глядит свысока на все ужасы этой войны — он может предотвратить их, но позволяет им случаться, чтобы поразвлечься, — я плюнул бы в его пустое лицо».

Верил ли Уэллс в Бога до «Мистера Бритлинга»? Да как сказать... Еще в 1902 году он писал в «Предвидениях»: «Можно либо признать, что вселенная едина и сохраняет известный порядок в силу какого-то особого, присущего ей качества, либо счесть ее случайным хаосом, не связанным никаким внутренним единством. Вся наука и большинство современных религиозных систем исходят из первой предпосылки, а признавать эту предпосылку для всякого, кто не настолько труслив, чтобы прятаться за софизмы, — и значит верить в Бога». В «Первом и последнем» он видоизменил эту мысль: «Я не называю порядок, управляющий Вселенной, Богом, но и не отрицаю, что он может носить имя Бога. Я иногда говорю о Божьей воле или Божьем замысле и верю, что этот Божий замысел, как его называют многие люди, работает во

мне и через меня и определяет все самое лучшее, честное и правильное в моей душе и мыслях».

Уэллс был настроен не против Бога, но против религии и ее материального воплощения — церкви, в которой видел средство разобщения человечества. Особенно много он критиковал догмат о Троице, но, что любопытно, Бог Бритлинга тоже существует в трех ипостасях. Во-первых, это старший друг, добрый, чуткий, не плаксивый, но мужественный, надежный, подающий пример. Во-вторых, это «Невидимый Король» — сила, что борется со злом и рано или поздно одержит победу. В-третьих, это причина всего доброго и прекрасного, что есть в нашей жизни. «Если бы не было ничего в целом мире, кроме нашей доброты друг к другу или любви, что заставляет вас плакать в этот тихий октябрьский день, и той любви, которой я люблю Хью, — если бы повсюду, кроме этого, были только грязь, жестокость, горечь, насмешка — все равно это был бы Бог любви и справедливости». И, чтобы Летти уверовала, Бог Уэллса, как полагается Богу, совершает чудо: ее любимый возвращается домой...

«Религия — первая вещь и последняя вещь, и когда человек обрел Бога и обретается Богом, он становится на путь, не имеющий ни начала, ни конца. У него могут быть дружбы, привязанности, честь. Но все эти вещи, как и сама жизнь, существуют только с Богом. Бог, что сражается через нас со слепыми силами зла, тьмою и небытием, Бог, что есть венец всего и смысл всего — единственный Король... <...> И перед пришествием истинного Короля, неизбежного Короля, Короля, который всюду, где люди объединяются, эти окровавленные обломки старого мира, эти маленькие короли и мишурные императоры, коварные политики и ловкие адвокаты, эти люди, которые грабят, обманывают, принуждают, эти вояки и угнетатели будут съеживаться и исчезать, как бумага в огне».

Придумав себе такого Бога, Бритлинг находит силы написать отцу молодого немца: «Наша боль и муки не могли быть бессмысленны — быть может, они необходимы. Я понес тяжкую утрату и я несчастен — но я надеюсь. Никогда еще завеса войны не была так черна; но никогда и не была так изношена. Через тысячи дыр в ней сияет свет».

\* \* \*

В 1915 году об Уэллсе впервые написали книгу. Это сделал Ван Вик Брукс, американский литературный критик. Книга называется «Мир Эйч Джи Уэллса»<sup>[61]</sup>: это не биография, а большое эссе. Брукс замечает, что для Уэллса с его безграничной фантазией «Вселенная подобна волшебной лавке игрушек, где с вами может случиться все что угодно», и что Уэллс «смотрит на наш мир сверху, как если бы с воздушного шара наша планета представлялась ему маленьким шариком». Брукс считает, что Уэллс «не художник, а интеллект, интерпретирующий жизнь в свете идей, а не реальности и практики», и что «в его идейных романах характеры прямолинейны, упрощены, рационалистичны». А вот самое любопытное: рационализм Уэллса Брукс определил как «японскость»... Из того, что люди будущего были названы самураями, Брукс развил теорию о том, что Уэллс видел свой идеал в японском характере и японском искусстве: отсюда его любовь к четкости, строгости, бесстрастности. На наш взгляд, тут все поставлено с ног на голову. Идейные романы Уэллса отличаются чем угодно, но только не четкостью и строгостью: напротив, они многословны, неряшливы и рыхлы. И трудно найти что-либо более чуждое Уэллсу, чем самурайская культура с поклонением императору.

Но то, что мы называем «западным» рационализмом Уэллса, западный человек Брукс воспринял как восточное, то есть чужое. Марсиане, надо думать, назвали бы рационализм Уэллса венерианским.

Работа над «Бритлингом» продолжалась весь 1915 год и первые месяцы 1916-го, а войне не видно было конца. Осенью войска Антанты понесли ужасные потери во Франции; немцы оккупировали Сербию; Штаты тянули со вступлением в войну. В начале 1916-го союзникам наконец удалось разработать общий стратегический план, знаменитая Верденская операция продолжалась до сентября, погибло полтора миллиона человек с обеих сторон. В марте 1916-го Россия провела Нарочскую операцию, которая заставила германские войска временно ослабить атаки на Верден; в мае Брусиловский прорыв очень помог Антанте — все это стало изменять прохладное отношение англичан к союзнику. Потепление нужно было закрепить, вызвать к русским симпатию. В феврале Хьюберт Райт<sup>[62]</sup>, переводчик, знаток России, организовал визит группы наших писателей в Англию.

В составе делегации были Чуковский, Алексей Толстой, Набоков-старший, Василий Немирович-Данченко (журналист и беллетрист, брат знаменитого режиссера), журналисты Александр Башмаков и Ефим Егоров. Сопровождал делегацию российский корреспондент «Таймс» Уилтон; в Лондоне к ней присоединился русский фабианец Алексей Аладьин, живший в эмиграции. Членов делегации принимали Георг V, Эдвард Грей, министр обороны лорд Китченер, командующий флотом Джон Джеллико; Ассоциация британских журналистов устроила в честь русских грандиозный банкет. Для троих — Набокова, Толстого (Уэллс назвал его «автором изящных рассказов») и Чуковского («тонкого критика») — Райт организовал

поездку в «Истон-Глиб». Все трое упоминали об этой встрече в книгах: Толстой — «В Англии, на Кавказе, по Волыни и Галиции» (1916), Набоков — «Из воюющей Англии» (1916), Чуковский — «Англия накануне победы» (1917). Уэллс — за рулем — встречал гостей на станции, дома пили чай, говорили о книгах, потом гуляли пешком, посетили деревенский трактир. Были и другие гости — зашедший по-соседски Блюменфельд с дочерьми, Лалла Вандервельде — дочь композитора Эдварда Элгара и жена лидера бельгийских социалистов Эмиля Вандервельде. Устроили игру в мяч — как обычно, с правилами, выдумываемыми на ходу, — потом ужинали и музицировали. Толстой остался недоволен скудостью угощения, Набокову и Чуковскому (они оба были худые) еды хватило. Со всеми троими Эйч Джи еще будет встречаться при разных обстоятельствах. И там тоже будет много разговоров о еде...

Воспользовавшись помощью России, союзники летом начали наступление, венцом которого стала битва на реке Сомме — в этом сражении были впервые использованы танки. С танками в жизни Уэллса связана любопытная история. В 1903 году в «Стрэнде» был опубликован рассказ «Земноходные броненосцы», в котором Эйч Джи описал, как бронированная машина, поставленная на гусеничный ход, становится оружием. В сентябре 1916-го, когда началась битва на Сомме, английские газеты стали цитировать «Броненосцев» как гениальный образец провидчества. Черчилль хорошо помнил этот рассказ. Он прислал Уэллсу письмо с поздравлениями (такое же письмо Эйч Джи получил от Мастермена); когда танки стали выходить с завода в Бирмингеме, Уэллс был приглашен их осмотреть. «Они были моими внуками, — писал он, — и я чувствовал себя немного королем Лиром. Все же хочу сразу оговориться, что я, конечно, не был их главным создателем».



В 1932 году отставной генерал Эрнст Суинтон опубликовал книгу, в которой описывал, как он изобрел танк. Он упомянул, что читал «Земноходных броненосцев», назвал рассказ «изумительным предвидением» и признался, что тогда Уэллсова машина казалась ему чистейшей фантазией. Уэллсу эта книга попала только в 1939-м, и он, позабыв, что «конечно, не был их главным создателем», написал очень сердитую статью, где говорилось, что танк изобрел он. Затем, 15 февраля 1940 года, Суинтон выступал в программе «Слушатель» на радио Би-би-си и снова рассказывал, как изобрел танк. Уэллс пришел в негодование и отправил в адрес «Слушателя» письмо, в котором утверждал, что: 1) танк изобрел он, а не Суинтон; 2) Суинтон даже не понял описанную им идею. Редакция Би-би-си письмо Уэллса озвучила. Тогда Суинтон написал «Слушателю» негодующее письмо, требуя от Уэллса извинений. Тот извинений не принес. Тогда Суинтон предъявил в суд иск о клевете — Уэллс и Би-би-си выступали соотвечниками. Он требовал, чтобы Уэллс выплатил ему 400 фунтов, а Би-би-си — 100<sup>[63]</sup>. В защиту Уэллса выступил Черчилль — но клевета, возведенная на Суинтона, была слишком явной.

В мае 1941-го Уэллс и Би-би-си признали свою вину. Уэллс платить 400 фунтов не желал, и редакция Би-би-си сообщила Суинтону, что они оплатят ему возмещение совместно. (Так и не известно, заплатил ли Эйч Джи хоть что-нибудь.) Было опубликовано официальное письмо от Би-би-си с извинениями. В своем последнем письме адвокату Суинтон писал, что не удовлетворен, ибо основную тяжесть понесла редакция, которая была ни в чем не виновата, а «клеветник Уэллс» остался безнаказанным. Но продолжать тяжбу Суинтон не стал. Уэллс, разумеется, остался при своем мнении. «Открытия и выводы, которые доставили бы славу

человеку менее умному, чем он, казались пустяками, когда их делал он...» Интересно, что даже старавшийся быть объективным Смит полагает, что Уэллсу действительно принадлежит громадная роль в изобретении танка. Так ли это? Попробуем разобраться.

Три главные составляющие идеи танка — это броня, двигатель внутреннего сгорания и гусеничные треки. Первая (еще железная) начала применяться в Англии в 1850-е годы для обшивки кораблей. В 1892 году Крупп получил броню из легированной стали. А во время Англо-бурской войны англичанин Темплер предложил бронировать повозки, предназначавшиеся для транспортировки английских частей. Двигатель внутреннего сгорания изобрел еще в 1860 году француз Ленуар, а усовершенствовал в 1876-м немец Отто. Гусеницы изобретались несколько раз: их запатентовал англичанин Эджворт еще в 1770-м. Конструкцию гусениц, наиболее близкую к современной, разработали в конце XIX века в британской компании «Хорнсби», которая продала патент американцу Бенджамину Холту, чья фирма в 1904-м начала производство гусеничных тракторов. Другие американские фирмы тоже производили гусеничные тракторы разных модификаций. Так что к началу Первой мировой все три компонента были реальностью — осталось их только соединить. Сделал ли это Уэллс?

Вот как описана в его рассказе боевая машина: «Это покрытая броней (из какого материала, не уточняется. — М.Ч.) машина высотой в десять футов, длиной в восемьдесят, формой похожая на крейсер». По бокам у нее множество иллюминаторов, через которые стрелки стреляют из полуавтоматических винтовок. Внутри есть капитанская рубка; капитан глядит в телескоп и командует стрелкам, когда и куда стрелять. Машина ползает по земле, поднимаясь на пригорки высотой в один фут, может становиться «на дыбы» и

боком взбираться на самый крутой склон. Герою рассказа сперва показалось, что передвигается машина с помощью «толстых и приземистых опор, напоминающих ноги слона или ножки гусеницы», но потом он узнал, что машина ездит «на восьми парах громадных колес», причем «каждое колесо укреплено на оси и вращается на шарнире относительно главной оси». Эту систему колес, как признавал сам Уэллс, он позаимствовал у американского производителя тракторов Диплока. Его собственное новаторство заключалось в том, что он сделал из диплоковского трактора нечто похожее на огромный корабль, который описал лишь в самом общем виде.

У танка нет одного, всеми признанного, изобретателя. Русские считают, что танк изобрели наши конструкторы Менделеев и Пороховщиков, австралийцы пишут, что это сделал их соотечественник Моле, немцы в лице изобретателя Гебеля также претендуют на первенство. Ограничимся Великобританией: в декабре 1914 года Диплок, чей трактор вдохновил Уэллса, предложил Черчиллю, в ту пору первому лорду Адмиралтейства, чертеж гусеничной конной повозки. Черчилль к тому времени уже писал премьер-министру Асквиту о необходимости постройки машин, способных преодолевать окопы, но недодумался до такой повозки. Диплок по его просьбе разработал проект сухопутного корабля. Этот агрегат без башни по сути представлял собой БТР на 50 человек. Фирма Диплока производила только коротенькие гусеницы — на двух парах таких гусениц, крепившихся к общей раме с двигателями, должен был передвигаться его корабль. Штуковина весьма напоминает ту, которую описал Уэллс в 1903-м, так что если он и мог кому-то предъявлять претензии, то не Суинтону, а прежде всего своему же вдохновителю Диплоку.

Диплоковский военный корабль был отклонен. Но параллельно с ним развивался другой проект. В октябре 1914-го Суинтон, тогда еще полковник, пришел к мысли о необходимости бронированной машины, которая была бы в состоянии прокладывать дорогу через проволочные заграждения, переходить через окопы и раздавливать пулеметные гнезда. Он послал в военное министерство проект «гусеничных истребителей-пулеметов», которые должны были быть тяжело бронированы и вооружены пушками<sup>[64]</sup>. Что касается гусениц, то Суинтон предложил взять за основу не маленькие диплоковские, а длинные гусеницы Холта. Черчилль взялся курировать проект, в котором Суинтон стал координатором. Был создан Комитет сухопутных кораблей под председательством д'Эйнкерта, начальника отдела кораблестроения Адмиралтейства, в состав которого вошел Триттон, исполнительный директор фирмы «Уильям Фостер и сыновья» — эта фирма и построила первые танки. Благодаря колоссальным усилиям Черчилля — он без брони, просто лбом пробивал бюрократическую стену, — уже в 1915-м опытный образец танка был сделан англичанами. Танки были очень неповоротливы и неуклюжи; тем не менее главнокомандующий Хейг оценил их как перспективный вид вооружения, и в феврале 1916-го началось их серийное производство.

Уэллсу танки не понравились. Они показались ему чем-то вроде «гигантских слизней, ползающих и приплюснутых, тычущихся мордами», — гадкие утята по сравнению с тем огромным лебедем-кораблем, который представлялся ему (и Диплоку). Потому он и писал четверть века спустя, что Суинтон «не понял его идею». Но ведь в таком случае получается, что Уэллс придумал иную машину, а вовсе не танк... Однако это не самое важное. Написать «вот хорошо бы была какая-

нибудь эдакая машина» и тут же забыть о ней — это одно дело, а пройти тяжелый путь борьбы с бюрократами, обивать пороги, полтора года бегать по инстанциям — совсем другое. Лучше всего об этом сказал Черчилль: «Итак, все три необходимых компонента для создания танка оказались в нашем распоряжении. Но оставались трудности иного рода: а) кто-то должен решиться и взять на себя ответственность за начало и поддержку работ по воплощению танка в металле; б) надо верить, что основные принципы верны и пройти весь путь до материализации идеи по терниям сложнейших технических задач». Ни на то, ни на другое Эйч Джи был неспособен.

\* \* \*

Когда Уэллс вышел из Фабианского общества, ему казалось, что с политикой покончено; оказалось, что это не так. У власти с 1908 года находилось коалиционное правительство Асквита; оно было половинчатым и непоследовательным. Война требовала к власти других людей — энергичных, с радикальными идеями. Оппозицию возглавлял Ллойд Джордж, в мае 1915-го назначенный главой министерства вооружений; на этом посту ему удалось сразу провести закон о всеобщей воинской повинности. В июне 1916-го погиб военный министр Китченер, и Ллойд Джордж занял его место. Но он хотел большего. Одним из его приближенных был Нортклифф, друг Уэллса; Ллойд Джордж и Нортклифф много говорили о необходимости перемен в обществе, Уэллс поверил, будто Нортклифф — такой же социалист, как и он сам. Весной 1916-го Нортклифф обратился к Уэллсу с просьбой написать серию статей о том, как он видит социальное устройство Англии после

войны. Статьи должны были печататься под псевдонимом, чтобы никто из знавших о близости Уэллса к Нортклиффу не заподозрил автора в партийной пристрастности.

Уэллс согласился с радостью — «мы должны выработать и реализовать всеобъемлющие, эффективные, экономичные и расово приемлемые схемы образования, торговли, выборов, управления», то есть «всего», — и написал шесть статей, которые были опубликованы с 17 июля по 4 августа за подписью «D.P.» и затем вышли в виде сборника «Элементы реконструкции» (The Elements of Reconstruction). После войны, говорилось в них, должна образоваться новая Британская империя, включающая в себя все доминионы, с единой конституцией и единым парламентом. Имперское правительство будет контролировать вопросы вооружений, транспорта, торговли и образования, которое должно наконец-то быть очищено от старого хлама и поставлено на современную научную основу. Для Уэллса такая империя была, разумеется, только первым шагом на пути к Всемирному Государству; он очень огорчится, когда поймет, что Нортклиффу и Ллойд Джорджу эта идея была абсолютно чужда.

В конце лета Нортклифф рекомендовал Уэллсу побывать на фронте, чтобы написать патристическую книгу. Мастермен предлагал ему сделать это год назад — тогда он отказался: «Я не переносу поездок. Я очень плохо говорю по-французски, я пацифист и ненавижу военную службу. И я не хотел писать что-либо под гнетом инструкций». Не стоит видеть в этом отказе проявление трусости: все литераторы, совершившие подобный вояж, отмечали, что появляться туристами там, где люди воюют, — неловко, стыдно. Тем не менее ездили — Шоу, Беннет, Джозеф Рейнак, Патрик Макгилл

и многие другие. Был на фронте и сам Нортклифф. Эйч Джи не посмел отказаться.

До чего же беспомощен человек в руках биографов; у всех, кто относился к своему подследственному с неприязнью, читаешь, что Уэллс «не заметил на фронте ничего героического», что ему «не нравилось отсутствие комфорта». Приводятся только те цитаты, которые это подтверждают: фраза из его мемуаров «Время, потраченное на эту бесцельную экскурсию, я мог бы с успехом использовать дома, делая что-нибудь важное для военных нужд», письма к Кэтрин, в которых он называл свою экспедицию «идиотской» и жаловался на плохие бытовые условия, при этом обращаясь к жене «Дорогая мамочка» и подписываясь «твой бедный старый папочка». Сразу перед глазами жалкий человечек — всех призывал бороться за лучшую жизнь, а едва оказался на передовой, так и захныкал. Это неверно. Уэллс пробыл на фронте не меньше других — три недели, оказался очень неплохим военным корреспондентом и написал толковые отчеты «Война в Италии» и «Западный фронт», которые со значительными цензурными купюрами публиковались в газетах и потом составили книгу «Война и будущее» (War and the Future)<sup>[65]</sup>. С другой стороны, некорректно утверждение Смита, что Уэллс «единственный из всех британских писателей посетил итальянский фронт» и что это было проявлением особенной ответственности с его стороны. На фронт Уэллс поехал вовсе не по собственной инициативе. Италия до войны была союзником Германии, в Англии к итальянцам относились плохо, и по просьбе итальянского правительства британские литераторы должны были изменить отношение англичан к новому союзнику. Кроме Уэллса на итальянском фронте были Беллок, Сидней Лоу, Нортклифф, Конан Дойл. Не был Эйч Джи

ни трусом, ни смельчаком, а был самым обыкновенным корреспондентом.

По договоренности с военным министерством он отправился на фронт в августе 1916 года. Маршрут был такой: Париж — Северная Италия (Удине, Трентино) — Суассон, французский фронт — британский фронт близ Арраса. На фронте он вел себя обычно. Никакой доблести не проявил, а просто описал то, что видел — местами критично, а местами даже и восторженно: «Одна из важных особенностей этой войны — она не произвела на свет героев и великих вождей вроде Наполеона или Цезаря. Это — драма без героя... <...> Действующее лицо этой войны — обычный маленький человек, коим несть числа. В молодости я был циником; теперь, когда мне за пятьдесят, я признаю, что эта война привела к тому, что я влюбился в людей».

Одного героя, впрочем, Уэллс обнаружил — это маршал Жоффри, французский главнокомандующий, «настоящий лидер без имперских амбиций», который «говорил о войне как инженер». Вообще о французах Уэллс, как и все британские корреспонденты, был самого высокого мнения и во всем ставил их в пример англичанам: воюют основательно, умеют окапываться, вести скучнейшую позиционную войну, на что англичане неспособны. Кроме того, французы воевали, защищая свою землю, так что к ним не могло быть претензий морального толка. Понравился Уэллсу и король Италии, с которым его познакомили: хотя он и не задумывался об изменении миропорядка, но был «храбр и справедлив». И даже принца Уэльского, посещавшего фронт, Эйч Джи похвалил за достойное поведение.

На итальянском фронте осматривали артиллерийские батареи — Уэллс, как любой мужчина или мальчишка, собрал сувениры: патроны, гильзы, предохранители от снарядов. Ему поручалось вызвать симпатию к итальянцам — он сделал это, назвав их



самым трудолюбивым и выносливым народом из всех принимавших участие в войне, а также «самым великодушным и дружелюбным». В современной войне тыл — это тоже фронт; участок такого фронта Уэллс видел во Франции, когда ему показывали завод «Ситроен», перешедший на выпуск артиллерийских снарядов. Именно здесь он впервые увидел цеха, в которых работали одни женщины, хладнокровно обращающиеся со взрывчатыми веществами; его поразили «абсолютная точность» и «расчетливая эффективность» их движений и их спокойный вид.

Но больше всего воображение Уэллса захватили, конечно, летчики. Большинство из них летали без парашютов (тогдашние парашюты в тогдашних кабинах мешали управлению), то есть фактически были смертниками. В этих людях он увидел романтических героев; ему уже казалось, что авиаторы могут стать чем-то вроде нравственной элиты общества, провозвестниками новой, крылатой расы. (После войны он примет участие в работе Комитета по гражданской авиации, но, обнаружив, что Комитет интересуется прибылями от авиастроения, а не созданием Всемирного Государства, оттуда уйдет.) Авиаторы действительно были своего рода элитной кастой, и у них встречались проявления джентльменства: так, если одной воюющей стороне становилось известно об участии вражеского летчика, то, пролетая над аэродромом противника, сбрасывали записку с сообщением. Уэллса это и восхищало, и раздражало: противник, по его мнению, не заслуживал такого обращения. Поражает наивностью его замечание о немецких летчиках: немцы-де настолько приземленный народ, что хороших летчиков среди них быть не может. Авиатору нужен полет души, которого нет у немцев. Поэтому немецкие летчики — неуклюжие, летать не умеют. То обстоятельство, что Германия для бомбежек

поначалу использовала не самолеты, а цеппелины, Уэллс также расценил как факт врожденной неспособности немцев к летанию: «Их цеппелины, похожие на свиней, — проявление идиотизма». Рожденный ползать, как известно, летать не может, так что бояться немецкой авиации нечего. Его бы слова да Мессершмитту в уши....

Танкам была посвящена отдельная статья (а потом — отдельная глава в «Войне и будущем»): Уэллс сокрушался о том, что они такие неуклюжие, но еще больше — о том, что их применение ограничено: «После долгих проволочек их испробовали в деле так нерешительно, оценили так неадекватно, что колоссальные возможности их внезапного использования, которые могли бы предрешить окончание войны, были совершенно упущены». Уэллсу всегда хотелось блестящих результатов и сразу, но в данном случае он был прав, ибо то же самое писал и Черчилль: «К концу 1917 года многие высокие чины британской армии склонились считать танк бесполезным новшеством... Счастье, что и германцы сочли неудачи, проистекавшие из неправильного применения машины, проявлением ее органической бесплодности и в очередной раз упустили возможность поразить нас нашим же оружием». Тем не менее танки были довольно успешно использованы в битве на Сомме и год спустя, в ноябре 1917-го, в битве при Камбре, где их впервые применили массированно.

Уэллс называл танки «монстрами, что смогут содрать кожу с германской земли». Потом он заметит, что «некоторые пассажи из „Войны и будущего“ были весьма воинственны и кровожадны, хотя их автор и называл себя пацифистом» — вероятно, эта фраза относится к числу таких пассажиров. Однако главное предназначение танков, по его мнению, заключалось не в том, что они могут «содрать кожу» с противника; он

считал, что это — вооружение overkill, сам факт наличия которого удержит желающих повоевать. Об атомной бомбе мы тоже так говорили и, похоже, будем говорить каждый раз, как изобретем новое средство убийства. «Самое главное в книге, — писал Уэллс о „Войне и будущем“ много лет спустя, — настойчивая мысль, что прогресс в механизации военного дела не позволит вести войну странам, у которых нет высокоразвитой промышленности и соответствующих природных ресурсов. Вести современную войну могут пять-шесть держав, и соглашение между ними навсегда покончит с войной». Ему не приходило в голову, что люди XXI века, не будучи в состоянии вести современную войну, займутся несовременной, взрывая вокзалы, школы и самолеты с пассажирами.

От описания войны техники Уэллс переходит к тому, что он назвал «войной идей». Его интересовало, что люди думают о войне — и он был разочарован. Военных «интересовали вопросы продвижения по службе, будущее армейских офицеров, но сама война казалась им чем-то несомненным и неизбежным, словно это была планета, на которой они жили». Мирным гражданам война казалась дурной, но тоже неизбежной вещью — бывает мир, а бывает война, как бывает день и ночь. Политики «делали голословные заявления о том, что войн больше не будет — и при этом не пытались задуматься о том, что же конкретно сделать, чтобы их не было». На ту же тему — «Что люди думают о войне» — Уэллс опубликует серию статей в «Дейли ньюс» с декабря 1916-го по август 1917-го — и вновь обнаружит, что люди думают только о частностях (как правильно рыть траншеи и т. п.), не желая видеть за ними общего и не чувствуя ответственности за войну. Больше всего его возмущало то, что люди считали войну делом естественным, как плохую погоду.

Были те, кому война не казалась естественной, — пацифисты. Эйч Джи и сам объявил себя пацифистом — наверное, написал, какие это хорошие люди? Ничего подобного — значительная часть «Войны и будущего» посвящена критике пацифистов. В Англии с осени 1914-го действовала пацифистская организация «Противодействие призыву на военную службу», одним из активистов которой стал Бертран Рассел — он был заключен в тюрьму за памфлет, осуждающий преследование тех, кто отказывался служить в армии. Уэллс эту организацию возненавидел: «Я видел в траншеях раненых, смелых и жизнерадостных людей. Я могу оценить, что эти люди сделали и что им пришлось вынести. И поэтому я не могу отнестись к добросовестно возражающим (то есть пацифистам по религиозным или иным убеждениям. — М. Ч.) иначе как с презрением. В мой почтовый ящик кидают брошюры, в которых описаны страдания этих субъектов, представляющих себя мучениками за идею. Некто на призывном пункте был обруган капралом, потом грубый человек приказал ему раздеться и вымыться, а ему мыло попало в глаза, потом ему предоставили плохую кровать с мокрыми простынями... Тут я вспоминаю о жизнерадостных людях, которых видел в окопах... Мы предложили освободить от военной службы каждого, кто является искренним пацифистом. Тогда пацифисты и германофилы начали кампанию по регистрации возражающих против войны. Конечно, каждый уклонист, каждый трус и бездельник решил быть возражающим... Тогда мы организовали трибуналы, чтобы рассматривать каждый случай и решать, является ли человек добросовестно возражающим или просто не хочет идти на войну. Тогда пацифисты и германофилы стали выпускать брошюры и открыли курсы, на которых людей учили лгать трибуналам».

Напомним, это слова человека, который уже написал «Мистера Бритлинга». Если бы после гибели брата младший сын Бритлинга попытался уклониться от службы — настаивал бы Бритлинг на том, чтобы сына предали трибуналу? Что бы сказал сам Эйч Джи, если бы его сыновья были постарше? Он так замечательно умел представлять «что было бы, если бы» — но, похоже, умел по желанию включать и выключать это умение. А самое любопытное в этом злобном пассаже то, что бунтарь Уэллс говорит о британском правительстве «мы»...

Он разделил пацифистов на три группы. Первая — квакеры, вегетарианцы, — «ничтожная группка, не заслуживающая внимания». Вторая — «безответственные неудачники, социалисты по названию, но анархисты по духу, озлобившиеся против общества». Так Уэллс охарактеризовал лейбористов, чей орган «Лейбор лидер» призывал к прекращению военных действий: «Они не хотят делать ничего. Прекратить войну — даже ценой победы Германии! Если бы этим псевдосоциалистам передать власть в Западной Европе завтра — они разбежались бы в ужасе. <...> Они — воплощенное недовольство и ненависть, им просто нравится быть оппозиционерами». Третья группа — «благородные либералы», то есть такие люди, как Рассел, Вайолет Пейджет и журналист-пацифист Эдмунд Морель. Их Уэллс описал с особенным презрением: «Такой тип с рождения ничего не делает. Обычно он даже не женится и не имеет детей. Он не торгует, ничего не производит (упомянутые люди производили то же самое, что и Уэллс, — книги. — М.Ч.), а только размышляет о вульгарности и грубости мира».

Как же это понимать — «я пацифист», но «пацифисты плохие»? Оказывается, есть четвертая разновидность пацифизма. «Я считаю себя абсолютным пацифистом. Я — против людей, берущихся за оружие.

Я ненавижу войну. Это разрушение вместо созидания, грязная, кровавая глупость. Обязанность каждого человека сделать все, чтобы она закончилась. Но для этого нужно победить Германию. Я ненавижу Германию, которая подтолкнула человечество к войне, как ненавидел бы опасную заразную болезнь». (Уэллс так ненавидел болезни, словно это были наделенные разумной волей существа.) Истинный пацифист должен иметь кулаки: «Жизнь — это борьба, и единственный путь к всеобщему миру лежит через подавление и уничтожение любой самой незначительной организации, связанной с применением силы».

В «Опыте» Уэллс покался в своем отношении к пацифистам, извинился за нападки на них (а ему, упрямому, было очень трудно извиняться!), но в его словах остался вопрос: что же все-таки делать, когда на вас идут с оружием? Позволить себя убить? В пацифистах Уэллса отталкивало то, что он назвал «бесплодностью чистого отрицания». Легко болтать о мире. А делать-то что? Был, правда, один англичанин, пацифист, пятидесяти пяти лет от роду, слабого здоровья, который призывал к миру, протестовал против патриотического угара и защищал немецкую культуру, а сам завербовался во французскую армию — шофером санитарной машины. Вывозил раненых из-под огня. Звали его Джером Клапка Джером. Одни пишут об аристократизме духа; другие обладают им.

\* \* \*

В Лондон Уэллс вернулся в начале сентября — к публикации «Бритлинга» издательством «Кассел»; еще до рождества роман выдержал 13 переизданий. Успех книги был громадный, необыкновенный. Восторженные письма прислали Черчилль, Голсуорси, даже Конан

Дойл, который Уэллса терпеть не мог; Хэмфри Уорд, насмешливо замечавшая, что Уэллс пишет, «словно обращаясь к скопищу идиотов, которых он один может наставить и научить», заявила, что «во всей современной литературе нет ничего более прекрасного, чем некоторые сцены из „Бритлинга“». Книгу перевели на французский, немецкий<sup>[66]</sup> и русский языки; ею восхищался Роллан. Горький опубликовал русский перевод в основанном им журнале «Летопись» — правда, цензура вырезала фрагменты, где содержались пророчества касательно будущих революций.

«Несомненно, это лучшая, наиболее смелая, правдивая и гуманная книга, написанная в Европе во время этой проклятой войны! — писал Горький Уэллсу в конце 1916 года. — Я уверен, что впоследствии, когда мы станем снова более человечными, Англия будет гордиться тем, что первый голос протеста, да еще такого энергичного протеста против жестокостей войны, раздался в Англии, и все честные и интеллигентные люди будут с благодарностью произносить Ваше имя. Вы — большой и прекрасный человек, Уэллс, и я так счастлив, что видел Вас, что могу вспоминать Ваше лицо, Ваши великолепные глаза». За комплиментами следовала просьба «написать книгу для детей об Эдисоне, об его жизни и трудах». Это была одна из идей Горького — издавать полезные книги для детей. Уэллс на словах ратовал за то же самое, но книгу об Эдисоне написать поленился.

«Мистера Бритлинга» прочел один из его персонажей — Карл Бютов. На должность гувернера он не вернулся, но сохранил добрые отношения с Уэллсом на всю жизнь. До 1935 года они вели регулярную переписку. Когда в послевоенной Германии началась инфляция, Уэллс послал Бютову значительную сумму; педантичный немец составил план погашения долга

(хотя Эйч Джи эти деньги долгом не считал) и возвращал в течение многих лет. Из Америки писал Уолтер Липпман — благодарил за «потрясающую» книгу и обещал, что США вступят в войну после президентских выборов осени 1916-го (это произойдет на полгода позднее). Огромное количество писем присылали так называемые «простые читатели», особенно те, кто потерял сыновей на войне.

Одобрительную рецензию написала даже Ребекка Уэст. Сама она еще в начале года не вынесла жизни в Олдингтоне и перебралась поближе к цивилизации — в городок Мейденхед на Темзе, час езды от Паддингтонского вокзала. Она не желала больше снимать дом и поселилась в отеле с Энтони и няней, жила в комфорте, но Уэллсу эта затея не нравилась — в отель он приходить не хотел. Летом Ребекка снова переехала — на островок Манки-Айленд, в миле от Мейденхеда, — и было то же самое: она жила с сыном в гостинице, Эйч Джи приезжать к ним не мог. Осенью он наконец-то снял квартиру в Лондоне, на Клавертон-стрит — там они и встречались. Через несколько месяцев, в марте 1917-го, состоится переезд Ребекки в очередной маленький городок — Саузенд-он-Си в графстве Эссекс; будет снят благоустроенный коттедж, и Ребекка с Энтони проживут там больше двух лет.

«Мистер Бритлинг» вызвал не только похвалы. Когда человек объявляет себя пророком, призванным объявить миру о пришествии Бога, это не может остаться незамеченным. Журналист Рэндольф Берн обсуждал богостроительство Уэллса в журнале «Дайел»: «Поначалу при чтении „Бритлинга“ мы находим ту пленительную ясность ума, которому всегда удавалось обрести устойчивость и передать эмоциональные сложности, не разрушая их. Но привычное волшебство Уэллса сохраняется недолго — по нему проходится грубая рука. Слишком быстрый



скачок к религии, открытие хлябей небесных письмом родителей убитого Генриха, падение героя в бездну эмоций, из которой он не может вырваться, — все это вызывает у нас вздох разочарования». Недоумение по поводу «обращения» Уэллса в печати выразили богословы Леонард Элиот Биннс и Джозеф Ллойд Томас, а критик Уильям Арчер написал о богостроительстве Бритлинга целую книгу — «Бог и мистер Уэллс». «Уэллс претендует на то, чтобы в качестве апостола новой веры занять место святого Павла и Магомета».

Наибольшее недоумение у свободомыслящего Арчера, как и у теологов, вызвало утверждение Уэллса о слабости и смертности Бога. Арчер полагает, что уэллсовский Бог — «порождение фантазии, проекция ума, которая творит Бога по своему образу и подобию», однако Уэллс пытается доказать, что его Бог — это «нечто фактическое и объективное», «не фигура речи, а индивидуум, реальное лицо, вроде Кайзера или президента Вильсона». «Что этот Бог делает? Чем он занимается? К чему он стремится? Ответ — в материальном отношении он не делает ничего. Он трудится исключительно в уме человека и посредством его ума, но даже через посредство этого ума он никак не влияет на внешние события. Где он был в июле 1914-го? И чем вообще занимался с июля 1870-го? По-видимому, он размышлял, или спал, или находился в отъезде». Слова Арчера остроумны — вот только те же самые замечания он мог сделать в адрес любого Бога, а не только того, которого придумал Уэллс.

Арчер требовал, чтоб Уэллс привел доказательства бытия своего Бога: «Уэллс не предлагает ни одного свидетельства тому, что его „Невидимый Король“ существует, за исключением того, что гипотеза о его существовании очень удобна. Гордая душа м-ра Уэллса может предпочесть Бога, который не представляет никаких доказательств, не совершает чудес. Я же, как

более скромный человек, с удовольствием принял бы из рук Бога что-нибудь полезное, пусть даже чудеса; и я не могу расценить как достоинство Бога то, что он не предпринимает ни малейшей попытки сделать в мире что-нибудь хорошее или хотя бы продемонстрировать какие-нибудь доказательства своего существования». А вот заключительная претензия Арчера: Бог Уэллса малоутешительный, ибо его создатель отрицает бессмертие и отделяется фразами о том, что Бог всегда с вами, даже когда вы умираете в муках. Зачем нужен такой бесполезный Бог? Вроде бы незачем — однако читатели «Бритлинга», чьи родные погибли, благодарили Уэллса. Они приняли его Бога, а значит, он принес какую-то пользу Уэллсу, помимо проповедей, хотелось послужить своей стране чем-нибудь практическим. После возвращения с фронта он сделал техническое изобретение: он видел, как солдаты в горах тащат на себе боеприпасы и продукты, и придумал подвесную канатную дорогу на электрической тяге, мобильную, состоящую из складных опор, между которыми натягивалась проволока, а к проволоке подвешивались ящики с грузом. Он поделился своей идеей с Черчиллем — тот одобрил и выделил куратора из военного министерства. В ход пошла бюрократия, проект был в конце концов реализован, но почти не использовался. Уэллса это сильно угнетало, и он пуще прежнего возненавидел военных: «Короны, звезды, ленты, эполеты, ремни, какие-то очень важные перевязи украшали их. Война была делом всей их жизни, для нее они и наряжались. Они уселись с таким видом, словно долго думали о том, как лучше сесть. Они вещали, а не проговаривали, как мы, штатские, свои довольно смутные мысли. Если слушать только звук их голосов, можно было подумать, что они простые, трезво мыслящие люди, говорящие

здорово и решительно, но изрекали они, по моим понятиям, невероятные глупости».

Военные обидели Уэллса еще и тем, что подвергли цензуре его фронтовые очерки, а также «Войну и будущее»: «Получалось так, что главное — это спасти авторитет военных властей, а не страну; ведь если таким, как я, нельзя бранить эти власти, рассказывать о них правду, то кто может это сделать?» Уэллс был в своем раздражении не одинок, Конан Дойл со своими многочисленными изобретениями прошел через то же самое, и даже всемогущий Черчилль в мемуарах с горечью писал о непрошибаемых военных бюрократах.

5 декабря Асквит ушел в отставку. Его место занял Ллойд Джордж, ставший премьер-министром нового коалиционного правительства; образованный им военный комитет добился ускорения принятия оперативных решений. Нельзя сказать, что все пошло как по маслу, но сила генеральской бюрократии уменьшилась. В войне наступил перелом: инициатива перешла к Антанте, а Германия была вынуждена обороняться. Начинается 1917 год: скоро Эйч Джи увидит все, о чем мечтал, — и планирование, и социализм.

## **Глава вторая ЕРЕТИК**

Если такой человек, как Уэллс, узрел Бога, он не станет молчать об этом; в марте 1917 года он опубликовал трактат «Бог — невидимый король» (God the Invisible King), а в сентябре — роман «Душа епископа» (The Soul of a Bishop). Оба этих произведения разобраны в специальных исследованиях, биографы же предпочитают проскакивать их на всех парах. Но поскольку нашему читателю специальные исследования недоступны, попытаемся разложить трактат «Бог —

невидимый король» по полочкам, как в учебниках, без цитат — одна голая суть. Итак:

1. Идея триединого Бога ошибочна: Бог един.

2. Бог живет в наших сердцах, но он — не метафора, а реально существующий, хотя и бестелесный, индивидуум. То, что атеисты ошибочно называют нашей «доброй волей», или «мужеством», или «совестью», — это на самом деле Бог.

3. Бог не вечен: он когда-то откуда-то взялся и, надо полагать (хотя Уэллс об этом умалчивает), когда-нибудь куда-нибудь денется.

4. Цель Бога — установить на Земле свое царство, оно же Всемирное Государство.

5. Своей цели Бог добивается, вселяя в нас мужество и вдохновляя на свершения.

6. Бог не умеет и не хочет творить чудеса. Бог не обязан предоставлять нам доказательства своего существования. Мы сами должны дойти до понимания и веры.

7. Бог не обязан нам помогать. Это мы обязаны помогать ему.

8. Бог не устанавливает ограничений, законов и правил, касающихся нашей личной морали, — это наше дело.

9. Бог не дает нам личного бессмертия. Но он умирает вместе с каждым из нас, а посему все мы, как частички человечества, продолжаем жить в Боге.

10. Каждый человек, догадавшийся о существовании Бога, обязан пересмотреть свою жизнь и стать апостолом Бога.

Остроумец Честертон сказал, что невидимый Бог Уэллса — то же самое, что человек-невидимка, и назвал коллегу «язычником, проповедующим многобожие». Маккензи пишут, что «никогда еще Уэллс не воспевал авторитаризм в столь законченной форме» и что его Бог — это такой же супермен, как артиллерист из «Войны

миров», который призывал очищать человеческую расу. Это утверждение — верх тенденциозности. Во-первых, даже самый простодушный читатель «Войны миров» понимает, что упомянутый артиллерист — отвратительный безумец, вовсе не выражающий идей автора; во-вторых. Бог Уэллса — не супермен, а отрицание суперменства: существо, которое нуждается в нашем сочувствии и лишь с нашей помощью может обрести силу.

Переходим к «Душе епископа»: это не трактат, а занимательный роман. Епископ англиканской церкви Кроуп дал обет, что бросит пить и курить; он испытывает страшные муки. Сам Уэллс курил сигары, многожды воспевал прелести курения; пытался ли он бросать, неизвестно, но поскольку он всегда все писал «с себя», то, наверное, да. Однажды епископ не выдержал и украл из буфета пачку сигарет, а его застукали — было очень стыдно. Из-за этих переживаний у него начинаются приступы бессонницы, во время которых он задумывается о смысле жизни. Рабочие в его приходе бастуют, предприниматели требуют урезонить рабочих; от тех и других его призывы быть братьями и возлюбить своего ближнего отскакивают как от стенки. «Время от времени ему казалось, что во всем он видит только проявления неизлечимой порочности и агрессивности человеческой натуры». Его дочь Нора<sup>[67]</sup> хочет уйти из дома, заявляет, что не верит в Бога, — Кроуп не знает, что ей сказать. Начинается война; Кроуп читает в газете статью некоего автора (подозреваем, что Уэллса), задающего вопрос, где же были священники перед войной, почему не противодействовали ей; Кроупу эта статья вонзается как нож в сердце.

Он жалуется врачу на бессонницу и плохие мысли; врач, странный субъект, заявляет, что любые мысли

полезны, и советует епископу не отдых, а таинственный наркотик, еще сильнее стимулирующий сознание. Кроуп принимает наркотик, и тут ему является ангел и пересказывает содержание трактата «Бог — невидимый король». Кроуп счастлив: вместо бесполезной Троицы он обрел простого и ясного Бога. (Между тем его жена и коллеги замечают, что с ним не все ладно.) Проходит месяц, а Кроуп так ничего и не изменил в своей жизни; он вновь принимает наркотик, видит ангела и требует от него доказательств бытия Божьего. Ангел демонстрирует ему волшебный шар, внутри которого оживают сценки: люди по всему земному шару задумываются о том, что пора бы покончить с национальной рознью и всем жить дружно. Кроуп уверовал: грядет эра правления Бога, а сам он должен стать пророком. Жена называет его сумасшедшим и разбивает склянку с наркотиком, но он не отступает, а произносит в церкви проповедь, в которой пересказывает прихожанам все, о чем ему поведал ангел. После этой эскапады Кроупа объявляют безумцем и отправляют в отставку. Кроуп глубоко несчастен: доктор, что давал ему чудесное зелье, погиб, а другой отказывается прописывать наркотики. Жена на него обижена. Богачка леди Сандербенд, которая желает помочь ему в служении новому Богу, предлагает основать церковь; Кроуп клянет на эту удочку, но потом понимает, что роскошная церковь леди Сандербенд ничем не будет отличаться от старой. До него наконец доходит: «Он не верил в Бога по-настоящему во время его первого и второго видения; они были мечтами, созданиями его собственного воображения».

В смятении Кроуп бредет по улице, подумывая отказаться от нового Бога и вернуться к старому, но тут встречает свою дочь: она полюбила юношу и хочет уйти с ним прямо сейчас, ибо его отправляют на фронт.

Кроуп благословляет Нору и тотчас, без всяких наркотиков, осознает, что Бог есть. (Уэллс утверждал, что его Бог не дает доказательств своего существования, но всякий раз их приводил — то вернул девушке жениха, то человеку, теряющему веру, устроил приступ ясновидения.) «Бог входит в жизнь всего человечества как Командор и Король; все людские правительства, союзы — всё должно подчиниться республике, которой будет править Он». И тут оказывается, что жена все-таки любит Кроупа. Кстати, и курить ему после этих переживаний совсем расхотелось... Оба текста вызвали бурю откликов, преимущественно ругательных: верующим не понравились нападки на официальную религию, вольнодумцам — отступничество от материализма. Значительная часть переписки 1918 года с Сиднеем Оливье, Реем Ланкастером и Нортклиффом посвящена обсуждению этого вопроса.

Благодаря своим теологическим изысканиям Уэллс завел несколько интересных знакомств. Еще до публикации «Невидимого короля» он начал переписку с Дэвидом Любином, специалистом по сельскому хозяйству (они встретились лично, когда Любин занимался учреждением Международного сельскохозяйственного института), а по совместительству — теоретиком сионизма и автором «универсальной мировой религии», которая должна примирить все народы. В конце 1916-го Уэллс прочел книгу Любина «Да будет свет» и тепло откликнулся на нее, однако заметил: «В отношении вашего Бога я — агностик. Сам я использую слово „Бог“, чтобы выразить божественное в человеке». Собственно говоря, Арчер это и писал в своей книге: то, что Уэллс называет Богом, на самом деле находится внутри человека. Любин, в свою очередь, прочел «Невидимого короля» и написал, что не в силах принять Бога, который не всемогущ.

Эйч Джи также обсуждал своего Бога с Гарри Джонстоном, известным ботаником и зоологом, исследователем Африки, и с Уильямом Темплом, епископом, а впоследствии архиепископом Кентерберийским. Темпл, назвавший христианство «самой материалистической из всех религий», был реформатором, многое из того, о чем писал Уэллс, было ему созвучно: англиканская церковь провозглашала своей целью объединение всех христиан, а Темпл сыграл в таком объединении значительную роль, став впоследствии президентом временного комитета Всемирного совета церквей. Они заинтересовали друг друга, но взаимопонимания не получилось. Темпл не мог пойти так далеко, чтобы согласиться на маленького смертного Бога; Уэллс отзывался о нем как о человеке, «по-детски приверженном ортодоксии».

\* \* \*

Конференции, на которых страны Антанты разрабатывали стратегические планы, проводились с начала 1916 года; четвертая состоялась в феврале 1917-го в Петрограде. Договорились летом перейти в общее наступление. И вдруг в России свергли царя. Самодержавию в Европе никто не симпатизировал, и теперь — в теории — Антанта укрепилась морально, ибо могла выступать как единый блок демократических государств, которые воюют против империй Гогенцоллернов и Габсбургов. Солженицын в «Красном колесе» приводит много отрывков из телеграмм и восторженных статей в европейской прессе: есть среди них и широко известная телеграмма Уэллса: «Весть о прыжке от самодержавия к демократической республике изумила Западную Европу. Это — знамение пламенной надежды, оно в самом деле звучит словом



Божьим в ушах всех свободомыслящих людей по всему земному шару. Россия — предвестница мировой Федерации республик...» Солженицын упоминает, как приветствовали Февральскую революцию Ллойд Джордж и Вудро Вильсон, как в Лондоне, Париже, Нью-Йорке состоялись митинги, на которых восхвалялась русская революция — действительно, может сложиться впечатление, что Запад был охвачен восторгом.

Но Солженицын не привел других документов, которые привел, например, А. И. Уткин в книге «Первая мировая война» и из которых следует, что европейские и, в частности, британские политики были вовсе не так простодушны. Всякая революция в разгар войны воспринимается настороженно. Союзников волновал вопрос: продолжат ли русские воевать? «Руль захватила беспорядочная толпа советников, набранных из Думы, советов солдатских, матросских и рабочих депутатов, политических организаций всех мастей и направлений, которые растрачивали большую часть времени и сил на споры о том, куда направить ковчег, пока в конце концов ковчег не был захвачен людьми, которые хорошо знали, куда его вести», — говорил Ллойд Джордж, а Бальфур, министр иностранных дел, высказался провидчески: «Если в этой стране будет установлена республика, армия расколется на легитимистов и республиканцев, умеренные элементы ждет раскол и беспомощность, экстремисты завладеют аппаратом власти. В конечном счете возникнет энергичное движение в пользу автократии, но к тому времени уже будет подписан позорный мир с Германией». В марте — апреле встречи лидеров Антанты проводились уже без участия представителей Временного правительства и на них обсуждался вопрос о принятии мер по недопущению выхода России из войны.

Уэллс не сомневался в намерениях России воевать до победы. В первых числах апреля он опубликовал статьи — «Обращение к Временному правительству России» в «Нью-Йорк таймс» и «Свободная Россия» в «Дейли кроникл», в которых приветствовал Февральскую революцию и призывал к установлению республики в Британии. 18 мая он отправил Горькому письмо, где называл русскую революцию «шагом на пути к освобождению человечества, включая народ Германии, от агрессивных монархий и основанию международной доброй воли на основе международной справедливости и взаимоуважения». Смит утверждает, что весной 1917-го Уэллсу было неофициально предложено отправиться в Россию со специальной миссией — «освещать события»; а он не поехал, так как должен был работать во вновь созданном министерстве, возглавляемом Нортклиффом. Ни сам Уэллс, ни другие биографы об этом не упоминают, да и Смит, чрезвычайно добросовестный исследователь, ни на какие конкретные источники в данном случае не ссылается, а министерство было образовано только летом 1917-го. Кажется маловероятным, чтобы Уэллс отказался от такой миссии, если бы она была ему предложена, и еще менее вероятно, чтобы британское правительство захотело направить в Россию такого радикального, болтливого и ненадежного человека, как Уэллс.

Один союзник грозил отпасть — как никогда был нужен другой, а тот, отделенный океаном, все медлил. Нам нужно усилие, чтобы отделаться от современного представления о Штатах как о вооруженном до зубов воинственном гиганте: в начале XX века то была миролюбивая страна с очень сильными пацифистскими и изоляционистскими настроениями; у нее была крошечная (120 тысяч) и абсолютно небоеспособная армия с допотопным оружием. С начала войны

президент Вильсон провозгласил политику нейтралитета и неоднократно пытался свести воюющие стороны за столом переговоров; но европейские (в том числе русские) политики склоняли Штаты к прямому участию в военных действиях. Уэллс неоднократно писал о необходимости вступления США в войну. «И так же, как я цепляюсь за веру, несмотря на сотни неблагоприятных явлений, что религиозное и социальное движение в наше время в конечном счете дойдет до объединения человечества в королевство Божие, — писал он в „Войне и будущем“, — так же я цепляюсь за убеждение, что найдутся интеллектуальные силы в воюющих и нейтральных государствах, которые помогут предоставить Соединенным Штатам возможность сыграть роль той объективной третьей стороны, чье участие становится все более необходимым для всеобщего удовлетворительного окончания войны». Однако эта «третья сторона», по его мнению, должна была быть одновременно объективной — и вовлеченной в битву.

В конце января Германия объявила о возобновлении подводной войны, и с февраля по апрель германские субмарины уничтожили свыше тысячи торговых судов союзных и нейтральных стран. Были потоплены и три американских корабля, включая пассажирский лайнер «Лузитания», с которым ушли на дно сотни людей. Тогда Вильсон созвал сессию конгресса, где провозгласил, что «право еще более ценно, чем мир», и предложил объявить войну Германии. Это случилось 6 апреля<sup>[68]</sup>. Америка встретила предложение своего президента без восторга, как и последовавший за ним призыв в армию. Маршал Жоффр, которым восхищался Уэллс, приехал в Штаты, чтобы вселить боевой дух в американцев, — они рукоплескали ему, но воевать не хотели. В конце концов кое-как собрали 150 тысяч

солдат (чтобы их обучить, выписали из Франции специалистов), вооружили их европейским оружием, предоставили им европейские корабли и привезли на европейскую войну. Лишь в 1918 году численность американских солдат удалось довести до миллиона. Сыграли ли они большую роль в боевых действиях — вопрос спорный. Но Америка, желавшая остаться в стороне, оказалась теперь навсегда включенной в европейские разборки.

Еще до вступления США в войну Вильсон представил конгрессу план утверждения всеобщего мира. Он предлагал создать международный орган коллективной безопасности. Этот проект получил название «Лига Наций». Организация, по словам Вильсона, должна была представлять собой «универсальную ассоциацию наций для поддержания ничем не нарушаемой безопасности морских путей, всеобщего, ничем не ограниченного их использования всеми государствами мира, и для предотвращения каких бы то ни было войн, начатых либо в нарушение договорных обязательств, либо без предупреждения при полном подчинении всех рассматриваемых вопросов мировому общественному мнению». Уэллс не утверждал прямо, что это он, а не Вильсон, придумал Лигу Наций, но в его высказываниях чувствуется обида: ведь он призывал к созданию такого учреждения давным-давно. Вопрос об авторстве идеи действительно спорный: в Англии еще в 1915-м по инициативе Джорджа Пейша, экономиста и правительственного чиновника, была создана общественная группа под названием «Лига за укрепление мира»; в том же году участники группы «Блумсбери» основали «Общество Лиги Наций»; подобные группы с самых первых месяцев войны возникали и в других странах. Но, как говорил Черчилль, главное — не придумать, а внедрить.

Уэллс стал использовать в своих работах термин «Лига Наций» с весны 1917 года; он употребил его как минимум в девяти статьях, а подробно развил эту идею летом 1917-го в трех статьях, наиболее значительной из которых считается «Мир разумного человека»: опубликованная в «Дейли ньюс», она вызвала бурную дискуссию в «Дейли мейл» и «Ивнинг пост» (которые Эйч Джи обозвал «продажными» и «грязными», хотя сам публиковался в обеих). Организация свободной торговли издала «Мир разумного человека» в виде брошюры и распространила тиражом в 200 тысяч по обе стороны Атлантики.

Вот основные тезисы этой статьи: 1. «Просто мир» как отсутствие войны — не решение проблемы, ибо при существующем общественном порядке неизбежны новые войны. 2. Просто «Лига Наций» — учреждение неэффективное, ибо оно, ничего не меняя в существующем порядке, не может обеспечить правильного мира; нужна Лига Свободных Наций. 3. Свободные нации не значит «суверенные нации», поскольку именно принцип суверенитета позволяет милитаристским государствам делать что им вздумается: нации должны быть свободными от монархов, но подчиненными международному контролю. 4. Чтобы Лига Свободных Наций была реальным фактором политики, она должна «полностью контролировать армию, флот, военно-воздушные силы и военную промышленность всех народов мира». 5. В перспективе Лига Свободных Наций должна превратиться в особую форму государственности, чьи законы будут стоять выше законов отдельных стран, входящих в Лигу. Неудивительно, что статья вызвала шквал нападок: очень уж радикальные идеи высказывались в ней. Но многие газеты, прежде всего американские, не критиковали, а просили разъяснений, и весной следующего года Уэллс обобщил все, что

писал по этому поводу в 1917-м, дал пояснения и таким образом собрал книгу «В четвертый год» (In the Fourth Year: Anticipations of a World Peace), которая была опубликована издательством «Чатто и Уиндус».

Война войной, но ведь было в жизни Эйч Джи и что-то мирное, домашнее? Было: в 1917-м он нашел время и желание написать предисловие к роману Фрэнка Суиннертона «Ноктюрн». Крохотный эпизод, о котором ни один биограф не счел нужным упомянуть, а текст-то прелюбопытнейший! Вот что Уэллс написал о себе: «Задача представления публике нового автора, совсем непохожего на того коллегу, который его рекомендует, довольно сложна. По логике, писатель должен хвалить только тех, кто на него похож. <...> Какое он имеет право хвалить подход, который для него самого чужд, и методы, каких он сам никогда не использовал? Читатель естественно заподозрит тут лицемерие. Уж не раскаивается ли старший писатель в своих идеях, спросит он? Не обнаружил ли он, достигнув среднего возраста, что молодежь пишет лучше его? Или его смутила критика со стороны молодых? Уж не хочет ли он сказать: „Я старый болван и осознал свою ошибку“? <...> Отвечу словами Киплинга: „Сотня способов и пять есть, чтоб песни сочинять, и любой из них по-своему хорош“<sup>[69]</sup>. За всю свою жизнь мне не нравился ни один писатель, который был бы похож на меня или подражал мне. <...> Как автор я принадлежу к одной школе, но как читатель — к противоположной. <...> Те авторы, которыми я восхищаюсь, похожи на меня не больше, чем тунец на каракатицу...»

Потрясающее признание, не правда ли? Приводим его не затем, чтобы продемонстрировать, что Уэллс не любил у других авторов своих собственных подходов, а стало быть, понимал, что его подход дурен. Здесь другое важно: человек без смущения признает, что

другие могут быть его идейными противниками — и все же быть лучше его, писать лучше его, и он обязан рекомендовать их публике! Берберова, Уэллса в общем-то не любившая, отмечает разницу между ним и Горьким: если второй признавал в литературе только «своих» («горько-веды», разумеется, могут с этим не согласиться), то первый готов был восхищаться любым талантом независимо от литературной близости или политических симпатий.

\* \* \*

Советник Вильсона полковник Хауз, во время войны приезжавший в Англию в качестве спецпосланника, был летом 1917-го приглашен на обед к леди Уорвик; там Уэллс познакомился с ним и с сотрудником американского посольства Бэйнбриджем Колби. Обсуждались идеи Вильсона о Лиге Наций. Уэллс решил, что может кое-чему научить президента, и в ноябре написал Вильсону письмо с изложением собственных идей, которое передал через Колби. Это один из самых радикальных текстов, когда-либо написанных Уэллсом. «Мне кажется, в международных отношениях должна существовать определенная *целесообразность* (выделено самим Уэллсом. — М.Ч.); существуют принципы, основываясь на которых можно проводить границы, устанавливая и распределять права проезда или привилегии в торговле (под охраной Лиги), столь же беспристрастно, как картограф чертит линии». Вильсону как человеку, может, и показалась заманчивой эта идея, но как политик он понимал ее полнейшую бессмысленность. Какое государство — пусть даже трижды социалистическое! — согласится вступить в Лигу, которая будет иметь право в любой

момент перекроить его границы, если сочтет это *целесообразным?*

Были в письме и другие радикальные мысли: Лига должна стать органом, «обладающим верховной властью и превышающим по значению любой национальный флаг», для обеспечения мира она должна «держат под контролем такие источники раздоров, как запасы сырья в южных странах», а также управлять Африкой и решить, что ей делать со всей Восточной Европой. В следующем году Уэллс напишет совсем прямо: «Было бы праздной, пустой дипломатией притворяться, что Всемирная Лига Наций — не есть государство, стремящееся создать благородную личность, для которой родина — весь мир».

9 апреля российское Временное правительство представило декларацию, в которой выражалась «уверенность в победоносном окончании настоящей войны в полном согласии с союзниками»; 1 мая П. Н. Милюков (министр иностранных дел) направил ноту союзникам, где тоже обещал войну до победы. Но Временное правительство не было единственной властью: второй властью был Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, по инициативе которого был, в частности, принят знаменитый «приказ номер один» — о выборности командиров в армии. Трудно ожидать от такой армии беспрекословного подчинения, но она была брошена в наступление. Брусилов, назначенный главнокомандующим, в июле начал наступление на Юго-Западном фронте против австрийцев, но началось повальное дезертирство, и к 20 июля подошедшие на помощь австрийцам немцы прорвали русский фронт. Начался хорошо известный нам хаос: большевики попытались взять власть, Львов отказался от поста председателя правительства в пользу Керенского, а Англии и Франции (простодушные



американцы до октября продолжали надеяться) стало ясно, что союзника у них больше нет.

Их собственные дела шли в то лето не лучшим образом: в апреле с громадными потерями захлебнулось крупное наступление (так называемая «бойня Нивеля»); последующие наступательные операции осуществлялись с переменным успехом; американскую армию еще не одели и не вооружили; в сентябре немцы взяли Ригу. Ллойд Джордж стал искать пути к сепаратному миру, а Россия пусть выпутывается как знает. Тем не менее в Петрограде прошло совещание послов стран Антанты, итогом которого стала адресованная Керенскому нота: ему предлагалось проявить твердость и взять власть в свои руки. Но он лишь передал Ллойд Джорджу через британского агента Сомерсета Моэма, что Россия воевать не может. 4 ноября Временное правительство приказало гарнизону Петрограда закрыть собой брешь, образовавшуюся на Северо-Западном фронте; большевики призвали солдат не выступать. Что произошло дальше, все знают. Уже 8 ноября комиссар иностранных дел Троцкий прислал послам союзных держав ноту: «Обращая ваше внимание на текст предложения нашего правительства о перемирии и демократическом мире без аннексий и контрибуций, основанного на правах народов распоряжаться собой, я прошу Вас, господин посол, рассматривать вышеупомянутый документ в качестве формального предложения о перемирии на всех фронтах и безотлагательном начале переговоров о мире, передаваемом одновременно всем воюющим нациям и их правительствам».

Британия, как и другие страны Антанты, новую российскую власть не признала. Почему? Во-первых, казалось, что эта власть — игрушечная и долго не продержится (хотя британский посол в России

Бьюкенен подозревал обратное). Во-вторых, европейцев напугало предложение о перемирии: они догадывались, что Германия воспримет перемирие исключительно как признание противником своей слабости. Троцкий обращался не только к официальным лицам, он взывал напрямую к солдатам воюющих армий; к осени 1917-го британские и французские солдаты были готовы послушаться этих призывов и побросать оружие. Хуже того, Вильсон объявил, что находит резон в предложениях Троцкого! Все это грозило победой Германии, и дальнейшие события подтвердили эту угрозу. 20 декабря в Брест-Литовске начались переговоры между Германией и новым российским правительством: немцы на перемирие (только на Восточном фронте) были согласны, но потребовали себе 18 российских губерний. Вопрос о мире был отложен; Троцкий вновь обратился к бывшим союзникам с призывом к перемирию, а те начали прощупывать почву — нельзя ли как-то убедить большевиков продолжить войну...

Уэллсу Троцкий очень понравился и будет нравиться всегда (увы, без взаимности). «По окончании этой войны я вижу Европу воссозданной не дипломатами, а пролетариатом, Федеративная республика Европа — Соединенные Штаты Европы — вот что должно быть создано. Экономическая эволюция требует отмены национальных границ. Если Европа останется разделенной на национальные группы, тогда империализм снова начнет свою работу. Только Федеративная республика Европы может дать миру мир»<sup>[70]</sup>, — да ведь это же говорил и сам Уэллс, слово в слово! Тем не менее он довольно долго не высказывался в печати о новой русской революции и лишь в январе 1918-го написал о ней статью «Мистер Уэллс и

большевики» (опубликованную, кстати, в «продажной» «Дейли мейл»).

Он сказал, что «Керенский не сумел удержать власть по своей слабости», и что «в России были сильные контрреволюционные настроения», для борьбы с которыми кто-то сильный обязан был взять власть, и что «цели либералов во всем мире совпадают с целями русской революции», а заключаются эти цели в уничтожении германского милитаризма, и что для построения нового мира всюду нужны такие правители, которые будут а) сильными; б) ведущими свои страны к идеалам и в) достигающими этих идеалов путем планирования, и что исходя из этих пунктов «ему кажется, что большевики в общем и целом мудрее и яснее, чем наши собственные власти», и что по этой причине он «поддерживает русскую революцию независимо от того, какую форму она принимает». Однако брест-литовские события Уэллсу не нравились: по его мнению, мир может быть заключен лишь после того, как в Германии произойдет революция. Большевики, конечно, расчудесные люди, но англичанам нужно воевать до победы.

8 января 1918-го Вильсон провозгласил свою программу мира — «14 пунктов». В число восьми первых пунктов, названных «обязательными», вошли принципы открытой дипломатии, свободы мореплавания, всеобщего разоружения, снятия барьеров на пути торговли, справедливого решения колониальных споров, воссоздания Бельгии, вывода войск с территории России и учреждение органа по координации мировой политики — Лиги Наций. Привлекательность программы Вильсона была в ее умеренности: предлагая новый международный порядок и механизмы его поддержания, он не посягал на создание Всемирного Государства и не предлагал Лиге перекраивать границы помимо тех, что были

непосредственно указаны в «14 пунктах». Уэллс был страшно разочарован и писем Вильсону больше не писал. Но заниматься Лигой Наций не бросил.

К началу 1918 года в Великобритании функционировали два новых министерства: информации и пропаганды. Первое возглавил лорд Бивербрук, второе — лорд Нортклифф; он пригласил старого друга сотрудничать. Уэллс с мая официально стал сотрудником подразделения, которое занималось «пропагандой во вражеских странах». Точно определить объем проделанной им работы не представляется возможным, служба ведь была секретная; известно, что он писал сатирические листовки про кайзера, которые должны были распространяться среди солдат и населения Германии, а также участвовал в сочинении дезинформационных материалов.

Его эта работа не устраивала: он хотел прямо и открыто сказать немцам, что они должны совершить у себя революцию и соединиться с прочими свободными народами. Как ни странно, ему удалось частично убедить Нортклиффа в своей правоте. Совместно со своим коллегой Хедлем Морли он составил меморандум для распространения на территории Германии: прямого призыва к революции текст не содержал, там лишь говорилось о Лиге Свободных Наций: «Военные цели Объединенных Сил все определеннее приобретают форму стремления объединиться в Лигу, чтобы установить над собой верховенство единого закона, представлять взаимные претензии на рассмотрение высшего трибунала, оберегать слабые страны и народы, сдерживать и подавлять угрозу войны и приготовления к войне по всему земному шару». Нортклифф все это одобрил; меморандум был отправлен на согласование в министерство иностранных дел, но там его похоронили:

откровенность для дипломата что нож острый. Уэллс очень расстроился и 30 июля ушел в отставку. В мирное время этой неудачи, наверное, хватило бы, чтобы надолго отбить у него охоту заниматься политикой; но шла война, и он не сдавался. Должны быть другие люди, другие пути.

С 1915 года в Лондоне существовало Общество Лиги Наций; его деятельность Уэллсу казалась неэффективной, и весной 1918-го была создана организация «Общество за Лигу Свободных Наций». Для разработки программы общества сформировали исследовательский комитет, куда, кроме Уэллса, вошли Эрнест Баркер (историк), Лайонел Кертис (дипломат, колониальный чиновник), Эдвард Грей (министр иностранных дел с 1905 по 1916 год), Джон Хилтон (социолог и статистик), Джон Альфред Спендер (журналист, политолог), Леонард Вулф (публицист, издатель), Альфред Циммерн (политолог), литератор Лоуэс Дикинсон (бывший членом также и Общества Лиги Наций) и известные нам Уильям Арчер и Гилберт Меррей. Первое заседание состоялось 10 мая. Уэллс и Дикинсон написали брошюры «Идея Лиги Наций» и «Путь к Лиге Наций»: первая содержала те же идеи, что письмо Уэллса Вильсону и меморандум для министерства, во второй предлагались начальные шаги к Всемирному Государству: создание международной почтовой службы, единой сельскохозяйственной ассоциации (эту идею Уэллс позаимствовал у Дэвида Любина) и т. д. В первые месяцы Эйч Джи был полон энтузиазма: он и Дикинсон инициировали совместные заседания старого и нового обществ. Но вскоре Уэллс разочаровался: сплошные дискуссии и нет «готового продукта».

1918-й начался нехорошо: после заключения Брестского мира немцы смогли перебросить силы с Восточного фронта на Западный. Но в эти же дни

наконец началась массированная высадка американских солдат, а 26 марта было создано единое командование союзных сил. В июле немцев разбили на Марне, а 8 августа союзники победили при Амьене, отведя угрозу от Парижа. 26 сентября началось победоносное наступление союзных войск на всем фронте. 5 октября германское правительство обратилось к США с просьбой о перемирии. 3 ноября перемирие с Антантой подписала Австро-Венгрия, 11-го — Германия, где двумя днями раньше произошла революция: кайзера вынудили отречься, была провозглашена демократическая республика (просуществовавшая до 1933 года). Но Уэллс все равно был недоволен.

«Девушки, дети, женщины, школьники, студенты, не попавшие на фронт по болезни, люди средних лет, старики, солдаты внутренних войск заполнили улицы, радуясь, что мукам пришел конец, и ничуть не желая бранить армию, флот и короля. Конечно, мы потеряли миллион человек, и половина этих смертей даже с военной точки зрения была бессмысленной, но в конце концов мы победили. Стоило бы начать расследование, но это так неприятно!» Уэллс был не одинок в своем отвращении к ликующей толпе, к тому, что люди, просидевшие всю войну дома, пьяные, агрессивные, пляшут и бьют витрины, позабыв о своих мертвых. У идеальных людей, конечно, война, даже успешная, должна вызывать не кровожадную радость, а печаль о погибших и желание сделать все, чтобы не допустить другой войны. Но он забыл о том, что изменить менталитет человечества еще только предстояло.

«Вот, — думал я, — такова демократия. Вот он, пролетариат доброго старого Маркса! На эту массу косных, некритичных мозгов рассчитывал старый догматик со своей диктатурой пролетариата, ей он доверял руководить новым, сложным устройством

лучшего мира!» И Эйч Джи наконец понял, что **о** — единственное! — ему следует делать: превращать косные и некритичные мозги в разумные. А начинать надобно с детства.

## **Глава третья УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ**

Роман «Джоанна и Питер: история обучения» (Joan and Peter: A Story of an Education) Уэллс начал писать в июне 1918-го, а в ноябре он уже был издан. Это история о том, как девочка и мальчик выросли и умнели. Роман принято называть слабым, скучным. Это несправедливо: он интересный, особенно для неанглийского читателя, потому что в нем очень познавательно рассказано об Англии начала XX века и прекрасно описаны дети — все слезы, синяки и шишки, кукол, кошек и собак собственных детей Эйч Джи вложил в роман с великолепной щедростью. Умнеть детям помогал мудрый Освальд, родственник и опекун Питера. Он «принадлежал к тому меньшинству англичан, которые думают систематически», тогда как большинство этого не умеет: их мысли «собраны в неряшливые кучи»; а думал он преимущественно о том, что мы должны из «сборища эгоцентричных обезьян» превращаться в «сообщество сотрудничающих людей». Освальд ведет сражения с консервативной теткой Питера за душу мальчика, рассказывая ему истории, рекомендуя книги для чтения; он также настаивает на том, чтобы Питер и его подружка получили одинаковое образование. Их обучают физике, математике, истории, рисованию, языкам — все по методикам, подробно описанным Уэллсом. Когда Питер становится взрослым, они с Освальдом совершают путешествие по свету. Приезжают в Россию — вот, наконец, Эйч Джи и описал свое путешествие...

Увы, придется разочароваться. В своем описании Уэллс не продвинулся дальше Дюма и не поднялся даже до тех обобщений, которые сделал маркиз де Кюстин. Сплошные общие места: много церквей, а у церквей много куполов, везде лежит снег, у Кремля красные стены, и он красив «варварской красотой», люди носят меховые шапки, а священники — бороды, Петроград европейский город, а Москва — азиатский. Ничуть не оригинальнее рассуждения о «русской душе»: «Они (русские. — М. Ч.) — телом и душою странники. Люди бескрайней земли... Когда видишь все это своими глазами, начинаешь лучше понимать Достоевского. Начинаешь представлять себе эту „Святую Русь“, как эпилептического гения среди наций — нечто вроде „Идиота“ Достоевского, отстаивающего моральную истину, поднимающего крест над всем человечеством...» Далее Уэллс говорит, что «Россия и Великобритания имеют между собой много общего». Что же именно? Да лишь одно: обе они — большие. «Россия была Британией на суше. Британия была Россией на морях. Одна грезит, утомленная бесконечными пространствами, другая с морской солью впитала практичность. В одной преобладают глубокие чувства и безграмотность, в другой — живость кокни». И захочешь нарочно написать о какой-нибудь стране что-нибудь более поверхностное и банальное — так не сумеешь. Но Уэллс, по нашему мнению, тут не виноват. Во всем виноват Достоевский. Своей придуманной Россией он навсегда сбил с панталыку доверчивых англичан.

Как и автор, его герои побывали в Государственной думе — там их неприятно поразил портрет царя. «Фигура диктатора, вчетверо больше натуральной величины, с длинным, неинтеллигентным лицом, стояла во весь рост, одетая в мундир, попирая правым сапогом голову Председателя Государственной Думы. Этот портрет был таким же очевидным оскорблением, таким



же возмутительным попранием достоинства русских людей, каким был бы непристойный жест „Вы и вся Империя существуете для МЕНЯ“, — явно говорил этот глуполицый портрет в гусарском кивере набекрень, державший вялую руку на эфесе шашки».

Далее герои посетили Германию и описали ее так же оригинально и глубоко, как и Россию: немцы аккуратные, любят порядок и кайзера, домики у них чистенькие и т. д. Закончилось путешествие — и началась война. Питер становится летчиком, воюет доблестно, но осознает, что война есть зло, направленное на убийство молодежи; его сбивают в бою, он возвращается к Джоанне, и теперь они оба будут совершенствовать наш мир. Джоанна станет архитектором (до войны Уэллс такого бы не написал), а Питер займется преподаванием истории, которая должна представлять собой историю развития идей, историю пути от кровожадного стада обезьян-братоубийц к царству Божию, то есть миру разумных существ, понимающих, что все они родные. Это, кстати, Питеру посоветовал сам Бог, явившийся ему во сне и объявивший: «Я вовсе не самодержавный злой тиран, как некоторые из вас думают; если бы это было так, я бы уже давно тебя первого поразил громом. Нет, я управляю на демократических началах и предоставляю вам самим решать за себя».

Питер осознает, что он и его единомышленники должны полностью посвятить себя работе: «Если большинство из нас не будут жить как фанатики — этот наш шатающийся мир не возродится. Он будет разваливаться все больше — и рухнет. И тогда раса большевистских мужиков будет разводить свиней среди руин». За что Уэллс, только что превозносивший русскую революцию, вдруг так взбеленился? Руины, свиньи... Тут надо учитывать время, когда дописывались последние главы «Джоанны и Питера».

2 сентября 1918 года Ленин послал правительству Великобритании ноту: «Сегодня ликвидирован заговор, руководимый англофранцузскими дипломатами, во главе с начальником британской миссии Локкартом, французским генеральным консулом Гренаром, французским генералом Лавернем и др., направленный на организацию захвата, при помощи подкупа частей советских войск, Совета народных комиссаров и провозглашения военной диктатуры в Москве». Ответная нота (Бальфур — Чичерину): «Мы получили информацию, что возмутительное нападение было совершено на британское посольство в Петрограде, что помещение было частично разграблено и частично разрушено и что капитан Кромби, который пытался защитить посольство, был убит и тело его изуродовано до неузнаваемости. Мы требуем немедленного удовлетворения: жестокого наказания всех ответственных за это безобразие и тех, кто в нем участвовал...» Эйч Джи мог как угодно бранить свое правительство, но изуродованного тела капитана Кромби он не простил.

А теперь отметим вот что: притом что Уэллс считал свой творческий метод новаторским, почти все его романы — за исключением ранних фантастических и «Буна» — поразительно консервативны. Вирджиния Вулф не даром над ними издевалась: «Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный...» Начинается всякий раз с детства героя: родился он в такой-то семье, рос так-то и сяк-то. Попутно рассказывается о его родителях: в каких семьях родились они, какое образование получили. Если в доме живут еще какие-нибудь люди, нам непременно будет доложено, где, когда и зачем они родились и как прошло их детство. Далее — странице эдак на сотой — появляется героиня и следует рассказ о том, где она родилась и кто были (и при каких обстоятельствах

родились) ее родители, бабушка, соседи и домашние животные. Лишь после этого начинается собственно сюжет и развивается строго последовательно, а в финале дается разъяснение, как герои будут жить, когда роман закончится. Почему так? Разве нельзя начать роман сразу с того, как взрослые герои дискутируют о Лиге Свободных Наций? А вот оказывается — нельзя... Только ИСТОРИЯ имеет смысл; как человечество, так и отдельного человека следует изучать в его развитии. И мысли человека только тогда понятны, когда разберешься, как он к ним пришел.

Новый роман благожелательно встретили друзья Уэллса, но другие люди отнеслись к нему холодно. Критики называли его «чересчур дидактическим, чтобы иметь успех». У широкой публики он действительно успеха не имел. Но Томас Гарди, великий романист, написал Уэллсу, что с наслаждением читал «Джоанну и Питера». «Меня поражает Ваше понимание людей и их поступков. Мне кажется, что Вам достаточно просто пройти по улице одну милю и издали поглядеть на фасады домов, чтобы описать жизнь каждого их обитателя». Уэллс никогда не считал психологию своей сильной стороной, но именно за психологизм «Джоанну и Питера» очень хвалил также Рэй Ланкастер, который просил не обращать внимания на нападки.

Чуть раньше «Джоанны и Питера» вышел из печати первый роман Ребекки Уэст — «Возвращение солдата», история о том, как две любящие женщины, жена и сестра, ждут солдата с фронта: он вернулся с амнезией, ему кажется, что на дворе 1901 год, он не помнит войны и счастлив. Но память возвращается — и счастьем конец. Война убила милый старый мир безвозвратно. Книга получила прекрасную прессу. Эйч Джи в своей рецензии очень высоко оценил сюжетный ход и идею. Когда Уэст опубликует свой второй роман — «Судья» — он отзовется о нем хуже, а в «Опыте» скажет о своей

подруге: «Она пишет как в тумане, возводит обширное, замысловатое здание, едва ли представляя, какую форму оно в конце концов обретет, тогда как я пишу, чтобы заполнить остов своих замыслов. Как писатели мы были вредны друг другу. Она бродила в зарослях, а я всегда держался поближе к тропе, ведущей к Всемирному Государству». (Ребекка впоследствии замечала: «В моих книгах он никогда не прочитывал больше двух страниц...»)

Их отношения продолжали портиться: «Мы постепенно отдалялись друг от друга, и мне было горше потерять ее, чем ей избавиться от меня. <...> Не будь у нас сына, мы расстались бы раньше». Из-за чего, собственно, они ссорились? Первая причина очевидна: Ребекка хотела совместной жизни, а Эйч Джи отказывался не только развестись с Кэтрин, но и оставить ее (это привело к тому, что Ребекка начала свою соперницу ненавидеть). Вторая столь же банальна: «не сошлись характерами». Оба были изрядные эгоисты, никто не хотел уступать. Несмотря на все это, связь продолжалась как раньше; после войны виделись чаще, хотя в переезде в Лондон Ребекке по-прежнему было отказано.

Дома в тот период было более-менее спокойно, мальчики были здоровы. Джип поступил в Кембриджский университет. Отец выбрал для него Тринити-колледж: он до сих пор считается самым аристократическим и солидным из всех кембриджских колледжей. В нем обучались Бэкон, Ньютон, Байрон, Неру, бесчисленные принцы и герцоги; незадолго до поступления Джипа Тринити окончил будущий король Георг VI. Джип с блеском выдержал экзамены и поступил на отделение зоологии<sup>[71]</sup>; в первый же год он получит звание старшего научного сотрудника. Он специализировался в сравнительной физиологии (как

Хаксли), работая с беспозвоночными. Отец был счастлив, ведь важнее хорошего образования ничего нет.

Разумеется, Уэллс вовсе не «вдруг», не при виде толпы подвыпившего пролетариата, пришел к мысли о том, что образование должно спасти мир. О роли этого процесса в совершенствовании нашей расы он много писал в молодости. Свернул с этого пути, когда ему показалось, что возможна иная очередность: вечером — революция, утром — образование. Потом вернулся к прежним идеям. С 1905 года в Лондоне функционировала общественная группа под предводительством лорда Милнера, занимавшаяся вопросами реформы среднего и высшего образования; в 1914-м эту организацию возглавил Рэй Ланкастер и тогда же образовалась другая группа под началом Ричарда Грегори — «Британская научная гильдия». Уэллс участвовал в деятельности обеих групп; начиная с 1915-го они объединили свои усилия в борьбе за то, чтобы приблизить образование к жизни, то есть: 1) улучшить уровень преподавания естественных и общественных наук; 2) сделать образование социально необходимым — то есть допускать людей на государственную службу лишь при условии сдачи экзаменов; 3) провозгласить целью образования не накопление знаний, а совершенствование интеллектуальных и моральных качеств.

Учитель Сандерсон выступал на собраниях обеих групп — делился передовым опытом. Уэллс тоже выступал. Его единомышленникам удалось добиться того, чтобы госчиновники сдавали экзамены, но дальнейшие реформы застопорились (они начнут реализовываться лишь в 1924-м, когда лейбористы выиграют выборы); ждать он, как известно, не умел и скоро охладел к деятельности групп. В мае 1919 года этот певец человеческого единения и совместного

труда написал Гилберту Меррею: «Я создан для работы в одиночку».

С осени 1918-го он работал над новым грандиозным проектом: учебником всемирной истории. Книга называется *The Outline of History*, что обычно переводят как «Очерк истории», но это не совсем точно: не расплывчатый очерк хотел написать автор, а четкую схему выстроить, так что будем называть текст «Схема истории». Объем работы предполагался гигантский: нужно было как минимум год посвятить ей, больше ничем не занимаясь, ничего не зарабатывать и рассчитывать на убытки. Уэллс посоветовался с женой — можно ли идти на такой риск? Да, вполне. Денег в доме хватало: до войны были накоплены сбережения в 200 тысяч фунтов, инфляция их сильно обесценила<sup>[72]</sup>, но «Мистер Бритлинг» возместил все и даже с прибылью.

«Мы писали эту книгу — говорит Уэллс в „Опыте“, — не сказать, что мы были особенно подготовлены для такой задачи, а потому нам обоим пришлось изрядно потрудиться». Этот второй в «мы» — Кэтрин Уэллс! Он составлял план; она просматривала горы энциклопедий, делала конспекты; он писал; она правила черновики; он вносил исправления; она перебелила текст. Если бы речь шла о беллетристике, мы сказали бы, что ее роль ничтожна. Но это был научно-популярный труд; он просто не смог бы написать такую вещь без ее помощи, и сам это признавал.

Сперва он предложил соавторство четверым ученым: Гилберту Меррею, Эрнесту Баркеру, Рэю Ланкастеру и Генри Джонстону; поскольку книга должна была содержать рисунки и карты, участие в деле предложили Франку Хоррабину, известному иллюстратору. Хоррабин будет иллюстрировать книгу, но остальные от официального соавторства откажутся,

однако согласятся помочь частным образом. (Их имена будут значиться на обложке.) На такой вариант сотрудничества согласились также старые друзья — Грегори и Беннет — и новые: востоковед Денисон Росс, историк Генри Кэнби, юрист и литератор Филипп Гедалла. Уэллс бомбардировал их вопросами, они его консультировали; он отсылал им фрагменты, они указывали на ошибки. Ляпов у Уэллса было полно — ведь он, не будучи специалистом, черпал сведения из доступных источников. Ланкастер, бывший в этой компании главным специалистом по древности, уберег друга от серьезной ошибки. Перед войной нашумела находка черепа так называемого «пидлтаунского человека»: Уэллс в этого человека верил и написал о нем, но Ланкастер вовремя объяснил, что это — мистификация. Меррей консультировал по вопросам античности, содействовал с переводами и служил своего рода почтальоном, перенаправляя вопросы Уэллса, на которые не мог ответить сам, своим знакомым профессорам во все концы света. Джонстон, подолгу гостивший в «Истон-Глиб», помог написать главы об эволюции. Баркер давал консультации по Востоку. Общались по большей части в письмах, но, когда требовалось обсудить сложный вопрос, встречались в лондонских клубах или у кого-нибудь на квартире.

Хоррабин, как и Джонстон, проводил в «Истон-Глиб» много времени, так как его содействие требовалось ежечасно; он описал, как проходил обычный рабочий день. С утра Эйч Джи писал «как сумасшедший» в своем кабинете. После обеда следовала длительная прогулка или спортивные игры на воздухе. Затем было обсуждение и работали втроем (с Кэтрин) или вчетвером (если присутствовал Джонстон) — до ужина. Вечером играли в карты, слушали музыку, иногда принимали гостей. Уэллс о книге в это время не говорил

и всех просил о ней забыть, а когда расходились спать, он брал с собой пять-шесть книг и читал за полночь, чтобы подготовиться к следующему дню.

Даже те биографы, которые недоброжелательно относятся к Уэллсу, признают, что книга получилась очень хорошая, нужная, подлинно новаторская. Новаторство первое: до сих пор история существовала сама по себе, а естествознание — само по себе: Уэллс их объединил в научно-популярной форме. Рассказ о человеке он начинает — как роман! — задолго до его рождения, с происхождения Солнечной системы, Земли и затем жизни на Земле; по сей день трудно найти серьезную книгу, где все это излагалось бы более доходчиво и интересно.

Новаторство второе: в учебниках того времени считалось, что историю движут правители (по причине отсутствия оных история первобытного общества не изучалась). Один королевский сын отравил другого — и вот что из этого вышло! Маркс такой подход считал неверным и писал, что двигателем общественного прогресса являются экономические отношения. По Уэллсу — ни то и ни другое. Рамки старого общества ломают не короли, но и не средства производства, а мысли; движут историю не полководцы и не массы, а горсточка ученых — философов, изобретателей, путешественников. «Людьми, чьи достижения будут определять человеческие жизни на столетие вперед, были те, кто внес свой вклад в решение... творческой задачи. По сравнению с такими людьми министры иностранных дел, „государственные деятели“ и политики представляются не более чем кучкой хулиганистых, а иногда и склонных к умышленным поджогам и воровству школьников, которые играют, время от времени проказничая, посреди скопления материалов на большой стройке, цели которой они не понимают».



Характеризуя каждую эпоху, Уэллс перечислял ее мыслителей и объяснял, какие их идеи и как именно повлияли на развитие человечества. К движителям прогресса он относил Христа и Будду. Вот его Христос: «Он был слишком велик для своих учеников. Если вслушаться в его простые и ясные слова, не удивительно, что все те, кто был богат и знатен, с ужасом увидели, как их мир впервые покачнулся от его учения. Возможно, жрецы, правители и богачи поняли его лучше, чем последователи. <...> В подлинном учении Иисуса было многое, что невозможно было принять богачу, жрецу, торговцу, имперскому чиновнику или любому почтенному гражданину без революционных изменений в своем образе жизни. Но в то же время в этом учении не было ничего, что не принял бы с готовностью последователь учения Гаутамы, что помешало бы буддисту стать последователем Иисуса, а также ничего, что удержало бы ученика Иисуса принять все, чему учил Будда». Только те мыслители, в том числе религиозные, хороши, кто призывал к братству. А Магомет нехорош: противопоставлял свою конфессию другим.

Третье новаторство истории по Уэллсу: каждую эпоху он рассматривает с точки зрения того, как в ней реализовывалась идея человеческого единения. Сотрудничать — хорошо, бороться — нехорошо; разъединение — регресс, объединение — прогресс; поэтому для Уэллса был неприемлем Маркс — как любой, кто призывал человека отождествить свою личность с некоей группой. Причем еще хуже, чем идентификация «вертикальная», классовая, была для него идентификация «по горизонтали» — национальная. Обезьяне прилично с помощью зубов противостоять соседнему стаду; человеку это не пристало. Есть лишь одна группа, с которой человек разумный должен отождествлять себя, — человечество.

«Что такое нация? <...> Можно предположить, что нация — это любое собрание, скопление или смешение людей, которые имеют несчастье обладать одним и тем же министерством иностранных дел для совершения коллективных действий, будто их нужды, желания и тщеславие являются куда более важными, чем благосостояние всего человечества».

Исходя из вышесказанного можно подумать, что про монархов и воинов Уэллс вообще не писал: ничего подобного. «Схема истории» по своему стилю, эпическому, остроумному и местами даже лиричному, напоминает античных авторов — тех самых, кого Эйч Джи называл «проклятушими греками, заплонившими учебные программы». «Плутарх приводит в биографии Александра описание той постыдной сцены, которая произошла на свадьбе Филиппа и Клеопатры. Во время праздничного пира было выпито много вина, и у Аттала, отца невесты, который „потерял разум от выпитого“, вырвались слова, выдавшие общую неприязнь македонян к Олимпиаде и к Эпиру. Он надеется, сказал македонянин, что этот брак принесет Македонии подлинного наследника. Тогда Александр, не вынеся оскорбления, закричал: „Так кто же тогда я?!“ — и швырнул свою чашу в Аттала. Взбешенный Филипп вскочил и, как пишет Плутарх, хотел вытащить меч и броситься на сына, но лишь покачнулся и упал. Александр, ослепленный гневом и ревностью, принялся насмехаться над отцом. „Македоняне, — сказал он, — вот тот полководец, который собирается пройти от Европы до Азии! Да он не может дойти от одного стола до другого!“ Какая живая сцена — неуклюжее движение, вспыхнувшие лица, звенящий от гнева голос юноши!»

Но каждый монарх у Уэллса характеризовался прежде всего его отношением к образованию. Вот, например, Наполеон: «Он не желал, чтобы простые

люди получали образование, ибо не имел ни малейшего представления о том, зачем оно им нужно; зато он был заинтересован в учреждении технических училищ и высших учебных заведений, потому что государство нуждалось в услугах умных, талантливых и хорошо образованных людей». Не так важно, какой бой ты выиграл и сколько народу уколошил — это все забудется, другое будет (так надеялся Уэллс) интересовать потомков: а как ты считал нужным учить детей?

В начале 1919 года Уэллс ненадолго отвлекся от «Схемы истории», чтобы написать роман «Неугасимый огонь» (The Undying Fire: A Contemporary Novel) — книга вышла в том же году в издательстве «Кассел». Прототип героя — учитель Сандерсон, человек, который, по мнению Уэллса, заслуживал больше почестей и славы, чем все политики вместе взятые. Как-то раз Сатана и Бог препирались сидя на небесах: Бог утверждал, что человечество совершенствуется, Сатана это отрицал. Зашел спор об Иове: был ли смысл в его страданиях? Бог сказал, что был, ибо «неугасимый огонь» остался в этом человеке несмотря на все его несчастья, и разрешил Сатане повторить эксперимент на новом Иове — школьном учителе Хассе.

Школа Хасса сгорела, его преследуют кредиторы, его сын-летчик погиб на фронте, его семья разорена, жена больна, у самого рак; он плачет в подушку, он слаб. (Сандерсон был человек не суеверный, а то бы мог прибить автора.) Хасс просит власти помочь восстановить школу — ему отказывают, потому что его новаторские методы несовместимы с официальным подходом к образованию, к тому же он — безбожник. На самом деле Хасс верует в Бога, но не во всемогущего Создателя, а в Бога Уэллса: «Он кричит в наших сердцах, чтобы вывести нас из тупиков эгоизма и ненависти, он зовет нас на светлую дорогу к

единению». В чьем сердце есть «неугасимый огонь», он же «искра Божия» — тот непобедим: Хасс не сдается и находит единомышленников, которые помогают ему отстроить школу. А тут и Бог опять проявил себя — для хорошего человека он всегда готов на чудо: сын не погиб, а находится в плену, операцию Хассу сделали успешно и он будет жить...

«Неугасимый огонь» Уэллс назвал «самым блестящим из своих романов-диалогов». На наш взгляд, этот роман, написанный наспех, очень скупен. Но в любом случае это знаменательная книга: вскоре после нее Уэллс и Бог расстались. Почему? Эйч Джи, любивший себя «препарировать», этого толком не объяснил. Возможно, сам роман привел к этому. Читая «Неугасимый огонь», нетрудно заметить, что фигурирующий в нем Бог отличается от Бога «Мистера Бритлинга». Этот Бог обитает в чертогах, смотрит на человечество свысока, подвергает беднягу Хасса мучениям «на спор»; он хоть и произносит красивые слова, но уже похож на того всемогущего Бога-садиста, которого Уэллс ненавидел. Любопытно, что функции, ранее приписываемые Богу («дух авантюризма во мне»), автор на сей раз частично передал Сатане, который говорит: «Я — дух жизни. Без меня человек до сих пор был бы все тем же никчемным садовником и попусту ухаживал бы за райским садом, который ведь все равно не может расти иначе, как правильно... Только представить себе: совершенные цветы, совершенные фрукты, совершенные звери! Боже мой! До чего бы это все надоело человеку! До чего надоело бы! А вместо этого разве я не толкнул его на самые удивительные приключения?»

Возможно также, что Уэллс внял критике и признал, что его Бог — просто аллегория; возможно, идея о том, что Бог будет, как президент, управлять Всемирным Государством, в конце концов ему самому стала

казаться дурацкой. «На меня, пожалуй, повлияло то, что очень много тонких, умных людей держится не столько за религию, сколько за удобство религиозных привычек и слов».

Замятин так сказал об уэллсовском Боге: «...его Бог — это лондонский Бог, и конечно, лучшие фимиамы для его Бога — это запах химических реакций и бензина из аэропланного мотора. Потому что всемогущество этого Бога — во всемогуществе человека, человеческого разума, человеческой науки. Потому что это не восточный Бог, в руках которого человек — только послушное орудие: это Бог западный (то есть протестантский. — М.Ч.), требующий от человека прежде всего активности, работы». Подобное писал и сам Уэллс: «При всем моем старании божество мое гораздо меньше походило на Небесного Отца... чем, скажем, на олицетворение пятилетнего плана». В «Неугасимом огне» Хасс говорит: «Мне кажется, что творческий огонь, который горит во мне, — иной природы, нежели слепой материальный процесс, что это — сила, идущая наперекор распаду...» Уэллс продолжал верить в существование этого творческого огня, но гипотезы относительно его божественного происхождения высказывать перестал. В начале 1930-х он полностью от своего Бога отречется. Навсегда ли? Посмотрим.

\* \* \*

Создатель Бога очень устал, каждая простуда сопровождалась осложнениями на легких. Нужен был отдых: как только «Схема истории» была сдана издателю, выехали всей семьей в Альпы, потом Кэтрин и сыновья остались там, а Эйч Джи отправился в турне по Италии и Испании. Сицилия очень ему понравилась;

он стал подумывать о том, чтобы обосноваться на жительство в теплом климате. Средства на это были. Автор был уверен, что ни фунта не получит за свою работу: он слишком плохо думал о человечестве. Успех «Схемы истории» был ошеломительный, сумасшедший: ни одна книга до сих пор не приносила (и не принесет) Уэллсу такую прорву денег.

«Схема истории» была впервые издана Ньюнесом в конце 1919 года — то был незавершенный вариант, с множеством сносок, которые не было времени вносить в текст. Несколько месяцев спустя Ньюнес переиздал ее, доработанную и исправленную, в двух томах: получилось роскошное издание с иллюстрациями и картами; в том же 1920 году на свет появилось третье (опять исправленное) издание. В 1921-м Макмиллан, купивший права на издание в США, выпустил второй и третий вариант книги. Затем последовало переиздание в 1923-м — к тому времени Уэллс наконец разобрался со сносками. Пятое издание будет в 1930-м, шестое — перед войной (к тому времени общий тираж книги насчитывал 2,5 миллиона экземпляров), седьмое — после смерти автора. Каждый раз «Схема» обростала новыми иллюстрациями — в одном из изданий для них даже отвели отдельный том. Ее перевели на десять языков. В 1923-м появилось сокращенное издание — «Краткая история мира», в 1925-м — адаптированный вариант для школьников (его редактором был не сам Уэллс, а кембриджский профессор Картер) — оно переиздавалось 12 раз, в 1929-м — специальное издание для учителей.

Почему «Схема истории» оказалась так популярна? Во-первых, такой книги — «всё про всё» в одном издании — до сих пор не было. Во-вторых, она была революционной и современной. В-третьих, она, несмотря на все ошибки (которых потом найдут огромное количество), была очень хорошо написана.

Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой республики, вспоминал, как читал ее 40 часов подряд, поддерживая себя кофе и горячими ваннами, а высказанные в ней идеи вдохновили его на реформы. Джеймс Генри Брестед, американский историк и археолог, сам написавший большие работы по всемирной истории, приехал в «Истон-Глиб», чтобы сказать Уэллсу, что «Схема истории» заставила его пересмотреть многие свои взгляды. Журналист Роберт Блэтчфорд писал Уэллсу: «Я думаю, что эта книга окажет революционное воздействие на преподавание истории; она также изменит и расширит взгляды всех людей на жизнь и Вселенную». В восторге от книги был, разумеется, Уолтер Липпман: «Как Вы ухитряетесь быть таким современным и идти в ногу с молодым поколением?» Уэллс отправил экземпляр книги Беатрисе Уэбб — та ответила очень милым письмом, дружба восстановилась, что было приятно обоим. Очень высоко оценил книгу и Бертран Рассел, с которым Уэллс, ранее ругавший пацифистов, уже помирился.

Одна из важнейших задач «Схемы истории» была практической — изменить подход к преподаванию истории в школах и высших учебных заведениях. Была ли она достигнута? Американский журналист Флойд Делл писал Уэллсу, что благодаря его книге «теория эволюции наконец перестанет быть пугалом для американцев» и ее начнут преподавать в школах. Начали или нет? Да, начали. Уэллс сделал грандиозное дело — главное дело своей жизни. В Англии «первыми ласточками» стали Сандерсон и другой педагог-новатор — Александр Нейл, директор школы Саммерхилл. Нейл был еще большим новатором, чем Сандерсон: он считал, что школьная дисциплина отучает детей мыслить творчески, и реализовал свои взгляды на практике: в Саммерхилле было свободное посещение уроков, управлялась школа выборным советом из учителей и

учеников. Подобные эксперименты широко внедрялись у нас в первое десятилетие советской власти; хороший ли это подход или нет — вопрос дискуссионный, не исключено, что он может быть эффективным лишь в авторских школах и терпит крах, когда его ставят на поток. В Саммерхилле, во всяком случае, дети учились очень хорошо и потом успешно поступали в институты; методика Нейла также имела успех при работе с так называемыми трудными детьми. Школа Саммерхилл, как и Оундл, функционирует поныне; ООН наградила ее специальным дипломом «за исключительно гуманное обращение с детьми».

Уэллс, Сандерсон и Нейл выступали на конференциях, пропагандируя новые программы по истории; примеру Оундла и Саммерхилл а последовали еще несколько британских школ, потом — несколько сотен. В 1927-м свою школу откроют Рассел и его жена Дора, там тоже будет преподаваться история по Уэллсу. То же происходило в университетах, там активными пропагандистами истории по Дарвину и Уэллсу выступили почтенные и влиятельные профессора-историки Альберт Гедард и Карл Лотус Бейкер. Теорию эволюции в курс истории включили в ряде школ и университетов США. (В 1925-м в штате Теннесси будет принят закон, запрещающий преподавание теории эволюции, а молодой учитель Скопе и несколько его земляков в ответ на это затеют знаменитый «обезьяний процесс», на котором сторонники Дарвина будут публично биться с клерикалами.)

Фрэнк Уэллс продолжал учиться в Оундле; отец также привозил туда малыша Энтони для занятий в подготовительном классе. В тот период Сандерсон задумал строительство «Музея истории»; эту идею они обсуждали с Уэллсом, но не успели воплотить. В 1922-м он приедет в Лондон, чтобы выступить на заседании Национального союза научных работников,



председателем которого к тому времени станет Уэллс. Сразу после доклада Сандерсон потеряет сознание и умрет. Уэллс окажет материальную помощь его вдове и издаст сборник его статей. Миссис Сандерсон его труд не понравится. Тогда он уже без ее содействия напишет и издаст биографию своего друга<sup>[73]</sup> — книга будет иметь успех, и Сандерсона назовут наряду с Уэллсом одним из тех, кто перевернул систему преподавания истории.

Теперь о тех, кто ругал «Схему истории». Это либо те, кто сам был в ней обруган и в отличие от древних римлян, не могущих за себя постоять, не вымер к моменту ее написания, — представители католической церкви и ирландцы, которых Эйч Джи считал самым зловредным народом на свете, — либо специалисты, которые нашли в тексте ошибки. С серьезными и обоснованными возражениями выступили священник Ричард Дауни и специалист по греческой истории Арнольд Гомм; Уэллс обоим написал благодарные письма и многие их замечания в последующих изданиях учел. Резко набросился на книгу пропагандист католицизма Хилэр Беллок, и они много лет публично препирались друг с другом — пик дискуссии пришелся на 1925–1926 годы, — но ни одному не удалось другого переубедить. Были претензии к книге и по мелочам: почему не написано о Шекспире, зачем Будде уделено больше внимания, чем Юлию Цезарю... Уэллс на все эти замечания старался отвечать и некоторые из них учитывал. Он продолжит работать над «Схемой истории» почти до самой смерти.

С этой книгой связан известный литературный скандал: несколько лет спустя после ее появления пожилая канадка Флоренс Дикс обвинила Уэллса в плагиате. Дело было так: в июле 1918-го Дикс предложила Макмиллану рукопись книги по всемирной

истории. Тот взял рукопись, но она девять месяцев пылилась в шкафу и была возвращена автору. В том же году, 20 октября, Уэллс письмом сообщил Макмиллану, что начинает писать «Схему истории». Когда книга Уэллса появилась в Америке, Дикс ее прочла и в 1924-м публично заявила о плагиате, а в 1928-м подала иск в канадский суд, требуя, чтобы Уэллс выплатил ей 100 тысяч фунтов. Рукопись Дикс прочло множество специалистов. Канадский суд в иске отказал; Дикс поехала в Англию и обратилась в Тайный совет — высший судебный орган при монархе Великобритании. Уэллс показал на суде, что не читал текста, написанного Дикс, и не слыхал о его существовании. Показания дал Рэй Ланкастер, рассказавший, как шла работа над книгой. Разумеется, дело опять было решено в пользу Уэллса.хлопоты стоили ему трех тысяч фунтов и много нервов, в результате чего он невзлюбил канадцев и никогда в Канаду не ездил, хотя его приглашали.

Канадцы вынашивали свою месть десятилетиями: лишь в 2001 году канадский историк Маккиллоп опубликовал книгу о «деле Дикс» — «Старая дева и пророк»<sup>[74]</sup>. Он утверждал, что Уэллс был виновен в плагиате: миссис Дикс — благородный Давид, боровшийся с богатым и знаменитым Голиафом. Как в тексте Уэллса, так и в тексте Дикс Маккиллоп обнаружил одни и те же пробелы: почти не говорится об истории Индии и Японии, из истории США выпал большой кусок, а имя одного египетского фараона написано с одинаковыми ошибками. То обстоятельство, что оба автора не придумывали исторические факты и имена, а заимствовали их, используя, как студенты-однокурсники, одни и те же источники, а про Японию с Индией ничего толком не написали, потому что доступного источника не было, Маккиллоп считает

неубедительным. Его главный довод таков: человек физически не мог за год написать такую толстую — два тома в 1324 страницы — книгу, как «Схема истории» (Дикс над своей рукописью работала, по ее утверждению, четыре года). Современным писателям всегда кажется неправдоподобной работоспособность их предков, писавших по пять-шесть романов в год.

Уэллс у Маккиллопа — жестокий человек, который не только обокрал миссис Дикс (ей пришлось заплатить судебные издержки), но и способствовал ее смерти. Правда, Дикс умерла в возрасте девяносто пяти лет (но если бы не Уэллс, могла бы дожить до ста!), а расходы оплачивал ее богатый брат, на чьем содержании она находилась всю жизнь. Но это все неважно, считает Маккиллоп, а важно то, что Уэллс ненавидел миссис Дикс как женщину. В его книге нет упоминаний о великих женщинах, а у Дикс они есть. Так что Маккиллоп сперва доказывает преступление Уэллса на том основании, что их с Дикс книги похожи, а потом — на том основании, что они непохожи. Он замечает, что Уэллс и Эмбер обидел, и с Беатрисой Уэбб был груб — такой человек, конечно, способен обворовать женщину.

Между тем единственная женщина, которая писала вместе с Уэллсом «Схему истории», теперь, когда он в ее помощи не нуждался, совершила поступок, которого от нее вряд ли кто-то мог ожидать. Как и ее муж, Кэтрин Уэллс приобрела для себя квартиру в Лондоне, в районе Блумсбери. Его она никогда туда не приглашала. Она работала над романом — эта работа так и не будет завершена — и написала несколько рассказов, что войдут в «Книгу Кэтрин Уэллс». «Она объяснила мне, для чего ей это нужно, и я все принял: в тайной квартире, удаленной от жизни, что обычно вращалась вокруг меня, она размышляла, мечтала, писала, бесконечно и бесплодно искала чего-то, что казалось ей утерянным, упущенным, оставшимся в

стороне. Там воплощалась ее мечта об острове красоты и совершенства, на котором она жила одна, бывала этим счастлива, а иногда — просто одинока. В ее мечтах жил возлюбленный, который так и не появился. То был голос, следы во влажной траве, роса поутру...» Читателя, который подумает, что возлюбленный у миссис Уэллс таки появился, мы разубеждать не станем. Она навсегда останется одной из самых непроницаемых и загадочных «литературных жен».

\* \* \*

Весной 1919 года Уэллс продолжал состоять в исследовательском комитете Общества Лиги Свободных Наций, но только по инерции. Повторялась фабианская история: работать в коллективе, где ничье мнение не считается истиной в последней инстанции и не издаются приказы, которые выполнялись бы беспрекословно и сразу, он решительно не умел. (И этот человек утверждал, что ненавидит армию!) В мае он жаловался в письме Меррею на тоску, одолевавшую его на заседаниях комитета; в июне он подал в отставку. Да и комитет уже стал не нужен: ведь Лига Наций была создана — «эта жалкая, педантичная фикция», «это беззубое подобие мирового парламента», «эта беспомощная организация», как охарактеризовал ее Уэллс. Что же ему так не понравилось?

В январе началась Парижская мирная конференция, которую очевидцы впоследствии назовут «чудовищно бестолковым и хаотическим сборищем», на которой все с первого дня насмерть перессорились и которая сделала очевидными противоречия между тремя главными участниками: Францией, Англией и США. Французы хотели полного растерзания Германии, англичане были умереннее (ибо не желали усиления

Франции), а Вильсон, о котором языкатый Ллойд Джордж скажет, что он «смотрел на себя как на миссионера, призванием которого было спасение бедных европейских язычников», против расчленения Германии возражал и требовал рассматривать будущий мирный договор в пакете с договором об учреждении Лиги Наций. Народы Европы принимали Вильсона как героя-миротворца, и ему удалось одолеть своих союзников: перемирие заключили на основе «14 пунктов», проект устава Лиги — также на основе «14 пунктов» — в мирный договор внесли. Но, начав обсуждать устав, опять переругались. Шантажировали друг друга, хлопали дверьми (иногда — в буквальном смысле), уходили, возвращались... (В один из дней на вопрос Хауза, как прошло совещание с Клемансо и Ллойд Джорджем, Вильсон ответил: «Превосходно — мы разошлись по всем вопросам».) Да, это были политики — худшие из людей, по мнению Уэллса. Но, окажись сам Уэллс в числе делегатов конференции, он, с его неумением работать коллективно, вряд ли вел бы себя лучше.

28 июня был заключен Версальский мирный договор, по условиям которого Германия теряла много территорий и почти все колонии, должна была выплачивать громадные репарации, не имела права держать большую армию и т. д. Почти сразу после Версаля Кейнс опубликовал книгу «Экономические последствия мира», где доказывал, что так наказывать побежденную страну обойдется себе дороже: если в Германии создастся экономическая нестабильность, это приведет к тому, что и другие страны Европы не смогут выплатить Штатам гигантские долги, которые они наделали за время войны.

(Так и вышло; и после недолгого экономического подъема в ведущих государствах начались кризис и спад.) Кроме того, экономическая нестабильность

тащит за собой политическую: большинство историков считают, что именно жестокие условия, в которые поставили Германию, в конце концов привели к власти Гитлера. И, наконец, не стоит ожесточать врага, загоняя его в угол. «Вы можете лишить Германию ее колоний, — писал Ллойд Джордж, — довести ее армию до размеров полицейской силы и ее флот до уровня флота державы пятого ранга. В конечном итоге это безразлично: если она сочтет мирный договор 1919 года несправедливым, она найдет средства отомстить победителям». У Уэллса, помимо этих соображений, было свое: поскольку Германия стала демократической страной, мировое сообщество должно ей помогать.

Что касается самой Лиги Наций, вроде бы многое из идей Уэллса в устав вошло: Лига Наций признавала, что всякая война «интересует Лигу в целом» и последняя должна принять все меры для сохранения мира. Лига признала необходимым «ограничение национальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим действием». Совету предлагалось, учитывая «географическое положение и особые условия каждого государства», подготовить планы ограничения вооружений и внести их на рассмотрение заинтересованных правительств. Вот только на практике ничего этого реализовано не было, иначе бы не случилось новой мировой войны. Да и могло ли выйти что-то из организации, в которую принимали только избранных и куда отказались вступить сами ее инициаторы? Ведь Конгресс США не ратифицировал предложение президента о вступлении в Лигу, мотивируя отказ нежеланием участвовать в европейских делишках. Бедный Вильсон так и не смог оправиться от этого удара.

Была ли от Лиги Наций какая-нибудь польза? Вопрос сложный. Отметим одно: это был опыт. В науке, которую так уважал Уэллс, отрицательный результат эксперимента так же важен, как и положительный. Ошибки будут в какой-то степени учтены при создании ООН. От нас зависит, будем ли мы пытаться дальше — пусть с новыми ошибками — совершенствовать это строение или предпочтем плюнуть и, крича «он первый меня ударил», разбежаться по своим углам. Сам Уэллс терпеливо работать и ждать не умел. Он предпочел «плюнуть». Но пока только на Лигу, а не на человечество.

## **Глава четвертая ОКТЯБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ, ИЛИ РОССИЯ НА ДНЕ**

«Естественно, когда желаешь посмотреть школу или тюрьму (курсив мой. — М. Ч.), показывают не самое худшее. В любой стране показали бы лучшее, и Советская Россия — не исключение». Это — знаменитая «Россия во мгле» (Russia in the Shadows), которую в пух и прах разругали англичане и русские, советские и эмигранты. Справедливо ли? Давайте разбираться...

Зачем Уэллс к нам поехал? Куприн писал об этом так: «Не может быть, чтобы вожди Совдепии не предложили знаменитому романисту за его благосклонное, приятное и рассеянное внимание какой-нибудь веской мзды, хотя бы и в весьма замаскированном виде. Ведь они так привыкли к тому, что все берут. Однако я верю и в то, что Уэллс откажется от этого бакшиша. И тем не менее положение его будет крайне двусмысленное. Не сказать — останется навсегда пятно на накрахмаленной и наглаженной до блеска совести англичанина. Сказать — насмарку все путешествие, к черту вся построенная

утопия и в корзинку новый, задуманный и уже начатый фантастический роман». А это — Бунин: «Похоже, что Уэллс поехал в Россию, где остались только прекрасные спички, хризантемы и поэзия советских поэтов, частью из любопытства, частью потому, что такие поездки дают сенсационный материал для статей, и, главное, с целью патриотической: подтвердить „правильность“ английской политики, говорящей, что Россия все равно погибла и что для ее же блага нужно вступить в сношения с правительством, увы, единственно достойным ее...» И если первый написал про «бакшиш», скорее всего, со зла, то второй в том, что касалось целей поездки, был совершенно прав.

В период визита Уэллса в СССР Великобритания еще не признала советское правительство, но шаг уже был сделан. В январе 1920 года по инициативе англичан Верховный совет Антанты принял решение о снятии блокады и возобновлении торговли «с населением России» (такая формула исключала признание большевистского правительства). Реально это решение начало осуществляться с мая 1920-го, когда в Лондон прибыла советская торговая делегация во главе с Красиным. В августе, когда делегация снова посетила Лондон, она стала чем-то вроде неофициального посольства. В этот раз в ее составе был Каменев, с которым Беатриса Уэбб познакомила Уэллса (с Красиным тот был знаком заочно через Ариадну Тыркову-Вильямс). Каменев официально пригласил Уэллса посетить Россию. Еще раньше такое предложение делал Горький — в письмах. Звали Уэллса, естественно, не просто так, а чтобы он написал об увиденном в европейской прессе: исходя из его прежних статей можно было рассчитывать на благожелательный отчет, который мог повлиять на общественное мнение в Европе. Но мог ли он оказать влияние на решения, принимаемые властью? И «наши



советские», полагавшие, что Уэллс в «России во мгле» оклеветал советскую власть, и «наши эмигранты», утверждавшие, что он лизал ей пятки, сильно преувеличивали его влияние на британских политиков. Мы только что видели, что никто из европейских политиков даже не подумал прислушаться к тому, что Уэллс писал, к примеру, о Лиге Наций. Красин уже обосновался в Лондоне<sup>[75]</sup>, и смешно думать, что отчет Уэллса, окажись он вдруг неблагоприятным, мог что-то изменить.

Другая цель поездки была — желание увидеть, что такое коммунизм. Весной Эйч Джи писал Горькому, что, по его мнению, в России происходит «что-то непонятное, удивительное и страшное». Горький отвечал: «Я не закрываю глаза на негативные последствия войны и революции, но я вижу, с другой стороны, как растет созидательная сила в массах, как народ постепенно становится активной силой». Уэллс спрашивал, что за человек Ленин, Горький написал, что тот «совершенно не отравлен властью. По натуре это пуританин, который живет в Кремле так же тихо и скромно, как он жил эмигрантом в Париже». Бертран Рассел, незадолго до Уэллса посетивший Россию и встречавшийся с Лениным, не отрицал, что тот живет скромно, но в целом был о советском вожде плохого мнения. Кому верить? Надо посмотреть самому. Рассел, кстати, сообщил, что Горький тяжело болен, Эйч Джи это известие по-настоящему расстроило, так что из мотивов его поездки нельзя исключать и желание увидеть старого друга.

Для газетчиков цель поездки Уэллса была познавательной: отважный путешественник расскажет об экзотической стране. Уэллс заключил договор с «Санди экспресс» на эксклюзивную серию очерков (газета сразу покупала права на публикацию их в США и

Канаде; условие — не давать интервью до публикации). Редакция выдала ему тысячу фунтов — так что бакшиш был, но не от наших, а от своих. Из-за этих переговоров он не успевал уехать вместе с Каменевым — тот отбыл в Россию 11 сентября в сопровождении скульптора Клэр Шеридан, которая намеревалась лепить бюсты советских руководителей.

Уэллс, несмотря на все свои потуги и специальную методу — писать русские слова в латинской транскрипции, — так ничего по-русски и не выучил; решили, что в качестве толмача поедет Джип. Тот, также не надеясь на свой русский, взял несколько уроков у друга семьи Вулф С. С. Котелянского. Написали Горькому, прося забронировать номера в «Национале», где жил Уэллс в прошлый приезд. Горький отвечал, что гостиницы в Петрограде не работают и рестораны тоже, и света нигде нет, и еды, так что лучше будет жить у него.

Отец и сын взяли с собой еду и отправились, как все тогда ездили, морским путем — через Стокгольм и Ревель (Таллин). Останавливались в Праге, где публика восторженно принимала Уэллса. 26 сентября были в Петрограде. Ольга Берггольц, никогда с Уэллсом не встречавшаяся, в «Дневных звездах» напишет с ненавистью: «Смотрел, как на сцену, из окна отдельного купе в хорошем вагоне, где ехал со своим сыном, со своим английским кофейным прибором, пледом и консервами, привезенными из Англии». Плед был (даже два!), и кофейный прибор, и консервы — они, правда, предназначались в подарок хозяевам. Горький жил в доме 23 на Кронверкском проспекте (потом названном его именем), в квартире из одиннадцати комнат (она была соединена из двух квартир). Об этой знаменитой квартире написано множество воспоминаний. Там была хорошая мебель и много красивых вещей — в остальном жили немногим лучше

обыкновенных петроградцев. Виктор Шкловский в интервью журналисту Кэтрин Райдел рассказывал: «У него, значит, была удобная, громадная комната с петровской мебелью, два сиамских крупных белых слона. И, значит, очень холодно, очень холодно. Так что, громадный диван и большая доха, оленья. Так что, мы обыкновенно там лежали под дохой». У Горького вечно толкались посетители — администраторы Дома искусств, Дома ученых, издательства «Всемирная литература», а также, по словам Ходасевича, «артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы». Иногда люди заходили попить чаю и оставались жить на месяцы.

Осенью 1920-го в одиннадцати комнатах на Кронверкском обитали: сам хозяин, его жена Андреева (она чаще отсутствовала), секретарша хозяина Мария Игнатьевна Бенкендорф, секретарь хозяйки Петр Петрович Крючков, художник Иван Николаевич Ракицкий, Валентина Михайловна Ходасевич (племянница Владислава Ходасевича) с мужем Андреем Романовичем Дидерихсом и Мария Александровна Гейнце, по мемуарам известная как «Молекула» — сирота, дочь знакомых Горького. «Образовалось нечто вроде „коммуны“», — вспоминала Валентина Ходасевич в книге «Портреты словами». — «Все мы работали. Пайки получали эпизодически по месту работы — приносили домой в общий котел; они скудные, а тащить трудно. Давали то яблоки полугнилые, то воблу вяленую или ржавые обжигающе-соленые селедки, то чечевицу, то горох, а то конопляное семя (никто не знал, что с ним делать). Выяснилось: им любят питаться канарейки — канареек не было».

Англичанам отвели большую комнату, в которой стояли две хорошие кровати и жили Бенкендорф и Гейнце (одну выселили к Ходасевичам, другую к Ракицкому). Жить вдвоем в одной комнате Уэллсам

казалось странно, но в остальном атмосфера была такая, к какой они привыкли: гости, застолье, игры, шутки, анекдоты, розыгрыши, куплеты, шарады; все обитатели квартиры имели прозвища — как в «Истон-Глиб». Хозяин был болен туберкулезом, харкал кровью, температурил по ночам, но курить не бросал и во всяком шутовстве принимал участие. Эйч Джи, сам легочный больной, с характерным для мужчин невниманием к чужим болячкам счел, что Рассел ошибся и его старый друг «так же здоров и бодр на вид, как в 1906 году, когда мы с ним познакомились».

В первый же день обнаружилось, что объясняться по-русски Джип не может. Бенкендорф знала английский — ее отрядили сопровождать гостей. Все, кто видел Уэллсов, отмечают, как сильно они, «сытые и гладкие», отличались от нас. Шкловский: «Уэллс — очень аккуратный, полный, сильный, большого роста, с большим количеством чемоданов, хорошо запертых. Сын любил писать. И когда он писал, то у него со всех карманов звучали ключи, как будто он шаман, железом который машет. Но человек умный, Уэллс, сын — поглупее. Уэллс удивлялся, откуда у нас так много кожаных курток, откуда кожа и почему повсюду продают цветы?» Никому не понравились гости; хоть чем-нибудь да не понравились. Николай Чуковский писал со слов своего отца, что Уэллсы «оказались на редкость неразговорчивыми и даже вопросов почти не задавали. Они как будто чего-то все время боялись, хотя чего именно, понять было невозможно». Боялись в тогдашнем Петрограде не только Уэллсы. Вроде бы иностранцев не могли арестовать — но мало ли? Джон Рид два месяца тому назад в России умер от тифа. Было чего бояться...

Джипу было 18 лет: студент-зоолог, беспрестанно говоривший о животных, он не мог заинтересовать старшую часть населения квартиры и его поручили

Валентине Ходасевич, которая объяснялась с ним по-французски. Она ежедневно водила юношу по городу. Пришли в зоопарк: «Было чудом, что порядочное количество зверей еще были живы, но на многих кожа висела складками и казалась с чужого плеча. Очень грустные глаза были у льва, которому при нас принесли в бадье какое-то вегетарианское месиво из муки и ботвы: понятно, что загрустишь! Я старалась что-то привирать Джипу, уверяя, что это „разгрузочный день“, да и не всегда в Петрограде бывает свежее мясо... „Да-да, я понимаю...“ — говорил Джип». В зоопарк они ходили каждый день, пытались подкармливать умирающих зверей. Неизвестно, был ли в зоопарке старший Уэллс. Звери его не особенно интересовали. Он приехал смотреть «школу или тюрьму», но в тюрьму его не повели. В его тексте есть слова «нам показали почти все, что мы хотели посмотреть», а Мария Бенкендорф говорила Берберовой, что Уэллс просил ее — безрезультатно, разумеется, — сводить его на Гороховую, в ЧК.

А школа была, на следующий день после приезда, — знаменитое Тенишевское училище. Благодаря Корнею Ивановичу Чуковскому и его сыну этот эпизод многократно кочевал из одной книги в другую. Сам Уэллс пишет: «Школа была исключительно хорошо оборудована, гораздо лучше, чем рядовые английские начальные школы; дети казались смелыми и хорошо развитыми. Но мы приехали после занятий и не смогли побывать на уроках; судя по поведению учеников, дисциплина в школе сильно хромала. Я решил, что мне показали специально подготовленную для моего посещения школу и что это все, чем может похвалиться Петроград. Человек, сопровождавший нас во время этого визита (Чуковский. — М. Ч.), начал спрашивать детей об английской литературе и их любимых писателях. Одно имя господствовало над

всеми остальными. Мое собственное. <...> Опрос продолжался, и дети перечислили названия доброй дюжины моих книг. Тут я заявил, что абсолютно удовлетворен всем, что видел и слышал, и не желаю больше ничего осматривать... и покинул школу с натянутой улыбкой, возмущенный организаторами этого посещения».

Чуковский потом пояснял, что никого специально к визиту Уэллса не готовили, просто в Тенишевском всегда был высокий уровень обучения, особенно по гуманитарным дисциплинам. По-видимому, Уэллс действительно ошибся: ряд учащихся Тенишевского (Владимир Познер, Симон Дрейден, Евгения Лунц) впоследствии подтвердили, что их никак не готовили. Чуковский был оскорблен и принял организационные меры: «Вестник литературы» опубликовал его письмо, озаглавленное «Свобода клеветы», где предлагалось «поставить вопрос об отношении зарубежной печати к оставшимся в России литераторам во всей принципиальной широте». Уэллс мнения своего не переменял даже после разговора с Познером, много лет спустя встречавшимся с ним в Лондоне. Он потребовал, чтобы его повели в другую школу: «Я был уверен, что первый раз меня вводили в заблуждение и теперь-то я попаду в поистине скверную школу. На самом деле все, что я увидел, было гораздо лучше — и здание, и оборудование, и дисциплина школьников». Хитроумные русские опять провели англичанина: вторая школа была не менее знаменита, чем Тенишевское, — Петришуле, старейшая школа Петербурга с усиленным изучением немецкого языка. «Под конец мы решили проверить необычайную популярность Герберта Уэллса среди русских подростков. Никто из этих детей никогда не слышал о нем. В школьной библиотеке не было ни одной его книги. Это окончательно убедило меня в том, что я

нахожусь в совершенно нормальном учебном заведении».

Уэллс заметил также, что в общем и целом советские школы ничем не отличаются от английских, что «русские коммунисты — убежденные противники наказания детей», что «русские дети развиваются поразительно быстро для северян» и что «совместное обучение подростков до 15-16 лет в стране с такими расшатанными устоями, как Россия наших дней, привело к дурным последствиям» — об этом он узнал, когда к Горькому пришли бывший глава петроградской ЧК Бакаев и будущий первый секретарь Петроградского губкома Залуцкий: беседа проходила в присутствии Уэллса. «Несомненно только, что в городах России наряду с подъемом народного просвещения и интеллектуальным развитием молодежи возросла и ее распущенность, особенно в вопросах пола; и все это происходит в то время, когда старшее поколение соблюдает беспримерную, пуританскую моральную чистоту». Любопытно, конечно, откуда он взял эту «беспримерную моральную чистоту». Шкловский в статье «Петербург в блокаде» писал, что от голода и холода «у мужчин была почти полная импотенция, а у женщин исчезли месячные...». Поневоле будешь морально чист, когда все мысли — где достать еды и как согреться... Показали Уэллсу и приемник-распределитель для беспризорных: «Мы провели некоторое время среди детей, всесторонне знакомясь с их жизнью в приемнике, и они показались нам здоровыми, довольными и счастливыми».

Культурная программа открывалась, как водится, банкетом: он состоялся 30 сентября<sup>[76]</sup> в Доме искусств<sup>[77]</sup>. Об этом злополучном обеде существует множество воспоминаний, изрядно противоречащих друг другу. Евгений Замятин в очерке «Уэллс» писал:

«Наскоро сорганизованный обед превратился в торжественное чествование английского гостя с целым рядом речей». Насчет «наскоро сорганизованного» Замятин, похоже, ошибся. Чтобы у нас, хоть в самый голодный год, да не попытались пустить пыль в глаза заезжему иностранцу — быть такого не может. Встреча с Уэллсом первоначально планировалась на 28 сентября, но толпа голодных поэтов напрасно протомилась в Доме искусств — к приему не были готовы. Николай Оцуп вспоминал: «Заведующий хозяйством Дома искусств позвал на экстренное совещание писателей и предложил им утвердить меню обеда в честь Уэллса. Накормить английского гостя можно было очень хорошо (чтобы пустить ему пыль в глаза). „Совещание“ этот план отвергло: пусть знает Уэллс, как питается русский писатель...<...> Принято было среднее решение: пира не устраивать, но и голодом Уэллса не морить». Михаил Слонимский: «Длинные столы в большом зале были покрыты чистыми скатертями Елисеева. На столах не только хлеб и колбаса, но у каждой тарелки лежала даже палочка настоящего, давно не виданного шоколада. Горело электричество, топилась печь». Другой очевидец, Юрий Анненков, на чьем тексте базируются почти все рассказы о том банкете: «По распоряжению Продовольственного Комитета Петербургского Совета в кухню „Дома Искусств“ были доставлены по этому случаю довольно редкие продукты».

Кто был на этом обеде? Всего — человек тридцать; к сожалению, не существует ни полного списка присутствовавших, ни стенограмм выступлений. «Блистали своим отсутствием» Блок (хотя он был в ДИСКе 28-го), Ходасевич, Мандельштам. Присутствовали Гумилев, Георгий Иванов, Замятин, Анненков, Шкловский, Оцуп, Чуковский, Александр Грин, Михаил Лозинский, Амфитеатров, Евреинов,



Питирим Сорокин, Пуни, Ольденбург, Волынский, Данзас, Чудовский, Слонимский<sup>[78]</sup>. Предположительно были Николай Тихонов, Ида Наппельбаум, Ирина Одоевцева, Владимир Пяст, Всеволод Рождественский. Накануне, 29-го, в ДИСКе состоялось юбилейное чествование Михаила Кузмина — вполне вероятно, что Кузмин со своей обычной свитой был там на следующий день.

Кто и что говорил? Источники опять расходятся: по мнению «советских», выступавшие были, и лишь отдельные личности защищали советскую власть. Слонимский: «Когда начались речи, состав собравшегося общества определился ясно. Особенную активность проявляли журналисты закрытых газет. Отдельные голоса советских литераторов заглушались ораторским темпераментом людей, выбывших вскоре после этого вечера в эмиграцию. Эти ораторы жаловались, просили помощи, клеветали...», а речь Грина «резко отличалась от ряда произнесенных на этом банкете речей, в которых было немало пошлого, глупого и враждебного Советской власти». Чуковский вспоминал недружелюбное по отношению к Советам выступление Сорокина. «Антисоветские», напротив, пишут, что все речи были хвалебные и лишь единицы высказались критически. Ходасевич (сам на банкете не бывший): «Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А. В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам». Берберова (тоже с чужих слов): «А если и были некоторые скрипучие голоса на этом вечере, то только тех людей, которых усиленно, но безуспешно пытались не пригласить в Дом искусств; они все-таки явились со

зловредной целью нажаловаться Уэллсу на то, что с ними сделали, и показать, до чего они доведены». По словам Анненкова, на обеде речей как таковых было всего две — приветственная Горького и ответная Уэллса, а все остальное время шла «обычная беседа на общие темы». Чуковский записал в дневнике: «Замятин беседовал с Уэллсом о социализме. Уэллс был против общей собственности. Горький защищал ее». Сам Замятин приводит полный перечень выступавших (с речами или репликами): «Говорили по-русски: А. В. Амфитеатров, В. Ф. Боцяновский, А. С. Грин, М. Горький, И. Пуни, П. Сорокин, К. И. Чуковский, В. Б. Шкловский; по-английски: Ю. П. Данзас, Евг. Замятин, С. Ф. Ольденбург, Чудовский; речи говоривших по-русски переводились Уэллсу». (Переводили Мария Бенкендорф и Замятин.) Но случился на том обеде один инцидент, о котором не забыл никто: выступление Амфитеатрова. Анненков подробно описал этот эпизод:

«— Вы ели здесь, — обратился он (Амфитеатров. — М. Ч.) к Уэллсу, — рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные специально в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами, чем-то более соблазнительным, чем ваша сигара! Правда, вы видите нас пристойно одетыми; как вы можете заметить, есть среди нас даже один смокинг. Но я уверен, что вы не можете подумать, что многие из нас, и может быть, наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, „бельем“... <...>

После минутного молчания сидевший рядом со мной Виктор Шкловский <...> сорвался со стула и закричал в лицо бесстрастного туриста:

„— Скажите там, в вашей Англии, скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим! Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду, мы ненавидим вас за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки, за ужас и за голод, которые нас уничтожают, за все то, что с высоты вашего благополучия вы спокойно называли сегодня „курьезным историческим опытом“! <...>

— Слушайте, вы! равнодушный и красноречивый! — кричал Шкловский, размахивая ложкой. — Будьте уверены, английская знаменитость, какой вы являетесь, что запах нашей крови прорвется однажды сквозь вашу блокаду и положит конец вашему идиллическому, трам-трам-трам, и вашему непоколебимому спокойствию!“

Герберт Уэллс хотел вежливо ответить на это выступление, но перепутал имена говоривших, которые в порыве негодования кинулись друг на друга с громогласными объяснениями...»

Шкловскому эпизод запомнился несколько иначе, особенно в том, что касается его собственной речи: «Выступил Амфитеатров, который говорил о том, что на нас одето — это хороший костюм, а под этим костюмом обрывки грязного белья... <...> Горький говорил: „Знаете, нехорошо так жаловаться“. Я выступил...<...> „Вы нам устроили блокаду. У нас закрыт порт, вот недавно к нам пришел корабль, который привез немножко еды и духи. Мы эти духи меняли в окрестностях, хорошие французские духи. И вот отношения испорчены навсегда. Ну, словом, это не забудем“. Уэллс ответил: „Я не отвечаю за это, политика ужасная...“» Слонимский: «Тут он [Амфитеатров] взъярился и, вообразив себя, очевидно, перед

многотысячной аудиторией, завопил: „Но если все здесь скинут с себя верхние одежды, то вы, господин Уэллс, увидите грязное, давно не мытое, клочьями висящее белье!“ Тут Алексей Максимович улыбнулся.<...> Это уже был анекдот. Стараясь разоблачить перед иностранным гостем „ужасы революции“, противники самым комическим образом разоблачали самих себя». А вот воспоминания Оцуа о выступлении Амфитеатрова: «Речь эта, взволнованная и справедливая, вызывала все же ощущение неловкости: равнодушному, спокойному, хорошо и чисто одетому англичанину стоило ли рассказывать об этих слишком интимных несчастьях. Гумилева особенно покорило заявление о неделями не мытом белье писателей. Он повернулся к говорящему и произнес довольно громко: „Parlez pour vous!“».

Все сходятся на том, что Амфитеатров на Уэллса злобно кричал. Перевод, вероятно, кое-что смягчил, но интонация не могла от Эйч Джи ускользнуть. Из его собственного комментария следует, что он не обиделся: «...г. Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и — что касается меня — совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета». Вообще-то Эйч Джи физически не переносил, когда на него орали, мгновенно ошетинивался и слов кричащего уже не воспринимал. Вероятно, если бы Амфитеатров высказался в спокойном тоне, Уэллс отнесся бы к его речам иначе. Впрочем, это ничего бы не изменило. Из присутствовавших на обеде лишь единицы умрут на родине и притом в своей постели.

Что говорил и как вел себя сам Уэллс? Николай Чуковский со слов отца пишет, что он слушал речи «с растерянным, страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать». Георгию Иванову в нем увиделись «величие, важность, небрежность». Но в большинстве описаний ссылаются на Анненкова: «В ответ наш гость, с английской сигарой в руке и улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им — иностранным путешественником — от возможности лично понаблюдать „курьезный исторический опыт, который развертывается в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией“». С английской сигарой, улыбается, «курьезный» опыт, «удовольствие» — что за чудовище! Но все же давайте разбираться.

Человека чествуют на банкете — он должен не улыбаться, а нахмуриться и сказать: «Я недоволен тем, что меня сюда позвали, и за ваши дурацкие приветствия вам ничуточки не признателен»? А сигара в руке? Уэллс был человек более-менее светский, привыкший к обществу: не мог он произносить речь, куря сигару, если только в это же время не курили и остальные (а они наверняка курили — Горький вообще не расставался с папиросой). И наконец, самое ужасное слово — «курьезный». Английское *curious* можно перевести и так. Но у этого слова много других значений. Прежде всего — «познавательный». Трудно сказать, ошиблись ли переводчики или сам Анненков, а только Уэллс, не будучи мертвецки пьян, не мог назвать русскую революцию «курьезной». Он называл «курьезными» наши порядки, а не революцию, да и то лишь в частных разговорах с соотечественниками. Ничего «курьезного» он в России не увидел, кроме одного: «Я хочу сказать лишь несколько слов о доме отдыха для рабочих на Каменном острове. Это начинание показалось мне одновременно и

превосходным и довольно курьезным. Рабочих посылают сюда на 2–3 недели отдохнуть в культурных условиях. <...> И рабочий должен вести себя в соответствии с этой изящной обстановкой; это один из методов его перевоспитания. Мне рассказывали, что, если отдыхающий забудется и, откашлявшись, по доброй старой простонародной привычке сплюнет на пол, слугитель обводит это место мелом и предлагает ему вытереть оскверненный паркет».

С той же неприязнью, с какой наши (и советские, и эмигранты) описывают выбритые щеки и приличный пиджак Уэллса, они отмечают то, что он написал о «гибнущем», по его же выражению, Петрограде: «Спичек здесь больше, чем было в Англии в 1917 году, и надо сказать, что советская спичка — весьма недурного качества. Но такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни и одеяла, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду достать невозможно», «При простуде и головной боли принять нечего; нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку». А еще он купил тарелку за 800 рублей...<sup>[79]</sup> Мы гибнем, а эта сытая сволочь тарелки покупает и жалуется на всякую чепуху: ах, на витринах краска облупилась, ах, трамвай ходит только до шести! «Мне, которому слишком не новы многие открытия Уэллса насчет ужасов в России, — писал Бунин, — было все-таки больно и страшно читать его; мне было стыдно за наивности этого туриста, совершившего прогулку к „хижинам кафров“, в гости к одному из людоедских царьков (лично, впрочем, не людоеду, „он не коммунист, как и я“) — стыдно за это неподражаемое: „бедные дикари, у них нет даже бутылки горячей воды для постели!“ — стыдно за бессердечную элегичность его тона по отношению к великим страдальцам, к узникам той людоедской темницы с „ванной и

парикмахером“, куда он, мудрый и всезнающий Уэллс, вошел, „как неожиданный луч света“, куда „так легко“, так непонятно легко для этих узников прогулялся он, „свободный, независимый“ гражданин мира, не идеального, конечно, но ведь все-таки человеческого, а не скотского, не звериного, не большевистского...»

Да, текст Уэллса нам режет ухо (или сердце), но он писался не для нас. Он был предназначен для людей, которые не поймут, что творится с Петроградом, если не объяснить на доступных им примерах. Уэллс написал вначале общие слова «подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке», употребил выражения «колоссальный непоправимый крах», «катастрофа», «невероятные лишения»; но как донести смысл этих выражений до лондонцев? Вообразите себе, у них даже магазины не работают! Это последняя степень падения!.. Обратим внимание: в «России во мгле» Уэллс и своим пророчит разруху, если не реорганизуют общество на социалистический (но не большевистский) лад, и для описания грядущей катастрофы использует тот же довод: «Магазины Риджент-стрит постигнет судьба магазинов Невского проспекта»... Примечательно, что то же самое, что возмутило Бунина, не понравилось и советским. Александр Беляев: «Иностранец не слышал уличных разговоров, в которых можно было услышать радость нового пролетарского города. Он улавливал ухом только слова „нэп“, „пайки“, так уж было устроено его ухо». Глухо к «музыке революции», как скажет Троцкий, и восприимчиво только к ее плоти.

Хорошо еще, что Бунин, когда писал свою статью «Несколько слов английскому писателю», не знал некоторых замечаний Шкловского — тот вспоминал один из своих разговоров с Уэллсом: «Уэллс тогда сидел, а сын занимался своими делами, и он мне говорил. Он мне говорил, что в этой стране надо

спекулировать. <...> Спекулировать, потому что здесь, говорит, такие вещи продаются, нефрит выбрасывается... старый английский фарфор, китайский фарфор, английский, ворует»». Трудно судить, не перепутал ли пожилой Шкловский чего-нибудь. В «России во мгле» Уэллс писал о спекулянтах: их расстреливают (он полагал, что только их), и это правильно, ибо иначе невозможно бороться с голодом. Маловероятно, что он призывал кого-то заняться спекуляцией.

Культурная программа включает посещение театров — с этим все было как прежде. «Мы слышали величайшего певца и актера Шаляпина в „Севильском цирюльнике“ и „Хованщине“; музыканты великолепного оркестра были одеты весьма пестро, но дирижер по-прежнему появлялся во фраке и белом галстуке. Мы были на „Садко“, видели Монахова в „Царевиче Алексее“ и в роли Яго в „Отелло“ (жена Горького, г-жа Андреева, играла Дездемону)». С Шаляпиным Уэллс познакомился и был потом у него в гостях: «Революция так мало коснулась г-жи Шаляпиной, что она спрашивала нас, что сейчас носят в Лондоне. Из-за блокады последний дошедший до нее модный журнал был трехлетней давности». (Шаляпины отдадут визит, когда приедут в «Истон-Глиб» на уик-энд.) Встретился с композитором Глазуновым, с которым познакомился в Лондоне: «Он вспоминал Лондон и Оксфорд; я видел, что он охвачен нестерпимым желанием снова очутиться в большом, полном жизни городе, с его изобилием, с его оживленной толпой, в городе, где он нашел бы вдохновляющую аудиторию в теплых, ярко освещенных концертных залах. Мой приезд был для него как бы живым доказательством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым виднелись пустынные в сумерках воды холодной свинцово-серой Невы и неясные очертания



Петропавловской крепости. „В Англии не будет революции, нет? У меня было много друзей в Англии, много хороших друзей...” Мне тяжело было покидать его, и ему очень тяжело расставаться со мной...» Джип в это время побывал в Обуховской больнице и рассказывал о ее бедственном положении. Ничего «курьезного» Уэллс во всем этом не находил. Всякий, кто даст себе труд прочесть «Россию во мгле», увидит, что ему было тягостно и тоскливо.

Ходили с Марией Бенкендорф в Эрмитаж, гуляли, ездили на Васильевский остров. По вечерам сидели за столом с гостями, потом Горький чаще всего уводил Эйч Джи к себе в кабинет и там они до глубокой ночи разговаривали при посредничестве переводчицы, обсуждая совместные прожекты, Горькому очень понравилась «Схема истории», он намеревался перевести ее на русский (это не было сделано). Правомерно называть Горького и Уэллса друзьями — или это натяжка? Они виделись три раза. После первой встречи в Штатах переписывались регулярно, хотя не очень часто. Но их идейная близость была велика: дабы не углубляться в литературоведение, изложим основные сходства, опуская аргументацию. Итак, общее:

1. И Уэллсу, и Горькому активно не нравился человек нашего вида. (Павел Басинский свою книгу о Горьком заключил придумкой, что Горький мог быть инопланетянином, посланным в наш мир; то же можно сказать об Уэллсе.)

2. Оба мечтали о пришествии ему на смену другого, качественно нового человека.

3. Были убеждены, что такой человек должен формироваться путем просвещения, воспитания и образования, которое желательно начинать с детства.

4. Очень не любили крестьянство, деревню и так называемый «Восток».

5. Единственной стоящей социальной группой считали интеллигенцию.

6. Не верили в массы, а только в передовые группы просвещенных людей.

7. Были привержены энциклопедизму, пытались написать (или организовать, чтобы другие написали) «всё про всё».

8. Занимались богостроительством (Горький — больше, Уэллс — меньше); у обоих Богом — если предельно упростить — назывались симпатичные им человеческие черты: что-то вроде мужества у Уэллса, что-то вроде совести у Горького.

Эрудированный читатель, без сомнения, найдет чем продолжить этот ряд. Сходства были не только идеологические, но и человеческие: оба оказывали очень много практической помощи другим людям (и при этом обоих называли злыми — зачастую называли люди, которые сами никому не помогали, аргументируя это тем, что лучше с Богом в душе напакостить своему ближнему, чем без Бога в душе ему помочь); оба были резки в высказываниях, часто ссорились и мирились с окружающими; оба питали чрезвычайную, почти болезненную слабость к женскому полу; оба любили веселье, суету, гостей и «дым коромыслом».

Различия же не особенно значительны. Уэллс ненавидел Маркса, Горький был к нему безразличен; Уэллс терпеть не мог пролетариата, Горький его не то чтобы любил, но относился скорее с симпатией. Имелись различия и в характерах: Горький, к примеру, стоически переносил болезни, Уэллс, болея, капризничал как ребенок; Горький был умелым организатором, Уэллс — никудышным. Ряд опять же можно продолжать, но вряд ли найдется что-то принципиальное. У Уэллса все смягчалось его «английскостью», у Горького обострялось его «русскостью». Они были похожи как близнецы, которых

после рождения поместили в разную среду. Что же касается творческого метода и стиля, то между яркой, словно ковер, прозой Горького и сухой и стерильной, как больничная марля, прозой Уэллса сходства никакого нет, кроме одного: тут и там герои очень много разглагольствуют.

\* \* \*

Совсем тоскливо Уэллсу стало во время посещения Дома ученых, организацией которого гордился его русский друг. За несколько дней до приезда Уэллса Луначарский писал Рыкову: «Пусть в этой области, совершенно невинной политически области подкармливания ученых, использования их силы в аполитичной культурной области Горький заработает, до некоторой степени, карт-бланш». Уэллс не заметил, чтобы ученых хорошо «подкармливали»: «Многие из них отчаялись уже получить какие-либо вести из зарубежного мира. В течение трех лет, очень мрачных и долгих, они жили в мире, который, казалось, неуклонно опускался с одной ступени бедствий на другую, все ниже и ниже, в непроглядную тьму. Не знаю, может быть, им довелось встретиться с той или иной политической делегацией, посетившей Россию, но совершенно очевидно, что они никак не ожидали, что им когда-либо придется снова увидеть свободного и независимого человека, который, казалось, без затруднений, сам по себе, прибыл из Лондона и который мог не только приехать, но и вернуться снова в потерянный для них мир Запада. Это произвело такое же впечатление, как если б в тюремную камеру вдруг зашел с визитом нежданный посетитель».

Ученые тем не менее продолжали заниматься наукой, Уэллса это восхищало. Бунин с возмущением

писал, что в бедствиях ученых повинна не английская блокада, как утверждал Уэллс, а Ленин. Ну хорошо, во всем виноват Ленин, а наши помещики абсолютно ни в чем не виновны, но Уэллсу-то что было теперь делать? Он видел, что ученые голодают и что у них нет книг — это был факт, и если бы блокаду не сняли, от этого стало бы веселее Бунину, но вряд ли Павлову... Предположим фантастическое: европейские страны доводят интервенцию до победного конца и сажают на трон Колчака или Врангеля: не факт, что все ученые бы до этого дожили, что большевики, отступая, их не расстреляли бы (Ленин намеревался использовать интеллигенцию в качестве «живого щита» при обороне Петрограда от Юденича), что белые их не расстреляли бы за сотрудничество с большевиками... «Если этой зимой Петроград погибнет от голода, погибнут и члены Дома ученых. — написал Уэллс, — если только нам не удастся помочь им какими-нибудь чрезвычайными мерами...» Он упоминает о медике Иване Ивановиче Манухине и его новом методе лечения туберкулеза (радиологическом; он лечил по этому методу Горького и Мережковского). Уэллс увез с собой список работ Манухина и опубликовал его в Англии; быть может, это хоть чуточку помогло Манухину, когда он в 1930-х уехал в эмиграцию... «Увы, опять и опять немного не так, г. Уэллс, — Павлов не раз, но совершенно тщетно молил выпустить его из ада, столь мило изображенного вами..» Увы, опять и опять немного не так, уважаемый, любимый Иван Алексеевич: ад не был «мило» изображен. «На самом же деле подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке».

Из самых крупных советских руководителей Уэллс общался с Лениным и Зиновьевым. Встреча с Лениным была назначена на утро 6 октября — так, во всяком случае, утверждают советские источники. У Берберовой

написано «12 октября», а у Клэр Шеридан — «5 октября». Уэллс с Джипом выехали в Москву вечером 4-го (а если верить Шеридан, то 3-го) курьерским поездом (он шел 14 часов) в спальном вагоне люкс, где, однако, «не было ни графинов для воды, ни стаканов, ни тому подобных мелочей». Мария Бенкендорф с ними не поехала. Сопровождал их матрос, которому в Петрограде выдали серебряный чайник, чтобы британцы могли попить чаю в дороге. Уэллс догадался, что чайник принадлежал ранее частному лицу, однако написал, что «по-видимому, этот чайник вступил на путь служения обществу совершенно законным образом». Это не простодушие, а так называемый британский юмор, которого наши в большинстве своем не поняли.

В Москве Уэллсов устроили в особняке на Софийской набережной, где раньше было (и снова есть) британское посольство; тогда же это был дом для приема заграничных гостей и одновременно — склад экспроприированных художественных ценностей, которые Эйч Джи обозвал «великолепной рухлядью»: «Эти вещи никак не подходят новому миру, если только на самом деле русские коммунисты строят новый мир». В особняке жили также Клэр Шеридан и американский банкир Фрэнк Вандерлип, приехавший для переговоров о заключении концессий в Баку и на Камчатке, а также, как считается, для «прощупывания почвы» относительно установления дипломатических отношений США с советской Россией. Уэллсу это обстоятельство казалось подозрительным — как можно толковать о каких-то концессиях с непризнанным правительством? Таинственный Вандерлип перемешался по городу самостоятельно, а Шеридан курировал сотрудник Наркоминдела Михаил Маркович Бородин (Грузенберг), бывший ранее послом в Мексике

и выполнявший разные деликатные миссии в США. Ему же поручили и Уэллсов — на два дня.

Шеридан писала (она, как и Уэллс, опубликовала книгу о поездке в Россию<sup>[80]</sup>), что Эйч Джи был «как обычно весел и очень смешно описывал свои приключения в Петрограде». Значит, не солгал Анненков — «курьезно»? Да, но не ученые, умирающие от голода, а организация быта и образ жизни. Уэллсы явились к завтраку; прислужгой был специально испечен яблочный пирог. Бородин от пирога злобно отказался (как пишет Шеридан, «коммунист в нем восстал» против этого пирога) и сказал Клэр, что ненавидит Уэллса, но не объяснил почему. Гуляли по Москве, обедали, ужинали — на стол подавал лакей. Сидели за полночь, делились впечатлениями, нашли, что всякий русский дом похож на вокзал: русские могут войти к человеку в спальню, когда тот не одет, едят и курят в тех же комнатах, где спят. Уэллс, по словам Шеридан, слишком много жаловался на скверные бытовые условия. «Ему абсолютно необходимы утренняя ванна, ежедневная газета, тихий завтрак. <...> Но если вы так устроены, что отсутствие горячей ванны мешает вам оценить Россию, о дорогой Эйч Джи, вам нужно менять свои привычки!» — иронизировала Шеридан, несколькими абзацами ранее, впрочем, с восторгом писавшая, что наконец-то смогла принять ванну.

Особняк был благоустроенный, ужин хороший, собеседники интересные, но Уэллс брюзжал: «Все мое пребывание в Москве было исковеркано глубоко раздражающей неразберихой. <...> Хотя я сам слышал, как Горький заранее договорился по междугородному телефону о моей встрече с Лениным, в Москве мне заявили, что там ничего не знали о моем приезде». Утром в Кремль Уэллса сопровождал уже не матрос, а другой человек, без чайника: Федор Аронович

Ротштейн, член социалистической партии Британии и один из основателей ее компартии, в 1920-м вернувшийся на родину и ставший сотрудником Наркомата иностранных дел. Чтобы попасть на прием к Ленину, понадобилось множество звонков, время встречи дважды переносили, пять раз проверяли документы. Уэллс опять сердился: с Ллойд Джорджем и Рузвельтом подобных сложностей не возникало. Но наконец Ленин принял его; присутствовали также Чичерин, частично взявший на себя функции переводчика, и фотограф.

«Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили, что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы. Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха». Троцкий в книге «Вокруг октября» напишет, что Ленин не смеялся в присутствии Уэллса потому, что ему хотелось: а) зевать от скуки и б) материться от досады; ни того ни другого он не делал из вежливости. Троцкому, конечно, виднее...

Опустим стократно цитированное описание внешности Ленина — мы и без Уэллса знаем, как он выглядел. К содержанию разговора: Уэллс выделил две темы. «Одну тему вел я: „Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?“ Вторую тему вел он: „Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтобы подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?“». Такие глобальные вопросы за полтора часа не обсудишь, беседа получилась обрывочная. Уэллс сказал Ленину, что разрушенные города надо восстанавливать; Ленин

согласился. Ленин изложил план ГОЭЛРО; Уэллс не поверил и именно за это назвал собеседника мечтателем<sup>[81]</sup>. Перешли к крестьянам: Уэллс сомневался, что с ними можно сварить кашу; тут Ленин «наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать».

Крестьян Уэллс не любил еще больше, чем пролетариев, считал их оплотом консерватизма и реакционности, причем жестокой и агрессивной. Не будем отмахиваться, а вспомним рассказы Чехова или Горького, лично наблюдавшего, как в деревне кнутом забили женщину — под дружный хохот зрителей, — и описавшего множество картин изощренного садизма. В 1922-м Горький напишет статью «О русском крестьянстве» (при советской власти она не будет опубликована на родине), в которой скажет о крестьянах совершенно ужасные вещи. Вряд ли Уэллс видел подобные сцены в Англии, но рассказы Горького читал и с самим Горьким на эту тему разговаривал. Теперь ему показалось, что и Ленин своих крестьян до смерти боится.

Далее перешли к образованию: Уэллс похвалил школы, Ленин «был доволен». Уэллс покритиковал кое-что из увиденного: «По-моему, во многих вопросах коммунисты проводят свою линию слишком быстро и жестко, разрушая раньше, чем они сами готовы строить; особенно это ощущается в Петроградской коммуне. Коммунисты уничтожили торговлю раньше, чем они были готовы ввести нормированную выдачу продуктов; они ликвидировали кооперативную систему вместо того, чтобы использовать ее, и т. д.». Он стал убеждать Ленина в том, что от капитализма к социализму можно перейти эволюционным путем; Ленин ответил, что нельзя. Уэллс сказал, что войны порождаются не капитализмом, а национализмом;



Ленин от этой темы увильнул и подробно рассказал о концессиях Вандерлипа, после чего спросил: «Поможет это укрепить мир? А не явится ли это началом новой всемирной драки? Понравится ли такой проект английским империалистам?» Эйч Джи отделался общими словами.

«Сила его была в простоте замысла, сочетавшейся с изощренностью мысли, — писал Уэллс о Ленине в „Опыте автобиографии“. — Казалось, что он — полновластный хозяин всего, что осталось от России; однако владычество его было не таким уж безграничным, ему приходилось держать в узде строптивую команду сторонников и такое орудие, как ОГПУ, которое могло выскользнуть из рук и ужалить его самого — скажем, когда казнили великих князей после его распоряжения об отсрочке». Интересно, конечно, кто ему рассказал эту историю — про отсрочку и нарушенные ленинские распоряжения...

Троцкий утверждал, что Ленин после окончания беседы сказал ему, заливаясь смехом: «Ну и мещанин! Ну и филистер!!» Ленин, по словам Троцкого, об Уэллсе тотчас забыл, но сам Троцкий не забыл и в книге. «Вокруг октября» заполнил цветистыми ругательствами в его адрес («напыщенное самодовольство», «цивилизованное чванство», «воплощает породу мнимообразованных, ограниченных мещан», его остроумие «тяжеловатое, как пудинг» и т. п.) целую главу, содержание которой вкратце можно передать следующим образом: 1) Уэллс написал, что Ленин смуглый, а он на самом деле блондин; 2) Уэллс написал, что Ленин маленького роста, а он на самом деле среднего; 3) Уэллс воображал, будто он снизошел до разговора с Лениным, а на самом деле это Ленин снизошел до разговора с ним; 4) Уэллс — дурак; 5) Уэллс ничего в Ленине не понял. Четыре первых утверждения можно оспаривать. Последнее вполне справедливо.

На самом деле Ленин про Уэллса не забыл. Несколько дней спустя он принимал Клэр Шеридан и сказал ей, что уже после визита Уэллса прочел его книгу «Джоанна и Питер», и что «описание жизни английской буржуазии превосходно», и что он хочет прочесть «Войну в воздухе» и «Освобожденный мир», для которых у него ранее не находилось времени. Вряд ли Ленин выдумал все это, чтобы сделать приятное английской даме.

Уэллс очень хотел поговорить с Луначарским, но устроить встречу в тот же день не удалось, а ждать он не пожелал, так как уже наметил отъезд в Ревель на 8 октября. Вернулись в особняк на Софийской; по дороге Ротштейн просил не рассказывать Вандерлипу о том, что Ленин говорил касательно концессий, и вообще сетовал на излишнюю откровенность Ленина, из чего Эйч Джи сделал вывод, будто Ленин не вполне свободен и Наркомат иностранных дел его контролирует. Он поделился подозрениями с Шеридан: та предположила, что Ленин откровенничал не по неосмотрительности, а сознательно. (Когда Клэр придет к Ленину, тот и с ней будет обсуждать эти концессии.) «Благодаря тому, что мы избегали упоминать о „миссии“ г. Вандерлипа, она раздулась в нашем сознании до огромных размеров, и мысль о ней стала неотвязной». Раздулась она до такой степени, что Уэллс, несмотря на все предостережения, о ней разболтает американскому посланнику в Риге Янгу, а также упомянет в «России во мгле»: «Мне говорили, что он [Вандерлип] привез рекомендательное письмо к Ленину от сенатора Хардинга». Из-за этого в октябре на страницах «Нью-Йорк таймс» развернется настоящая буря: о своей откровенности он пожалеет и будет все отрицать.

Вандерлип уговаривал Уэллса остаться на денек, но тот отказался. В Москву Уэллсы собирались вернуться

тем же курьерским, каким прибыли. Стали ждать, когда за ними заедут, прождали три часа и на поезд опоздали, попали на другой, который шел не 14 часов, а 22. Это привело Уэллса в бешенство. «Я поговорил с нашим гидом как мужчина с женщиной и высказал ему все, что я думаю о русских порядках. Он почтительно выслушал мою язвительную тираду и, когда я, наконец, остановился, ответил мне извинением, характерным для теперешнего умонастроения русских: „Видите ли, блокада...“». За этот абзац Троцкий Уэллса изничтожил — и он же больше всего возмутил эмигрантов. Подумаешь, несчастье — на поезд опоздал! У нас тут ТАКОЕ (прекрасное или ужасное в зависимости от стороны, которую занимали критики Уэллса), а этот зажавшийся паршивец жалуется, что его не принял Луначарский, что в вагоне люкс не было графинов, что он на поезд опоздал!

Однако Уэллс не жаловался на то, что опоздал поезд: курьерский-то ушел вовремя. Не сетовал и на то, что поезд идет медленно; когда он писал: «Железные дороги находятся в совершенно плачевном состоянии; паровозы, работающие на дровяном топливе, изношены; гайки разболтались, и рельсы шатаются, когда поезда тащатся по ним с предельной скоростью в 25 миль в час», то просто констатировал факт. Он возмущался тем, что его забыли отвезти на вокзал и объяснили это блокадой, которая была в данном случае ни при чем. Разруха, как известно, не в клозетах, а в головах. И блокада примерно там же.

7 октября Горький повел Уэллса на заседание Петросовета, работу которого, «как и всех других в советской России», Уэллс назвал «исключительно непродуманной и бесплановой». Посадили его позади стола президиума. Он вспоминал посещение Госдумы в 1914-м: «Атмосфера вялого парламентаризма сменилась обстановкой многолюдного, шумного, по-особому

волнующего массового митинга». Проголосовали за мир с Польшей, затем выступал Уэллс. «Членам совета сообщили, что я приехал из Англии, чтобы познакомиться с большевистским режимом; меня осыпали похвалами и затем призвали отнестись к этому режиму со всей справедливостью и не следовать примеру г-жи Сноуден, м-ра Геста и м-ра Бертрана Рассела, которые воспользовались недавно гостеприимством Советской республики, а по возвращении стали неблагоприятно отзываться о ней».

В августе 1920 года в России побывала делегация британских лейбористов, в составе которой были Бертран Рассел, лорд Хейден-Гест и жена Филиппа Сноудена, министра финансов Великобритании в лейбористских правительствах. Они описали свои впечатления<sup>[82]</sup>; им дал отповедь Карл Радек: Хейден-Гест — шпион, притворявшийся другом, миссис Сноуден — «разряженная гусыня», Рассел — честный человек, но весьма глуп, ибо считает, что «революция, при которой нет телефонов, белого хлеба, кофемолок и — о ужас! — роскошных автомобилей, это нехорошо, ибо Бертран Рассел не может выдержать такой революции больше двух недель, даже при всех предоставленных ему удобствах»<sup>[83]</sup>. Уэллс читал и статьи своих соотечественников, и статьи в ответ на статьи о них в «Правде», и саму «Правду» ему переводили; он опасался, что его собственное выступление переврут, и отдал его текст Сергею Семеновичу Зорину (Гомбаргу), референту Зиновьева. Зорин ему очень понравился: «Это очень симпатичный, остроумный молодой человек, вернувшийся из Америки, где он был чернорабочим. <... > Мы говорили с ним о том, как наш общественный строй изматывает, калечит, ожесточает честных и полных энергии людей. Это общее негодование

сблизило нас, как братьев». «Брат» Уэллса будет расстрелян в 1937-м за связь с Зиновьевым и Каменевым.

Возвращаемся к речи Уэллса: «Я холодно отнесся к этим призывам; я приехал в Россию, чтобы беспристрастно оценить большевистское правительство, а не восхвалять его. Прежде всего я совершенно недвусмысленно заявил, что я не марксист и не коммунист, а коллективист и что русским следует ждать мира и помощи в своих бедствиях не от социальной революции в Европе, а от либерально настроенных умеренных кругов Запада». После этого участники заседания стали «простодушно» выпытывать у гостя, когда же в Англии произойдет революция. «Я ясно видел, что многие большевики, с которыми я беседовал, начинают с ужасом понимать: то, что в действительности произошло на самом деле, — вовсе не обещанная Марксом социальная революция, и речь идет не столько о том, что они захватили государственную власть, сколько о том, что они оказались на борту брошенного корабля. <...> Я также позволил себе прочесть им небольшую лекцию о том, что на Западе нет многочисленного „классово сознательного пролетариата“... Мои, несомненно, искренние слова подрывали самые дорогие сердцу русских коммунистов убеждения. Они отчаянно цепляются за свою веру в то, что в Англии сотни тысяч убежденных коммунистов, целиком принимающих марксистское евангелие, — сплоченный пролетариат — не сегодня-завтра захватят государственную власть и провозгласят Английскую Советскую Республику».

После выступления Уэллса обсуждался вопрос о выращивании овощей в Петрограде, затем демонстрировали фильм, привезенный Зиновьевым из Баку, где проходил Съезд народов Востока (на нем присутствовал и английский делегат — социалист Том

Квелч). Зорин подарил Уэллсу копию фильма. «Один из самых эффектных номеров этого замечательного бакинского фильма — танец, исполненный джентльменом из окрестностей Баку. В отороченной мехом куртке, папахе и сапогах он стремительно и искусно танцует что-то вроде чечетки. Вынув два кинжала, он берет их в зубы и устанавливает на них два других, лезвия которых оказываются в опасном соседстве с его носом. Наконец, он кладет себе на лоб пятый кинжал, продолжая с тем же искусством отбивать чечетку в такт типичной восточной мелодии. Подбоченясь, он изгибается и идет вприсядку, как это делают русские казаки, все время описывая медленные круги и не переставая хлопать в ладоши. <...> Я с удовольствием воскресил бы Карла Маркса специально для того, чтобы посмотреть, как он будет глубокомысленно разглядывать его поперх своей бороды». После фильма пропели «Интернационал» и стали расходиться. «По существу, это был многолюдный митинг, который мог, самое большее, одобрить или не одобрить предложения правительства, но сам не способен ни на какую настоящую законодательную деятельность. По своей неорганизованности, отсутствию четкости и действенности Петроградский совет так же отличается от английского парламента, как груда разрозненных часовых колесиков от старомодных, неточных, но все еще показывающих время часов».

Вечером у Горького состоялся прощальный ужин. Из распределителя достали продукты, даже хорошее вино. Но было грустно. Уэллс отдал Горькому весь запас бритвенных лезвий. Неизвестно, оставил ли он кому-то из русских какие-нибудь деньги. Это не исключено — он давал деньги и людям, находившимся в тысячекратно лучших условиях. После возвращения из Москвы Уэллсы ночевали уже в отдельных комнатах — гостевая

пустовала и ее отвели Джипу. Мария Бенкендорф оказалась одна в комнате Гейнце — та уехала к родственникам. По ее словам, Уэллс пришел к ней. По его версии — она к нему. «Я влюбился, стал за ней ухаживать, и однажды умолил ее, и она проскользнула через набитые людьми горьковские апартаменты в мои объятия.<...> Я верил, что она меня любит, верил всему, что она говорила». Ему было 54, а ей 28. Он «влюбился по уши, неподдельно, как никогда прежде». Клэр Шеридан вспоминала, что он в беседе с ней распространялся о Бенкендорф битый час; Энтони Уэст писал, что его отец был этой женщиной «отравлен», «не мог уяснить себе природу этого яда» и что «какой бы безнадежной ни выглядела эта страсть, он вернулся домой, сжигаемый ею».

О Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг написано много, но почти всё происходит из одного источника: «Железной женщины» Берберовой, которая предупреждала, что верить всему, что ей говорила Будберг, нельзя: «Чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой и с самого начала окружить себя легендой». Мура, как ее обычно называли, родилась в 1892 году в семье черниговского чиновника И. П. Закревского, но придумывала, будто приходится родней пушкинской Аграфене Закревской. Ее сводный брат Платон служил в русском посольстве в Лондоне. В 1911 году она приехала к нему и училась в школе для девушек Ньюнхэм в Кембридже. Она вышла замуж за сотрудника русского посольства Ивана Бенкендорфа (не посла, с которым был знаком Уэллс, а его родственника). Она называла себя графиней, хотя ее муж графом не был. В 1913 году у них родился сын, в 1915-м — дочь. Лето 1917-го Бенкендорфы провели в своем эстонском поместье, в октябре Мура поехала в Петроград и не вернулась. Ее мужа зверски убили крестьяне. (Уэллс знал об этом, когда разговаривал о

крестьянах с Лениным.) Дети остались с гувернанткой; Мура долго ничего не знала о их судьбе.

В английском посольстве она познакомилась с Брюсом Локкартом, британским разведчиком. Они полюбили друг друга и жили вместе. Считается, что она была агентом британской разведки, советской, немецкой, двойным и тройным агентом. Истина, как в случае с Матой Хари, вряд ли будет установлена, так что обсуждать эту тему не станем — для Уэллса это не имело значения. В конце лета 1918-го Локкарта арестовали по подозрению в антисоветском заговоре, а Муру с ним заодно. Локкарт действительно в этом заговоре участвовал. Тем не менее и его и Муру быстро выпустили. Что за странные отношения связывали Муру с главой петроградской ЧК Петерсом — опять-таки никому не известно. Локкарт уехал домой, а Мура пошла к Чуковскому и попросила работу переводчика. Чуковский устроил ее к Горькому кем-то вроде секретаря: «Она навела порядок в его бумагах и домашнем хозяйстве, взяла на себя переписку на всех европейских языках (в Берлине она пробыла три года с мужем, французский знала с детства, итальянский выучила как-то между делом, сама того не заметив), а поскольку жить ей было негде и ночевала она у своего бывшего повара, скоро она и совсем переселилась на Кронверкский, где сделалась центром притяжения этой коммуны: ведь она обладала еще красотой, полнейшей непринужденностью и удивительным тактом». Считается, что она была любовницей Горького. Уэллс пишет, что в 1920 году об этой связи не знал.

Будберг утверждала, что уже видела Уэллса, когда тот приезжал в Петербург в 1914-м, и они даже были представлены друг другу на каком-то мероприятии. Он этого не помнил. «Она обманывает непреднамеренно. Просто такая у нее манера — небрежно обращаться с фактами. В каждом случае и для каждого человека у



нее своя роль...» Она не отличалась особенной красотой, была развязна и много пила. Но она была по-кошачьи обольстительна и по-кошачьи живуча, а все кошачье нашего героя сводило с ума. Эту «большую кошку», в отличие от предыдущей, он полюбил сразу и до самой смерти — возможно, потому, что, как это ни банально, она, не в пример другим его молодым возлюбленным, не домогалась его, а заставила его домогаться себя. Любила ли она его хоть немного — никто не знает. «Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюбляясь в нее страстно и преданно, — пишет Берберова. — Ее увлечения не были изувечены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. <...> Она была свободна задолго до „всеобщего женского освобождения“».

8 октября Уэллсы отбыли в Ревель. Эйч Джи обещал Муре узнать о судьбе ее детей и гувернантки Мисси. В ожидании парохода на Стокгольм он написал несколько писем Горькому с приветами для Муры, они были переданы через секретаря советской миссии в Эстонии. В ответных письмах Горького Мура передавала приветы и выражала надежду на скорую встречу. Ее дети были живы и проживали в разрушенном особняке своего отца. Их спасли соседи; гувернантка заменила им мать. (Впоследствии Мура перевезет их всех в Лондон.) Ее отношения с Уэллсом пока что оборвались.

А теперь — загадка. Есть фрагмент из дневника Клэр Шеридан, в котором никто никогда толком не разбирался. Она пишет: «Эйч Джи долго говорил, что мне надо бы уехать домой. Он говорил, что Каменев меня нехорошо подвел. Я могла только сказать в защиту Каменева, что он еще не подвел меня. Но у Эйч Джи была еще какая-то задняя мысль, которую он не высказывал. Я заключила, что он думает, что через

несколько недель здесь случится какая-то неприятность. (Английские слова многозначны; trouble можно перевести и как „беспорядки, волнения“. — М. Ч.) Какова ситуация в Петрограде, я не знаю, но здесь чувствуешь себя неуязвимым, как гора, и столь же неподвижным. Эйч Джи может знать какие-то факты о школах, фабриках и предметах, но только живя здесь постоянно и занимаясь скучной рутинной работой, можно почувствовать атмосферу».

Уэллс почему-то просидел в Ревеле почти две недели, хотя сам же утверждает, что торопился попасть туда к определенному числу. Что он там делал, разыскивал Муриных детей? В небольшом городе, зная точный адрес? Ждал Муру? Или ждал каких-то событий? Что, по его мнению, должно было случиться в России поздней осенью 1920 года? Имел ли он в виду интервенцию со стороны своих соотечественников? Это маловероятно. В конце 1920-го все интервенты, кроме японцев, уже покинули территорию России. Стало быть, «заварушка» должна была случиться внутри страны? Но какая? Колчак погиб, армии Деникина нет, красные со дня на день возьмут Крым. Восстание? Переворот? Заговор? Какой? Кто из наших мог ему намекнуть на возможность восстания или переворота? Шеридан пишет, что этот странный разговор состоялся, когда Уэллс вернулся от Ленина; он подумал, что если Ленин боится крестьян (или Наркоминдела), то, стало быть, его скоро свергнут? Глупо; и при чем тут «ближайшие несколько недель»?

Нет, если Уэллс мог что-то «эдакое» услышать, то только в окружении Горького. (А Клэр предупредил не в день приезда, потому что тогда при разговоре присутствовал и подозрительный Вандерлип, а после визита к Ленину они были наедине.) Сам Горький в ту пору уже подумывал об эмиграции: то был пик его разногласий с большевиками. Большинство обитателей

квартиры на Кронверкском вот-вот убегут из России; в этой «нехорошей квартире» большевиков не жаловали и говорили откровенно. Но кто именно? Британская шпионка Мура, утверждавшая, по словам самого Уэллса, что она очень счастлива в Советской стране? И Уэллс, когда писал «Россию во мгле» за здоровье (с оговорками) советской власти, знал, что есть люди, готовящиеся выпить за ее упокой, и молчал, потому что была замешана его любимая или потому что в глубине души симпатизировал заговорщикам? Не очень верится, если честно, в Мурино шпионство; но даже если допустить, что она поддерживала связь с английской разведкой, то серьезный шпион не стал бы разбалтывать Уэллсу подобные вещи, а несерьезный не располагал бы информацией. Отбросим Муру и Англию; «утечка информации» могла идти от самого Горького.

В 1920 году советская Россия переживала экономический кризис, который вполне мог привести к политическому. Жизнь для большинства населения превратилась в борьбу за выживание; дело дошло до забастовок в городах и массовых волнений в деревне. (К весне 1921 года восстания будут полыхать по всей стране; напряжение достигнет своего апофеоза в Кронштадтском восстании, после чего в результате ответных мер большевиков пойдет на убыль.) Положение дел было таково, что даже большевикам порой казалось, что дни их сочтены, и Ленин говорил: «Руль ускользает из рук...» Как относился к ситуации Горький, достоверно неизвестно, но, исходя из его взглядов, непохоже, чтобы перспектива народного восстания, особенно крестьянского, его радовала — скорее она казалась ему чем-то более ужасным, нежели советская власть. Он мог поделиться своими опасениями с английским гостем — в ту пору их отношения были очень доверительны — и Уэллс со дня

на день ожидал бунта, «бессмысленного и беспощадного», о котором предупредил Шеридан.

Слишком просто, поискать чего-нибудь более «конспирологического»? Пожалуйста: так называемое дело Петроградской боевой организации. Сейчас преобладает точка зрения, что такой организации не существовало, но это мнение так же бездоказательно, как обратное; заговор был раскрыт (или сфабрикован) в 1921-м, но, по некоторым слухам, зародился он, если зародился, именно осенью 1920-го. Все знают, что Горький пытался заступиться за Гумилева, арестованного по этому делу, но не смог. Но никто никогда не выдвигал версии о том, что Горький знал о заговоре заранее. Все-таки что-то знал — и даже разболтал Уэллсу?! Безумно интересно, но верится с трудом. Поглядим лучше в другую сторону.

Общеизвестно, что отношения между Горьким и Зиновьевым были неважные: многие считают, что из-за вражды с Зиновьевым Горький и уехал из России в 1921 году. А вот что пишет Ходасевич: «У Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 года. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин». Ходасевич называет еще фамилию — Бакаев. Это тот Бакаев, которого упоминал Уэллс, и тот Зорин, которого Уэллс назвал «братом»<sup>[84]</sup>. Что, если речь шла не об антисоветском заговоре, а о локальном советском, против Зиновьева? Или, наоборот, высказывались опасения, что Зиновьев отнимет власть у Ленина? Скорее всего, конечно, Уэллсу из разговоров просто что-то такое показалось... Не место здесь в этом разбираться; но история небезынтересная.

Покинув Россию, Эйч Джи торопился сделать что-нибудь для своих знакомых: еще из Ревеля через Грегори организовал посылки продуктов и книг для петроградского Дома ученых, а в Лондоне убеждал лорда Керзона, министра иностранных дел, в необходимости срочного снятия блокады. «Я сделал все возможное, чтобы заставить наше общество понять, что советское правительство — это правительство человеческое, а не какое-то исчадие ада, и, мне кажется, я много сделал, чтобы подготовить почву для культурных отношений между двумя половинами Европы», — писал он Горькому. Майский потом скажет, что Уэллс изрядно преувеличил свою роль в установлении дипломатических отношений между Британией и Россией. Конечно, преувеличил: вопрос был решен политиками без него. Повлиял ли он хотя бы на общественное мнение? Да кто его знает...

«Россия во мгле» — «фатоватая корреспонденция для буржуазной публики», по выражению Троцкого, — печаталась в «Санди экспресс» в пяти частях с 31 октября по 28 ноября 1920 года и вышла отдельной книгой в январе 1921-го в издательстве «Ходдер и Стоутон». Эту работу обычно обильно цитируют, чего мы делать не собираемся, ибо текст ее общедоступен, а основную идею нетрудно передать в нескольких тезисах: 1. В русской революции виноваты не большевики, а царский строй, который спровоцировал все это безобразие. 2. Нужно смотреть в лицо фактам: большевики выбрали плохо лежащую власть, и в настоящий момент они единственные, кто в состоянии с ней справиться. 3. Если мы, европейцы, им поможем, то в конце концов они установят более-менее цивилизованный строй. 4. Если не поможем, будет

только хуже. 5. Вообще революция — гадость, и, чтобы у нас не произошло ничего подобного, мы должны цивилизованно подвигаться в сторону социализма. 6. Карл Маркс дурак и борода у него дурацкая. Ключевой тезис — четвертый. Почему, если не поддержать большевиков, будет хуже? Кому — хуже? Чтобы понять это, вернемся к бакинскому съезду. Он — ключ ко всему.

По мнению Уэллса, главный смысл этого съезда в том, что «он свидетельствует о новой большевистской ориентации, представителем которой является Зиновьев. До тех пор, пока большевики непоколебимо придерживались учения Маркса, они обращали взоры на Запад, немало удивляясь тому, что „социальная революция“ произошла не там, где она ожидалась, а значительно дальше на Восток. Теперь, когда они начинают понимать, что их привела к власти не предсказанная Марксом революция, а нечто совсем иное, они, естественно, стремятся установить новые связи. Идеалом русской республики по-прежнему остается исполинский „Рабочий Запада“ с огромным серпом и молотом. Но если мы будем продолжать свою жесткую блокаду и тем самым лишим Россию возможности восстановить свою промышленность, этот идеал может уступить место кочевнику из Туркестана, вооруженному полудюжиной кинжалов. Мы загоним то, что останется от большевистской России, в степи и заставим ее взяться за нож. Если мы поможем какому-нибудь новому Врангелю свергнуть не такое уж прочное московское правительство, ошибочно полагая, что этим самым установим „представительный строй“ и „ограниченную монархию“, мы можем весьма сильно просчитаться. Всякий, кто уничтожит теперешнюю законность и порядок в России, уничтожит все, что осталось в ней от законности и порядка. <...> И тогда надвинется Азия. <...> Бакинский съезд произвел на

Горького глубоко удручающее впечатление. Ему мерещится кошмарное видение — Россия, уходящая на Восток».

Это единственный фрагмент, где Уэллс «режет правду-матку», — вся другая аргументация лишь камуфлирует суть. Чтобы не допустить в Европу азиатов с кинжалами (а также крестьян и пролетариев, которые немногим их лучше), хороши все средства. Уэллсу было, прямо скажем, плевать на нас и наших большевиков. Он заботился о Европе. Вот его слова о советском правительстве: «Я сразу же должен сказать, что это — единственное правительство, возможное в России в настоящее время. Оно воплощает в себе единственную идею, оставшуюся в России, единственное, что ее спланирует. Но все это имеет для нас второстепенное значение. Для западного читателя самое важное — угрожающее и тревожное — состоит в том, что рухнула социальная и экономическая система, подобная нашей и неразрывно с ней связанная».

Все дальнейшие восхваления в адрес большевиков, которыми изобилует «Россия во мгле», — не заблуждение Уэллса, а сознательная ложь, направленная на то, чтобы вызвать у европейцев хоть какое-то подобие симпатии к большевикам. «Левый коммунизм можно назвать позвоночным столбом сегодняшней России; к сожалению, это неподвижный позвоночник, сгибающийся с огромным трудом и только в ответ на почтительную лесть» — ладно же, будет вам лесть! Большевики в его понимании были не революционерами, а обуздателями революционной стихии; по отношению к Европе они — «живой щит», который ограждает цивилизованные страны от безумных орд с кинжалами, вилами и топорами: поддерживая их (будь они неладны!), мы, европейцы, спасаем себя. Он вообразил, как дикари с раскосыми и жадными очами разоряют «Истон-Глиб», как хрустнет в

их лапах скелет престарелой леди Уорвик, увидел опустевший Лондон с заколоченными витринами — и душа его ужаснулась. Свою родину, столь часто им бранимую, он горячо любил, за нее боялся. О нашей мы должны печься сами.

Вышесказанное не означает, что Уэллсу не было искренне жаль умирающих от голода писателей, ученых и всех, чьи страдания он наблюдал непосредственно. «У меня щемит сердце, когда я думаю о приближении зимы...» Было очень жаль. Но только их.

\* \* \*

«Россию во мгле» много ругали. Начнем с «ихних». Главным противником Уэллса выступил Черчилль, 5 декабря опубликовавший в «Санди экспресс» статью «Ужасная катастрофа: м-р Уэллс и большевизм», в первых строках которой ядовито замечалось, что за две недели, конечно, нетрудно стать «специалистом по русским делам». Пресловутая «разруха», по словам Черчилля, не была объективным порождением царского режима, войны, интервенции и блокады; она существовала исключительно в головах большевиков, отменивших частную собственность: «Если коммунисты купят на украденные деньги несколько паровозов, они у них все равно встанут». Помочь России можно одним способом — освободить ее от большевиков. Для Черчилля именно большевики были «дикими ордами», предупреждения Уэллса относительно других орд он пропустил мимо ушей. Уэллс ответил; его статья была полна злых выпадов против Черчилля: «Простой народ является лишь материалом для его блестящей карьеры». «Простого народа» Уэллс на дух не переносил, так что его апелляция к нему звучит на редкость лицемерно. Тем не менее Горькому он,



посылая ему свою книгу, написал, что «изничтожил» Черчилля. Черчилль продолжать дискуссию не захотел — протестуя против заигрываний Ллойд Джорджа с советской властью, он ушел в отставку.

Обрушился на Уэллса и драматург Джонс, купивший «Спейд-хаус». Отношения между ними испортились еще во время войны: Джонс в ответ на «Джоанну и Питера» выпустил книгу «Патриотизм и популярное образование», где обвинял Уэллса в подрывной деятельности. Россией, по выражению Джонса, правила «хунта подонков», а Уэллс эту хунту защищал; как и Черчилль, Джонс не заметил, что защищал Уэллс его же, Джонса, любимую империю. Уэллс счел Джонса «слишком глупым», чтобы спорить с ним публично, но они еще несколько лет обменивались невероятно ядовитыми и оскорбительными письмами.

«Россию во мгле» критиковали и с другой стороны: английский литератор Стивен Грэм был возмущен тем, как Уэллс отозвался о русских крестьянах. По мнению Грэма, русский человек тих, кроток и жертвен, все время думает только о Боге. Грэм много раз бывал в России, написал о ней 11 книг и полагал, что так, как он, не знают Россию не только англичане, но и сами русские: когда в Лондоне вышел перевод «Детства» Горького, Грэм обвинил автора в клевете на свой добрый народ.

На Западе (в отличие от обеих России) у Уэллса нашлись и единомышленники. Один из них — Артур Рэнсом, журналист и, как у нас считают, британский шпион, живший в России с перерывами с 1913 по 1919 год и написавший книгу «Шесть недель в России»: как и Уэллс, он утверждал, что кроме большевиков никто с Россией управиться не может, а самим большевикам разъяснял, что английской революции им вовек не дожждаться. Теми же аргументами, что и Уэллс, защищал большевиков историк Джеймс Батлер, преподававший в

Тринити-колледже, где учились Джип и Владимир Набоков; последнего возмущало то, что Батлер оправдывал революционные эксцессы «временной необходимостью». Джип, вернувшись в Кембридж, рассказывал о поездке в Россию на собраниях «левых» студентов; Набоков-младший присутствовал на таком собрании, и его тоска взяла слушать, как английский мальчишка-турист рассказывает ему «правду» о его стране.

Книга Рассела «Теория и практика большевизма» вышла одновременно с «Россией во мгле». Рассел тоже писал, что большевики — единственная сила, которая могла в то время править Россией, и что в разрухе виноваты не они, а блокада. Однако Рассел совсем иначе, нежели Уэллс, охарактеризовал Ленина: человек холодный, «ненавидящий свободу», его отличительная черта — «проказливая жестокость». Рассел, как и Уэллс, считал, что революция — это ужас, который европейцам ни в коем случае нельзя допускать у себя, но аргументировал иначе: если на Уэллса самое тягостное впечатление произвели разруха, голод и беспорядок, то Рассел, напротив, писал, что порядок большевики навели просто-таки образцовый, но...: «Я был бесконечно несчастен в этой атмосфере, проникнутой духом утилитаризма, где нет места любви, красоте, жизни». Отклик самих большевиков на книгу Рассела был гораздо резче, чем на книгу Уэллса, — возможно, потому, что Рассел понял нечто такое, чего не заметил (но заметит в следующий приезд) Уэллс.

Был еще американец Уильям Буллит (впоследствии — первый посол США в СССР), ездивший в Россию в феврале 1919-го с секретной миссией: он писал почти то же, что Уэллс. Революция — свинство, но так уж случилось, а «в настоящий момент в России никакое правительство, кроме социалистического, не сможет утвердиться иначе, как с помощью иностранных

штыков, и всякое правительство, установленное таким образом, падет в тот момент, когда эта поддержка прекратится». А Моэм еще в 1917-м замечал, что Временное правительство оставалось у власти лишь потому, что «не находилось пока силы, способной его сбросить».

Брюс Локкарт в начале пребывания в советской России тоже убеждал свое начальство, что большевиков разумнее признать; он изменил свое мнение, когда ему показали залитые кровью подвалы ЧК. Неизвестно, что было бы, если бы Уэллс увидел эти подвалы. Написал бы он тогда: «За отдельными исключениями, расстрелы ЧК вызывались определенными причинами и преследовали определенные цели, и это кровопролитие не имело ничего общего с бессмысленной резней деникинского режима, не признававшего даже, как мне говорили, советского Красного Креста»?

Теперь — наши. В русском переводе «Россия во мгле» вышла в Болгарии в 1921 году с предисловием князя Николая Сергеевича Трубецкого, назвавшего книгу чрезвычайно вредной, поскольку она «пропитана безграничным презрением к русской душе и к России как нации»: «По существу, у нас в России и в Азии народный „большевизм“ есть восстание не бедных против богатых, а презираемых против презирающих.

И острее его направлено прежде всего против тех самодовольных европейцев, которые все неевропейское человечество рассматривают только как этнографический материал, как рабов, нужных лишь для того, чтобы поставлять Европе сырье и покупать европейские товары».

Мережковский в декабре писал: «Вы утверждаете, что „сейчас не может быть в России никакого правительства иного, кроме советского“. Что это значит? То ли, что всякий народ достоин своего правительства, как всякое дитя — своей матери? Вы

увидели дитя в руках гориллы — и решили, что оно достойно матери. Но остерегитесь, мистер Уэллс: может быть, горилла украла дитя человеческое». Сравнение какого бы то ни было народа с «дитем» не менее фальшиво, чем с гориллой, но если уж использовать эту метафору, для Уэллса все было наоборот: горилла — это «Азия», а большевики — ее дрессировщики.

Бунин 24 ноября откликнулся цитировавшейся статьей в «Общем деле», встав на защиту русского народа, который сам в «Окаянных днях» клял на чем свет: теперь этот народ он назвал «темным, зыбким, но все же великим». Он был также оскорблен высказываниями Уэллса о белых генералах — действительно хамскими и тем более глупыми, что Уэллс этих людей никогда в глаза не видал: «Сомнительные авантюристы, терзающие Россию при поддержке западных держав, — Деникин, Колчак, Врангель и прочие — не руководствуются никакими принципиальными соображениями и не могут предложить какой-либо прочной, заслуживающей доверия основы для сплочения народа. По существу, это просто бандиты». Бунинская статья завершается словами: «Любезный собрат, мы не забудем вашего заявления, что мы достойны только тех висельников, у коих вы гостили 15 дней, и что наши Врангели — „разбойники“. Я пишу эти строки в дни наших величайших страданий и глубочайшей тьмы. Но взойдет наше солнце, — нет среди нас ни единого, кто бы не верил в это! И тогда мы припомним вам, как унижали вы нас, как хулили вы имена, для нас священные».

Куприн в статье «Легкость мысли» противопоставлял Уэллсу, пожелавшему, по его мнению, увидеть в России утопию и написать «очередной фантастический роман», Фритьофа Нансена, который — опять же по мнению Куприна — рассудил так: «Я и без путешествия в центр этой

несчастной страны знаю о ее положении. Несколько сотен безумных, но хитрых негодяев кровавыми путами опутали загнанный, усталый, голодный, больной многомиллионный народ. Всей реальной правды эти негодяи мне не скажут и не позволят ее увидеть.

А народ не сможет этого сделать и не посмеет. Одного меня ни на минуту не оставят. Не хочу же я быть в положении водевильного дурака, водимого за нос». Амфитеатров, однако, и Нансена заклеил «обряженным в узду большевизма». (Нансен, дважды совершавший поездки по России, в 1920–1922 годах был верховным комиссаром Лиги Наций по делам репатриации военнопленных из России; в 1921-м по поручению Международного Красного Креста создал комитет по спасению голодающих Поволжья. Он призывал к признанию советской власти из практических соображений — чтобы комитету было легче работать.)

4 декабря в «Руле» была опубликована статья «Простые мысли. О „знатных иностранцах“», подписанная псевдонимом Simplex. В статье отмечались оскорбительные пассажи Уэллса в адрес крестьянства, православного духовенства и русских вообще. «Горящие усадьбы, разоренные дома, замученные в застенках чрезвычайки люди, смертные приговоры ежедневно: как все это, в самом деле, скучно, нудно, неинтересно. Это все — эмигрантские басни. Но одна потрясающая драма случилась все-таки в России. Ее подробно, негодую, рассказал-таки Уэллс. Хотите знать эту драму?» Таких драм автор описал даже две: история о том, как Чуковский повел Уэллса в специально подготовленную школу, и история о том, как Уэллса отправили из Москвы в Петроград не на том поезде. «Вот она, драма! Сколько часов потерял [...], посаженный в тюрьму за „снятие пиджака“ перед Уэллсом, — история умалчивает...» «[...]» — это,

естественно, Амфитеатров. На самом деле в тюрьму за выступление на банкете его не сажали. Амфитеатров был арестован 4 марта 1921 года по обвинению в соучастии в Кронштадтском восстании, освобожден 2 апреля и в августе бежал со своей семьей в Финляндию, тем не менее Уэллс, назвавший его фамилию во всеуслышание, конечно, сильно его «подставил». «Уэллс подошел вплотную к лику умирающей России, — так завершалась статья. — Подошел, — прищурился, — прицелился — и смачно плюнул в безответный лик. Мы этого не забудем...»

Набоков-старший на страницах «Нового времени» подверг «Россию во мгле» критике — жесткой, но вежливой, — а встретившись с отцом Джипа лично, безуспешно пытался объяснить тому, что «большевизм представляет собой лишь brutальную, законченную разновидность варварского гнета, — саму по себе такую же древнюю, как пески пустынь, — а вовсе не привлекательно новый эксперимент». Ах, да ведь именно «песков пустынь» испугался Уэллс! Ему казалось, что эти пески вот-вот пожрут все, а большевики их «не пущают»...

Сам Уэллс — будто знал, что русские эмигранты о нем напишут, — заявил, что их политический облик «вызывает презрение. Они бесконечно твердят о „зверствах большевиков“: крестьяне поджигают усадьбы, разбежавшаяся солдатня фа-бит и убивает в глухих переулках, и все это — дело рук большевистского правительства. Спросите их, какое же правительство они хотят вместо него, и в ответ они несут избитый вздор, обычно приспособляясь к предполагаемым политическим симпатиям своего собеседника. Они надоедают вам до тошноты, восхваляя очередного сверхчеловека, Деникина или Врангеля, который наведет, наконец, полный порядок, хотя одному Богу известно, как он это сделает. Эти

эмигранты не заслуживают ничего лучшего, чем царь, и они не в состоянии даже решить, какого царя они хотят. Лучшая часть русской интеллигенции, еще оставшаяся в России, постепенно начинает — во имя России — пока неохотно, но честно сотрудничать с большевиками». Эйч Джи и рад был бы, если бы какая-то сила, более симпатичная, чем большевики, выступила «во имя России» (читай: во имя Европы против Азии) — да не видел он такой силы... Была ли она? Иностранцы понимали, что британские штыки и американские деньги могут возвести на престол Врангеля или кого-то еще, но не смогут его там удержать. Как Бунин себе это все представлял? Он возвращается в Россию, свободную от большевиков, и что? Те самые «хари» и «хамы», о которых он писал в «Окаянных днях», поцелуют ему руку и скажут: простите, барин, бес попутал? Ведь эти «хамы» и «хари», разграбившие его имение, были не большевики; они были — тот самый народ, в оскорблении которого он обвинял Уэллса...

И, наконец, советские. В апреле 1921-го Александр Константинович Воронский, редактор журнала «Красная новь», опубликовал в «Правде» статью о «России во мгле», сравнивая ее автора с Савлом, превращающимся в Павла: «Презрения к России как к нации у Уэльса нет. Отметить некультурность крестьян совсем еще не значит презирать нацию. У нынешних зарубежных патриотов, в частности у Ив. Бунина, обрушившегося на Уэльса с особой яростью, можно найти ряд рассказов, повестей, далеко оставляющих позади беглые замечания Уэльса о безграмотности и политической косности крестьянства. Тем более не следует полагать, что доподлинная Россия сводится к той княжеской, полукняжеской, помещичьей, интеллигентской эмиграции, о которой, действительно, Уэльс отзывался довольно непочтительно. Различие между злобствующей эмигрантской накипью и другими

кадрами русской интеллигенции Уэльс понимает, по-видимому, довольно хорошо.

<...> Мы, коммунисты, можем быть довольны результатами поездки Уэльса в Советскую Россию. Советская Россия, несмотря на всю разруху, завоевала Уэльса. Это совсем недурной результат». Воронский будет исключен из партии в 1927-м, а в 1937-м его расстреляют. Просим прощения за слишком черный юмор, но как тут удержишься: «Это совсем недурной результат...»

Напоследок вернемся к Троцкому: «Уэллс, в качестве знатного иностранца и, при всем своем „социализме“, консервативнейшего англичанина империалистской складки, насквозь проникнут убеждением, что оказывает, в сущности, своим посещением великую честь этой варварской стране и ее вождю»; к беседе с Лениным «так великодушно снизошел просвещеннейший гость из Великобритании». А вот Бунин охарактеризовал Уэллса как «туриста, совершившего прогулку... в гости к одному из людоедских царьков». Они припечатали Уэллса почти одними и теми же словами (а, автор статьи в «Руле» называет Уэллса в точности как Троцкий — «знатным иностранцем»), с одной и той же обидой. Ведь они оба — русский помещик Бунин и советский еврей Троцкий — были людьми нашего вида. Мы можем как угодно поносить нашу страну (Россию, Англию, Гондурас), но дадим отпор чужаку, который попытается проделать то же.



# **ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ**

## **Глава первая ЛЮДИ И ЛЮДЕНЫ**

Сразу после России Уэллс собрался ехать в Америку — искать более привлекательный путь к социализму. Там, кстати, ждала его новая подруга (а как же Мура? Да вот как-то так...), с которой он познакомился летом 1920-го. Это Маргарет Сэнджер — человек, который отстаивал и в некоторой степени отстаивал право женщины распоряжаться своей жизнью, как это делает мужчина. Ругатели Маргарет называют ее проповедницей и чуть ли не прародительницей аборт — это глупость: работая медсестрой в бедных кварталах Бруклина и насмотревшись там чудовищных вещей, она положила жизнь на борьбу за то, чтобы женщины не делали аборт, а планировали беременность или отказ от нее, пользуясь средствами контрацепции. В 1914 году Сэнджер основала Национальную лигу контроля над рождаемостью, а потом стала первым президентом Международной федерации планирования семьи; благодаря ее усилиям в США были отменены законы, запрещавшие распространение противозачаточных средств. Против Сэнджер в Америке не раз выдвигались обвинения в распространении «непристойной информации»; Уэллс был в числе тех, кто подписывал петиции в ее защиту. Когда Маргарет приехала в Лондон, они познакомились. Сэнджер придерживалась социалистических взглядов; она также стала членом Неомальтузианской лиги, основанной в Лондоне в 1887 году. Все это привлекало к ней внимание Уэллса, который тоже вступил в Неомальтузианскую лигу и был избран ее вице-президентом.

Сэнджер была красивой и обаятельной женщиной. Они стали любовниками. В 1938-м она опубликует автобиографию, в которой скажет, что после 1920 года каждая ее поездка в Англию была связана с радостью от встреч с Эйч Джи Уэллсом. Она описывала его как одного из самых привлекательных мужчин, каких она когда-либо знала, и отмечала, что он «похож на озорного мальчишку». «Он обладает не только интеллектом, но и необыкновенным умением любить как человечество, так и отдельного человека. Он может одновременно быть забавным, остроумным, саркастичным, блестящим, флиртующим и глубоким. Он так чуток, что мгновенно откликается на самое незначительное высказывание, интонацию или эмоцию. Чтобы быть с ним, вы должны постоянно тянуться вверх...»

Эйч Джи каждый свой роман описывал в романе; отношениям с Маргарет была посвящена книга «Тайники сердца» (The Secret Places of the Heart), опубликованная издательством «Касселс» в 1922 году. Ричмонд Харди, немолодой человек, занимается общественной деятельностью, но он устал от нее и от сложных отношений с любовницей (Ребеккой Уэст). Он говорит, что жизнь имеет для него ценность только тогда, когда ее озаряет женщина, и женщина появляется: эмансипированная молодая американка мисс Гарамонт (Сэнджер). Они полюбили друг друга, но Гарамонт отказалась от прочных отношений, ибо постоянная связь усложнила бы их жизнь. Харди решает вернуться к прежней любовнице и быть с ней терпеливым и добрым, но, не успев этого сделать, умирает. В жизни все остались живы, а Сэнджер и Уэллс сохранили дружбу и тогда, когда их любовная связь осталась в прошлом. Уэллс написал предисловие к книге Сэнджер «Стержень цивилизации» и откликался в печати на все ее последующие работы.

Может сложиться впечатление, что Эйч Джи никакой дружбы с женщинами, кроме «страстной», не признавал. Это неверно: у него было много друзей-женщин. Он пронес через всю жизнь тесную дружбу с Элизабет Хили; дружил (регулярно ссорясь) с престарелой леди Уорвик; у него были прекрасные отношения с женами почти всех его друзей. В его доме гостили и переписывались с ним Мэри Черч Террелл, американская учительница, боровшаяся за расовое равноправие; автор книг о «Диком Западе» Мэри Остин (ее Гувер предупреждал о нежелательности дружбы с Уэллсом, но она не послушалась); Эйлин Пауэр, профессор, специалист по истории Средневековья; Энид Баньолд, английский литератор и светская красавица; Синтия Асквит и ее мать, леди Элшо; молодые литераторы Кристабель Аберконвей и Анита Лус; Марта Джеллхорн, одна из жен Хемингуэя; его преданным другом станет Марджори, жена Джипа. С женщинами он был внимателен, обходителен и мягок — если только они не выказывали прямой враждебности, как Дора Рассел или Беатриса Уэбб. Но чтобы озарить его жизнь, ему нужно было от женщины нечто большее, нежели дружба, и меньшее, чем любовь. Такие отношения создавали приятное волнение и комфорт. Теперь, осенью, он с нетерпением ждал встречи с Маргарет, которая должна была состояться в Нью-Йорке, и писал, что хочет вместе с ней «убежать куда-нибудь от толпы».

Не установлено, что было известно Ребекке до выхода «Тайников сердца» об отношениях Уэллса с Сэнджер, но об эпизоде с Мурой она знала: он сам все ей рассказал. Она несколько месяцев тому назад наконец-то переехала в Лондон: Эйч Джи купил для них с Энтони большую и комфортабельную квартиру на Куинс-террас. Она взяла Энтони из пансиона, где он провел большую часть 1919 года, и мальчика опять

стали учить, что папу нельзя при людях называть папой. В Лондоне, окруженная знакомыми, заваленная работой, Ребекка начала понимать, что сможет освободиться от Уэллса. Она давала ему поводы для ревности, и он ревновал. В декабре она уехала отдыхать в Италию, он писал ей тоскливые письма, в которых то обвинял себя, то просил его пожалеть. «Каким-то безумным, бестолковым способом мы отвратительно любим друг друга. Но мы оба слишком заняты, чтобы друг о друге заботиться» — так в «Тайниках сердца» говорит Харди о своих отношениях с любовницей (противопоставляя ее спокойной умнице-жене) и рассказывает доктору, как она его раздражает и какой она нелепый человек: будучи в гостях, умудрилась свалиться в колодец и заболела рожистым воспалением лица. Такой случай действительно произошел с Ребеккой Уэст: уж не думал ли Эйч Джи, что, прочтя об этом в книге, она станет лучше к нему относиться? Ребекка разозлилась и в рецензии назвала «Тайники сердца» «мелодраматичной» и «смехотворной» книгой.

К американскому турне Уэллс подготовил лекцию «Спасение цивилизации». На всем протяжении человеческой истории, писал он, мы не знали другого способа решения проблем, кроме войны. Теперь мы провозгласили, что войны больше не будет. Это пустое вранье. Как разруха не в клозетах, так и война не в окопах; она — в наших мозгах. Чтобы мозги изменить, нужна «Библия цивилизации» — комплекс книг, которые будут изучать с первого класса школы. Этот комплекс должен состоять из лучших работ философов, историков, литераторов, ученых; он включает историю всех религий и жизнеописания выдающихся людей. Далее он подробно описал, как нужно в школах организовывать библиотеки, использовать наглядные пособия, кинопроекторы, демонстрировать опыты.

Сейчас все это кажется настолько очевидным, что нам и в голову не приходит сказать Уэллсу спасибо.

Поездка планировалась под Рождество, но ничего не вышло. Сперва заболела Кэтрин, которой сделали операцию по удалению матки. Потом сам Эйч Джи простудился и слег. Доктора рекомендовали теплый климат. Он уехал в Италию, где провел два месяца и написал методическое пояснение для педагогов к «Схеме истории» и адаптированную для детей «Краткую историю мира», которая выйдет в издательстве «Касселс» в 1922-м. В конце января, в Амальфи, он соединился с путешествовавшей Ребеккой и представлял ее как своего секретаря; в гостинице, когда один из соседей узнал, кто они такие, поднялся скандал. Перебрались в Рим; в марте Эйч Джи вернулся домой, а Ребекка осталась в Италии. Энтони все это время находился на попечении очередной няни. Ребекка приехала в Лондон спустя два месяца. Летом довольно много времени проводили втроем. Отец был с малышом очень ласков — очаровательный «воскресный папа», как и для своих старших сыновей. Совершали длительные автомобильные поездки — Эйч Джи, как ни странно, оказался хорошим шофером, хотя обучался вождению исключительно по книгам.

Продолжали бурно ссориться, в том числе и при ребенке. Выросший Энтони потом написал, что все ссоры и скандалы заводила мать. Для понимания того, что их нередко провоцировал отец, Энтони был слишком мал. Осенью Энтони пошел в школу; отец стал заезжать за ним после уроков на машине, мальчик был в восторге. Директор школы, узнав об этом, потребовала, чтобы Ребекка забрала ребенка, ибо незаконнорожденные не должны сидеть за партой с приличными детьми. Школу пришлось сменить, а Энтони забирала няня.

Уэллс работал над «Краткой историей мира» и переизданиями «Схемы истории», отвлекшись лишь на то, чтобы написать совместно с драматургом Джоном Эрвином инсценировку «Чудесного посещения». Он принял участие в организации ПЕН-клуба, первое заседание которого состоялось 5 октября. ПЕН был не первой попыткой, предпринятой после войны для объединения европейской интеллигенции, но все предшествующие опыты — например, группа «Кларте», образованная по инициативе Анри Барбюса, — были очень политизированы. ПЕН был задуман просто клубом, где писатели могли бы ужинать — очень английская затея, авторство которой принадлежит малоизвестному беллетристу Эми Доусон-Скотт. В уставе клуба говорилось, что с идеологией и политикой его деятельность несовместима.

Президентом был избран Голсуорси. Уэллсу предложили должность вице-президента, но он отказался в пользу Шоу. Тогда Голсуорси написал ему, что, поскольку Шоу ирландец, а сам он, Голсуорси, шотландец, то получится, что в руководстве объединения английских писателей нет ни одного англичанина; именно этот аргумент побудил интернационалиста Уэллса согласиться стать вице-президентом. Как обычно, попав в новую организацию, он первое время ни с кем не ругался, но в ПЕН-клубе это «первое время» продлилось на удивление долго. Осенью он снова собрался в Америку на международную конференцию по разоружению, предлагал Ребекке его сопровождать. Она отказалась и уехала в Испанию, где и условились потом встретиться.

Конференция по разоружению, созванная по инициативе США, проходила в Вашингтоне с 12 ноября по 6 февраля. Вильсона на посту президента сменил Гардинг, но американская сторона по-прежнему тяготела к глобальным решениям и предлагала

широкий круг вопросов: ограничение вооружений на море и на суше, положение в России, выработка принципов международных отношений; Англия и Франция этот круг сужали. Уэллс приехал в качестве корреспондента двух газет: американской «Нью-Йорк уорлд» и родной «Дейли мейл»; уже на месте он стал корреспондентом «Чикаго трибюн». Статьи, которые он писал, потом были собраны в книгу «Вашингтон и надежда на мир» (Washington and the Hope of Peace), которая вышла в издательстве «Коллинз» в 1922 году<sup>[85]</sup>. Журналистом он был добросовестным и исправно освещал каждое заседание, но «Дейли мейл» отказалась печатать его корреспонденции после того, как он обругал французского премьер-министра Бриана за его «узкую и провинциальную позицию», которую тот отстаивал наперекор госсекретарю США Чарлзу Хьюзу. Уэллс, естественно, был на стороне Хьюза и считал, что Вашингтонская конференция должна «рулить миром», а не ограничиваться частными проблемами. Но все шло так, как хотел Бриан, и Уэллсу стало скучно; как вспоминал его коллега Чарлз Ремингтон, он вел себя очень тихо и даже отказался выступить на приеме в честь британских журналистов.

Из Вашингтона Уэллс писал в Нью-Йорк Маргарет Сэнджер, что ждет не дождется свидания: «Я, не задумываясь, заплачу любые деньги („Чикаго трибюн“ назначила ему баснословный гонорар — 50 тысяч долларов. — М. Ч.) за возможность побыть с тобой». Он снял для свиданий квартиру; встретились и приятно провели время. (Сэнджер собиралась замуж, но это ничего не значило — брак был фиктивный.) Он также виделся со старыми знакомыми, в том числе с Шаляпиным, и завел массу новых. Развлекся он неплохо. Но главное дело, ради которого приехал, он был вынужден охарактеризовать как «упущенные

возможности». Ему казалось, что если бы Франция с Англией не ставили Америке палки в колеса, то удалось бы сделать шаг к созданию Всемирного Государства. До конца конференции он недосидел: в конце января отплыл в Испанию, к Ребекке. (Энтони, как обычно, был брошен обоими родителями, но обиду свою потом припомнит только матери.) Встретились в Гибралтаре, потом переехали в Альхесирас, где провели остаток зимы, посетив также Севилью, Гранаду и Мадрид. «Он приехал отчаянно усталым, — писала Ребекка, — и почти не в своем уме: раздувшийся от непомерного самомнения, ненормально раздражительный, весь в каких-то сумасшедших фантазиях».

Он даже не заехал домой: у него не было больше дома. С Кэтрин к тому времени сложились такие отношения, что каждый из супругов жил своей жизнью и не интересовался делами другого. «Наш дом в Истоне велся таким образом, чтобы, если вместо моих частых исчезновений на время — а каждую зиму я ненадолго уезжал, желая побыть на юге, — мне случилось бы исчезнуть навсегда, в доме все оставалось бы по-прежнему и шло своим чередом». Под «исчезновением навсегда» разумелась смерть Эйч Джи от беспрестанных болезней: он был убежден, что жить ему осталось немного, и внушил это жене. Кэтрин, разбогатевшая благодаря «Схеме истории», обзаведшаяся отдельной квартирой, занявшаяся благотворительностью (она основала фонд, к делам которого ее муж не имел доступа), украсившая «Истон-Глиб» по своему, а не мужнинуму вкусу, неожиданно похорошевшая, свободная, кажется, наконец-то перестала страдать. Когда муж был в Америке, она не писала ему душераздирающих писем, а обедала с его друзьями в Лондоне, и они (Суиннертон и Беннет) отмечали, что она выглядит очень спокойной и веселой. Она ездила за границу, каждое воскресенье бывала в



театре, устраивала приемы. Ее семья теперь состояла из нее самой, Джипа и Фрэнка. Казалось бы, можно и развод оформить.

Но на просьбы Ребекки заключить с ней брак Эйч Джи отвечал решительным отказом и при этом продолжал морочить ей голову, мотивируя свое нежелание жениться на ней страхом за судьбу Кэтрин. В Испании он заболел, местный врач прописал обычные средства от простуды, но больной раскапризничался и потребовал врача из британского посольства, а когда тот подтвердил диагноз, начал распекать всех кругом; Ребекка потом описала этот эпизод с таким же брезгливым раздражением, как он — ее падение в колодец. В середине марта Уэллс вернулся домой, Ребекка с ним ехать отказалась. Почему, собственно, он не хотел дать ей свободу? «Мне следовало ее отпустить. От наших отношений я получал куда больше, чем она; но у меня не было никого, кто мог бы занять ее место, а она и любила меня, и возмущалась мной, и у нее не было никого, кто мог бы занять мое место». Он призывал всех к тому, чтобы любовь была освобождена от собственнического чувства, но сам был всего лишь человек нашего вида и ему необходимо было кем-то владеть. Мура была далеко. Маргарет Сэнджер не выражала намерения ему «принадлежать». И тогда он вернулся к той, что много раз его манила и жестоко отталкивала, — к политике.

Еще до отъезда в Америку ему вторично предложили вступить в Лейбористскую партию; по возвращении он был в нее принят и дал согласие баллотироваться в парламент на выборах в ноябре 1922 года. Как его угораздило, человека, который в 1914-м в статье «Болезнь парламентов» писал, что «парламенты ни в коей мере не представляют действительных идеалов и целей страны», а депутат — это «какой-нибудь законник, скорее ловкий, чем одаренный, умело

жонглирующий дешевыми лозунгами и изловчившийся собрать голоса на выборах»? Он говорил тогда, что партийная избирательная система никуда не годится, ибо «избирателю предоставляется возможность проголосовать в порыве отчаяния за представителя одной из двух партий, ни на одну из которых он не имеет ни малейшего влияния»; он жаловался, что «обычно мне приходилось выбирать своего „представителя“ из двух-трех адвокатов, совершенно мне (да и никому) неизвестных».

Тогда Уэллс видел панацею в системе пропорционального представительства: страна делится на несколько больших избирательных округов и в каждом выставляются 20–30 кандидатов, не партийных, а независимых; кроме того, избиратель отмечает, какого кандидата он — в случае, если «„его“ кандидат» проходит и без его голоса или не проходит вовсе — выбрал бы во вторую и третью очередь. Уэллсу казалось, что таким образом в парламент попадут хорошие люди, а правительства из партийных превратятся в народные. Рамсей Макдональд, лидер лейбористов, выступал с критикой пропорционального представительства; Уэллс назвал его «типичнейшим продуктом существующей избирательной системы». А теперь ему предлагалось участвовать в выборах от партии этого самого Макдональда. С ума он сошел, что ли? «В политические материи я полез не потому, что надеялся достичь своих целей, а потому что это был хоть какой-то шанс...»

Ситуация была следующая: после того как Ллойд Джордж одержал победу на выборах в декабре 1918 года, популярность его правительства стала уменьшаться: правые были недовольны бюджетными тратами, левых возмущали строгие меры экономии, ирландский вопрос не был решен, во внешней политике происходили неприятные вещи, а в 1922-м поддержка

Англией Греции в кампании против Турции (проигранной) едва не привела страну к новой войне. В такой обстановке и консерваторы, и лейбористы могли надеяться на успех. Уэллс был выдвинут кандидатом от Лондонского университета (который приравнивался к избирательному округу). От этого округа баллотировался в 1918-м Сидней Уэбб, но потерпел поражение. Уэллса это смущало. Однако: «Я думал не о том, чтобы меня избрали, а о том, что при помощи предвыборных обращений и листовок, скажем, „Лейбористского идеала образования“, смогу добиться обновления школьных программ как партийной задачи и хотя бы поставлю на подобающее место преподавание истории в начальной школе». Лукавил или вправду готов был удовольствоваться столь скромной задачей? Но для него эта задача не была скромной. Он также согласился участвовать в выборах на должность ректора университета Глазго — опять же для того, чтобы «поставить на место преподавание истории».

Выдвижение в кандидаты не прошло гладко. Фабианец Ричард Тауни протестовал против выдвижения Уэллса, во всеуслышание назвав его «хамом», и предлагал вместо него Бертрана Рассела. Ему ставили в вину членство в Неомальтузианской лиге: многим лейбористам не нравилось мальтузианство. Его упрекали за «аморальное поведение». Макдональд его недолюбливал. Наконец, он был дьявольски вспыльчив и не умел выступать публично. Беллок в «Дейли ньюс» ядовито замечал: «С его моралью, темпераментом, страстью к поучениям и ораторским искусством он будет весьма уместен в палате общин», а Честертон писал еще с большим ядом: «Вопрос не в том, подходит ли м-р Уэллс парламенту. Вопрос в том, подходит ли парламент м-ру Уэллсу. Я думаю, что нет».

Но он был популярен, и его кандидатуру все-таки утвердили. Он выпустил две брошюры — «Мир, долги мира и богатые люди» и «Что означает для человечества прочный мир» — и произнес несколько речей. Своими приоритетами он называл реформу образования, здравоохранения и Лиги Наций, а для стабилизации британской экономики, обремененной долгами, предлагал увеличить налог на капитал. В ноябре он провел встречу с избирателями в школе Миллбенк; сохранившаяся стенограмма показывает, что говорил он не так уж плохо, поскольку его выступление прерывалось аплодисментами и над его остротами дружно смеялись. Он говорил, в частности, о впечатлениях от поездки в Россию, утверждая, что «левый» большевизм не так плох, как «правый». Его не поняли — ни о каком «правом большевизме» никто ничего не знал. Уэллс имел в виду гипотетическую диктатуру Колчака или Деникина; однако эти слова, сказанные за восемь лет до прихода к власти Гитлера, можно расценить и как пророчество.

Многие предвыборные тонкости от него ускользнули: по незнанию он нарушил правила распространения агитационных материалов и был за это наказан. На выборах он получил 1420 голосов, больше чем Уэбб четыре года назад, но был только третьим: победил, набрав 4307 голосов, кандидат от тори, который, что самое обидное, был его однофамильцем — Сидней Рассел Уэллс. Той же осенью он провалился и на выборах ректора в Глазго, тоже оказавшись третьим (победил лорд Биркенхед). В целом итоги выборов для лейбористов были неплохи: они получили 142 места в парламенте (Ллойд Джордж еще в октябре подал в отставку, а правительство возглавил консерватор Бонар Лоу). Уэллс решил бросить политику. Но политикам он отплатил: сочинив на них сатиру — роман «Люди как боги» (Men like Gods), который был

окончен в 1922 году и вышел весной 1923-го в издательстве «Касселс». Писатель Барнстейпл чудесным образом переносится из своего мира, где «повсюду царили вражда и безумие», в Утопию, которая виделась ему в мечтах. К несчастью, вместе с ним туда угодили Артур Бальфур, Уинстон Черчилль, хозяин «Дейли экспресс» Макс Бивербрук и леди Нэнси Астор — светская дама и депутат парламента (в романе они фигурируют под псевдонимами).

Утопия подчинила себе природу. В ней полностью ликвидированы сорняки, комары, мухи, осы, волки, крысы, микробы, болезни и плохая погода, крапива не жжется, львы и леопарды едят травку и позволяют детям себя гладить, слоны и жирафы в почете, лошади и гиены в загоне, медведь достиг необычайного уровня интеллекта, собаки не лают, женщины не носят ночных рубашек, и все общаются друг с другом телепатическим способом. (Сатана, правда, говорил: «Только представить себе: совершенные цветы! совершенные фрукты! совершенные звери! Боже мой! До чего бы это все надоело человеку! До чего надоело бы!» — но ведь это Сатана, а ему доверять нельзя...) Читая это, невозможно поверить, что автору изрядно за пятьдесят: нет, ему не может быть больше двенадцати — или он над нами издевается! Но, кажется, все всерьез: «Эти земляне боятся увидеть, какова на самом деле наша Мать Природа. <...> Она не исполнена грозного величия, она отвратительна. Неужели вы, земляне, не видите ее грязи, жестокости и бессмысленной гнусности многих ее творений?» Утопийцы, в отличие от землян, хорошо видят подлость и гнусность такого творения природы, как муха (то ли дело жираф!) — и посему ее истребили.

В Утопии царит коммунизм — случился он без революций, посредством образования. Теперь там нет частной собственности, денег и правительства, а

решения принимают «те, кто лучше остальных осведомлен в данном вопросе»; если кто-то отказывается выполнить принятое решение, его «проверяют на душевное и нравственное здоровье». (После проверки, надо полагать, его лечат.) Специальная служба располагает сведениями о местонахождении каждого жителя, следит за его передвижением и всегда знает, где кто зарегистрирован и отмечен. Несмотря на это, утопийцы свободные люди: «Каждый утопией свободен обсуждать и критиковать все что угодно, разумеется, при условии, что он не будет лгать ни прямо, ни косвенно; он может уважать или не уважать кого-либо или что-либо, как ему угодно. Он может вносить любые предложения, даже самые подрывные. Единственно, что требуется, — это воздерживаться от лжи...» Непонятно: ведь ежели человек высказывает подрывные идеи, он, стало быть, и действует подрывным образом — он же честен, как все утопийцы! — и тогда его должны «проверить на душевное и нравственное здоровье» со всеми вытекающими последствиями. Вряд ли кому-то в таких условиях захочется высказывать подрывные идеи...

Деторождение тоже взято под контроль и происходит, когда это нужно обществу. Мы помним, что Уэллс начинал свои утопии с идеей о селекции человека, но потом свел свои требования к тому, что размножаться нельзя только сумасшедшим и больным, чьи болезни передаются по наследству. Почему вернулся к старому? Вероятно, сказалось влияние Неомальтузианской лиги. Неомальтузианство отличалось от мальтузианства не только тем, что в качестве средства контроля за рождаемостью Мальтус предлагал половое воздержание, а неомальтузианцы контрацепцию, но и тем, что неомальтузианцы ожидали кризиса перенаселения планеты со дня на день, тогда как Мальтус относил это к неопределенному будущему.

Уэллс поверил — возможно, под влиянием неомальтузианца Кейнса, — что земляне вот-вот начнут вымирать с голоду. Но было у него и другое соображение.

За военные и послевоенные годы пролетариат его окончательно «достал». Умных людей было мало, а пролетариата чересчур много. Непропорционально много также было азиатов с кинжалами, крестьян с вилами и прочих вредных, как мухи, существ. «Мир захлебывался во все растущем потоке новорожденных, и интеллигентное меньшинство было бессильно воспитать хотя бы часть молодого поколения так, чтобы оно могло во всеоружии встретить требования новых и по-прежнему быстро меняющихся условий жизни. <...> Огромные массы населения, неизвестно зачем появившиеся на свет, покорные рабы устаревших, утративших смысл традиций, податливые на грубейшую ложь и лесть, представляли собой естественную добычу и опору любого ловкого демагога, проповедующего доктрину успеха, достаточно низкопробную, чтобы прийтись им по вкусу».

Землянам Утопия не нравится. «Жизнь на Земле, — говорят они утопийцам, — полна опасностей, боли и тревог, полна даже страданий, горестей и бед, но кроме того — а вернее, благодаря этому — она включает в себя упоительные мгновения полного напряжения сил, надежд, радостных неожиданностей, опасений и свершений, каких не может дать упорядоченная жизнь Утопии». (Прекрасные слова — любой из нас под ними подпишется. Правда, обычно мы восхваляем страдания и испытания в том случае, когда причиняем их кому-нибудь, а не когда их причиняют нам, но это конечно же сущий пустяк.) Барнстейпл издевается над своими товарищами, убежденными в том, что земное устройство есть вещь идеальная, и пытающимися убедить в этом утопийцев. Вдруг выясняется, что

земляне привезли с собой вирус. Их изолируют на острове, они решают, что нужно бежать и захватить власть над Утопией. Барнстейпл принимает решение донести — «нельзя низводить либерализм до болезненного почитания меньшинства!» — и убегает с острова, но утопийцы, оказывается, уже все знают; они телепортировали людей в космос и тут же о них позабыли. Барнстейпл остается в Утопии и продолжает восхищенными глазами смотреть на утопийцев. Ему все в них нравится — даже то, что они безжалостны.

Уэллс во всех своих утопиях декларирует отрицание жалости; это принято считать одним из проявлений его безбожия. Правда, если внимательно перечесть его утопические тексты, мы обнаружим, что иллюстрирует свою мысль он исключительно на одном примере: не надо горевать, если твои любимые умерли. У утопийки Ликнис утонули муж и двое детей, а она страдает, чего утопийцы делать не должны. «Ей не хотелось разговаривать с мистером Барнстейплом о счастье Утопии; она предпочитала, чтобы он рассказывал ей о горестях Земли и своих собственных страданиях, — этому она могла бы сочувствовать. <...> Ее сердце жаждало облегчить людские страдания и немощи, тянулось к страждущим жадно и ненасытно...» Барнстейпл, однако, не рад, обнаружив в Ликнис земное. «Он, как и утопийцы, считал, что смерть детей и мужа, показавших свое бесстрашие, могла служить скорее поводом для гордости, чем для горя». Утверждение сомнительное даже с утопийской точки зрения. Ликнис сдуру подстрекала своих детей заплывать подальше, а они утонули — чем тут мать должна гордиться? Она не справилась со своими обязанностями — что тут прекрасного? Отец погиб, кинувшись их спасать, — зачем, утонули бы и черт с ними, а так из-за его поступка Утопия лишилась специалиста...



Но вот что по этому поводу говорил, например, святой Киприан в трактате «О смертности»: «Покажем себя истинно верующими: не будем оплакивать кончины друзей наших и, когда наступит день нашего собственного призыва, пойдем неукоснительно и благодушно на голос зовущего нас Господа». А вот — святой Иоанн Златоуст, чьи слова используются в погребальном обряде: «Скажи мне, что означают эти светлые лампы? Не то ли, что мы провожаем умерших как борцов? Что выражают эти гимны? Не Бога ли мы прославляем и благодарим Его за то, что Он увенчал усопшего?»<sup>[86]</sup>; «Размысли, что выражают псалмы? Если ты веришь тому, что произносишь, то напрасно плачешь и скорбишь»<sup>[87]</sup>. Так противоречит в данном случае Уэллс религиозной традиции — или наоборот?

У каждого свои отношения со смертью: Уэллс ее ненавидел так же страстно, как Карла Маркса, причем не собственную, с которой более-менее смирился, как многие долго болеющие люди, а своих близких. В «Бритлинге» он вообразил смерть сына, написав душераздирающие строки; чтобы не сойти с ума, он тут же уцепился за своего Бога и в этот период, между прочим, утопий не писал. Потом он вновь сменил Бога на Утопию, которая, как и Бог, преодолела смерть — на свой специфический лад. Для Уэллса Утопия в конце концов стала религией, причем не в том смысле, в каком мы говорим, что марксизм есть религия марксистов, а в самом прямом. В ранних утопических текстах Уэллс детально описывал машины, архитектуру, объяснял, кем работают утопийцы и как проводят досуг; постепенно конкретика исчезает, а в «Людях» она сведена к нулю и жизнь Утопии описана абстрактно, как райские кущи: цветут цветочки и все счастливы. «Мистеру Барнстейплу казалось странным, хотя, возможно, и не случайным, что он столкнулся в

Утопии с человеческой душой, которая так часто попадает на Земле, — с душой, которая отворачивается от Царства Небесного, чтобы поклоняться терниям и гвоздям, этим излюбленным атрибутам, превращающим Бога Воскресения и Жизни в жалкого, поверженного мертвеца». Ликнис отвернулась от небесной жизни ради земной юдоли — вот в чем ее преступление. Она остается тосковать, а Барнстейпла из Утопии выпроваживают, и он, вернувшись на Землю, решает отныне всем рассказывать о том, что существует иная, праведная жизнь. Получилась типичная религиозная ересь — каковой, впрочем, когда-то называлась каждая религия по отношению к предшественнице, которую вытеснила.

Зато не изменились взгляды Уэллса на эволюцию: утопийцы — не люди, а другой вид. Леди Стелла говорит Барнстейплу: «Сначала мне казалось, что они всего только простодушные здоровые люди, артистичные и наивные натуры. Но они совсем не такие, мистер Барнстейпл. <...> Они мыслят не так, как мы. По-моему, они уже презируют нас. Наша культура их нисколько не интересует». Это любопытно. Уэллс превыше всего почитал ученых, а ученые любознательны. Почему Уэллс лишил этого качества утопийцев? Если бы человек не изучал амебу, он не смог бы познать себя — так мыслил Уэллс раньше; почему утопийцы не захотели заинтересоваться землянами хотя бы как амебой? У Лема в «Возвращении со звезд» люди будущего лишены любопытства, и это их погубило, так как они не способны развиваться. Но вот сверхлюди Стругацких: «Девяносто процентов люденосов совершенно не интересуются судьбами человечества и вообще человечеством».

Почему мы — хотя бы один процент из нас — интересуемся и микробами, и жирафами, и неандертальцами, а тот вид, что придет на смену, нами

интересоваться не станет? Сверхлюди интересуются космосом, поэтому не могут интересоваться нами? Но у познания нет границ... И Стругацкие, и Уэллс отказали сверхлюдям в таком человеческом свойстве, как любопытство, чтобы подчеркнуть их чуждость, инакость: они не «очень развитые люди», а — другие. Но Стругацкие не задавались целью вызвать у нас симпатию к людям, а Уэллс требует, чтобы утопийцы нам понравились. Получается замкнутый круг, из которого он не в силах вырваться: если сделать утопийцев похожими на нас, они унаследуют наши недостатки; непохожие, они не могут казаться нам привлекательными.

Приняли «Людей» неплохо. На страницах журнала «Адель-фи» говорилось, что сатира на политиков выполнена первоклассно, особенно на Черчилля, и что Уэллс — «величайшее явление в литературе после Диккенса». А Ричард Олдингтон сказал, что этот роман «спас ему жизнь» в минуту отчаяния. Но у широкой публики книга не вызвала такого интереса, как предыдущие утопии: все приедается.

Завершив работу, Уэллс вновь уехал с Ребеккой на юг. Провели январь 1923 года в Париже: опять ссоры. Возвращались в Англию порознь. Ребекке предложили поехать осенью в Штаты, читать лекции по литературе. Она дала согласие. Однако в Бостоне началась кампания против ее приезда. Ее обвинили в аморальности и революционных идеях. В юности ей казалось, что она готова идти против толпы. Теперь понимала, что не выдержит. Очередное требование жениться — в ультимативной форме. Очередной отказ — «Не могу же я убить Джейн, чтобы на тебе жениться!» В отчаянии Ребекка написала письмо Синклеру Льюису, осыпав Уэллса упреками: он из эгоизма не хотел дать ей свободы (сам он впоследствии отмечал, что «вел себя подло» по отношению к ней), а

она не могла с ним порвать, потому что любила. И вновь ссоры, и вновь вмешалась политика.

Через несколько месяцев после назначения премьер-министром Бонар Лоу заболел и ушел в отставку. Его место занял Стэнли Болдуин, сторонник протекционистских мер; он распустил парламент и назначил на декабрь 1923-го внеочередные выборы. Уэллсу предложили повторить попытку. Он согласился, потому что не видел другого способа продвинуть свои образовательные идеи. В марте он прочел в университетском клубе доклад «Социализм и наука». С успехом выступал на съезде учителей, организованном Национальным союзом учителей в Эссекс-холле. Но товарищи по партии не разделяли его «зацикленности» на образовательных проблемах. «Образование они одобряли, оно им импонировало, вроде городской картинной галереи... но очень уж важным они его не считали».

Уэллс пытался смирить свой нрав и подчиниться партийной дисциплине. Кандидатом от лейбористов была также выдвинута старая леди Уорвик, и он больше агитировал не за себя, а за нее — это было легче. Он вел тогда колонку в «Вестминстер газетт», печатном органе либералов, и продолжал во время избирательной кампании там публиковаться; партийные товарищи считали это недопустимым, был изрядный скандал. В июне случился другой скандал: если бы враг Уэллса захотел придумать историю,ставляющую его в невыгодном свете, то ничего лучшего бы не нашел.

Весной в Лондон приехала молодая австрийская журналистка Гедвига Гаттерних, которая хотела перевести на немецкий книгу Уэллса об учителе Сандерсоне. Гаттерних настойчиво предлагала себя — дар был принят. Гедвиге дали понять, что на серьезные отношения рассчитывать не стоит, но она продолжала преследовать свою «жертву». Жертва оборонялась с

помощью горничной, но однажды, по недосмотру, Гаттерних проникла в лондонскую квартиру Уэллса и стала угрожать самоубийством. Она демонстративно порезала себя бритвенным лезвием; вызвали полицию, женщину увезли в больницу, скрыть происшествие от прессы не удалось. Эйч Джи был перепуган: такая история в период выборов могла ему очень дорого обойтись. Репортеры осадили Ребекку, поскольку Гаттерних сообщила, что накануне посетила не только Уэллса, но и ее. Ребекка приехала к Эйч Джи для совещания: перед лицом общего врага распри были забыты. Они демонстративно провели весь день на публике, дабы пресса могла убедиться, что между ними все безоблачно. Этот инцидент, наверное, оказался для Ребекки «последней каплей», хотя Эйч Джи наивно утверждал, что сия история их «на время теснее сблизила».

Чтобы замять дело, показываться на людях с Ребеккой было недостаточно. Эйч Джи обратился за помощью к двум своим могущественным знакомым, один из которых, газетный магнат, согласился устроить так, чтобы газеты больше не писали о случившемся. До сих пор Уэллс сетовал на подконтрольность прессы, теперь возносил хвалы небу за то, что она такова. Другой влиятельный знакомый навел справки о Гедвиге Гаттерних и узнал, что та уже совершала публичные суицидальные попытки. Полиция пригрозила Гаттерних судебным преследованием, и та уехала из Англии<sup>[88]</sup>. А теперь — внимание! — первый из людей, к которым в страхе кинулся за защитой наш герой, был лорд Бивербрук, а другой — леди Нэнси Астор: обоих Уэллс только что в своем романе безжалостно высмеял и вдобавок зашвырнул в открытый космос...

В июле Уэллс совершил поездку в Прагу. Пригласил его Томаш Масарик, президент Чехословакии. Профессор философии, Масарик не собирался заниматься политикой, но во время Первой мировой, находясь в эмиграции, развернул кампанию за признание будущего Чехословацкого государства. Когда Австро-Венгрия стала разваливаться, Чехословакия объявила о независимости, и в ноябре 1918-го Масарик заочно был избран ее первым президентом. В стране была жуткая бедность — Масарик привлек в свой кабинет лучших специалистов, и экономика быстро поднялась. Молодые государства склонны впадать в шовинизм — Масарик этого не допустил. Он трижды переизбирался на пост президента, не переставая заниматься наукой: при нем Чехословакия считалась единственным европейским островком подлинной демократии. Масарик был сторонником формирования новых отношений между европейскими странами: принципы, которые он предлагал, были ближе к нынешнему Евросоюзу, нежели к Лиге Наций. В конце 1920-х Шоу давал интервью «Таймс»; говорили о проекте объединенной Европы, и репортер назвал идею утопической потому, что нет человека, который мог бы эту Европу возглавить: «Он должен иметь чрезвычайную широту взглядов и уметь вникать в малейшие мелочи, иметь удачный опыт реального государственного управления, оставаясь при этом высоконравственной личностью, известной во всей Европе и в то же время не конфликтовать ни с кем». Такого человека не может быть, сказал журналист. Есть, отвечал Шоу, это — Масарик.

Уэллса, естественно, Масарик привлекал: ученый правит государством! Друг другу они понравились, но общего языка не нашли. Уэллс впоследствии говорил, что два человека произвели на него наиболее сильное

впечатление в его жизни — Масарик и Ленин; в Ленине-то и была загвоздка. Никаких иллюзий относительно большевиков у Масарика не было. «То, что Ленин и его люди проводили в жизнь, — писал он, — просто не могло быть коммунизмом, разве что коммунистическими мелочами; как система это был примитивный капитализм (аграрный) и примитивный социализм под надзором примитивного государства, образованного из анархических частиц, отколовшихся от царского, тоже примитивного, централизма». Ленин, в свою очередь, видел в Масарике одного из главных идейных противников: именно с ним он полемизировал в статье «О Соединенных Штатах Европы». В 1920-е годы Масарик дал приют тысячам русских изгнанников: для одних нашлась работа, другим выплачивалось пособие, открывались русские школы. Уэллс защищал большевиков и поносил эмигрантов. Кроме того, Уэллс жаждал ломать основы, требовал, чтобы делалось «все и сразу»; Масарик хотел строить и создавать, понимая, что это — долгая, планомерная работа. Уэллс полагал, что нации обязаны исчезнуть — Масарик, напротив, считал, что все народы должны сохранить свою культуру. (Масарик умер глубоким старцем в 1937-м; его сын Ян Масарик, тоже ученый и политик, покончил с собой в 1948-м, когда его страна, пережив Гитлера, попала в руки Сталина.)

В Праге Уэллс познакомился с Карелом Чапеком, встретил Брюса Локкарта, посетил спектакли МХАТа, прибывшего на гастроли. Ребекка в это время лечилась на водах в Мариенбаде. Эйч Джи приехал к ней, провели вместе остаток лета, а в Англии прожили весь сентябрь как семья — с Энтони и его няней. То было прощание: Ребекка приняла решение о разрыве, Эйч Джи согласился. Поскольку было неясно, уезжает ли Ребекка в Америку на время или навсегда, ребенок оставался на попечении отца. Именно этот период стал

для Энтони определяющим в его отношении к родителям: отец взял его, а мать бросила. Перед отъездом обсудили дела финансовые: Уэллс обязался, помимо содержания Энтони, содержать Ребекку, пока она не выйдет замуж, а также выплатил ей единовременно пять тысяч фунтов. 20 октября она уехала.

На выборах Уэллс снова пришел к финишу третьим. Между тем его партия не то чтобы победила, но власть взяла. Выборы, затеянные консерваторами, привели их к провалу, Болдуин подал в отставку, и в январе 1924-го лейбористы, хоть и не имевшие большинства, при поддержке либералов сформировали свое первое правительство, которое возглавил Макдональд. Одним из первых шагов новой власти было установление дипломатических отношений с СССР. Кажется, Уэллсу следовало бы ликовать: покажи он намерение быть полезным партии, мог занять какой-нибудь пост в сфере образования. Но он уже успел разочароваться в лейбористах. Его жизнь стала пустой — в отличие от своих утопийцев он не научился быть самодостаточным.

## **Глава вторая ВЕЧНЫЙ СОН**

До сих пор Уэллс проходил через Дверь в одном направлении: из мира, юдоли страданий, — в волшебный сад. Но, оказывается, можно желать и обратного пути. Сразу вслед за утопией «Люди как боги» он написал роман, который выглядит антитезой «Людям» — «Сон» (The Dream). Утопийцу Сарнаку приснилось, будто он попал в прошлое и прожил там целую жизнь. Мир прошлого — «мелочный, бестолковый, одержимый духом стяжательства, раздробленный, ханжески-патриотичный, бездумно плодовитый, грязный, наводненный болезнями, злобный



и самодовольный». Тем не менее Сарнака этот мир задел за сердце; он увидел в нем то, чего не допускали самодовольные утопийцы из «Людей», — красоту, «бесцельную и непоследовательную».

Утопия «Сна» отличается от Утопии «Людей» так, как солнце отличается от лампочки, что светит в кабинете прокурора: это нежная, ласковая страна, где «с первым же неумелым глотком воздуха дитя вдыхает милосердие», где ребенка учат «терпимости и чуткости», где все «привыкли, приучены думать о других, чужая боль становится нашей болью», где превыше всего почитаются «щедрое сердца, готовые давать, давать, не размышляя, не считая... (курсив мой. — М.Ч.)». Эти утопийцы полны бережного интереса к тому, что от них далеко, — подруга Сарнака «писала книги и картины о печалях и радостях минувших веков и была полна прелюбопытных догадок о том, каков был образ мыслей далеких предков, их душевный мир». Старый мир они не поносят, его противоречивость ему не ставится в вину, напротив — «нам с первых дней дают ясное представление о том, что человек по своей природе сложен и противоречив»; главное, что им в этом мире не нравится, — вовсе не отсутствие планирования, а «неумение понять другого, ощутить горечь его обманутых надежд, напрасных желаний, проявить участие к нему».

Много удивительного в этой теплой, такой нехарактерной для Уэллса Утопии. Наши потомки из «Сна» не гонят от себя мысль о смерти, как утопийцы из «Людей»; они верят в бессмертие. «Не в том ли разгадка, что каждый из нас, рано или поздно, находит в сновидении печальную, некогда прожитую жизнь? <... > Это означало бы, что каждый горестный призрак наших воспоминаний обрел сегодня счастье в этой жизни и справедливость восстановлена. Вот где дано вам утешиться, бедные души, — в этой стране вашей

мечты, стране, где сбываются все ваши надежды...» Роман завершается так: «То была жизнь, — сказал Сарнак, — и то был сон. Сон в этой жизни, но ведь и эта жизнь — тоже сон... Сны во сне; сны, в которых спишь и видишь сновидения. И так, пока в конце концов, быть может, мы не придем к тому, кто видит все эти сны, — к существу, в котором заключено все сущее. Нет предела чудесам, которые творит жизнь, как нет предела красоте, которую она рождает».

Жизнь как призрачный сон, гимн состраданию и жалости, чудесам и бесцельной красоте, а не Плану — что стало с Уэллсом? И если он считал главным достоинством утопийцев способность «ощущать чужую боль как свою» и давать, «не размышляя и не считая», — зачем писал другие Утопии, населенные скучными и недобрыми существами? На этот вопрос отчасти поможет ответить «Дверь в стене». Герою никогда не удавалось отыскать Дверь сознательно, «размышляя и считая»; она обнаруживалась нечаянно, как чудо. Может, так было и у Уэллса с Утопиями: он писал их, «размышляя и считая», и они выходили одна другой зануднее, и лишь иногда настоящая Утопия, прекрасная, как волшебный сад, случайно открывалась ему?

«Сон» был опубликован в 1924 году в издательстве «Кейп»; критики его встретили недоуменно. Не этого ждали от Уэллса. Лишь Филипп Томлинсон, колумнист «Адельфи», кажется, что-то понял в «Сне», написав, что Уэллс «побуждает нас ненавидеть грех, но любить грешников». Но это было чересчур прямолинейное толкование, и автору оно не понравилось. В 1924-м также вышли книга о Сандерсоне и сборник периодики последних лет «Год пророчеств», а Уэллс уже работал над новой вещью.

Во время избирательной кампании он заболел бронхитом; когда смог держаться на ногах, уехал

греться в Португалию. Компанию ему никто не составил: Ребекка была в Америке, Кэтрин уехала в Швейцарию. Уэллс поселился в городке Эшторил. В соседнем отеле обнаружился Голсуорси с семьей, вместе ездили в Лиссабон. Уэллс охарактеризовал тот период своей жизни как бесконечное безделье, но на самом деле он писал роман «Отец Кристины Альберты» (Christina Alberta's Father)<sup>[89]</sup>, фантазию об англичанине Примбли, который «жил наполовину во сне» и, побывав на спиритическом сеансе, вообразил, что является реинкарнацией древнего месопотамского монарха Саргона: тот царствовал около 2334–2279 до н. э. и считается первым строителем многоэтнической империи — своего рода Всемирного Государства.

Примбли убежден, что призван реформировать мир; Кристина Альберта безуспешно пытается вернуть его в реальную жизнь. В финале Примбли умирает, а реформаторству решает посвятить себя его дочь, прошедшая путь взросления. Исследователи находят в романе влияние идей Юнга<sup>[90]</sup>, поскольку героиня в своем поведении подчинена вышестоящей моральной инстанции, которую Уэллс назвал «судом сознания» (у Юнга есть подобное понятие, «анимус»): руководствуясь приговорами этого «суда», Кристина Альберта становится разумным человеком, подчиняющим свои действия долгу и контролирующим себя в отличие от других людей, которые живут бессознательно. С почти законченным романом (его опубликует «Кейп» в 1925-м) Уэллс в марте 1924-го оставил Португалию; его жена тоже собиралась домой, и, встретившись как добрые знакомые в Париже, они провели там неделю и вернулись в Англию — каждый в свой дом. Вроде бы все нормально — и вдруг крик отчаяния: «Не надо было мне ездить в Лиссабон! Не

надо было возвращаться в Англию!» Почему не надо? И куда надо?

А надо было в Италию, где жил Горький и среди его окружения — Мура. Она бежала из России в Эстонию в январе 1921-го, вышла замуж за барона Николая Будберга, получила эстонское гражданство, развелась. Потом она была в Берлине, была (по ее неподтвержденным словам) в Лондоне, но Уэллса там не видела; в конце мая 1922-го она соединилась с Горьким в Херингсдорфе, потом они были в Саарове, Праге и наконец перебрались в Неаполь. Она говорила Берберовой, что писала Уэллсу, но не получила ответа. Он, напротив, говорит, что они переписывались. Как бы то ни было, с Горьким он переписывался и от него знал о Муриных делах. Ревновал. «Мне известна безрадостная, замысловатая суетность и сложность горьковского ума, и я не представляю, чтобы он мог оставить ее в покое...» Так и не поехал в Неаполь. Дверь в очередной раз ему открылась, а он, как обычно, прошел мимо.

В Лондоне он встретился с Ребеккой, вернувшейся из Америки. Делал попытки возобновить отношения, но Ребекка была непреклонна. Летом она уехала в Австрию и забрала с собой Энтони. Эйч Джи метался («как крыса в лабиринте», по выражению Уэст) — заводил мимолетные связи, не знал куда себя девать. Заезжала Маргарет Сэнджер, была спокойно принята Кэтрин в «Истон-Глиб». В Лондон приехал с лекциями Юнг — Уэллс пригласил его на ужин, обсуждали «коллективное бессознательное». Младшие Уэллсы познакомились с девушками, мать посвящали в свои дела, отца — не очень. Чем заняться?! Он опять решил совершить кругосветное путешествие и начал переговоры с газетами, которые согласились бы его финансировать. Круз планировалось начать в середине осени, а до этого Уэллс съездил в Женеву, где с 1 сентября по 2

октября проходила пятая ассамблея Лиги Наций. Ассамблея его разочаровала, он тосковал: «В глубине души я был невероятно несчастен и совершенно одержим мыслями о Ребекке». Отправил телеграмму в Австрию, предлагал провести зиму втроем, с сыном, наладить семейную жизнь. В жизни Уэст появился другой человек, и она ответила отказом. И тут на сцену вышла Одетта Кюн.

Одетта родилась в Константинополе, она была на 22 года моложе Уэллса и принадлежала примерно к тому же поколению, что Мура и Ребекка. Юность у нее была бурная: недружная семья, побег из дому, приключения, католическая школа, монастырь, Париж, Алжир, Тифлис, мужчины. Она говорила на шести языках и бойко владела пером: первая ее книга, «Девушки Дэн из Константинополя», была опубликована, когда она еще не достигла совершеннолетия. Все ее книги, написанные живо и беспорядочно, представляют собой скорее сборники блестящих сатирических зарисовок, нежели романы; в центре их — она сама, смелая и шикарная. Одна из этих книг, «Современная женщина», изданная в 1919-м, была переведена на английский: ее предваряло посвящение: «Эйч Джи Уэллсу. Вы заразили нас своими мечтами». Уэллс утверждает, что никогда этой книги не читал.

В 1920-м Кюн оказалась в Грузии, где с осени 1917-го у власти находилось правительство меньшевиков, и написала серию репортажей для французских газет: они были полны этнографических наблюдений, а также нескрываемой антипатии к меньшевикам и симпатии к большевикам. Последние не заставили себя долго ждать и весной 1921-го захватили Грузию, однако Кюн не осталась их приветствовать, а бежала в Константинополь. Британские военные власти, которым не нравились ее статьи, депортировали ее в Крым. Оттуда она добралась до Москвы, где, по ее словам,

попала в руки чекистов и провела в тюрьме несколько месяцев, после чего каким-то образом выехала в Париж. Все эти непонятные перемещения, загадочные освобождения, подозрения в шпионаже, вообще вся окружавшая Одетту атмосфера путаницы очень напоминают Муру Будберг. За время пребывания в Москве Одетта разочаровалась в большевиках и, вернувшись, написала книгу «Под властью Ленина», которая была издана во Франции в начале 1923-го и переведена на английский. Уэллс ее прочел и откликнулся хвалебной рецензией, а в ответ получил от автора благодарное письмо. Завязалась переписка: по словам Уэллса, Одетта предлагала себя, он отказывался, однако сообщил ей, что в начале сентября будет в Женеве. Она жила на юге Франции, в Грассе, и, прибыв в Швейцарию, 4 сентября явилась на свидание. Отказать даме Эйч Джи, как всегда, не смог. «Я не влюбился в Одетту, хотя она показалась мне волнующей и привлекательной. Тогда я думал только о себе. Мне нужен был кто-то, кто бы вел мой дом, и нужна была любовница, которая будет умиротворять меня и составит мне компанию».

Ассамблея Лиги Наций была забыта, кругосветное путешествие — тоже. Компаньоны уехали в Грасс, сняли коттедж «Лу-Бастидон» и прожили довольно тихо всю зиму. Домик был неблагоустроенный, но пара больших черных котов мурлыканьем создавала уют. Одетта оказалась заботливой и экономной, однако Эйч Джи, видимо, чувствовал, что экономность эта напускная, поскольку скрыл от новой подруги размеры своего состояния.

В первые месяцы этой связи он написал притчу «Жемчужина любви» (The Pearl of Love, опубликован в январе 1925-го в «Стрэнде») — о принце, у которого умерла возлюбленная. Принц выстроил в ее честь прекрасное здание, но, увидав, что здание —

«раковина» затмила «жемчужину» — любимую, — приказал разрушить его. Смит трактует эту сказку как предостережение Одетте, что она не сможет затмить подлинное чувство к Кэтрин; с тем же успехом можно предположить, что жемчужина — это Всемирное Государство. Одетта, во всяком случае, была поставлена в рамки: на ней никогда не женятся, она не должна ездить в Англию и обязана уважать Кэтрин. Она вела себя безукоризненно и даже писала Кэтрин обстоятельные письма, докладывая о здоровье ее мужа. Весной Эйч Джи съездил в Англию и переговорил с женой. Решено было всем объяснять ситуацию так: он в Англии не может работать, ему необходимо тихое место. Кэтрин будет, как всегда, перлюстрировать почту и контролировать отношения с издателями. Он вернулся в «Лу-Бастидон», привезя с собой почти все свои личные вещи. То, чего долго добивалась Ребекка — разрыв с женой и совместная жизнь, — Одетта получила мгновенно и без усилий.

В «Лу-Бастидон» Уэллс на протяжении первой половины 1925 года писал роман «Мир Уильяма Клиссольда» (The World of William Clissold). Это воспоминания ученого и предпринимателя Клиссольда; считается, что прототип героя — Альфред Монд, лорд Мелчет, финансист, член парламента, министр здравоохранения. Но от Монда в характере героя нет ничего. Клиссольд — это Уэллс, каким он мог бы быть, если бы родился в богатой семье. Почему героем избран крупный капиталист, ведь Уэллс их не жаловал?

Причина в том, что к 1925 году он решил, что интеллигенция никогда не сумеет добраться до власти (Масарик не в счет), так что никто, кроме промышленников и финансистов, не может влиять на события. Да, большинство из них — плохие, но достаточно набрать нескольких десятков хороших, и они перевернут мир. «В денежном и экономическом

отношении нам вполне по силам построить Всемирное Государство среди бела дня, прямо под носом у тех, кто представляет старую систему». Этой группе умных и добрых бизнесменов Уэллс предлагает осуществить то, что он назвал «открытым заговором» — броское, но неудачное название, из которого выросли бесчисленные обвинения в иллюминатстве. Клиссольд и его единомышленники собираются «совершенно открыто говорить о наших проектах и методах и просто воплощать их в жизнь», то есть «контролировать основные артерии, по которым поступают кредиты», «контролировать газеты и политиков» и т. д. Участие населения Земли в управлении своей жизнью не предполагается: «Реализация новой стадии развития общества может быть достигнута без поддержки толпы и даже несмотря на ее сопротивление». Восемью годами позднее Уэллс признал, что теория «открытого заговора» в том виде, как она изложена в «Клиссольде», имела уязвимое место: «Там упущен тот факт, что... частный капитал по духу своему и способам управления решительно и неизменно отличен от любого общественного капитала».

Лейбористом Клиссольд тоже не мог быть — как и Уэллс в 1925 году, он считал Лейбористскую партию ни на что не годной. У них были на то основания: правительство Макдональда продержалось у власти чуть более полугола. К его краху привели две скандальные истории: в августе 1924-го коммунист Джон Росс Кэмпбел опубликовал в газете «Уокере уикли» статью, в которой призывал армию к мятежу, в парламенте было проведено голосование по вопросу о привлечении Кэмпбелла к судебной ответственности, правящая партия голосование проиграла, парламент был распущен и назначены выборы (третьи за два года). Буквально за пару дней до этого было подписано торговое соглашение с СССР, но ратифицировать его не



успели. На этом фоне произошел второй скандал: 25 октября министерством иностранных дел было опубликовано письмо, добытое разведкой: в нем содержались призывы создавать в британской армии коммунистические ячейки, которые «могли бы составить в случае возникновения активной борьбы мозг военной организации партии». Авторами письма значились Зиновьев, бывший тогда заведующим международным отделом Коминтерна, а также британский коммунист Артур Мак-Манус и коминтерновец Отто Куусинен. Сейчас установлено, что это фальшивка, изготовленная, по одной версии, британскими спецслужбами, а по другой — русскими эмигрантами. Многие и тогда не верили в подлинность письма. Тем не менее переполох поднялся ужасный. На выборах лейбористы потерпели поражение, консерваторы вернулись к власти, а Черчилль, которого Уэллс в ту пору считал врагом прогресса, занял пост министра финансов. Сам Уэллс в подлинность «письма Зиновьева», может, и поверил (Зиновьева он считал исчадием ада), но от публичных комментариев воздержался, в отличие от Шоу, который разразился гневной тирадой в адрес Коминтерна, требуя оставить в покое добропорядочный британский пролетариат.

«Мир Уильяма Клиссольда» вышел в 1926 году в издательстве «Бенн». Уэллс продолжал менять не только издателей, но и агентов: место Пинкера занял Александер Уотт, самый «зубастый» литагент Британии, он потребовал выпустить роман в трех томах с золотым обрезом, организовать рекламную кампанию, которая обошлась в 1500 фунтов, а также выплатить автору громадный гонорар (только аванс составлял три тысячи). Виктор Голланц, редактор «Бенна», выполнил требования Уотта и не остался внакладе. Роман получил обширную прессу, по словам самого автора, «благотворно отрицательную». Рецензенты отзывались

о «Клиссольде» благожелательно, но увидели в нем не роман, а философский трактат. То же говорили и друзья. Шоу пенял Уэллсу за то, что тот «забыл, что является беллетристом» и написал «еще одну „Схему истории“». Дэвид Герберт Лоуренс (которого Уэллс защищал, когда его травили за «безнравственность») отозвался о «Клиссольде» пренебрежительно. На наш взгляд, это несправедливо: «Мир Уильяма Клиссольда», хоть и перенасыщенный публицистикой, представляет собой полноценный роман — «классический, старинный». Это понял патриарх романного дела Гарди. «Я сожалею лишь об одном, — написал он Уэллсу, — о том, что в вашем романе только три тома, а не четыре...»

В сентябре 1925-го Эйч Джи ездил в Англию, в нарушение своего принципа взяв с собой Одетту; потом съездил еще раз, на Рождество, и засел в «Лу-Бастидон» до мая 1926-го. Его и Кэтрин материальное положение продолжало улучшаться: за «Схему истории» супруги ежегодно получали 30 тысяч долларов роялти, «Клиссольд» также сулил неплохой доход. Куда Уэллсы девали деньги? Жили широко, посещали дорогие курорты, учили детей в шикарных колледжах, кормили пол-Лондона обедами, себя не обижали, но помогали и другим. Кэтрин большую часть своей половины дохода тратила на благотворительность. Уэллс платил за обучение своих четверых детей, содержал Изабеллу с ее мужем, Ребекку Уэст, сестру Одетты, Дороти Ричардсон, помогал Элизабет Хили. Делал пожертвования в Британскую ассоциацию развития науки, в фонды, занимающиеся медицинскими исследованиями, в школы Оундл и Саммерхилл. Давал деньги на содержание журналов и газет — даже когда эти издания ему не нравились. При этом мог поднять невообразимый шум из-за 100 фунтов гонорара или судебных издержек.

Он перестал опасаться appetitов Одетты и рассказал ей правду о своем богатстве. Хозяйство было поставлено на широкую ногу, куплен автомобиль, Одетте назначена рента. Жизнь в «Лу-Бастидон» была в целом приятна, но отношения между «страстными друзьями» стали ухудшаться, когда Одетта поняла, насколько ее партнер богат и знаменит и какие влиятельные люди числятся в его друзьях. В «Постскрипуме»

Эйч Джи не пощадил Одетту: бестолковая, вульгарная, алчная. Одетта говорила, что он капризный, неблагодарный, пошлый, грубый, жадный, эгоистичный, так что разобраться, кто был виноват в ссорах, не представляется возможным. Уэллс пишет, что она обижала соседей, оскорбляла прислугу, при гостях вела себя непристойно. По словам Одетты, это он со всеми ссорился, беспричинно ревновал ее, ударил, обходился как с прислугой или наложницей, не позволял перед гостями рта раскрыть. Преувеличивали, вероятно, оба. Но домоправительница Фелисия Голетто вспоминала, что «хозяин» был учтив и добр с прислугой и жившими по соседству крестьянами, а от «хозяйки» никому не было житья.

В 1926-м Уэллс хлопотал о предоставлении Одетте Кюн французского гражданства и характеризовал ее так: «Порывистая, неблагоразумная, болтает лишнее, авантюрная... но я знаю ее достаточно, чтобы утверждать: она слишком честна, слишком порывиста, чтобы участвовать в каких-либо политических интригах... Она дала мне счастье и безмятежную дружбу, каких никто никогда не давал мне...» Эти слова так же нельзя считать правдивыми, как и ругательства, которыми Уэллс осыпал Одетту. Они свидетельствуют лишь о том, что, какими бы ни были отношения Уэллса с человеком, он не отказывался для него хлопотать в практических вопросах.

Конец марта и часть апреля 1926 года Уэллс провел в Лондоне по издательским делам, а в мае, когда он вернулся в Грасс, Англию парализовала забастовка. Черчилль, министр финансов, послушался экспертов, которые предлагали искусственно повышать курс фунта. Кейнс предупреждал, что этого делать нельзя. Рост фунта привел к дефляции цен и зарплат. Особенно это отразилось на горной промышленности. Владельцы шахт решились на сокращение зарплаты на 10-50 процентов и увеличение трудового дня. Черчилль дал согласие на выплату горнякам денежных пособий, но в 1926-м распорядился выплаты остановить. Ответом стала крупнейшая в истории забастовка, к которой присоединились рабочие других отраслей: общее количество участников достигло пяти миллионов. Черчилль воспринял это как объявление войны. Организовали штрейкбрехеров. Осенью шахтеры капитулировали.

Уэллс откликнулся на события романом «Между тем» — (Meanwhile (The Picture Of A Lady): всеобщая забастовка в нем присутствует «между тем», то есть в качестве предлога для бесед, ведущихся богатыми англичанами на Ривьере. Он поделил себя между писателем Семпаком, разглагольствующим о новом мироустройстве, и совестливым богачом Райландсом. «Легко нам сидеть здесь и терпеливо ждать, но каково шахтеру там, в темном и сыром подземелье», — говорит Райландс, полагающий, что состоятельные люди должны шахтеру как-нибудь помочь, а Семпак ему на это отвечает: «Если я пошлю ему немного денег, это не решит проблему. Так зачем же притворяться? <...> Сперва необходимо исправить человеческие умы, и только после этого страданиям рабочих в темных шахтах может быть положен конец».

Другая тема курортных разговоров — фашизм. Три годами ранее Муссолини пообещал «очистить

Италию от „коммунистов и масонов“» (что не помешало его правительству признать СССР); в июле 1924-го ввел ограничения на свободу прессы, а зимой 1926-го присвоил себе право издавать законы без согласования с парламентом. «Ослабевший мир жаждал уверенного и волевого человека, — говорят персонажи уэллсовского романа, — и этот человек пришел». Сильной руки жаждали не только в Италии; в 1923 году в Англии была образована партия «Британские фашисты», потом еще одна, «Имперская фашистская лига». Фашисты предложили свои услуги для подавления шахтерских выступлений. Консерваторы от помощи фашистов безразлично отказались, и те канули в небытие (фашизм в Британии возродится через восемь лет и с тем же успехом). Но в мае Уэллсу казалось, что фашизм в его стране недалек от победы. «Злобные, ненавидящие все новое, нравственно ограниченные люди теснят нас повсюду». Итальянский фашизм в 1920-е годы импонировал очень многим «приличным» людям. Уэллс в их число не входил: «Италия — одна большая тюрьма. Тюрьма с казнями и пытками, тюрьма для каждого, кто мыслит, кто высказывает свое мнение». Почему человек, так легко «раскусивший» фашистов, в то время как иные мыслители годами прислушивались к ним, был слеп в отношении большевиков? Он видел лишь то, что отличает одних от других: фашисты проповедовали религиозный фундаментализм и национализм, тогда как большевики то и другое (во всяком случае, на словах) отрицали. Того, что объединяло две системы, он не заметил.

Напоследок одна деталь. Семпак постоянно твердит о планировании, но однажды произносит следующее: «Все вещи в человеческой жизни, которые чего-то стоят, были созданы неловкими и неэлегантными людьми, людьми, находящимися в жестоком конфликте с самими собой, людьми, которые движутся на ощупь и

ошибаются. Они терзают себя и не успокаиваются». Как же тогда утопийцы, действующие по плану, а не на ощупь, ни от чего не страдающие, живущие в ладу с собой (исключение — «Сон»), будут создавать вещи, которые чего-то стоят?

\* \* \*

Летом Уэллс провел много времени в Англии со старшими сыновьями. Джипу, который был сотрудником кафедры зоологии лондонского Университетского колледжа, отец предложил стать его соавтором: у него появилась новая грандиозная идея. Нужно написать книгу наподобие «Схемы истории», только с естественно-научным уклоном. Проект получил название «Наука жизни» (Science of Life). Вдвоем справиться с таким объемом работы было немыслимо, тем более что Уэллс-старший не был сколько-нибудь приличным биологом; третьим позвали оксфордского профессора Джулиана Хаксли, внука учителя Уэллса. Составили план, в соответствии с которым львиная доля труда на первых порах досталась Хаксли. Тот принял должность в лондонском Кингс-колледже и писал Уэллсу, что у него не хватает времени на новый проект, Уэллс ругался: «Я не могу следить за вами с Джипом, как старая курица за утятами. Праздники, отдых, каникулы, всевозможные подобные пустяки, похоже, делают дальнейшую работу над „Наукой жизни“ невозможной. Хорошо, значит, бросим это, и чем скорее бросим, тем меньше сил будет потрачено впустую». Это были обычные рабочие трения.

С планом «Науки жизни» Эйч Жи в августе 1926-го вернулся в Грасс, где его ждало другое грандиозное мероприятие: он затеял строить дом с гаражом на несколько автомобилей, большой современной кухней,

удобным кабинетом. Купил участок в четверти мили от «Лу-Бастидона»: рядом — скалы, речка, роща оливковых деревьев. Архитектор, как и при строительстве «Спейд-хауса», был в отчаянии: заказчик во все вмешивался. Тем не менее строительство завершилось менее чем за год. Дом назвали «Лу-Пиду» (сокращение от французского «Le Petit Dieu» — «маленький бог» — так льстивая Одетта любила называть своего друга). На дом был оформлен узуфрукт — право пожизненного пользования, в пользу Кюн, а над камином выбита надпись «Сей дом построили двое влюбленных», которая вызывала недоуменные смешки у гостей. По соседству снимали виллу Расселы: Элизабет, недолюбливавшая Уэллса, назвала строящееся жилище «громадным особняком в восточном стиле, наподобие дворца Кубла-хана, вмещающего много дев и арф».

В начале 1927-го Уэллс провел несколько недель в Лондоне и познакомился с человеком, который надолго станет связующим звеном между ним и Россией. Поводом к знакомству послужили китайцы. Их компартия находилась в тесных отношениях с ВКП(б) и Коминтерном, в Европе и США к китайским «левым» относились очень плохо. Уэллс опубликовал в конце 1926-го серию статей на «китайскую тему» в «Санди экспресс», где убеждал своих соотечественников в том, что в Китае коммунисты вовсе не «режут людей», а пытаются создать планируемое общество. (Позднее Уэллс изменит свое мнение о китайском коммунизме.) Статьи прочел Иван Майский, советник полпредства в Лондоне и поклонник уэллсовских книг. Он отправил автору письмо, в котором мягко укорял его за отрицание диктатуры пролетариата. Обычно у Эйч Джи слова «диктатура пролетариата» вызывали изжогу. Но письмо Майского было так деликатно и мило составлено, что Уэллс пригласил его отобедать в «Истон-Глиб».

Майский был революционером со студенческих лет, в 1908-м эмигрировал, окончил экономический факультет Мюнхенского университета, с 1912 по 1917 год жил в Англии, вернувшись в Россию, входил в состав эсеров-меньшевистского правительства в Самаре, в 1920-м стал большевиком. Это был общительный, интеллигентный человек, любитель искусства. Он уже встречался с Уэллсом в ноябре 1926-го на приеме в советском полпредстве, но тот его не запомнил. Теперь знакомство состоялось: чета Майских посетила чету Уэллсов, все друг другу понравились, предполагалось, что общение станет регулярным. Но уже через несколько месяцев Майскому пришлось уехать. 12 мая 1927 года Скотленд-Ярд провел обыск в здании, где находились советское торгпредство и английская (с советским капиталом) торговая компания «Аркос», и обнаружил у шифровальщиков торгпредства документы, подтверждающие связь с компартиями Англии и США. На заседании палаты общин Болдуин заявил, что советские торговые учреждения ведут шпионаж и подрывную деятельность. Советское посольство утверждало, что «подрывные документы» подброшены полицией. Но по предложению Болдуина торговые и дипломатические отношения с СССР были разорваны. Лейбористы выступили против такого шага, но очень вяло. Майский получил назначение в Токио и в начале июня пришел к Уэллсу попрощаться. Говорили о русских делах. Но Уэллсу было совсем не до России.

В марте его пригласили в Сорбоннский университет — прочесть лекцию. В Париж с ним приехала Кэтрин, жившая тогда во Франции. Они давно не проводили столько времени вместе: оказалось, что гулять вдвоем по Парижу приятно и весело. Познакомились с четой Кюри. В Лондон вернулись тоже вместе. Кэтрин сказала, что ей нездоровится, но значения этому не придавала, не до того: Джип должен был жениться. 24



апреля состоялась его свадьба с Марджори Крэйг, а 25-го часть семейства уехала во Францию: молодожены — в свадебное путешествие, отец — достраивать дом. В июне он должен был ехать в Женеву на конференцию по вопросам демографии. Перед отъездом попросил Кэтрин на всякий случай показаться врачу. Два дня спустя она была на консультации у хирурга, через неделю консилиум диагностировал неоперабельный рак. Жить ей оставалось полгода.

\* \* \*

«Родная мамуля, моя дорогая, дорогая моя жена!

Сегодня я получил письмо от Фрэнка и узнал, как серьезно ты больна и что ты, может быть, еще долго будешь больна. Моя дорогая, я люблю тебя больше всех на свете, как никого никогда не любил, и я немедленно еду, чтобы быть с тобой и заботиться о тебе и делать все, чтобы тебе было хорошо... Я еду сейчас же, только улажу здесь пару мелочей, чтобы не возвращаться и быть с тобой безотлучно столько, сколько нужно. Моя дорогая, моя дорогая, самое дорогое мое сердечко...»

К вечеру 13 мая Уэллс уже был в Англии. Он надеялся, что Кэтрин не знает о приговоре, но она знала. Джип с женой тоже приехали. Эйч Джи не мог смириться, приглашал одного врача за другим, все-таки сделали операцию, облучали рентгеном — все это было мучительно, и она просила оставить ее в покое. В отчаянии Уэллс написал Маргарет Сэнджер, что примет «абсолютно любой совет, любую помощь» медицинского характера. В советах не было недостатка, в том числе идиотских: Шоу полагал, что рак является следствием «дурных мыслей» и рекомендовал гомеопатию. Беннет отыскал врача, который обещал, что его методика может продлевать жизнь онкологическим больным, но

оказался шарлатаном. Уэллс, однако, не оставлял попыток, ведя переговоры со специалистами в Англии и во Франции (куда он ездил в то лето несколько раз на один день).

До конца июня Кэтрин могла спускаться по лестнице, потом ее стали носить. Купили кресло-каталку, каждый день возили ее в парк. Ей хотелось в последний раз увидеть море — в автомобиле ее свозили на курорт Феликстоу. В «Истон-Глиб» бывали гости, как раньше. Она попросила купить патефонных пластинок с классической музыкой. «Мы усаживались вместе на солнышке и слушали Бетховена, Баха, Перселла и Моцарта, а когда она стала слабее и ей трудно было сосредоточиться, мы сидели рядом в тишине, в сумерках, и с интересом смотрели, как среди только что занявшихся поленьев мерцают первые голубые огоньки и разгорается пламя».

Кэтрин хотела дожить до свадьбы младшего сына с его подругой Пегги Гиббонс, которая была назначена на 7 октября. В ход пошел морфий. «Вначале я приходил к ней во время завтрака, и она бывала весела, а часам к одиннадцати сиделки вывозили ее в сад. Потом она стала уже начинать день с ленча, после которого спала до чая, и только между чаем и отходом к ночному сну приходила в себя и как-то оживлялась. Она худела и стала совсем тоненькая, но в изнуренном лице было странное очарование, что-то напоминавшее Джейн в юности. Она иссохла и стала поистине крохотной. При этом вид у нее был не изможденный и не пугающий, и она неизменно ухитрялась не приводить окружающих в отчаяние. Еще за месяц до смерти она провела час или даже больше со своим парикмахером из Лондона, и он завил и уложил ее прелестные волосы». Она сама заказывала свадебный завтрак и весь день 5 октября провела в хлопотах. 6-го она совсем ослабела и вечером, когда муж держал ее за руку, умерла.

Откладывать свадьбу ни у кого не было сил. Бракосочетание состоялось в церкви ранним утром, чтобы избежать посторонних. «Так хороши были лиловые и белые хризантемы в то октябрьское утро! Казалось, просто невероятно, что я уже не могу принести их ей полюбоваться».

Она оставила записную книжку с распоряжениями по хозяйству, среди которых содержалось требование кремировать ее тело. Кремация состоялась 10 октября. Обряд был не церковный: Уэллс сам написал прощальную речь, а прочел ее Томас Пейдж, доктор филологии. Шарлотта Шоу оставила странные воспоминания о похоронах, которые много лет переходят из книги в книгу: по ее мнению, церемония представляла собой «нечто кошмарное», ее нервы «были истерзаны», музыка «безобразна», речь, произнесенная «бог знает кем», «ужасна», а атмосфера «повергала в пучину страдания», в результате чего она пришла домой разбитой (тогда как с похорон подруги надлежит возвращаться, по-видимому, бодрой и в приподнятом настроении). «А когда дошло до места, где говорилось: „Она никогда не позволяла себе чем-нибудь возмутиться, она никогда никого не осудила“, слушателей, каждый из которых был в большей или меньшей степени знаком с подробностями личной жизни Уэллса, пробрала дрожь... и Эйч Джи — Эйч Джи вдруг самым натуральным образом завыл...» Эйч Джи действительно все время плакал, по словам той же Шарлотты Шоу, «как ребенок»: его горе миссис Шоу почему-то истолковала как отчаяние нераскаянной души по поводу своих грехов.

Остальные присутствующие нашли церемонию красивой и трогательной. В зал, где стоит печь, вдовец идти боялся, но Шоу посоветовал ему сделать это. А вот заключительный фрагмент из речи, которой проводили Кэтрин: «Ее жизнь была звездой, огонь устремляется к

огню и свет к свету. Она возвращается в горнило всего сущего, из которого была извлечена ее жизнь, но она остается, бережно хранимая в глубине наших сердец, и живет вечно в самой сути свершенных ею дел». У верующих и неверующих могут быть разные представления о том, куда ушла Кэтрин Уэллс. Но мы знаем точно, что Дверь в стене для нее открылась. «Сон в этой жизни, но ведь и эта жизнь — тоже сон... Сны во сне; сны, в которых спишь и видишь сновидения».

### **Глава третья ЗАГОВОРЩИКИ**

«В каком-то смысле моя жизнь в прошлом году окончилась, и я пытаюсь вести некую разновидность существования, которое тоже подходит к концу. Я не могу жить в Англии. Сердце рвется из нее вон». Так Эйч Джи писал своему старшему брату Фрэнку спустя год после смерти жены. В память о ней он подготовил «Книгу Кэтрин Уэллс». Дом остался детям и внукам: его хозяин уехал в Грасс. Ему казалось, что он не живет, а доживает; он составил новое завещание (по предыдущему почти все его состояние наследовала Кэтрин), в котором делил наследство между детьми; были также предусмотрены суммы для братьев и Изабеллы. Одетта и Ребекка в том завещании не упоминались — обеим было выделено содержание, которое они должны были получать до замужества.

С Ребеккой поддерживалась переписка; зимой заболел Энтони, подозревали туберкулез, отец писал обеспокоенные письма, просил Ребекку не стесняться в расходах. Мальчика устроили в туберкулезный санаторий, но диагноз оказался ошибочным. Опасность миновала, и отношения между матерью и отцом снова ухудшились. Уэст выпустила сборник рецензий «Странная необходимость» — в одной из них было

немало ядовитых стрел в адрес Уэллса. Тот отозвался россыпью иронических писем: Уэст не является серьезным критиком, а ее беллетристика становится все хуже и хуже. Но эта перепалка была не так важна, как ссоры из-за воспитания сына. «Мне очень жаль Энтони, — писал Уэллс Ребекке, — он чудесный и обаятельный мальчик, но боюсь, что в нем проявится дурная наследственность от нас обоих».

Ребекка не разрешила Энтони провести с отцом очередные каникулы; Эйч Джи попытался в суде определить место проживания сына у себя. Адвокат Уэллса собрал массу доказательств «неподобающего поведения» Ребекки и ее пренебрежения родительскими обязанностями. Процесс все же завершился в пользу матери, но с оговорками: она была обязана «консультироваться с отцом по вопросам воспитания ребенка» и не препятствовать их общению во время каникул; был даже оговорен пункт о том, что в случае, если Ребекка умрет раньше Уэллса, он становится опекуном Энтони. Ребекку, молодую и здоровую женщину, этот пункт натолкнул на странную идею: назначить сыну опекуна еще при своей жизни. Для этой цели она выбрала Бертрана Рассела, о чем написала ему, мотивируя свою просьбу тем, что Уэллс «боится вас и не посмеет сделать ничего плохого». Рассел, разумеется, ответил отказом. Уэст пыталась найти других опекунов, Уэллс негодовал: эти дразги отнимали у него много сил и нервов, но в то же время отвлекали от мыслей о смерти Кэтрин и своей, которой он ждал чуть ли не со дня на день. И, конечно, было главное лекарство от тоски: работа. Если прошлый год в литературном отношении получился почти что «мертвым», то в 1928-м Уэллс свое наверстал.

Для начала он написал один из самых знаменитых своих трактатов с устрашающим названием «Открытый заговор: план мировой революции» (The Open

Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution). На самом деле ничего особенно революционного и ужасного в этом тексте не содержалось. По сравнению с «Уильямом Клиссольдом», где предлагалось нескольким десяткам богачей без выборов захватить власть над миром, «Открытый заговор» — гораздо более миролюбивая и мягкая вещь. Умные люди (не богачи, а представители интеллектуальной элиты), понимающие, что национализм и милитаризм могут привести ко всеобщему краху, должны осознать, что единственный путь спасения цивилизации есть создание Всемирного Государства, и объединить свои усилия в борьбе против того, что этому мешает: «флагов, военных, президентов и королей».

Но что именно «заговорщики» должны делать? Здесь Уэллс при всей любви к «раскладыванию по полочкам» опять не смог сказать ничего определенного. Он прописал первый шаг: надо собираться «во всевозможные группы для изучения мира и деятельности в области прогресса», чтобы, «встречаясь и часто беседуя», «обмениваться мнениями» и «прийти к выводу о необходимости конструктивных перемен в мире». Его воображения хватило еще на два конкретных шага: а) способствовать изменению системы школьного и вузовского образования и б) отказываться от службы в армии (в этом месте он приносил свои извинения пацифистам). Далее все должно происходить как-то так, само собой. «Открытый заговор под тем или иным названием или дух его под разными обличьями завоеует школы и колледжи, привлечет молодых людей, достойных и умелых, честных и прямых, решительных и непоколебимых. В конце концов он охватит все человечество». Что делать, если большая часть человечества все-таки захочет по-прежнему выяснять отношения с помощью танков и

бомб или откажется реформировать образование? Этого Уэллс нам не сказал. Айв самом деле — что?

Одна из глав «Открытого заговора» посвящена вопросу о том, какие страны пригодны для деятельности «заговорщиков», а какие — нет. Когда речь заходит о России, нетрудно увидеть, что отношение Уэллса к советской власти с 1920 года сильно переменилось. Идеи большевиков он назвал «банальными и несвежими», «догматическими и непрогрессивными», а их самих — «тщеславно воображающими себя проводниками мировой революции». А что, собственно, случилось?

До 1923 года Уэллс довольно интенсивно занимался «русскими делами». Работал в Комитете помощи русским ученым, организовывал посылки научной литературы. Горький благодарил: «Вы сделали еще одно хорошее дело, что меня не удивляет, — это, очевидно, ваш обычай». В 1921-м, когда в России начался голод, Горький написал Уэллсу: «Положение крайне острое. Если вы можете — помогайте!» Уэллс мог помочь только призывами к общественности, что и делал.

Но европейская и американская общественность и без него была настроена помогать: после того как в июле был создан Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), Горький опубликовал обращение «Ко всем честным людям», а патриарх Тихон обратился с воззванием к иерархам всех церквей, возник ряд организаций, занимавшихся отправкой продовольствия, прежде всего — АРА (American Relief Administration) во главе с Гербертом Гувером (эту организацию большевики не любили) и Международный комитет помощи России под эгидой Лиги Наций (а эту любили, потому что она не контролировала, куда идут присланные продукты). Уже через месяц Ленин нашел, что Помгол способствует проникновению буржуазного

влияния, и комитет был расформирован, а его члены репрессированы. На Уэллса это произвело тягостное впечатление. Осенью он получил от Горького письмо, в котором тот передавал просьбу Ленина содействовать организации помощи в Штатах (с аналогичной просьбой Ленин рекомендовал Горькому обратиться к Шоу — советское руководство явно преувеличивало влияние писателей на правительства); потом Горький сообщал Ленину: «Я писал ему, чтобы он повлиял на У. Гардинга, чего он, кажется, и достиг...» Ни о каком «влиянии» Уэллса на президента Гардинга неизвестно, они не были знакомы и не переписывались. Весной 1922-го Уэллс приглашал Горького в Англию — тот отказался. А в начале 1923-го советское правительство объявило, что заграничная помощь больше не нужна. С этого периода переписка Уэллса с Горьким постепенно пошла на убыль. (Они обсуждали и другие темы: Горький содействовал переводу и публикации текстов Уэллса, опять предлагал писать книги для детей.)

Уэллс также принимал участие в деятельности Общества культурных связей между Великобританией и СССР, созданного после установления дипломатических отношений. (Членами этого общества были также Рассел, Кейнс, Грегори, Беатриса Уэбб.) Общество устраивало лекции о советской науке, здравоохранении, театре и т. д., демонстрировало советские фильмы. В начале 1920-х в России произошло много такого, что не нравилось Уэллсу, — процесс, над эсерами, высылка «философского парохода»; все это, однако, не изменило его отношения к Ленину как «грандиозному мыслителю» и советскому строю как «познавательному» и «полезному» опыту, о чем он написал в статье на смерть вождя «Ленин и после», опубликованной 9 февраля 1924-го в «Вестминстер газетт»: «Возможно, вся европейская система, подобно России, все-таки нуждается в прививке к этому новому



неизвестному корню коммунизма, прежде чем она вступит в новый созидательный период».

Но после 1925 года его оценки «полезного опыта» становились все прохладнее. Одной из причин такой перемены могло быть влияние Кейнса, которому Уэллс во всем доверял. Кейнс в 1921-м называл большевизм «преходящей горячкой» и, как Уэллс, критиковал экономическую блокаду советской России. Он приехал в СССР в 1925-м на несколько месяцев (и женился на русской балерине Лопуховой), а по возвращении опубликовал серию статей «Краткий обзор России», в которой подверг советскую идеологию критике (хотя по-прежнему одобрял социалистическую экономику): «какие-то идеалы, возможно, кроются глубоко под всей мерзостью, жестокостью и глупостью новой религии», заявил, что революционные эксцессы обусловлены характером русских, особенно когда среди них есть евреи, и выразил надежду на то, что «система, осуждающая личное обогащение, все же сумеет привести страну к нормальному состоянию».

Главной причиной разочарования Уэллса было то, что Советская страна не пыталась двигаться к Всемирному Государству, а, напротив, замыкалась в себе и ошестинивалась против остального мира. В своей характеристике России Уэллс продемонстрировал проницательность, доходящую до гениальности: он не замечал сходства между Сталиным и Гитлером, поскольку никогда не задумывался о тоталитаризме (у него, если можно так выразиться, отсутствовал орган, посредством которого эту вещь чувствуют), но был настроен на то, чтобы повсюду улавливать самое слабое дуновение «имперскости», и поэтому понял то, до чего никто тогда недодумался: если Россия ленинская пыталась идти по пути прогресса, то сталинская, не зря выбравшая своим символом Ивана Грозного, возвращалась к идеалам империи. «Новое русское

правительство, при всей его космополитической фразеологии, все более явно становится наследником навязчивых идей царского империализма, используя коммунистов для пропаганды своего строя, как другие страны использовали христианских миссионеров». «Марксизм потерял мир, — считал он, — когда, придя в Москву, принял традиции царизма, как христианство потеряло мир, когда, придя в мир, приняло традиции цезарей». Так что Россия — хотя и освободившаяся уже от нехорошего Зиновьева<sup>[91]</sup> — для распространения прогрессивных идей больше не годилась.

«Открытый заговор» вышел осенью 1928 года в издательстве «Голланц», потом главы из него печатали в «Таймс» и других газетах. Продавалась эта вещь активно: люди любят книжки, в которых коротко написано, что надобно делать, чтобы всем жить хорошо, а книга Уэллса к тому же, несмотря на страшное название, не требовала ничего кроме как «беседовать» и «обмениваться мнениями». (Из знакомых Уэллса разругал «Открытый заговор» только Майский, после чего их переписка на два года прервалась.) Рассел написал, что согласен с Уэллсом и готов «вступить в круг заговорщиков»; он также надеется привлечь Эйнштейна. Беатриса Уэбб назвала книгу «очень вдохновляющей» и заметила, что в ней выражена суть фабианства (последнее замечание Уэллсу вряд ли понравилось). В Европе и Америке стали возникать группы, которые объявляли себя членами «заговора» — правда, дальше объявлений о членстве и «бесед» дело у них как-то не шло.

Такой необременительный «заговор» понравился даже Ллойд Джорджу, который нашел, что идея отражает суть либерализма (так уж была написана эта книга, что каждому казалось, будто она выражает именно его мнение), и приехал в «Лу-Пиду», дабы

встретиться с ее автором. Поговорили, признали, что прогресс — хорошо, а регресс — плохо, решили организовать нечто вроде клуба «сподвижников», собрали интеллектуалов — Рассел, Голсуорси, Кейнс, Беннет, Барри — один раз встретились, обменялись мнениями, и все заглохло. Уэллс пытался вовлечь в «заговор» других членов — молодых парламентариев Гарольда Макмиллана и Гарольда Николсона, — но они не понравились Ллойд Джорджу. Тем не менее группы «заговорщиков» продолжали возникать повсюду: собирались, обменивались мнениями. Справедливо ли сказать, что все это была пустая болтовня? Нет, несправедливо: Декларация прав человека, ЮНЕСКО, движения за разоружение — все выросло из таких посиделок и разговоров, все всегда вырастает из них. Это не то, чего хотел Уэллс, — он надеялся, что человечество будет мчаться вперед, а оно ползет как улитка, останавливаясь, чтобы переварить съеденный листок, отступая назад, но это — не ничто.

Другая вещь, над которой Уэллс работал одновременно с «Открытым заговором» (она также была завершена осенью 1928-го и вышла в издательстве «Бенн»), — роман «Мистер Блеттсворси на острове Рэмпол» (Mr Blettsworthy on Rampole Island). Герой описывает свои приключения на острове кровожадных дикарей, чьи обычаи представляют собой сатиру на современное общество. Роман очень смешной, по сей день актуальный и больше, чем какое-либо другое произведение Уэллса, напоминает Свифта. «В противоположность обычаям других дикарей, на этом острове господствовало странное воззрение, что только на войне можно безнаказанно убить человека. Существовал, однако, весьма строгий кодекс поведения, и малейшее нарушение табу, которых было великое множество, малейшая погрешность против ритуала, малейшее новшество, неожиданная выходка,

проявление лени и неумелое выполнение обязанностей наказывались ударом по голове, который именовался „укоризной“. Так как эту „укоризну“ воздавал здоровенный дикарь, орудуя дубиной из твердого дерева весом чуть ли не в центнер и утыканной зубами акулы, то в большинстве случаев она заканчивалась смертью. После этого мертвое тело подвергали обряду „примирения“». Племя, в котором живет герой, начинает войну против соседнего племени, дабы отнять у него запасы вкусного ореха, и все это понимают, но говорить об этом нельзя, ибо официально считается, что цель войны — внедрение цивилизации у неправильно живущих соседей.

Потом оказывается, что Блетсуорси ни на каком острове не был, а страдает психическим заболеванием. Когда он верил, что находится на острове, то тосковал по цивилизации, а когда его подлечили, он обнаружил, что цивилизация не лучше острова Рэмпол. Тут казнят Сакко и Ванцетти, а ему кажется, что он еще там, на острове, и видит, как дикари пожирают человека. В финале герой, выздоровевший, но охваченный унынием, беседует со своим знакомым Грейвзом (очередной вариацией Уэллса), и тот обнадеживает его: «Но просвещение как-никак распространяется. <...> Распространение новых идей вызвало к жизни и новый уклад жизни, более широкий взгляд на вещи».

В 1927–1928 годах Уэллс также опубликовал в «Санди экспресс» и «Нью-Йорк таймс» серию статей, изданных в конце 1928-го в виде сборника «Путь, по которому идет мир» (The Way the World is Going) — в рекламных пресс-релизах эти тексты называли «вызывающими». Они такими и были, особенно первый — «Человек становится другим животным», где Уэллс объяснил, что, вопреки тому, что мы сами о себе думаем, мы подвергаемся постоянным изменениям и постепенно наш вид изменится настолько, что

откажется от обычной цели всякого вида — бесконтрольного размножения — в пользу интеллектуального и духовного совершенствования. Статья вызвала взрыв негодования и дискуссии в прессе — такого результата и хотел автор. Другие тексты тоже были вызывающими и кого-нибудь задевали: после статьи об итальянском фашизме правительство Муссолини запретило Уэллсу въезд в страну; статьи об Америке, в которых говорилось, что ее духовная культура переживает упадок, обидели американскую общественность, а «Нью-Йорк таймс» отказалась публиковать статью о процессе Сакко и Ванцетти, где американское общество было названо «стоящим на крови». Статьи о вреде патриотизма возмутили традиционалистов, статья в защиту опытов над животными — Бернарда Шоу; короче говоря, досталось всем. А тут еще подоспел судебный процесс с Флоренс Дикс; баталии утомляли, но они же придавали вкус жизни, которая без них казалась бессмысленной. Но не стоит думать, будто его поддерживала только злоба. Тогда же, например, он откликнулся на бедственное положение Джойса, написав ему знаменитое письмо (денежное вспомоществование прилагалось), которое следовало бы включить в учебник по толерантности, если бы существовал такой предмет:

«Много я получаю удовольствия от чтения ваших вещей? Нет. Чувствую я, что получаю что-то новое и открывающее мне новые перспективы, как когда, например, я читаю скверно написанную Павловым книгу об условных рефлексах в дрянном переводе Х? Нет. И вот я спрашиваю себя: кто такой, черт его подери, этот самый Джойс, который требует такое количество моих дневных часов из тех нескольких тысяч, которые мне остались в жизни, для понимания всех его вывертов, и причуд, и словесных вспышек?

Это все с моей точки зрения. Может быть, вы правы, а я совершенно не прав. Ваша работа — необычайный эксперимент, и я буду делать все, что в моих силах, чтобы спасти ее от прерывающих ее запретов и уничтожения. Ваши книги имеют своих учеников и поклонников. Для меня это тупик.

Шлю вам всякие теплые и добрые пожелания, Джойс. Я не могу шагать за вашим знаменем, как и вы не можете за моим. Но мир широк, и в нем есть место для нас обоих, где мы можем продолжать быть неправыми».

\* \* \*

В том же году Уэллс занялся кино. Он познакомился с молодым кинопродюсером и режиссером Айвором Монтегю, сокурсником Джипа и приятелем Фрэнка; Монтегю в 1925 году организовал лондонское кинематографическое общество. Он был социалистом, интересовался русским искусством; Уэллсу он очень понравился. Решили, что старший Уэллс напишет комедию, Фрэнк Уэллс ее адаптирует, а Монтегю поставит. Эйч Джи написал не одну, а три комедии (легенда гласит, что он сделал это в один присест, не отходя от стола): «Васильки», «Тоник» и «Грезы». Все три были успешно поставлены на студии «Энгл пикчерз» с кинозвездой Эвой Ланкастер в заглавной роли: это были очаровательные пустячки (например, история о том, как перепутались пути полицейского, грабителя и хорошенькой девушки), а Монтегю в работе над ними проявил себя как технический новатор, но не за горами уже была эра звукового кино, и они канули в Лету. Но Эйч Джи был доволен опытом и тотчас взялся за большой сценарий, который он начинал писать еще в 1926-м по заказу продюсера Годела и даже продал на

него права, но покупатель обанкротился, — «Король по праву» (The King Who Was a King)<sup>[92]</sup>.

В любом деле Уэллс хотел понять и объяснить «всё про всё»; он и свою первую серьезную кинематографическую работу предварил пространным разъяснением. Цель будущего фильма — «отразить все политические позиции» и «ясно показать, что мир на земле может быть сохранен только путем международного контроля над всем, что жизненно важно для всего человечества». Эйч Джи предупредил, что его фильм годится только для тех, кто ходит в кино за идеями, — отсюда можно сделать вывод, будто он не понимал, что такое кино. Однако это не так: его слова о том, каким должен быть главный герой — «красив, хорошо сложен, разумен и похож не на среднего человека, а скорее на средоточие человеческой сущности», «простой, с чистыми помыслами, не обремененный ничем и шагающий прямо к своей цели», «не знающий горечи неудач», — являются прямым руководством для создателя боевика. То же относится и к героине: «как и героя, ее следует лишить всякой яркой характерности; она должна быть красивой, энергичной и прямодушной». Далее говорится о том, что положительные персонажи будут «идеальны», а «все дурные качества будут характерны в этом фильме только для противной стороны». Так вот кто, оказывается, придумал Голливуд...

В сценарии есть принц, принцесса, костюмированные сражения, спецэффекты, гибель злодея и хеппи-энд; некоторые его фрагменты читаются как пародия. «Да, я принадлежу к Новому миру, миру трудящихся, к миру великого труда, к миру знаний и силы», — говорит герой. Присутствуют также «фигура трудящегося, красивого и сильного (не рабочий и не капиталист, а человек, смело идущий к цели), и какая-

нибудь громадная машина, или гигантские ворота шлюза, или большой корабль на стапелях», но в целом это обычная голливудская история. Неудивительно, что она заинтересовала кинематографистов: права на нее купили известные продюсеры Бенн и Доран. Но фильм они так и не сняли (по причинам финансового характера), вследствие чего Уэллс на некоторое время потерял интерес к кинематографу.

В тот же урожайный год он написал приключенческую повесть для детей «Приключения Томми» (The Adventures of Tommy), а также продолжал работать над «Наукой жизни». Джулиан Хаксли готов был плотно заниматься книгой, Джипа тоже удалось пристыдить, его жена Марджори взяла на себя функции секретаря, которые ранее выполняла Кэтрин: дело спорилось. Хаксли весной приезжал в «Лу-Пиду», пару недель работали совместно; осенью молодые соавторы вновь начали отлынивать и последовали сердитые и жалобные письма («Ах, сколько времени и сил тратится впустую! О, мой соавтор!!!»); тем не менее книга была уже на подходе, а неугомонный Эйч Джи задумывал новую, в которой должно было быть «всё» об экономике. Несмотря на ссоры с Одеттой, в «Лу-Пиду» работалось хорошо. Эйч Джи был за это благодарен своей подруге и, чтобы она его «недоставала», старался удовлетворять все ее желания. Она захотела квартиру в Париже — пожалуйста, роскошные апартаменты с видом на Сену и Эйфелеву башню. Теперь, живя на два дома, они виделись реже и соответственно ругались меньше.

1929-й начался с очередного проекта: совместно с Беннетом, Джулианом Хаксли, Олдосом Хаксли, Ричардом Грегори и еще двадцатью литераторами и учеными было решено издавать журнал, в котором обсуждалось бы «всё». Издание называли «Реалист» с подзаголовком «Журнал научного гуманизма», главным



редактором стал журналист Арчибальд Черч, литературным редактором — историк и психолог Джеральд Херд. Люди были все обеспеченные, деньгами скинулись, солидное пожертвование сделал Альфред Монд, в идеях тоже недостатка не было. Однако журнал после шести выпусков принес убытки и прекратил существование: разгорался мировой экономический кризис, время, неблагоприятное для начинаний.

Как лектор Уэллс всегда был нарасхват (хоть и неважно говорил): в апреле его пригласили сделать доклад в Берлине. 15 апреля он прочел в здании рейхстага небольшой доклад «Здравый смысл и мир во всем мире», познакомился с Эйнштейном и министром иностранных дел Густавом Штресеманом, последним оплотом либерализма в немецкой общественной жизни. Но это было не главное — в Берлине он воссоединился со своей русской возлюбленной.

Все, касающееся баронессы Будберг, — сплошные тайны и двусмысленности. Сам Уэллс пишет, что встреча в Берлине была первой с тех пор, как они расстались в Петрограде, хотя переписка возобновилась примерно годом ранее. Однако биографы — его и ее — склонны считать, что они уже встречались в Лондоне; Берберова утверждает, что Мура даже посетила «Истон-Глиб» летом 1927-го, когда умирала Кэтрин, и была ей представлена. Все эти утверждения не подкреплены документальными источниками, не установлено даже, бывала ли Будберг в Англии в период с 1921 по 1929 год. Мы не видим серьезных причин, по которым следовало бы не доверять свидетельству самого Уэллса, который написал, что в «Истон-Глиб» Мура была дважды — в 1929 и 1930 годах. То есть найти такие причины, конечно, можно: а) ему было неловко признаться, что он виделся с любовницей в период болезни жены или б)

поскольку поездки Муры в Лондон в 1920-х годах были шпионские, то упоминать о них не нужно. Но все это представляется маловероятным. «Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь снова окажется передо мной, я войду в нее». Теперь-то, когда жизнь на исходе, а Дверь отворилась и королева фей стоит перед ним, он, конечно, сделает шаг?

Ничего подобного: провел с Мурой несколько дней и вернулся в Англию, потом — в Грасс. Назначил ей денежное содержание. Не было речи не только о браке, но даже о регулярных встречах. «Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь, ведь для этого пришлось бы сделать всего каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии». В «Постскриптуме» он объяснял свое поведение тем, что был слишком стар и ленив, чтобы соединять себя узами с молодой женщиной. «Я был счастлив тем, что она мне давала, но тогда вовсе не был намерен полностью завладеть ею, что было бы естественно для любого разумного мужчины. Мне казалось, ей следует удачно выйти замуж, обзавестись мужем, который будет ей служить и боготворить ее, как она, на мой взгляд, заслуживала».

Он объявил Муре, что не женится на ней, не хочет иметь от нее ребенка и не собирается оставлять Одетту, а она, в свою очередь, свободна. «На самом деле я принес ее в жертву, разумеется, не Одетте, а моей работе и моей позиции сознательного эгоистичного самосохранения». Была и другая причина — ревность. «Я думаю, с самого начала у меня было очень ясное ощущение, что есть много такого, чего мне лучше не знать. Я не хотел слышать историю ее жизни, не хотел знать, какие неведомые мне воспоминания о прошлом или нити чувств переплелись у нее в мозгу.

<...> Я думал, у нее было такое же множество партнеров, как у меня женщин, и все эти отношения могли с таким же успехом продолжаться. В ту пору я не донимал ее вопросами. Она держалась непринужденно и дружелюбно со всеми, и у меня не было оснований предполагать, что она физически так уж разборчива». Коль скоро речь идет о Муре, то никто никогда не узнает, были подозрения обоснованны или нет. Предложенные условия она приняла. Эйч Джи скоро понял, что не может без нее жить, что согласен прощать любую измену. Но было уже поздно.

Одетта ничего не знала, и лето в Грассе прошло спокойно. Лихорадочно дописывалась «Наука жизни»: к сентябрю труд был почти завершен. Права на публикацию в Англии приобрело издательство «Касселс», в США — издательство «Нельсон Даблдэй». Авторы получили 15 тысяч фунтов за английское издание и 75 тысяч долларов за американское, распределив доход между собой: 40 процентов — Уэллсу-старшему, по 30 процентов — Джипу и Джулиану Хаксли. Это было справедливо, поскольку в завершающей стадии работ основная нагрузка лежала на Эйч Джи и он все время координировал работу. В последующие годы «Наука жизни» переиздавалась несколько раз, была переведена на французский и немецкий. Это громадный труд (девяти томный в последнем предвоенном издании), прекрасно написанный, новаторский по характеру: как «Схема истории» была первым современным учебником истории, так «Наука жизни» — первым современным учебником биологии, очень качественным, в котором действительно было освещено «всё»: теория эволюции, зоология, антропология, психология, отчасти медицина и даже «пограничные науки» — телепатия и гипноз. Это было великое дело — другому человеку одного такого довольно на всю жизнь. Но Эйч Джи собирался умирать

и торопился поведать человечеству остальное «всё» — про экономику.

Третий учебник назывался «Труд, богатство и счастье человечества» (The Work, Wealth, and Happiness of Mankind). Подготовительные работы начались летом 1928-го, когда еще не была завершена «Наука жизни», схема предполагалась привычная: пара соавторов пишет отдельные главы, а Уэллс пишет свою часть и осуществляет координацию. Но на сей раз пошло не гладко. Первоначально соавторов было двое: инженер Эдвард Кресси, автор книг о технических изобретениях и истории промышленности, и Хью Пембрук Воулз, промышленник, социалист, друг СССР, соавтор Уэллса по «Социализму и великому государству». С ним и возникли проблемы. Главы, которые Воулз написал, оказались, по мнению Уэллса, никуда не годными. Уэллс должен был заплатить соавторам по шесть тысяч фунтов, из них примерно 800 авансом. Воулз аванс получил и требовал остальное, Уэллс платить отказывался. Воулз обратился с жалобой в «Авторское общество», которое приняло его сторону. Несколько месяцев длилось разбирательство, в которое было втянуто множество литераторов. В итоге Уэллс частично выплатил Воулзу компенсацию, а также опубликовал ехидную брошюру «Неудобные соавторы». По мнению друзей Уэллса, это была выходка, недостойная его. Но без этих выходок он не был бы Уэллсом.

К Кресси у Уэллса не было претензий, но вдвоем они не могли управиться с работой. Стали искать новых помощников, и к середине 1929-го сложился коллектив: Уэллс, Кресси, Эмбер Бланко-Уайт (бывшая Ривз), специалист по демографическим вопросам Карр-Сондерс и давний друг Грэм Уоллес; даже Одетту привлекли к редактированию. Как ни странно, эта разношерстная компания справлялась с задачей. Эйч

Джи успокоился и начал параллельно с этой работой писать роман о фашизме — «Самовластье мистера Парэма» (The Autocracy of Mr. Parham; опубликован издательством «Хайнеман» в 1930 году).

Мистер Парэм — человек «с милыми его сердцу нелепыми обобщениями, с идеями о нациях, воплощенных в отдельных великих людях, и прочим давно устаревшим мусором кабинетной политической премудрости»; ему не нравится современный мир, и он мечтает о «сильной руке»: «Человек с оружием в руках остается хозяином в своем доме, пока не придет другой, сильнееший. Таков ход истории, милостивый государь. Так повелось испокон веков. Что такое ваша свобода слова? Просто возможность нести всякий вредный вздор и сеять смуту! Что до меня, я ни секунды не колебался бы в выборе между безответственной болтовней и интересами нации. Неужели вы можете всерьез сожалеть о возрождении порядка и дисциплины в странах, которые были на пути к полнейшей анархии?» Парэм ненавидит современную науку: «Давным-давно надо было запретить всякие исследования всем, кто не подчинен воинской дисциплине, а на всяких ученых распространить действие закона о государственной тайне. Вот тогда они были бы у нас в руках. И, может быть, этот их треклятый прогресс шел бы не так быстро». А особенный ужас у него вызывают участники «открытого заговора», призывающие покончить с войнами и устроить мир по-новому: «Эти люди открыто, нимало не стесняясь, вступали в заговор против подчинения и патриотизма, против верности, дисциплины и всех с великим трудом построенных основ управления государством, — и все это во имя какого-то фантастического международного сообщества».

Парэм стал посещать спиритические сеансы и познакомился с духом, который желает одернуть

распоясавшееся человечество. Парэм согласился стать вместилищем духа, и вместе они сделали диктатором, чьи речи пародируют выступления Муссолини: «Я стою за вещи простые и ясные: за короля и отечество, за религию и собственность, за порядок и дисциплину, за пахаря на земле, за всех, кто делает свое дело и исполняет свой долг, за правоту правых, за святость святынь — за извечные устои человеческого общества». Ради торжества «извечных устоев» диктатор начинает войну и успешно захватывает одну страну за другой. Глава «Война с Россией» получила особенную похвалу от Майского, назвавшего речь Парэма о русских «одним из самых впечатляющих мест в романе». Вот эта речь. «Здесь, — сказал мистер Парэм, — в самом сердце Старого Света безмерно огромная, сильная, потенциально более могущественная, чем почти все страны мира, вместе взятые, — он на мгновение умолк, точно опасаясь, что его подслушают, и закончил: — лежит Россия. И не важно, кто правит в ней — царь или большевики. Россия — вот главная опасность, самый грозный враг. Она должна расти. У нее огромные пространства. Неисчерпаемые ресурсы. Она угрожает нам, как всегда, через Турцию, как всегда, через Афганистан, а теперь еще и через Китай. Это делается произвольно, иного пути у нее нет. Я ее не осуждаю. Но нам необходимо себя обезопасить». Основные боевые действия между Англией и СССР ведутся в Афганистане: «Тотчас в качестве меры предосторожности русские войска заняли Герат, а британские войска — Кандагар, и мощный английский авиадесант, поддерживая атаку дружественных курдов, захватил и разграбил Мешхед. Англичане разбомбили Герат, и одновременно русские бомбили Кандагар, но куда менее успешно». Не иначе, Путешественник во времени снова слетал в будущее, год этак в 1979-й,

правда, название одной страны перепутал, но это пустяк...

На пути Парэма встает Америка, сильная и миролюбивая, и дела его начинают идти хуже. Англичане не хотят воевать, диктатура повсюду разваливается: «По Венгрии и Румынии прокатилась волна погромов. Что и говорить, во всех странах Восточной Европы и ближней Азии, каково бы ни было политическое лицо их правительств, население, судя по всему, видело в погромах лучший способ отвести душу». А тут еще прогрессивные химики изобрели вещество, «которое, проникая в кровь, нервы и мозг человека, очистит его разум», так что дело Парэма погибло, и он сам — тоже. Потом, правда, оказалось, что все это был сон.

Уэллсовский Парэм — вовсе не чудовище, это добропорядочный англичанин, которому, казалось бы, превращение в фашистского диктатора не грозит. Когда писался роман, будущий вождь британских фашистов Освальд Мосли тоже был добропорядочным англичанином; более того, он был лейбористом (а еще раньше — консерватором) и, когда его партия победила на выборах в 1929-м, вошел в состав правительства. Но червячок — тот же, что у Парэма, — в нем сидел давно: ему хотелось «подчинения и патриотизма», «верности и дисциплины», и в 1932-м он организовал партию «Британский союз фашистов». Уэллс был с Мосли хорошо знаком — «он казался мне скучным и тяжеловесным, в политике — подражательным, в речах — плоским и пошлым». Можно подумать, что Парэм списан именно с Мосли. Но в 1929-м никто, даже Уэллс, не мог предположить, что тишайший Мосли станет предводителем стада, избивающего людей в Альберт-холле. Это было предвидение, сделанное в той области, в которой Уэллс обычно был слаб, — человеческой психологии. Много говорилось о том, что поздние

романы Уэллса антихудожественны, слабы, но в конце 1920-х с ним что-то случилось и он вновь стал писать лучше: «Блетсуорси» и «Парэма» нельзя назвать шедеврами, но они изящно скроены, эмоционально убедительны и остры как бритва.

\* \* \*

Спустя два года после кончины жены Уэллс продолжал ожидать своей смерти; понимая, что писать о нем будут, он решил позаботиться об этом заранее, как покупают участок на кладбище. О нем уже писали — упоминавшиеся Брукс, Дарк, Арчер, Беннет, Честертон и другие. Но это не были биографии. Теперь Уотт познакомил его с молодым литератором Джефффри Гарри Уэллсом (не родственником), который специализировался на биографических работах, писал о Дарвине и Шоу. Он также опубликовал в 1925-м библиографию работ Эйч Джи<sup>[93]</sup>, а теперь хотел написать его биографию. Уэллс согласился, но попросил взять псевдоним. Джефффри Уэллс стал Джефффри Уэстом. Ему была дана полная свобода. Он использовал переписку Уэллса, какую смог разыскать, беседовал с родственниками, старыми друзьями. Книга «Эйч Джи Уэллс: эскиз портрета» была написана менее чем за год и опубликована в издательстве «Хоу» в 1930-м. Это небольшая вещь, очень доброжелательная и милая, изобилующая картинками из детства героя, но не слишком глубокая. Уэллсу она понравилась, хотя это было не совсем то, чего он хотел.

К зиме 1929 года Эйч Джи решил, что у него слишком много домов. Он продал лондонскую квартиру и купил другую, более современную, на улице Чилтерн-Коурт, а летом 1930-го также продал «Истон-Глиб» (сыновья, которым предназначался этот дом, жить в



нем не захотели — они предпочитали город), что вызвало возмущение Одетты, надеявшейся стать хозяйкой особняка. За ней оставались парижская квартира и «Лу-Пиду». Сам Уэллс бывал в Грассе все реже. В июне 1930-го он ездил в Женеву, чтобы встретиться с Рабиндранатом Тагором, совершавшим поездку по Европе. Как и с Масариком, общего языка не нашли. Оба отмечали факт унификации культур, но для Уэллса это было хорошим признаком, а для Тагора — нет, ибо эта унификация совершалась по европейскому образцу. Уэллс считал, что человечество будет общаться на интернациональном языке, — Тагор говорил, что лучше развивать национальные; Уэллс говорил, что музыка интернациональна, — Тагор это отрицал, и т. д. Диалог завершился примечательными словами Тагора: «Меня часто спрашивают, каков мой план. Мой ответ — у меня нет никакой схемы». Человек, у которого нет ни схемы, ни плана, — что полезного для себя мог Эйч Джи почерпнуть из общения с ним?

Большую часть 1930 года Уэллс провел в Лондоне, где работал над «Трудом, богатством и счастьем». Чарли Чаплин, приезжавший в Англию в октябре, был у него на новой квартире и потом вспоминал, что она походила на штаб: четыре машинистки стучат на машинках, все бегают с какими-то бумагами... Главным секретарем была невестка Марджори Уэллс — как прежде Кэтрин, она проводила переговоры с агентом и издателями, вела корреспонденцию, отвечала на звонки, нанимала машинисток, стенографисток и прислугу. Свекор ни минуты не мог без нее обходиться.

Быть в Лондоне ему было в ту пору необходимо еще и потому, что там находилась редакция радио «Би-би-си», начавшая регулярное вещание в 1922 году. То, что мы называем ток-шоу, появилось задолго до телевидения: Уэллс стал одной из первых «звезд» этих радиопрограмм. Правда, поначалу он возможностей

радио не оценил. Впервые его пригласили на Би-би-си в 1925-м, высказаться по поводу телепатии. Он отказался. Ему предложили читать вслух свои тексты. Директор «разговорных» программ Ланс Сивкинг, его приятель по Реформ-клубу, обещал, что читать нужно будет в тихой, уютной комнате, назначил оплату: два фунта за тысячу прочитанных слов, предлагал бесплатно провести радио в квартиру Уэллса. Эйч Джи опять отказался. Он слушал программы Би-би-си и считал их вульгарными. Кроме того, он ужасно боялся. Уговорила его в 1929-м Хильда Мэтчисон, помощник Сивкинга, с которой он обедал у своей знакомой Эйлин Пауэр; Бертран Рассел, присутствовавший на этом обеде, вспоминал, что Уэллс по рассеянности утащил сумочку Мэтчисон, оставив ее без единого пенса, а та воспользовалась инцидентом, чтобы выудить у него согласие на выступление в эфире. Он выдвинул условие: отсутствие цензуры; Мэтчисон обещала, что ее не будет, но потребовала не задевать короля и религию.

Первое выступление Уэллса по радио состоялось 10 июля. Ублажали знаменитость как могли: перед эфиром был устроен обед за счет редакции, на который Уэллс пригласил своих гостей (около десятка), потом гостей пустили в студию, чтобы ему было не так страшно. Пригласили симфонический оркестр — играть перед выступлением. Принесли сифон с содовой и даже бутылку виски, если гость пожелает во время выступления промочить горло. Тема была — Лига Наций. Короля и религию Уэллс не обижал, но обидел патриотизм, заявив, что это явление несовместимо с миролюбием и тормозит прогресс. Говорил он в микрофон не так хорошо, как Киплинг или Шоу, слабым от волнения голосом, смущался, кашлял, но в общем получилось прилично: иные знаменитости в эфире и вовсе опозорились. Речь была на следующий день

напечатана в газете «Лиснер». В редакцию хлынули возмущенные письма. «Простые слушатели» обвиняли Уэллса и Би-би-си в социализме, пацифизме, растлении умов. Профессионалы отреагировали иначе. В «Обсервер» вышла статья, где говорилось, что идеи Уэллса чрезвычайно интересны, и высказывалось мнение, что он со временем станет хорошим оратором. Сам он был в восторге, как человек, совершивший трудный и опасный подвиг, но от следующего приглашения отказывался — боязно.

Мэтчисон настояла на своем, пообещав, что он может привести с собой сколько угодно друзей и они будут держать его за руку, чтобы он не боялся. Через несколько недель он принял участие в серии ток-шоу «Точки зрения» наряду с Бернардом Шоу, физиком Оливером Лоджем и биологом Джоном Холдейном. Неизвестно, держали ли его за руку, но знакомых он привел — депутата парламента Артура Колфакса с женой, и редакция опять кормила их обедом. Его выступление было посвящено эволюции человека и завершалось словами о том, что он хотел бы «перевернуть радио так, чтобы у микрофона оказались его слушатели и высказали ему свои точки зрения».

Редакцию завалили письмами, на сей раз заинтересованными. Его снова пригласили выступить, а также сделали новое предложение: радиопостановки по его рассказам. Он уже изменил свое мнение о радио и не возражал. На Би-би-си он сделался постоянным гостем. В 1931-м он принял участие в серии радиопрограмм на «русскую» тему; текст его выступлений был издан в виде брошюры «Новая Россия», а в очень сжатом виде они вошли в очередную редакцию «Схемы истории». Засим последовало выступление на тему «Что бы я сделал с миром», в котором Эйч Джи рассказал, что осуществил бы всеобщее разоружение, ввел единую валюту,

реформировал образование и сельское хозяйство; на все это он отводил 21 год. Поднялся шум, слушатели опять возмутились. В общем, он был востребован и в моде.

В октябре в Лондон на несколько дней приезжала Мура Будберг, а в ноябре состоялась знаменательная встреча. Поскольку Эмбер Бланко-Уайт, став соавтором Уэллса, часто виделась с ним, было решено, что их дочь может наконец познакомиться с биологическим отцом. Девушке исполнился 21 год, она с отличием сдала экзамены на степень бакалавра наук в Лондонской школе экономики: хороший предлог для праздничного ужина, на который Уэллс пригласил Бланко-Уайтов. Он сильно робел и попросил знакомую светскую даму Эдит Баньолд сопровождать его «во избежание возможных эксцессов». Но эксцессов не было. Анна Джейн оказалась разумной девушкой. Она любила своего отца, который ее воспитал, и с уважением отнеслась к человеку, чьи гены унаследовала. Эйч Джи увидел в ней «чистую духом, страстно увлеченную работой, в меру честолюбивую молодую женщину»:

«Я не думаю, что ребенок, которого я в глаза не видал с младенчества до зрелости, может воспринимать меня как настоящая дочь, но я вижу в ней как бы любимую племянницу, и всякий раз, когда она оказывается в Лондоне, мы с ней вместе обедаем, и бываем в театре, и очень мило друг с другом общаемся». Опять, как о сыновьях: нет никакой там «кровной связи» и особенной любви. Но в письме к дочери, отправленном спустя год после знакомства, отец писал иное: «На протяжении многих лет я старался забыть о твоём существовании. Но ты — моя кость от кости и плоть от плоти, и это факт. Я очень люблю тебя». Энтони Уэллс потом утверждал, что Анна Джейн их общего отца терпеть не могла. Сама Анна Джейн Бланко-Уайт, когда журналист Ричард Брукс

брал у нее интервью в 1976 году, отзывалась об Эйч Джи тепло и считала, что он и Эмбер всю жизнь любили друг друга. На другой же день после встречи с дочерью Уэллс учредил для нее траст, средства от которого обеспечивали ее на всю жизнь. (Анна Джейн потом уедет жить в США, а оттуда в Австралию.) Общение со старшими Бланко-Уайтами также стало регулярным: мужа Уэллс находил скучноватым, но ценил в нем терпимое отношение к себе, а сама Эмбер постепенно стала для него доброй приятельницей. Это была самая скандальная из его связей, а завершилась она более идиллично, чем какая-либо другая.

Работа над «Трудом, богатством и счастьем» заняла почти весь 1930-й, Уэллс отвлекся лишь на два небольших публицистических текста, которые будут изданы на будущий год — «Путь к миру во всем мире» и «Что нам делать с нашей жизнью?». Для книги ему нужен был консультант по советской экономике — им стал Майский. Отношения между Великобританией и СССР были к тому времени восстановлены лейбористским правительством, возвратившимся к власти после выборов 1929 года, но Майский в Англию не вернулся — он был назначен послом в Финляндию. Уэллс консультировался с ним по почте. Работа шла медленно, и поздней осенью, оставив холодный Лондон ради «Лу-Пиду», Эйч Джи начал «классический, старинный» роман — «Бэлпингтон Блэпский» (The Bulpington of Blup: Adventures, Poses, Stresses, Conflicts, and Disaster in a Contemporary Brain, опубликован издательством «Хатчинсон» в конце 1931 года).

В герое сидят два человека: Теодор Бэлпингтон пытается смотреть в лицо фактам, но Бэлпингтон Блэпский, «настоящий англичанин», который ненавидит и боится «евреев, пуритан, либералов, прогресса, эволюции и всех этих темных и страшных сил», окружает свою жизнь привычными иллюзиями: «Мы

верим в более ощутимые и глубже затрагивающие нас понятия верности, в пылкое безумство личной любви, в королевский сан, в доблестное ведение войны, в красоту благородных усилий и высокую трагедию». Противостоящие Бэлпингтону Блэпскому сторонники нового мира убеждены, что успех их дела не за горами. Им возражают: «„Вы упускаете из виду вечные, основные свойства человеческой природы. Вот в чем ваша ошибка. Вы могли бы построить этот ваш пресловутый плановый мир только при одном условии, а именно: если бы человечество было не тем, что оно есть“. — „Мы его переделаем, — сказал молодой человек. — Воспитаем“. — „Воспитание — это шлифовка! Воспитанием не переделаешь“». Но Эйч Джи был убежден, что воспитание — не шлифовка и достаточно преподавать школьникам историю по-новому, чтобы они начали по-новому мыслить.

В конце марта 1931-го с готовым текстом «Бэлпингтона» Уэллс вернулся в Англию. Родина встретила его печальными событиями: на другой день после его приезда умер Арнольд Беннет. А в августе врачи обнаружили у Эйч Джи диабет в тяжелой форме. Когда он еще не знал о диагнозе, было уговорено, что в конце лета он приедет к Одетте. Но теперь нужно было оставаться в Лондоне и спешно лечиться, так как на осень была запланирована очередная поездка в США по приглашению американских издателей, которые готовились выпустить «Труд, богатство и счастье». Одетта, нарушив запрет появляться в Англии, приехала ухаживать за больным. Больной не желал ее видеть: он был убежден, что она ему изменяет, и менее, чем когда-либо, был настроен на ней жениться. Чтобы выпроводить Одетту в Грасс, ему пришлось поехать с ней и пробыть в «Лу-Пиду» две недели, что не пошло на пользу его здоровью. В сентябре он вернулся в Лондон, а несколько дней спустя умерла — от той же болезни,

что обнаружили у него самого, — его первая любовь, Изабелла. Он почувствовал себя совсем одиноким, но Одетту видеть все равно не хотел. Пригласил в Лондон Муру Будберг, она пробыла с ним неделю, а когда Мура уехала, отправился в Америку. Поездка отняла полтора месяца и страшно его измотала; единственная радость — встреча с Маргарет Сэнджер, связь с которой из «страстно дружеской» превратилась к тому времени в просто дружескую.

На обратном пути он простудился и чувствовал себя ужасно: ходячая развалина, а не человек. Ему казалось, что английской прохладной зимы он не переживет. Пришлось ехать зимовать в Грасс. Там ему стало лучше. Но отношения с Одеттой накалялись, и на душе у него было так скверно, что однажды ночью он, мучась бессонницей, поднялся, побрел в кабинет и «с разгону» начал писать — он и сам тогда не знал, что такое пишет: «Чтобы думать, необходима свобода. Чтобы писать, нужен покой. Но бесконечные неотложные дела выводят меня из равновесия, а каждодневные обязанности и раздражающие мелочи не дают сосредоточиться. И нет ни малейшей надежды избавиться от них, ни малейшей надежды целиком отдаться творчеству, прежде чем меня одолеют недуги, а за ними и смерть. Я измотан, вечно собой недоволен, и в предчувствии неизбежных неприятностей не могу взять себя в руки, чтобы должным образом распорядиться собственной жизнью». Он написал еще несколько страниц в подобном духе. А наутро Одетта объявила, что уезжает путешествовать. То непонятное, что он начал писать ночью, было отложено в долгий ящик.

На Ривьере в ту зиму собралось неплохое общество — Сомерсет Моэм, Элизабет фон Арним, много литераторов, политиков, светских людей, — и Эйч Джи без Одетты очень хорошо проводил время. «Я

подчинился правилам поведения диабетика — и у меня появился такой заряд сил и бодрости, словно я заново родился». Он ненавидел болезни, как врагов, и сражался с ними, как с врагами: в 1934 году он на собственные средства совместно со своим лечащим врачом Лоуренсом учредит «Британскую диабетическую ассоциацию» — организацию по изучению диабета и способов борьбы с ним, которая и поныне успешно функционирует. В Лондон он вернулся в марте — как раз к выходу «Труда, богатства и счастья».

В завершающей книге трилогии «про всё» снова было «всё» — обзор экономических теорий, промышленность, банковское дело, демография, история среднего и высшего образования, архитектура, здравоохранение, профсоюзы, «женский вопрос»; отдельные главы были посвящены театру, спортивным играм, производству пластмассы, бумаги, резины, стали и сплавов. Заканчивалась она словами: «Что станет результатом предпринятого нами обзора истории, науки жизни и экономических условий? Это будет постепенно растущее понимание. Прогресс продолжается, несмотря на человеческие страхи и заблуждения. Он будет продолжаться, и наша раса выживет». Книга вышла в 1932-м в «Хайнемане» в Англии и в «Даблдэй» в Штатах. Повсюду бушевал экономический кризис, и заплатили авторам втрое меньше, чем за предыдущие части трилогии. Но расходилась книга хорошо. Под конец жизни Уэллс скажет о своем труде: «Вероятно, эти три работы и по сей день представляют собой самое четкое, полное и компактное изложение того, что должен знать обычный гражданин современного государства». Звучит самонадеянно, но это правда. Человек, который захотел бы узнать «всё про всё», по сей день не найдет лучшего источника — кроме Интернета.



В начале лета 1932 года по приглашению Фернандо де лос Риоса, испанского министра просвещения, Эйч Джи совершил автомобильную поездку по Испании, где в 1931-м пала монархия. Риос был занят программой по ликвидации неграмотности, правительство открывало десятки школ. В Испании, а не в России Уэллс теперь видел идеал. «Россия никогда не мыслила так конструктивно, как Испания. В ней не было такого богатства свободной мысли. Она не обладала достаточной умственной энергией для развития философии. Она всегда только пребывала в экстазе, пророчествовала и устанавливала догмы». Он вернулся из поездки довольным. А в августе его пригласили выступить перед оксфордскими студентами, которые организовали дискуссионный кружок либерального толка. Он прочел доклад «Либерализм и революционный дух», в котором сказал много такого, о чем его биографы — даже недоброжелательные — обычно умалчивают.

Началось-то за здравие: обращаясь к молодым либералам, Уэллс определил либерализм как «признание возможности существования одного преуспевающего и прогрессивного сообщества справедливых, доброжелательных, свободомыслящих и свободно выражающих свои мысли людей». Но либерализм — «бессильный гигант, которому трудно жить в окружении множества чрезвычайно жестоких и энергичных карликов». Он «не влияет на образование», а посему не может достичь своих целей. Ему надобно стать сильнее. Но как?

«Мы видим фашизм в Италии и множество неуклюжих подражаний ему в других местах и видим, что российская компартия тоже движется в подобном направлении. <...> Такие организации не просто предназначены для распространения своих идей, это — сверхорганизации, которые идут на смену

парламентской демократии с ее нерешительностью и неповоротливостью. Мир устал от парламентаризма. Фашистская партия — в меру ее способностей — это Италия сегодня. Коммунистическая партия в меру ее способностей — это Россия сегодня». Чтобы противостоять этим силам, либерализм должен уподобиться им; он должен стать «либеральным фашизмом», силой, которая начнет свое существование как «дисциплинированная секта», но затем станет «всеми поддерживаемой организацией преображенного человечества».

Речь Уэллса была опубликована в «Нью стейтсмен», за ней последовала статья «Проект мировой либеральной организации», развивающая те же идеи; позднее эти два текста вместе с несколькими статьями составили сборник «После демократии» (After Democracy: Addresses and Papers on the Present World Situation), вышедший в издательстве «Уоттс». Ничего особенно нового в речах Уэллса не было: парламентская демократия никуда не годна, ибо невежественная толпа выбирает черт знает кого (он словно знал заранее, что Гитлер через несколько месяцев победит на выборах), а хорошим людям пора уже перестать быть прекраснодушными болтунами и взяться за дело. Уэллс говорил о фашизме не по содержанию, а по методу (радикальная, энергичная, жестко организованная политическая сила): против дубинок следует бороться дубинками, благая цель оправдывает средства. В другой книге, которая будет написана в 1933-м, Уэллс снова говорит о фашизме: «Интеллектуальное содержание фашизма было ограниченным, националистическим и романтичным; его методы, особенно в начальной стадии, были ужасны, но он, по крайней мере, поддерживал дисциплину и единение своих членов». Но в том и опасность этого иезуитского подхода, что его каждый использует в своих целях.

Мосли, уже задумавший фашистскую партию, истолковал речи Уэллса в свою пользу, несмотря на то, что их социальные идеалы не имели между собой ничего общего.

Но слово — не воробей; в 2008 году вышла книга Дж. Голдберга, название которой — «Либеральный фашизм»<sup>[94]</sup> — по словам автора, позаимствовано из речи Уэллса. Голдберг доказывает, что либералы, такие как Уэллс и сорок второй президент США Билл Клинтон, — это фашисты, потому что они за государственное вмешательство в экономику, а консерваторы — это либералы, потому что они за свободное предпринимательство. Так называемые либералы хотят заменить Бога и Корону логарифмической линейкой и отравить всю жизнь на Земле. Уэллс действительно не видел в понятиях «Бог» и «Корона» ничего хорошего и предпочитал им логарифмическую линейку. Он также не скрывал, что авторитарные методы ему импонируют. Но вряд ли либералы всех времен и народов должны отвечать за то, чего наговорил человек, который либералом не был, как не был ни фашистом, ни социалистом (Замятин: «Но если бы какая-нибудь партия вздумала приложить Уэллса как печать к своей программе — это было бы так же смешно, как если бы стали Толстым или Розановым утверждать православие»), а лишь метался всю жизнь в поисках каких-нибудь энергичных людей, а увидев, что они делают, бежал от них как от огня. В сущности он всегда мечтал только об одном: чтобы миром правили умные, а не дураки, и чтобы это случилось сразу повсюду и «быстренько».

Либералов идеи Уэллса отвращали и пугали. Рассел в 1931-м издал книгу «Научное мировоззрение», где предостерегал от возможного захвата власти группой технократов, стремящихся вместо имущественных

классов создать классы биологические, а в 1932-м Олдос Хаксли опубликовал «Дивный новый мир». Как и в прежних своих книгах, «Желтый Кром» и «Контрапункт», Хаксли жестоко пародировал утопические теории Уэллса. В «дивном новом мире», придуманном такими, как Уэллс, технократами, исчезли нищета, болезни и войны, зато все механизировано, искусство умерло, женщины не рожают, ни у кого нет души. Пародия умная и смешная, но не очень-то справедливая. Ладно, Хаксли имел право отмахнуться от уэллсовского «Сна», видения нежной страны, «где с первым же неумелым глотком воздуха дитя вдыхает милосердие» и «почитаются щедрые сердца, готовые давать, не размышляя, не считая» — ведь Уэллс сам написал кучу книг, которые со «Сном» не вяжутся; но Хаксли также передернул карты в одном принципиальном вопросе. В «дивном новом мире» дети воспитываются с помощью гипноза — они не думают. Уэллс не только не проповедовал ничего подобного, он всю жизнь против этого сражался, призывая учить детей мыслить, анализировать, спорить. И еще одно. У Хаксли человек, выросший вне «дивного нового мира», говорит его правителю:

«— Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзию, настоящую опасность, хочу свободу, и добро, и грех.

— Иначе говоря, вы требуете права быть несчастным, — сказал Мустафа.

— Пусть так, — с вызовом ответил Дикарь. — Да, я требую.

— Прибавьте уж к этому право на старость, уродство, бессилие; право на сифилис и рак; право на недоедание; право на вшивость и тиф; право жить в вечном страхе перед завтрашним днем; право мучиться всевозможными лютыми болями...

— Да, это все мои права, и я их требую».

Да, человеку нужен его дивный старый мир, нужны и поэзия, и Бог, свобода, и добро, и, наверное, грех — но не совсем ясно, почему это противопоставлено «удобствам» и почему нехорошо бороться против рака, сифилиса, вшивости и лютых болей. Зато вполне логично, что права на эти восхитительные вещи всегда (поищите исключений — вы их не найдете) требуют писатели, которые выросли в обеспеченных семьях и никогда не испытывали страха перед завтрашним днем. Когда раком заболел сам Олдос Хаксли, он не пожелал воспользоваться своим правом на страдание и лютую боль, а предпочел принимать ЛСД и вскоре покинул дивный старый мир с помощью смертельной инъекции. Больной (с тем же диагнозом) Уэллс оставался в этом мире до конца и до самого конца — работал.

\* \* \*

Зима 1932/33 года стала последней, которую Эйч Джи провел в «Лу-Пиду». Он не мог больше выносить присутствия Одетты. Тосковал по Муре. «Когда ее не было рядом, мысли о ней буквально преследовали меня, и я мечтал: вот сейчас заверну за угол, и она предстанет передо мной — в таких местах, где этого никак не могло быть». В Грассе по соседству жила русская дама: ей было за шестьдесят, но он испытывал прилив нежности при мысли о ней, потому что она была русская, высокого роста, как Мура, и слова произносила, как Мура, с теми же ошибками и акцентом. Помните, год назад он посреди ночи взялся писать что-то жалобное, а когда Одетта уехала, забыл об этом? Теперь, когда она была рядом, он продолжил эти записки. «Чтобы думать, необходима свобода...» Так начинается «Опыт автобиографии». Возможно, если бы

не Одетта Кюн, мир мог никогда не увидеть этой замечательной и странной книги.

Эйч Джи начал свои записки с упоминания юнговской теории «персоны» — суммы представлений человека о том, каким он хотел бы быть и каким ему хотелось бы казаться другим. «Персона» «может быть честной перед собой или черпать часть своих представлений из мира грез». Его «персона» честная — но он тут же предупреждает нас, что это, возможно, ему только кажется. Разумеется, в первых строках было объявлено, что это книга про всё: «Мое повествование, очень личное, будет в то же время говорить о людях, на меня похожих. А заодно и обо всей нашей эпохе в целом». Ее подзаголовок — «Открытия и приключения одного вполне заурядного ума». Эйч Джи убеждает читателя, что в умственном отношении он абсолютно ничем не выделяется, память у него скверная, соображает он туго. «Ум, в котором запечатлелся мой жизненный опыт, нельзя назвать первоклассным. Не уверен, что на выставке умов, вроде выставок кошек или собак, он мог бы претендовать даже на третье место». Единственное, что в его маленьком уме есть хорошего, — он очень организованный.

Но для организованного человека, который превыше всего ставил планы, его автобиография на удивление дурно скомпонована. Проследить за его жизнью по этой книге — задача почти безнадежная. Читатель начинает знакомиться с детством героя и тут же натывается на длинное рассуждение о социализме, а когда доходит до периода, где это рассуждение было бы уместно, не обнаруживает его. Хронология не соблюдается, автор скачет с одного на другое, посвящает страницы сплетням о людях, которые никому не интересны, а целые годы своей жизни втискивает в один абзац. Создается впечатление, что ее писал человек громадного ума, глубокого и острого, но разбросанного

и хаотичного. Интересное наблюдение сделал Торстон Хопкинс в работе «Уэллс: личность, характер, топография»<sup>[95]</sup>: «В самом методе его работы обнаруживается импульсивность ребенка». Хопкинс говорит, что Уэллс, этот певец Плана, не мог работать по плану, писал «запоями», постоянно менял график работы, начав одну книгу, всегда бросал ее на середине ради другой, а после нескольких попыток написать роман, придерживаясь плана, заявил, что ему пришлось бороться с этим планом, как Лаокоону со змеями.

Толстенный «Опыт» Эйч Джи написал менее чем за год. Ему нужно было многое вспоминать, разыскивать свои письма и другие источники. Он надеялся, что ему поможет любимый брат Фрэнк, но тот в начале 1933 года умер. Он написал Элизабет Хили: выражал свою тоску по брату, рассказывал, как много тот для него сделал. Хили согласилась помочь ему. Собирала фотографии, редактировала главы, где говорилось о студенческих годах, отдала (на время) письма, которые Эйч Джи писал ей. (Впоследствии Хили сама собиралась написать книгу об Уэллсе, но не сделала этого.)

«Я отказался от заманчивой мысли оправдаться и взял на себя труд написать честную автобиографию, представив запутанный клубок, питающий мою „персону“: сложные сексуальные комплексы, тщеславие и зависть, колебания и страхи, меня одолевавшие». Если ум Эйч Джи Уэллса заурядный, то в любви он совершенно необычный человек, со сложными теориями и жуткими комплексами. Но когда проследишь за его любовной жизнью, то обнаружится, что по этой части он был самым обычным мужчиной: хотел, чтобы женщины предоставляли ему свободу, а сами были верны; сопротивление разжигало в нем страсть, но если женщина его добивалась, он легко сдавался; не любил глупых женщин, но не терпел, чтобы женщина была

умнее его. Рассказывая о себе, он вытащил на свет кучу мелких гадостей и в то же время постоянно оправдывался, во всем обвиняя других людей. Как все мы, он казался самому себе одновременно и лучше, и хуже, и глупее, и умнее, и добрее, и злее, чем он был, — таким он себя и описал.

В соответствии с наблюдением Хопкинса Эйч Джи не мог полностью отдаться одной работе и одновременно с «Опытом» написал книгу «Облик грядущего» (The Shape of Things to Come: The Ultimate Revolution). Это полубеллетристический текст, представляющий собой предсказания будущего, сделанные в 1930-е годы мыслителем Рэйвенем. Данн, изобретатель бесхвостого самолета, был также философом-самоучкой и в 1927 году опубликовал книгу «Эксперимент со временем», которая произвела на Уэллса сильное впечатление. Данн много лет записывал свои сны и пришел к выводу, что он способен видеть прошлое и будущее, а следовательно, прошлое и будущее существуют в настоящем как реальность. В «Облике грядущего» Рэйвен утверждает, что, как и Данн, может предвидеть будущее очень ясно: он «из 2106 года» написал книгу, в которой излагается все, что произойдет (или произошло, ибо будущее и прошлое смешиваются в нелинейном времени) с человечеством в период с 1933-го по 2106-й.

В 1930-е годы умные люди понимали, что «человеческое общество стало одной неделимой экономической системой», но политики, тупые и агрессивные люди (в особенности немецкие, итальянские и японские милитаристы, но также и англичане, как Черчилль, который «будучи бесчувственным, подобно 13-летнему мальчику, играл в солдатики и наслаждался войной»), спекулировали на националистических инстинктах масс и втягивали человечество в войну. Главный очаг напряженности был



в «польском коридоре» — так называли полосу земли, полученную Польшей по Версальскому мирному договору и отделившую немецкую Восточную Пруссию от территории Германии. Война начинается в 1940 году — ошибка на несколько месяцев! — когда польский самолет падает над Германией. Она длится до 1947 года. Англия и Франция поддерживают Польшу, но вяло. Россия вроде на их стороне, но пользуется войной лишь затем, чтобы установить советскую власть в странах Восточной Европы: «Там Красная армия остановилась. Старый призыв к мировой революции исчез из лексикона русских. Они стали такими националистами, что боялись влияния западных союзников. Кремль объединил родственные ему Славянские Советы и на сем успокоился».

После войны начинаются ужасные эпидемии, повсюду хаос; человечество вымерло бы, если бы не решительные и умные авиаторы: они создают организацию «Воздушный и морской контроль», которая берет власть над миром (как берет? Известно как — как-то так, само собой) и устанавливает Всемирную диктатуру летчиков. Никто особо не сопротивляется, кроме евреев и русских. На первой международной конференции выступает советский комиссар: Россия не желает буржуазных всемирных правительств и не допустит на свою территорию буржуазных летчиков. Ему возражает другой русский, авиаконструктор и летчик Иван Энгельгарт. Комиссар угрожает летчику расправой по возвращении в Москву. Но Иван отвечает с презрением: «Я — гражданин мира, и я вернусь в Россию, когда сочту нужным и таким способом, как мне будет угодно». Потом в России «инженеры прогнали политиков» и она объединилась с остальным миром, евреи тоже отбросили свой национализм и все зажили дружно.

Поначалу Летчики правят миром очень строго, политических оппонентов вынуждают к самоубийствам, уничтожают вредные с их точки зрения книги; сами они, однако, подают миру пример своей умеренностью, пуританской чистотой и диетическим питанием, и мир их примеру следует. (Чем диктатура Летчиков лучше диктатуры пролетариата или нацистов? Очень просто: Летчики — умные, а пролетариат — нет; Летчики — хорошие, а нацисты — нет.) Потом надобность в диктатуре отпадает, политическая власть исчезает, остаются «отраслевые комитеты» и Бюро согласования и сотрудничества — что-то вроде Верховного суда. К 2059 году наступило полное единение человечества, никто не болеет и даже не чихает, все «живут либо в здоровых и прекрасных местностях, либо в больших полуподземных городах, расположенных среди гор и залитых искусственным светом; в них чисто и красиво, воздух отлично кондиционирован». Если положить перед собой тексты «Облика» и «Сна», приходишь к выводу, что какая-то из этих книг была написана в полном беспамятстве или же правая рука автора не ведает, что творит левая.

Когда в описании этого скучного мира была поставлена точка, Эйч Джи почти закончил и «Опыт». «Я начал писать эту автобиографию, чтобы подбодрить себя в минуту усталости, беспокойства и раздражения, и она эту задачу выполнила. Написав ее, я вывел себя из состояния неудовлетворенности; рассказывая о своих идеях, я забыл о себе и о комариной туче мелких забот». Не исключено, что написание «Опыта» каким-то образом подтолкнуло Эйч Джи к решению порвать с Одеттой. «Я стал иначе вести себя по отношению к ней. Стал избегать всяких нежностей, особенно на людях, и отказывался ссориться с ней. Интуиция подсказывала ей, что нельзя верить любовнику, который становится вежлив. <...> Она чувствовала, что власть надо мной

ускользает из ее рук, и не могла понять, что виноват в этом кто угодно, только не я». Да, это мы уже хорошо усвоили: всегда и во всем виноват кто угодно, только не он. Кстати подвернулся предлог для разрыва: Кюн прочла адресованное Уэллсу письмо от знакомой дамы. В мае 1933 года Эйч Джи «бросил „Лу-Пиду“, как змея сбрасывает кожу». Даже котов с собой не забрал.

Одетте были предоставлены пожизненное право владения домом и солидный годовой доход. Ей оставались квартира в Париже, автомобили и драгоценности. Она щедрости не оценила. В октябре 1934-го в американском журнале «Тайм энд тайд» появились три ее рассказа об Уэллсе под заголовком «Игрок». Его ум неорганизован, он не взрослый человек, а «капризный, шумный, взбалмошный маленький мальчик». Его претензии на то, чтобы называться мыслителем, смехотворны. Он парвеню, жалкий сноб. Он груб, вульгарен, жаден и скуп (подарил только два авто, а мог бы пять), обладает раздутым самомнением, у него постоянно бывают истерики. А худшее в нем то, что он играл людьми как куклами. Все его попытки участвовать в общественной жизни не более чем игра в солдатики. Лично ей он принес громадные страдания и ущерб. Четыре года спустя Уэллс ответит бывшей подруге, написав роман. Мы до него еще доберемся, а сейчас напомним только, что у Одетты была вдовья сестра с тремя детьми и Уэллс ее содержал. Прекратить выплаты этой семье после разрыва с Одеттой ему даже не пришло в голову.

Из Грасса он поехал в Рагузу (ныне Дубровник), где проходил конгресс ПЕН-клуба. В январе умер Голсуорси, перед смертью получивший Нобелевскую премию и передавший ее клубу. Будапештский конгресс 1932 года был последним, на котором Голсуорси председательствовал; там он сформулировал декларацию ПЕНа: ПЕН — за литературу без

пропаганды, члены ПЕНа не должны писать или делать ничего такого, что способствовало бы разжиганию войны, ПЕН не может служить ни государственным, ни политическим интересам. Уэллс, замещая Голсуорси, должен был председательствовать на конгрессе в Дубровнике. Ему сразу пришлось столкнуться с непростой проблемой.

ПЕН увертывался от политики как мог, но это не всегда получалось. Еще в 1923-м Борис Пильняк сделал попытку основать клуб русских писателей, который объединил бы советских и эмигрантов; Уэллс и Шоу, с которыми Пильняк познакомился в Лондоне, эту идею поддержали, но ничего, разумеется, не вышло. Затем Луначарский и венгр Бела Иллеш, президент Международного объединения революционных писателей, выдвинули идею о вступлении этой организации в ПЕН. Голсуорси отказал. Русские писатели оставили ПЕН в покое, но начались проблемы с немецкими. В Дубровник немецкая делегация приехала в обновленном составе — без евреев и коммунистов; ее новый исполком заявил о своей преданности Гитлеру. Эти шаги вызвали одобрение многих членов ПЕН-клуба в Италии и даже некоторых британцев. Голсуорси ратовал против политики, но он был человеком глубоко, по-старомодному порядочным: не приходится сомневаться, что он сделал бы все, чтобы не допустить немецкую делегацию на конгресс. Уэллс, разочаровывавшийся во всех организациях, в которые вступал, ПЕН-клуб до самой смерти мучительно любил: он называл его «жалким», «слабым», «несчастливым», «бестолковым», но это был его светлый идеал — культурные люди из разных стран собираются вместе и говорят об искусстве... Но он не умел организовывать людей: он растерялся. С одной стороны, в Германии полыхают костры из книг, а с другой — нельзя говорить о политике...

Он пошел на компромисс: согласился, чтобы в резолюции конгресса не упоминалось о ситуации в Германии (а был только провозглашен принцип свободы слова), но не согласился на требование немцев, чтобы эта ситуация не обсуждалась. Она обсуждалась — и немцы покинули зал. Их не исключили, но осенью они сами объявили о выходе из ПЕНа. Уэллс был угнетен, не находил в себе сил руководить ПЕН-клубом, но его поддерживала идея создания русского ПЕНа — независимого от коммунистической партии.

Еще в апреле 1932-го, вернувшись из Грасса в Англию, Эйч Джи провел несколько дней с приехавшей Мурой Будберг. К тому времени он «готов был сделать все и на все посмотреть сквозь пальцы, лишь бы Мура целиком принадлежала мне». По всем правилам он сделал предложение руки и сердца. «Я хотел, чтобы она окончательно связала со мной свою жизнь, чтобы мы слились не только телом, но и душой...» Но в Дверь нужно входить тогда, когда она открыта. Он опоздал. Мура ему отказала. Тем не менее сентябрь и октябрь они провели вместе. Он был так счастлив, что и вправду «на все смотрел сквозь пальцы» — например, на то, что Мура возобновила знакомство с Локкартом и регулярно встречалась с ним. Она обсуждала дела Уэллса с Локкартом, о чем тот упоминал в дневниках, попутно дав Уэллсу любопытную и несправедливую характеристику: «Вокруг него — только женщины, мужчин-друзей у него нет. Молодые ему неинтересны, и он не старается, как Горький, поощрять их. <...> Потом Уэллс как-то исчез. Он умеет как-то вдруг исчезать, испаряться и никогда уже не возвращаться к людям». Уэллс Локкарта терпеть не мог (взаимно), но по инициативе Муры они обедали втроем и в больших компаниях.

В ноябре Мура уехала (по ее словам) в Париж, где (по ее словам) у нее жили родственники. Прощаясь, Эйч

Джи просил обдумать его предложение и назначил свидание в Зальцбурге через год, по окончании конгресса в Дубровнике. И вот весной 1933-го они встретились. Мура вновь ответила отказом. Горький в те дни возвращался в Россию, он был болен, она хотела с ним проститься. Уэллс ревновал — она поклялась, что с Горьким у нее «ничего не было», и, по ее словам, уехала в Стамбул, чтобы проститься с ним, а по словам Уэллса, передумала и не поехала. С Мурой ничего нельзя знать достоверно. Большинство историков считают, что она все-таки ездила прощаться с Горьким и встретила с ним 15 мая в Стамбуле. Далее она зачем-то ездила (а может, и не ездила) в Париж, после чего соединилась с Эйч Джи в Лондоне и стала его «официальной» подругой. Он выводил ее «в свет», познакомил со своими друзьями. Не переставал молить о браке. Тщетно. Чтобы вас любили, как правило, достаточно не любить. Так устроен человек нашего вида — неужели хоть в этом нам не хочется стать другими?

Эйч Джи Уэллс и Мура Будберг провели почти неразлучно осень 1933 года и первые месяцы 1934-го. После Нового года они приехали в Борнмут, курортный городок на южном побережье Англии. Незадолго до этого в издательстве «Хатчинсон» вышел «Облик грядущего» — Уэллс сообщил агенту, что хочет, чтобы книга продавалась по очень низкой цене и ее прочли «все». «Облик грядущего» отлично расходился. Эта вещь с ее роскошными батальными сценами и примитивными сюжетными ходами так и просилась на экран. Ею заинтересовался знаменитый, а тогда начинающий (но уже снявший успешный фильм «Частная жизнь Генриха VIII») режиссер и продюсер Александр Корда. Пусть Америка умоется: европейцы тоже способны сотворить нечто грандиозное. Корда

приехал в Борнмут и моментально уговорил Уэллса делать сценарий.

Корда и его брат Винсент привлекали лучших специалистов, каких могли найти. Музыку писал известный композитор Артур Блисс, с которым Уэллс очень подружился, для костюмов пригласили французского художника Фернана Леже, по поводу декораций обращались к самому Ле Корбюзье. (Будберг хотела работать в кино: Уэллс представил ее Корде. Она стала консультантом по русским вопросам и помогала Корде в работе над фильмами «Екатерина Великая», «Московские ночи», «Тайны Зимнего дворца».) Режиссером фильма был Камерон Мензис, с которым Уэллс общего языка не нашел.

Первый вариант сценария, написанного Уэллсом, отвергли, он сделал другой, дописав новый финал. В грядущем мире грубую работу выполняют машины, а люди занимаются искусством и науками. Но многим делается скучно; лидеры мирового сообщества понимают, что нужны новые стимулы, и организывают полет на Луну. Этому противятся несознательные люди и предпринимают попытку сорвать полет — безрезультатную, разумеется. Уэллс шел на громадные уступки: ему очень хотелось увидеть свое детище на экране. Да он и сам считал, что в кинематографе не место тонкостям: всё должно быть ярко и просто. В результате идеология из сценария потихоньку исчезала, а батальных сцен становилось все больше. Премьера фильма состоялась 22 февраля 1936 года. Он был красочен, имел шумный успех и длительное время входил в «топ-двадцатку». Уэллс остался им недоволен. «Мой фильм — это какое-то недоразумение, — писал он Уэббам, — но стыдиться следовало бы больше Корде, чем мне».

Еще до выхода «Облика» Корда захотел экранизировать другие вещи Уэллса. Рассказ 1898 года

«Человек, который умел творить миражи» — прелестная юмористическая история; в декабре 1935-го Уэллс написал по ней сценарий. Короткометражный фильм, снятый режиссером Лотаром Мендесом, пользовался заслуженным успехом, хотя автору опять не понравился. Это был последний прижизненный опыт Уэллса в кинематографе. Потом он написал сценарии по «Пище богов» и рассказу «История покойного мистера Элвешема», но к тому времени отношения с Кордой испортились и фильмы сняты не были. Другой продюсер, Чарлз Лаутон, в 1937-м попытался экранизировать роман «Тоно-Бенге», но ничего не вышло. Зато в 1938-м Орсон Уэллс сделает знаменитую радио-постановку по «Войне миров». Радиопостановки делались по многим текстам Уэллса и были очень удачны. Без сомнения, в кино он с его голливудским пристрастием к размаху, штампам и простоте тоже преуспел бы, если бы не война. Страсть к кино унаследовал Фрэнк, но особо прославиться ему не удалось; более успешную карьеру сделает правнук Эйч Джи (внук не Фрэнка, а биолога Джипа) Саймон Уэллс, кинорежиссер, поставивший, в частности, в 2002 году фильм по «Машине времени».

\* \* \*

С тех пор как Уэллс написал об «открытом заговоре», его не оставляло стремление собрать группу «заговорщиков»: весной это, кажется, удалось. Группа была создана не по его инициативе. Ее образовали Олаф Стэплдон — философ и литератор, Джеральд Херд — историк, журналист и педагог, Иден Пол — медик, член коммунистической партии Великобритании, и Сильвия Панкхерст, дочь знаменитой суфражистки. Они называли кружок «обществом Уэллса» и обратились



к нему с просьбой принять участие в делах кружка. Дел было три: 1) собираться и беседовать; 2) привлекать новых членов, чтобы собираться и беседовать; 3) выпускать газету. Все они успешно осуществлялись, за год число членов кружка возросло до ста. В 1935-м кружок по предложению Уэллса переименовали в «Открытый заговор». Написали устав, программу, переименовали в «Космополис», опять собирались и беседовали. В те же годы в Эдинбурге функционировал подобный кружок под названием «Х». Возникали в Британии и другие кружки, ставившие своей целью борьбу за мир. Никаких средств для осуществления своих планов, кроме как собираться и беседовать, у этих кружков не было. Но если бы эти люди тогда не собирались и не беседовали, другие движения, более сильные, не смогли бы родиться.

Эйч Джи эти посиделки не удовлетворяли. Он хотел, чтобы интеллектуалы — индивидуалисты, такие же, как он сам, — построились строем и по команде зашагали к намеченной цели. Неизвестно, понимал ли он, что такого не может быть. Но в 1920-е годы он отдавал себе отчет в том, что сам на роль командира не годится: когда основатель очередного дискуссионного клуба, профессор Калифорнийского университета Роберт Галкине, попросил его содействовать в объединении своего кружка с британскими, он с грустью ответил, что не способен действовать иначе как в одиночку и не умеет никого никуда организовывать. Но он давно носился с другой идеей — преобразование мира «сверху», усилиями лидера какой-нибудь могущественной державы: в таком случае и заговора не понадобится.

От этого лидера требовались три вещи: а) быть влиятельным; б) быть более-менее социалистом и в) управлять своей страной согласно Плану. Таких лидеров Уэллс нашел: избранный в 1933-м президент

США Франклин Делано Рузвельт и Сталин. Уэллс полагал, что такому лидеру его наставления могли бы пригодиться. Он решил навестить обоих. Они совершили массу ошибок — он им поможет это понять. Они не ладили друг с другом — он объяснит, что они неправы, и соединит их руки, а они его поблагодарят и кинутся друг другу на шею. Очень характерно для Эйч Джи, что до конца он свою мысль никогда не додумывал. Объединятся эти двое — и что конкретно они будут делать? Им следует завоевать Европу? Англию? О нет, мы ведь знаем, как трепетно он относился к своей ругаемой, обожаемой родине. Ну... как-то так, как-нибудь. А Восток? Идти на него крестовым походом? Но ведь воевать нельзя... Ну... как-то так...

В марте 1934 года Уэллс отправился в США корреспондентом газеты «Кольерс». Что за План был у Рузвельта и почему Уэллс считал его социалистом? Спасая страну от тяжелейшего системного кризиса, Рузвельт провозгласил «Новый курс» — экономическую программу, основными положениями которой были перераспределение доходов путем увеличения налогообложения крупных корпораций и принятие пакета законов по соцобеспечению бедных. Были установлены максимальные цены на товары первой необходимости, создана государственная система соцстрахования и т. д. В результате крупные корпорации, которых называли «двести спрутов», ослабели, а мелкие и средние предприниматели смогли подняться. Безработица уменьшилась, пошел медленный, но верный экономический рост. Государство этот процесс жестко контролировало. Некоторые историки считают «Новый курс» Рузвельта настоящей революцией, которая преобразовала капиталистическое государство в общенародное. Это было то, к чему призывал Кейнс (посетивший США в том

же году, что и Уэллс, и горячо одобливший «Новый курс»), на чем строит свою экономику большинство развитых стран и что Голдберг называет фашизмом. Вторая мировая окончательно утвердила кейнсианский подход: в Англии и Франции была проведена мощная национализация, экономика ФРГ и Японии взята под контроль победивших стран. Но это относилось лишь к кризисным периодам: как только удавалось справиться с разрухой и обуздать инфляцию, экономические свободы возвращались, чтобы обеспечить развитие. (Это в какой-то степени относилось даже к нам: вспомним реформаторство Хрущева в сельском хозяйстве.) И вот вновь приходит кризис: одни экономисты призывают следовать рецептам Кейнса — Рузвельта, другие полагают, что лечить кризисы госрегулированием — значит загонять их вглубь и создавать почву для новых. Кто прав, неизвестно, и Эйч Джи Уэллс тут не советчик: в области экономики он лишь повторял то, что слышал от Кейнса.

Когда Уэллс читал о «Новом курсе», он не верил в его успех. В октябре 1933-го он опубликовал в «Либерти мэгэзин» статью «Роль Франклина Рузвельта в истории», где доказывал, что затея президента обречена на поражение. Весной 1934-го Рузвельту было далеко до победы — как раз в те месяцы сопротивление крупного бизнеса было особенно ожесточенным, а «простые люди» еще не видели улучшения ситуации (и многие из них считали, что президент губит страну). Но, встретившись с Рузвельтом, Уэллс признал свою ошибку: «Теперь я чувствую, что он гораздо гибче и сильнее. Он смел и непредвзят в своих суждениях, поскольку ум его дальновиден, а мужество — велико...»

Во время избирательной кампании в 1932 году Рузвельт окружил себя учеными, создав так называемый «мозговой трест». Это был первый в современной истории подобный опыт, о котором Кейнс

писал: «Здесь, а не в Москве находится экономическая лаборатория мира. Заправляющие ею молодые люди великолепны. Я поражен их компетентностью, проницательностью и мудростью». Первоначально в группу вошли три профессора Колумбийского университета — Р. Моли, Р. Тагвелл и А. Берли; позже к ним присоединилось несколько десятков других специалистов в области экономики и общественных наук. Они же работали затем над «Новым курсом»: Рузвельт определял цели преобразований, а члены «мозгового треста» делали разработки и выступали в роли экспертов. Идеал, казавшийся недостижимым, — ученые (жаль только, Летчиков среди них нет) управляют громадной страной!

Разумеется, Уэллс пожелал познакомиться с «мозговым трестом». Но ему пришлось разочароваться. Ученые никуда строем не шли и совершать мировую революцию не собирались, а тихо сидели по своим университетам и работали. В Штатах Уэллс провел три недели: две в Нью-Йорке и одну в Вашингтоне. В своих путевых заметках, опубликованных в «Кольерс», он отмечал, что оппозиция Рузвельту сильна, но в общем тон его статей был оптимистичен — ученые занимались полезным делом, власть к ним прислушивалась, страна двигалась в верном направлении. Рузвельт годился на роль строителя нового мира, дело было за малым — объединить его со Сталиным. Но тут Эйч Джи наткнулся на каменную стену: для президента Сталин и Гитлер были одного поля ягоды. Более того, Рузвельт не выражал намерения переделывать мир — ему и со своей страной было достаточно хлопот. И все же Уэллс не терял надежды. Если Рузвельт не идет к Сталину, то... Немедленно ехать в Москву!

## **Глава четвертая ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ**

Ничего хорошего к 1934 году Уэллс о Советской стране не думал. В очередном издании «Схемы истории», вышедшем в 1931-м, он писал: «большевики продемонстрировали свою полную несостоятельность создать реально работающую коммунистическую систему», «высокомерие марксистских доктринеров порождало у них презрение к любому знанию, которого у них не было», «при новом правлении традиции прежней вездесущей и тиранической царской полиции сохранились практически в неизменном виде». Он не считал, что в СССР строится социализм: «Перед нами экспериментальный тип государственного капитализма, приобретающий черты научного метода, сомнительный отпрыск старого строя, вызванный необходимостью». Он также отметил, что случилось то, чего боялся Горький, — Советский Союз переориентировался на Восток: «И кажется, что под влиянием его примера исламский мир начал возобновлять свое давно сдерживавшееся развитие. Все больше и больше отношение большевиков к атлантическим цивилизациям, господствовавшим в мире в течение последних двух с половиной столетий, усваивалось исламом. И ислам, и большевизм становятся непреклонными и навязчивыми».

Самым дурным в СССР, по его мнению, был национализм. «Молодежь учили тщеславному патриотизму и ненависти ко всему иностранному; это ничем не отличалось от грубого национализма в таких странах, как Франция, Германия, Италия или Шотландия», — писал он в «Облике грядущего». «Самым плохим результатом советской системы было растущее отчуждение от творческой мысли Запада». (В причинах того, что советские стали националистами, Эйч Джи разбираться не пытался, ограничившись глубокомысленным замечанием: «До установления советского режима в России не было никакого

национального самосознания, там были только Достоевский и царь».)

Отряхнув со своих ног прах Достоевского, Россия в 1928 году приняла первый пятилетний план. Это событие вызвало у Эйч Джи восторг. Британия была обязана в этом брать с России пример, о чем он заявил, выступая на Би-би-си. В «Труде, богатстве и счастье человечества» он назвал пятилетку «беспрецедентным прорывом в будущее». Но даже пятилетка в России была националистической. В «Облике грядущего» Уэллс писал о ней: «Литвинов, выступавший от имени этого грандиозного эксперимента в планировании, был слишком озабочен различиями между его страной и Западом. <...> Он не сделал ничего, чтобы применить руководящие принципы коммунизма к мировой ситуации. Потребность в планировании была повсеместно, но он ничего не сказал о пяти- или десятилетнем плане для всего мира. Он даже не упоминал о неизбежности победы социализма в мире. Очевидно, мир для него не существовал, так же как для любого капиталистического политика-патриота».

К тому времени, когда писался «Облик», у Эйч Джи накопились и другие претензии: «Со времени первого пятилетнего плана, несмотря на большую движущую силу восторженной преданности, Россия развивалась неуклюже, тяжело и претенциозно — диктатура политиков, пропаганда вместо реальных дел, отталкивание западных союзников, уничтожение лучших умов. Когда ее планы из-за ошибок срывались, она сажала в тюрьму или расстреливала инженеров». Кейнс в 1928 году снова побывал в СССР и пришел к выводу, что его надежды были тщетны. Система жесткого всеобъемлющего планирования и административного регулирования в экономике, по его мнению, была неэффективной, а политическая

обстановка — чудовищной<sup>[96]</sup>. Уэллс в «Труде, богатстве и счастье» упоминал о выводах Кейнса, соглашался с тем, что регулирование советской экономики чрезмерно жестко. И все же страна, где есть План, не может быть совсем уж безнадежной.

Сталина Уэллс считал «скрытным и эгоцентричным фанатиком, лишенным слабостей деспотом, ревниво ищущим личной власти», «безжалостным, черствым, злым человеком, доктринером», «одиноким властолюбцем с чудовищным, невыносимым характером»; он «оказался таким же деспотом, как и столь же благонамеренный царь Александр I», и «превратил то, что ему казалось ленинизмом, в жесткий догматизм». Но Эйч Джи рассчитывал, что ему удастся такого человека наставить на путь истинный. «Я собирался твердо сказать ему, что Россия лишь на словах способствует единству и солидарности человечества, а на самом деле движется своим курсом к своему, особому социализму, который все больше утрачивает какую-либо связь с настоящим социализмом и при этом внушает несметным массам своего народа недоверие и даже враждебность к тем слоям западного общества, которые ратуют за всемирную консолидацию».

Уэллс был не первым и не последним. При Ленине западным знаменитостям показывали Россию от случая к случаю. Сталин возвел это в систему. Для начала он восстановил запрет Николая I на опубликованную в 1843 году книгу маркиза де Кюстина о России<sup>[97]</sup>. Затем ему не понравилась книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» — он счел, что Рид принизил его личный вклад в дело революции и вывел на передний план врагов народа во главе с Троцким<sup>[98]</sup>. Американский журналист Исаак Дон-Левин, очевидец Октябрьской революции, восторженно о ней

отзывавшийся, вновь посетил Россию в 1923-м в составе неофициальной комиссии из нескольких сенаторов США, после чего переменял свою точку зрения. Каким-то образом ему удалось вывезти в Европу письма заключенных Соловецкого лагеря и опубликовать их в книге «Письма из большевистской тюрьмы и ссылки». Уэллс был одним из тех, кого Дон-Левин попросил написать к своей книге предисловие. Уэллс ответил: «Сожалею, что не могу судить о подлинности вашего собрания писем; равно я не понимаю, почему вам так хочется получить от меня комментарий к книге». (Подлинность писем, полученных Левиным, по сей день многие оспаривают.) В 1925-м другой американский журналист, долго живший в России, Макс Истмен, опубликовал книгу «С тех пор, как умер Ленин» — она содержала текст ленинского «Письма к съезду» с негативной характеристикой Сталина. Эта вещь также была объявлена подрывной. Нужны были правильные писатели и позитивные книги. Но это поняли не сразу. Анри Барбюс, обожавший советскую власть, в первый раз приехал в СССР в 1927-м, но его визит как следует не использовали. Не попытались обольстить и Кейнса. Система начала по-настоящему работать только в 1930-х.

В 1931 году Горький из Сорренто писал Сталину: «Англичане, побывавшие в Союзе, единодушно, с изумлением говорят об успехах строительства, о рабочей энергии молодежи, о здоровье октябрят и пионеров. Самая популярная книга в Лондоне — „Рассказ о пятилетке“ Ильина-Маршака...<...> Очень нравится англичанам „Путевка в жизнь“, англичане единодушно аплодируют. Чарли Чаплин хочет, чтобы его пригласили в Союз, желает познакомиться с нашим кино. Едет к нам работать сын Уэллса, биолог, говорят, весьма талантливый. Жена его — член английской компартии». Все эти потрясающие сведения об



англичанах Горький получил от баронессы Будберг, которую в том же письме назвал «очень осведомленным товарищем». Марджори Уэллс никогда не была членом компартии, Джип не собирался работать в СССР, Чаплин не приезжал. Но приехали другие.

В том же 1931-м в Москву был приглашен немецкий писатель Эмиль Людвиг. Предполагалось, что он напишет биографию Сталина. Тот дал ему интервью, довольно занятное и живое. Людвиг расспрашивал Сталина о его детстве, любопытствовал, почему он курит папиросы, а не трубку, верит ли он в судьбу, хочется ли ему походить на Петра 1. Больше таких живых интервью не будет. Возможно, беседуя с Людвигом, Сталин еще не выработал надлежащую российскому руководителю бронзовость. Но книгу Людвиг не написал, предпочтя Сталину Рузвельта и историка Шлимана. Зато в том же году выдал серию репортажей, а потом и книгу об СССР корреспондент «Нью-Йорк таймс» Уолтер Дюранти. По его мнению, жизнь в СССР становилась все лучше, в том числе для украинского крестьянства. Дюранти получил за свои репортажи Пулицеровскую премию, которой его в начале XXI века безуспешно пытались лишить как лжеца.

21 июля 1931 года в Москву явилась целая компания: Бернард Шоу и британские политики лорд Лотиан и лорд Астор с супругой. Сталин их принял. Отчет об этой беседе нигде не был опубликован. Кое-что о ней рассказал со слов Шоу английский писатель Хескетт Пирсон: якобы леди Астор нахально набросилась на Сталина с упреками в том, что дети в СССР «слишком приглаженные». Что говорил на этой встрече сам Шоу — неизвестно. Сталин показался ему красавцем, чрезвычайно веселым, он то и дело покатывался со смеху. (Леди Астор, напротив, нашла Сталина очень мрачным.) «Я уезжаю из государства

надежды и возвращаюсь в наши западные страны — мир отчаяния», — сказал Шоу европейским журналистам, покидая СССР, и поведал также, как шикарно его кормили. В Лондоне старый фабианец делал доклад о своей поездке. «В России нет парламента или другой ерунды в этом роде. Русские не так глупы, как мы; им было бы даже трудно представить, что могут быть глупцы, подобные нам. Разумеется, и государственные люди советской России имеют не только огромное моральное превосходство над нашими, но и значительное умственное превосходство». Ему также очень понравилось, что с уголовными преступниками у нас обращаются мягко, а за политическое преступление полагается казнь: «Против этого так называемого террора возражают только наиболее глупые люди из жалких остатков интеллигенции». Лучшего союзника было не найти, но книгу о России Шоу так и не написал. Ничего, там их еще много толпится в очереди.

Коммунист Анри Барбюс в начале 1930-х встречался со Сталиным трижды и получил доступ к архивам ЦК. Его книга «Сталин» вышла весной 1935 года; именно он придумал слоган «Сталин — это Ленин сегодня», а также ввел в обиход применительно к советским руководителям слова «отец» и «старший брат». В 1932-м приехали супруги Уэбб. Они совершили вояж по Украине в самый разгар раскулачивания, беседовали с советскими руководителями и пришли к выводу, что крестьяне катаются как сыр в масле. Одновременно с ними по Украине проехал Малкольм Маггеридж, корреспондент «Манчестер гардиан», женатый на племяннице Беатрисы. Он написал в своей газете о крестьянах, умирающих от голода, и о людях, которые исчезают неизвестно куда. Беатриса искренне недоумевала. Она встретила с Майским и попросила разъяснений. Майский сказал, что ошиблась не она, а

Маггеридж. Беатриса разъяснила Маггериджу его заблуждение. «Она сказала: „Да, люди в России исчезают“, — писал потом Маггеридж, — сказала с таким удовлетворением, что я не мог удержаться от мысли, что и в Англии есть много людей, исчезновение которых вызвало бы у нее такое же удовлетворение». Уэббы опубликовали в 1935-м книгу «Советский коммунизм: новая цивилизация», где объяснили, что жизнь трудящихся прекрасна, а Сталин не является диктатором, потому что он всего лишь Генеральный секретарь ЦК партии и послушно исполняет все ее решения. В том же месяце, когда Беатриса учила жизни Маггериджа, она обедала с Уэллсом и Шоу и в дневнике записала, что Эйч Джи «мерзко клеветал на Советский Союз» и что он «все еще увлечен своей дурацкой идеей о заговоре международных империалистов, которые приведут мир к процветанию».

23 июня 1935 года по приглашению Горького в Москву прибыл Ромен Роллан. Сталин его принял, имел с ним «дружескую и продолжительную беседу», но разрешения на публикацию этой беседы не дал. Текст ее стал доступен позднее. Роллан спрашивал о репрессиях и получил ответ, что они необходимы, ибо кругом враги, даже по Кремлю свободно бегает библиотекарь-отравительницы. «Вы себе, наверное, не представляете, — писал он потом Стефану Цвейгу, — что тамошние деятели живут в окружении убийц. Незадолго до моего приезда сам Сталин чуть не стал жертвой одного из них, прямо в Кремле». (После процесса над Бухариным Роллан умолял Сталина помиловать старого большевика, но ответа не получил.) Он написал книгу «Московский дневник», где сказано, что Сталин — «двуличное существо», а советский строй — «режим абсолютно бесконтрольного произвола, без малейшей гарантии, оставленной элементарным свободам, священным правам справедливости и

человечности», но вслух говорить об этом нельзя, ибо это значит лить воду на вражескую мельницу, а надо говорить прямо противоположное. «Московский дневник» был издан лишь в 1960-м<sup>[99]</sup>.

В 1936 году эстафету принял француз Андре Мальро. У Сталина он не был (во всяком случае, об этом неизвестно) о России толком ничего не написал, считается, что был завербован советской разведкой, позднее потерял интерес к коммунизму. В том же году в Москве с почестями принимали Андре Жид (Сталин по какой-то причине не принял.) Жид опубликовал книгу «Возвращение из СССР»: «Убежденным сторонником, энтузиастом я ехал восхищаться новым миром, а меня хотят купить привилегиями, которые я так ненавижу в старом». «Советский рабочий превратился в загнанное существо, лишенное человеческих условий существования, затравленное, угнетенное, лишенное права на протест и даже на жалобу, высказанную вслух». «Не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано, более поработчено».

Это был серьезный удар, и для ответа на него Москва затребовала Лиона Фейхтвангера. Тот приехал в конце 1936-го, был у Сталина (Жида тот не принял — и что из этого вышло!), а в 1937-м выпустил книгу «Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей», в которой разъяснил, что Жид — подлый клеветник. «Товарищ строительный рабочий, поднявшийся из шахты метро, действительно чувствует себя равным товарищу народному комиссару». «Больше всех разницу между беспросветным прошлым и счастливым настоящим чувствуют крестьяне, которые ведут свое сельское хозяйство разумно и с возрастающим успехом». Фейхтвангер присутствовал на процессе

Пятакова — Радека и пришел к выводу, что они заслужили казнь, а Сталин — простодушный добряк: «Его считают беспощадным, а он в продолжение многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того, чтобы их уничтожить, и в упорных стараниях, с которыми он пытается использовать их в интересах своего дела, есть что-то трогательное».

Последними ласточками стали испанский поэт Рафаэль Альберти и его жена. Сталин принял их 20 марта 1937-го. Альберти опубликовал восторженный отчет о поездке. (Мы назвали лишь самых знаменитых гостей; кто хочет узнать поименно всех визитеров, может ознакомиться, например, с книгой Филиппа Гирсона<sup>[100]</sup>.) После этого занавес опустился на долгие годы. Почему? Леонид Максименков пишет: «Когда жили западники Горький, Бухарин, Радек, Кольцов, Аросев, Таль, Стецкий... привлечение к сталинскому двору именитых интеллектуальных вождей поколения было для них не только престижной, но весьма материалистической акцией, еще одним личным успехом на внешнеполитическом фронте... Не станет людей, ценивших эстетику общения с западным миром, исчезнут и западные пилигримы на кремлевском дворе»<sup>[101]</sup>. Существуют и другие объяснения. Так или иначе, Уэллс успел пройти в открытую дверь.

Визит в СССР Эйч Джи обсуждал с Майским, а тот обговорил детали с советским руководством и сообщил Уэллсу, что Сталин его примет. (С советской стороны визиты западных писателей курировал заведующий Бюро международной информации ЦК ВКП(б) Карл Радек.) Поездка обсуждалась также с представителями издательств — британского «Голланц» и американского «Крессет пресс», которые должны были опубликовать «Опыт автобиографии», Уэллс обязался завершить

книгу главой о России. Он хотел ехать с Мурой. (Он звал ее с собой и в Штаты, но она отказалась, объяснив это тем, что ей для чего-то надо быть в Эстонии.) Вернувшись из Америки, он сказал, что в Россию без нее ехать не может — ему необходим переводчик. Она сказала, что въезд в СССР ей воспрещен по политическим мотивам, и снова отправилась, по ее словам, в Эстонию. Тогда Уэллс решил опять взять с собой Джипа. С Мурой условились встретиться в Таллине, а потом совершить путешествие по Швеции и Норвегии.

В Москву Уэллсы прибыли 21 июля 1934 года. Летели самолетом через Стокгольм, во Внукове была торжественная встреча, звукооператор Союзкинохроники попросил сказать несколько слов. В качестве опекуна и переводчика к Уэллсу был прикомандирован Георгий Ильич Андрейчин: бывший «троцкист», неоднократно арестовывавшийся, он после Второй мировой войны уехал на свою родину, в Болгарию, но в 1949-м его вывезли в СССР и расстреляли. Почему к Уэллсу приставили такого сомнительного человека? Андрейчин считался специалистом по англичанам и американцам: в 1924–1926 годах он служил в полпредстве СССР в Лондоне, а с 1929-го по 1937-й работал в американо-советской торговой организации; обвиненный в работе на британскую и американскую разведку, он, вероятно, работал также и на советскую. Уэллс очень сетовал на эту опеку — ему, видимо, казалось, что если бы с ним приехала в качестве переводчика Мура, то они свободно расхаживали бы где вздумается. Он очень плохо себя чувствовал, остаток дня пролежал в номере «Националя», на следующий день немного погуляли с Джипом и Андрейчиным по городу. Встреча в Кремле была назначена на 23 июля.

Беседу со Сталиным переводил К. А. Уманский, заведомо печати и информации НКВД СССР<sup>[102]</sup>. Он же по ходу записывал ее текст. «При такой постановке дела какие-то мои фразы неизбежно пропадали, восполняясь фразеологией Уманского». Получив на следующий день от Уманского текст на английском, Уэллс под ним подписался. Текст был опубликован у нас в семнадцатом номере журнала «Большевик» за 1934 год, а в Англии — в «Нью стейтсмен». (Были ли сделаны купюры или искажения? Достоверно известно о двух, но они незначительны, и Уэллса поставили о них в известность.)

«Уэллс. Я Вам очень благодарен, мистер Сталин, за то, что Вы согласились меня принять. Я недавно был в Соединенных Штатах, имел продолжительную беседу с президентом Рузвельтом и пытался выяснить, в чем заключаются его руководящие идеи. Теперь я приехал к Вам, чтобы расспросить Вас, что Вы делаете, чтобы изменить мир...

Сталин. Не так уж много...

Уэллс. Я иногда брожу по белу свету и как простой человек смотрю, что делается вокруг меня.

Сталин. Крупные деятели, вроде Вас, не являются „простыми людьми“. Конечно, только история сможет показать, насколько значителен тот или иной крупный деятель, но, во всяком случае, Вы смотрите на мир не как „простой человек“».

После всех этих реверансов — «Я великий?! Ах нет, это вы великий, а я так себе, простой» — начался содержательный разговор. Но именно в реверансах частично кроется ответ на вопрос, почему западные знаменитости были очарованы Сталиным. Уэллс, до встречи воспринимавший собеседника как «безжалостного, черствого, злого человека», написал следующее: «Он чуть застенчиво взглянул на меня и с

дружеской открытостью пожал мне руку... Мы никак не могли преодолеть застенчивости... Его, по-видимому, очень смущало неравенство нашего положения... Я никогда не встречал более искреннего, прямолинейного и откровенного человека... Русские лукавы, но Сталин — грузин, и он не ведает хитростей...» Простодушные европейцы ехали к «русскому дикарю», а восточную, витиеватую, насмешливую любезность они, не бывавшие на Востоке, приняли за чистую монету...

Разговор начался с Америки: Уэллс сказал, что «в США речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть социалистического хозяйства» и предложил Сталину осознать идейное родство между Вашингтоном и Москвой. Сталин родства не признал: частная собственность и плановое хозяйство несовместимы. Но в целом он отозвался об Америке уважительно. Он еще в интервью Эмилю Людвигу сказал, что уважает американцев и что «в Америке есть элементы демократии, которые отсутствуют в европейских странах», — правда, тотчас добавил, что еще больше, чем американцы, больше, чем кто-либо в мире, ему нравятся немцы (Людвиг был немцем). Уэллс был англичанином — Сталин об англичанах говорил одно хорошее. Уэллс похвалил Рузвельта — Сталин согласился: «Я ни в какой степени не хочу умалить выдающиеся личные качества Рузвельта — его инициативу, мужество, решительность. <...> Я поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мое убеждение в невозможности планового хозяйства в условиях капитализма вовсе не означает сомнения в личных способностях, таланте и мужестве президента Рузвельта». Более того, Сталин признал, что, возможно, Рузвельт хочет социализма, но капиталисты ему не позволяют это осуществить. Уэллс продолжал настаивать, что Америка идет правильным путем — Сталин совсем смягчился: «Может быть, через



несколько поколений можно было бы несколько приблизиться к этой цели, хотя я лично считаю это маловероятным... Впрочем, Вы знакомы с положением в Соединенных Штатах лучше, чем я, так как я в США не бывал и слежу за американскими делами преимущественно по литературе». Уэллс таял...

Сталин сказал, что интересы капиталистов и народа несовместимы, — Уэллс возразил, что капиталисты бывают разные, например, Морган плохой, а Форд — получше. Сталин тотчас заметил, что и Морган совсем неплох: «Мы, советские люди, многому у капиталистов учимся<sup>[103]</sup>. И Морган, которому Вы даете такую отрицательную характеристику, являлся, безусловно, хорошим, способным организатором». Уэллс заявил, что в мире есть люди, которые могут стереть различия между социализмом и капитализмом — это техническая интеллигенция и конечно же летчики. Сталин имел на Уэллса подробнейшее досье, но, возможно, не знал, что тот помешался на авиаторах, так как не сказал, что они великолепнейшие люди, ограничившись сдержанной похвалой технической интеллигенции: она «может в определенных условиях творить чудеса, приносить человечеству громадную пользу», но всегда служит своему строю. Уэллс сказал, что знаком с технической интеллигенцией, которая не хочет служить капиталистическому строю. Хозяин мгновенно согласился, что такая техническая интеллигенция, очевидно, бывает, раз его умнейший гость так сказал. Уэллс продолжал таять, но не сдавался и дерзко заявил собеседнику: «Мне кажется, что я левее Вас, мистер Сталин, поскольку я считаю, что мир уже ближе подошел к изжитию старой системы». Тут Сталин, видимо, не знал, что ответить — спорить с гостем нелюбезно, а признать, что гость левее его самого,

невозможно, и плавно вернулся к разговору об интеллигенции.

В первой части беседы он лишь однажды отступил от расшаркиваний: «Кроме того, разве можно упускать из виду, что для того, чтобы переделать мир, надо иметь власть? Мне кажется, господин Уэллс, что Вы сильно недооцениваете вопрос о власти, что он вообще выпадает из Вашей концепции» — и тем припер Уэллса к стене, ибо тот понятия не имел, как именно хорошие люди должны взять власть в мире, во всех его теориях тут было белое пятно. Но добивать собеседника Сталин не стал, напротив, тут же смягчил удар очень тонким комплиментом: «Вы, господин Уэллс, исходите, как видно, из предпосылки, что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей». Если человек считает всех людей добрыми, подразумевается, что и сам он добр. Уэллс почувствовал, что тонет в этом рахат-лукуме, и вновь попытался пойти в атаку: «Я слежу за коммунистической пропагандой на Западе, и мне кажется, что эта пропаганда в современных условиях звучит весьма старомодно, ибо она является пропагандой насильственных действий». Сталин сказал, что его собеседник совершенно прав в своих предпосылках, только в выводах малость ошибся: «Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены, они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу, сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй, не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки, которыми вы свергнете этот строй». В доказательство своих слов он привел в пример человека, упоминание которого должно было польстить

англичанину, — Кромвеля. Тут, правда, возникла маленькая неловкость.

«Уэллс. Кромвель действовал, опираясь на конституцию и от имени конституционного порядка.

Сталин. Во имя конституции он прибегал к насилию, казнил короля, разогнал парламент, арестовывал одних, обезглавливал других!»

Уэллс, надо полагать, пришел в легкое замешательство. Хозяин только что хвалил Кромвеля — надо ли понимать его последнюю фразу так, что перечисленные деяния последнего достойны подражания, или как-то иначе? Сталину, вероятно, его фраза тоже показалась двусмысленной, и он перешел на российскую и французскую историю, подытожив: «Коммунисты приветствовали бы добровольный уход буржуазии. Но такой оборот дел невероятен, как говорит опыт. <...> Вот почему я думаю, что то, что кажется Вам старомодным, на самом деле является мерой революционной целесообразности для рабочего класса». Уэллс сказал, что нужно не лить кровь, а соблюдать порядок, уважать полицию и т. д. Сталин согласился, что порядок надо соблюдать, но только когда он отвечает интересам народа. Что Уэллс мог на это возразить? Тут, к его облегчению, Сталин затронул тему народного образования, и они во всем друг с другом согласились.

Завершая основную часть беседы, Сталин сказал, что английские аристократы и буржуа — самые лучшие аристократы и буржуа в мире: по уму и гибкости никто не может сравниться с ними. (Читатель, которому кажется, что автор искажает суть разговора, дабы поиздеваться над обоими собеседниками, может обратиться к первоисточнику: он общедоступен.) Уэллс был вынужден напяречь все свои силы, чтобы перещеголять собеседника в комплиментах: «Давая мне Ваши разъяснения, Вы, наверное, вспомнили о том, как

в подпольных дореволюционных кружках Вам приходилось объяснять основы социализма. В настоящее время во всем мире имеются только две личности, к мнению, к каждому слову которых прислушиваются миллионы: Вы и Рузвельт. Другие могут проповедовать сколько угодно, их не станут ни печатать, ни слушать. Я еще не могу оценить то, что сделано в Вашей стране, в которую я прибыл лишь вчера. Но я видел уже счастливые лица здоровых людей, и я знаю, что у Вас делается нечто очень значительное. Контраст по сравнению с 1920 годом поразительный».

Они обменялись парой доброжелательных шуток, затем Сталин спросил, останется ли Уэллс на съезд советских писателей<sup>[104]</sup>, тот отвечал, что, к сожалению, ему недосуг, а с советскими писателями он предпочитает встретиться в неформальной обстановке, дабы предложить им вступить в ПЕН-клуб. «Эта организация настаивает на праве свободного выражения всех мнений, включая оппозиционные. Я рассчитываю поговорить на эту тему с Максимом Горьким. Однако я не знаю, может ли здесь быть представлена такая широкая свобода». Это была не такая уж дерзкая выходка, как может показаться, и в тупик она Сталина не поставила: для него не могло быть сюрпризом то, что председатель ПЕНа заговорил о делах ПЕНа (возможность вступления в эту организацию для советских писателей обсуждалась на высшем уровне в 1929 году, решено было не участвовать — не только потому, что это буржуазная организация, а еще и потому, что от нас могли потребовать соблюдать авторское право). Сталин ответил обтекаемо: «Если у Вас имеются какие-либо пожелания, я Вам охотно помогу». Завершился разговор

репликами, которые были записаны Уманским, но не включены потом в опубликованный текст:

«Сталин. Не для того, чтобы Вам польстить, я совершенно искренне должен сказать Вам, что разговор с Вами мне доставил большее удовольствие, чем разговор с Бернардом Шоу.

Уэллс. Наверное, леди Астор никому не давала слова сказать.

Сталин. Шоу пожелал, чтобы она присутствовала».

На основании этих реплик принято считать, что Шоу не понравился Сталину. Скорее всего, так и было — Шоу непохож на человека, который мог бы вызвать у Сталина симпатию, но цель у этих слов была одна — польстить Уэллсу, обругав его противника. Проявив мужскую солидарность против леди Астор, собеседники поблагодарили друг друга и расстались. Просматривая подготовленный текст, Сталин счел, что его следует дополнить, и после слов Уэллса о ПЕН-клубе вписал свою реплику: «Это называется у нас, у большевиков, „самокритикой“. Она широко применяется в СССР». Уманский сообщил Уэллсу о поправке; тот, быть может, вспомнил при этом, что у обитателей острова Рэмпол дубинка называется «укоризной», но не возражал. В сентябре, когда Сталин находился в Сочи, его помощник Борис Двинский готовил запись беседы к публикации в «Большевике». Согласовывали поправки с Уэллсом, рассылали текст членам Политбюро, ставили вопрос на голосование, приняли единогласно — текст утвердить. Сталин велел Двинскому переменить название статьи: «Вместо „Беседа с английским писателем“ нужно сказать: „Беседа т. Сталина с английским писателем“. <...> Авторскую надпись над заглавием „И. Сталин“ вычеркните».

А теперь — ушат холодной воды. Своего отношения к классовой борьбе Уэллс не изменил. Отношение к советскому строю — да, переменял. Оно стало еще

хуже. Более того, он, найдя Сталина застенчивым и милым простаком, тем не менее считал его вредным для социалистического движения, ибо он «упертый» марксист-ортодокс. «Его воображение безнадежно ограничено и загнано в проторенное русло...» Неважно, является Сталин диктатором или нет, в любом случае Россия идет не к социализму, а обратно к царизму. Стоило ли метать перед эдакой свиньей россыпи бисера?

В СССР Уэллс пробыл 11 дней. Программа была насыщенная — ни охнуть, ни вздохнуть. 24 июля его, больного, целый день водили по Москве, 25-го ему были показан парад физкультурников на Красной площади (жена Бабеля А. Н. Пирожкова писала: «Летом 1935 года в Москву впервые приехал из Парижа известный французский писатель Андре Мальро... Втроем — Мальро, Бабель и я — мы смотрели физкультурный парад на Красной площади, с трибуны для иностранных гостей. Недалеко от нас стоял Герберт Уэллс»). Уэллс одновременно с Мальро в СССР не был — где-то она ошиблась). Потом он осмотрел цеха Первого подшипникового завода и ЦПКиО, где оставил в книге для посетителей запись: «Когда я умру у себя при капитализме и воскресну в советских небесах, то хотел бы проснуться в этом парке».

Вечером 25-го он был у Горького, 26-го обедал в британском посольстве, встречался с наркомом просвещения А. С. Бубновым, посетил выставку детских рисунков и киностудию «Межрабпомфильм», где смотрел фильмы «Три песни о Ленине» Дзиги Вертова и «Дезертир» В. И. Пудовкина. 27-го был принят начальником Метростроя П. П. Ротером и осмотрел строящееся метро, 28-го был в планировочном отделе Моссовета и беседовал с главным архитектором города Чернышевым, который показывал ему план реконструкции Москвы. Он обожал планы, но этот план

почему-то вызвал в нем раздражение: «Если вы замечаете, что новое здание еле держится или просто неуклюже, они тут же уверяют, что это временная постройка: „Да его скоро снесут!“ Кажется, они больше любят сносить и переносить, чем создавать». Тут он попал в точку, но в другом промахнулся: когда ему рассказали о будущем метрополитене, он отказался верить, что это возможно, как когда-то не поверил в ГОЭЛРО. Он слабо знал историю Древнего Египта и забыл, как строятся великие сооружения.

Итак, 25 июля. Горки, особняк Горького. Дружба к тому времени умерла, чему были две причины: мужская ревность и неодобрение Уэллсом политической позиции Горького. В 1930 году Горькому предложили вступить в организацию европейской интеллигенции «Союз писателей-демократов», собрания которой Уэллс посещал; Горький отказался, мотивируя это тем, что в руководстве союза находятся такие нехорошие люди, как Эйнштейн и Генрих Манн, подписавшие протест против расстрела сорока восьми советских ученых и специалистов в области пищевой промышленности, и опубликовал статью «Гуманистам»: «Организаторы пищевого голода, возбудив справедливый гнев трудового народа, против которого они составили свой подлый заговор, были казнены по единодушному требованию рабочих. Я считаю эту казнь вполне законной». Горький пояснял, что пишет эту статью с целью разъяснения своей позиции Уэллсу и Шоу. Шоу приветствовал казни, Уэллс был не против них (в России, а не в «нормальных» странах), когда речь шла о «спекулянтах», но его привели в ужас казнь инженеров и кровожадность старого товарища: «То человеческое, страдальческое начало, которое располагало к нему в годы его странствий, совершенно испарилось». Утопийку Ликнис, помнится, Эйч Джи ругал за то, что в

ней есть страдальческое начало. Но к реальным людям у него были другие требования.

На ужин был приглашен нарком по иностранным делам Максим Литвинов с женой Айви, которую Уэллс хорошо знал. Переводчик не требовался, тем не менее в Горки Уэллса привезли Андрейчин и Уманский. Было известно, что гость станет говорить о ПЕН-клубе, скользкая тема, надобно присмотреть. Роллан, видевший Горького годом позднее, говорил, что тот находится в окружении «шпионов, наблюдателей и осведомителей», а в «Московском дневнике» охарактеризовал его как старого медведя с кольцом в носу, которого водят на цепи. Уэллс, кажется, этого не понял — он полагал, что Горький никого не опасается. «Мне не понравилось, что Горький стал противником свободы. Это меня больно задело. Он сильно изменился. Он стал Пролетарским Гением с твердыми классовыми установками».

Основной темой была свобода слова. Горький ратовал за свободу, которая полезна и пригодна большевикам. Уэллс, еще в 1909 году написавший, что «социализм без традиции личной свободы, без литературы, свобода которой ревностно охраняется, без художников и мыслителей, свободных от официального руководства, без свободы устного и печатного высказывания, может легко превратиться в самую безобразную и наиболее неподатливую тиранию, какую мир когда-либо видел», не мог понять позицию Горького. Советский Союз, говорили ему, окружен внешними врагами и кишит внутренними, а посему не может себе позволить такой буржуазной роскоши, как свобода: «В Рагузе Шмидт-Паули, защищавший нацистов, а в Эдинбурге фашист Маринетти приводили точно такие же доводы в пользу ограничений и запретов». Уэллс обозлился и пошел на шантаж, потребовав, чтобы его предложение о вступлении в



ПЕН-клуб обсуждалось на съезде советских писателей, и пообещав, что в случае отказа он сделает все, чтобы мир узнал о нем. «Человечеству, в конце концов, может наскучить Россия, заткнувшая уши воском». Естественно, вопрос о ПЕН-клубе никто на съезде не обсуждал, благодарили вождя, превозносили подвиг Павлика Морозова. Из 101 члена правления, которых избрали на съезде, репрессировано было 33, из 597 делегатов — 180<sup>[105]</sup>.

Второй спор вышел по «женскому» вопросу — о контрацепции и абортах. Уэллс выступал за ограничение рождаемости — Горький резко высказался против. В 1936 году, когда в СССР аборт запретят (до 1955-го), Уэллс станет вице-президентом британской Ассоциации по реформированию закона об абортах, которая добьется их легализации лишь в 1967-м. Но суть спора не сводилась к демографии. Стране нужно больше трудящихся и воинов, говорил Горький, то же утверждали Муссолини, Франко и Гитлер — причем каждый хотел, чтобы больше трудящихся и воинов рождалось в его стране, но не в других. Для Уэллса эта позиция означала самое страшное — Горький из интернационалиста превращается в националиста. Впрочем, это не стало для него новостью. Тот комиссар из «Облика грядущего», помните, что угрожал расправой летчику Ивану? Его фамилия в книге была — Пешков...

После этого ужина Эйч Джи погрузился в глубокую депрессию. Она была вызвана не только плохим самочувствием и тем, что Горький его разочаровал. Речь зашла о баронессе Будберг; Уманский сказал, что она неделю назад была в Москве. Эйч Джи был уверен, что Мура в Эстонии — он только что получил от нее письмо с таллинским штемпелем. Горький прибавил, что она приезжала в СССР трижды за последний год. Эйч Джи

не мог скрыть отчаяния — тогда Андрейчин сообщил, что визиты баронессы «в некотором роде тайна». Уэллс ничего не понимал: «Какая из ее масок была бы сорвана, если бы мы встретились с ней в доме Горького? Каких разоблачений она боялась?» В этой истории все темно. Неизвестно, приезжала ли Будберг в Советский Союз в 1933–1934 годах, виделась ли она с Горьким, действительно ли Горький утверждал, что она его трижды посещала, или это придумал Андрейчин. Это имело бы значение, если бы мы изучали биографию Будберг. Но для биографии Уэллса эти подробности не значат ничего. Его обманули, он страдал — вот это факт. «Ни разу в жизни никто не причинял мне такой боли. Это было просто невероятно. Я лежал в постели и плакал, как обиженный ребенок, либо метался по гостиной и размышлял, как же проведу остаток жизни, который с такой уверенностью надеялся разделить с Мурой. Я отчетливо осознал, что теперь я один-одинешенек».

Он жаждал мести. Эта месть была осуществлена последовательно и мелочно. В своем посольстве он оформил ряд документов, касающихся Муры. Аннулировал заказ на билеты и номера в гостиницах Стокгольма и Осло. По его завещанию Муре причиталось очень солидное пожизненное содержание — он вычеркнул этот пункт. Его банковское поручительство обеспечивало ей неограниченный кредит в Лондоне — аннулировал и это. Хотел не ехать в Эстонию, никогда не видеться с ней. Потом понял, что не удержится, и послал ей в Таллин злобное письмо — пусть знает, что ему все известно, и трепещет, коварная. В таком состоянии духа и отправился в Ленинград.

28 июля его привезли на «Красной стреле» и поселили в «Астории». 30-го он обедал в другом писательском особняке — у Алексея Толстого в Детском

Селе<sup>[106]</sup>. Были приглашены Федин, автор «Угрюм-реки» Шишков, писатель Козаков (отец актера Михаила Козакова), писатель Ляндрес (отец Юлиана Семенова), заведующий облпрофсоветом Т. Рафаил, историк М. Сперанский, композитор Ю. Шапорин, актриса Е. Шатрова — пестрая компания, которая понравилась Уэллсу гораздо больше, нежели московская. Ему нравились хозяин дома — в «красном графе» было что-то очень уютное, почти английское, — и еще больше его теща Анастасия Романовна Крандиевская, ровесница Уэллса: по воспоминаниям ее внука Д. А. Толстого, гость в основном с нею и говорил. Все было очень «буржуазно», «прилично» и «светски» — именно так, как любил революционер Уэллс. «Ничего похожего на подозрительность и твердые предубеждения той, первой встречи я здесь не увидел». Обсудили идею о вступлении в ПЕН-клуб и даже обещали Уэллсу поднять этот вопрос на писательском съезде. Говорили о литературе; Уэллс восхищался «Тихим Доном», русские были польщены.

1 августа Уэллсов повезли в Колтуши (ныне Павлово), где располагался научный городок: комплекс лабораторных зданий биологической станции Института экспериментальной медицины<sup>[107]</sup>, дома для сотрудников, столовая. Академик Павлов занимался исследованиями по генетике высшей нервной деятельности — Уэллс сформулировал это как «интеллект животных». Встреча была особенно интересна Джипу, он засыпал Павлова вопросами, не давая отцу вставить слово. Уэллса больше занимали общие условия развития науки. Для Павлова советская власть эти условия создала. Ему выделяли большие средства, ему прощалось все — ходил в церковь, высказывался свободно, в переписке с высшими советскими чиновниками протестовал против

репрессий, голода, гонений на религию. Ситуация была уникальная: чем откровеннее Павлов выражал свое неприятие советских порядков, тем больше власти, как писал Бухарин, были «готовы ухаживать как угодно, идти навстречу всякой его работе». Но тот оказался неблагодарным и в беседе с англичанами своих взглядов не скрывал. Когда Уэллсы уходили, Джип сказал отцу: «Как странно провести целый день вне советской России!»

Из Колтушей поехали к другим биологам — в Петергоф, где знакомились с работой Биологического института Ленинградского университета. Там была очень сильная кафедра зоологии, много занимались исследованиями в области генетики. Вернулись в «Асторию» под вечер — там состоялась встреча с учеными и литераторами, объединенными любовью к фантастике. Инициатором встречи был Я. И. Перельман, известнейший популяризатор науки, присутствовали также ученый-геофизик Б. П. Вейнберг (он был переводчиком), фантаст А. Р. Беляев, популяризатор науки Н. А. Рынин, директор издательства «Молодая гвардия» М. Ю. Гальперин и журналист Г. И. Мишкевич, который вел запись беседы (с английской стороны она не записана — так что все со слов Мишкевича). Организовали это мероприятие через ленинградское отделение общества культурной связи с заграницей (ВОКС), и оно получилось неформальным: гостей Уэллс принимал у себя в номере и без соглядатаев. «Ровно в шесть вечера мы вошли в номер, — пишет Мишкевич. — Нас встретил высокий человек в сером костюме, с коротким „бобриком“ на голове, с глубоко посаженными, внимательными, но усталыми голубовато-серыми глазами. Борис Петрович поочередно представил гостей, и Уэллс, крепко пожимая руку каждому, приговаривал по-русски: „Очень приятно“...»

Уэллс поведал гостям о неудавшейся попытке заинтересовать Горького идеей вступления советских писателей в ПЕН-клуб. Беляев ответил, что Горький отверг предложение потому, что «некоторые писатели гитлеровской Германии и фашистской Италии, не желая служить делу мира и гуманизма, изменили ему и предпочли поддерживать сумасбродные устремления кровавых диктаторов». Он сказал, что писатель не может быть в стороне от классовой борьбы, а Перельман заметил Уэллсу: «Полагаю, что ваш превосходный роман „Борьба миров“ и есть одно из самых лучших воплощений в художественной литературе этой классовой войны. Правда ведь?

*Уэллс:* Возможно, возможно... Простите, не вы ли тот самый Джейкоб Перлман, который столь своеобразно интерпретировал некоторые мои сочинения? Я прочитал вашу „Удивительную физику“ и нашел в ней ссылки на мои романы.

*Перельман:* Тот самый...

*Уэллс:* ...и который так ловко разоблачил моего „Человека-невидимку“, указав, что он должен быть слеп, как новорожденный щенок... И мистера Кейвора за изобретение вещества, свободного от воздействия силы земного притяжения...

*Перельман:* Каюсь, мистер Уэллс, это дело моих рук... Но ведь от этого ваши романы не потеряли своей прелести».

Уэллсу подарили «три увесистые пачки его книг, изданных в СССР после 1917 года» и вручили справку о том, что их общий тираж превысил два миллиона экземпляров. Уэллс был очень тронут. Беляев поинтересовался, читают ли в Англии советскую фантастику, Уэллс сказал, что он в восторге от «Головы профессора Доуэля» и «Человека-амфибии» и что они лучше, чем западная фантастика, у которой «за внешне острой фабулой кроется низкопробность научной

первоосновы, отсутствие всякой социальной перспективы и морали, безответственность издателей». Его спросили о творческих планах — он отвечал: «Мне шестьдесят восемь лет. И каждый англичанин в моем возрасте невольно должен размышлять над тем, зажжет ли он шестьдесят девятую свечу на своем именинном пироге... Поэтому меня, Герберта Уэллса, в последнее время все чаще интересует только Герберт Уэллс...» Далее заговорили о фашизме:

*«Вейнберг:* Мы убеждены, мы верим, что вы окажетесь на той же стороне баррикады, на которой будем и мы, если грянет новая борьба миров.

*Уэллс:* Мой дорогой профессор, боюсь, что из меня выйдет неважный баррикадный боец... Да и кроме того, когда заговорят пушки и начнут падать с неба бомбы, вряд ли люди услышат скрип наших перьев...

*Рынин:* Не скажите, не скажите... Иное перо, например перо Владимира Ильича Ленина, много сильнее пушек!»

На следующий день Уэллсы осмотрели город, побывали в Эрмитаже. Сели в самолет до Таллина, оттуда Джип вылетел в Лондон, а его отец остался в Эстонии. «Ты обманщица и лгунья», — сказал он встречавшей его Муре. Она объяснила, что в СССР была лишь один раз, да и то «нечаянно», а другие ее визиты — «недоразумение», в котором виноват Андрейчин. Он потребовал, чтобы она позвонила Горькому и Андрейчину и устранила недоразумение. Ничего подобного Мура, естественно, не сделала. У него не было сил с ней порвать; она это понимала. (Распоряжения финансового характера, которые Уэллс аннулировал, были восстановлены.) Вдвоем они прожили три недели в Каллиярве. Здесь Уэллс закончил главу о России и отослал «Опыт» издателям.

«Я все больше обнаруживал в себе склонность исследовать то сопротивление, которое встречает здесь

любая созидательная идея, если она — с Запада. Это просто бросается в глаза. Если так пойдет и дальше, через несколько лет мы услышим от Москвы если не „Россия — для русских“, то „Советы — для марксистов-ленинцев“. Тех, кто не поклоняется пророкам, — долой!»

За 11 дней он увидел и понял немало. Он писал, что «политический контроль стал репрессивным», что «на смену аристократии пришла плутократия», что «оборонительный обскурантизм большевиков погружает общество в тот самый мрак, в котором зарождаются новые посягания на человеческое достоинство», что в России «складывается новая система поголовной лжи». От него не укрылось существование новых привилегированных классов, которые разъезжают в красивых автомобилях и «отовариваются» в спецмагазинах. «Когда революционный энтузиазм спадает, бюрократический аппарат изыскивает возможности для обогащения и привилегий». (Отметил ли он хоть что-то хорошее? Да — ликвидацию неграмотности.) Дело вовсе не в диктатуре Сталина; Россия, по мнению Уэллса, всегда остается Россией. Она тонет в обещаниях и громких словах, но и через двести лет «останется страной невыполненных обещаний, мечущейся от одного начинания к другому». Как хочется надеяться, что на этот раз путешественник во времени ошибся...

\* \* \*

Из Эстонии Уэллс поехал в Швецию, затем в Норвегию, где к нему присоединилась Мура. В сентябре они вернулись в Лондон. Майский пригласил Уэллса поделиться впечатлениями. По воспоминаниям Майского, его друг был грустен, разочарован, очень

жаловался на Горького. Он сказал, что в СССР его поразили две вещи: «несомненный материальный прогресс, который, сознаюсь, в 1920 году казался мне невозможным», и новый дух людей: «Люди стали как будто земными, практичными, деловыми...» Он также рассказывал о своей поездке на обед, который устроил Ян Масарик: присутствовали Шоу, Рассел и Суиннертон. 27 октября в «Нью стейтсмен» был опубликован отчет о дискуссии со Сталиным. Запись сопровождалась комментариями Уэллса о «твердолобом марксизме» собеседника; Уэллс писал также, что советские писатели лишены свободы слова, а власть попала в руки плутократов, и дал понять, что отныне предпочитает американский вариант построения нового общества.

«Нью стейтсмен» занимал просоветскую позицию; его редактор Кингсли Мартин поместил в следующем номере статью Шоу, который обрушился на Уэллса с оскорблениями — это при том, что на обеде у Масарика они дискутировали мирно. Уэллс «проскочил» в Кремль, где вместо того, чтобы благоговейно внимать великому собеседнику, который снизошел до того, чтобы «дать ему урок», пытался высказать собственное дилетантское и никому не интересное мнение, а дома заявил, будто голова Сталина набита разной чепухой типа классовой борьбы. (Уэллс, разумеется, не писал, что «голова Сталина набита чепухой», хотя смысл его комментария Шоу передал верно.) Уэллс — нерадивый ученик, который не умеет слушать, он слушает только себя, а малейшее возражение превращает его в «ослепшую от ярости фурию». По существу вопроса Шоу написал, что капитализм в социализм трансформироваться не может, а новый мир будет создан не «технической интеллигенцией» и не «авиаторами», а «решительными и безжалостными людьми», такими как Сталин. Что же касается свободы



слова, то ее в СССР хоть ложкой ешь, Шоу сам видел, а ПЕН-клуб — вредная затея, слава богу, у советских писателей достало ума от нее отказаться. В том же номере Мартин поместил еще один комментарий — немецкого писателя Эрнста Толлера, который побывал на съезде советских писателей и нашел, что это великолепное мероприятие, участники которого искренне возносили хвалы Великому Кормчему.

Началась дискуссия. Уэллс попытался занять в отношении Шоу примирительную позицию, написав, что двум старикам негоже «пыжиться» и оскорблять друг друга. Однако он потребовал либо взять назад слово «проскочил», либо признать, что Шоу и Асторы тоже в Кремль «проскочили». Шоу откликнулся издевательской заметкой, в которой уже не было ни слова о Сталине и социализме, а на разные лады обыгрывалось слово «проскочил». Это чудесный образец того, как два крупных писателя спорят по серьезному вопросу. Уэллс: «Ах, я „проскочил“? А Шоу и леди Астор, должно быть, проплыли, или пролетели, или проползли?» Шоу: «Ну конечно же Уэллс не может „скакать“, он даже ходить не может, это для него слишком вульгарно...» Уэллс сорвался и ответил грубыми оскорблениями, назвав Шоу родным братом Одетты Кюн, которая только и способна, что злобно брызгать слюной. К схватке подключились другие люди, попытавшиеся вернуть разговор в содержательную плоскость. На стороне Уэллса выступил Кейнс: по его мнению, Сталин и Шоу со своими идеями классовой борьбы безнадежно устарели, а будущее принадлежит идеям Рузвельта. Перебранку между писателями Кейнс, будучи дружен с обоими, по мере сил старался смягчить: он написал, что Шоу поддерживает тирана «от отчаяния», а Уэллс тоже не во всем прав. (В письме к Вирджинии Вулф Кейнс заметил, что в Уэллсе есть что-то мелкое, и Шоу это чувствует: он никогда бы не стал так оскорблять

человека, которого уважал, как оскорблял Уэллса.) Затем в дискуссию, также на стороне Эйч Джи, вступила Дора Рассел. Уэллс и Шоу тем временем продолжали обзывать друг друга и выяснять, кто из них куда «проскочил» или «прополз». По выходе каждого номера «Нью стейтсмен» в редакцию потоком шли письма читателей, которые Мартин также помещал в журнале.

Когда дискуссия (которую политолог Уоррен Вейгер деликатно назвал «одним из самых оживленных публичных споров в левых кругах за всю историю Англии») спустя два месяца стала иссякать, Мартин решил напоследок выжать из нее все возможное, то есть опубликовать относящиеся к ней тексты в виде брошюры. Уэллс дал согласие, заявив, что Шоу «показал себя хамом» и это должны видеть все. Шоу был против издания брошюры: «Мой старый друг Эйч Джи изрядно себя опозорил, и я не хочу позорить его еще больше». Состоялось еще несколько разговоров, причем Мартин всякий раз передавал слова одного из противников другому. Шарлотта Шоу поняла, что Мартин ради сенсации стравливает стариков друг с другом, и написала об этом Уэллсу. Но того уже невозможно было остановить, он решил, что супруги Шоу трусили. Брошюра была издана, а художник Давид Лоу украсил ее карикатурами на участников спора. Она раскупалась как пирожки и продается по сей день. (Ссора длилась недолго. В июне 1936-го вышел сборник пьес Шоу — Уэллс написал ему теплое, полное дружеских подтруниваний, письмо, Шоу ответил тем же.)

За дискуссией внимательно следили в СССР. 9 ноября Карл Радек писал Сталину: «Тов. Литвинов передал мне предложение редакции журнала „Нью стейтсмен“, который напечатал стенограмму Вашего разговора с Уэльсом, написать статью по поводу комментария Уэльса к его разговору с Вами. Тов.

Литвинов просит написать эту статью. Так как дело идет о разговоре с Вами и в статье нельзя не комментировать этот разговор, а кроме того, тов. Литвинов просит высмеять Уэльса (и он прав, ибо иначе нельзя ответить на статью Уэльса), то считаю, что мне нужно получить Ваши указания, как статью писать, на что бить. Я думаю, что высмеивание должно быть только формой статьи, а центр должен состоять в показе, что является социальным источником глупости Уэльса. Надо показать те буржуазные предрассудки интеллигенции, которые ей мешают понять то, что происходит, и показать значение Вашего разговора с этой интеллигенцией через голову Уэльса, иначе получится только насмешка и руготня, вызывающая впечатление, что ругаемся потому, что не удалось прельстить девушку.

Прилагаю перевод статьи Уэльса. С сердечным приветом К. Радек.

P. S. Только что получен номер „Нью стейтсмен“ со статьями Шоу и Толлера по поводу выступления Уэльса. Шоу местами очень удачно высмеивает Уэльса, а дальше величает Вас как оппортуниста и националиста. Думаю, что первую часть статьи Шоу можно было бы пустить в нашу печать».

Сталин не дал Радеку указаний вмешаться в спор на страницах «Нью стейтсмен»<sup>[108]</sup>. Вряд ли ему понравилась фраза насчет «прельщения». Радек вслух сказал то, о чем говорить не следовало. Ведь девушку и в самом деле не удалось прельстить — обед она съела, а танцевать не пошла. В 1937 году Радек был обвинен по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», на допросах «сдал» уйму народу, был приговорен к десяти годам, погиб в лагере. Мы, конечно, не собираемся утверждать, что Радек был репрессирован из-за этой опрометчивой фразы про

«девушку». Но не исключено, что и она сыграла свою роль. «И это совсем недурной результат...»

## **ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ХРОМАЯ СУДЬБА**

### **Глава первая МУЛЬТИВАК**

«Опыт автобиографии» вышел осенью 1934 года в двух томах: первый — детство, юность и начало литературной карьеры, второй — общественная деятельность и идеи по переустройству мира. Автор был недоволен — книга потеряла цельность. Ему не нравилось, как его труд рекламируют и продают, и он разругался с издательством «Голланц», сотрудники которого, по его мнению, ничего не смыслили в своем деле и хотели его обокрасть. Тем не менее «Опыт» расходился прекрасно и был доброжелательно принят критиками, хотя многие отмечали, что второй том скучноват. Люди, описанные в книге, реагировали по-разному. Президент Рузвельт прислал теплое письмо: «Я считаю Вашим наибольшим достижением то, что Вы заставили людей думать в эти два последних года. Может быть, их мышление еще не прямо, но оно развивается в верном направлении». Это была наивысшая похвала для Эйч Джи. Очень тронут был Ричард Грегори; Элизабет Хили же написала с грустью, что ее другу вряд ли удастся переделать мир. Беатриса Уэбб заметила, что автору удалось написать правдивый автопортрет и что, «несмотря на его прескверную литературную манеру» и «предосудительную половую мораль», он милейший человек и она его всегда любила. Шоу был уязвлен тем, как Уэллс изложил историю своих взаимоотношений с Фабианским обществом. В бешенстве была Одетта Кюн, хотя в «Опыте» о ней почти не говорилось. Уэллс уделил ответам на нападки меньше времени, чем можно было ожидать: он так и не выбрался из депрессии. Укусы

Одетты не могли его ранить — слишком сильную боль ему причиняла Мура.

Если она стала для него всем, то он в ее жизни занимал строго отведенное ему место — как дрессированная собачка. Она познакомилась через него с миром кинематографистов и журналистов; Локкарт свел ее с дипломатами и политиками. Титул баронессы давал ей возможность быть принятой в салонах. Она не порывала старых связей с русскими эмигрантами и заводила новые. Она отказалась быть не только женой Уэллса, но и хозяйкой в его доме, предпочитая жить отдельно. Она вела себя как «загадочная русская душа» из плохих романов — спала весь день, по ночам пропадала в компаниях, много пила. Она ускользала, лгала, он ее допрашивал, устраивал сцены, жаловался на нее встречным и поперечным. Он понимал, что ведет себя и низко, и неумно: «Какое у меня право возражать, даже если она позволяла себе водить меня за нос, если таила от меня значительную часть своей жизни и своих мыслей? Она никогда не брала на себя обязательство поступать иначе. Почему и мне не обходиться с ней таким же образом, и пусть бы наша связь была легкой и радостной?» — но поделаться с собой ничего не мог. Он еще надеялся создать семью и начать новую жизнь. А для новой жизни нужен новый дом.

Квартира на Чилтерн-корт была наспех обставлена и, по отзывам гостей, напоминала гостиничный номер. Эйч Джи купил себе жилище по адресу Ганновер-террас, 13, рядом с Риджент-парком — место зеленое, удобное и престижное. Домик был светлый, элегантный; его проектировал известный архитектор Нэш. Позади дома был сад, имелись конюшни, которые перестроили под гостевой коттедж. Обустроиться у Эйч Джи не было сил, и на помощь пришли дамы. Внутренним интерьером занималась его светская приятельница Сибил Колфакс, а сад разбила Марджори Аллен,

известный ландшафтный дизайнер и общественный деятель; потом уход за садом взяла на себя Пегги, жена Фрэнка. Обе невестки были чрезвычайно привязаны к свекру и постоянно занимались его делами — хозяйственная Пегги в амплуа Марфы, интеллектуальная Марджори в роли Марии.

Единственный недостаток дома заключался в том, что он, строго говоря, не был особняком. Нэш построил комплекс из пятнадцати домов с общей подъездной аллеей, примерно то, что мы называем таунхаусами, так что соседи были друг у друга на виду: один из них, поэт Альфред Нойес, написал о вселении Уэллса много комичного — тот терял чемоданы, впадал в панику, ругался. Недостаточная уединенность дома угнетала Эйч Джи, поскольку жильцы не могли укрыться от шума, производимого друг другом. Музицирование, детские крики, вечеринки он сносил легко, но собачий лай приводил его в отчаяние, и он написал по этому поводу обращение к соседям, которое так и не решился отправить. В Утопии, дивном кошачьем мире, собак нет или они по крайней мере молчат.

Собаки, эти исчадия ада, тявкали по всему Лондону, и вообще в городе было очень много шумов, особенно строительных. Понятий о допустимом уровне шума не существовало; с этим нужно было бороться, и Эйч Джи принял участие в деятельности Лиги против шума, основанной в 1934 году. В 1935-м лига организовала выставку, на которой демонстрировались научные разработки, направленные на снижение уровня строительных шумов, а после выставки прошла дискуссия, где Эйч Джи председательствовал и прочел лекцию на тему «Здоровье и шум». В лигу его привел знаменитый медик Томас Дживз Хорден, лейб-медик Эдуарда VIII, сменивший Уэллса на посту президента Ассоциации по контролю за рождаемостью. Тот же Хорден вовлек его в другую организацию — Общество

борьбы против зловония, основанное эксцентричным юристом Эмброзом Эппелби. Общество предлагало городским властям ряд проектов, например, размещать в общественном транспорте листы, пропитанные запахами моря. Замятин описал Уэллса как певца бензина, асфальта и моторов, но он ошибся — Эйч Джи этих вещей терпеть не мог. Ему были нужны деревня, но без навоза, город, но без бензина. Комфортно он себя чувствовал лишь там, где есть зелень, вода, цветущий сад.

Вселение в новый дом состоялось в конце 1935 года, а пока жилище готовилось, Эйч Джи с Мурой уехал на Ривьеру, где провел всю зиму. Гостили у Моэма и Элизабет Рассел. Ему казалось, что отношения налаживаются, и вдруг Мура объявила, что ей нужно в Лондон. Опять сцена, в которой, по признанию самого Уэллса, «мой эгоцентризм проявился во всей его беспощадности и нетерпимости»: он потребовал, чтобы она вела себя как верная жена, она не обратила внимания на попреки и уехала. С досады он связался со светской дамой, жившей по соседству, в надежде вынудить Муру ревновать. Мура вернулась на Ривьеру, но ревновать и не подумала, а, убедившись, что ее «собачка» никуда не денется, уехала снова. В «Постскриптуме» Уэллс детально описал все перипетии своих отношений с ней, воспроизводил их диалоги, пересказывал сны о ней. Ему казалось, что эти отношения то и дело меняются, но в сущности они оставались неизменными. На брак она никогда не согласится и хозяйкой в его дом не войдет. Он не мог владеть ею, но пытался создать у окружающих иллюзию того, что они вместе. Он всюду представлял ее как свою жену. Он пошел на такое унижение, как инсценировка предсвадебного ужина: пригласил гостей — Джипа и Фрэнка с женами, Вайолет Хант, Мориса Баринга, Джулиана Хаксли, нескольких светских дам —



и объявил о помолвке с Мурой, которая в конце ужина разъяснила, что это шутка. Он был очень печален: «Я хотел постоянно ощущать присутствие моей милой у себя в доме, слышать, как сверху доносится любимый голос, или выглянуть из окна и увидеть, что моя милая идет по саду мне навстречу. Но Мура никогда не пойдет мне навстречу по этому саду...»

В Лондоне они помирились, и в первых числах марта 1935 года Эйч Джи отправился в Америку. Поездка была организована издательством «Кольерс»: Уэллс должен был написать серию новых очерков о Рузвельте. Он пробыл в Вашингтоне три недели, несколько раз встречался с президентом и сотрудниками «мозгового треста», написал четыре очерка, которые составили книгу «Новая Америка — новый мир» (The New America — The New World), вышедшую в издательстве «Крессет», в которой отсутствуют упования на сближение США и СССР, владевшие автором год назад. Вернувшись в Лондон, он предъявил Муре очередной ультиматум и вновь был «поставлен на место». Его отчаяние достигло высшей точки — он обдумывал самоубийство. Мура была не единственной причиной — мир тоже его не слушался, националисты всех мастей шагали твердой поступью, человечество было дальше от единения, чем когда-либо. У него возникало ощущение, что жизнь прожита зря. К тому же он стар, болен, испытывает физические страдания. «Я готов покончить с собой из чистого отвращения». Убить себя можно громко, а можно тихо — достаточно перестать принимать лекарства. Он обдумывал это, но в конце концов выбрал писательский способ совладать с отчаянием — излить его на бумаге. В мае он начал работу над книгой «Анатомия отчаяния» (The Anatomy of Frustration)<sup>[109]</sup>: «Я хочу исследовать весь процесс утраты иллюзий в наши

дни и извлечь из него в той мере, в какой смогу, мужество и стимулы для себя и для других».

Книга представляет собой записки некоего Уильяма Стила и авторские комментарии к ним. Она не о Муре — автор лишь мимоходом говорит о своих отношениях с женщинами («он слишком много ждал, слишком много требовал и оставался в одиночестве»), а, разумеется, обо «всем». Как отдельным человеком завладевает отчаяние, ведущее к суициду, так и мир погружается в отчаяние, заставляющее совершать такие самоубийственные действия, как война. Сейчас соблазн уничтожить себя у человечества особенно силен. Но человек может преодолеть отчаяние, то же должно сделать человечество, выработав новую мораль, основанную не на разрушении, а на мирном совместном строительстве. Как мужчина и женщина должны отказаться от подозрительности, упреков и лжи в отношении друг друга, так должны поступить и все мы, составляющие человечество: не упрекать друг друга, а рука об руку идти к свободе и миру. Вопрос прежний: как это сделать? И ответ на него тот же: образование, культура, искусство, просвещение. Значительное место в книге уделено критике сообществ, которые под лозунгом единения для «своих» проповедуют страх и ненависть к *другим*, — нацисты, коммунисты, католики, ирландцы, сионисты и т. д. Поскольку Уэллса часто позиционируют как антисемита (противоположный лагерь, впрочем, как «жидомасона»), попробуем прояснить этот вопрос.

Майкл Корен сделал на антисемитизме Уэллса сильный акцент, приводя в доказательство своей позиции множество его высказываний, хотя некоторые из них скорее свидетельствуют об обратном. В 1901 году он писал в «Предвидениях»: «Я действительно не понимаю того особого отношения, которое большинство людей испытывает к евреям. Евреи интеллектуально и

физически развиваются, равно как стареют и умирают, раньше среднего европейца; но и в этом, и в некоторой своей неискренности они такие же, как и темные, ограниченные валлийцы. Они стремятся к общению внутри своей этнической группы и предпочитают ее другим, но то же делают шотландцы. Я не вижу ничего в этой нации, что бы заслуживало страха или неприязни. Она — наследие Средневековья, но не враг прогресса. В Средние века евреи были либералами, их существование дает отпор католическим претензиям и нашему нынешнему националистическому твяканью, и их рассеянность по миру — эскиз к созданию общего мирового государства». Корен приводит эти слова как проявление антисемитизма. Скорее уж здесь можно обнаружить «антиваллизм». Политкорректность XXI века требует во избежание обид не давать никаких характеристик национальностям; но в XX этого правила не знали и всяк мог говорить что думает.

Было ли присуще Уэллсу то, что называют «бытовым антисемитизмом»? Да, было. «Всякий разумный нееврей слегка раздражен солидарностью евреев, явно преувеличенной». Когда ему случилось в 1939 году плыть на пароходе, он писал Муре: «Хотя, конечно, методы, какими нацисты борются с евреями, ужасны, но после пяти дней плавания на пароходе, населенном преимущественно евреями, я чувствую, как во мне — самую малость — просыпается тевтонский дух...» Это была шутка частного характера, но уж очень бестактная. Нет смысла говорить о том, что у него «было очень много друзей-евреев» — у него всяких друзей было полно, и тот же аргумент приводил в свое оправдание такой ярый антисемит, как Беллок. Евреи его раздражали. Правда, немцы и ирландцы раздражали его еще больше. Уэллс призывал не навешивать ярлыков на разные народы, но сам только и делал что раздавал ярлыки: так, например, у немцев

«мышление неподатливо по сравнению с англосаксонским, оно не обладает ни французской ясностью, ни итальянской смелостью, ни испанской или русской поэтической мощью». Он это за собой знал, замечая в романе «Кстати о Долорес»: «Я начинаю вдруг, без всяких на то оснований, усматривать в Долорес заметные проблески тех черт, которые принято именовать „еврейскими“ в дурном, уничижительном смысле этого слова. Я не имею в виду ничего расового, моими устами здесь от начала до конца говорит Предрассудок. Я, как и все, беру это попросту с потолка и, однако, оперируя пустыми словами, почти уже начинаю верить, что речь идет о чем-то реальном».

Идейным антисемитом Уэллс был в той же степени, что и антибританцем или антиболгарином: нации должны не выпячивать свои отличия от других, а стремиться к ассимиляции. Этническая группа, которая противопоставляет свою культуру чужим, поступает дурно. «Патриотизм такого народа — это национальный эгоцентризм. Того, чего они не в силах достигнуть как отдельные личности, они добиваются коллективно и с превеликим шумом. Такой народ не желает быть частью человечества, хочет оставаться собой и всегда остается собой. Хватается за любое преимущество, на которое почувствует себя вправе, а так как это вернейший способ получения щелчков — получает щелчки. И поэтому чрезвычайно мстителен. Никогда не забывает обид. Живет обидами...»

Его претензия к евреям, ирландцам, а теперь и к русским заключалась в том, что у них тенденция к сепаратизму, как он считал, развита особенно сильно. «Эта склонность к расовому самомнению стала трагической традицией евреев и источником постоянного раздражения неевреев вокруг них», — говорилось в его лекции «Яд истории», прочитанной в 1939 году; в 1933-м, когда Ребекка Уэст предложила

ему стать членом Комитета по борьбе с антисемитизмом, он отказался: «Евреям следовало бы, прежде чем бороться с антисемитизмом, изучить его, чтобы понять, что его причины в значительной степени кроются в их собственных заблуждениях». Причина таких заблуждений, однако, не в расовой особенности евреев, а в их истории и религии: «По-человечески понятно, что многие евреи подпадали под влияние идей о том, что рассеянный и не пользующийся особым уважением народ является избранником господним и в конце концов восторжествует. С точки зрения общественной психологии это естественно, но это скверная история, в ней заключен яд. В умах возникла разграничительная черта, и огромные массы этого умного, способного, умелого народа, составлявшего большинство торговых и финансовых кругов и путешественников в обширных районах Европы и Юго-Западной Азии, обстоятельствами своего воспитания были лишены всякой возможности тесно общаться с окружающими. Их отчужденность росла. В силу возникших обычаев они становились все более и более эксцентричными, упрямо старались держаться обособленно».

В «Анатомии» Уэллс пытался анализировать причины преследования евреев нацистами и не находил ничего нового по сравнению с прежними еврейскими погромами. «Принято считать, что евреи лучше умеют обращаться с деньгами, они всюду проникают, занимаются управлением, финансами, — и „гой“ чувствуют себя ущемленными и напуганными». Однако, разбирая еврейскую историю и культуру, Стил приходит к выводу, что евреи как раса ничем от «гоев» не отличаются; еврейство, по Стилу, — это образ мыслей, алгоритм поведения, «дух» — и этот «дух» ему не нравится. Еврей (по духу) предан только своему сообществу и противопоставляет себя остальному миру.

Хорош только тот еврей (русский, англичанин), который стремится стать «гражданином мира».

В «России во мгле» Уэллс замечал, что многие из советских революционеров — евреи, но «очень мало кто из них настроен националистически. Они борются не за интересы еврейства, а за новый мир...». В Европе и США в 1930-е он в основном сталкивался с евреями, которые «боролись за интересы еврейства», то есть за создание независимого государства; с одним из них, своим другом Израэлом Зангвиллом, драматургом и общественным деятелем, он постоянно дискутировал на эту тему. Зангвилл говорил, что евреи имеют право на свою страну, Уэллс отвечал, что чем скорее люди откажутся от слов «моя страна» и начнут говорить «наше человечество», тем лучше. Однако значение имеют не только слова, но и обстоятельства, при которых они произносятся. В сентябре 1935-го в Германии был принят пакет законов, по которым евреи были лишены гражданских прав и запрещались смешанные браки; и в эти же месяцы Уэллс писал в «Анатомии», что германский нацизм — это «движение, чрезвычайно еврейское по духу», «иудаизм наизнанку», «имитация национализма Ветхого Завета». Друзья говорили ему, что критика евреев сейчас бестактна. Он отвечал, что, если евреи не пересмотрят своей позиции, они будут сталкиваться с той же ситуацией бесконечно.

Реакция на «Анатомию», законченную в апреле 1936 года и изданную в «Крессет пресс» в том же году, будет прохладной: человечество не желало признавать, что пребывает в отчаянии, а обвинения в адрес групп, которые автор называл сепаратистскими, вызвали ответные обвинения. Но Эйч Джи был доволен — работа над книгой «внесла ясность» в его мысли. Он спасся от смерти и в возрасте шестидесяти девяти лет в последний раз начинал новую жизнь. Лето 1935-го он провел в загородном доме Фрэнка в Дигсуэлл-Уотер-

Милл, играя с маленьким Мартином, старшим внуком<sup>[110]</sup> — сын кинематографиста Фрэнка станет зоологом, как его дядя Джип, и унаследует дедушкину страсть к популяризации науки, написав несколько превосходных книг о животном мире, только его любимым зверем будет не кошка, а кальмар. Уэллс дописывал «Анатомию» и занимался «Обликом грядущего». Через Корду он завел массу знакомств в кинематографической среде. Он не мог позволить себе умереть, не увидев Голливуд. 7 ноября он — в третий раз за последние два года — отправился в Америку. Мура приглашения не получила.

Несколько дней Уэллс пробыл в Нью-Йорке, обсуждая дела с издательством Макмиллана, потом улетел в Лос-Анджелес и пять недель прожил в доме Чаплина, который был женат третьим браком на Полетт Годар. Он посетил несколько киностудий, сошелся с голливудскими знаменитостями — сценаристом и продюсером Чарлзом Лаутоном, актерами Эльзой Ланкастер и Бэзилем Рэтбоуном, каждый день обедал в гостях, восхищался молоденькими артистками и фотографировался в их окружении. Все, кто видел его в те недели, отмечали, что он выглядел оживленным. Желчности своей он, однако, не утратил: если верить воспоминаниям Хью Уолпола, жившего тогда в Голливуде, на одном из обедов он назвал американцев идиотами, ибо они, имея шанс переделать мир, упустили его по своей тупости и лени. За столом сидели преимущественно британцы (в Голливуде обосновалась большая их колония), а немногие американцы, по словам Уолпола, на бестактность гостя постарались не реагировать. Далее, по словам Уолпола, Эйч Джи в еще более грубых выражениях обругал русских и, когда Чаплин спросил, неужели Уэллс разочаровался в социализме, мрачно ответил, что

всякий социализм, который ему доводилось видеть, почему-то приводит к диктатуре.

Он вернулся в Лондон в январе 1936-го, Мура его встречала. Он выдал ей ключ от дома на Ганновер-террас. Она почти не пользовалась этим ключом. В мае умер Горький: Мура, чтобы провести с ним последние часы, уехала в Москву, не попрощавшись с Уэллсом. Он был уверен, что она останется в России. Когда она вернулась, он был так счастлив, что не стал ее попрекать. В их отношениях наступило затишье; он мог спокойно работать. Летом он начал писать несколько вещей: роман «Брунгильда» (Brunhild; вышел в «Метьюэне» в 1937 году) и небольшие повести «Игрок в крокет» (The Croquet Player, журнальная публикация в «Ивнинг стандарт», книга издана «Чатто энд Уиндус» в 1936 году) и «Рожденные звездой» (Star-Begotten: a Biological Fantasia; журнальная публикация в «Лондон меркюри», книга издана «Чатто энд Уиндус» в 1937 году).

«Брунгильда» — история молодой женщины, прототипом которой послужила (по характеру, но не по обстоятельствам жизни) Марджори Уэллс. Героиня замужем за литератором, чья жизнь интересна, тогда как его жена должна заниматься хозяйством; она хочет вырваться из «оков пола» и жить в соответствии с мужской моделью поведения. Уэллс не изменил себе: когда брак Брунгильды распался, обрести свободу ей помог другой мужчина — разумеется, тоже литератор. Герой повести «Рожденные звездой» — еще один писатель, которому приходит в голову удивительная мысль: Марс, населенный прогрессивными и разумными существами, подвергает Землю облучению, благодаря которому некоторые из землян мутируют, становясь такими же разумными, как марсиане. «Мутанты» олицетворяют просвещенность, разум, добро и пытаются бороться с воинственностью и



реакционностью своих собратьев. Безуспешно: «Всего ужаснее то, какой слабой оказывается всякая ясная, чистая мысль. В теперешнем состоянии человечества меня поражает более всего полное господство грубого, пошлого мышления, мышления низменного. Это грубое мышление... воплощается в герое, подобном, например, Гитлеру, который солидаризируется с ним и дает ему выход в своих вызывающих выступлениях».

«Игрока в крокет» справедливо относят к уэллсовским шедеврам (а казалось, он разучился хорошо писать!). Возможно, умные марсиане подвергли Уэллса облучению, внушив ему, что в тексте не должно быть никакого писателя и никаких карикатур на знакомых автора, благодаря чему получился прекрасный, не обезображенный журналистикой текст, который, являясь антифашистской сатирой, не перестает быть великолепным «готическим» рассказом — недаром его сравнивают по стилистике с «Собакой Баскервилей». Герой, который ищет в жизни скромных удовольствий и не интересуется политикой, случайно знакомится с сумасшедшим; тот рассказывает историю о жутком местечке под названием Каиново болото, которое хранит в себе дух первобытного дикаря и порождает призраки зла, заставляющие обитателей соседних деревень совершать чудовищно жестокие и немотивированные преступления.

Уэллс писал «Игрока» от первого лица (точнее, от нескольких лиц — это «рассказ в рассказе»), чего давно не делал, и сумел создать то самое ощущение полного отождествления читательского «я» с «я» рассказчика, которого достигал в своих лучших фантастических романах. Настоящий мастер страшного пишет так, что можно выдернуть из текста любой абзац наугад — и по телу пробежут мурашки. «Я возвращался домой, — продолжал доктор, — испытывая еще больший ужас, чем когда ехал к священнику. Теперь мне повсюду

начали мерещиться привидения. Старик, нагнувшийся в канаве над упавшей овцой, превратился в уродливого горбатого дикаря со звериными челюстями. Я не решился посмотреть, что он делает, и когда он крикнул мне что-то — может быть, просто „здравствуйте“, — я сделал вид, что не слышу». Священник — зачем он тут? Овца — отчего она упала?! Все страшно, непонятно, зыбко...

Потом психиатр разъясняет герою, что Каинова болота нет: его придумал больной, будучи не в силах вынести кровавые ужасы, что происходят по всему миру. Вся планета — Каиново болото, все мы заражены духом дикаря. «Человек ничуть не изменился. Это — злобное, завистливое, коварное, жадное животное! Если отбросить все иллюзии и маски, человек оказывается все тем же трусливым, свирепым, лютым зверем, каким был сто тысяч лет назад». Единственный способ спасти человечество, говорит доктор, — построить новую, могучую цивилизацию на месте прежней. Но для этого нужно прилагать большие усилия. Герою рассказа такой рецепт не по душе — пусть где-то кого-то расстреливают, у него, слава богу, все в порядке и он должен идти играть со своей тетушкой в крокет.

Чтобы спастись, человечество должно стать умным, но как этого достичь? Написаны прекрасные учебники по истории, биологии, экономике, а мы не умнеем... Весь год Уэллс вынашивал идею, которую озвучил в сентябре, когда Грегори, один из руководителей Британской ассоциации развития науки, пригласил друга выступить на ежегодном собрании ассоциации. Уэллс прочел доклад «Идея Всемирной энциклопедии». Чем его не устраивали существующие энциклопедии, например, французская «Большая энциклопедия» или «Британика»? Прежде всего тем, что не успевали за новой информацией. Кроме того, если французскую

энциклопедию он готов был взять за основу, то «Британика» составлялась с консервативных позиций и содержала массу информации антинаучного, расистского и сексистского характера. Кроме того, они были национальными изданиями, тогда как энциклопедия, по Уэллсу, разумеется, должна быть интернациональной<sup>[111]</sup>. Существующие энциклопедии не вмещали *всё* — а только ради *всего* и стоит затевать дело. А главный их недостаток — недоступность для *всех*.

«Человечество должно не только ясно мыслить и выражать свои мысли, но иметь доступ в мировом масштабе ко всему объему знаний и идей, которыми оно когда-либо располагало». Существующие хранилища знаний не дают такой возможности — они разрознены и доступны немногим. Не всякий человек может приехать за справкой в Британский музей или работать в библиотеках Кембриджа. Но в XX веке можно и нужно изменить эту ситуацию с помощью микрофотографирования — технология, посредством которой оригинал копируется в очень малом размере и затем просматривается на проекторе. Ее авторство приписывают фотографу Рене Дагро, который во время Франко-прусской войны отправлял с голубями микродепешки. В первой трети XX века микрофильмирование применялось отдельными библиотеками и госучреждениями, но массовой эта технология не стала<sup>[112]</sup>. Уэллс же предлагал именно на ней строить Всемирную энциклопедию.

Все полезные книги, газетные статьи и картины следует скопировать, тиражировать и хранить в сети специальных учреждений с единым центром-каталогом, чтобы человек, находясь где угодно, мог сделать запрос в этот центр, и ему будет выслана копия документа. Так будет создан «Всемирный банк информации», или

«Всемирная память человечества», или «Всемирный Разум», который станет неуязвимым, в отличие от хранилища отдельного учреждения. Разумеется, такая работа не проста, для нее необходимо привлечь множество специалистов, которые будут собирать источники информации, сортировать по отраслям, каталогизировать и так далее; но все же это гораздо дешевле и, главное, полезнее, чем воевать. Ныне — благодаря цифровым технологиям и Интернету — все — мирный банк информации фактически создан. Помогает ли он переделать мир? Ответа на этот вопрос мы пока не знаем, но его практическую полезность невозможно переоценить.

Однако между современными интернет-хранилищами знаний и тем, что предложил Уэллс, есть принципиальное различие. Оно не в том, что мы получаем информацию в виде файлов, а не фотографий. По Уэллсу, цель «Всемирного Разума» — выработка единого мировоззрения; он должен формироваться группой специалистов, объединенных общей идеологией; глупой, вредной и устаревшей информации в таком мозгу не место. Вечный вопрос: кто будет отбирать и организовывать этих специалистов? Наша «всемирная паутина» устроена так, что не только умный и добрый, но также злой и глупый паучок может сплести в ней свою ячейку. До сих пор попытки глобального регулирования интернет-пространства проваливались; по всей видимости, они будут бесплодны и в дальнейшем. Человечеству стала доступна вся информация «про всё»; но решать, что верно или ошибочно, хорошо или дурно, по-прежнему каждый должен сам.

\* \* \*

21 октября Уэллсу стукнуло 70. Лондонский университет, который тоже стал юбиларом — 100 лет, — присвоил ему степень доктора литературы. Он говорил, что степень доктора естественных или общественных наук обрадовала бы его больше. Он не хотел считать себя литератором. Его очень тронула юбилейная статья Карела Чапека: «Он представляет собой исключительное явление среди современных писателей и мыслителей в силу своей необыкновенной универсальности; как писатель он соединяет склонность к утопическим фикциям и фантастике с документальным реализмом и огромной книжной эрудицией; как мыслитель и толкователь мира он с поразительной глубиной и самобытностью охватывает всемирную историю, естественные науки, экономику и политику. Ни наука, ни философия не отваживаются сейчас на создание такого аристотелевского синтеза... какой оказался по плечу писателю Уэллсу... <...> Этот всеобъемлющий исследователь является одновременно одним из самых настойчивых реформаторов человечества — он не стал догматическим вожаком и пророком, но избрал роль поэтического открывателя путей в грядущее».

День рождения он отметил с Мурой и родными, а 13 октября состоялось официальное празднование, организованное ПЕН-клубом. На обеде в Савой-отеле присутствовали около трехсот человек, среди которых были все сколько-нибудь значительные британские и многие иностранные литераторы. Председательствовал Джон Бойнтон Пристли. Юбиляра поздравляли (первым — Шоу); он произнес ответную речь. Моэм писал, будто Шоу издевался над Уэллсом, после чего тот, «чуть не водя носом по бумажке, писклявым голосом прочитал свою речь. Он брюзгливо говорил о своем преклонном возрасте и с присущей ему сварливостью нападал на тех присутствующих, кому, возможно, взбрело в голову,

будто юбилей и сопровождающий его банкет означают, что он намерен отойти от дел. И заверил их, что он, как всегда, готов направлять человечество на путь истинный». Моэм любил говорить о людях гадости, но, в отличие от Шоу, только за глаза: разумеется, Шоу не издевался над юбилеем, а, напротив, объявил, что в искусстве изображения жизни ему равны лишь Диккенс и Киплинг, а также шутливо пикировался с ним, к чему оба давно привыкли: «Бедный старина Уэллс! Вот и вам перевалило за седьмой десяток. А мне скоро перевалит за восьмой... Почему все хохочут? Потому что радуются, что скоро отделаются и от меня, и от вас...»

Что касается речи Уэллса, то большинству гостей ее тон запомнился как «печальный». Да, он говорил о своих планах на будущее, о Всемирной энциклопедии. Но он сказал также: «Мне кажется, будто я — маленький ребенок, которому устроили чудный вечер и подарили много прекрасных игрушек... Но вот входит нянька и говорит: „Берти, вам пора спать, начинайте собирать свои игрушки...“ Многие из моих игр подходят к концу, и я чувствую, что устал...»

В 1936 году Уэллс сложил полномочия президента ПЕН-клуба (оставаясь до конца жизни активным членом этой организации): он не видел возможности далее удерживать ПЕН от политики. Почему? Годом раньше в Париже — формально по предложению Арагона, Мальро и Жана Ришара Блока, а фактически по инициативе советского руководства — был организован Международный конгресс писателей в защиту культуры от фашизма. На это мероприятие, проводившееся «в пику» ПЕН-клубу, были приглашены прогрессивные с точки зрения ЦК ВКП(б) западные писатели. Большинство из них отказались от участия. В резкой форме отказался и Уэллс, у него к тому времени выработался нюх на все советское, как бы оно ни называлось. Отказались Роллан и даже Шоу, он

полагал, что советские порядки подходят для внутреннего потребления, но сам предпочитал свободно томиться внутри загнивающей цивилизации. Не приехал Горький, одни считают, что по болезни, другие — что его не выпустили. Конгресс прошел не без инцидентов: писатель Андре Бретон попытался задать вопросы о системе управления в Советском Союзе, а также о судьбе троцкиста Виктора Сержа, бежавшего из СССР, но Арагон и Эренбург объявили вопрос закрытым. На конгрессе было объявлено о создании новой организации — Международной ассоциации писателей.

Уэллс понимал, что литературный мир меняется. Есть организации фашистских, коммунистических, еще каких-то писателей; ПЕН должен в противовес им стать организацией демократических писателей, но это значит изменить принципам, на которых они с Голсуорси его создавали... Стоит начать ограничения по политическим мотивам — и по этому пути можно зайти далеко. Он не мог разрешить эту проблему и перед очередным конгрессом ПЕНа в Барселоне подал в отставку, но Ада Голсуорси уговорила его остаться на год. Тем временем советской стороной готовился пленум секретариата Международной ассоциации писателей, который должен был пройти в июне 1936-го в Лондоне. Одним из членов секретариата был Илья Эренбург; на него возлагалась задача еще раз попытаться привлечь европейских писателей — уже не только «прогрессивных», а какие согласятся, — к участию в работе ассоциации. Эренбург пытался «надавить» на Уэллса через Майского. Уэллс поддался на уговоры, но не Майского, а Ребекки Уэст, которая находилась тогда в Лондоне, — пришел и выступил на пленуме. Но выступил не так, как хотелось организаторам — говорил опять о свободе слова и

предрек ассоциации крах из-за отсутствия международной поддержки.

Илья Эренбург — Михаилу Кольцову:

«Дорогой Михаил Ефимович, только что приехал из Лондона и в дополнение к предыдущему письму хочу написать Вам следующее: пленум был отвратительно приготовлен. <...> У нас в Англии нет базы. <...> Это объясняется политическим положением в Англии, и здесь ничего не поделаешь. С другой стороны — они чистоплюи, т. е. отказываются состоять в организации, если в нее войдут журналисты или писатели нечистые, т. е. те, у которых дурной стиль и высокие тиражи. <...> Все же я со многими людьми беседовал и пришел к выводу, что, в отличие от других стран, в Англии нам надо опереться почти исключительно на литературную молодежь и на полуписателей-полужурналистов.

Все надо начинать сызнова. Выступление Уэллса провело демаркационную линию и дало возможность объединить всех, которые действительно хотят с нами работать. Ребекку Вест в итоге мы усмирили (Уэст говорила о „еврейском вопросе“. — М. Ч.), причем я даже наговорил ей публично комплиментов, но полагаться на нее не следует. Выходка Уэллса была строго продуманной, и, по-моему, она связана с вопросом о Пен-клубе».

Самое забавное в этом откровенном письме — упрек в адрес чистоплюев-англичан, которые — вот же противные, упрямые дураки! — не хотят состоять в одной организации с плохими писателями... Разумеется, «выходка» Уэллса была напрямую связана с вопросом о ПЕН-клубе; что же касается «демаркационной линии», то Эренбург скорее выдал желаемое за действительное. В мемуарах он написал об этом по-другому: «Уэллс... вылил на нас ушат холодной воды: трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями».



Больше Уэллс в мероприятиях, проводимых советскими писателями, участия не принимал. Его дружба с Майским пошла на убыль, встречи почти прекратились. В том же году он сложил полномочия президента ПЕНа. Английский секретариат организации желал видеть на посту президента Карела Чапека, одного из наиболее ярких антифашистов. Но Уэллс, неоднократно высказывавшийся в том духе, что «левизна» для писателей еще опаснее «правизны», счел Чапека чересчур «левым» и в обход секретариата связался с французским писателем Жюлем Роменом, который занимал более нейтральную позицию. Ромен был избран на конгрессе в Буэнос-Айресе осенью 1936 года. Это был непоследовательный человек, пытавшийся всем угодить, и ПЕН-клуб не смог при нем занять сколько-нибудь внятной позиции.

\* \* \*

Одетта Кюн не оставляла Уэллса в покое, и он наконец собрался ей ответить, начав в феврале 1937-го писать роман «Кстати о Долорес» (Apropos Of Dolores; вышел в 1938-м в издательстве «Кейп»). Чтобы не провоцировать новых публичных «разборок», он предварил текст уверением в том, что никого в своем романе не «фотографировал». Он дал герою биографию, отличавшуюся от собственной, поженил его с героиней, но ни один знакомый не был введен в заблуждение — и Одетта-Долорес, и Уэллс-Уилбек были именно что «сфотографированы». При этом книга получилась хороша — в те годы Уэллс как литератор переживал ренессанс. Это не роман-трактат и не роман-фельетон, а психоаналитический роман. Нет смысла пересказывать, какая скверная женщина Долорес; но не стоит думать, что Уилбек во всем хорош. В некоторых

отношениях он даже хуже ее. «С каким наслаждением мистер Уилбек ласково посмеивается над всеми встречными, и хихикает, и ластится к ним — можно подумать, что он их и правда любит. Он замечает, какими мелочами они заняты, какие приятные они людишки, он сплетает целые истории об их мелковатости, подмечает их человеческие слабости. Он не навязывает людям своей особы, нет, он только все время витает над ними, как милостивый бог».

Уилбек и его жена настолько разные, что его не оставляет мысль о том, что они принадлежат к различным видам *Homo sapiens*. Каким же? «Светловолосые и темноволосые», мужчина и женщина? Он обдумывает эти версии, отвергает их и формулирует новую: «Две основные разновидности, на которые делится род *Homo*: человек, смотрящий назад, и человек неудержимый. Один — привязанный к традициям и существующим законам, неподатливый, другой — устремленный в будущее, с открытой душой».

Уилбек принадлежит, разумеется, ко второму виду *Homo* — смотрящих в будущее, но и свой вид он считает промежуточным. «Мы, все мы, самые творческие, передовые и дальновидные среди нас, усматриваем только в грядущем эту новую послечеловеческую фазу жизни, следующий акт в драме непрерывных изменений. <...> Подобно амфибиям, мы являемся существами-посредниками, связующим звеном между старой и новой жизнью. Головы наши уже упираются в синеву прогресса, сердца вязнут в трясине ветхих традиций. Нам следует примириться с нашим несовершенством. Мы терзаемся, разрываемые тремя силами: нашим разумом, нашим эгоцентризмом и нашим сердцем. Наши умственные способности, снабженные новейшими, усовершенствованными орудиями, толкают нас перед лицом гибели к организованности и творчеству; наши извечные безрассудные инстинкты не

требуют творческого деяния и сотрудничества, они требуют власти, причем скорее власти ради разрушения, чем ради созидания, а наши бедные, робко взывающие к красоте сердца жаждут прелести, жаждут игры, жаждут покоя и веселья».

Как же жить этим промежуточным существам? Очень просто: «Делай то, что следует делать, то, что правильно в твоих собственных глазах, ибо нет другого путевого указателя. Иди вперед, иди к своему пределу. Иди без абсолютной веры и без абсолютного неверия. Не переступай границ ни в надежде, ни в отчаянии...»

А для отчаяния были причины: к 1937 году мир окончательно сошел с ума. Версальский договор был плох, но и от него почти ничего не осталось после того, как в марте 1936-го немецкие войска заняли Рейнскую демилитаризованную зону. Уже год полыхала гражданская война в Испании. В ноябре 1936-го Германия, Япония и Италия заключили пакт о совместной борьбе с коммунизмом. В августе в СССР состоялся первый из трех таких процессов, объединяемых понятием «Большой террор», в январе 1937-го — второй. По современным данным, в ходе Большого террора были осуждены около полутора миллиона человек, половина из которых расстреляны; об этих людях никто в Европе тогда не знал, видели только верхушку айсберга — Зиновьев, Каменев, Рыков, Пятаков, Бухарин, но этого было достаточно, чтобы европейское общественное мнение окончательно сложилось не в пользу советской власти.

Однако ПЕН-клуб помалкивал; его секретарь Герман Ульд, придерживавшийся просоветских взглядов, склонял литературную молодежь «влево». Летом 1937-го руководство ПЕНа решило торжественным обедом отметить в Лондоне столетний юбилей Пушкина; Уэллс с изумлением узнал, что в качестве почетного гостя приглашен Майский, а председательствовать будет

«левый» издатель Виктор Голланц. Уэллс в гневе написал Ульду: «Что это, я слышу, будто ПЕН поднимает у себя красный флаг? Почему некий левый издатель — издатель! — собирается председательствовать в моем ПЕН-клубе? И почему вы выбрали Майского оратором на этом вечере, когда в стране есть настоящие русские писатели? Что это значит? Русские отказались войти в ПЕН-клуб в 1934 году, и с тех пор ничего не изменилось. Я не буду присутствовать на вечере, но я считаю, что вправе требовать полный отчет обо всех речах, которые будут там произнесены. Я должен это все обдумать. Сейчас я склонен — принимая во внимание все сделанное мною, чтобы удержать ПЕН-клуб от групповщины, — уйти из клуба и сделать это как можно публичнее, порвать все связи и посоветоваться с вдовой Голсуорси насчет сумм, которыми располагает организация. Ни я, ни Голсуорси никогда не предполагали, что ПЕН будет служить рекламой для „левого книжного клуба“».

Ульд ответил заискивающим письмом, где говорилось, что идея обеда была подана ему баронессой Будберг, которая бралась подыскать подходящего русского, но не сумела, после чего было решено пригласить единственного «официального» русского в Лондоне — посла; что же касается Голланца, он был выбран потому, что «может быть, что-то знает о Пушкине», из чего, по-видимому, следовало, что больше в ПЕНе никто не знает о Пушкине ничего. Уэллс встречался с Адой Голсуорси — та уговорила его не прекращать членство в клубе. Но на обед в честь Пушкина он не пришел. Настоящие русские писатели — тоже. Обед съели и без них.

Две повести, которые Уэллс опубликовал в прошлом году, не принесли ему дохода, тем не менее в 1937-м он, отвлекшись от «Долорес», написал еще пару повестей: «Братья» (The Brothers; издана в 1938 году

«Чатто энд Уиндус») и «Визит в Кэмфорд» (The Camford Visitation; издана «Метьюэном»), В первой из них два брата, волею обстоятельств не знакомые друг с другом, сходятся на испанском фронте: один — правый фашист, другой левый марксист, и оба похожи как две капли воды в своей узости и нетерпимости. Они понимают, что оба служили «Всеобщей глупости» и должны перейти на сторону «Всеобщего братства», но, едва успев осознать это, гибнут. Действие второй происходит в университетском городке Кэмфорд (синтез Кембриджа и Оксфорда): в гостиной, где ведутся академические беседы, раздается голос пришельца из иного мира, который разъясняет собравшимся, что они, стоящие во главе науки и просвещения, в то же время являются препятствием на их пути, ибо их закоснелый подход к образованию противоречит прогрессу.

Несмотря на дидактическую направленность, обе повести были написаны хорошо, но продавались плохо, потому что объем был «ни то ни се»: издательства требовали длинных романов, журналы — коротких рассказов. Марджори писала в конце 1937-го Уотту: «Ему нравится писать эти небольшие истории, и он хочет писать их и дальше, когда будет такая возможность. Эти вещи он считает довольно неплохими и хотел бы, чтобы они были изданы. Но если „Братья“ не могут, как Вы говорите, быть изданы до весны 1938-го, мистер Уэллс прекратит писать подобные вещи, если только не будет писать их для удовольствия собственного и нескольких друзей». Издатели победили: больше Уэллс таких повестей не писал.

Хуже всего продавался «Визит в Кэмфорд», который был неинтересен широкой публике, но ученые эту вещь оценили. Не только Уэллс считал тогдашнее высшее и среднее образование отсталым: его взгляды полностью разделяла Британская ассоциация развития науки. По

инициативе Грегори в рамках ассоциации была образована комиссия, которая должна была заниматься обсуждением проблем исследований в образовательной сфере; 8 января 1938 года состоялось первое собрание, на котором Уэллса избрали председателем комиссии. Он подготовил большой доклад к конференции ассоциации, которая состоялась в Ноттингеме в сентябре. Говорил, что, несмотря на некоторые улучшения, детей и молодежь по-прежнему учат плохо. В университетах — мертвые языки, сто разновидностей литературоведения, но никакого обществоведения; в школах — еще хуже. Надо сформировать обязательный для всех учебных заведений минимум знаний, который должен получить учащийся, чтобы стать не просто выпускником, а гражданином: естественные науки, история, география, социология, политика и «навыки общественной деятельности». Уэллс представил подробную программу по этим предметам. Другие предметы — иностранные языки, музыка, физкультура и т. д. — тоже обязательны, но докладчик в этих материях некомпетентен и предлагает написать программы по ним тем, кто в этом разбирается. Руководители ассоциации приняли доклад позитивно, но массовая реакция преподавателей была очень прохладной. Учительский мир специфичен: в нем постоянно происходят реформы, но по сути он всегда остается консервативным. Чтобы было иначе, нужен пусячок — чтобы все самые умные, самые лучшие из нас шли в учителя...

\* \* \*

Осенью Эйч Джи вновь отправился в Америку. Поездка была тяжелой и нервной. На восьмом десятке он великолепно выглядел — незнакомые давали ему на

20 лет меньше — и был очень активен, но возраст сказывался. У него обнаружился неврит — болезнь чрезвычайно мучительная, ему вырвали все зубы, у него болели уши, зрение ослабло. Он страдал от болей, был капризен, несколько раз переносил сроки поездки, жестоко торговался с организаторами; как подобает звезде, он представил «райдер»: чтобы к нему были приставлены персональные врачи, чтение лекций проходило в определенные часы, а подушки были такого качества, к какому он привык. Американцы согласились на всё. В конце октября он прибыл и провел в США около месяца. Вновь встречался с Рузвельтом и написал о его реформах несколько статей в «Кольерс». Побывал с экскурсией у Ниагарского водопада. Чувствовал себя плохо и прочел лекцию пять раз вместо запланированных десяти.

Лекция называлась «Интеллектуальная организация современного мира»; в первый раз она была прочитана в нью-йоркском Таун-холле и транслировалась по радио. Потом на ее основе была сформирована и вышла в 1938 году в издательстве «Метьюэн» брошюра «Всемирный Разум» (The World Brain), в которую также вошли прошлогодняя речь о мировой энциклопедии и еще несколько статей. Потом он развивал эту идею в работах 1942 года — «Наука и Всемирный Разум» и «Обзор Homo sapiens», в новой редакции «Схемы истории» и многих других текстах<sup>[113]</sup>. Так что это — Всемирный Разум? Завлекательное название для большой-пребольшой энциклопедии? Нет, это нечто более грандиозное.

Всемирный Разум, как и Всемирная энциклопедия (Уэллс после 1937-го использовал оба термина в одном и том же смысле) — это «интеллектуальный аппарат мира», «постоянно действующее учреждение, могущественный суперуниверситет, который

объединяет и использует все учебные и научные учреждения и руководит ими», это «организация, которая по своему размеру и влиянию будет больше, чем все университеты мира, и она неизбежно станет связывающей системой всех мировых исследований и будет руководить образованием человечества»; это «единственно возможный метод обеспечения эффективного сотрудничества ученых всего мира и создания интеллектуальной власти, могущей управлять коллективной жизнью человечества». Такую штуку описал Айзек Азимов: ее зовут Мультивак, и она так сильна и разумна, что даже самым дурным людям не удастся использовать ее во зло.

Но для Уэллса и Мультивак был бы мелок. В «Науке жизни» он писал о том, как все живое на Земле проходит путь от «отдельной ячейки к многоклеточному организму» и как аналогично этому происходит процесс социального объединения людей, в результате которого *Homo sapiens* стремится эволюционировать из индивидуалиста в «коллективного человека, знание и память которого будут включать в себя всю науку и всю историю»; он писал также, что «среди разновидностей *Homo sapiens* возникают „синтетические суперразумы“, то есть религии, общины, государства, в которые сливаются индивидуальные сознания». Порок этих «суперразумов» он видел в том, что их много и они враждебны друг другу; единственный Всемирный Разум — вот во что мы должны слиться. «Наша деятельность — это создание своего рода головного мозга человечества, мозговой коры», которая, разившись, «станет памятью и восприятием для всей человеческой расы».

Нужно ли понимать это в буквальном смысле — через тысячу лет на планете живет единственное существо, вроде большого серого мешка, или все люди подключены по радио к одному мозгу? Таких



фантастических историй написана пропасть, но не Уэллсом. В его утопиях представители нового вида Ното качественно отличаются от нас по своим интеллектуальным и психическим свойствам, но у них у каждого две руки, две ноги, отдельная голова и мыслят они в общем русле не потому, что изменилась их физиология, а потому, что их надлежащим образом воспитывали. Всемирный Разум — метафора, обозначающая то же, что и Всемирное Государство. — некий управленческий орган, способствующий перевоспитанию людей в духе миролюбия, братства и единства. Откуда этот орган возьмется и как он будет нас перевоспитывать — это всегда был для Уэллса самый больной вопрос. И вот он, как ему казалось, нашел путь.

С него начать? Существующие университеты, казалось бы, могли стать основой для подобного органа; но Уэллсу они негодились — это консервативные учреждения. Он ругал русских за то, что они любят сносить и ломать, но сам считал, что лучше снести дом и построить новый, чем заниматься ремонтом. Надо создать новую организацию. Она должна иметь огромный — «тридцать тысяч одних курьеров» — штат сотрудников, которые будут собирать, сортировать, осмысливать информацию и выдавать готовый интеллектуальный продукт. В их распоряжении будут громадные здания со множеством хранилищ, рабочих комнат и залов для совещаний. Они будут распределены по всему миру — и Уэллс с обычным для него даром предвидения предложил понятие «сеть» (network). Сеть включит в себя «все музеи, художественные галереи, библиотеки, атласы и обзоры»; ее центром будет суперкаталог. Сеть может сама зарабатывать, продавая свою продукцию, организуя выставки, лекции и т. д., но она не должна превращаться в коммерческое предприятие.

Первое выступление Уэллса в Вашингтоне было встречено публикой с восторгом; через день он пригласил на обед представителей солидных фирм — Фрэнка Кеппела из корпорации «Карнеги», Р. С. Леффингвелла из банка Моргана, Джексона Рейнольдса из Первого национального банка, надеясь, что они захотят инвестировать средства в проект. Увы, дальше разговоров дело не пошло. Уэллс понял, что «с нуля» такой домике не построишь, надо что-то принять за основу; он выбрал французскую «Большую энциклопедию». Он предложил американскому издателю Нельсону Даблдею план: учредить акционерное общество, которое купит у французов неограниченные права на энциклопедию; французы могли бы тоже войти в долю. Сформировать редакционный комитет, который переведет ее на английский, исправит и дополнит. Издать, а на полученные средства основать акционерное общество, которое — тут он, как всегда, перескочил через самый сложный этап — «за два года превратится в постоянный международный образовательный орган, координирующий университеты, научные учреждения и школы англоязычного мира». Далее — распространение энциклопедии на иных языках, завоевание остального мира и создание Всемирного Государства.

Между Уэллсом и Даблдеем шла переписка с декабря 1937-го по март 1938 года. Никакого общества они не учредили. Французы за право на перевод запросили несусветную сумму, а о неограниченных правах отказались разговаривать. Терпения Эйч Джи не хватило даже на два года — уже в марте он написал Даблдею, что сдается, — «это слишком огромно, чтобы быть реализованным в такое время, как теперь». «Сотни тысяч» людей, которые будут заниматься ерундой — сбором информации и объединением университетов, — кто на это согласится, когда можно использовать этих

людей по-настоящему, поставить их под ружье, сделать из них много-много пушечного фарша?!

Уэллс предпринял еще одну попытку найти единомышленников — в рамках Международного института документации, на конгрессе которого в Париже он впервые выступил в августе 1937-го, и других организаций. Они нашлись — Уотсон Дэвис из Вашингтонского научного общества, Кеннет Мис из компании «Кодак», А. Ф. Поллард из Империял-колледжа и С. Брэдфорд из лондонского Музея науки, но только до определенной степени. Эти специалисты поддерживали его в том, что касалось внедрения технологии микрофотографирования и создания единых информационных каталогов (Брэдфорд работал над таким каталогом на основе библиотеки Музея науки), но к созданию Всемирного Разума, управляющего человечеством, относились скептически. В 1938-м в Лондоне проходила конференция Международного института документации; на ней Уэллс также выступал, рассматривался даже вопрос о создании секции в рамках института, которую он мог бы возглавить, но дело заглохло. У людей было слишком много практических дел — копировать документы (благодаря чему во время войны удалось сохранить бесценное содержание многих европейских библиотек), составлять каталоги, то есть делать то, к чему и призывал Уэллс, но что казалось ему мелким и скучным, раз не удалось быстренько создать громадную организацию. *Всё — или ничего.*

После того как в марте 1938 года в СССР начался третий «московский процесс», а Германия в том же месяце присоединила к себе Австрию на том основании, что у них «один язык и одна культура» (так называемый аншлюс), Уэллс почувствовал, что опоздал со своей энциклопедией. В первых числах апреля он сел писать одну из самых странных и любопытных книг, которая у

нас абсолютно неизвестна, — «Ужасный ребенок» (The Holy Terror)<sup>[114]</sup>. Жил-был мальчик Руд Уинслоу; семья у него была нормальная, мать нежная и любящая, но сам он рос «ужасным ребенком». Его детство подозрительно похоже на детство Берти Уэллса: испытывал приступы бешеной злобы, запустил вилкой в голову брату, мучился сексуальными страхами, много читал, обожал все военное, в 11-13 лет воображал себя диктатором, завоевывающим весь мир. Маленький Руд лишь чуть более жесток, чем маленький Берти — хотя, возможно, мы просто не знаем о Берти некоторых вещей. Повзрослев, Руд заинтересовался политикой и неожиданно обнаружил у себя ораторский дар и умение покорять толпу, но, не имея твердых убеждений, не знал, как эти способности использовать: метался от коммунистов к фашистам и обратно. Потом он понял, что должен идти своим путем, и организовал партию, целью которой было прекращение войн и установление Всемирного Государства.

Пробираясь к власти, он был человеком-невидимкой: не фотографировался, никому не показывался, скрывал сведения о себе и распространял легенды, чтобы ничто не могло его скомпрометировать. Когда разразилась Вторая мировая война (в начале 1940-х), он с помощью авиаторов совершил мировую революцию; став правителем мира, быстро превратился в тирана-параноика, наводнившего планету тайной полицией, подавляющего инакомыслие и расправляющегося со своими недавними соратниками. Он установил культ своей личности и уже собирался объявить себя богом, но один из недобитых соратников его отравил, после чего его тело забальзамировали и уложили в мавзолей, а на Земле установили нормальную хорошую жизнь. Уэллс жестоко разоблачил сам себя, поняв, что его мечтания о Всемирном Государстве приводят к тирании

— так можно трактовать «Ужасного ребенка», если читать его невнимательно или с предубеждением, как это сделали Маккензи, именно так толкуя смысл романа. А теперь давайте все-таки прочтем текст как следует.

Руд Уинслоу — не Эйч Джи Уэллс. По Уэллсу, ключ ко всему — образование; тут и заложены различия. Когда Руд учился в школе, то исповедовал некритичный взгляд на вещи, естественные науки его отвращали и пугали, он обожал классическую историю — историю королей и битв. Соученики его не любили и называли Вонючкой — лишь один мальчик, Карстолл, за него заступался (именно Карстолл потом отравит диктатора). Потом Руд поступил в привилегированный университет, где господствовал консерватизм; его страсть к политике наложилась на некритичное восприятие мира. Его партия называется Партией Простых Людей. «Люди моего вида, вульгарные, уродливые, забитые, обманутые, обиженные, жаждущие свободы Простые Люди, Толпа, Великие Грязнули», грубо говоря, «быдло», которое Уэллс ненавидел всеми фибрами души. А Простым Людям «нужен Хозяин, нужен кто-то, кому они могли бы сказать „да, сэр!“» — и Руд стал Хозяином.

Всемирное Государство, которое он установил на Земле, не имеет ничего общего со Всемирным Государством Уэллса: его полное название — Мир Здравого Смысла, Нормальный Мировой Порядок, Всемирное Государство Простых Людей. Руд учел ошибки советских вождей, которые делали ставку на «своих», то бишь коммунистов, что не позволяло им распространить свое учение за пределами России, и фашистских диктаторов, деливших людей по расовым признакам, и объявил «своими» абсолютно всех, кто считает себя обделенным и жаждет реванша. То же самое построил в Bend Sinister Набокова

(опубликованном в 1947 году) диктатор Падук, глава партии Среднего Человека, тоже, кстати, презируемый соучениками, мерзкий мальчишка, с той лишь разницей, что звали его в детстве не Вонючка, а Жаба. Это то, что называют охлократией (а иногда — эквилизмом) — Власть Тьмы, мир, где дурак объявляется равным умному, где поощряются самые грубые животные инстинкты, мир, презирующий культуру и ненавидящий любого, кто хоть чем-то выделяется из толпы.

Когда Вторая мировая завершилась (Уэллс и тут угадал — в середине 1940-х), несколько европейских государств сделали попытку создать прообраз настоящего Всемирного Государства — конфедерацию демократических стран; такое развитие событий Руда не устраивало, и с помощью летчиков (которых, к разочарованию Уэллса, оказалось возможно использовать в дурных целях) он подавил это движение, лидером которого был его прежний соратник (тут изыскатели усматривают намек на Троцкого). Руд казнил соперника и стал править миром. Не все из того, что он сделал, было плохо. Он реформировал экономику, «уничтожил власть денег», дал Простым Людям работу. Он не считал себя тираном; он был «всего лишь Простым Человеком, наконец-то восторжествовавшим и возведенным на престол». Он перестал быть невидимкой, теперь его портреты были всюду, его именем называли города. Он высказывался по любому поводу, учил строителя строить, врача — лечить; чтобы он слыл вездесущим, ему подобрали множество двойников.

Сперва он не замышлял репрессий; но чем больше была его власть, тем сильнее он боялся, и страх заставил его последовательно уничтожать всех, кто, как ему казалось, мог представлять опасность. По всему миру без следа исчезают люди, «подозрительных» казнят без суда; когда один из соратников тирана

умирает, распространяется версия, что его отравили, и организуется «дело врачей». Страх — основа всех действий Руда: он ненавидит и боится женщин, он никогда не любил никого, кроме себя. Страх растет: раньше тиран был равнодушен к евреям — теперь начинает бояться «еврейского заговора», и начинаются расправы (здесь Уэллс подчеркивает, что гонения на евреев осуществлялись Рудом по другим основаниям, нежели Гитлером: расизм был Руду чужд, он просто боялся); он был равнодушен к церкви, но теперь видит в ней угрозу и уничтожает священников.

Он задумывает Окончательную Чистку — расправу над всеми евреями и христианами одновременно. Но он измучен, работает ночами, принимает наркотики; он ложится в клинику, которой руководит его бывший друг Карстолл, а тот, обнаружив у больного документы по подготовке Окончательной Чистки, понимает, что дальше терпеть нельзя, убивает Руда и объявляет, что Хозяин умер естественной смертью. Приближенные Руда предпочитают поверить в эту версию, ибо они, как и все, смертельно устали от тирана. «Странный тип — эти диктаторы XX века. Они расплодились подобно осам в засушливое лето. Условия благоприятствовали им. Их власть развивалась крещендо, потому что мир прогнил. Ему требовались осы и мясные мухи. Религии, законы — все было мертво и смердело. Тираны были хозяевами зловония в мире трусливых скунсов». Мир прогнил, мясные мухи сделали полезное дело — подъели остатки, так что пусть мирно покоятся в мавзолеях.

Но самое странное в романе Уэллса начинается после смерти Руда. Несколько ученых, которых не успели казнить, приходят к выводу, что объективно Руд им очень помог: уничтожив государственные границы и почву для межнациональных конфликтов, обеспечив народ работой, он создал прекрасную базу для установления нового строя — Всемирного Государства

Непростых Людей. (Кое-кто даже высказывает подозрение, что гениальный Карстолл все это предвидел заранее.) Уэллс по своему обыкновению не разъясняет, как конкретно Непростые Люди взяли власть: то ли боялся об этом думать, то ли ленился. Ну, как-то так, валялась, подобрали и всё. То обстоятельство, что многие из них прежде работали на тирана, ничего не значит. Какую экономическую систему они установили, как вели себя по отношению к оппозиции, если таковая имелась, что, наконец, стало с ужасной тайной полицией — об этом ни слова. Напрашивается мысль, что они тоже сделались диктаторами, только добрыми — пчелки вместо мясных мух, но, по-видимому, это не так, ибо они говорили о предсказанном Лениным отмирании государства, и оно отмерло. Как? Да как обычно — взяло да и рассосалось. Важно лишь то, что на место невежества они поставили науку и начали работать над созданием нового человечества: «Мы, учителя и биологи, намереваемся теперь выращивать и обучать божественную расу — общественных деятелей, педагогов, мыслителей и поэтов». Звучит совершенно жутко — мыслители и поэты, которых «выращивают», новая господствующая раса, но для Уэллса это естественное развитие его мысли о двух качественно различающихся видах Ното, высказанной в «Кстати о Долорес». Увы, интересы Простых и Непростых не примирятся никогда; единственное, что могут сделать Непростые, — воспитывать детей, чтобы те никогда не были Простыми. Почему Руд-ребенок так похож на маленького Уэллса? Эйч Джи просто не знал, с кого списать детство героя, и списал с себя? Нет; он, как всегда, бил в одну точку, подчеркивая, что может стать с человеком (и могло бы стать с ним), если он с детства не получит хорошего образования.



Правда, Уэллса, как всегда, можно истолковать по-разному. Можно так: если человек хорошо образован, он не станет тираном. А можно так: если тиран хорошо образован, он будет хорошим тираном. Или так: не тиран страшен, он всего лишь муха, порой даже полезная; страшна темнота толпы, нуждающейся в нем.

## **Глава вторая БИТВА ЗА АНГЛИЮ**

Убийца Руда Уинслоу говорит, что ему даже жаль диктатора: он был всего лишь «Вонючкой, всеми презируемым, терзаемым страхами и комплексами». Диктаторы отнеслись к книге Уэллса по-разному. В СССР отношение к нему официально не изменилось. Косвенным свидетельством того, что на него обиделись, может служить тот факт, что между концом 1930-х и серединой 1950-х его у нас практически не издавали (разве что отдельные рассказы из ранних). Но нет никаких сведений о том, что высшее руководство было ознакомлено с содержанием «Ужасного ребенка», хотя пройти незамеченным роман не мог — за каждым шагом Эйч Джи, включая то, с кем он спит, пристально следили на самом высшем уровне. («Теперь эта ловкая баба (Будберг. — М.Ч.) устроилась в качестве утешительницы при Герберте Уэльсе с явной целью обделывать свои темные дела за спиной этого писателя», — сообщал летом 1938-го директор Гослитиздата С. Лозовский в письме Сталину.) Почему Уэллсу все прощалось? Наверное, потому, что он, ругая советскую власть на все корки, тем не менее всегда, при любых обстоятельствах, призывал Англию и США дружить и объединяться с Россией. Зачем публично ссориться с таким человеком, когда можно просто сделать вид, что ничего «такого» он не писал, а если писал, то не про нас?

Другому диктатору сравнение с мясной мухой определенно не понравилось: после того как в Германии прочли «Ужасного ребенка», имя Уэллса было внесено в «Специальный поисковый список по Великобритании», составленный в 1939 году аппаратом Шелленберга и после войны обнаруженный среди документов аппарата Гиммлера. Людей из списка — количеством около 2300 человек — гестапо должно было арестовать немедленно после вторжения в Англию в рамках операции «Морской лев». Но в 1938-м это вторжение еще не планировалось — свои первые ходы Германия делала на суше. После присоединения Австрии настал черед Чехословакии. Томаш Масарик ушел в отставку в 1935 году в возрасте восьмидесяти пяти лет и вскоре умер; его сменил Эдвард Бенеш, бывший при нем министром иностранных дел и разделявший его взгляды, только чуть более «левый» и более тяготевший к дружбе с СССР. Долго быть президентом ему не довелось. В Судетской области Чехословакии проживали 3,5 миллиона этнических немцев: под предлогом их защиты Гитлер потребовал отдать Судеты Германии. Англия и Франция посоветовали чехам не противиться и 30 сентября подписали с Гитлером Мюнхенское соглашение, окончательно похоронившее Версальский мир. Страну с плодородными землями и развитой экономикой мгновенно растащили по кусочкам: Словакия объявила о независимости, Польша забрала себе Тешинскую область, а в марте 1939-го Германия оккупировала остатки. Бенеш ушел в отставку в октябре 1938-го; Гилберт Меррей и Уэллс выступили инициаторами его приглашения на жительство в Англию, опубликовав соответствующее письмо в «Таймс» и собрав кучу подписей, — впрочем, британское правительство и без того намеревалось дать Бенешу приют. Он прибыл в Лондон и вскоре организовал чехословацкое

правительство в изгнании. Уэллс познакомился с ним еще в Праге; теперь они виделись регулярно, Уэллс выдвигал кандидатуру Бенеша на Нобелевскую премию мира.

От Великобритании соглашение подписал Невилл Чемберлен, сын Джозефа Чемберлена и брат Остина Чемберлена (министра иностранных дел в правительстве Болдуина), в 1937-м сменивший на посту премьера лейбориста Макдональда; вернувшись в Лондон, он объявил, что «принес мир нашему поколению». Уэллс называл династию Чемберленов «дьявольской», а самого премьера — болваном. Он был за мир, но не за всякий. Мюнхенское соглашение его возмутило, но не удивило: люди вели себя точь-в-точь как в «Игроке в крокет» — пусть где-то кто-то кого-то убивает, а мы отсидимся, авось не тронут. Он написал в «Нью кроникл» статью, где предсказывал, как будут развиваться события в 1939 году: Чемберлен в конце года отправится в отставку (ошибся на несколько месяцев), Британскому Содружеству придется размежеваться, ибо в Южной Африке сильно немецкое влияние (этого не случилось), на Ближнем Востоке не утихнет напряженность. Будет ли европейская война? Ее можно избежать, если народы Великобритании, США и стран Содружества заберут власть у своих трусливых и лицемерных парламентов, которые из страха перед мировой революцией и СССР цепляются за дружбу с Гитлером и верят, что он их не тронет. (Как конкретно забрать власть у парламентов, не объяснялось.) Единственным серьезным политиком, который уже с середины 1930-х не верил, что Гитлер «не тронет», был Черчилль, но Уэллс считал его реакционером и злодеем. В Англии не было никого, с кем он мог бы связать свои надежды. Он говорил, что у него «лопается терпение», что ему нужна новая аудитория; в первых числах декабря он отправился в лекционное турне по

Австралии, которое организовала Австралийская и новозеландская ассоциация развития науки.

Он плыл пароходом через Бомбей и Коломбо, где журналисты набросились на него с вопросами о Ганди, он сказал, что восхищается этим человеком, но не считает отказ от насилия панацеей и ему не нравится национализм индийцев. Прибыв в Аделаиду, он дал еще несколько интервью, потом его повезли в Сидней. Репортеры ходили за ним толпами, его выступления собирали невиданные количества народу, билеты было невозможно достать. Первая лекция, прочитанная им в Сиднее и Канберре, называлась «Роль Англии в развитии Всемирного Разума» и повторяла тезисы, высказанные им год назад в США; слушатели были в восторге, со всем соглашались, но не имели намерения что-либо предпринять в связи с услышанным — им просто было любопытно. Вторая лекция, которую он читал в Лондоне на Международной конференции преподавателей истории и с которой теперь выступил на заседании департамента просвещения пригласившей его ассоциации, — «Яд, именуемый историей», — вызвала полемику. «Я намереваюсь сделать весьма непристойный доклад, — так она начиналась. — Название его звучит агрессивно, и задуман он был в агрессивных целях».

«Агрессивная цель» — сломать существующий подход к преподаванию истории. «История любой страны раздражает иностранцев. Чем больше люди изучают историю друг друга и переводят исторические труды, тем, очевидно, больше возрастает их взаимная ненависть. Оскорбительное преувеличение местоимений „мы“ и „наше“ за счет других народов пронизывает почти любое сочинение о прошлом. <...> Культурному учителю не пристало говорить „наша“ национальность, „наш“ народ, „наша“ раса. Вся эта банальная чепуха глупа и лжива. <...> Давайте устроим

всесоожение учебников старой истории в качестве нашего вклада в создание Космополиса — естественного, а сейчас просто необходимого Всемирного Братства людей. (Можно себе представить, в какой ужас пришли педагоги от таких слов.) Идеи о национальных различиях не возникли естественным путем. Национализм взращен искусственно, преподаванием истории, и эти взгляды прививают родители, друзья, преклонение перед национальным флагом и всякие торжества, вся система школьного обучения. И этот школярский, заученный национализм сейчас угрожает цивилизации».

Преподавать детям, говорил Уэллс, нужно не историю отдельных стран, а историю развития науки, техники, письменности, культуры, искусства во всем мире. Он подчеркнул, что говорит именно о школьном обучении — наука свободна и взрослый волен посвятить свою жизнь изучению какого-ни-будь румынского военачальника или латинского деепричастия. «Если мы хотим, чтобы мир был единым, то и думать о нем мы должны как о чем-то едином. Мы не должны исходить из понятий нации, государства, империи». Реакция педагогов была весьма кислой; председатель конференции Андерсон назвал идеи Уэллса «мусором». Но Эйч Джи был доволен: активное несогласие и ругань были для него привлекательнее, чем равнодушное одобрение. Он приехал не ради рукоплесканий, а чтобы сказать всем, что он о них думает.

Для начала он обидел Германию. В «Кроникл» он писал, что «склонность Гитлера к сентиментальному садизму в свете его расистских галлюцинаций и обращения с евреями дает мне право считать его законченным сумасшедшим», а немцев охарактеризовал как «добродушных, дисциплинированных, глуповатых, очень сентиментальных и при этом довольно бесчувственных» людей, которые больше всего любят

«горланить хором, салютовать и маршировать»; он слово в слово повторил это в интервью журналистам города Перта. Немцы оскорбились. В немецкой газете «Ангрифф» написали, что заявления Уэллса «преступны». Австралия, как когда-то США, придерживалась изоляционизма: пусть у них в Европе что-то происходит, а мы дружим со всеми. Асвин, немецкий генеральный консул в Австралии, высказал претензии австралийскому премьер-министру Лайонсу, и тот в беседе с прессой заявил, что английский гость «переходит все границы приличий», и посоветовал ему «не углублять взаимное непонимание между народами». Уэллс на это не отреагировал, но через пару дней, когда он выступал на заседании австралийского ПЕН-клуба, его попросили высказаться. Он сказал репортерам, что высказал свое мнение о Гитлере и не препятствует Лайонсу высказывать свое — это принцип свободы слова. В газетах развязалась бурная дискуссия. Свою критику в адрес Лайонса Уэллс потом оформил в виде статьи в «Нью кроникл»: «Мистер Лайонс защищает от моих „нападков“ Гитлера — главу великой дружественной державы», где обрушился не столько на Гитлера и даже Лайонса, сколько на Невилла Чемберлена и его родственников — такие люди «воплощают в себе лицемерное, инстинктивное, по существу, защитное нежелание признавать огромные изменения, происходящие сейчас в жизни человечества».

Австралийцев Уэллс тоже обидел, сказав в одном из интервью, что они напрасно воображают себя отдельной нацией: на самом деле австралийцы — те же англичане. Вновь обидел евреев — в статье «Будущее евреев», опубликованной в «Дейли кроникл» 3 января 1939 года, повторно высказал мысль, что германский нацизм есть перевернутый сионизм, подверг критике поведение евреев по отношению к палестинцам,

«которых они не считают за людей», а также назвал еврейские религиозные традиции «странными причудами». В следующем номере «Кроникл» ему резко ответила Элеонора Рузвельт, жена президента, заявившая, что в такой исторический момент высказывания Уэллса о евреях «недопустимы» и «позорны». (Эйч Джи любил Рузвельтов и не хотел с ними ссориться: он просто отказался верить, что Элеонора читала его статью.) Все, что писал Уэллс в Австралии, немедленно отсылалось в «Нью кроникл»; его статьи, одна другой резче, публиковали без купюр до тех пор, пока он не написал критический текст о британской королевской семье, которую «давно пора отправить на свалку» — тут свобода слова закончилась.

У нашего читателя, знакомого с последними годами жизни Уэллса в основном по книге Берберовой и ее пересказу у Кагарлицкого, может сложиться впечатление, что Эйч Джи в этот период был брюзгливым, малоподвижным, скучным стариком, которого никто не слушал. Не похоже, что это было так. В 73 года, насквозь больной (в результате поездки к его болезням добавились опоясывающий лишай и спастический колит), он совершил почти кругосветное путешествие и за два месяца объехал с лекциями восемь австралийских городов. Кроме того, он трижды выступил по радио с разными текстами, побывал на заседаниях ПЕН-клуба, австралийского отделения Фонда изучения диабета, посещал школы, спортивные соревнования, театральные спектакли, не говоря уже об официальных обедах. В Австралии стояла жара, леса горели, пожарные выбивались из сил; Уэллс выступил и перед пожарными, а в газетном интервью хвалил их за доблесть. В детстве он мечтал увидеть коал и кенгуру — по его просьбе его свозили на фермы, где содержались эти «милые и странные» звери. Каждый день он давал интервью и раз в неделю писал статью

для «Кроникл». Каждое его слово тиражировалось, обсуждалось. Неверно, что его «не слушали». Просто тех, кто его *слышал*, было очень мало.

Обратно он летел самолетом через Рангун, Бали, Багдад, Стамбул и Афины. Там его ожидала Мария Игнатьевна — теперь, когда ей было под 50, звать ее Мурой не в наших традициях, хотя англичане называли ее так всегда (Мартин Уэллс вспоминал: «Когда я был маленький, к нам на уик-энд пришли Эйч Джи и Moura. У обоих были бакенбарды!»), — и они несколько дней путешествовали по Греции. В Лондон вернулся в начале февраля и сразу собрал свои последние статьи в сборник «Путешествие республиканца-радикала в поисках горячей воды» (Travels of a Republican Radical in Search of Hot Water). Кроме упомянутых статей о перспективах 1939 года, преподавании истории, Гитлере, Лайонсе и евреях в сборнике был очень принципиальный для Уэллса текст «Демократия в заплатах», где он назвал демократические страны «похожими на выстроившихся полукругом коров, которые в страхе уставились на волка и не способны на коллективные действия». «Если демократия стоит того, чтобы ее защищать, она должна превратиться в решительное интеллектуальное и политическое движение, поток которого вынесет нас к мировому порядку и законности. Пока же все наши либерализмы, левачества, демократические идеи и тому подобное похожи на водовороты и течения в закрытом бассейне, которые не вынесут нас никуда». «Путешествие» выйдет в издательстве «Пингвин» лишь в ноябре, когда «коровам» уже некуда будет деваться — «волк» станет пожирать их одну за другой.

Весной в Испании завершилась гражданская война — победой франкистов. В статье «Испанская загадка» Уэллс писал: «Авантюра Франко опустошила эту солнечную страну, и сегодня там царит тоталитарный



террор, который ждет скорого отмщения. Почему наши так называемые демократические страны покинули в беде законное правительство?» От своих он и не ждал ничего хорошего — тори у власти, но как же США, ведь там такой правильный президент? В конце концов он объяснил поведение Рузвельта тем, что он был вынужден пойти на поводу у избирателей. «Я понимаю глубокую разницу между положением президента и своим. <...> Я могу безразлично относиться к тому, что не оказываю ровно никакого влияния на текущие события. Мне все равно, если на какое-то время я окажусь в меньшинстве, один против всего человечества, потому что в конце концов, если я нашел истину, она победит всегда, а если мне не удалось ее найти, я сделал все, что в моих силах. Но государственный деятель должен всегда держаться большинства». Многие современные историки считают, что республиканское правительство Испании было ничуть не лучше франкистского — политический спектр кругл, и «крайне левое» неотлично от «крайне правого». Уэллс «левых» и «красных» не любил, но не применительно к Испании. Он считал, что Англия и США ее «подло предали», и это вкупе с разделом Чехословакии положило начало европейским бедам.

Еще в Австралии Уэллс начал писать трактат «Судьба Homo sapiens» (The Fate of Homo Sapiens: An unemotional statement of the things that are happening to him now, and of the immediate possibilities confronting him). Он вышел в издательстве «Секер энд Варбург» (Эйч Джи и в старости не изменил своему правилу метаться от одного издателя к другому) в 1939-м; в конце года там же было издано его продолжение — «Новое устройство мира» (The New World Order), а в 1942-м по совету Ричарда Грегори Уэллс соединил две части в книгу «Обзор Homo sapiens». Он ставил вопрос

ребром: способен ли человек выжить как биологический вид?

«Нет никаких причин воображать, будто природа проявит к человеку больше снисходительности, чем она проявила ее по отношению к ихтиозавру или птеродактилю». Уэллс обращался к Дарвину: выживают лишь те виды, которые приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Поначалу мы приспосабливались очень хорошо — «даже чересчур хорошо с точки зрения биолога», вследствие чего нас стало очень много и появилось такое явление, как массовая безработица, причем современные безработные, в отличие от древних, грамотны и активны. Временами эту проблему удавалось решить — безработные уезжали осваивать новые территории. Теперь им некуда деваться, и, чтобы реализовать свое недовольство, они становятся под знамена фашистов, коммунистов, националистов и прочих «истов»; так затеваются войны. «Лишние» люди ликвидируются, для восстановления нужны рабочие руки, и на некоторое время мир успокаивается, но вскоре все начинается снова. А между тем существует способ избежать войн — нужно всего лишь находить «лишним» людям применение во всемирном масштабе, заняв их реконструкцией городов и другими мирными делами. Но мы об этом думать не хотим. Мы необратимо изменили среду нашего обитания, но сами не желаем меняться. У нас бомбы, химическое оружие, нам достаточно пальцем шевельнуть, чтобы уничтожить всю планету, а мы продолжаем талдычить про «национальную гордость» и «извечные традиции» и играть в те же игры, что дикари с дубинками. После этой преамбулы Уэллс сделал обзор основных политических сил и идейных движений, существующих в мире на рубеже 1930—1940-х годов, и дал ряд предсказаний: Великобритания уступит лидирующую

роль Штатам, Китай переймет все худшее от СССР и нацистской Германии, последняя же либо уничтожит весь мир, либо сама будет уничтожена, либо, что маловероятно, перестанет быть нацистской и утихомирится.

Отдельная глава «Судьбы Homo sapiens» посвящена перспективам Homo в СССР; перспективы туманные, но скорее оптимистичные. Да, сейчас все скверно, сталинский строй — не социализм, а автократия. Но русские по натуре «храбры и безответственны», любят бунтовать, они ругали царя, так что нет оснований думать, что они не посмеют ругать Сталина; они будут критиковать его и коммунистов, и те исчезнут. Основание для такого оптимизма Эйч Джи видел в... творчестве Зощенко. «Я не могу представить, что нацистский режим допустил бы хоть на мгновение те популярные рассказы Майкла Зощенко, в которых недостатки советского режима подвергаются веселой насмешке. Смех может разрушить тюрьму; это средство освобождения». Смехом разрушают тюрьмы Набоков в «Приглашении на казнь» и Умберто Эко в «Имени Розы»; в действительности от смеха пока не пала ни одна тюрьма, но кто знает, не случится ли этого когда-нибудь? Что же касается Зощенко, то Уэллс зрил в корень: пройдут годы, и советская власть осознает, что Михаил Михайлович представляет для нее угрозу...

Что ждет Homo sapiens в целом? Если мы не желаем приспособляться к новым условиям, будет так: очередная ужасная война, а после нее, чьей бы победой она ни завершилась, — усиление диктаторских режимов по всему миру. Почему? Да потому, что диктатуры лучше приспособляются. Они насаждают коллективизм, вещь хорошую, но используемую ими в дурных целях, и становятся сильными, в то время как цивилизации, основанные на демократии и индивидуализме, слабеют. «Демократическая свобода

намного более уязвима, чем рабство; ее труднее достичь и труднее поддерживать». Если мы все же хотим приспособливаться, тогда «единственный эффективный ответ тоталитарному коллективизму со стороны свободных стран — научный социализм», ибо он уничтожит безработицу, корень всех зол. Русские сделали свою революцию плохо; мы, свободные народы, можем сделать ее хорошо, то есть — «на основе Социализма, Образования и Закона». И тут Уэллс переходит к своей новой идее: чтобы коллективистские государства не были тоталитаристскими, чтобы демократические страны были по-настоящему демократическими, нужно одно: принятие и соблюдение Всеобщей декларации прав человека.

Документ под таким названием был принят девятью годами позднее, чем написана работа Уэллса, 10 декабря 1948 года на Генеральной Ассамблее ООН<sup>[115]</sup>; нельзя сказать точно, кто его «придумал». Его источниками были и древнеримское законодательство, и английская Великая хартия вольностей 1215 года, и американская Декларация независимости 1776-го, и Конституция США 1787-го, и французская Декларация прав человека и гражданина, и документы Международного комитета Красного Креста, и «14 пунктов» Вильсона, и действовавшие конституции различных государств, включая СССР, и послание Рузвельта конгрессу США от 6 января 1941 года, и принятая в том же году по инициативе Рузвельта и Черчилля Атлантическая хартия. Бывший президент Панамы Алехандро Альварес, один из учредителей Американского института международного права, еще в 1917 году разработал проект Декларации международного права, который включал раздел по правам личности. Русский юрист А. Н. Мандельштам (эмигрировавший во Францию после революции)

работал в Институте международного права и был инициатором учреждения в 1921 году Комиссии по изучению средств защиты меньшинств и прав человека; в 1929-м комиссия приняла Декларацию прав человека. В начале 1940-х эта идея витала в воздухе, повсюду творилось такое попрание человеческих прав, что смотреть на это было невозможно. Непосредственная инициатива в постановке вопроса о разработке декларации исходила от американских учреждений — Института права, Комиссии по обеспечению мира, Группы планирования. Текст декларации готовила международная рабочая группа, она начала заниматься им в январе 1947-го, когда Уэллса уже не было на свете. В числе разработчиков декларации он не значится, но он успел сделать для ее принятия немало.

Положения будущей декларации, которые он изложил в «Новом устройстве мира» и затем повторил в ряде статей, в основном совпадают с текстом Всеобщей декларации прав человека, действующей поныне, но порядок их другой. Наша Всеобщая декларация открывается параграфом «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства»; затем следуют параграфы о правах и свободах, жизни и личной неприкосновенности. В тексте Уэллса первым пунктом декларировалось право человека на «питание, одежду, медицинское обслуживание». Это подход социалиста. При принятии Всеобщей декларации разногласия между советской делегацией и другими возникло именно из-за этого — «наши» предлагали начать с материальных прав, а «они» считали, что это к делу не относится. (Поправки, предложенные СССР, в конце концов были приняты.) Дальше у Уэллса идут права на образование и свободный доступ к информации, на труд и зарплату, на

неприкосновенность человека и его собственности и защиту от насилия, на свободное перемещение по миру; человек, если он не опасен для других и умственно полноценен, не может быть заключен в тюрьму более чем на установленный срок, который должен завершиться судом; он должен иметь право на защиту от клеветы; его нельзя подвергать пыткам и физическим мукам, включая насильственное кормление и насильственное лечение. Эйч Джи оговаривал, что это лишь наметки; в следующих работах он вносил в тезисы много дополнений и сопровождал их развернутыми комментариями.

Зимой 1939/40 года он организовал Комитет по разработке декларации, в который вошли журналист Ричи Колдер, сотрудник газеты «Дейли геральд», издатель этой же газеты Фрэнсис Уильямс, экономист Барбара Вуттон, знакомый нам по Обществу борьбы со зловонием Хордер, лорд-канцлер лейбористского правительства Джон Сэнки и другие. Сперва Уэллс был председателем комитета, но уступил свой пост Сэнки. В 1940 году комитет разработал документ, известный как «Декларация Сэнки»; текст с комментариями Уэллса был опубликован издательством «Пингвин» под названием «Права человека» (The Rights of Man, or What are We Fighting for?); его издали тиражом 30 тысяч экземпляров, перевели на десять языков, он был распространен по всему миру и широко обсуждался. Уэллс получил заинтересованные отклики от Ганди, Неру, Рузвельта, Яна Масарика. Он не был первым, кому пришло в голову, что Декларация прав человека нужна, но он первый смог привлечь к этой идее внимание общественности.

23 августа 1939 года в Москве был подписан Пакт о ненападении между СССР и Германией. У «нас» преобладает точка зрения, согласно которой СССР вынудило к этому исключительно поведение

Великобритании и Франции, отказывавшихся заключать союзы с советской властью, «они» же убеждены, что от союзов отказался именно СССР, не пожелавший помогать Польше; здесь вряд ли уместно дискутировать на эту тему, но, вероятно, ненависть Чемберлена к большевикам свою роль сыграла и, будь у власти Черчилль, ситуация могла бы развиваться иначе. В секретном протоколе, прилагавшемся к пакту Молотова — Риббентропа, предусматривался раздел территорий в Восточной Европе, включая прибалтийские государства и Польшу. Польша, заключившая союзные договоры с Великобританией и Францией, которые обязывались помочь ей в случае агрессии, отказалась идти на территориальные уступки. 1 сентября вооруженные силы Германии вошли в Польшу; 17-го другую ее часть займут советские войска. Уэллс не захотел публично высказать свое мнение о произошедшем: в августе он сказал в интервью, что поддерживает пакт Молотова — Риббентропа, ибо он «может быть полезен для России в случае войны», но запретил публиковать это высказывание. Можно предположить, что он был в замешательстве, как человек, который не может поверить, что любимая ему изменила. В романе, который он скоро начнет писать, это замешательство будет выражено устами героя. «Я не понимаю этих военных дел, — сказал Джемини. — Этот договор между Германией и Россией заставил нервничать шведов и наш договор с Польшей тоже. То, что Россия перешла на другую сторону фронта, очень странно».

3 сентября Великобритания, Франция, Австралия и Новая Зеландия объявили Германии войну; к ним присоединились Канада, Ньюфаундленд, Южно-Африканский Союз и Непал. Объявление войны застигло Уэллса с Будберг в Стокгольме, где должна была открыться конференция ПЕН-клуба. Уэллс подготовил доклад о свободе печати, но конференцию отменили

(доклад он включил в «Путешествия радикала-республиканца»). С затруднениями удалось выехать в Амстердам, откуда с последним пароходом попали в Англию. Эйч Джи опять был в замешательстве. Предсказывая войны задолго до их начала, он всякий раз удивлялся и некоторое время не мог определиться со своей позицией, когда они становились реальностью. Зачем Англии вступаться за Польшу? Молотов назвал эту страну «уродливым детищем Версальского договора», но и Уэллс был о ней того же мнения. В «Облике грядущего» он писал: «Восстановление Польши — чрезмерное восстановление Польши — было одной из самых ярких амбиций президента Вильсона. <...> Польша была восстановлена. Но там было создано узко-патриотическое правительство, которое превратилось в агрессивную, мстительную и безжалостную диктатуру и начало преследовать этнические меньшинства».

Почти сразу по возвращении Уэллсу пришлось проводить в последний путь Зигмунда Фрейда, умершего 23 сентября; считается, что Эйч Джи был последним, кто застал великого психиатра в живых и говорил с ним. Фрейд жил в Лондоне с 1938-го — после аншлюса Австрии ему помогли бежать — но «на птичьих правах». По британским законам, чтобы получить гражданство, нужно прожить в стране пять лет, но в отдельных случаях парламент может сократить этот срок. Уэллс (совместно с другими общественными деятелями) хлопотал о принятии такого акта, используя все свои связи в высшем эшелоне, и был уже близок к успеху. Опоздал.

Все, кто видел Уэллса перед войной и в ее первые недели и оставил об этом свидетельства — Беатриса Уэбб, Хью Уолпол, Чарлз Перси Сноу, Джон Пристли, — отмечали, что он был разочарован, подавлен, хандрил. Не доверять этим свидетельствам оснований нет, но на



поступках Эйч Джи хандра не сказала, напротив, он развернул активную журналистскую работу. Преодолев растерянность, он написал в «Таймс» статью, в которой предлагал задуматься о целях новой войны. Большинство людей думают, что цель — победить Германию. Разумеется, победить необходимо. Но зачем? Победить — и опять все сначала? Нет, мы должны сейчас же, пока не поздно (ведь, как и в прошлую войну, никто не верил, что она будет длиться годы), решить, что будем делать с собой, когда побьем немцев, иначе человечество погибнет. В Первую мировую он утверждал, что результатом победы должно стать немедленное создание Всемирного Государства; в старости стал реалистичнее и предложил иную цель — принятие Декларации прав человека.

Шоу в «Нью стейтсмен» ответил на статью Уэллса: он соглашался, что человечество не понимает, зачем воюет, и это плохо, но вывод делал противоположный: надо помириться с Германией, как это сделали умные русские. Уэллс продолжал гнуть свое: о мире с Гитлером не может быть и речи, но война с ним имеет смысл лишь при том условии, что она завершится установлением новых международных отношений. За первой статьей последовали еще несколько — в «Кроникл», «Пикчер пост», «Манчестер гардиан», а в середине ноября Фрэнсис Уильямс и Ричи Колдер предложили Уэллсу вести колонку в «Дейли геральд». Раз в месяц полоса предоставлялась под дискуссию о целях войны; Эйч Джи должен был выступать, как сказали бы сейчас, модератором дискуссии. Он согласился. Дискуссия в «Дейли геральд» продолжалась до 1945 года и, наряду с деятельностью Комитета по разработке Декларации прав человека, сыграла свою роль в том, что европейское

общественное мнение после войны было в общем готово принять идею декларации.

Вопрос о советско-германских отношениях Уэллс по-прежнему обходил стороной. Позднее он будет говорить, что никогда не сомневался в том, что англичане и русские окажутся по одну сторону баррикад. Правда ли это, неизвестно, но похоже на правду. Его вера в Россию была велика. Вероятно, ее поддерживала Мария Игнатьевна: в дневниках Локкарта есть запись 1939 года: «Мура твердо стоит на том, что Россия идет к либерализму и что Россия и западные демократии стоят и будут стоять вместе, защищая свободу...» Кроме того, он был знаком с опубликованными в Англии в середине 1930-х книгами Эрнста Генри (он же Семен Николаевич Ростовский и Леонид Абрамович Хентов): Генри верно предсказал окончательную расстановку сил в будущей войне.

Но поздней осенью любимая страна нанесла своему поклоннику новый удар. 31 октября Молотов на сессии Верховного Совета СССР сказал, что «Советский Союз пришел к договору с Германией, уверенный в том, что мир между народами Советского Союза и Германии соответствует интересам всех народов, интересам всеобщего мира». А месяц спустя, когда Финляндия отклонила предложение СССР обменяться территориями, началась советско-финская война — загадочное мероприятие, которое испортило отношения СССР как с Гитлером (Финляндия была прогерманским государством), так и с его противниками. Европа не вмешивалась, но отреагировала дружным возмущением; 14 декабря СССР был исключен из Лиги Наций. В Лондоне пошли слухи о том, что дипломатические отношения вновь будут разорваны.

Уэллс опять промолчал. На сей раз антисоветски были настроены не только консерваторы. Лейбористы отправили в Финляндию делегацию, которая

опубликовала отчет, очень враждебный по отношению к СССР; Социалистический интернационал, международные профсоюзные организации — все называли Россию агрессором. Когда Майский работал в Финляндии, он писал Уэллсу, что «финны должны благодарить небо за коммунистическую диктатуру Москвы, потому что ни царь, ни даже Керенский ни на минуту не потерпели бы существование независимой Финляндии». Теперь оказывалось, что «царь и Керенский» никуда не делись — как все это понимать?! Недоумение Эйч Джи усиливалось, и он опять передал его персонажу будущего романа: «Газета сообщала о нападении Сталина — Молотова на Финляндию. „Вот и растаяла последняя иллюзия здравомыслия в этом мире, — сказала она. — Зачем, зачем они это сделали?“». Потом, в другом романе, написанном в период, когда финская война закончится, а Россия и Англия станут союзниками, он напишет о советско-финских и советско-польских делах по-другому: «Англия и Франция с неодобрением следили за тем, как Россия выправляет свои границы, готовясь к неминуемому столкновению с общим врагом». Деликатность в выражениях не была ему свойственна, но на сей раз он предпочел употребить эвфемизм.

Помимо «Дейли геральд» Уэллса приглашали на другие дискуссионные площадки, прежде всего — на Би-би-си. Там с первых месяцев войны вел еженедельную программу публицист Сирил Эдвин Джод — бывший фабианец, пацифист. В его программе «Мозговой центр» обсуждалось «все» — от смысла войны до смысла жизни. Уэллс не любил Джода и с пацифистами ему было не по пути; он отказался. Но он принял участие в митинге, проведенном Национальным советом мира. Эта организация, основанная в 1908 году, объединяла порядка двухсот общественных движений Британии и ратовала за мир, права человека и охрану

окружающей среды. Митинг состоялся 17 марта 1940 года; Уэллс произнес речь, в которой говорилось, что мы стоим на пороге «полной биологической революции» и, если не хотим вымереть, должны объединиться в «политическое, социальное, экономическое и культурное сообщество»; народу было так много, что он несколько раз просил слушателей не аплодировать — слишком шумно.

Его позвали еще в одну организацию — «Комитет-1941», лидером которой был политик Ричард Эклэнд, бывший фабианец, человек расплывчатых взглядов (его программа была — «против правительства»), собиравший вокруг себя как социалистов, так и фашистов; Эклэнд начиная с 1938-го пытался привлечь Уэллса к себе, но тот всегда отказывался. Теперь, посмотрев на список членов «Комитета-1941», среди которых были Джон Пристли, Джулиан Хаксли, Ричи Колдер и еще несколько людей, которых Уэллс уважал, он дал согласие. Группа собиралась, обсуждали широкий круг вопросов, включая и Декларацию прав человека, но вскоре Эйч Джи почувствовал неприятный душок — «левый» «комитет» очень сильно кренился туда, где «крайне левое» смыкается с «крайне правым». В 1942-м Эклэнд организовал на базе «комитета» партию «Содружество», Уэллс и его друзья туда войти отказались.

В комитетах и обществах, на митингах и заседаниях Уэллс ставил вопрос: за что воюем? В первые месяцы войны к нему очень прислушивались, потому что англичане действительно не понимали, за что воюют. Более того, они не понимали, воюют ли. Период осени 1939-го — зимы 1940-го получил название «странной войны»: Чемберлен рассчитывал, что все «рассосется», и серьезных боевых действий Великобритания не предпринимала (но мобилизация военных ресурсов шла

на всякий случай). Уэллс напишет об этом: «В последние месяцы 1939 года Англия и Франция не столько воевали, сколько уклонялись от войны. Они постреливали в противника из-за линии Мажино, бросив Польшу на произвол судьбы». Между тем 15 ноября 1939-го немецкий адмирал Редер дал указание штабу военно-морских сил изучить «возможность вторжения в Англию при определенных условиях, вызванных дальнейшим ходом войны». Ранней весной 1940-го Чемберлен заявил, что «Гитлер упустил автобус». А через пять дней немцы захватили Данию и Норвегию. Эпоха Чемберлена закончилась. 10 мая король поручил Черчиллю сформировать правительство. Тот также принял посты лидера палаты общин и министра обороны и взял на себя верховное руководство военными операциями. Он назвал цель войны — «уничтожить Гитлера».

После того как немцы захватили Бельгию, Нидерланды и Люксембург, настал черед крупной дичи: 22 июня было подписано Компьенское перемирие, по которому Франция согласилась на оккупацию большей части своей территории, демобилизацию почти всей сухопутной армии и интернирование ВМФ и авиации. В оставшейся свободной зоне 10 июля был установлен коллаборационистский режим Петена. Капитуляция французов была внезапной и не поддавалась никакому объяснению. «Окончательная победа Германии над Англией теперь только вопрос времени, — писал 30 июня 1940 года начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль. — Вражеские наступательные операции в крупных масштабах более невозможны». Англия осталась против Гитлера одна-одинешенька; немцы были уверены, что англичане пойдут на заключение мирного соглашения. Но Черчилль отверг все предложения Германии, и 16 июля Гитлер издал директиву о подготовке операции

«Морской лев». Операцию назначили на сентябрь. Гейдрих организовал шесть эйнзатц-команд для Англии, которые должны были арестовать всех, кто числился в «специальном поисковом списке», и всех немецких эмигрантов. Командующий армией Браухич подписал директиву, в которой говорилось, что «все здоровое мужское население Англии в возрасте от 17 до 45 лет должно быть интернировано и, если обстановка на месте не требует какого-либо исключения, отправлено на континент».

Атака люфтваффе на Англию (операция «Орел») была начата 15 августа с целью уничтожить английские военно-воздушные силы и создать условия для вторжения. Но британские ВВС не дремали — уже в ночь на 29 августа английская авиация появилась над Берлином. Уэллс переживал странные минуты: он столько раз описывал войну в воздухе — и она случилась, такая, какой он придумал ее, и летчики, самые прекрасные существа, действительно спасают Англию! Его миролюбивые устремления были забыты; как все, он сжимал кулаки от мстительной радости, когда приходило известие о том, что «наши» сбили фашистский самолет. Вечером 7 сентября немцы предприняли первую массированную бомбардировку Лондона — 625 бомбардировщиков в сопровождении 648 истребителей. Это был самый ужасный воздушный налет, какие совершались до той поры. Штаб войск местной обороны (в обход премьера) распорядился передать по радио кодовый сигнал «Кромвель», обозначавший «Вторжение неминуемо»; началась паника, и Черчиллю потребовалось три дня, чтобы навести порядок. Воздушные бои велись около трех недель, Лондон бомбили непрерывно. Но «наши» оказались сильнее: 17 сентября Гитлер принял решение отложить операцию «Морской лев», 12 октября отменил вторжение до весны — а потом и навсегда. Уэллс не

ошибся, летчики спасли Англию; 20 августа, когда исход воздушной войны еще не был ясен, Черчилль сказал о них в палате общин: «В сфере человеческих конфликтов никогда еще люди не были так многим обязаны столь немногим».

Уэллс 7 сентября находился далеко от Англии, но начальная стадия операции «Орел» застала его в Лондоне. Он обедал у Сибил Колфакс вместе с Марией Игнатьевной, присутствовали также Моэм и американский журналист Винсент Шиэн. Как рассказывает Шиэн, во время обеда началась бомбежка; прозвучала сирена, и все стали вставать из-за стола, чтобы спуститься в бомбоубежище. Уэллс остался сидеть и заявил, что никуда не пойдет, пока не доест свой десерт: «Мне здесь очень хорошо. С какой стати я должен суесться из-за этих маленьких варваров в машинах? Меня это не удивляет. Я это давно предвидел. Сибил, можно мне еще этого сыру?» Он отказывался спускаться в бомбоубежище в течение всех военных лет: по словам другого очевидца, он говорил, что «этот fucking Гитлер» не заставит его прятаться.

Еще до начала войны в министерстве иностранных дел стал работать Брюс Локкарт; он привлек к своей деятельности Марию Игнатьевну. В конце 1940-го в Лондоне образовалась группа французских политиков в изгнании и был основан журнал «Свободная Франция» под руководством Андре Лабарта; Будберг осуществляла связь между кабинетом Локкарта и редакцией Лабарта, а также работала во французской секции Би-би-си, которую возглавлял Гарольд Никольсон. Эйч Джи публиковался в «Свободной Франции» трижды — Будберг переводила его статьи. С июня в Лондоне жил де Голль, которого Черчилль, несмотря на личную неприязнь, признал «главой всех свободных французов»; Уэллс де Голля не выносил, считал фашистом и «мегаломаньяком» (это мнение

разделял Рузвельт), но в «Свободной Франции» не сказал о нем дурного слова. Черчилля он в тот период тоже публично не ругал. В феврале 1940-го у Эйч Джи произошел конфликт с полковником Суинтоном из-за танков; потерпев поражение, он сел писать роман «Малыши в темнеющем лесу» (Babes in The Darkling Wood).

Стелла и Джемини, юноша и девушка вроде Джоанны и Питера, учатся в университете, посещают социалистические кружки, восхищаются Сталиным, видят в России идеал, верят в вечный мир. Начинается мировая война — они разочаровываются в пацифизме; затем советско-финская — следует разочарование в социализме и русских. Джемини не понимает, зачем жить, ему помогает выбраться из депрессии его дядя Роберт, проводящий сеансы психоанализа. Они рассуждают о том, почему в России все стало так плохо, и приходят к выводу, что «русские революционеры, германские нацисты, американские изоляционисты — все на свой лад пытаются убежать от реальности и заменить ее иллюзиями». Герой «собирает свой расколотый ум воедино» и понимает, что нужно деятельно служить добру сейчас (а добро на стороне тех, кто воюет против Гитлера) и одновременно работать над будущим переустройством мира. Он поступает в саперы, а Стелла становится медсестрой. Кризис Джемини — метафора, обозначающая кризис человечества: перед войной оно не понимало, зачем жить, но теперь «собрало свой ум воедино». Роман написан в форме платоновского диалога; в предисловии к нему Уэллс поднял забытую дискуссию с покойным Генри Джеймсом и заявил, что только «романы идей» имеют смысл. Никто с ним не спорил. Книга, опубликованная в конце 1940-го издательством «Сикер энд Варбург», была почти не замечена прессой.



В 1940-м Уэллс опубликовал еще две небольшие книги. В одной были обобщены его высказывания о целях войны — «Здравый смысл войны и мира: Мировая революция или бесконечная война» (The Common Sense of War and Peace: World Revolution or War Unending; издательство «Пингвин»); в устрашающие слова «мировая революция» он вкладывал очень миролюбивый смысл — принятие Декларации прав человека и распространение Всемирной энциклопедии. Другая называлась «Все плывем на Арарат» (All Aboard for Ararat; издательство «Сикер энд Варбург») — это притча о современном Ное. Бог объявляет Ное, что он должен спасти мир, построив ковчег, на котором соберутся все лучшие люди, и придумать новую, единую для всего человечества, религию. Когда Бог оставляет Ноя, тот произносит: «Человека нельзя победить, покуда он сам не признает себя побежденным. Я — никогда не признаю». Это Эйч Джи сказал о себе. Накануне своего семьдесят четвертого дня рождения он отправился в последнее путешествие — опять в США, по приглашению издательства «Альянс пресс».

Ливерпуль бомбили, пароходы топили; Уэллса это не напугало — он никогда не отличался физической храбростью, скорее наоборот, но после семидесяти лет чудесным образом переменялся — и, три дня прождав морского конвоя, он 4 сентября отплыл в Нью-Йорк. Рузвельт вел кампанию по переизбранию на третий срок: сам он считал, что Америка должна вмешаться в ход войны, конгресс и общественное мнение были против — повторялась ситуация Первой мировой. Уэллс пробыл в США три месяца, наблюдал всю выборную кампанию, и она привела его в отчаяние. Впервые он отозвался о своих любимых американцах так нехорошо. «В драке типичный американец бьет не просто, как приходится бить, а изо всех сил. В делах он ставит на

выигрыш, для него тут не может быть компромисса, и он почти лишен гордости создателя. Создатель для него не тот, кто создает прекрасные вещи, а делец, скопивший большие деньги», — писал он в статье «Неприглядная сторона Америки».

Лекция Уэллса называлась «Два полушария или один мир»; он выступил с ней 12 раз (преимущественно в Калифорнии, где жил у своих знакомых Ламонтов и последний раз увиделся с Маргарет Сэнджер) и дал множество интервью. «Поскольку расстояния теперь не существуют, все, происходящее в мире, касается каждого», — говорил он, настаивая, что американцы обязаны вмешаться. Но как? Вступить в войну? Нет, другое: пока США и СССР сохраняют нейтралитет, они должны взяться за руки и призвать мир к порядку, инициировав принятие Декларации прав человека и объединение всех желающих в Союз государств (термин «федерация» он отвергал). Американцы встретили эту идею ледяным недоумением.

Эйч Джи не стеснялся агитировать за Рузвельта и поносить американских «правых», а также Чемберлена, которого Черчилль оставил в своем правительстве, из-за чего постоянно ввязывался в перебранки. Он, кажется, вернулся к богостроительству, призывая к учреждению некоего Бога Истины, «которого ищет весь мир». Он особо подчеркивал необходимость общемирового контроля над авиацией — летчики могут погубить мир, но они же призваны его спасти, а вернувшись под конец своего путешествия в Нью-Йорк, выступил на эту тему по радио и был завален вопросами радиослушателей. Его речи о летчиках чрезвычайно любопытны и показывают, что, когда дело касалось этих небожителей, он терял и дар предвидения, и ощущение реальности. Осенью 1940-го, когда немецкая военная машина только набирала ход, он утверждал, что для Гитлера вот-вот все кончится — ведь

«воздушное могущество немцев почти иссякло, их авиация не отвечает современному уровню, а лучшие летчики либо погибли, либо вымотались и утратили боевой дух». На американцев эти пророчества производили двойственное впечатление: с одной стороны, приятно слышать от умного человека, что с Гитлером покончено, а с другой — зачем вмешиваться, если все и так хорошо?

Из Америки он выбирался через Бермуды. Домой попал 4 января 1941 года. Была поездка удачной или нет? Кагарлицкий пишет, что турне «кончилось полным провалом», приводя в доказательство слова Клауса Манна: в Америке молодой писатель пришел к старику, чтобы тот помог добыть средства для издания журнала. «Мэтр сразу обнаруживает удивительно желчно-агрессивное настроение. Мрачный, тусклый, злой взгляд, которым он меня изучает, еще больше леденеет, когда я осмеливаюсь намекнуть на свой журнал.

— Литературный журнал? — Уэллса просто трясет от негодования и презрения. — Что за ребяческая идея. Какое мне до этого дело!»

Далее Уэллс обругал немцев — все они «дураки, хвастуны, шуты гороховые и потенциальные преступники» и настаивал на том, что Гёте ничего не стоит в сравнении с Шекспиром — но потом смягчился и обещал Манну сделать что-нибудь для его журнала. «Великолепный старикан, при всей своей ершистости! И юмор у него, как у всех добрых британцев. На прощание он становится лукавым и ищущим примирения». Непонятно, как эта сцена может служить доказательством того, что турне провалилось. Маккензи приводят в доказательство того же тезиса другое свидетельство — Моэма, который встретился с Уэллсом в Нью-Йорке: «Его лекция провалилась. Люди не могли его услышать и не хотели слушать. Он был обижен и

разочарован. Он не мог понять, почему людям надоело то, что он говорит на протяжении последних тридцати лет. Течение реки давно пронеслось мимо, оставив его на берегу».

Сам Уэллс в письме Элизабет Хили сообщил, что доволен поездкой. Другим людям говорил, что недоволен. Его разочаровало человечество, выбравшее не стройку, а резню, разочаровала Америка, в которой он до сих пор видел подобие волшебного сада, а сад оказался заросшим сорняками. Но в целом, если исходить из фактов, его последнее турне было не хуже, чем предыдущие. Залы на его лекциях были полны. Большая часть из того, что он говорил слушателям, в одно ухо влетала, а в другое вылетала, но так было всегда; с ним спорили, иногда грубо, но это он любил. В той части, что касалась Декларации прав человека, он находил поддержку. Во время поездки его имя не сходило с первых полос американских и английских газет, каждое его слово комментировалось. Он вызывал скандалы — и тем привлекал к своим идеям внимание. «Мне все равно, если на какое-то время я окажусь в меньшинстве, один против всего человечества, потому что в конце концов, если я нашел истину, она победит всегда, а если мне не удалось ее найти, я сделал все, что в моих силах». Он хотел декларации — она будет принята; он хотел Всемирной энциклопедии — она будет написана; он хотел контроля над вооружениями — худо-бедно он существует (а кому кажется, что это чепуха, — пусть представит, что сейчас творилось бы без этого). «Брюзгливый старик, на которого уже никто не обращал внимания» — это неправда. Не река пронеслась мимо него, а он забежал вперед течения, но, может, когда-нибудь оно его догонит?

По возвращении Уэллс опубликовал в издательстве «Голланц» сборник «Путеводитель по Новому миру» (Guide to the New World: A Handbook of Constructive

Revolution). Там есть рассуждения о католиках, Польше, Индии, Сталине, гражданских правах, авиации — все статьи последних лет, не публиковавшиеся в Англии. Потом он засел за последний «классический, старинный» роман — «Необходима осторожность: очерк жизни 1901-1951» (You Can't Be Too Careful: A Sample of Life 1901-1951; издан в 1941 году издательством «Сикер энд Варбург»). Фамилия героя Тьюлер, и от нее образовано название одного из двух непримиримых видов Homo — Homo Tewler.

Тьюлера воспитывали так, что он не хотел замечать проблем, «его установка сводилась к тому, чтобы ничего не делать до тех пор, пока не прикажут». Подростком он был вроде Берти Уэллса и Руда Уинслоу — мечтал о войнах; Уэллс, рисуя «отрицательного» героя, подчеркивал его детское сходство с собой, чтобы было ясно: от того, получит ли человек правильное образование, зависит, каким он станет. Тьюлер не получил. Его ум «окаменел» и воспринимает только самые примитивные идеи. Его патриотизм — животный, тупой: «Он всегда готов был утверждать, что английский ландшафт, английские полевые цветы, английские квалифицированные рабочие (когда их не сбивают с толку иностранные агитаторы), английская система верховой езды и английское мореходство, английское дворянство, английское земледелие, английская политика, доброта и мудрость английского королевского дома, красота английских женщин, их несокрушимое душевное и телесное здоровье не только не могут быть превзойдены никаким другим народом, но даже не имеют себе равных во всем мире». Его религия «была как паспорт, спрятанный в надежном месте: пока в ней нет надобности, незачем о ней беспокоиться. А чуть только надобность возникнет, она извлекалась на свет: „Я христианин!“ („Что? Съели, атеисты?“)». Его отношение к женщине — смесь

брезгливости, ненависти, вожделения и страха; физическая любовь для него — похабщина. Но вот Тьюлер женился, развелся, опять женился и живет на улице, которая вся населена Homo Tewler. Необходима осторожность — лозунг этой улицы: что бы ни происходило в мире, это нас не касается.

Жизнь стала хуже — Тьюлер ищет виноватых. Без виноватых ему нельзя, перед ним все виноваты — первая жена, вторая жена, вообще женщины, политики, иностранцы, соседи. Ему объяснили, что виноваты большевики и евреи, и он успокоился. Время шло, появились Гитлер и Муссолини — Тьюлера это не касается. Но Гитлер напал на Англию; Тьюлера мобилизовали в отряд гражданской обороны<sup>[116]</sup>. Он трусоват, но по случайности стал героем, сыграв решающую роль в захвате немецких парашютистов: вообще-то он хотел от них спрятаться, но, будучи загнан в угол, пришел в бешенство и кинулся на преследователей. Король наградил его орденом. В тот день, когда он ездил за наградой, его жена погибла при бомбардировке. Она погибла потому, что Homo Tewler были осторожны и не протестовали против войны.

Homo Tewler и Homo sapiens — не два параллельно развившихся вида, а две стадии одного и того же. Мы все — Tewler, никто из нас еще не стал Sapiens, в некоторых развились лишь зачатки этого вида. «Я могу сказать каждому читателю только одно: „Поройся хорошенько у себя в памяти, склонись перед правдой. Ты — Тьюлер, и я — Тьюлер. Эта книга не повод для того, чтобы нам с тобой весело подталкивать друг друга локтем, глядя на тупость и низость людей, стоящих ниже нас. Эти люди — часть нас самих, плоть от плоти нашей, и каковы они, таковы и мы. Мы гибнем вместе с ними“. Но Sapiens придут нам на смену, как бы мы ни сопротивлялись, — и будут одерживать победы,

которые не снятся нам, решать проблемы, находящиеся совершенно за пределами нашего кругозора. Они увидят вещи, о которых мы не имеем представления. Может, это будет то, что по нашим понятиям считается добром. А может, злом. Но почему это не может быть чем-то близким нашему добру и гораздо большим, чем наше добро?»

Уэллс на протяжении своей жизни то отвергал религию, то обращался к ней; под конец он пришел к выводу, что она все-таки необходима — одна, всемирная. «В нормальном мировом коллективе нет места „религиозной терпимости“. Такой коллектив должен быть связан общим мировоззрением, и мы не можем позволить организациям духовных шарлатанов подрывать общественное единство на том основании, что у каждого есть свой церковный товар для продажи. Религия, которая нужна мировому коллективу, очень проста. Она опирается на признание того, что человек должен всегда быть правдив, что земля есть общее достояние и что люди равны». Исследователи, считающие Уэллса завзятым тоталитаристом, трактуют эти слова однозначно. Насадить единомыслие! Правда, в том же абзаце он пишет: «При условии, если все будут признавать эти основные догмы... не будет никаких причин мешать желающим придерживаться каких угодно новых и старых обрядов и мифологий или совершенно свободно обсуждать любые еретические идеи, какие им придут в голову». Тоталитарное общество тем и отличается, что в нем нельзя «свободно обсуждать любые еретические идеи». Как мог Уэллс не видеть того, что «свободное обсуждение любых идей» и «общее мировоззрение» несовместимы? Видимо, он полагал, что они несовместимы для Tewler, а у Sapiens все может быть по-другому — кто их знает? Мы-то, конечно, убеждены, что мы хорошие, нежные, добрые, а уэллсовские Sapiens — гадкие, холодные роботы. «При

мысли о более счастливых поколениях нами овладевает злобная зависть», — сказал Уэллс. Неужели это верно?

Но Уэллс не был бы Уэллсом, если бы не сопровождал свою идею какой-нибудь гадостью: «Если мировая революция одержит верх, ничто не помешает ей объявить вас безумцем и преступником. Она, быть может, попытается перевоспитать вас, если это возможно. Быть может, ей придется вас убить. Если будет слишком много непримиримых, некоторое количество убийств окажется абсолютно необходимым. В мире, организованном на разумных началах, не станут превращать здоровых и добрых людей в сторожей и больничных служителей для непримиримых». Здравствуйте, приехали! Уэллс сам был Tewler, как подобает Tewler, он не видел для «хороших» другого способа преобразовать мир, кроме как поубивать «плохих». Но вдруг Sapiens все-таки найдут другой способ? Ведь их образ мыслей «совершенно за пределами нашего кругозора»...

Вернувшись из Америки, Эйч Джи пригласил на ужин Джорджа Оруэлла — ранее они не встречались. Оруэлл пришел с женой, за хозяйку была Мария Игнатьевна. О чем разговаривали утопист с антиутопистом — неизвестно, можно только предполагать: о социализме, о будущем, об Испании, где Оруэлл воевал на стороне республиканцев (и остался о них не слишком хорошего мнения), о Черчилле, к которому оба после 1940 года переменили отношение в лучшую сторону (Уэллс — ненадолго). Поскольку ответное приглашение последовало лишь через несколько месяцев, можно предположить, что два писателя не особенно понравились друг другу. Но конфликта не было.

Летом, когда Уэллс уже был приглашен к Оруэллам, в журнале «Хоризон» появилась статья Оруэлла «Уэллс, Гитлер и Мировое Государство». Автор цитировал и



высмеивал высказывания Уэллса о слабости Гитлера. «А что может Уэллс противопоставить „крикливому берлинскому пигмею“? Лишь обычное пустословие насчет Всемирного государства да еще декларацию Сэнки, которая представляет собой попытку определить основные права человека, сопровождаясь антивоенными высказываниями. За вычетом того, что Уэллса ныне особенно заботит, чтобы мир договорился о контроле над военными операциями в воздухе, это все те же самые мысли, которые он вот уже лет сорок непрерывно преподносит с видом проповедника, возмущенного глупостью слушателей, — подумать только, они неспособны усвоить столь очевидные истины! <...> Какой смысл разъяснять, до чего желательно было бы Всемирное Государство? Главное, что ни одна из пяти крупнейших военных держав не допускает и мысли о подобном единении».

По Оруэллу, Уэллс не понял ни большевиков, ни нацистов: в первых он видел рационалистов-утопистов, во вторых — иррационалистов-сумасшедших, тогда как те и другие использовали одинаковые эмоции для управления толпами. Людьюми движут не доводы рассудка, их энергия направляется чувствами: «... национальной гордостью, преклонением перед вождем, религиозной верой, воинственным пылом, словом, эмоциями, от которых либерально настроенные интеллигенты отмахиваются бездумно, как от пережитка, искоренив этот пережиток в самих себе настолько, что ими утрачена всякая способность к действию». Гитлер использовал патриотические эмоции — их же придется использовать и против Гитлера. Уэллс этого понимать не желает. «Его оставляют абсолютно бесстрастным гром пушек, звяканье шпор и проносимое по улицам боевое знамя, при виде которого у других перехватывает дыхание. <...> Полистайте любую книгу Уэллса из написанных за последние сорок лет, и вы в

ней обнаружите одну и ту же, бесконечно повторяющуюся мысль: человек науки, который, как предполагается, творит во имя разумного Всемирного Государства, и реакционер, стремящийся реставрировать прошлое во всем его хаосе, — антиподы. Это противопоставление — постоянная линия в его романах, утопиях, эссе, сценариях, памфлетах. С одной стороны — наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена; с другой — война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессора древнегреческого, поэты, лошади». Уэллс видит в науке панацею, а получилось, что «наука сражается на стороне предрассудка».

Статья Оруэлла, если приглядеться, не такая уж враждебная. Он пишет: 1) «всякий разумный человек и прежде в основном соглашался с идеями Уэллса»; 2) «Уэллс, вероятно, прав, полагая, что „разумное“, плановое общество, где у руля будут ученые, а не шарлатаны, рано или поздно станет реальностью»; 3) «из писавших, во всяком случае по-английски, между 1900 и 1920 годами никто не повлиял на молодежь так сильно, как Уэллс». Правда, каждое утверждение завершается антитезой: 1) «но, на беду, власть не принадлежит разумным людям»; 2) «но допускать это как перспективу вовсе не то же самое, что думать, будто такое общество возникнет со дня на день»; 3) «но целенаправленная сосредоточенность и одностороннее воображение, которые придавали ему вид вдохновенного пророка в эдвардианский век, превращают его теперь в мелкого мыслителя, отставшего от времени».

Уэллс статью прочел, от приглашения в гости не отказался. Встретились в конце августа, Уэллс пытался объяснить Оруэллу, что не считает науку панацеей — просто ее должны использовать умные, а не дураки.

Ссоры опять не было, но в марте 1942-го Оруэлл принимал участие в программе Би-би-си и повторил, что Уэллс видит в науке панацею. Тогда Уэллс пришел в бешенство и написал Оруэллу грубое письмо: «Я ничего подобного никогда не говорил. Почитайте мои ранние работы, дерьмо вы этакое!»

В тот год, когда спорили Оруэлл с Уэллсом, американский социолог Бернхэм опубликовал книгу «Революция менеджеров»<sup>[117]</sup>, изложив следующую теорию: по мере усложнения производства контроль над ним постепенно переходит от капиталистов к специалистам-менеджерам, которые впоследствии могут взять и политическую власть в обществе; далее всех стран по этому пути продвинулись Россия и Германия. Оруэлл, опубликовавший разбор этой книги, полагал, что «менеджерианство» и тоталитаризм идут рука об руку. Он был убежден, что «менеджеры» (к которым он почему-то относил также ученых, писателей и вообще образованных людей) обожают силу и диктаторов. Этот вывод он распространял и на утопии Уэллса, который не раз говорил, что «новым» людям придется силой бороться со «старыми», а в «Мире Уильяма Клиссольда» писал, что эти «новые» должны прийти именно из менеджеров-бизнесменов. К сожалению, нет данных о том, как Уэллс отнесся к книге Бернхэма. От идеи, высказанной в «Клиссольде», он давно отказался и на место «менеджеров» поставил интеллигенцию, а это, вопреки мнению Оруэлла, не одно и то же. Наверное, он согласился бы с Бернхэмом в том, что Ленин пытался осуществить «революцию менеджеров». Но он никогда бы не согласился с тем, что апофеозом такой «революции» следует считать Германию при Гитлере и Россию при Сталине — это было, по его мнению, уничтожение «властью тьмы» всего мыслящего.

Прийти к согласию Оруэлл и Уэллс не могли. Их разделяло главное: вопрос, кто «хороший» и кто «плохой». Уэллс был в общем прав, говоря, что семья и образование все определяют, но иногда они определяют с точностью до наоборот: как сам он, выросший в бедности, не любил «простых людей», так и Оруэлл, рожденный в аристократической семье и учившийся в Итоне, не любил интеллектуалов. Уэллс тянулся вверх — Оруэлл стремился опуститься «вниз», стать своим в мире людей физического труда, говорил под «кокни». Уэллс считал, что базу тоталитаризма составляют темные, малограмотные люди с преобладанием животных инстинктов, — Оруэлл утверждал, что именно интеллектуалы восприимчивы к тоталитарной идеологии. Кто прав? Интеллектуалы, бывает, обслуживают диктаторов; «простые люди», бывает, голосуют за них.

\* \* \*

«Слава богу, ура, Гитлер напал на Россию!» — говорят персонажи одного английского фильма, действие которого происходит в 1941 году. Причина такого возгласа — не в кровожадности англичан, а в том, что они стояли против Германии в одиночку и уже не надеялись обрести союзника (Молотов на упоминавшейся сессии Верховного Совета сказал, что «не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война на уничтожение гитлеризма»); как мы, теряя терпение, ждали открытия «второго фронта» в 1944-м, так и они — в 1941-м. Теперь у них был союзник — вот они и радовались. Хотя не все. Правые предпочли бы обойтись без такого союзника. Но большинство англичан, включая Уэллса, было очень воодушевлено. Он писал: «В 1941 году, видя, что их авантюра

срывается, нацисты истерически накинулись на Россию. Тут они впервые столкнулись с народом, освободившимся от хлама в духе „необходима осторожность“, единым в своей антипатии к немецкой „высшей“ расе и дерущимся в полном единодушии. Оказалось, что на войне необходима неосторожность. „О безопасности забудь!“ — говорят русские». В Лондоне были немедленно сформированы Общество англо-советской дружбы, Англо-советский комитет по общественным связям и еще ряд подобных организаций — Уэллс принимал участие в их деятельности, написал об СССР статьи «Россия и будущее» и «Последняя кровавая конвульсия Гитлера», в которых убеждал британцев, что с русскими «возможен не только союз, но и дружба».

В июле Уэллса пригласил на обед Майский; присутствовал также американский посол Джон Уинант. Уэллс был полон энтузиазма, говорил, что трем странам надо уже сейчас договариваться о будущем мирном союзе, просил Майского и Уинанта посодействовать в популяризации Декларации прав человека. Переписка между Майским и Уэллсом продолжалась до августа 1943 года, когда посла отозвали в связи с повышением по службе<sup>[118]</sup>. Правда, согласия между ними было мало. Уэллс хотел, чтобы советский посол убедил Сталина объявить войну Японии, — Майский отвечал, что надо сосредоточиться на Германии; Майский высказывался в поддержку де Голля — Уэллс отвечал молчанием. Уэллс хотел для пропаганды англо-советской дружбы поставить в Лондоне пьесу «На дне», заметив, что такая постановка принесла бы больше пользы, чем «тонны назойливой коммунистической пропаганды», — Майский сказал, что англичанам незачем видеть, как жили деклассированные русские. Эйч Джи настаивал, они встретились, обсуждали

постановку, но она так и не состоялась. Впрочем, эта мелочь не могла испортить ему настроение. Он ждал, что война окончится со дня на день. Быстренько добиваем Гитлера и наконец-то можем шагать по жизни рука об руку.

### **Глава третья ДВЕРЬ В СТЕНЕ**

В течение лета и осени 1941 года Уэллс был очень энергичен и воинствен. Писал в «Таймс», требовал от Черчилля бомбить Италию и занятые немцами прибрежные районы Франции, чтобы подготовить наступление британских войск (премьер поблагодарил за совет, но сказал, что пока эти действия не представляются возможными), призывал Америку видеть в СССР союзника. Занимался и мирными делами. В сентябре в Лондоне проводилась конференция Британской ассоциации развития науки. Тематика конференции была широкая — послевоенное устройство мира, охрана ресурсов, обеспечение продовольствием; в шести ее секциях председательствовали Грегори, Бенеш, Майский, Уинант, китаец Веллингтон Ко и Уэллс. Он написал доклад, который из-за регламента не удалось прочесть полностью; его опубликовали в виде брошюры «Наука и Всемирный Разум» (Science and the World Mind)<sup>[119]</sup>. «Прежде всего напрашивается ответ, что пока еще нет Всемирного Разума, а есть только Всемирное Слабоумие...»

Уэллс говорил о Всемирной энциклопедии (на сей раз назвал ее Всемирным институтом мысли и знаний) и Декларации прав человека; посетовал на то, что мир глух: никто не возражает, но никто ничего и не делает. Уделил большое внимание международному языку, «на котором обсуждались бы всемирные интересы человечества». Он уже много раз предлагал вариант

такого языка — Basic English (грамматика английская, слова английские, но их очень мало), разработанный в 1925 году британским лингвистом Чарлзом Огденом. Нет, он не требовал, чтобы люди отказывались в пользу Basic English от родных языков. Напротив: «Как только прекратятся попытки вытравить местные языки, отпадут и возражения против того, чтобы дать Всемирному Разуму международный язык. Я представляю себе, что повсюду на Земле у людей останется привязанность к своему языку, к языку родному, языку нежных чувств, лирической поэзии и общения в узком кругу».

Каждый человек на Земле станет «двуязычным, а то и полиглотом». На деле Basic English, как и эсперанто, не привился в качестве разговорного языка. Но его принцип был отчасти положен в основу языков программирования.

На конференции было много прекрасных докладов, внимание общественности — огромное; Уэллс был доволен. Ученых он назвал «интеллектуальными лидерами человечества» и был убежден, что им удастся сделать очень много. И вдруг в конце 1941 года он разочаровался. «Всего за несколько десятилетий нам предстоит пройти через что-то аналогичное раннему Средневековью. Вряд ли я доживу до нового этапа и увижу, как всемирное содружество окончательно отъединится от потерпевшего крушение прошлого». Он увидел, что война не закончилась со вступлением в нее СССР. Вермахт потерпел поражение под Москвой, но Германия не сдалась, а Япония нанесла удар по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор, а это показало, что «правители Америки и Великобритании лишены воображения, некомпетентны и бездеятельны». Начало строительства разумного мира придется отложить. Да и не факт, что мы вообще выиграем эту войну. Каждая новая сводка с фронта могла изменить

его настроение. Под Новый год он писал Хили: «На войне дела идут превосходно, поверь мне. Я был немного раздражителен и хандрил последние дни, но в целом чувствую себя хорошо, голова ясная...» Но в течение первых месяцев 1942-го его душевное состояние ухудшилось: «Я в отчаянии от того ужаса, который грозит моим внукам и который я не могу предотвратить... Я изжил все, что было сущностью моего жизненного пути».

А ведь в мире происходили вещи, которые должны были его радовать: после того как в августе 1941-го Рузвельт и Черчилль подписали Атлантическую хартию, в которой отмечалась важность соблюдения прав человека в послевоенном мире, и с ее текстом ознакомились все союзники, 1 января 1942-го в Вашингтоне представители СССР, США, Великобритании и Китая (позднее к ним присоединились еще 22 государства) подписали Декларацию объединенных наций (не путать с Декларацией прав человека и Организацией Объединенных Наций), согласно которой был учрежден союз против герма-но-итало-японского блока. Вот же оно, свершилось: взялись за руки, дружим, пусть только «дружим против», но все-таки... Откуда такая тоска?

Из военных лет именно 1942-й принес антигитлеровской коалиции больше всего разочарований. В мае Япония установила контроль над Юго-Восточной Азией и частью Океании; наступление советских войск под Харьковом закончилось провалом, немцы захватили Северный Кавказ и рвались к Волге. Эйч Джи не был чужд паникерства, он и во время Первой мировой не верил, что «мы» победим немцев, но к лету 1942-го даже заядлому оптимисту могло показаться, что они «нас» вот-вот победят. Имелись и частные причины для уныния — болезни. Вдобавок к туберкулезу и диабету у него обнаружили катар горла,



катар желудка; начались сердечные приступы. Мария Игнатьевна за ним ухаживала. Она не жила в его доме, но регулярно навещала, они вместе бывали в гостях, дети и внуки Эйч Джи признавали ее как бы родственницей; теперь, когда состарились оба, отношения стали спокойнее. Неизвестно, сохранилась ли физическая близость: судя по его обмолвке, что в Штатах импресарио приводил ему «девушку по вызову» и что это был «последний всплеск чувственности», похоже, что нет.

Весной 1942-го Эйч Джи в очередной раз собирался умирать. 28 апреля он сделал последнюю запись в «Постскриптуме», где сварливым тоном рекомендовал всем оставить его в покое. Он написал себе фантастический некролог. «Он был серьезно ранен в стычке с некими фашистскими мерзавцами в 1948 году, а затем его здоровье заметно пострадало в результате короткого пребывания в концентрационном лагере во время недолгой коммунистической диктатуры в 1952 году. <...> Он летел впереди своего времени, и он же оказался забытым им. Жил на небольшую государственную пенсию, полученную в 1955 году. Занимал полуразрушенный дом на границе Риджент-парка, и его согбенная, обтрепанная, неряшливая фигура появлялась в соседних скверах. Иногда он сидел и смотрел пустыми глазами на лодки на озере или на цветочные клумбы, или, кашляя, с трудом ковылял, опираясь на палку, или бормотал что-то себе под нос. Иногда можно было расслышать: „Я еще напишу настоящую книгу“».

Он ее написал — сразу после некролога. Она получила название «Феникс» (Phoenix: A Summary of the Inescapable Conditions of World Reorganization) и вышла в конце 1942-го в «Сикер энд Варбург». Старый Феникс шуточным некрологом обвел смерть вокруг пальца, восстал из пепла и поет; человечество, сгоревшее в

войне, возродится из руин. Наш вид не умрет, раз уж мы создали антигитлеровскую коалицию, а ведь это казалось невозможным. А значит, мы еще раз соберемся, и примем Декларацию, и напишем Энциклопедию, и победим болезни, и засадим планету цветами, и будем жить в счастливом мире «с его бесконечным разнообразием видов и родов деятельности, полной свободой передвижения, его бесконечной любознательностью и нескончаемой активностью». Своим оптимизмом «Феникс» всех приятно удивил. Книга получила прекрасную прессу; в «Ивнинг стандарт» ее называли «проникновенной, зажигательной, энергичной, очищающей, смелой и ясной», в «Нэйчур» писали, что это — «категорический императив для всего человечества», в «Трибьюн» призывали «бежать за ней еще до того, как она выйдет из печати». Понравился «Феникс» даже Беатрисе Уэбб, которая написала Уэллсу, что оба они могут чувствовать себя счастливыми, ибо прожили жизнь, занимаясь любимым делом: «Чего еще может желать смертный? Разве что быстрого и легкого ухода из жизни...»

Еще одна «настоящая книга», вышедшая в том же году, — «Покорение времени» (The Conquest of Time). Это переработка старой книги «Первое и последнее» (та была написана до того, как Эйнштейн опубликовал работы по общей теории относительности, и теперь Уэллс сделал обзор этих работ). Вселенная четырехмерна, и время в ней одно из равноправных измерений. «Время — единственная вещь, что руководит нашим бытием. Измеримое и точное, оно управляет нами с твердой и монотонной регулярностью. Но что, если бы время могло стать текучим? Не переменяло бы это нашу жизнь коренным образом?» Не человек перемещается во времени, но человечество входит в ту стадию, когда время начинает становиться текучим. Если раньше день неизбежно сменялся ночью,

то с развитием авиации можно обмануть время, проскользнув из утра обратно в ночь, из зимы в лето. Кажется, что время поглотило прошлое, но благодаря усилиям нашего разума и техники мы в состоянии извлечь из прошлого факты, что казались утерянными. «Время начинает отдавать то, что поглотило; каждый год мы приближаем к себе прошлое».

Данн в «Эксперименте со временем» писал, что наше линейное восприятие времени лишь иллюзия. Уэллс согласен и с этим, но если у Данна прошлое и будущее существуют в настоящем посредством снов, то для Уэллса они проникают в настоящее благодаря осознанным усилиям и таким образом мы «покоряем время». Книжка получилась странной, скорее блещущей парадоксами, чем научно аргументированной, и главная цель, с которой она была написана, — в очередной раз «разобраться» со смертью, с которой Эйч Джи всегда был в состоянии личной вражды. В «Покорении времени» он рассуждал так: умирают лишь «индивидуальное время» и «индивидуальная жизнь», а поскольку человечество, преодолевая индивидуализм, становится единым целым, то, следовательно, такому маловажному факту, как наша собственная смерть, мы не должны придавать слишком много значения. Судя по его последующим текстам, эта теория его не слишком утешала и в глубине души он был ближе к идеям сновидца Данна.

Летом 1942-го Уэллс получил неожиданное письмо: к нему обращался советский филолог Лев Васильевич Успенский, находившийся на Ленинградском фронте в качестве корреспондента<sup>[120]</sup>. Успенский, с детства влюбленный в уэллсовскую фантастику, требовал от любимого писателя способствовать открытию второго фронта. Письмо было цветистое: «Коричневых гадин, с которыми мы сражались теперь, выпестовала, выносила

у груди своей западная цивилизация. Мы, люди, были ответственны за их появление: наш прямой долг был — уничтожить их. Чтобы призвать к исполнению этого тяжкого кровавого долга Англию, и стучала в Лебяжьем моя колченогая машинка над замерзшим, усеянным ледовыми дотами Финским заливом... Есть две возможности. Или, раздавив ваших алоев и полипов, вы, как Смоллуэйс, схватив „кислородное ружье“, броситесь в бой рядом с нами. Или, подобно мистеру Моррису из вашего „Грядущего“... предпочтете вызвать телефонным звонком... Агента Треста Легкой Смерти... Что ж, вызывайте. Но предупреждаем вас: на этот раз смерть не окажется легкой! Нет, я верю, что будет не так! Вы уже кинулись в один бурун с нами. Мы умеем плавать. Опирайтесь на наше плечо, но не цепляйтесь судорожно за спасающего».

Письмо было передано в Лондон через Совинформбюро. Уэллс с помощью Марии Игнатьевны немедленно на него ответил (свою переписку с Успенским он опубликовал в виде брошюры «Современные русские и английские революционеры»); через несколько месяцев Успенский тем же путем ответ получил, но не был удовлетворен им: открыть второй фронт Уэллс не обещал, поскольку Англия его открыла еще в 1939 году, зато излагал основные положения Декларации прав человека и просил донести этот текст до советской общественности. Он также радостно сообщил Успенскому о том, что «мировая революция случится теперь, если мы решим, что она нужна». Словом «революция» он всю жизнь кидался направо и налево, озадачивая друзей и врагов; в данном случае, исходя из контекста, он под «мировой революцией» подразумевал принятие декларации. Успенский в книге «Записки старого петербуржца» назвал декларацию «прожектом» и «маниловщиной», а ее автора — «нерешительным, слишком мягкосердечным, но верным

и искренним до глубины души другом» и, как Майский и Сталин, посетовал на то, что Уэллс не понимает необходимости классовой борьбы. Просьбу Уэллса он, разумеется, проигнорировал, да и при всем желании не мог бы ее исполнить — у каждого из них было совершенно фантастическое и преувеличенное представление о возможностях другого.

Успенский писал также, что Уэллс, коль скоро он за мировую революцию, рано или поздно придет к коммунистам. В 1941-м, когда Черчилль распорядился закрыть коммунистическую газету «Дейли уоркер», Уэллс выступил в ее защиту, но не потому, что это хорошая газета — он называл ее «обскурантистской», — а потому, что нельзя нарушать свободу слова. Британская организация «Национальный совет за гражданские свободы» выступила в суде на стороне «Дейли уоркер» и выиграла дело. Но у коммунистов не было денег. Их дал Уэллс — и подкармливал газету до самой смерти, хотя терпеть ее не мог. Неизвестно, знали ли об этом Успенский. Ради свободы слова помогать тому, чье слово тебе не по вкусу, — это в советском менталитете не укладывалось.

В Британии, впрочем, позицию Уэллса по отношению к «Дейли уоркер» тоже поняли неверно. Редакция газеты сочла, что он готов стать коммунистом, и постоянно просила написать что-нибудь: он отказывался (только в декабре 1943-го отдал газете статью об Освальде Мосли), но посылать чеки не перестал. Осенью 1942-го индиец Палм Датт, редактор другой левой газеты «Лейбор мансли», попросил Уэллса написать хвалебную статью о России. Уэллс написал, что Россия — прекрасная свободолюбивая страна, а советская коммунистическая партия — зло, от которого русским надо избавиться, взамен нее принять Декларацию прав человека, протянуть руку Штатам и Европе и вместе шагать в новый мир. «Католическая

церковь справа и коммунистическая партия слева — вот две силы, которые зубами и когтями душат человеческую свободу». Датт пришел от статьи в ужас, просил переделать, ругался, умолял, но, столкнувшись с твердой позицией автора, представьте себе, взял и опубликовал без купюр. Свобода слова, черт ее возьми...

В сентябре Уэллс получил письмо от Маргарет Сэнджер: узнав о болезни друга, та приглашала его переехать в Америку. «Аризона — чудное место, и для вас уже приготовлены комнаты. Вам нужны солнце, витамины, фрукты». Уэллс поблагодарил и отказался. Покидать Лондон он не желал принципиально, объяснив причину в письме к Хили: «Всеобщая паника из-за этих бомб просто смешна. Они не пугают честных и разумных людей, но они, слава богу, заставляют бежать в панике всякое быдло (boors), которое вольно лелеять свою бесславную трусость в глубинке. Я постоянно нахожусь в центре всего этого, и за все время только одно окно разбилось на Примроуз-хилл... Мы выстояли против блицкрига, и теперь это глупое поведение роняет нас в глазах всего мира». Он не двинется из дому до самой смерти.

В биографических очерках обычно пишут, что Уэллс в годы войны сидел дома, забытый и никому не нужный. Это утверждение основывается на словах нескольких людей: Маккензи (которые, в свою очередь, основываются на дневнике Беатрисы Уэбб), Моэма, Оруэлла, Локкарта, Майского, Нины Берберовой. Они считали, что Уэллс никому не был интересен. Были, правда, другие люди, числом не меньше — Грегори, Сэнджер, Пристли, Джулиан Хаксли, Чарлз Перси Сноу, Суиннертон, Рассел, — которые так не считали, но их мнение почему-то игнорируется. А между тем Уэллс в 1942–1943 годах был, как и прежде, нарасхват. Газеты, британские и американские, требовали его статей. Не

было ни одного крупного антивоенного митинга, на который его бы не пригласили. До лета 1942-го он вел привычную жизнь человека общественного и светского, обедал в Реформ-клубе, ходил в гости, в театр. Потом ему стало трудно двигаться; тогда гости стали приходить к нему. Он обсуждал Аристотеля с политологом Эрнестом Баркером, проблемы современной физики с профессором Лондонского университета Эдвардом да Коста Андраде, реформу школьного образования с Ричардом Батлером, министром образования в правительстве Черчилля (в 1944-м он провел закон о бесплатном среднем образовании), реформу здравоохранения с лейбористом Анейрином Бивеном. За его внимание сражались лейбористы, коммунисты, «Комитет-1941».

Он был главным участником кампании по распространению во всем мире текста декларации Сэнки и добился, что она была переведена на 23 языка (включая хинди, бенгали, йоруба и зулу) и распространилась в сорока странах; он привлек к агитации за декларацию Джона Пристли, Яна Масарика, по-эта-анархиста Герберта Рида, премьер-министра Южно-Африканского Союза Яна Христиана Смэтса (единственного в мире человека, чья подпись стоит и под уставом Лиги Наций, и под Уставом ООН), председателя Всемирной сионистской организации и будущего президента Израиля Хаима Вейцмана и кучу другого народу. Начиная с середины 1943-го Ричи Колдер, главный союзник Уэллса по распространению декларации, отошел от этого дела, и вся организационная деятельность легла на плечи Эйч Джи и нескольких его секретарш. Он жаловался на усталость, говорил, что его «все бросили», переживал минуты отчаяния, но работу не прекращал. Несмотря на неудачу с Успенским, он вновь пытался приспособить к своему делу русских, в частности, Александру

Коллонтай, которая была в то время советским послом в Швеции (он был знаком с ней через Литвиновых и Майского). Сам Майский уже уехал и его заменил Ф. Т. Гусев, с которым у Уэллса никаких отношений не возникло. Но в 1941-м у Эйч Джи появился «свой человек» в советском посольстве: Эрнст Генри стал редактором англоязычной газеты «Советские военные новости». Уэллсу казалось, что Генри — самый подходящий человек для распространения его идей. Он в общем не ошибся: Генри впоследствии, вернувшись в СССР, стал почти что диссидентом (известно его письмо Эренбургу, в котором он разругал Сталина в таких выражениях, которые у нас никому и не снились)<sup>[121]</sup>, но во время войны, конечно, он не мог выполнить просьбу Уэллса, да и не пытался.

Летом 1942-го редакция Би-би-си предложила Уэллсу вместе с Грегори, Хаксли и генетиком Джеком Холденом принять участие в серии радиопрограмм на тему «Место человека в природе». Эйч Джи сообщил, что темой его выступления будет охрана полезных ископаемых, в особенности фосфатов. Редакторы, хорошо его знавшие, не поверили, что он способен даже в речи о фосфатах обойтись без разговора о правах человека и критики монархии, и поручили Хаксли проконтролировать содержание речи. Уэллса это обозлило — он уже восемь лет состоял членом Лиги за свободу радио, которая боролась против цензуры, но Хаксли удалось его смягчить. Он согласился переделать несколько фраз, зато потребовал, как обычно, обед, виски с содовой и оркестр. Неизвестно, был ли тому причиной виски или Уэллс под конец жизни стал первоклассным оратором, но выступление, состоявшееся в январе 1943-го, получилось очень зажигательным и вызвало бурю одобрительных откликов.



Получив степень доктора литературы, Уэллс сказал, что предпочел бы степень доктора естественных наук; то были не пустые слова. В 75 лет он написал и представил в Лондонский университет диссертацию по теме «О влиянии жизненных условий на продолжительность индивидуальной жизни высших позвоночных, в особенности вида *Homo sapiens*». В этой работе, написанной на стыке биологии, антропологии и истории, с использованием теорий Юнга и Павлова, анализировались происхождение и развитие человека и ставился вопрос, как выжить виду *Sapiens* (в научной работе, в отличие от публицистики, он скрепя сердце соглашался признать за нами это имя).

В начале 1943-го докторская степень была получена; следующий шаг для ученого — избрание в члены Королевского научного общества. Грегори и Джулиан Хаксли, написавшие благоприятные отзывы на диссертацию, предупреждали Эйч Джи, что его экстравагантные политические взгляды и в особенности жестокая критика британской монархии могут помешать избранию. Так и вышло: его не приняли. Он был разочарован, чувствовал себя очень плохо. Но тосковать было некогда. Он участвовал во всех мероприятиях, проводимых Британской ассоциацией за развитие науки. Он подружился с Холденом, хотя тот и был твердолобым марксистом, и проводил много времени в дискуссиях с ним. Для своих семидесяти пяти это был чрезвычайно активный человек. И то обстоятельство, что он не был интересен Моэму (который, впрочем, регулярно с ним обедал), Беатрисе Уэбб (которая постоянно ему писала и высказывала свое мнение о каждой его новой книге) или Оруэллу (который вступил с ним в содержательную дискуссию), еще не значит, что он не был интересен никому.

В апреле 1943-го умерла 85-летняя Беатриса (муж переживет ее на четыре года). За несколько лет до

этого Эйч Джи писал ей: «Мы растратили слишком много времени на препирательства друг с другом вместо того, чтобы объединиться против общего врага»; Беатриса ответила, что не считает различия между ними столь уж существенными. Теперь вдовец Уэллс писал вдовцу Уэббу: «Не могу выразить, как я расстроился, узнав о Вашей потере... Единственное, что меня хоть отчасти утешает — это то, что мы успели забыть наши разногласия и мои отношения с вами обоими вновь стали полны дружеского тепла и восхищения». Летом, узнав, что болен Шоу, Уэллс в письме врачу Робину Лоуренсу просил его осмотреть старого друга-врага, невзирая на ненависть, которую тот питал к докторам. Шоу от услуг Лоуренса отказался. А в сентябре Уэллс получил от него письмо, в котором сообщалось о смерти Шарлотты. Из тех, с кем Эйч Джи был близок с юности, остались только Элизабет Хили, Ричард Грегори и брат Фред — они, как и Шоу, переживут его на несколько лет. (М. И. Будберг доживет до 1974 года, другие близкие люди — Фрэнк Суиннертон, Эмбер Ривз, Ребекка Уэст — до 1980-х, но они принадлежат к другому поколению.) Он не был заброшен — его постоянно навещали дети, невестки, Мария Игнатьевна (внуков к нему не пускали из-за опасности бомбежек: в нескольких домах на Ганновер-террас воздушная волна выбила двери и окна), — и не был никому не нужен: вел громадную переписку, писал, выступал, но он чувствовал себя одиноким, как любой старик, переживший почти всех ровесников.

Он смягчился по отношению к старым товарищам, но нельзя сказать, что его характер в целом помягчел — он остался сварливым и желчным. К концу 1943-го он все реже выходил из дома, предпочитая отдыхать на скамеечке в саду. Почти все его соседи из-за бомбежек покинули Лондон (не их ли он величал «быдлом?»). Один сосед, Мур, предоставил свой дом под общежитие

Армии спасения. Эйч Джи вообще не любил религиозных организаций, считая их безбожными, а псевдо-военная атрибутика армии его просто бесила; он придрался к тому, что на доме установили большую вывеску — это было запрещено условиями арендного договора и подвергало всю улицу опасности. Вместе с другим соседом, Харрисоном, он подал петицию в суд; на Мура наложили штраф, он его выплатил, но вывеску не убрал. Война перекинулась в газеты, репортеры бегали за комментариями то к Уэллсу, то к Муру (который сам на Ганновер-террас не жил), то к содержательнице общежития леди Синклер. Одному из журналистов Эйч Джи заявил, что, если бы он сам выкрасил свой дом в красный цвет и повесил на нем плакат «Да здравствует Сталин и диктатура пролетариата», это было бы лучше, чем то, что сделал Мур. Дело кончилось тем, что суд предписал Муру заменить большую вывеску на маленькую.

В самый разгар конфликта с Армией спасения Эйч Джи объявил войну другому священному воинству — римской церкви. Он опубликовал в издательстве «Пингвин» брошюру «Cruh Ansata:<sup>[122]</sup> обвинение римско-католической церкви», вызвавшую бурю возмущения в католической прессе. Каковы были подлинные отношения Римской католической церкви с фашистскими режимами, как вел себя папа Пий XII — вопрос спорный, стороны доказывают с одинаковой убедительностью как то, что фашисты преследовали католиков, так и то, что они друг друга поддерживали. Ограничимся констатацией того, что об этом думал Уэллс. Он свою позицию выразил очень жестко: «Мало того что Рим — источник и центр распространения фашизма, но это также место нахождения римского папы, который, как мы докажем, был открытым союзником нацистско-фашистско-синтоистской оси. Он

никогда не поднимал свой голос против этой оси, он никогда не осуждал убийства, жестокость и отвратительную агрессию, которую она развязала против человечества, и те призывы к миру и прощению, с которыми он выступает сейчас, явно имеют целью спасти этих преступников, чтобы они могли снова начать свой поход против человечества». Римская церковь — оплот всего реакционного и низменного, прародительница Религиозных войн и инквизиции, борющаяся с просвещением; она не имеет ничего общего с христианством, «унаследовав суеверия и жестокость той системы, которую пытался разрушить Христос»; она учит нетерпимости, насилию и жестокости и «поддерживает любую тиранию, которая поддерживает ее».

Уэллс советовал англичанам, как вести себя по отношению к представителям римского католицизма: «Открыто выступайте против них, пишите, бросайте им вызов. <...> Объявите им бойкот так же, как они всегда бойкотировали либеральную мысль. Протестуйте против учреждения фондов по содержанию католических школ, против распространения католической литературы, против выступлений иезуитов в прессе. Будьте нетерпимы в борьбе с нетерпимостью». Он также вновь потребовал, чтобы британская авиация бомбила Рим: положив жизнь на борьбу за мир, в военные времена он становился весьма воинствен. В тот же период он опубликовал статью «Взрыв патриотизма», в которой писал, что, хотя по-прежнему ратует за «Космополис», но также «до глубины души гордится тем, что является англичанином» — слова, казавшиеся в его устах немыслимыми. Он перечислял великих англичан и напыщенно вопрошал: «Могла ли какая-нибудь другая страна породить столь прекрасную россыпь гениев?!» Чего только война не делает с людьми...

В течение 1943-го и первой половины 1944 года ему становилось то хуже, то лучше; он затеял писать вещь, которую считал предсмертной. Книга «От 42-го к 44-му: современные мемуары» (42 to 44: A Contemporary Memoir) получилась хаотичной. Кроме избранных статей двух последних лет в нее были включены наспех написанные эссе на различные темы — о природе человеческой жестокости, о подводных лодках, о жизни Жюль де Рэ и, разумеется, о Декларации прав человека. Она была издана «Сикер энд Варбург» в марте 1944-го; автор заявил, что книга дрянь и ему не хочется ее открывать, и стал перерабатывать ее в другую (или вторую часть этой же — он еще не решил; в итоге этот сборник под рабочим названием «Раздражения» не был опубликован). Ему было все труднее работать. К лету 1944-го он стал малоподвижен, плохо видел, почти оглох, боли постоянно мучили его, к прежним болезням добавился цирроз печени. Узнав об этом, Маргарет Сэнджер написала ему и вторично предложила переехать в Америку. Брат тоже предлагал переехать к нему. Они боялись за его жизнь не только из-за болезни.

В июне советские войска перешли в наступление по всей линии фронта, а силы США, Великобритании и Канады высадились в Нормандии, но Германия не собиралась сдаваться. Через пять дней после того, как в Нормандии встретились два фронта, немецкое командование отдало приказ сбросить на Лондон ракеты «Фау-1». Дальность полета более 250 километров, пять тонн взрывчатки, пульсирующий реактивный двигатель, наведение по радиолучу — этой штуки даже Уэллс не придумал. С июня 1944-го по март 1945-го немцы запустили около одиннадцати тысяч «Фау»; погибло несколько тысяч лондонцев. Однако Уэллс ответил Сэнджер: «Несколько выбитых стекол — пустяки для тех из нас, кто выдержал бомбежки в 1940-

м. <...> Сейчас я привязан к Лондону Пока идет эта религиозная война (то есть кампания в католической прессе против „Cruх Ansata“. — М. Ч.), я не имею права уехать, чтобы не дать церковникам повода сказать, будто я сбежал в поисках безопасного укрытия». Английские летчики опять не подвели — истребители (и зенитная артиллерия) успешно сражались с «Фау». А потом союзники высадили десант во Франции и 25 августа вошли в Париж, который уже контролировали отряды де Голля... Дожить бы только!

Он почти не выходил. Его пригласили председательствовать на обеде в Черчилль-клубе — засобирался, уверял домашних, что пойдет, но почувствовал себя плохо и в раздражении продиктовал ответ: «Так как м-р Уэллс намеревается умереть в ближайшие полгода, а работа, которой он сейчас занят, отнимает у него все силы, он с сожалением вынужден отклонить Ваше приглашение». Он был очень слаб. С весны 1944-го при нем постоянно дежурили сиделки, дневная и ночная. Еще год назад он ходил гулять в Риджент-парк или в зоопарк, расположенный неподалеку, а теперь это было ему недоступно — он мог только посидеть в своем саду. Сад оказался совсем рядом, и Дверь была дверью его дома. Он успел это понять, и не прошел мимо, и написал последнюю светлую книгу о том, что увидел в саду: «Счастливое превращение: сон о жизни» (The Happy Turning: A Dream of Life: The fantasies of dreamland go an immeasurable way beyond what is now conceivable and practical).

Этот сад называется Dreamland — словосочетания «сказочная страна» или «страна чудес» не могут передать всех оттенков этого слова, ибо dream — это и «мечта», и «фантазия», и «сон». Он находится по адресу Ганновер-террас, 13, его описание в деталях совпадает с реальным садиком у дома — огромное фиговое дерево, круглые клумбы, на которых Эйч Джи и его

невестки всю войну высаживали цветы, но в нем не действуют законы природы, в нем всегда лето и никто не умирает. В нем нет социализма, зато есть мягкое английское солнце, прохладная луна, и кошки, и цветы, и прекрасные женщины. В этом саду — в этом сне — он снова стал ребенком и одновременно оставался взрослым, здоровым и сильным. В этом саду, в этом сне, он гуляет и беседует с греческими мыслителями и поэтами Возрождения. И еще у него появился друг, а зовут друга Иисус Христос. «Как и все в Dreamland, его очертания расплывчаты, но его личность после Счастливого Превращения так же определена, как и моя».

Иисус поведал свою историю: возможно, его отцом был Иосиф, а может, и римский солдат, неважно; сам он считал себя евреем и выступал против римского угнетения. Он вырос в неграмотной среде, но много читал и думал. Он никогда не совершал чудес, которые ему приписали евангелисты, а просто боролся за справедливость для всех людей. Он ненавидит святого Павла и священников, которые, прикрываясь его именем, творят несправедливые дела. Вот что он говорит своему другу:

«— Но быть распятым — самое непоправимое, что можно было сделать. Понять, что ты проиграл, вместе с твоими бедными глупыми учениками и со всем человечеством, что Бог в тебе оставил тебя одного — это было предельной мукой. Помнится, даже на кресте я кричал что-то об этом.

— Эли, Эли, лама савахфани?<sup>[123]</sup> — спросил я.

— Неужели кто-то это записал? — спросил он.

— Разве ты не читал Евангелие?

— О Боже, нет! Как я мог? Меня распяли задолго до всего этого!»

И так они прогуливаются и беседуют каждый вечер о том о сем, и задают друг другу вопросы, и спорят, и приходят к согласию, как Га-Ноцри с Пилатом в финале «Мастера и Маргариты», и им хорошо...

\* \* \*

«Счастливое превращение» печаталось в газете «Лидер» в октябре 1944-го, а в начале следующего года вышло в издательстве «Хайнеман», как и самая последняя книга Уэллса — «Разум на краю предела» (Mind at the End of its Tether). Это не самостоятельный текст, а дополнение к «Краткой истории мира»; в нем Эйч Джи в последний раз предупредил о том, что нас ждет: «Человеческий род стоит перед окончательной гибелью. Это убеждение есть результат того, что наше существование и поведение проистекали из нашего прошлого существования и поведения, они были основаны на опыте прошлого и не учитывали явлений, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Даже не слишком наблюдательные люди начали замечать, что нечто очень странное вошло в нашу жизнь, которая уже не будет тем, чем была. Это „нечто“ — элемент „устрашающей странности“ — пришло от внезапного откровения, что существует предел эволюции». «Ежедневно приходят в жизнь тысячи злых, злостных, порочных и жестоких людей, решивших изничтожить тех, у кого еще остались дурацкие добрые намерения. Замкнулся круг бытия. Человек стал врагом человека. Жестокость стала законом. И теперь сила управляет миром, сила враждебная всему тому, что старается уцелеть. Это — космический процесс, который ведет к полному разрушению». «Перед лицом нашего всеобщего несоответствия изменившимся условиям жизни человек должен идти либо вверх, либо вниз, и



пока все шансы за то, что он падет и погибнет. Если же он двинется вверх, то ему потребуется так сильно адаптироваться к новым условиям, что он перестанет быть человеком. Обычный человек — уже на краю своего предела».

Альтернатива гибели Ното есть — стать более совершенным видом, но и он потом все равно погибнет, и Земля, и Вселенная тоже. Как этот пессимизм вяжется с оптимизмом «Счастливого превращения»? Да никак, но ничего удивительного тут нет: Уэллс всю жизнь метался от очарования к разочарованию. В данном случае можно пытаться объяснять это тем, что на Западном фронте после успешной осени 1944-го дела застопорились, можно — усиливавшимися болезнями. Энтони Уэст впоследствии, комментируя «Разум на краю предела», утверждал, что его отец «осознал, что был не прав, отказавшись от артистизма, искусства, художественности ради социологии», и потому впал в отчаяние. Все эти причины могли иметь место. Но вообще-то он всегда был такой: утром — одно, вечером — другое. В феврале 1945-го он писал Элизабет Хили: «Я чувствую себя сносно, но меня очень раздражают и угнетают общественные занятия. Я провожу часы в раздумьях о том, как сделать ремонт в доме, чтобы отвлечься от мыслей о людской глупости. Бомбы падают и падают, но меня они не достанут». И в это же время он набрасывал тексты предсмертных писем к Элизабет и другим близким, которые так и не были отправлены.

Когда Германия капитулировала, Эйч Джи был слишком слаб и не мог выйти на улицу, чтобы принять участие в празднествах (и слава богу, а то бы ликующие «пролетарии» вновь рассердили его), но через несколько дней ему вдруг стало лучше. В мае он сообщал Хили, что может спускаться в сад и немного гулять, что погода стоит чудесная: «Как бы я хотел

передать тебе кусочек моего сегодняшнего настроения...» Именно тогда он написал ироническую автобиографию «Подробное жизнеописание одного литературного мошенника», которая была опубликована в июльском номере «Корнхилл мэгэзин» под псевдонимом «Уилфред Б. Бетгерейв». Беттерейв Уэллса не пощадил — именно его словами мы открывали первую главу биографии. «Уэллс заявляет (не знаю, насколько можно верить этому заявлению), будто встречался со множеством коронованных особ и никогда не чувствовал того благоговейного трепета, какой испытывают нормальные люди в присутствии помазанников Божьих. Вероятно, он раболепствовал, но потом рассказывал выдумки о своей негибкости». «Уэллс является, по общему мнению всех почтенных инстанций, лицемером и мошенником: несмотря на социалистические убеждения, продает многотысячные издания собственных сочинений по огромной цене и под хитроумным предлогом отказывается делать скидку своим товарищам-пролетариям».

Он был в приподнятом настроении в начале лета, когда проходили парламентские выборы. В русскоязычных биографических очерках можно прочесть, что он голосовал за коммунистов. Это не так, но в конце мая в «Дейли уоркер» было опубликовано его письмо, где говорилось, что он поддержал бы коммунистического кандидата, если бы таковой был выставлен по Мэрилебонскому избирательному округу. Отнести эту внезапную симпатию к коммунистам на счет взбалмошности — или были причины?

Были: во-первых, у коммунистической партии Великобритании с началом войны от коммунизма осталось одно название. Она стала социалистической партией (но не могла так называться, поскольку Социалистическая партия тоже существовала), отреклась от классовой борьбы и революций, объявила

себя союзником всех антифашистских сил, поддержала Черчилля, выступала против забастовок и на проходивших в 1943 году довыборах по нескольким округам поддерживала лейбористов<sup>[124]</sup>. Уэллс в своем письме говорит именно об «обновленной коммунистической партии».

Во-вторых, еще до завершения войны стало ясно, что британское правительство шагать рука об руку с Советским Союзом не собирается, а видит в нем врага. Черчилль делал соответствующие высказывания задолго до знаменитой Фултонской речи, и Уэллс в декабре 1944-го в очередной раз сменил по отношению к премьеру милость на гнев, опубликовав в «Дейли трибьюн» статью с обвинениями в диктаторстве и требованиями отставки: «Или мы покончим с Уинстоном, или он покончит с нами». Рузвельт умер 12 апреля; сменивший его Трумэн занял чрезвычайно резкую позицию по отношению к СССР «Наши» тоже не имели намерения дружить, но Уэллс всю вину возлагал только на «своих». «Мне известно, что сейчас людям исподволь внушают, что следующая война будет войной Англии и Америки против России», — писал он в «Дейли уоркер». «Или социализм, или дьявол», — заявил он. Социалисты чтили Маркса — к ним путь заказан. А больше «левых» нет, одни коммунисты. Так что вполне логично, что он отдал бы голос кандидату от партии, продолжавшей по недоразумению называться коммунистической. Но такового в его округе не было. Он поддержал на выборах независимого кандидата, молодую женщину Мэри Стокс, которую ему рекомендовал Уильям Беверидж, директор Лондонской школы экономики и политических наук. Она не была избрана. В целом победу на выборах одержали лейбористы, получившие почти 50 процентов голосов, и премьером стал их лидер Эттли.

Япония продолжала военные действия; можно гадать, как поступил бы покойный Рузвельт, но Трумэн сделал то, что считал нужным: на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Бомбардировки, предсказанные Уэллсом в «Освобожденном мире», произвели на него жуткое впечатление; подтверждалась его мысль о гибели человечества. Приехал репортер с Би-би-си, просил высказаться о бомбе — он пытался, но голос уже не слушался его. Тем не менее он загорелся идеей антивоенного фильма. Начал работать над сценарием, просил Марджори вести переговоры с Кордой. Да, гибель неизбежна, писал он в предисловии к сценарию, но он не понимает, «почему человечество не может перед лицом опасности вести себя с достоинством, оказывая друг другу взаимную поддержку, без истерики и бессмысленных обвинений...».

Сценарий не был написан: в августе Эйч Джи писал Элизабет Хили, что «давно не чувствовал себя таким здоровым и сильным», а в сентябре ему снова стало хуже. Его лечащий врач Хордер сообщил домашним: рак кишечника, жить осталось меньше года. Марджори и Мария Игнатьевна хотели скрыть это от больного, но Джип настоял, чтобы ему сказали правду. Диагноз оказался ошибочным, его доконал диабет, но прогноз — верным. Он почти не слышал, практически ослеп, ноги отказали, часто он не узнавал окружающих и засыпал посреди разговора. Но было бы неверно говорить, что его последний год прошел во мраке. Он прошел так же, как последние месяцы Кэтрин.

Он не мог читать — ему читали вслух; он не мог выйти в сад — его выносили, закутанного в пледы; дети, невестки и Мария Игнатьевна дежурили подле него. К нему приходили Моэм, Грегори, Пристли, Суиннертон; брат Фред, Элизабет Хили и Маргарет Сэнджер с любовью писали ему, репортеры не оставляли его в

покое. Он следил за Нюрнбергским процессом и отправил в адрес трибунала несколько запросов, требуя подтверждения или опровержения обвинений, выдвинутых в адрес Троцкого на московских процессах: якобы тот был агентом гестапо. (На запросы никто не отвечал.) Временами у него бывали улучшения. Литератор Комптон Маккензи, навещавший его за два месяца до смерти, вспоминал: «Он выглядел лучше, чем я ожидал, и для человека, которому было почти восемьдесят, выглядел поразительно молодым». Они пили чай, потом сиделка принесла газету; Эйч Джи просмотрел ее и отбросил: «Я тут недавно перечел свою статью пятидесятилетней давности. Я бы и сейчас в ней не изменил ни слова».

После себя он оставлял приблизительно 60 тысяч фунтов<sup>[125]</sup> — после того, как еще при жизни им были сделаны значительные выплаты Марии Игнатьевне, дочери Анне, сиделкам, Британской ассоциации развития науки, Фонду борьбы с диабетом и Фонду борьбы с раком, — и авторские права. По завещанию твердые суммы предназначались всей прислуге и сиделкам, а основное наследство делилось в равных долях между детьми, Марией Игнатьевной и Марджори. Авторские права на «Науку жизни» и «Схему истории» наследовал Джип, права, связанные с кинематографом, — Фрэнк.

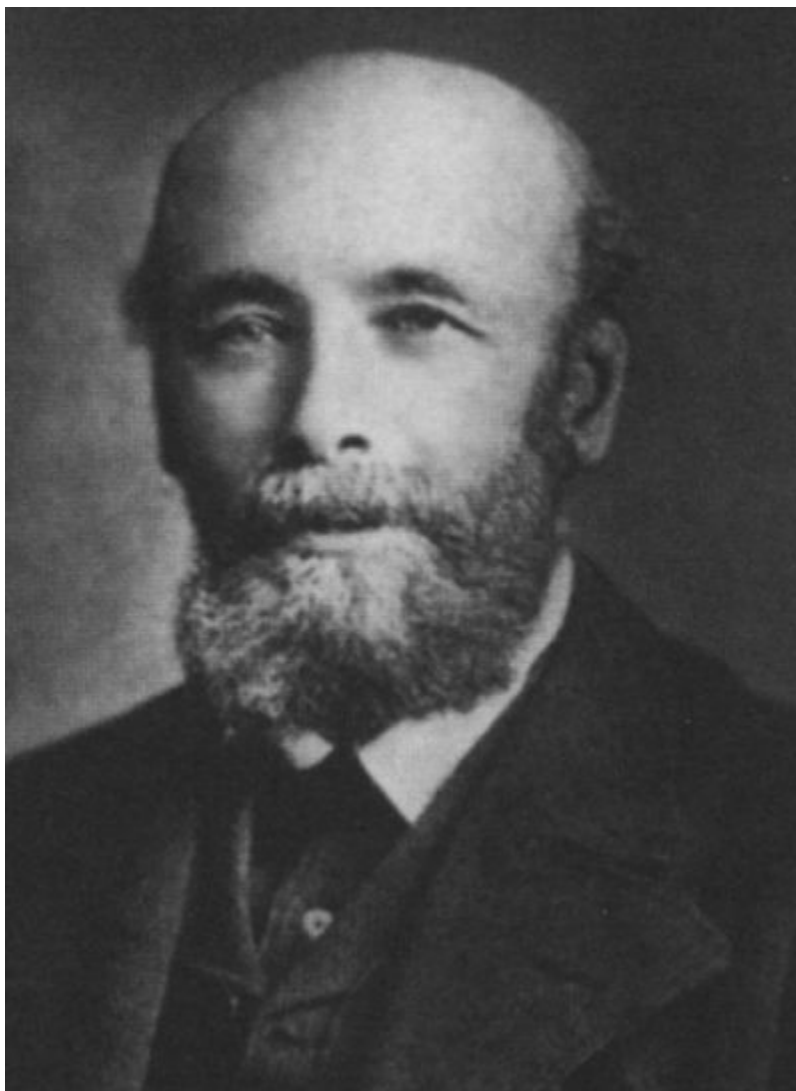
В первых числах августа 1946 года он почувствовал себя так хорошо, что начал вставать. Родные обрадовались. 13 августа в три часа пополудни он отослал сиделку отдыхать, сказав ей, что подремлет. Во сне, в четыре часа с минутами, он в последний раз прошел через Дверь. Его больное тело, которое он не любил и в котором больше не нуждался, кремировали 16 августа; надгробную речь произнес Пристли. Год спустя Джип и Энтони развеяли прах из урны над

морем. Теперь полагается перечислить, кто из великих что сказал после его смерти и в какой газете что написали. Но, может, обойдемся без этого? Он бы предпочел, чтобы мы, прочтя его жизнеописание, задумались не о нем, а о себе.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ



***Мать Уэллса — Сара***

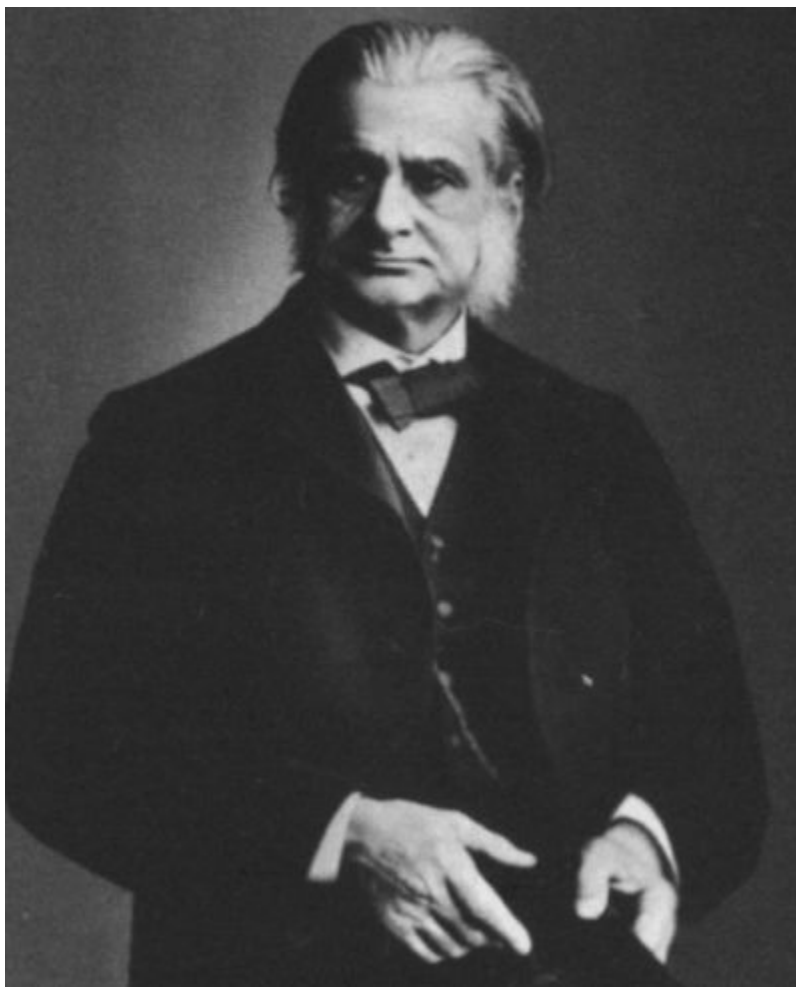


***Отец Уэллса — Джозеф***





***Берти десять лет***



***Кумир юного Уэллса — естествоиспытатель Томас Гексли***



***Герберт в Нормальной школе Сауз-Кенсингтона***



***В этом лондонском доме Уэллс написал свои  
лучшие романы***



***Писатель в 1895 году***



**На этом рисунке Уэллс с обычным для него юмором изобразил путь молодого литератора к успеху**



***Первые книги Уэллса***



***Первая жена — Изабелла Уэллс***





***Вторая жена — Эми Кэтрин Роббинс, она же Джейн***



***Здоровый образ жизни — прогулки с женой на лодке...***



***...и на велосипеде***



***Сыновья Уэллса — Фрэнк и Джип***



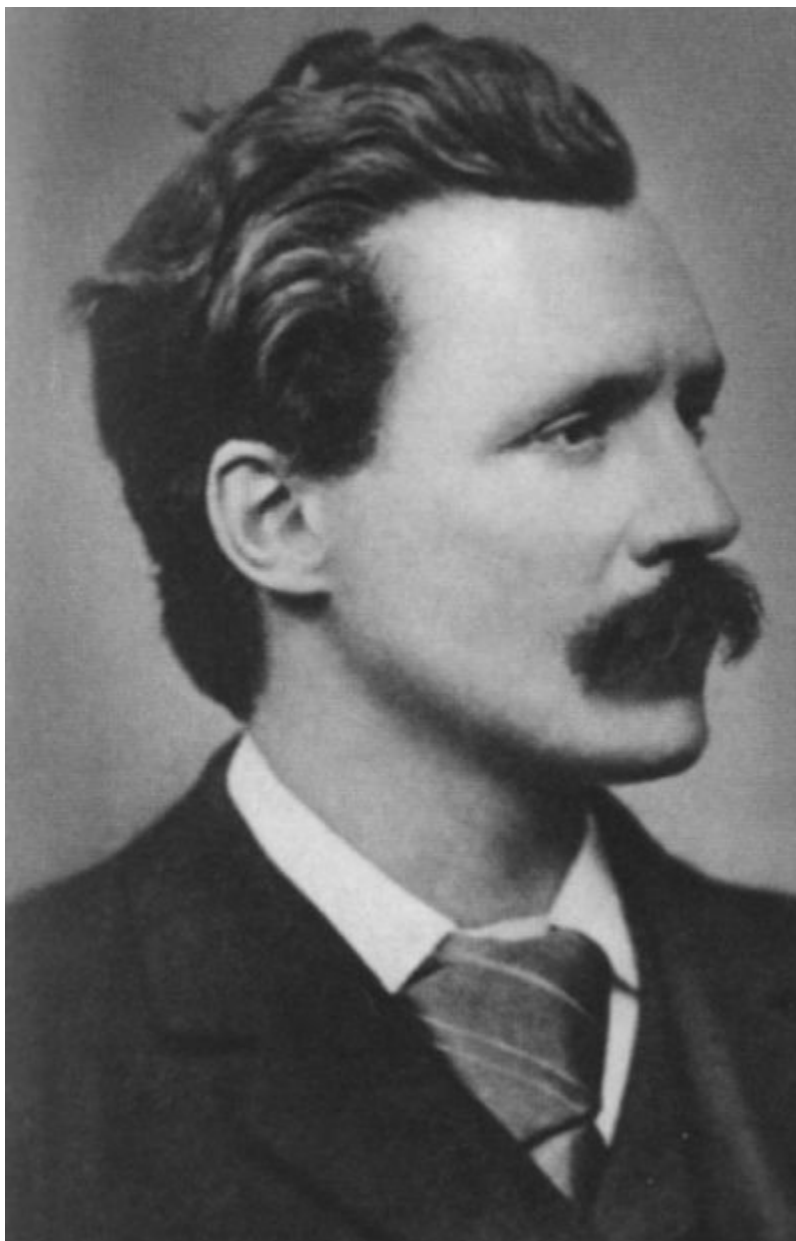
***Уэллс лично придумывал игры для своих детей и строил для них декорации***



***Уэллс в 1900 году — уже знаменитый писатель***



***На этом рисунке Эйч Джи изобразил себя за работой***



***Джордж Гиссинг***



***Арнольд Беннет***

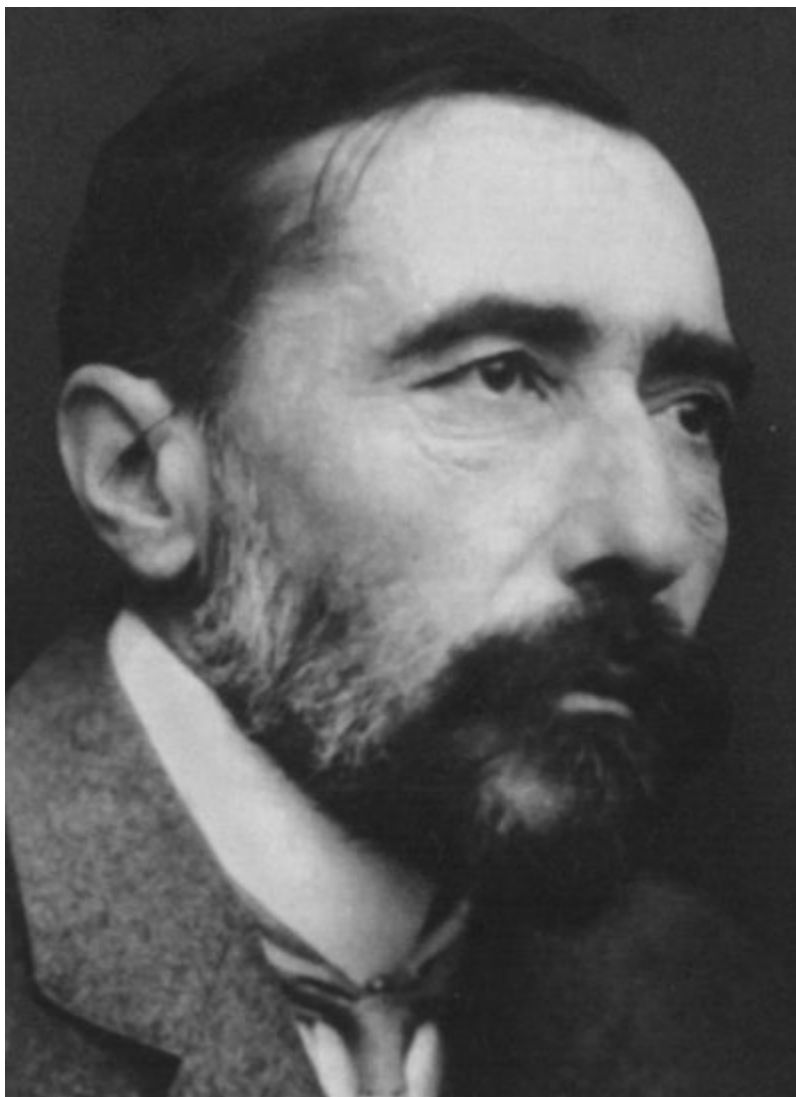


***Сидней и Беатриса Уэбб***





***Бернард Шоу***



***Джозеф Конрад***



***Дом в Сангейте, где Уэллсы обосновались в 1901 году***



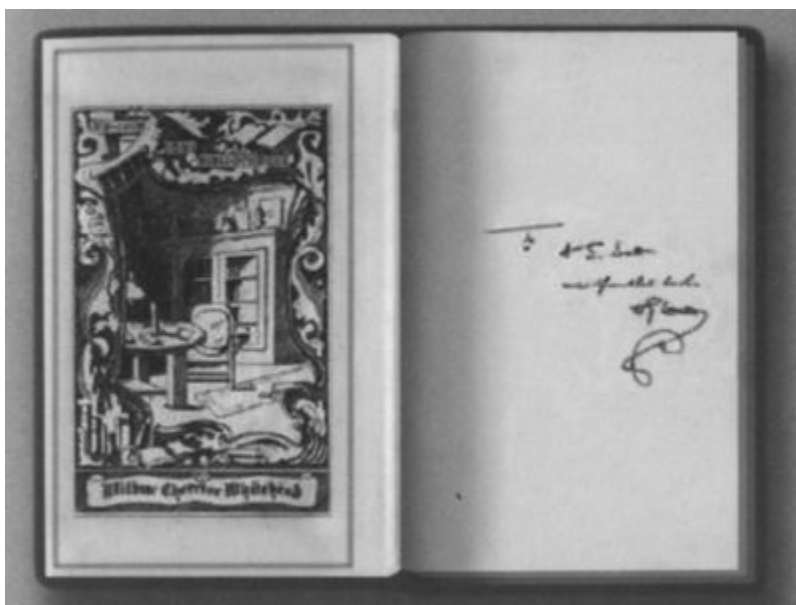
***В кругу семьи***



***Последнее фото с матерью. 1905 г.***



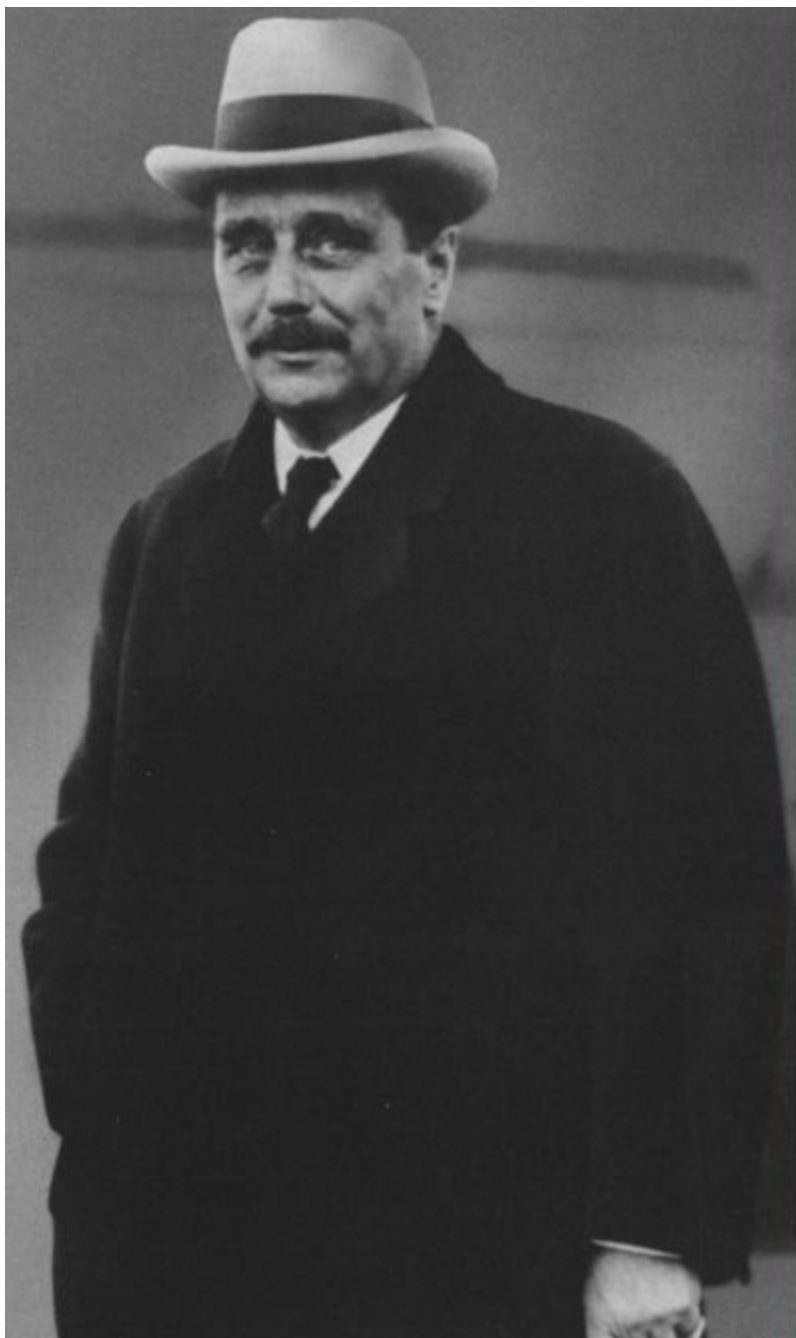
***Джейн с сыновьями***



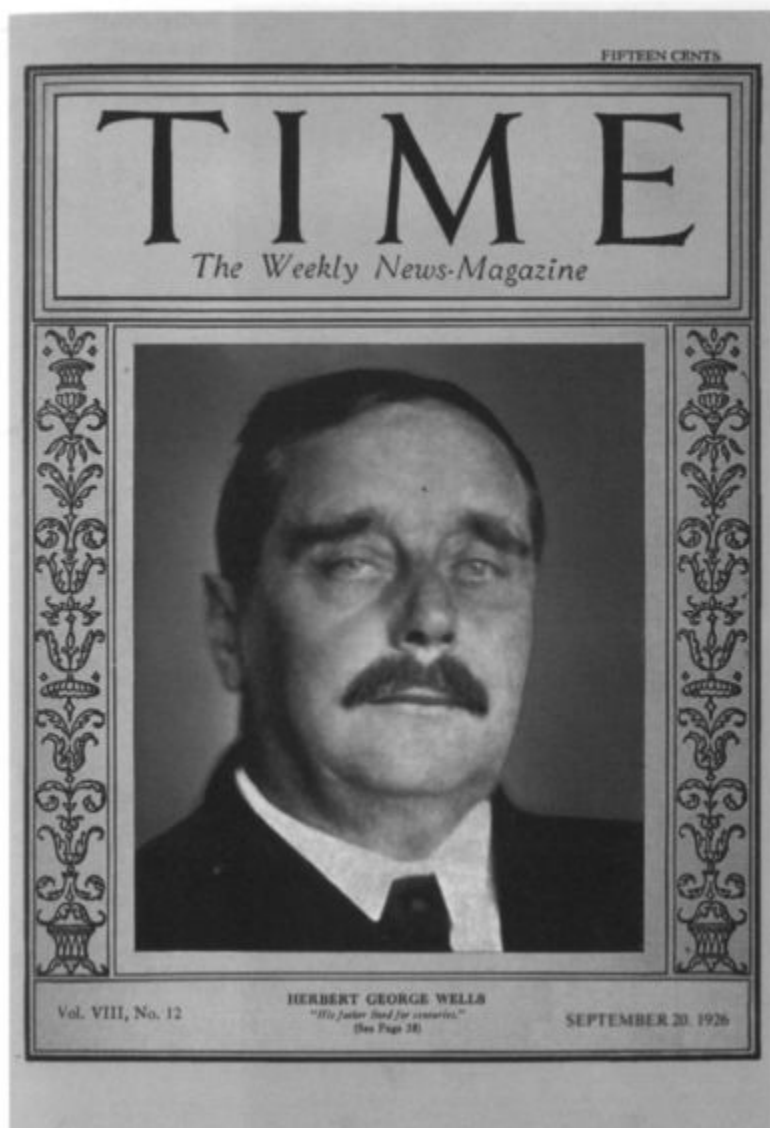
***Автограф Уэллса на одном из первых изданий  
«Машины времени»***



***В Сангейте с семьей и гостями***



***Эйч Джи на Вашингтонской конференции по  
разоружению. 1921 г.***

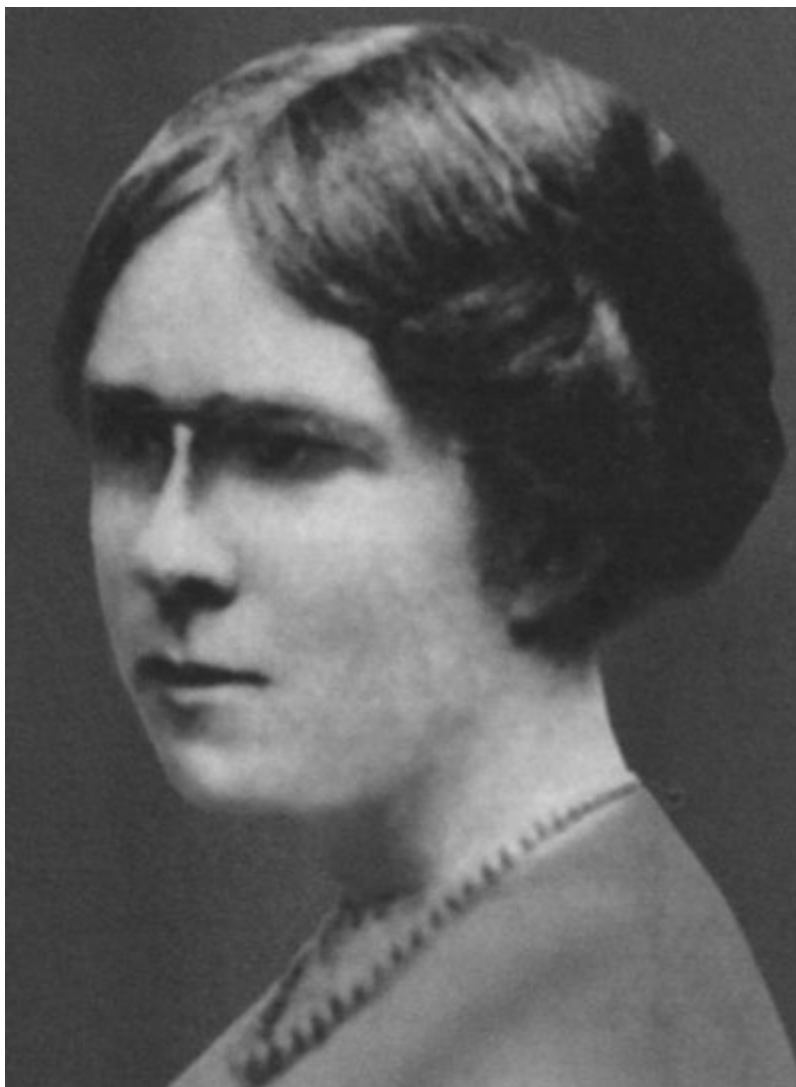


**Уэллс — властитель дум. Обложка журнала «Тайм». 1926 г.**





***Эмбер Ривз с дочерью Анной Джейн, рожденной от Уэллса***



***Дороти Ричардсон***



***Элизабет фон Арним***



***Ребекка Уэст***



***Р. Уэст с сыном Уэллса Энтони. 1916 г.***



**«Нет письма от Пантеры». Автошарж Уэллса.  
1921 г.**



***Уэллс в 1910-е годы***



***Маргарет Сэнджер***





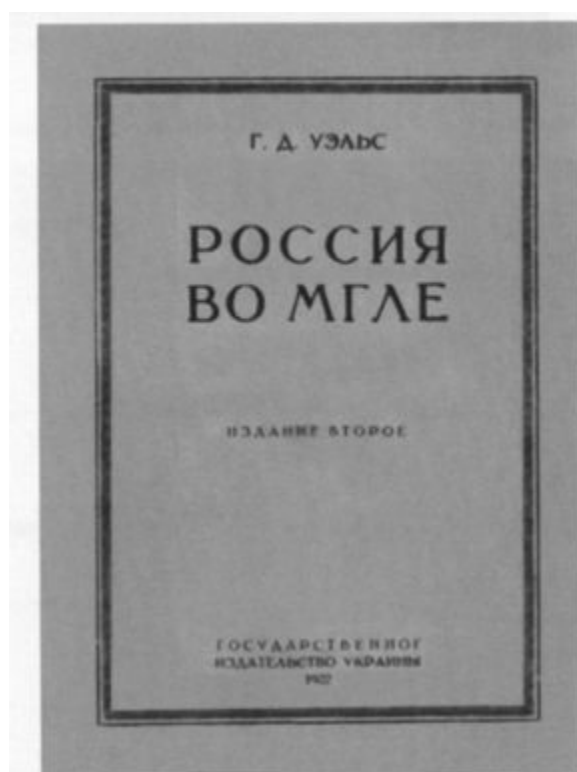
***Уэллс и его сын Джип в советской России***



***С Горьким и Марией Будберг. Петроград, 1920 г.***



***Беседа с Лениным***



***Обложка книги «Россия во мгле»***



***На собрании Британской писательской ассоциации.  
1923 г.***



***Демонстрация индийцев, протестующих против  
выхода книги Уэллса «Краткая история мира»***



***На пороге своего дома. 1922 г.***



***Выступление на Би-би-си. 1929 г.***



***Одетта Кюн***



***С юной читательницей в Кембридже. 1930 г.***



***Уэллс и его однофамилец — американский  
режиссер Орсон Уэллс...***





***...вскоре потрясший Америку радиопьесой по роману «Война миров»***



***Писатель консультирует актеров, играющих в фильме «Облик грядущего». 1936 г.***



***Афиша одной из первых экранизаций Уэллса — голливудской картины «Машина времени»***



***Эйч Джи с одинаковым любопытством общался с  
кинозвездой Полетт Годар...***



***...и с австралийским утконосом***



***В дни немецких бомбежек Уэллс упорно отказывался покидать свой кабинет. 1940 г.***



***Карикатура, изображающая Уэллса как  
предсказателя будущего***



*Одно из последних фото писателя. 1946 г.*



## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА

**1866**, 21 сентября — в городе Бромли у Джозефа Уэллса и его жены Сары родился сын Герберт Джордж.

**1874-1880** — Герберт учится в школе Морли.

**1880** — ученик в магазине тканей в Виндзоре.

**1881** — помощник аптекаря в Мидхерсте.

**1881-1883** — продавец в магазине тканей в Саутси.

**1883-1884** — ассистент учителя в начальной школе в Мидхерсте.

**1884-1887** — студент Нормальной школы при Лондонском университете в Сауз-Кенсингтоне (отчислен после трех курсов). Первые попытки литературной деятельности. Знакомство с Фабианским обществом.

**1887-1888** — преподаватель Академии Холта в Северном Уэльсе.

**1888-1891** — преподаватель в школе Хенли в Килберне. Первая научная публикация.

**1890** — получение степени бакалавра естественных наук в Лондонском университете.

**1890-1893** — преподаватель в заочном колледже в Кембридже.

**1891** — брак с Изабеллой Мэри Уэллс, двоюродной сестрой.

**1892-1893** — написал и издал учебник биологии. Начало профессиональной журналистской деятельности.

**1895** — развод с первой женой и брак с Эми Кэтрин Роббинс. Публикация фантастических рассказов и первых фантастических романов: «Машина времени», «Чудесное посещение».

**1896** — переезд в Уорчестер-парк. Литературные знакомства. «Остров доктора Моро» и другие романы и рассказы.

**1898** — роман «Война миров». Первая поездка за границу — в Италию.

**1899-1900** — продолжает публиковать фантастику, научно-популярные статьи, публицистику. Первый реалистический роман «Любовь и мистер Люишем».

**1901** — родился сын Джордж Филипп. Первый футуристический трактат «Предвидения», сделавший Уэллса популярным. Светские и политические знакомства. Строительство дома в Сангейте и переезд туда.

**1903** — родился сын Фрэнк Ричард. Вступление в Фабианское общество.

**1904** — роман «Пища богов».

**1905** — реалистический роман «Киппс». Футурологический трактат «Со временная Утопия».

**1906** — первая поездка в США, знакомство с А. М. Горьким. Роман «В дни кометы», после которого популярность писателя приобретает скандальный характер.

**1908** — выходит из Фабианского общества. Главный философский трактат «Первое и последнее». Последний полноценный фантастический роман «Война в воздухе». Попытка издания журнала «Инглиш ревью». Связь с Эмбер Ривз.

**1909** — переезд из Сангейта в Лондон. Рождение дочери Анны Джейн (от Эмбер Ривз).

**1909-1911** — романы «Анна-Вероника», «Тоно-Бенге», «История мистера Полли», «Новый Макиавелли» и др. Первая книга для детей «Игры на полу». Начало литературной полемики с Генри Джеймсом.

**1912** — переезд в Эссекс. Знакомство с Ребеккой Уэст.

**1914** — первая поездка в Россию. Рождение сына Энтони (от Ребекки Уэст). Уэллс приветствует войну, занимает патриотическую позицию. Публицистическая работа для министерства пропаганды.

**1915** — философский роман «Бун», реалистические романы.

**1916** — поездка на фронт. Меняет свои взгляды на пацифистские — роман «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Начало «богостроительского» периода.

**1917** — пропаганда Лиги Наций.

**1918** — первый роман об образовании «Джоанна и Питер». Пропаганда новой религии, трактаты религиозного характера. Разочарование в Лиге Наций.

**1919** — работа над «Схемой истории» (учебник истории, первая часть фундаментальной трилогии «обо всем»). Последний религиозный трактат «Неугасимый огонь» — завершение «богостроительского» периода.

**1920** — вторая поездка в Россию, встреча с В. И. Лениным. Знакомство с М. И. Бенкендорф (Будберг). Книга «Россия во мгле».

**1921** — поездка в США, участие в Вашингтонской конференции по разоружению. Связь с Маргарет Сэнджер. Потеря интереса к религии.

**1922** — первая попытка участия в парламентских выборах (от лейбористов) — неудача.

**1923** — вторая попытка участия в выборах — неудача. Разочарование в политике. Футурологический трактат «Люди как боги».

**1924** — разрыв с Ребеккой Уэст, связь с Одеттой Кюн, фактический разрыв с женой, переезд во Францию. Повесть «Сон» — нетипичная утопия.

**1924-1926** — философский роман «Мир Уильяма Клиссольда», реалистические романы.

**1927** — смерть жены. Работа над продолжением трилогии «обо всем».

**1928** — трактат «Открытый заговор» и попытки создать группы единомышленников, которые на практике могли бы реализовать переустройство мира. Сатирический роман «Мистер Блетсуорси на острове Рэмпол».

**1929** — первая работа для кинематографа — «Король по праву». Первые выступления по радио.

**1930** — продажа дома в Эссексе, возвращение в Лондон. Роман о фашизме «Самовластие мистера Парэма».

**1931** — публикация второй и третьей частей трилогии «обо всем»: «Наука жизни» и «Труд, богатство и счастье человечества».

**1932-1933** — поездка в Испанию. Разрыв с Одеттой Кюн. Связь с М. И. Будберг. Начало работы над автобиографией.

**1933** — становится президентом ПЕН-клуба. Работа в кинематографе — «Облик грядущего».

**1934** — поездка в США, встреча с Ф. Д. Рузвельтом. Третья поездка в Россию, встреча с И. В. Сталиным.

**1935** — последний переезд — в дом на Ганновер-террас, Лондон. Идея Всемирной энциклопедии.

**1936** — почетная степень доктора литературы в Лондонском университете. Сложил с себя полномочия президента ПЕН-клуба. Пропаганда Всемирной энциклопедии.

**1937** — поездка в США. Повести и рассказы. Работа в Британской ассоциации развития науки.

**1938** — пишет роман о диктаторских режимах «Ужасный ребенок».

**1939** — поездка в Стокгольм, начало Второй мировой войны. Биолого-философский трактат «Судьба Homo sapiens». Поездка в Австралию. Начинает пропаганду Декларации прав человека.

**1940** — пишет антифашистские романы «Необходима осторожность» и «Малыши в темнеющем

лесу». Поездка в США (в последний раз покидает пределы Лондона).

**1942** — различные философские трактаты. Последняя футурологическая работа: «Феникс».

**1943** — полемика с Римской католической церковью.

**1944** — защитил докторскую диссертацию по биологии в Лондонском университете.

**1945** — последние книги: «Счастливое превращение» и «Разум на краю предела».

**1946**, 13 августа — смерть.

## **КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ**

### **Книги Г. Уэллса**

Уэллс Г. Собрание сочинений. Т. 1—15. М., 1964.

Уэллс Г. Опыт автобиографии. М... 2007.

Wells H. G. The Works. V. 1-28. London, 1927.

Wells H. G. The Story of a Great Schoolmaster: being a plain account of the life and ideas of Sanderson of Oundle. London, 1924.

Wells H. G. The Work, Wealth, and Happiness of Mankind. London, 1931. Wells H. G. The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution, London, 1928.

Wells H. G. The Outline of History. V. 1-2. London, 1971.

Wells H. G. The Last Books of H.G. Wells. London, 1982.

Wells H. G. The Complete Short Stories of H.G. Wells. London, 1998.

Wells H. G. A Short History of the World. London, 2000.

Wells H. G. Floor Games. London, 2004.

Wells H. G., ed. The Book of Catherine Wells. London, 1928.

Wells H. G. A comprehensive bibliography / A foreword by K. Martin. London, 1985.

### **Книги о Г. Уэллсе**

Берберова Н. Н. Железная женщина. М., 1991.

Бритиков А. Ф. Отечественная научно-фантастическая литература. Некоторые проблемы истории и теории жанра. СПб., 2000.

Волков Ф. Д. За кулисами Второй мировой войны. М... 1985.

Замятин Е. Герберт Уэллс. Л., 1922.

Кагарлицкий Ю. И. Вглядываясь в грядущее: Книга о Герберте Уэллсе. М., 1989.

Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс: Очерк жизни и творчества. М., 1963.

Кагарлицкий Ю. И. Уэллс, Дарвин, Хаксли // НФ: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М., 1974.

Левидова И. М., Парчевская Б.М. Дж. Уэллс. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке, 1898–1965. М., 1966.

Локкарт Р. Б. История изнутри. Мемуары британского агента. М., 1973.

Майский И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг. Ташкент, 1980.

Майский И. М. Из воспоминаний о Бернарде Шоу и Герберте Уэллсе. М., 1973.

Максименков Л. В. Очерки номенклатурной истории советской литературы. Западные пилигримы у сталинского престола // Вопросы литературы. 2004. № 2–3.

Никулин Л. Три встречи с Г. Уэллсом // Литературная газета. 1932. № 19. Сталин И. Беседа с английским писателем Г. Д. Уэллсом, 23 июля 1934 г. М., 1935.

Тугушева М. П. Они его любили. Герберт Джордж Уэллс и женщины в его жизни. М., 2001.

Успенский Л. Записки старого петербуржца. Л., 1970.

Уткин А. И. Первая мировая война. М., 2001.

Ходасевич В. М. Портреты словами. М., 1987.

Ширер У. Операция «Морской лев»: сорванное вторжение в Англию // Ширер У. Крах нацистской империи.

Archer W. God and Mr. Wells. London, 1917.

Bergonzi B. The Early H. G. Wells: A Study of the Scientific Romances. Manchester, 1961.

Brooks V. W. The World of H. G. Wells. N. Y., 1915.

Chesterton G. K. Heretics. London, 1905.

Cole M. Beatrice Webb. London, 1945.

Coren M. The Invisible Man: The Life and Liberties of H. G. Wells. London, 1993.

Dark S. The Outline of H. G. Wells. London, 1922.

Delbanco N. Group Portrait: Joseph Conrad, Stephen Crane, Ford Madox Ford, Henry James, and H.G. Wells. Ann Arbor (Michigan). 1982.

Dickson L. H.G. Wells: His Turbulent Life. London, 1969.

Draper M. Wells, Jung and the Persona // English Literature in Transition. London, 1987.

Foot M. HG: The History of Mr. Wells. London, 1995.

Grierson P. Books on Soviet Russia. London, 1943.

Harris, J. P. Men, Ideas, and Tanks. Manchester, 1995.

Hopkins R. T. H. G. Wells. Personality Character Topography. New York, 1922.

Hughes D. Y., Philmus R. M. The Early Science Journalism of H.G. Wells: A Chronological Survey// Science Fiction Studies, 1973.

Huntington J. The H.G. Wells Reader: A Complete Anthology from Science Fiction to Social Satire. London, 2003.

Keun O. H. G. Wells. The Player //Time and Tide, New York, 1934.

Mackenzie N., Mackenzie J. The Life of H.G. Wells: The Time Traveller. London, 1973.

Mackenzie N.. Mackenzie J. The First Fabians. London, 1977.

McKillop A. B. The Spinster and the Prophet: Florence Deeks, H.G. Wells, and Mystery of the Purloined Past. Toronto, 2001.

Mayne A. J. World Brain: H. G. Wells on the Future of World Education. London, 1994.

Meyer M. H.G. Wells and his family: as I have known them. Edinburgh, 1956.

Mullen R. D. The Books and Principal Pamphlets of H.G. Wells: A Chronological Survey// Science Fiction Studies, 1973.

Murray D. H.G. Wells. New York, 1990.

Orwell G. Collected Essays. London, 1961.



Parrinder P., ed. H.G. Wells: The Critical Heritage. London, 1972.

Pease E. R. The History of the Fabian Society. London, 1916.

Ray G.N. H.G. Wells and Rebecca West. New Haven, 1974.

Rollyson C. Rebecca West: A Life. New York, 1996.

Russell B. The Practice and Theory of Bolshevism. London, 1920.

Scott B. K., ed. The Selected Letters of Rebecca West. New Haven, 2000.

Sheridan C. Mayfair in Moscow: Claire Sheridan's Diary. New York, 1921.

Smith D. C. H.G. Wells, Desperately Mortal: A Biography. New Haven; London, 1986.

Smith D. C. The Correspondence of H.G. Wells. London, 1998.

Smith J. P. Bernard Shaw and H.G. Wells. Toronto, 1995.

Stalin-Wells Talk. The verbatim record and a discussion by G. Bernard Shaw, H. G. Wells, J. M. Keynes, Ernst Toller and others. London, 1934.

Stover L. The Prophetic Soul: A Reading of H. G. Wells's «Things to Come». London, 1987.

Swinnerton F. The Gregorian Literature. London, 1936.

Wagar W.W. H. G. Wells and the World State. New Haven, 1961.

Webb B. My Apprenticeship. London, 1926.

Wells F. H.G.Wells: A Pictorial Biography. London, 1977.

West A. H.G.Wells: Aspects of a Life. New York, 1984.

West G. Bibliography of the Works of H.G. Wells 1893-1925: With Some Notes and Comments. London, 1922.

West G. H.G. Wells. A Sketch for a Portrait. London, 1930.

## Примечания

Wells H. G. Experiment in autobiography. Discoveries and conclusions of a very ordinary brain (since 1866). N. Y., 1934. На русском языке: Уэллс Г. Опыт автобиографии. Открытия и заключения одного вполне заурядного ума (начиная с 1866 года) / Пер. с англ. Ю. Кагарлицкого, Н. Трауберг. М., 2007. Далее мемуары Уэллса цитируются по этому изданию.

Mackenzie N.. Mackenzie J. The Life of H. G. Wells: The Time Traveller. London, 1973.

H. G. Wells In Love: Postscript To An Experiment In Autobiography. Boston, 1984.

Smith D. C. H.G. Wells, *Desperately Mortal: A Biography*.  
New Haven- London, 1986.

West A. The Dark World of H. G. Wells// Harper's Magazine, May 1957. См. также: West A. H. G.Wells: Aspects of a Life. N. Y., 1984.

Coren M. The Invisible Man: The Life and Liberties of  
H. G. Wells. London, 1993.



Foot M. H. G.: The History of Mr. Wells. London, 1995.

Ray G. N. H. G. Wells and Rebecca West. Yale, 1974;  
Ray G. N., Edel L. Henry James and H. G. Wells: A Record of  
Their Friendship, Their Debate on the Art of Fiction, and  
Their Quarrel. London, 1958 и др.

Wagar W. H. G. Wells and the World State. New Haven, 1961.

Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс: Очерк жизни и творчества. М., 1963. Спустя много лет вышла другая книга этого автора (Вглядываясь в грядущее: Книга о Герберте Уэллсе. М., 1989), которая от «советскости» освободилась: обе книги сами по себе хороши, но их нельзя назвать полноценными биографиями, поскольку, во-первых, они написаны «с филологическим уклоном», а во-вторых, автор уделял внимание лишь тем работам Уэллса и аспектам его жизни, которые считал заслуживающими внимания.

West G. H. G. Wells — A Sketch for a Portrait. London, 1930.

Очень приблизительно один фунт 1870—1890-х годов можно уподобить 400–500 фунтам 2009 года. На протяжении жизни Уэллса стоимость фунта постоянно падала, так что время от времени мы будем корректировать пересчет.

У нас чаще пишут его фамилию как Гексли.

Дарвин тоже преподавал там, но он умер за два года до зачисления Уэллса на курс.



Герой рассказа «Препарат под микроскопом».

Шиллинг —  $1/20$  фунта.

**17**

Латинское название медведки.

Пэлл-Мэлл, как и Стрэнд — название лондонской улицы.

В 1923 году «Пэлл-Мэлл газетт» была поглощена газетой «Ивнинг стандарт».

Лоу умер от туберкулеза в 1895-м; Уэллс поддерживал дружеские отношения с тремя его дочерьми, особенно с Айви, будущей женой советского дипломата М. М. Литвинова.

Существовала такая научная дисциплина,  
изучающая земную поверхность.

Hughes D., Philmus R. M. The Early Science Journalism of H. G. Wells: A Chronological Survey // Science Fiction Studies, 1973, v. 1, p. 2.



Цитата из предисловия к одному из советских изданий Уэллса, автора которого мы сознательно не указываем — он не виноват, что ему приходилось это писать.

Забавно, как ее определили в упомянутом советском предисловии: «Фикция, нужная Уэллсу лишь для того, чтобы Ангел мог критиковать капиталистический строй».

В одних библиографиях указывается 1894 год, в других 1895-й — это потому, что январские номера журналов в Англии обычно появлялись в декабре.

«Свод проклятий» (The Book of Curses), сборник  
«Кое-какие личные делишки».

Взаимоотношения Уэллса, Конрада, Форда, Джеймса и Крейна описаны в книге: Delbanco N. Group Portrait: Joseph Conrad, Stephen Crane, Ford Madox Ford, Henry James and H.G. Wells. Ann Arbor (Michigan), 1982.

В 1910 году роман был заново отредактирован автором и издан под названием *The Sleeper Awakes*, но на русский переведено именно первое издание.

Из-за неточности, допущенной первым биографом Уэллса, составители библиографий до сих пор нередко ошибочно датируют публикацию этого текста 1897 годом.

Уэллс имеет в виду поэзию Киплинга, которого терпеть не мог.



Один фунт в это время примерно соответствовал 400 фунтам 2009 года.

Понятие евгеники ввел в 1883 году Фрэнсис Гальтон; в 1904-м он определил евгенику как «науку, занимающуюся всеми факторами, улучшающими врождённые качества расы».

Учреждение, посвященное образованию и исследованиям в области науки, основанное в 1799 году Генри Кавендишем и существующее по сей день.

Текст впоследствии издан в качестве приложения к трактату «Человечество в процессе созидания».

О «старой банде» см. в следующей главе.

Сейчас их обоих уже нет. Они умерли в 1980-х, прожив долгую и хорошую жизнь.

Большая часть этих рассказов вошла в сборник «Двенадцать историй и сон» (1903).

Хилэр Беллок — английский романист и публицист, католик, друг Честертона.



У нас известен также под названием «Зеленая калитка».

Благодаря усилиям суфражисток женщины в Англии в 1903 году добились права голосовать на местных выборах, но не на парламентских. Это им удастся только в 1928-м.

Meyer M. H.G. Wells and his family: as I have known them. Edinburgh, 1956.

Покинув «Сэвил-клуб», Уэллс чуть позднее стал членом «Атенеума», а в «Сэвил» вернулся лишь 28 лет спустя, когда Ривза уже не было в живых.

В 1920-х Форд начнет издавать аналогичный журнал — «Трансатлантик ревью» — и преуспеет больше, чем в первый раз; Уэллс вновь окажет ему солидную денежную помощь.

Чарльз Тревельян — член парламента от Либеральной партии, занимался вопросами образования; Джордж Маколей Тревельян — писатель, историк. В романе Уэллса они носят фамилию Крэмpton.

Стиль, сформировавшийся в Англии в период правления первых трех королей Ганноверской династии, то есть с 1714 по 1820 год, разновидность архитектурного классицизма.

The Book of Catherine Wells. London, 1928.



«The Freewoman: A Weekly Feminist Review». В октябре 1912-го издание обанкротилось, в 1913-м возродилось как «The New Freewoman».

Роман «Страстные друзья» вышел с посвящением феминистке Эмили Саймондс.

Из огромной переписки Уэллса с Уэст уцелела и доступна на сегодняшний день лишь ничтожная часть; цитируемое письмо является неоконченным черновиком и в разных книгах цитируется с расхождениями. В данном случае приводится текст из книги Бонни Скотта «The Selected Letters of Rebecca West» (2000), который был частично отредактирован самой Ребеккой.

Ray G. N. H. G. Wells and Rebecca West. New Haven, 1974.

West A. H.G. Wells: Aspects of a Life. N. Y., 1984.

Rollyson C. Rebecca West: A Life. N. Y., 1996.

Это было не первое собрание: первое вышло еще в 1901 году.

После разгрома Деникина Уильямсы были вынуждены вновь покинуть Россию. В Англии А. Тыркова-Вильямс стала известным журналистом и писателем; ей, в частности, принадлежит двухтомная биография Пушкина, изданная в серии «ЖЗЛ» в 1998 году.



Название дома — «Истон-Глиб» — до конца 1914 года еще не утвердилось.

Выходной, который бывает в Англии несколько раз в году; в этот день не работают банки.

Boon, The Mind of the Race, The Wild Asses of the Devil, and The Last Trump: Being a First Selection from the Literary Remains of George Boon, Appropriate to the Times: Prepared for Publication by Reginald Bliss, with an Ambiguous Introduction by H. G. Wells.

Эту притчу Уэллс написал еще в 1905 году, но не публиковал.

Статьи публиковались в «Таймс», «Дейли кроникл», «Дейли экспресс», «Нью-Йорк таймс».

Приводится наиболее распространенный перевод названия, хотя точнее было бы «Прозрение мистера Бритлинга»: встречаются также варианты «Мистер Бритлинг видит все насквозь» и т. д.

Brooks V. W. The World of H. G. Wells. N.Y., 1915.

В большинстве русскоязычных источников он ошибочно назван директором Лондонской библиотеки, а не секретарем, как было на самом деле.



Переписка между Уэллсом, Би-би-си и Суинтоном через адвокатов продолжалась примерно год; все это подробно описано в книге: Harris J. P. Men, Ideas, and Tanks. Manchester, 1995.

См.: Митчел Ф. Танки на войне. История развития танков в мировой войне 1914–1918 гг. М., 1935.

В США книга вышла под названием *Italy, France and Britain at War*.

Продавалось немецкое издание преимущественно в Швейцарии и Турции.

Напомним, что священники англиканской церкви могут жениться.

США формально не присоединились к союзу Антанты, а только провозгласили себя ее ассоциированным членом: благодаря этому они были юридически свободны от межсоюзнических взаимных обязательств.

Перевод Е. Дунаевской.

Из беседы Троцкого с Джоном Ридом 30 октября 1917 года.



На этом же отделении начинал обучаться Набоков-младший.

1 фунт до Первой мировой войны — примерно 350 фунтов 2009-го, после — 130.

The Story of a Great Schoolmaster: being a plain account of the life and ideas of Sanderson of Oundle. London, 1924.

McKillop A.B. *The Spinster and the Prophet: Florence Deeks, H.G. Wells, and Mystery of the Purloined Past*. Toronto, 2001.

В марте 1921 года было подписано англо-русское торговое соглашение — это стало фактическим признанием Англией советской власти.

Анненков написал, что это было 18 октября, и множество исследователей повторяют за ним эту ошибку. 18 октября Уэллс уже уехал из России.

Эдвард Радзинский в «Сталине» пишет, что в честь Уэллса «устраивались бесконечные банкеты». Но банкет был всего один.

Александр Валентинович Амфитеатров — писатель, литературный и театральный критик, драматург, Николай Николаевич Евреинов — режиссер, драматург, теоретик театра, Питирим Александрович Сорокин — политолог, Иван Альбертович Пуни — художник-авангардист, Сергей Федорович Ольденбург — востоковед, Аким Львович Волынский — литературный критик и искусствовед, один из идеологов русского модернизма, Юлия Николаевна Данзас — историк, филолог, воевала, была награждена Георгиевским крестом, Валериан Адольфович Чудовский — поэт, искусствовед, Михаил Леонидович Слонимский — писатель, входил в группу «Серапио-новы братья».



К осени 1920 года покупательная способность рубля упала в десять тысяч раз (то есть за то, что до войны стоило десять копеек, теперь приходилось платить тысячу рублей).

Sheridan C. Mayfair in Moscow: Claire Sheridan's Diary.  
New York, 1921.

У драматурга Н. Погодина есть пьеса «Кремлевские куранты», в которой описан разговор Ленина с Уэллсом по поводу электрификации. С. Юткевич снимал по ней фильм «Свет над Россией».

Haden Guest L. The new Russia, 1926; Snowden P. Through Bolshevik Russia, 1920; Russell B. The Practice and Theory of Bolshevism, 1920.

Радек К. Сентиментальное путешествие Бертрана  
Рассела // Правда. 1920. 24 октября.

Лашевич покончит с собой после исключения из партии в 1928-м, Ионов и Бакаев будут репрессированы и погибнут в 1936-м, Зорин, как уже говорилось, в 1937-м.

В США книга называлась «Вашингтон и загадка мира» (Washington and the Riddle of Peace).

Святого Иоанна Златоуста Беседа 4-я, на Послание апостола Павла к евреям.



Святого Иоанна Златоуста Слово 39-е, об усопших.

В старости Гаттерних и Уэллс премило обменивались поздравительными открытками. Он почти ни с кем не умел поругаться «навсегда».

Роман известен также под названием «Саргон, король королей» (Sargon, King of Kings).

См., например: Draper M. Wells, *Jung and the Persona* // *English Literature in Transition*. London, 1987.

Разгром «троцкистско-зиновьевской оппозиции»  
произошел в ноябре-декабре 1927 года.

Первоначальное название — «Мир на Земле».

West G. A. Bibliography of the Works of H.G. Wells 1893-1925. London, 1925.

Goldberg J. Liberal Fascism: The Secret History of the American Left From Mussolini to the Politics of Meaning. N.Y., 2008.



Horkins R.T. H. G.Wells. Personality Character  
Topography. N.Y., 1922.

В последний раз Кейнс приезжал в СССР в 1936 году.

После издания 1930 года она значилась в списках «подрывной» литературы вплоть до 1990-го.

Второе издание книги Рида появилось лишь в 1957 году.

Как считают некоторые исследователи, в этом виновата русская спутница жизни Роллана Майя Кудашева, которая, как и М. Будберг, якобы была агентом ГПУ.

Grierson P. Books on Soviet Russia. London, 1943.

Максименков Л. В. Очерки номенклатурной истории советской литературы. Западные пилигримы у сталинского престола // Вопросы литературы. 2004. № 2-3.

Впоследствии — посол в США и Мексике, в 1945 году погибший в довольно странной авиакатастрофе.



Э. Радзинский в книге «Сталин» ошибочно приписывает эту реплику Уэллсу.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей открывался 17 августа.

Россия вступила в ПЕН-клуб в 1989 году.

Так назывался тогда город Царское Село, в 1937 году переименованный в Пушкин.

В 1939 году на базе биостанции был создан Институт сравнительной физиологии высшей нервной деятельности, вскоре переименованный в Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова.

Пометок Сталина или иных указаний на письме Радека и машинописном переводе статьи нет (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 792. Л. 121).

Известна так же, как «Анатомия бессилия», «Анатомия меланхолии» и т. д

Мартин Уэллс (1928–2009).



В 1869–1874 годах в США была издана первая международная энциклопедия — «Немецко-американская энциклопедия» Александра Шема, но эта тенденция развития не получила.

Она начала широко использоваться во время Второй мировой войны и применяется до сих пор.

Полная библиография содержится, например, в книге Алана Мэйна: Mayne A. J. World Brain: H. G. Wells on the Future of World Education. London, 1994.

Обычно название переводится как «Священный ужас» или «Святой террор», что неверно: *holy terror* — идиоматическое выражение, означающее то же, что *enfant terrible*, и первая же глава романа дает однозначное указание на то, что именно оно имелось в виду.

Принятие декларации поддержали 48 стран; государства социалистического блока. Южная Африка и Саудовская Аравия воздержались при голосовании.

Британские силы береговой гражданской обороны создавались с 1940 года; их функции — проверка затемнения, подача сигналов воздушной тревоги, выявление «подозрительных лиц».

Burnham G. The Managerial Revolution: What is Happening in the World. N.Y., 1941.

Майский получил должность заместителя министра иностранных дел. В начале 1953 года он был арестован по обвинению в «измене родине», после смерти Сталина освобожден, дожил до 1975 года и оставил превосходные мемуары — по сравнению со многими другими это «совсем недурной результат».



Обычно переводят как «Наука и мировое общественное мнение», но этот вариант искажает смысл.

У английских биографов, упоминавших об этом факте, Успенский почему-то назван «авиатором».

Генри был арестован за три дня до смерти Сталина. Он увидел перестройку, дожив аж до 1990 года; существует неподтвержденная, но похожая на правду версия, что он работал на советскую разведку.

Древнеегипетский крест с кольцом наверху,  
известный также как «Крест жизни».

«Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?»  
(Мф. 27:46).

Те немногие ее члены, что остались коммунистами, в 1944 году создали Революционную коммунистическую партию, просуществовавшую шесть лет и ничем не отличившуюся.

**125**

1 фунт в 1946 году — это примерно 100 фунтов 2009-го.